

ЖИЛИЩЕ СЛАВНЫХ МУЗ
ПАРИЖ

в литературных произведениях XII—XX веков

ЖИЛИЩЕ СЛАВНЫХ МУЗ

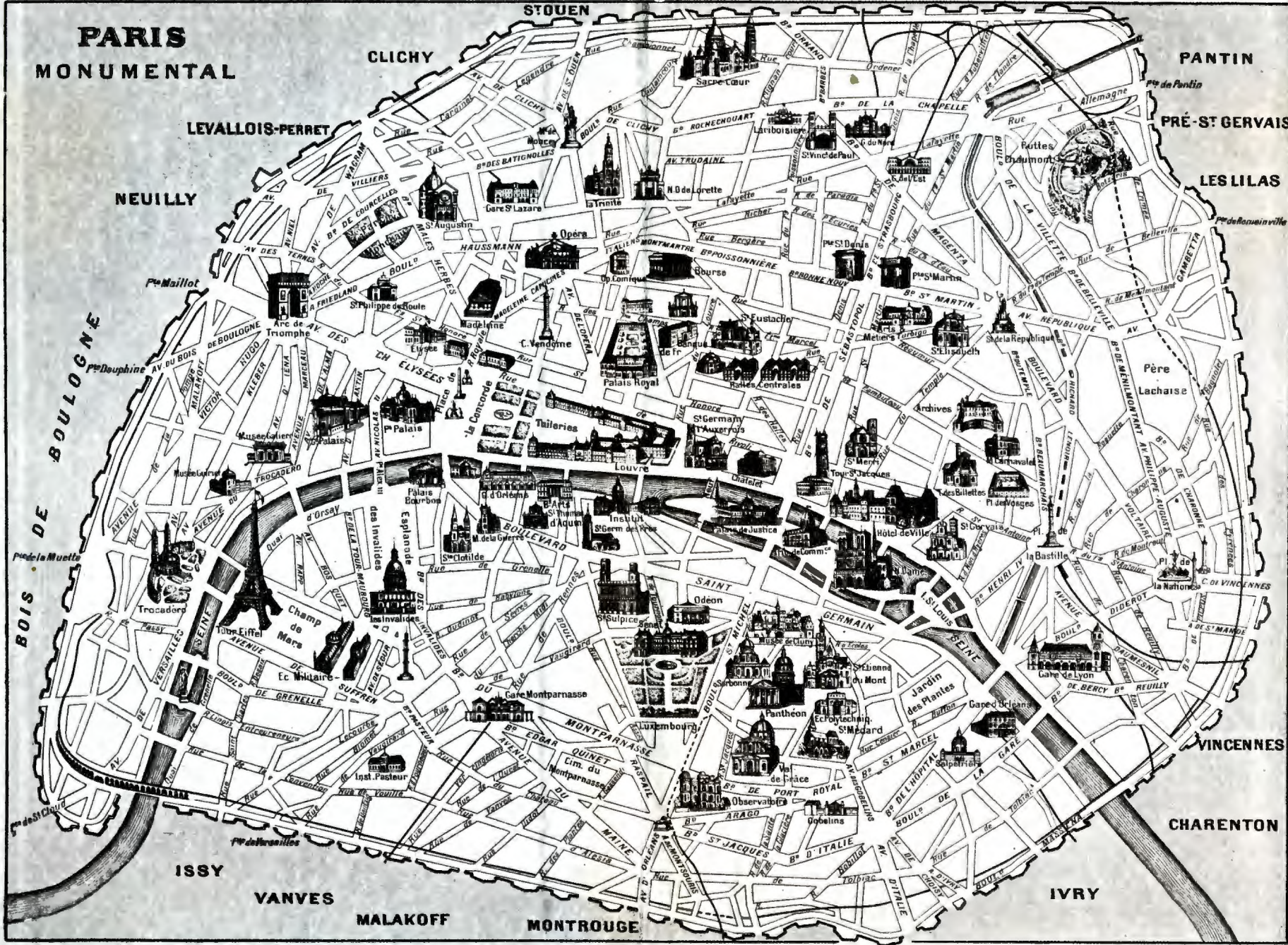


ПАРИЖ

в литературных произведениях XII—XX веков

Виктор Гюго	В. Брюсов	Андре Шенье
О. Манделштам	Поль Верлен	Шарль Бодлер
Р.-М. Рильке	А. Ахматова	Альфред де Мюссе
Вяч. Иванов	М. Волошин	Гийом Аполлинер
Франсуа Вийон	Оноре де Бальзак	Людвиг Берне
Н. М. Карамзин	Вл. Маяковский	Юлиан Пшибось
В. Тредиаковский	П. Вяземский	Жоашен дю Белле
	А. Куприн	





PARIS MONUMENTAL

STOUEN

CLICHY

PANTIN

LEVALLOIS-PERRET

PRÉ-ST-GERVAIS

NEUILLY

LES LILAS

BOIS DE BOULOGNE

ISSY

VANVES

MALAKOFF

MONTROUGE

IVRY

VINCENNES

CHARENTON





ГОРОДА МИРА В ОБРАЗАХ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ
«ГОРОДА МИРА В ОБРАЗАХ ЛИТЕРАТУРЫ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОРТРЕТЫ
МНОГИХ ГОРОДОВ, НАПИСАННЫЕ
КОЛЛЕКТИВНОЙ КИСТЬЮ
МАСТЕРОВ СЛОВА,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
РАЗНЫМ СТРАНАМ И ЭПОХАМ.

ЖИЛИЩЕ СЛАВНЫХ МУЗ

ПАРИЖ

**В ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ**

**XIV-XX
ВЕКОВ**



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

1989

ББК 84(0)
Ж72

Составление и комментарии
О. Смолицкой и С. Бунтмана
при участии *Н. Бунтман*

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Предлагаемая читателям книга — антология, куда вошли произведения о Париже, созданные европейскими писателями от средневековья до конца сороковых годов XX века.

Своеобразная композиция книги связана с тем, что основным «героем» ее является Париж, цель ее — показать жизнь Парижа в различные эпохи его существования и отражение этих эпох в поэзии и прозе европейских писателей. История литературы, хронология жизни и творчества писателей отступают в книге на второй план, а читатель имеет возможность сопоставить литературные образы одних и тех же примёт парижской жизни, увиденных глазами писателей разных времен.

Антология делится на четыре части: Париж средневековья и Возрождения, Париж XVII—XVIII веков, Париж XIX века и Париж XX века. Этим частям предшествует пролог. Каждая часть антологии строится вокруг одного или нескольких смысловых центров, таких, как собор Парижской богородицы и университет для средневековья или парижская улица — для XVII века. Смысловым центром, своего рода драматургическим узлом становится также то или иное историческое событие: Великая французская революция, революция 1830 и 1848 годов, франко-прусская война 1870 года, оккупация Парижа 1940—1944 годов. Другая особенность композиции книги — постоянный возврат к основным темам и их перекличка, а также линии, проходящие сквозь всю антологию. Одна из таких линий — путешествие, расставание и встреча с Парижем. Особый интерес представляют здесь произведения наших соотечественников — В. К. Тредиаковского, Д. И. Фонвизина, Н. М. Карамзина, В. В. Маяковского и других. К той же линии относятся и «мнимые» путешествия, такие, как «Персидские письма» Монтескье, «Путешествие в Париж африканского льва» Оноре де Бальзака, пародийные экскурсии Альфреда Жарри и др. Подробно о каждой части, ее основных темах и линиях, а также об авторах входящих в нее произведений сказано в соответствующих разделах комментария.

При составлении антологии использовались различные тома «Библиотеки всемирной литературы», собрания сочинений русских и зарубежных авторов, советские и зарубежные антологии поэзии и прозы. Переводы, отмеченные звездочками в оглавлении, выполнены специально для этой книги.

Стремясь включить в антологию только законченные произведения, мы старались избегать фрагментов крупных произведений, сделав исключение лишь для тех, что представляют собой необходимое, художественно значимое, а иногда и единственное литературное свидетельство о том или ином периоде жизни города. Поэтому за рамками книги остались романы Бальзака, Золя, Мопассана, произведения Флобера и Пруста, Эжена Сю и Жорж Санд, Диккенса и Стерна. Не вошли в антологию и чисто публицистические или чисто эпистолярные произведения.

Еще раз подчеркнем, что наша книга не хрестоматия, а антология, сам жанр которой предполагает известную субъективность и эмоциональность как отбора произведений, так и их подачи. Кроме того, эмоциональное и личное отношение к Парижу характерно для русской культурной традиции, к которой так или иначе принадлежит эта книга.

Мы благодарим А. В. Парина, М. Н. Ваксмахера и всех тех, кто оказал помощь при составлении антологии.

О. СМОЛИЦКАЯ, С. БУНТМАН

ПРОЛОГ

Виктор Гюго

ГЛАВЕНСТВО ПАРИЖА

(Из очерка «Париж»)

1

1789. Вот уже скоро столетие, как эта цифра беспокоит мысль человечества. В ней — все явления современности.

Даты, выраженные такой цифрой, требуют расплаты.

Платите же.

И не пытайтесь плутовать с этими властными цифрами. Для тех, кто избегает их, они увеличиваются; и вместо цифры 89 перед должником вдруг вырастает цифра 93.

Для чего мы только что напомнили все эти факты и еще столько других, выхваченных наудачу из этого волнующего вороха воспоминаний? Потому, что они объясняют.

У них есть исток — деспотизм, у них есть устье — демократия.

Без них и без их итога — Восемьдесят девятого года — главенство Парижа остается загадкой. В самом деле, подумайте. У Рима больше величия, у Трира больше старины, у Венеции больше красоты, у Неаполя больше прелести, у Лондона больше богатства. Что же есть у Парижа? Революция.

Париж — это город-ось, вокруг которой в один прекрасный день повернулась история.

У Палермо — Этна, у Парижа — мысль. Константинополь ближе к солнцу, Париж ближе к цивилизации. В Афинах воздвигли Парфенон, а в Париже разрушили Бастилию.

Жорж Санд где-то великолепно говорит о жизни тех, кто жил до нас. У городов, так же как и у людей, есть свое прошлое бытие, в котором как бы постепенно раскрывается пред-

назначенная им судьба. Париж друидов, Париж римлян, Париж Каролингов, Париж феодальный, Париж монархический, Париж просветителей, Париж революционный,— как длительно восхождение из мрака, но как ослепителен свет!

«После нас хоть потоп!» — изрекает последний из султанов; и в самом деле, при Людовике XV уже ясно чувствуется, что наступает некий предел,— столь ужасающе ничтожно все вокруг. Историю конца восемнадцатого века можно изучать только с помощью микроскопа. Мы видим, как копошатся какие-то карлики, и только: д'Эгуйон, маршал Ришелье, Морепа, Калонн, Верженн, Бриенн, Монморен; и вдруг то, что можно было бы назвать задней стенкой, внезапно раздвигается и появляются неведомые гиганты: и вот перед нами Мирабо, человек-молния, и вот Дантон, человек-гром, и события становятся достойными бога.

Кажется, будто здесь и начинается история Франции.

2

Известно, что такое центр парусности судна: это то место пересечения, загадочное даже для самого кораблестроителя, та точка, где слагаются силы, действующие на паруса. Париж — центр парусности цивилизации. Силы, рассеянные по всему миру, сходятся в этой единственной точке; именно на нее устремляется вся сила ветра. Разобщенные в бесконечности поиски одиночек соединяются здесь и образуют свою равнодействующую. Эта равнодействующая рождает мощный порыв, который толкает то к бездне, то к неведомым созвездьям. И человечество тянется на буксире. Внимать в раздумье этому глухому шуму всеобщего движения вперед, этому ропоту стремительно несущихся бурь, этому шуму снастей, этим стенаниям страждущих душ, следить за этими надутыми ветром парусами, за этими усилиями борющихся со стихией людей, за бегом корабля, вышедшего на правильный путь,— какой экстаз сравнится с

подобной мечтой. Париж — это то место земного шара, где слышнее всего, как трепещут незримые и необъятные паруса прогресса.

Париж трудится для великого всемирного содружества.

Отсюда всеобщее и повсеместное признание Парижа людьми всех рас, в любом поселении, во всех лабораториях мысли, науки и промышленности, во всех столицах, во всех захолустьях.

Париж помогает массам познать самих себя. Эти массы, которые Цицерон называет *plebs*¹, Виссарион — *capaglia*², Уолпол — *тов*³, де Местр — чернью и которые являются не чем иным, как сырьем нации, — в Париже ощущают себя Народом. Они одновременно и туман и свет. Это туманность, которая, конденсируясь, станет звездой.

Париж — это конденсатор.

3

Хотите отдать себе отчет в том, что же такое этот город? Сделайте тогда странную вещь. Заставьте Францию вступить в борьбу с ее столицей. И тут же возникает вопрос: кто же дочь? кто мать? Сомнение, полное пафоса. Мыслитель попадает в тупик.

Оба этих колосса в своем споре доходят до драки. Кто же из них виноват в этом бесчинстве?

Было ли когда-нибудь видно подобное? Да. И это почти нормально. Париж идет вперед один, а за ним, против собственной воли и возмущаясь, следует Франция; в дальнейшем она успокаивается и рукоплещет; это одна из форм нашей национальной жизни. Проезжает дилижанс с флагом; он едет из Парижа. Но флаг уже не флаг, а пламя, и, словно порох, вспыхивает тянущаяся за ним вереница людей.

¹ Простонародье (*лат.*). (Здесь и далее подстрочные примечания — от составителей; авторские примечания оговариваются особо.)

² Сброд (*итал.*).

³ Толпа (*англ.*).

Всегда изъявлять свою волю — таков удел Парижа. Вам кажется, что он спит. Нет, его воля бодрствует. Вот о чем не всегда подозревают преходящие правительства. Париж всегда что-нибудь замышляет. У него терпение солнца, исподволь лелеющего плод. Облака проплывают над ним, а он остается прежним. В один прекрасный день все свершено. Париж приказывает событиям совершиться. И Франция вынуждена повиноваться.

Вот почему в Париже нет муниципального совета.

Эти трепетные токи от Парижа-центра к Франции-периферии и обратно, эта борьба, подобная колебанию тяготений, эта смена отпора и согласия, эти вспышки гнева нации против города и вслед за тем примирения — все это точно показывает, что Париж, этот мозг, есть нечто большее, чем мозг народа. Двигается вся Франция, толчок исходит из Парижа. В день, когда история, ставшая ныне столь лучезарной, оценит по достоинству это исключительное обстоятельство, все ясно увидят, как свершаются мировые потрясения, первые шаги прогресса, уловки, которыми реакция прикрывает свою косность, и каким образом человечество раскалывается на авангард и арьергард так, что первый уже принадлежит Вашингтону, а второй все еще Цезарю.

Посмотрите через лупу революции на эту вековую и плодотворную борьбу нации и города, и вот что вам даст это увеличение: с одной стороны — Конвент, с другой — Коммуна. Поединок титанов.

Не будем страшиться слов. Конвент воплощает явление устойчивое: Народ, а Коммуна — явление преходящее: Чернь. Но здесь у черни, этой исполинской силы, есть права. Она — Нищета, и ей от рода пятнадцать веков. Достойная эвменида. Царственная фурия. На голове у этой медузы змеи, но у нее седые волосы.

У Коммуны — права, а Конвент прав. В этом и есть величие. С одной стороны, Чернь, но преобразенная; с другой — Народ, но в новом об-

лике. И у этих двух враждующих начал одна любовь — человечество; столкнувшись, они порождают равнодействующую — Братство. Таково богатство, расточаемое нашей революцией.

У революций потребность в свободе — это их цель, и потребность во власти — это их средство. Но когда схватка началась, власть может стать диктатурой, а свобода — анархией. Отсюда возникают с мрачной неизбежностью перемежающиеся припадки деспотизма: припадки диктаторства, припадки анархии. Удивительное качание маятника.

Порицайте, если хотите, но вы порицаете стихию. Перед вами — законы статики, а вы сердитесь на них. Сила обстоятельств определяется суммой $A+B$, и колебания маятника не слишком-то считаются с вашим неудовольствием.

Этот двойной припадок деспотизма — деспотизм народного собрания и деспотизм толпы; это неслыханное сражение между эмпирическим образом действия и результатом, данным лишь как бы в наброске; этот непередаваемый антагонизм цели и средства с необыкновенным величием воплощен в Конвенте и в Коммуне. Они делают зримой философию истории.

Французский Конвент и Коммуна Парижа — слагаемые революции. Это две величины, две цифры. Это то $A+B$, о котором мы только что говорили. Цифры не опровергают одна другую, они умножаются. В химии то, что борется, соединяется. То же и в революции.

Здесь грядущее как бы раздваивается, мы видим у него два лика: в Конвенте больше от цивилизации, а в Коммуне больше от революции. Насильственные меры, которые Коммуна применяет по отношению к Конвенту, подобны благотворным мукам деторождения.

Новое человечество — это что-нибудь да значит. Так не будем же спорить о том, кому мы этим обязаны.

Перед лицом истории Революция — это заря, занявшаяся в свой час: Конвент — одна из форм необходимости, а Коммуна — другая; два черных величественных силуэта вырисовываются на го-

ризонте; и в этих вызывающих головокружение сумерках, где за пеленой мрака таится столько света, не знаешь, на ком из двух колоссов остановиться взгляд.

Один из них — Левиафан, другой — Бегемот.

4

Бесспорно, что французская революция — это начало. *Nescioquid majus nascitur «Iliade»*¹.

Вдумайтесь в это слово. «Рождение». Оно соответствует слову «Освобождение». Сказать: мать освободилась от бремени — это все равно что сказать: ребенок родился. Сказать: Франция свободна — все равно что сказать: человеческая душа достигла зрелости.

Подлинное рождение — это возмужалость.

Четырнадцатого июля 1789 года час возмужалости пробил.

Кто совершил 14 июля?

Париж.

Огромная государственная тюрьма в Париже была символом всеобщего рабства.

Всегда держать Париж как бы в оковах — такова во все времена была задняя мысль монархов. Стеснять того, кто нас стесняет, — такова политика. В центре — Бастилия, по окраинам — крепостные валы; что ж, так царствовать можно. Обнести стенами Париж было идеалом. Незыблемый покой за стенами; Парижу пытались навязать монашеский образ жизни. Отсюда — тысяча предосторожностей против роста этого города и множество крепостных стен с башнями и запорными воротами. Сперва римские валы с прильнувшим к ним близ Сен-Мерри домом аббата Сугерия, потом стена Людовика VII, потом стена Филиппа-Августа, потом стена короля Иоанна, потом стена Карла V, потом таможенная стена 1786 года, потом эскарп и контрэскарп наших дней. Монархия только тем и занималась, что воздвигала вокруг города стены, а философия —

¹ Рождается нечто более великое, чем «Илиада» (*лат.*) — стихи римского поэта Проперция.

тем, что их разрушала. Каким образом? Просто-напросто излучением мысли. Нет силы могущественнее. Луч сильнее любой стены.

Обнести Париж стеной — выход из положения; умалить значение Парижа было бы другим выходом. Те, кому он страшен, подумали об этом. Почему бы немного не обескровить этот чудовищный и чудесный город? И пытались. Генеральные штаты охотно созывали в Блуа; Бурж провозглашался столицей; время от времени короли отсылали парламент в Понтуаз; Версаль служил отдушиной. Уже в наши дни предлагали перевести Политехническую школу в Орлеан, медицинский факультет — в Тур, юридический — в Руан, сюда — Академию, туда — кассационный суд и т. д. Таким путем думали расколоть Париж; но расколоть брильянт — это то же, что разбить его на мелкие кусочки. Вместо одного большого Парижа получалось двадцать маленьких. Чудесный способ обратить тридцать миллионов в тридцать тысяч франков. Спросите ювелира, что он думает о том, чтобы раздробить брильянт «Регент».

Одно роковое, если хотите — жестокое, событие расстроило все эти замыслы.

Хотя всякое сопоставление фактов материальной жизни с фактами духовной жизни может быть лишь приблизительным, все же можно считать, что в известных случаях материальный рост является мерилom роста духовного. Первоначально весь Париж помещается на острове Богоматери; затем птенец пробивает клювом скорлупу: он перебрасывает мост; потом, при Филиппе-Августе, он занимает площадь в семьсот арпанов и приводит в восторг Вильгельма Бретонца; позднее, при Людовике XI, его окружность составляет три четверти лье, и он вызывает восхищение Филиппа де Комина; в семнадцатом веке он уже насчитывал четыреста тринадцать улиц и своим видом ослепил Фелисьена. В восемнадцатом веке он совершил революцию и ударил в набат: тогда в нем было шестьсот шестьдесят тысяч жителей. Сейчас их у него — миллион восемьсот тысяч. Это более мощная рука, кото-

рая может раскачивать еще более мощный колокол.

Набат наших дней — это набат мира, это широкий, радостный звон труда, призывающий нации показать все лучшее, что ими создано.

5

В грядущем всегда есть доля современности; в наших детях всегда есть нечто от нас самих. Цивилизация проходит через различные фазы, всегда испытывая влияние фазы предыдущей. В наши дни во все, что есть, и во все, что будет, входит частица французской революции. И нет ни одного события в жизни человечества, которое так или иначе не испытало бы этого влияния. Словно что-то давит на вас сверху, и кажется, будто грядущее спешит и ускоряет шаг. Неизбежность — это всегда спешка; европейский союз как предвестье союза общечеловеческого — такова великая неизбежность современности; угроза, которая не пугает. Правда, видя, как формируются повсюду ландверы, можно подумать, будто готовится нечто совсем противоположное; но это противоположное рассеется как дым. Для того, кто наблюдает с вершины, в тучах, застилающих горизонт, больше лучей, чем гроз. Все важнейшие явления нашего времени — явления мирные. Пресса, пар, электрический телеграф, метрическая система мер, свободный обмен — все это не что иное, как своеобразный катализатор великого процесса растворения наций в человечестве. Казалось бы, все железные дороги бегут в самых разнообразных направлениях — Петербург, Мадрид, Неаполь, Берлин, Вена, Лондон, — но все они ведут в одно место: Мир. И в день, когда поднимается в небо первый воздушный корабль, будет похоронена последняя тирания.

Слово «Братство», брошенное в глубины человечества сперва с высоты Голгофы, а затем с высот Восемьдесят девятого года, прозвучало не втуне. Чего хочет Революция, того хочет бог. Когда человеческая душа достигает совершенно-

летия, проясняется человеческая совесть. Эта совесть негодует против того самоуправства, что именуется войной. Особенно против захватнических войн, тех, что содержат откровенное признание в собственной алчности и разбое; они осуждаются всем честным человечеством. Совершенно очевидно, что вновь пустить в ход военные доспехи более невозможно; арсеналы пусты, мертвы великаны прежних дней. Цезаризм, милитаризм — для подобных древностей существуют музеи. Аббат де Сен-Пьер, слывший в свое время безумцем, ныне признан мудрецом. Что до нас, то мы совершенно согласны с ним и без особого труда представляем себе, что люди в конце концов должны будут возлюбить друг друга. Жить в мире — разве это так уж бессмысленно? Нам кажется, что вполне можно вообразить себе такое время, когда при словах: «чистота», «быстрота», «точность», «безотказная служба» — отнюдь не будут думать о пушке, заряжаемой через казенную часть, и когда игольчатое ружье перестанет считаться образцом всех добродетелей.

6

Итак, некоторое вторжение настоящего в будущее необходимо; мы настаиваем на этом. В том, что существует, всегда содержится неясный набросок того, что будет; его дает нам Париж. Для того чтобы набросок этот стал ярче, чтобы осветить его с обеих сторон, мы и показали прошедшее в сопоставлении с будущим. Плод радует глаз, но переверните дерево и обнажите его корни. Исторический очерк, который мы только что бегло набросали, можно варьировать и переделывать, но от этого не изменится ни смысл, ни результат. Перемена положения не меняет самое тело.

Обратитесь к архивам, — но только не к архивам империи, ибо понятие *архивы империи* относится лишь к двум периодам: с 1804 по 1814 год и с 1852 по 1867 год, и вне этих дат оно не имеет никакого смысла, — обратитесь к

архивам Франции и переройте их до основания; и каков бы ни был метод раскопок, лишь бы они производились добросовестно, перед вами всегда предстанет та же неподкупная история.

Принимайте эту историю такой, какова она есть, ужаснитесь ей в той мере, в какой она того заслуживает, но при условии, что в конце концов вы ею станете восхищаться. В ней первое слово — Король, последнее — Народ. Восхищение как окончательный вывод — именно это и характерно для мыслителя. Он взвешивает, изучает, сравнивает; он проникает в самую глубину, он судит; потом, если он сторонник относительного, он придет в восхищение, если сторонник абсолютного — станет преклоняться. Почему? Потому, что в относительном он увидит прогресс; потому, что в абсолютном он увидит идеал. Перед лицом прогресса — закона, управляющего событиями, и идеала — закона, управляющего умами, философ испытывает благоговение. Только глупцы свистят, когда представление окончено.

Преклонимся же перед народами-искателями и будем любить их. Они подобны Эмпедоклам, после которых остается одна сандалия, и Христофорам Колумбам, после которых остается целый мир. На свой страх и риск совершают они во тьме своей великий труд. Руки их часто в грязи: им приходится разгребать на ощупь. Попрекнете ли вы их за их рваное рабочее платье? О черная неблагодарность невежд!

В истории человечества искателем является иногда человек, иногда нация. В том случае, когда это нация, работа длится не часы, а столетия; удары ее заступа непрерывно бьют по извечной преграде. Это вторжение в глубины и есть жизненно необходимое, ни на минуту не прекращающееся дело человечества. Искатели, и люди и народы, спускаются в эти глубины, погружаются в них, вязнут, подчас исчезают навсегда. Их влечет к себе какой-то брезжущий свет. Страшная пропасть может поглотить их, но на дне ее виднеется божественная и нагая Истина.

Париж не погиб в этой пропасти.

Напротив.

Он вышел из недр Девяносто третьего года, неся на челе своем огненный знак грядущего.

7

Начиная с исторических времен на земле всегда существовало то, что называют городом. Urbs¹ как бы подводит итог orbis². Необходимо место, выполняющее функцию мозга.

Необходим мыслящий центр, орган воли, свободы и инициативы, центр, действующий, когда человечество бодрствует, и мечтающий, когда человечество спит.

Вселенная без города — это словно тело без головы. Нельзя представить себе безглавую цивилизацию.

Необходим город, гражданами которого были бы все.

Человечеству нужен всеобщий ориентир.

Будем же придерживаться только того, что совершенно ясно, и не станем углубляться во мрак веков на поиски таинственных городов — Гура в Азии и Паленке в Америке: три города, четко вырисовывающиеся в свете истории, являются такими органами человеческой мысли — Иерусалим, Афины, Рим. Три города, где бьется пульс истории.

Идеал — это три луча: Истинное, Прекрасное, Великое. От каждого из этих трех городов исходит один из этих лучей. Вместе они и есть свет.

Иерусалим излучает Истинное. Там великим страдальцем были произнесены великие слова: *Свобода, Равенство, Братство*. Афины излучают Прекрасное, Рим — Великое.

Эти три города — ступени человеческого восхождения. Они сделали свое дело. В наши дни от Иерусалима осталось только место казни — Голгофа; от Афин — развалины, Парфенон; от Рима — призрак, Римская империя.

¹ Город (лат.).

² Мир (лат.).

Умерли ли эти города? Нет. Разбитое яйцо означает не смерть яйца, а жизнь птицы. Над своей разбитой скорлупой — Римом, Афинами, Иерусалимом — парит освобожденная Идея. Над Римом — Могущество, над Афинами — Искусство, над Иерусалимом — Свобода. Великое. Прекрасное. Истинное!

К тому же эти города не умерли: они живут в жизни Парижа. Париж есть их сумма. Он их поглотил в себе. Одной из своих сторон он воскрешает Рим, другой — Афины, третьей — Иерусалим. Из крика того, кто был распят на Голгофе, он извлек Декларацию прав человека.

Этот логарифм трех цивилизаций, выраженных единой формулой, это проникновение Афин в Рим и Иерусалима в Афины, эта возвышенная тератология прогресса, стремящегося к идеалу, порождает чудовище и создает шедевр: Париж.

Было свое распятие и в этом городе. Здесь восемнадцать веков, перед лицом великого распятого, перед лицом бога, являющегося для нас Человеком, истекал кровью — и мы только что сосчитали капли этой крови — другой великий распятый: Народ.

Париж, очаг революционных откровений, это — Иерусалим человечества.

НАЗНАЧЕНИЕ ПАРИЖА

1

Назначение Парижа — распространение идей.

Бросать миру истины неисчерпаемой пригоршней — в этом его долг, и он выполняет его. Выполнять свой долг — великое право.

Париж — сеятель. Где он сеет? Во мраке. Что он сеет? Искры. Все, что вспыхивает то здесь, то там и искрится в рассеянных по земле умах, — это дело Парижа. Прекрасен пожар прогресса, — его раздувает Париж. Ни на минуту не прекращается эта работа. Париж подбрасывает горячее: суеверия, фанатизм, ненависть,

глупость, предрассудки. Весь этот мрак вспыхивает пламенем, оно взмывает вверх и благодаря Парижу, разжигающему величественный костер, становится светом, озаряющим умы. Вот уже три века победно шествует Париж в сияющем расцвете разума, распространяя цивилизацию во все концы мира и расточая людям свободную мысль; в шестнадцатом веке он делает это устами Рабле,— что нам до тонзуры! — в семнадцатом веке — устами Мольера,— что нам до переодевания и маски! — в восемнадцатом веке — устами Вольтера,— что нам до изгнания!

Рабле, Мольер и Вольтер, эта троица разума, да простят нам подобное сравнение, Рабле — Отец, Мольер — Сын, Вольтер — Дух Святой, этот тройной взрыв смеха, галльского — в шестнадцатом веке, человеческого — в семнадцатом, всемирного — в восемнадцатом,— это и есть Париж.

Впрочем, прибавьте сюда и Дантона.

Париж выполняет роль нервного центра земли. Если он содрогнется, вздрагивают все.

Он отвечает за все, и в то же время он беззаботен. И этим своим недостатком он как бы усложняет собственное величие.

Он слишком часто довольствуется чувством радостной веселости: в глазах историка это веселость афинян, в глазах поэта — олимпийцев.

Часто такая веселость бывает ошибкой. Иногда это и сила.

Она приходит на помощь разуму.

Нам, философам, нельзя не принять к сведению, что сейчас, когда прячущаяся в кулисах война готова снова выйти на сцену, Париж высмеивает войну. Грубый голос войны вызывает у него смех. Прекрасное начало. То — смех предметный, но ведь предместья Парижа — это и есть Париж. Теперь, когда капральский дух перестал быть французской доблестью и стал доблестью тевтонской, Париж ничего не имеет против того, чтобы посмеяться над ним. Это здоровый смех. Мы увидим, к чему он приведет. В «Крохах истории», живой и сильной книге, можно прочитать следующее: «Однажды Ген-

рих VIII разлюбил свою жену; отсюда — новая религия». Точно так же можно будет сказать когда-нибудь: «Однажды Париж разлюбил солдата; отсюда — исцеление».

Дух военщины — это абсолютизм. Это Нарвацц. Это Бисмарк. Деспотизм — парадокс. Неограниченная власть монарха-полководца оскорбляет хороший вкус.

«Освистать это!» — говорит Париж. И вынимает из кармана ключ. Ключ Бастилии.

2

Париж в свое время окунули в здравый смысл, тот Стикс, через который не могут переправиться тени прошлого. Поэтому Париж и неуязвим.

Как и всякая толпа, он увлекается. Но потом, перед самым апофеозом, среди звуков благодарственных молитв, кантат и фанфар, на него вдруг нападает смех.

И это грозит испортить апофеоз.

Прусский король велик. На монетах у него лавровый венок, на голове — тоже. Это почти Цезарь. Еще немного — и он станет императором Германии. А Париж возьмет и усмехнется. Это ужасно.

Что тут поделаешь?

Нет спору, мундиры прусского короля прекарны; но вам не заставить Париж любоваться галунами иностранца.

Мало ли есть вещей, которые могли бы быть или хотели бы осуществиться, но смех Парижа препятствует этому.

Устои прошлых дней, укрытые за зубчатыми стенами и вооруженные, — право престолонаследия, божья милость, вековые привилегии и т. п. — пали перед этой «гримасой смеха», как называет ее Жозеф де Местр.

Тирания — Иерихон, чьи башни рушатся от звуков этого смеха.

Земные владыки, на которых обрушивала свои проклятья черная месса, низвергались какой-нибудь песенкой, распеваемой в предместье. Отлучение от церкви было способом уни-

чтожить человека, высмеять его в уличных куплетах — другой, не менее страшный способ.

Веселость Парижа действительна, ибо, исходя из самого сердца народа, она уходит корнями в трагические глубины.

Отныне, как уже было сказано, *urbi et orbi*¹ относится к Парижу. Таинственное перемещение духовной власти.

На смену балкону Квиринала приходит тот ящик с отделениями, который называется типографской кассой. Из этих ячеек вылетают пчелы, двадцать пять крылатых букв алфавита. Приведем одну лишь деталь: только за 1864 год Франция экспортировала книг на восемнадцать миллионов двести тридцать тысяч франков. Семь восьмых этих книг издает Париж.

Ключи апостола Петра — обескураживающий намек на то, что двери рая чаще закрыты, чем открыты, — заменены неумолчным призывом к добру, который обращают к народам великие души, и если у собора святого Петра в Риме более грандиозный купол, то Пантеон воплощает более возвышенную мысль. Пантеон, где покоятся великие люди и творившие добро герои, возносит над городом свое сияние, лучистое сияние усыпальницы-звезды.

Дополняет Париж и венчает его то, что это город литературы.

Очаг разума не может не быть и очагом искусства. Париж излучает свет в двух направлениях: с одной стороны, на реальную жизнь, с другой — на жизнь идеальную. Почему этот город влюблен в прекрасное? Потому, что он влюблен в истинное. И вот здесь-то появляется во всей своей несостоятельности то детски наивное разделение на форму и содержание, которое в течение тридцати лет питало собой ложную школу критики. В совершенном искусстве содержание и форма, мысль и образ тождественны. Истина — это белый свет; преломляясь сквозь удивительную среду, имя которой — поэт, она, продолжая быть светом, становится цветом.

¹ Городу и всему миру (лат.).

Сила гения в том, что он — подобие призмы. Истина, продолжая быть реальностью, превращается в воображение. Высокая поэзия — это солнечный спектр человеческого разума.

3

Париж — это не обычный город, это некое правительство. «...Кто б ни был ты, вот твой хозяин...» Ручаюсь, вы не станете носить другой шляпы, кроме парижской. Бант той женщины, что проходит мимо вас, повелевает. То, как этот бант завязан, — закон для всех стран. Мальчишка с Блэкфрайерса подражает парижскому гамену с улицы Гренета. По сей день идеалом мадридской манолы остается парижская гризетка. Кайе, белый, человек, побывавший в Тимбукту, уверяет, что он видел на хижине одного негра в Багамедри надпись: «По парижскому образцу». У Парижа бывают свои капризы, своя безвкусица, свои обманы зрения; однажды он поставил Лафона выше Тальма, а Веллингтона выше Наполеона. И когда он заблуждается — тем хуже для здравого смысла во всем мире. Компас сошел с ума. Несколько мгновений прогресс пробирается ощупью.

Власть, идущая в одном направлении, общественное мнение — в другом; невежественное правительство — над просвещенным народом; это встречается, и даже в Париже. Париж относится к этому как к дождю: на завтра он сушится на солнце.

В Париже находится кузница славы. Париж — отправная точка успеха. Кто не танцевал, не пел, не проповедовал и не говорил перед Парижем, тот не танцевал, не пел, не проповедовал и не говорил вообще; Париж дает пальму первенства, и он же придирчиво оспаривает ее. Этот город, раздающий славу, подчас бывает скуп. Его суду подлежат таланты, умы, гении, но Париж зачастую и подолгу не признает самых великих и упорствует в этом. Кто ждал признания дольше,

чем Мольер? ¹ Но, заметим, кстати, пусть художник и поэт не слишком жаждут признания. Быть предметом жарких споров — это значит проходить через испытание. Полезно, чтобы споры о вас закончились еще при вашей жизни. Иначе непризнание, которое минует вас, пока вы живы, вы изведаете позднее. Со смертью значение тех, кто не вызывал никаких споров, убывает, а значение тех, кого оспаривали, возрастает. Потомки всегда хотят сами пересмотреть все то, что было прославлено.

Париж — будем на этом настаивать — это своего рода правительство. У правительства этого нет ни судей, ни жандармов, ни солдат, ни послов; но оно всепроникающе, то есть всемогуще. Капля за каплей падает оно на человечество и долбит его. Париж существует и царит вне всего того, что официально признано; он — сверху и снизу авторитетов, он над ними и под ними. Его книги, газеты, театр, его промышленность, его искусство, наука, философия, его косность, являющаяся частью его науки, его моды, являющиеся частью его философии, его хорошие и дурные стороны, его добро и зло — все это будоражит народы и ведет их за собой. Вам легче остановить нашествие саранчи, чем нашествие мод, нравов, изящества, иронии, увлечений. Все это проникает повсюду и действует неотразимо. Все эти вещи, а это и есть Париж, подобны невидимым глазу грызунам. Они скрыто действуют во всех социальных и политических сооружениях, столь еще устойчивых и крепких на вид, подтачивают и подрывают их, щадя только фасад, остающийся неприкосновенным. Это бро-

¹ Покуда навсегда Мольера не сокрыла
Ценою долгих просьб добытая могила,
Творения его, столь славные сейчас,
Болтливые глупцы порочили не раз.
В одежде герцога, в наряде баронессы
Невежество и спесь шли на премьеру пьесы
И, понося шедевр насмешливой хулой,
В прекраснейших местах качали головой...

(Буало) (Примеч. авт.)

жение парижских идей, этот ужасающий *dryrot*¹ как бы выедаёт сердцевину у этого здания — признанных авторитетов — и вкладывает туда нечто неведомое, позволяя ему простоять до того дня, когда оно рассыплется в прах. Эта тайная работа Парижа происходит даже в странах иерархических, как Великобритания, или в деспотических странах, как Россия. Реформа в Англии — результат нашего всеобщего голосования. И это хорошо. Настоящее, каким бы прочным оно ни казалось и каким бы высокомерным оно ни выглядело, поражено неизлечимым недугом — грядущим. Пробуждаясь, каждое утро человечество бежит смотреть на противоположную стену домов. Париж вывешивает здесь объявление об очередном зрелище, в ожидании того дня, когда он объявит о революции. Что мы увидим сегодня? Скриба. А завтра? Лафайета.

Когда Париж недоволен, он надевает маску. Какую маску? Маску для бала-маскарада. В часы, когда другие надели бы траур, он ставит в тупик наблюдателя. Вместо савана он надевает домино. Песни, бубенчики, маскарады, все жеманство вырождения, бесконечные увеселительные огни, причудливая музыка, упадок, преподнесенный так, что его и не узнать, цветы повсюду. Веселое превращение. Об этом стоит поразмыслить.

4

Некий ныне покойный генеральный прокурор, человек весьма благонамеренный, ужасно рассердился на Париж. Свое недовольство парижанами он излил в памфлетах против парижанок. Обвинительные заключения этого сановника, который, кажется, был членом Академии, простирались даже на дамские туалеты. Смерть застигла его преждевременно, ибо сей суровый официальный обвинитель, закончив свои злобные выпады против излишней ширины юбок, вероятно, перешел бы ко второму вопросу — излишней растяжимости совести; и, исчерпав свой порыв

¹ Сухая гниль древесины (англ.).

благородного негодования против избытка драгоценностей на женщине, он стал бы нам говорить о впечатлении, которое на него производит избыток присяг, приносимых мужчиной.

Не всякому дано быть Катонем.

Есть и другие старики; вот уже лет пятнадцать-шестнадцать, как, по тем или иным причинам, они живут в уединенье, далеко от Парижа, и не видят никаких других нарядов, кроме утреннего наряда зари, встающей из-за моря; они более снисходительны. Они любят города, где всегда таится внезапное. Впрочем, в городах, где есть что-то от женщины, есть что-то и от героя. Излишества в нарядах имеют, в сущности, тот же источник, что и излишества храбрости. Берегитесь: возможно, эта томность только выжидает своего часа. Ведь известны случаи, когда люди изнеженные вдруг становились мужественными. Был город более доблестный, чем Спарта; то был Сибарис. Представьте себе на миг, что надо защищать свою родину, что на границе раздается барабанная дробь, и вы увидите. Был ли когда-нибудь более безумный день, чем восемнадцатый век? Но наступает вечер, и вот перед нами Конвент, звучат слова: «Отечество в опасности», первый встречный вырастает в гиганта, Руже де Лиль слагает песнь, ее претворяет в жизнь Барра, перед нами Франция четырнадцати армий. А теперь можете считать недостатки и произносить свои обвинительные речи против Парижа. Грозите ему кулаком. Почему бы и не погрозить? Ведь воскликнул же Бурхаав, изучивший лихорадку: «Как много дурного можно сказать про солнце!»

В трех словах и предельно четко: Париж не отступает.

Впрочем, он бывает непоследовательным. Так, он волновался из-за Польши, но не волнуется из-за Ирландии; он волновался из-за Италии, но не волнуется из-за Румынии, хотя это та же Италия, он волновался из-за Греции, но не волнуется из-за Крита, хотя это та же Греция. Сорок лет тому назад его взволновал Псара; сегодня Аркадион оставляет его равнодушным. А между

тем — это одно и то же правое дело, тот же героизм; но время не то. И у Парижа — увы! — бывают часы, когда его клонит ко сну: *Quandoque bonus dormitat...*¹ Иногда у этого гиганта нет другого занятия, как забыть сон.

Ее надо любить, ее надо жалеть, ей надо все прощать, этой столице, легкомысленной, суетной, поющей, пляшущей, размалеванной, убранной цветами, опасной, столице, которая, как мы уже говорили, дарует власть тому, кто ею владеет, за которую император Максимилиан, предок Карла V, отдал бы всю свою империю, а жирондисты заплатили бы своей кровью и которая досталась Генриху IV ценой обедни. Ее завтрашний день всегда хорош. Безумие Парижа, перебродив, оказывается мудростью.

5

Но, скажут нам, а новейший Париж, Париж последних пятнадцати лет, этот ночной гул, эти маскарады и вакханалии, Париж, говоря о котором часто применяют слово «упадок», — что вы думаете о нем? Что мы о нем думаем? Мы не верим, что он существует. Да и есть ли такой Париж вообще? А если он и есть, то относится к истинному Парижу, Парижу прошлого и будущего, как лист к дереву. И даже меньше того. Как опухоль к организму. Разве вы станете судить о дубе по растущей на нем омеле? Разве вы станете судить о Цицероне по его бородавке?

Последние ночные тени ничего не значат перед величием занимающейся зари. Мы отрицаем упадок, но не отрицаем реакцию. Реакция напоминает упадок; и все же не надо их смешивать: упадок неизлечим, а реакция — явление временное. Мы не отрицаем того, что в наши дни свирепствует реакция. Мы охотно признаем, что реакция существует, — пусть даже неистовая, а следовательно, и бессильная; это она выступает почти повсюду против всего революционного

¹ Порой и Гомеру случается спать (*лат.*) // Гораций. Наука поэзии.

и демократического, против движения умов, порожденного Восемьдесят девятым годом, против всех идей, за которыми — жизнь и будущее. Эта реакция, так бесстрашно разоблаченная гордым и сильным красноречием Эжена Пельтана, искрящимся философским весельем Пьера Верона, проникновенной и глубокой иронией Анри Рошфора, Огюстом Вильмо, Мишле, Луи Ульбахом и благородным негодованием почти всех демократически настроенных писателей, пытается плыть наперекор всем течениям революции, течению литературному, как и течению политическому, течению философскому, как и течению общественному, течению идей, как и течению фактов; она понимает прогресс наизуот и хочет повернуть вспять движение нынешнего века. Нас это мало беспокоит. Эта плесень умов поверхностна; основа общественной мысли не задета; и как бы ни были велики усилия реакции, общее направление эпохи от того отнюдь не меняется. Больна лишь минута, но не век.

Все, что есть реакционного, хотело бы повернуть к прошлому, к политическому прошлому абсолютизма, к прошлому монархической литературы, к восстановлению божественного права как принципа и классического вкуса как догмы. Напрасный труд. Это понятное течение, созданное искусственной запрудой, с ней и исчезнет. Эта реакция, вызывающая насмешку у мыслителей, продлится ровно столько, сколько длится любая реакция: пока для нее не наступит час отлива. А ведь обратное движение столь же вечно, столь же абсолютно и неизбежно для принципов, как и отлив для океанов. Не будем на этом останавливаться. Ни слова об империи упадка.

В своей основе наш век честен и велик. Мы заявляем: после французской революции никакая язва не может быть опасной для народа. Благодаря повсюду проникающему влиянию Франции, благодаря нашему общественному идеалу, покорившему ныне все умы от полюса и до полюса, — благодаря этой чудодейственной вакцине, — Америка излечивается от рабства, Россия от крепостного права, Рим от фанатизма, верования

от бессмыслицы, законы от варварства. Самое великое в революции — это то, что в любой вещи она убивает ее болезнетворное начало. Смотрите. Сумейте установить если и не преобладающее влияние, то хотя бы основную тенденцию. Это — воспитание без гнета, обучение без педантства, порядок без деспотизма, исправление без судебного преследования, «я» без эгоизма, конкуренция без борьбы, свобода без одиночества, человек без зверства, истина без кривотолков, Бог без библии. Что есть французская революция? Повсеместное оздоровление. Была чума — прошлое. Пламя истребило заразу.

6

Порочить Париж, хулить его, высмеивать, презирать — не так уж трудно. Ничего нет проще, как свысока говорить о колоссах. В этом даже есть что-то детское. Для такой цели существуют готовые фразы. Остерегайтесь избитых приемов, а то получится совсем как в школьном обучении: живых поэтов сравнивают с Клавдианом, Луканом и Стацием. Это не ново. Чекки говорил, что Данте — не более как Стаций; для Скюдери Корнель был не более как Клавдианом; для Грина Шекспир — это не более как Лукан и Гонгора. Плохо приходится Данте, Корнелю и Шекспиру! Такие приемы критики, вошедшие в учебники риторики, стары; но что до того? Ими пользуются и поныне. Так и Париж не более как Гоморра. Содом — это вариант Жозефа де Местра.

Париж вызывает ненависть, значит, любовь к нему является долгом. За что его ненавидят? За то, что он очаг, жизнь, труд, созревание, превращение, горнило, возрождение. За то, что Париж — великолепная противоположность всему тому, что царит ныне: суевериям, застою, скепсису, темноте, движению вспять, ханжеству, лжи. В эпоху, когда силлабусы предписывают неподвижность, необходимо помочь роду человеческому и доказать, что движение существует. Париж это доказывает. Каким образом? Тем, что он — Париж.

Быть Парижем — значит двигаться вперед.

Сегодня, когда реакция ополчается против всего прогрессивного, обличаемого и властью папских посланий, и божественным правом, и «хорошим вкусом», и сакраментальным *magister dixit*¹, и рутинной, и традицией, и т. д.; когда все прошлое — фанатизм, схоластика, неоспоримые авторитеты — открыто восстает против могучего девятнадцатого века, сына революции и отца свободы, — именно сегодня полезно, необходимо, справедливо воздать должное Парижу. Признать Париж — значит подтвердить, вопреки всем очевидностям, принимаемым на веру чернью, что всеобщее движение к свободе неудержимо продолжается. Сейчас вся темная клика старых предрассудков и старых режимов торжествует победу и считает, что Париж в беде, подобно тому как дикари во время затмения думают, что солнце в опасности.

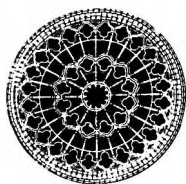
Утверждение Парижа и есть цель настоящей книги.

Это утверждение — здесь, на страницах, которые вы читаете в эту минуту. Утверждение демократии, утверждение мира, утверждение века. Однако нужны и кое-какие оговорки. Утверждение существует лишь при условии, что оно одновременно является и отрицанием. Стало быть, эти страницы должны что-то отрицать.

Это да, говорящее нет.

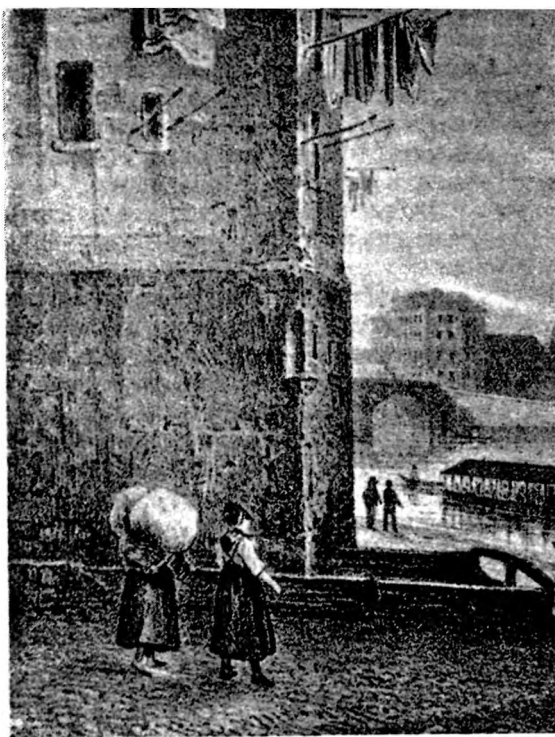
Впрочем, набросав эти листки, мы налагаем на эту книгу не больше обязательств, чем она налагает их на нас. И если есть в ней что-нибудь незначительное, так это мы сами. Здание, воздвигнутое легионом ослепительных умов, — вот что такое эта книга. Если к плеяде имен, объединенных тут, прибавить и другие блистательные имена, отсутствующие по разным причинам, книга стала бы самим Парижем. Что до нас, то, как тому и следует быть, мы только на пороге. Нет нас в городе, нет нас и в книге. Мы за их пределами. Книга существует вне нас, а мы вне ее. Смирненное и суровое одиночество... Мы принимаем его.

¹ Учитель сказал (лат.).



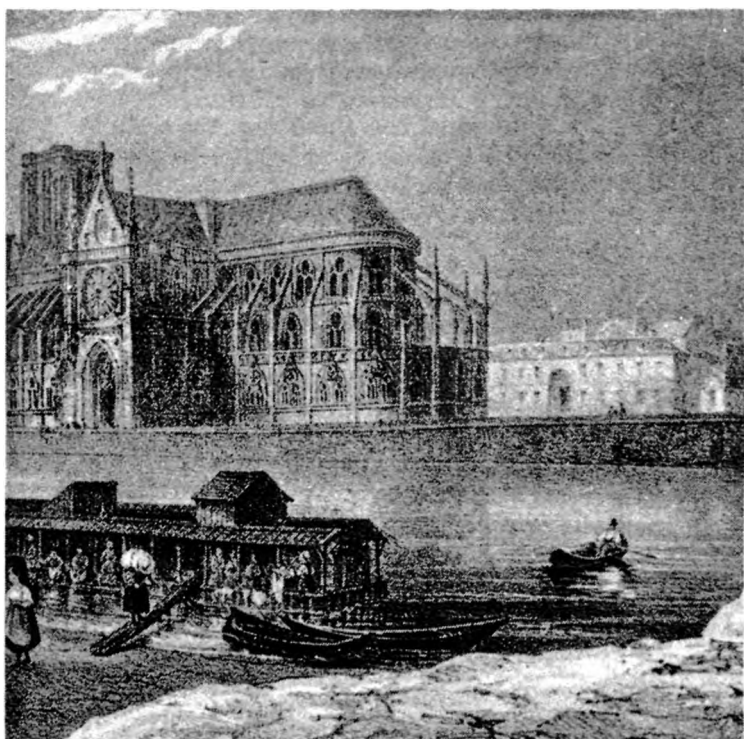
*Это как бы
огромная
каменная
симфония,
колоссаль-
ное
творение и
человека,
и народа,
единое и
сложное,
подобное
«Илиаде» и
«Роман-
серо».*

Виктор Гюго.
«Собор
Парижской
Богоматери»



ПАРИЖ

в средние века
и
эпоху Возрождения



Эсташ Дешан

* * *

*Я видел много, утверждать посмею,
Морей десяток, множество сторон —
Ерусалим, Египет, Галилею;
Дамаском и Каиром поражен,
Я видел Сирию и Вавилон;
Все гавани и все базары,
Все пряности и сласти и отвары,
Парчу и шелк, что блещут, как зарница,
Но пусть скромней французские товары,
Ничто, ничто с Парижем не сравнится.*

*Сей град всех превзошел красой своею,
На многоводной Сене заложен,
В нем вольно мудрецу и грамотею,
Лесов, лугов, садов исполнен он.
Нет града, что б, как он, вас брал в полон
Изыществом угара —
Всех чужестранцев опьяняет чара,
Красой и живостью пленяют лица.
Как отказаться от такого дара?
Ничто, ничто с Парижем не сравнится.*

*О, сколь же краше с толчеею всею,
Чем город, что стеною окружен,
Отрадно здесь купцу и казнодею,
Златокузнец и медник восхвален;
Здесь всех искусств расцвет осуществлен.
У столяра и кашевара
Ума премного, рвеня и жара —
Всяк ремесло свое развить стремится,
Вещам надежность сообщает яро.
Ничто, ничто с Парижем не сравнится.*

Перевод А. Парина

О. Э. Мандельштам

NOTRE-DAME

Где римский судья судил чужой народ,
Стоит базилика,— и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом — дуб, и всюду царь —
отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre-Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

Жерар де Нерваль

СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Собор великий стар. Хоть наш Париж моложе,
Он, может быть, его переживет. Но все же,
Когда пройдут века — ну десять сотен лет,—
Сильней окажется их сумрачная сила,
Железные его свирепо скрутит жилы,
И каменную плоть изложет, и скелет.

И будут приходить к развалинам Собора
Всех стран паломники. Потом роман Виктора
Прочтут в который раз, и вот предстанет им

Вся мощь и царственность старинной базилики,
Как предок предстает прославленный, великий
В мечтанье иль во сне праправнукам своим!

Виктор Гюго

СОБОР БОГОМАТЕРИ

(Глава из романа
«Собор Парижской Богоматери»)

Несомненно, еще и донныне Собор Парижской Богоматери является благородным и величественным зданием. Но каким бы прекрасным Собор, дряхлая, ни оставался, нельзя не скорбеть и не возмущаться при виде тех бесчисленных разрушений и повреждений, которым и годы, и люди одновременно подвергли этот почтенный памятник старины, без малейшего уважения к памяти Карла Великого, заложившего первый камень, и к памяти Филиппа-Августа, положившего последний.

На челе этого старейшего патриарха наших соборов рядом с морщиной неизменно видишь шрам. *Tempus edax, homo edacior*¹, что я охотно перевел бы таким образом: «Время слепо, а человек невежествен».

Если бы у нас с читателями хватило досуга проследить один за другим все те следы разрушения, которые отпечатались на этом древнем храме, мы бы заметили, что доля времени здесь ничтожна, что наибольший вред нанесли люди, и главным образом люди искусства. Я вынужден упомянуть о «людях искусства», ибо в течение двух последних столетий к их числу принадлежали личности, присвоившие себе звание архитекторов. Прежде всего — чтобы ограничиться лишь немногими наиболее значительными примерами — следует указать, что, без сомнения, немного найдется архитектурных страниц прекраснее той, какую является фасад этого Собора, где последовательно и в совокупности предстают перед нами три стрельчатых портала; над ними — зубчатый карниз, словно расшитый двадцатью восемью королевскими нишами, громадное центральное окно-розетка с двумя другими окнами, расположенными по бокам, подобно священнику, стоящему между дьяконом и иподьяконом, высокая и легкая аркада

¹ Время прожорливо, человек еще прожорливей (лат.).

галереи с лепными украшениями в форме трилистника, несущая на своих легких колоннах тяжелую площадку, и, наконец, две мрачные массивные башни с шиферными навесами. Все эти гармонические части великолепного целого, воздвигнутые одни над другими в пять гигантских ярусов, в бесконечном разнообразии безмятежно разворачивают перед глазами свои бесчисленные скульптурные, резные и чеканные детали, могуче и неотрывно сливающиеся со спокойным величием целого. Это как бы огромная каменная симфония, колоссальное творение и человека, и народа; единое и сложное, подобно «Илиаде» и «Романсеро», которым оно родственно; чудесный результат соединения всех сил целой эпохи, где из каждого камня брызжет принимающая сотни форм фантазия рабочего, дисциплинированная гением художника; одним словом, это творение рук человеческих могуче и изобильно, подобно творению бога, у которого оно как будто заимствовало двойственный его характер: разнообразие и вечность.

То, что мы говорим здесь о фасаде, следует отнести и ко всему Собору в целом; а то, что мы говорим о кафедральном Соборе Парижа, следует сказать и обо всех христианских церквях средневековья. Все в этом искусстве, возникшем само собою, последовательно и соразмерно. Смерить один палец ноги гиганта — значит определить размеры всего его тела.

Но возвратимся к этому фасаду в том его виде, в каком он нам представляется нынче, когда мы благоговейно созерцаем суровый и мощный Собор, который, по словам его летописцев, наводит страх — *quae mole sua terrorem incutit spectantibus*¹.

Ныне в его фасаде недостает трех важных частей: прежде всего крыльца с одиннадцатью ступенями, приподнимавшего его над землей; затем нижнего ряда статуй, занимавших ниши трех порталов; и, в-третьих, верхнего ряда изваяний, некогда украшавших галерею первого яруса и изображавших двадцать восемь древних королей Франции, начиная с Хильдеберта и кончая Филиппом-Августом, с королевскою державою в руке.

Время, поднимая медленно и неудержимо уровень почвы Сите, заставило исчезнуть лестницу; но, дав поглотить все растущему приливу парижской мостовой одну за другой эти одиннадцать ступеней, усиливавших впечатление величавой

¹ Чья громада повергает в ужас зрителей (лат.).

высоты этого здания, время же вернуло Собору, быть может, больше, нежели отняло: оно придало его фасаду тот темный колорит веков, который претворяет преклонный возраст памятника в эпоху наивысшего расцвета его красоты.

Но кто низвергнул оба ряда статуй? Кто опустошил ниши? Кто вырубил посреди центрального портала эту новую незаконную стрельчатую арку? Кто отважился поместить туда эту безвкусную, тяжелую резную дверь в стиле Людовика XV рядом с арабесками Бискорнетта?.. Люди, архитекторы, художники наших дней.

А внутри храма — кто поверг ниц исполинскую статую святого Христофора, столь же прославленную среди статуй, как большая зала Дворца правосудия среди других зал и шпиз Страсбургского собора среди колоколен? Кто столь грубо изгнал из храма мириады статуй, которые населяли все промежутки между колоннами нефа и хоров, — статуи коленопреклоненные, стоящие во весь рост, конные, статуи мужчин, женщин, детей, королей, епископов, воинов, каменные, мраморные, золотые, серебряные, медные, даже восковые?.. Уж никак не время.

А кто подменил древний готический алтарь, пышно уставленный раками и ковчезцами, этим тяжелым каменным саркофагом, разукрашенным головами херувимов и облаками, похожим на попавший сюда архитектурный образчик церкви Валь-де-Грас или Дома инвалидов? Кто столь нелепо вделал в плиты карловингского пола, работы Эркандуса, этот тяжелый каменный анахронизм? Не Людовик ли XIV, исполнявший волю Людовика XIII?

Кто заменил холодным, белым стеклом цветные витражи, поочередно притягивавшие восхищенный взор наших предков то к розетке главного портала, то к окнам алтаря? И что сказал бы какой-нибудь причетник XIV века, увидев эту потрясающую желтую замазку, которой наши вандалы-архиепископы запачкали Собор? Он вспомнил бы, что именно этой краской палач отмечал дома осужденных законом; он вспомнил бы отель Пти-Бурбон, также вымазанный в желтый цвет в ознаменование измены конетабля, той самой желтой краской, про которую сказал Соваль, что она «еще более ста лет сохраняла свою свежесть». Причетник решил бы, что святой храм осквернен, и в ужасе бежал бы.

А если мы, минуя тысячу мелких проявлений варварства, поднимемся на самый верх Собора, то спросим себя: что случилось с той очаровательной маленькой колоколенкой,

опиравшейся на точку пересечения свода, столь же хрупкой и столь же смелой, как и ее сосед, шпиг Сент-Шапель (тоже снесенный)? Стройная, остроконечная, звонкая, ажурная, она, далеко опережая башни, так легко вонзалась в ясное небо! Один архитектор (1787), обладавший непогрешимым вкусом, ампутировал ее и решил, что здесь вполне достаточно того широкого свинцового пластыря, настилающего крышку котла, которым теперь заклеена эта рана.

Таково было отношение к дивным произведениям искусства средневековья почти повсюду, особенно во Франции.

На Соборе можно различить три вида более или менее глубоких повреждений. Прежде всего бросаются в глаза повреждения, нанесенные рукою времени: оно там и сям неприметно выщербило и покрыло ржавчиной поверхность здания; затем на него беспорядочно ринулись полчища политических и религиозных смут, — слепые и яростные по своей природе, они растерзали роскошный скульптурный и резной наряд Собора, выбили розетки, разорвали ожерелья из арабесок и статуэток, уничтожили изваяния — одни за то, что те были в митрах, другие за то, что их головы венчали короны; довершили разрушения вычурные и нелепые моды, которые при неизбежном упадке зодчества, начиная с анархических, но великолепных отклонений эпохи Возрождения, сменялись одна за другой.

Моды нанесли больше вреда, чем революции. Они врезались в самую плоть средневекового искусства. Они посягали на самый его остов, они окорнали, искромсали, разрушили, убили в здании его форму, его символ, смысл и его красоту. Не довольствуясь этим, моды осмелились переделать его заново, на что все же не отваживались ни время, ни революции. Считая себя непогрешимыми в понимании «хорошего вкуса», они бесстыдно наложили на раны памятника готической архитектуры свои жалкие, недолговечные побрякушки, мраморные ленты, металлические помпоны — настоящую проказу всех этих яйцеобразных украшений, завитков, ободков, драпировок, гирлянд, бахромы, каменных языков пламени, бронзовых облаков, дородных амуров и пухлых херувимов, которая начинает пожирать истинное искусство еще в молельне Екатерины Медичи, а два века спустя заставляет его, измученное и искаженное, окончательно угаснуть в будуаре Дюбарри.

Итак, повторяя вкратце то, о чем мы говорили выше, укажем на тройкого рода повреждения, обезобразившие

готическое зодчество. Морщины и наросты на поверхности — дело времени. Следы грубого насилия, выбоины, проломы — дело революций, начиная с Лютера и кончая Мирабо. Изувечение, ампутации, изменения в самом костяке здания, так называемые «реставрации» — дело варварской работы подражавших грекам и римлянам ученых мастеров, жалких последователей Витрувия и Виньоля. Так великолепное искусство, созданное вандалами, было убито академиками. К векам, к революциям, разрушавшим, по крайней мере, беспристрастно и величаво, присоединилась туча присяжных зодчих, ученых, признанных, дипломированных, разрушавших сознательно, с разборчивостью дурного вкуса подменяя, к вящей славе Парфенона, кружева готики листьями цикория времен Людовика XV. Так осел лягает умирающего льва. Так древний, засыхающий дуб точат, гложут, кромсают гусеницы.

Как далеко то время, когда Роберт Сеналис, сравнивая Собор Парижской Богоматери с знаменитым храмом Дианы в Эфесе, «столь прославленным язычниками» и обессмертившим Герострата, находил галльский собор «великолепней по длине, ширине, высоте и устройству»!

Собор Парижской Богоматери не может быть, впрочем, назван законченным, цельным, имеющим определенный характер памятником. Это уже не храм романского стиля, но это еще и не вполне готический храм. Это здание промежуточного типа. Собор Парижской Богоматери не имеет, подобно Турнюсскому аббатству, той суровой, мощной ширины фасада, круглого и широкого свода, леденящей наготы, величавой простоты тех зданий, основоположением которых является круглая арка. Он не похож и на собор в Бурже, великолепное, легкое, многообразное по форме, пышное, все ошестившееся остриями стрелок произведение готики. Немыслимо причислить Собор и к древней семье мрачных, таинственных, приземистых и как бы придавленных полукруглыми сводами соборов, напоминающих египетские храмы, за исключением их кровли, целиком эмблематических, жреческих, символических, орнаменты которых больше обременены ромбами и зигзагами, нежели цветами, больше цветами, нежели животными, больше животными, нежели людьми, — храмов, являющихся творениями скорее епископов, чем зодчих, храмов, служивших выражением сдвига в искусстве, насквозь проникнутом теократическим и военным духом, берущим свое начало в Восточной Римской империи и доживающим

до времен Вильгельма Завоевателя. Невозможно также отнести наш Собор и к другой семье соборов, высоких, воздушных, с избытком витражей и скульптурных украшений, остроконечных по форме, смелых по рисунку, — общинных и гражданских, как символы политики, свободных, прихотливых и необузданных, как творения искусства. Это второе превращение зодчества, уже не эмблематического, незыблемого и жреческого, но художественного, прогрессивного и народного, начинающегося после крестовых походов и заканчивающегося в царствование Людовика XI. Таким образом, Собор Парижской Богоматери — не чисто романского происхождения, как первые, и не чисто арабского, как вторые.

Это здание переходной эпохи. Не успел саксонский зодчий воздвигнуть первые столбы нефа, как стрельчатый свод, вынесенный из крестовых походов, победоносно лег на широкие романские капители, предназначенные поддерживать лишь полукруглый свод. С тех пор стрельчатый свод, нераздельно властвуя, завершил сооружение Собора. Неискушенный и скромный при своем возникновении, этот свод разворачивается, увеличивается, но еще обуздывает себя, не дерзая устремиться остриями своих стрел и высоких арок в небеса, как он сделал это впоследствии в стольких чудесных соборах. Его словно еще стесняет соседство тяжелых романских столбов.

Однако изучение этих зданий переходной эпохи от романского стиля к готическому столь же важно, как и изучение образцов чистого стиля. Они выражают собою тот оттенок в искусстве, который, не будь их, был бы для нас утрачен.

Это — прививка стрельчатого свода к полукруглому.

В частности, Собор Парижской Богоматери является примечательным образцом подобной разновидности. Каждая сторона, каждый камень почтенного памятника — это не только страница истории Франции, но и истории науки и искусства. Укажем здесь лишь на главные его особенности. В то время как малые красные врата по своему изяществу почти достигают предела утонченности готического зодчества XV столетия, столбы нефа по объему и тяжести напоминают еще здание аббатства Сен-Жермен-де-Пре времен каролингов, словно между временем сооружения врат и столбов лег промежуток в шестьсот лет. Все, даже герметики, находили в символических украшениях над главным порталом достаточно полный конспект

своей науки, совершенным выражением которой являлась церковь Сен-Жак-де-ла-Бушри. Таким образом, романское аббатство, философическая церковь, готическое искусство, искусство саксонское, тяжелые круглые столбы времен Григория VII, символика герметиков, где Никола Фламель предшествовал Лютеру, единовластие папы, раскол церкви, аббатство Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Жак-де-ла-Бушри — все расплавилось, смешалось, слилось в Соборе Парижской Богоматери. Эта главная церковь, церковь — прародительница, является среди древних церквей Парижа чем-то вроде химеры: у нее голова одной церкви, члены другой, торс третьей, кое-что ото всех.

Повторяем, эти постройки смешанного стиля представляют немалый интерес как для художника — любителя древностей, так и для историка. Они заставляют почувствовать, до какой степени искусство зодчества первобытно, о чем свидетельствуют следы циклопических построек, пирамиды Египта, гигантские индусские пагоды. Крупные памятники прошлого доказывают, что величайшие произведения зодчества — это не столько творения индивидуальны, сколько работа целого общества; это скорее результат творческих усилий народа, чем блистательная вспышка гения; это осадочный пласт, оставляемый после себя нацией; наслоения, отложенные веками; гуща, оставшаяся в результате последовательного испарения общества, — одним словом, это своего рода органическая формация. Каждая волна времени оставляет на памятнике свой намыв, каждое поколение — свой слой, и каждый индивидуум добавляет свой камень. Так поступают бобры, так поступают пчелы, так поступают и люди. Величайший символ зодчества — Вавилон — представлял собою улей.

Великие здания, как и высокие горы, — создания веков. Часто форма искусства успела уже измениться, а они все еще не закончены; *pendent opera interrupta*¹, — тогда они спокойно принимают то направление, которое избрало искусство. Новое искусство берет за памятник в том виде, как оно его находит, отображается в нем, уподобляет его себе, преобразует согласно своей фантазии и, если может, заканчивает его. Это совершается спокойно, без усилий, без противодействия, следует естественному, бесстрастному закону. Это черенок, который привился, это сок, который бродит, это растительность, которая принялась.

¹ Начатые работы приостановлены (лат.) // Вергилий. Энеида.

Поистине в этих последовательных спайках различных искусств на различной высоте одного и того же здания заключается материал для многих объемистых томов, а нередко и сама всемирная история человечества. Художник, личность, человек исчезают в этих огромных массах, не оставляя после себя имени творца; человеческий ум суммируется в них и подводит себе итог. Здесь время — зодчий, а народ — каменщик.

Рассматривая лишь европейское, христианское зодчество, этого младшего брата великого зодчества Востока, мы увидим в этом исполинском напластовании три резко отличных друг от друга пояса: пояс романский¹, пояс готический и пояс Возрождения, который мы охотно назовем греко-римским. Романский пласт, наиболее древний и глубокий, представлен полукруглым сводом, который вновь появляется перед нами в верхнем пласте эпохи Возрождения, поддерживаемый греческой колонной. Между ними лежит пласт стрельчатого свода. Здания, относящиеся только к одному из этих трех наслоений, совершенно отличны от других, законченны и едины. Таковы, например, аббатство Жюмьеж, Реймский собор, церковь Креста господня в Орлеане. Но эти три пояса, как цвета в солнечном спектре, соединяются и сливаются по краям. Отсюда возникли памятники смешанного стиля, здания различных оттенков и промежуточных ступеней.

Встречаются памятники романские по своему основанию, готические — по средней части, греко-римские — по куполу. Это объясняется тем, что они строились шестьсот лет. Впрочем, подобная разновидность встречается редко. Образчиком такого здания служит башня замка д'Этамп. Чаще других встречаются памятники двух формаций. Таков Собор Парижской Богоматери — здание со стрельчатым сводом, которое своими столбами внедряется в тот же романский слой, куда погружены и портал Сен-Дени, и неф церкви Сен-Жермен-де-Пре. Такова и прелестная полуготическая зала капитула Бошервиля, до половины ох-

¹ Это то искусство, которое, в зависимости от местности, климата и расы обитателей, называется также ломбардским, саксонским и византийским. Эти четыре разновидности архитектуры родственны и существуют параллельно, каждая отличается особым характером, но в основе их лежит полукруглый свод.

«Facies non omnibus una,
Non diversa tamen, qualem» *etc.*

«Все не на одно лицо, однако очень схожи». (Примеч. авт.)

важная романским пластом, таков и кафедральный собор в Руане, который был бы целиком готическим, если бы острие его центрального шпиля не уходило в эпоху Возрождения¹.

Впрочем, все эти оттенки и различия касаются лишь наружности здания. Искусство меняет здесь лишь оболочку. Самое же устройство христианского храма в основном остается неизменным. Внутренний остов его все тот же, все то же логическое расположение частей. Какой бы скульптурой и резьбой ни была разукрашена оболочка храма, под нею неизменно находишь, хотя бы в зародышевом, начальном состоянии римскую базилику. Она располагается на земле по неизменному закону. Это все те же два крестообразно пересекающихся нефа, заканчивающиеся вверх закругленным навесом, образующим хоры; это неизменно все те же боковые нефы для крестных ходов внутри храма или для часовен — нечто вроде боковых проходов, с которыми центральный неф сообщается через промежутки между колоннами. На этом неизменном основании бесконечно варьируется число часовен, порталов, колоколен, шпилей, следуя за фантазией века, народа и искусства. Предусмотрев и обеспечив все правила церковного богослужения, зодчество в остальном поступает как ему вздумается. Изваяния, окна, розетки, арабески, резные украшения — зодчество все это сочетает по своему вкусу и своим правилам. Отсюда проистекает изумительное внешнее разнообразие подобного рода зданий, в основе которых заключено столько порядка и единства. Ствол дерева — неизменен, разветвления — прихотливы.

Юлиан Пшибось

NOTRE-DAME

Миллионы молитвенно сложенных пальцев воздвигли пространство.

Сняло со шпиля меня, как тушу с крючка, потрясенье.

¹ Эта деревянная часть шпиля была уничтожена молнией в 1823 году. (Примеч. авт.)

в тех городах старинных ты бы мог
от обихода отличить размах
соборов кафедральных. Их исток
превысил всё и вся. Он так высок,
что не вмещается в пределы взгляда,

как близость собственного «я» — громада
необозримая. Как будто рок,
что в них накапливается без меры
и каменеет — вечности стена —
не то, что там, в низине грязно-серой,

случайные хватая имена,
рядится в ярко-красное рядно,
напяливает синие уборы.
Здесь были роды, где теперь — опора,
а выше — сила и разгон напора,
везде любовь, как хлеб или вино,
в порталах жалобы любви, укоры,
но бой часов — предвестник смерти скорой,
и вслед за ним кончаются соборы
и рост свой прекращают заодно.

ОКНО-РОЗА

Там лап ленивых плавное движенье
рождает страшной тишины раскат.
Но вот одна из кошек, взяв мишенью
блуждающий по ней тревожный взгляд,

его вбирает в свой огромный глаз,
и взгляд, затянутый в водоворот
зрачка, захлебываясь и кружась,
ко дну навстречу гибели идет,—

когда притворно-спящий глаз, на миг
открывшись, вновь смыкается поспешно,
чтоб жертву в недрах утопить своих.

Вот так соборов окна-розы встарь,
взяв сердце чье-нибудь из тьмы кромешной,
его бросали богу на алтарь.

Виктор Гюго

ПАРИЖ С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

(Глава из романа
«Собор Парижской Богоматери»)

Мы попытались восстановить перед читателями чудесный Собор Парижской Богоматери. Мы вкратце указали на все те красоты, которыми он обладал в XV веке и которых ныне ему недостает, но мы опустили главное, а именно — панораму Парижа, открывающуюся с высоты его башен.

Когда после долгого восхождения ощупью по темной спирали лестницы, пронзающей в перпендикулярном направлении толщу колоколен, вы внезапно вырываетесь на одну из высоких, полных воздуха и света террас, перед вами разворачивается со всех сторон великолепная панорама. Зрелище *sui generis*¹, о котором могут составить себе понятие лишь те из читателей, кому посчастливилось видеть какой-нибудь готический город во всей его целостности, завершенности и сохранности, — а таковые еще кое-где имеются, как, например, Нюрнберг в Баварии, Виттория в Испании, — или хотя бы миниатюрные образцы таких городов, лишь бы они хорошо сохранились, вроде Витре в Бретании или Нордгаузена в Пруссии.

Париж триста пятьдесят лет тому назад, Париж XV столетия был уже городом-гигантом. Мы, парижане, заблуждаемся относительно позднейшего увеличения площади, занимаемой Парижем. Со времен Людовика XI Париж вырос немногим более чем на одну треть, и, несомненно, он гораздо больше проиграл в красоте, чем выиграл в размере.

Как известно, Париж возник на древнем острове Сите, имеющем форму колыбели. Плоский песчаный берег этого острова был его первой границей, а Сена — первым рвом. В течение нескольких веков Париж существовал как остров с двумя мостами — один на севере, другой на юге — и с двумя мостовыми башнями, служившими одновременно воротами и крепостями: Гран-Шатле на правом берегу и Пти-Шатле — на левом.

Позже, начиная со времен первой королевской династии,

¹ Единственное в своем роде (лат.).

Париж, слишком стесненный на своем острове, не находя возможности развернуться на нем, перекинулся через реку. Первая ограда крепостных стен и башен врезалась в поля по обе стороны Сены за Гран-Шатле и Пти-Шатле. От этой древней ограды еще в прошлом столетии оставались кое-какие следы, но нынче от нее сохранилось лишь воспоминание, лишь предание, запечатлевшееся в названиях ворот Бодэ, или Бодуайе (*Porta Bagauda*). Мало-помалу поток домов, непрестанно выталкиваемый из сердца города, перехлестнул через ограду, источил, разрушил и стер ее. Филипп-Август воздвигает ему новую плотину. Он со всех сторон заковывает Париж в цепь толстых башен, высоких и прочных. В течение целого столетия дома жмутся друг к другу, скопляются и, словно вода в резервуаре, все выше поднимают свой уровень в этом бассейне. Они растут в глубь дворов, они нагромождают этажи на этажи, карабкаются друг на друга, они, как всякая сжатая жидкость, устремляются вверх, и только тот из них дышал свободно, кому удавалось поднять голову выше соседа. Улицы все более и более углубляются и суживаются, площади застраиваются и исчезают. Наконец дома перескакивают через ограду Филиппа-Августа и весело, вольно, вкривь и вкось, как вырвавшиеся на свободу узники, рассыпаются по равнине. Они выкраивают в полях сады, устраиваются с удобствами.

Начиная с 1367 года город до того разлился по предместьям, что для него потребовалась новая ограда, особенно на правом берегу. Ее возвел Карл V. Но город, подобный Парижу, растет непрерывно, — только такие города и превращаются в столицы. Это воронки, куда ведут все географические, политические, моральные и умственные стоки страны, куда направлены все естественные склонности целого народа; это, так сказать, кладези цивилизации и в то же время резервуары, куда, капля за каплей, век за веком, без конца просачиваются и где скапливаются торговля, промышленность, образование, народность — все, что плодоносно, все, что живительно, все, что составляет душу нации. Стены Карла V разделили судьбу ограды Филиппа-Августа. С конца XV столетия дома перемахнули и через это препятствие, предместья устремились дальше. В XVI столетии эта ограда как бы все больше и больше подается назад в старый город — до того разросся за ней новый. Таким образом, уже в XV веке, на котором мы и остановимся, Париж успел стереть три концентрических кру-

га стен, зародышем которых были Гран-Шатле и Пти-Шатле.

Могучий город разорвал четыре пояса своих стен — так дитя прорывает одежды, из которых выросло. При Людовике XI среди этого моря домов торчали кое-где группы полуразвалившихся башен, оставшиеся от древних оград, подобно остроконечным вершинам холмов во время наводнения, — это был архипелаг старого Парижа, затопленный приливом нового города.

С тех пор, как это ни грустно, Париж вновь преобразился, он преодолел еще одну ограду, ограду Людовика XV, эту жалкую стену из глины и щебня, достойную короля, построившего ее, и поэта, ее воспевшего.

Le mur murant Paris rend Paris murmurant ¹.

В XV столетии Париж был разделен на три города, резко отличных друг от друга, независимых, обладавших каждый своей физиономией, своим специальным назначением, своими нравами, обычаями, привилегиями, своей историей: Сите, Университет и Город. Сите, расположенный на острове, самый древний из них и самый незначительный по размерам, был матерью двух других городов, напоминая собою маленькую старушку между двумя стройными красавицами дочерьми (да простится нам это сравнение). Университет располагался на левом берегу Сены, от башни Турнель до Нельской башни; в современном Париже эти пункты соответствуют: один — Винному рынку, другой — Монетному двору. Ограда его довольно широким полукругом врезалась в поле, на котором некогда Юлиан Отступник воздвиг свои термы. В этой ограде находился и холм святой Женеьевы. Крайней точкой этой дуги были Папские ворота, почти на том самом месте, где ныне расположен Пантеон. Город, самая обширная из трех частей Парижа, занимал правый берег Сены. Его набережная, обрывавшаяся, вернее — прерывавшаяся в нескольких местах, тянулась вдоль Сены, от башни Бильи до башни Буа, то есть от того места, где расположены теперь Продовольственные склады, и до Тюильри. Эти четыре точки, в которых Сена перерезала ограду столицы, оставляя налево Турнель и Нельскую башню, а направо — башню Бильи и башню

¹ Игра слов: «Стена, окружающая Париж, вызывает ропот Парижа» (фр.). Обыгрывается созвучие слов «стена» и «ропот».

Буа, известны главным образом под именем «Четырех парижских башен». Город вдавался в поля еще дальше, чем Университет. Главным пунктом его ограды (возведенной Карлом V) были ворота Сен-Дени и Сен-Мартен, местоположение которых не изменилось и до сих пор.

Как мы уже сказали, каждая из этих трех больших частей Парижа составляла особый город, но город слишком обособленный, чтобы быть вполне законченным и обходиться без двух других. Поэтому и облик каждого из этих трех городов был совершенно своеобразен. В Сите преобладали церкви, в Городе — дворцы, в Университете — учебные заведения. Не касаясь в данном случае второстепенных особенностей древнего Парижа и прихотливых законов дорожного ведомства, отметим в общих чертах, основываясь лишь на случаях согласованности и однородности в этом хаосе городских ведомств, что юридическая власть на острове принадлежала епископу, на правом берегу — торговому старшине, а на левом — ректору. Верховная же власть над всеми принадлежала парижскому превё, то есть чиновнику королевскому, а не муниципальному. В Сите находился Собор Парижской Богоматери, в Городе — Лувр и ратуша, а в Университете — Сорбонна. В Городе помещался Центральный рынок, в Сите — госпиталь Отель-Дье, в Университете — Пре-о-Клер. Проступки, совершаемые школярами на левом берегу, разбирались на острове во Дворце правосудия и карались на правом берегу в Монфоконе, если только в дело не вмешивался ректор, знавший, что Университет — сила, а король слаб. Школяры обладали привилегией быть повешенными у себя.

Заметим мимоходом, что большая часть этих привилегий — а среди них встречались и более важные — была исторгнута у королевской власти путем бунтов и мятежей. Таков, впрочем, стародавний обычай: король тогда лишь уступает, когда народ вырывает. Есть старинная грамота, где очень наивно сказано по поводу верности подданных: *Civibus fidelitas in reges, quae tamen aliquoties seditionibus interrupta, multa peperit privilegia*¹.

В XV столетии Сена омывала пять островов, расположенных внутри парижской ограды, — Волчий остров,

¹ Верность граждан правителям, прерываемая, однако, изредка восстаниями, породила увеличение их привилегий (лат.).

где в те времена росли деревья, а ныне продают дрова, острова Коровий и Богоматери — оба пустынные, если не считать двух-трех лачуг. Эти острова представляли собой ленное владение парижского епископа (в XVII столетии оба эти острова слили, застроили и назвали островом святого Людовика). Затем следовал Сите и примыкавший к нему островок Коровий перевоз, с тех пор исчезнувший под насыпью Нового моста. В Сите в то время было пять мостов, из которых три с правой стороны: каменные — Богоматери и Менял и деревянный Мельничный мост; с левой же стороны — каменный Малый мост и деревянный Сен-Мишель, — все они были застроены домами. Университет имел шесть ворот, построенных Филиппом-Августом, а именно, начиная с Турнель: ворота Сен-Виктор, ворота Борделль, Папские, ворота Сен-Жак, Сен-Мишель и Сен-Жермен. Город имел также шесть ворот, построенных Карлом V. Это были, начиная от башни Бильи, ворота Сент-Антуан, ворота Тампль, Сен-Мартен, Сен-Дени, ворота Мон-мартр, ворота Сент-Оноре. Все эти ворота были крепки и — что нисколько не мешало их прочности — красивы. Воды, поступавшие из Сены в широкий и глубокий ров, где во время зимнего половодья образовывалось сильное течение, омывали подножие городских стен вокруг всего Парижа. На ночь ворота запирались, реку на обоих концах города заграждали толстыми железными цепями, и Париж почивал спокойно.

С высоты птичьего полета эти три части — Сите, Университет и Город — представляли собою, каждая в отдельности, густую сеть причудливо перепутанных улиц. Тем не менее с первого взгляда становилось очевидным, что эти три отдельные части города составляют одно целое. Можно было сразу разглядеть две длинные параллельные улицы, тянувшиеся беспрерывно, без поворотов, почти по прямой линии; спускаясь перпендикулярно к Сене и пересекая все три города с юга на север, они соединяли, смешивали, сливали их и, неустанно переливая людские волны из ограды одного города в ограду другого, превращали три города в один. Первая из этих улиц вела от ворот Сен-Жак к воротам Сен-Мартен; в Университете она называлась улицей Сен-Жак, в Сите — Еврейским кварталом, а в Городе — улицую Сен-Мартен. Она дважды перебрасывалась через реку мостами Богоматери и Малым. Вторая называлась улицею ла Гарп — на левом берегу, на острове — Бочарной улицею, на правом берегу — улицею Сен-Дени,

мостом Сен-Мишель — на одном рукаве Сены, мостом Менял — на другом и тянулась от ворот Сен-Мишель в Университете до ворот Сен-Дени в Городе. Словом, под всеми этими различными названиями скрывались все те же две улицы, улицы-матери, улицы-прародительницы, две артерии Парижа. Все остальные вены этого тройного города либо питались от них, либо в них вливались.

Независимо от этих двух главных поперечных улиц, пронзавших Париж из края в край, во всю его ширину, и общих для всей столицы, Город и Университет, каждый в отдельности, имели свою собственную главную улицу, которая тянулась параллельно Сене и пересекала под прямым углом обе «артериальные» улицы. Итак, в Городе от ворот Сент-Антуан можно было по прямой линии спуститься к воротам Сент-Онорэ, как в Университете от ворот Сен-Виктор к воротам Сен-Жермен. Эти две большие дороги, скрещиваясь с двумя упомянутыми выше, представляли собою ту основу, на которой покоилась повсюду одинаково узловатая и густая, подобная лабиринту, сеть парижских улиц. Пристально взглядываясь в сливающийся рисунок этой сети, можно было различить, кроме того, как бы два пучка, расширяющихся один в сторону Университета, другой — в сторону Города, — две связки больших улиц, которые шли, разветвляясь, от мостов к воротам.

Кое-что от этого геометриального плана сохранилось и донныне.

Какой же вид представлял город в целом с высоты башен Собора Парижской Богоматери в 1482 году?

Вот об этом-то мы и попытаемся рассказать.

Запахавшийся зритель, взобравшийся на самый верх Собора, прежде всего был бы ослеплен зрелищем расстилавшихся внизу крыш, труб, улиц, мостов, площадей, шпилей колоколен. Его взору одновременно представлялись бы: резной щипец, остроконечная кровля, башенка, повисшая на углу стены, каменная пирамида XI века, шиферный обелиск XV века, круглая гладкая башня замка, четырехугольная узорчатая колокольня церкви — и большое, и малое, и массивное, и воздушное. Его взор долго блуждал бы, проникая в различные глубины этого лабиринта, где все было отмечено своеобразием, гениальностью, целесообразностью и красотой; все было порождением искусства, начиная с самого маленького домика с расписным и лепным фасадом, наружными деревянными креплениями,

с низкой аркой двери и нависающими над ним верхними этажами и кончая величественным Лувром, окруженным в те времена колоннадой башен. Назовем те главные массивы зданий, которые вы прежде всего различите, освоившись в этом хаосе строений.

Прежде всего Сите. «Остров Сите, — как называет его Соваль, у которого среди пустословия временами встречаются удачные выражения, — напоминает громадное судно, завязшее в тине и отнесенное течением ближе к середине Сены». Мы уже объясняли, что в XV столетии это «судно» было пришвартовано к обоим берегам реки пятью мостами. Эта напоминающая корабль форма острова поразила также и составителей геральдики. По словам Фавена и Паскье, только благодаря этому сходству, а вовсе не вследствие осады норманнов, на древнем гербе Парижа изображено судно. Для человека, умеющего в ней разбираться, геральдика — алгебра, геральдика — язык. Вся история второй половины средних веков начертана на гербах, подобно тому как история первой их половины выражена в символикe романских церквей. Это иероглифы феодализма, заменившие иероглифы теократии.

Итак, первое, что бросалось в глаза, был остров Сите, обращенный кормою на восток, а носом на запад. Став лицом к носу корабля, вы различали перед собой бесчисленный рой старых кровель, над которыми широко круглилась свинцовая крыша Сент-Шапель, похожая на спину слона, отягощенного своей башенкой, но здесь этой башенкой был самый дерзновенный, самый отточенный, самый филигранный, самый прозрачный шпиль, сквозь кружевной конус которого просвечивало голубое небо. Перед Собором Парижской Богородицы, со стороны паперти, расстилалась великолепная площадь, застроенная старинными домами с вливающимися в нее тремя улицами. Южную сторону этой площади осенял весь изборожденный морщинами, угрюмый фасад госпиталя Отель-Дье с его словно покрытой волдырями и бородавками кровлей. Далее направо, налево, к востоку, к западу в этом сравнительно тесном пространстве Сите вздымались колокольни двадцати одной церкви различных эпох, разнообразных стилей, всевозможных размеров, начиная от приземистой и источенной червями романской колоколенки Сен-Денидю-Па (Carcet Glaucini) и кончая тонкими иглами церквей Сен-Пьер-о-Беф и Сен-Ландри. Позади Собора Парижской Богородицы на севере раскинулся монастырь с его готи-

ческими галереями; на юге — полуроманский епископский дворец; на востоке — пустынная оконечность Терэн. В этом нагромождении домов можно было различить по его высоким каменным ажурным навесам, украшавшим в эту эпоху все, даже слуховые окна дворцов, особняк, поднесенный городом в дар Ювеналу Дезюрсен при Карле VI; чуть подалее — просмоленные балаганы рынка Палюс; еще дальше — новые хоры старой церкви Сен-Жермен, удлиненные в 1458 году за счет улицы Фев; а там — то кишащий народом перекресток, то воздвигнутый на углу улицы вращающийся позорный столб, то остаток прекрасной мостовой Филиппа-Августа — великолепно вымощенная посреди улицы дорожка для всадников, которую так неудачно заменили в XVI веке жалкой булыжной мостовой, именовавшейся «Мостовою Лиги», то пустынный внутренний дворик, с одной из тех сквозных башенок, которые пристраивались к дому и заключали в себе винтовую лестницу, как это было принято в XV веке и образец которых еще и теперь можно встретить на улице Бурдонне. Наконец вправо от Сент-Шапель, к западу, на самом берегу реки, разместилась группа башен Дворца правосудия. Высокие деревья королевских садов, разбитых на западной оконечности Сите, застилали от взора островок Перевоза. Что касается воды, то с башен Собора Парижской Богоматери ее почти вовсе не было видно ни с той, ни с другой стороны: Сена скрывалась под мостами, а мосты — под домами.

И если вы, минуя эти мосты, застроенные домами, кровли которых, преждевременно заплесневелые от водяных испарений, зеленели перед вами, обращали взор влево, к Университету, то прежде всего вас поражал большой приземистый сноп башен Пти-Шатле, разверстые ворота которого, казалось, поглощали конец Малого моста. И если ваш взгляд устремлялся вдоль берега, с востока на запад, от башни Турнель и до Нельской, то перед вами длинной вереницей бежали здания с резными балками, с цветными оконными стеклами, с нависшими друг над другом этажами — нескончаемая ломаная линия коньков на домах горожан, то и дело перегрызаемая пастью какой-нибудь улицы, обрываемая фасадом или углом какого-нибудь большого каменного особняка, непринужденно развернувшегося своими дворами и садами, крылами и корпусами среди этого сборища теснящихся, жмущихся друг к другу домов, подобно знатному барину среди деревенщины.

Таких особняков на набережной было пять или шесть, начиная от особняка де Лорен, разделявшего с бернардинцами большое огороженное пространство по соседству с Турнель, и до особняка Нель. Его главная башня была рубежом Парижа, а его остроконечные кровли три месяца в году застилали своими черными треугольниками багряный диск заходящего солнца.

На этом берегу Сены было меньше торговых заведений, чем на противоположном; здесь больше толпились и шумели школяры, нежели ремесленники. И, в сущности, набережной, в настоящем смысле этого слова, служило лишь пространство, идущее от моста Сен-Мишель до Нельской башни. Остальная часть берега Сены была либо оголенной песчаной полосой, — как по ту сторону владения бернардинцев, — либо скопищем домов, подступавших к самой воде, — как, например, между обоими мостами.

Здесь постоянно слышался оглушительный гвалт прачек; с утра до вечера они кричали, болтали и пели вдоль всего побережья и звучно колотили вальками, как и в наши дни. Это был веселый уголок Парижа.

Университетская сторона казалась сплошной глыбой. Из конца в конец это была однородная и сплоченная масса. Ее тысячи частых остроугольных, сросшихся, почти одинаковых по форме кровель казались с высоты кристаллами одного и того же вещества. Прихотливо извивающийся ров улиц разрезал на почти пропорциональные ломты этот пирог домов. Сорок два коллежа Университетской стороны были расположены довольно равномерно и заметны были повсюду. Разнообразные и забавные коньки крыш всех этих прекрасных зданий были произведением того же самого искусства, что и скромные кровли, над которыми они возвышались; в сущности, они были не чем иным, как возведением в квадрат или в куб той же геометрической фигуры. Итак, они лишь усложняли целое, не нарушая его единства, дополняли, не обременяя его. Геометрия — это та же гармония. Над живописными чердаками левого берега там и сям великолепными возвышениями выступали несколько прекрасных особняков: нынче исчезнувшие Неверское подворье, Римское подворье и особняк Клюни, существующий еще и до сих пор, к утешению художников, но башню которого несколько лет тому назад так нелепо развенчали, сняв ее шпиль. Возле Клюни — здание романского стиля, с прекрасными сводчатыми арками — это термы Юлиана. Здесь было также множество аббатств, хоть и более сми-

ренной красоты, более суровой величавости, но не менее прекрасных и не менее обширных. Из них прежде всего останавливали внимание: Бернардинское аббатство с тремя колокольнями; монастырь святой Женеьевы, уцелевшая четырехугольная башня которого заставляет так сильно сожалеть об остальном; Сорбонна, полушкола, полумонастырь, от которой сохранился еще столь изумительный неф; красивый квадратной формы монастырь матюринцев; его сосед, монастырь бенедиктинцев, в ограду которого за время, протекшее между седьмым и восьмым изданием этой книги, на скорую руку, успели втиснуть театр; Кордельерское аббатство, с тремя громадными высящимися рядом пиньонами; Августинское, изящная стрелка которого поднималась на западной стороне этой части Парижа, вслед за Нельской башней. В ряду этих монументальных зданий коллежи, являющиеся, собственно говоря, соединительным звеном между монастырем и миром, по суровости, исполненной изящества, по скульптуре, менее воздушной, чем у дворцов, и архитектуре, менее строгой, чем у монастырей, занимали среднее место между особняками и аббатствами. К сожалению, теперь почти ничего не сохранилось от этих памятников старины, в которых готическое искусство с такой точностью перемежало пышность и умеренность. Над всем господствовали церкви (они были многочисленны и великолепны в Университете и также являли собою все эпохи зодчества, начиная с полукруглых сводов Сен-Жюльена и кончая стрельчатыми арками Сен-Северина), и, как еще один гармонический аккорд, добавленный всему хору созвучий, они то и дело прерывали сложный узор пиньонов резными шпильями, сквозными колокольнями, тонкими иглами, линии которых были лишь великолепным и преувеличенным повторением остроугольной формы кровель.

Университетская сторона была холмистою. Холм святой Женеьевы на юго-восточной стороне вздувался, как огромный пузырь, и любопытное зрелище с высоты Собора Парижской Богоматери являло собой это множество узких и извилистых улиц (ныне Латинский квартал), эти грозди домов, разбросанных по всем направлениям на его вершине и в беспорядке, почти отвесно устремляющихся по ее склонам к самой реке: одни, казалось, падают, другие — карабкаются вверх, а все вместе — цепляются друг за друга. От непрерывного потока сливающихся на мостовой тысяч черных точек так и рябило в глазах: это кишела

толпа, еле различимая с такой высоты и на таком расстоянии.

Наконец сквозь промежуток между этими кровлями и шпильями, этими разнообразными многочисленными зданиями, столь причудливо изгибавшими, закручивавшими и зубчавшими линии границы Университетской стороны, местами проглядывали часть толстой замшелой стены, массивная круглая башня, зубчатые городские ворота, изображавшие крепость,— то была ограда Филиппа-Августа. По ту сторону ограды зеленели луга, убегали дороги, вдоль которых тянулись последние дома предместий, все более и более редевшие, по мере того как они удалялись от города.

Некоторые из этих предместий имели довольно важное значение. Таково, например, начиная от Турнель, предместье Сен-Виктор с его одноарочным мостом через Бьевр, с его аббатством, в котором сохранилась эпитафия Людовика Толстого — *epitaphium Ludovici grassi*, с церковью, увенчанной восьмигранным шпилем, окруженным четырьмя колоколенками XI века (такой же точно можно видеть и до сих пор в Этампе, его еще не разрушили). Далее — предместье Сен-Марсо, уже имевшее в то время три церкви и один монастырь; еще далее, оставляя влево мельницу Гобеленов, ее четыре белые стены, можно было увидеть предместье Сен-Жак с чудесным резным распятием на перекрестке. Потом — церковь Сен-Жак-дю-Го-Па, которая в то время была еще готической, остроконечной, прелестной; церковь Сен-Маглуар XIV века, прекрасный неф которой Наполеон превратил в сеновал; Нотр-Дам-де-Шан, с византийской мозаикой. Наконец, минуя стоящий в открытом поле картезианский монастырь — роскошное здание, современное Дворцу правосудия, с множеством палисадничков, и руины Вовера, пользующиеся такой дурной славой, глаз встречал на западе три романские стрелы церкви Сен-Жермен-де-Пре; а позади нее бывшее в то время уже большой общиной Сен-Жерменское предместье, которое расчленилось на пятнадцать-двадцать улиц. Один из углов этого предместья был отмечен островерхой колокольной Сен-Сюльпис. Тут же рядом можно было разглядеть четырехстенную ограду Сен-Жерменской ярмарочной площади, где ныне расположен рынок; затем — вертящийся позорный столб, принадлежавший аббатству, — прелестную круглую башенку, под свинцовым конусом; еще дальше — черепичный завод и улицу Дю-Фур, ведущую к общест-

венной хлебопекарне, мельницу на пригорке и больницу для прокаженных — изолированный домик, которого сторонились. Но что особенно притягивало взоры — это само аббатство Сен-Жермен, этот производивший внушительное впечатление и как церковь, и как ленное владение монастырь, этот дворец духовенства, в котором парижские епископы считали за честь провести хотя бы одну ночь; его трапезная, которая, благодаря стараниям архитектора, по облику, красоте и великолепному окну-розетке напоминала собор, его изящная часовня Богородицы, монументальный дортуар, обширные сады, опускная решетка, подъемный мост, словно выстроенная на зеленом фоне окрестных лугов зубчатая ограда, дворы, где среди отливающих золотом кардинальских мантий сверкали доспехи воинов, — все это, сгруппированное и сплоченное вокруг трех высоких романских шпилей, прочно покоившихся на готическом своде, вставало на горизонте великолепной картиной.

Когда, наконец, вдосталь насмотревшись на Университетскую сторону, вы обращались к правому берегу, к Городу, панорама резко изменялась. В сущности, Город, хотя и более обширный, чем Университет, не представлял единства. С первого взгляда нетрудно было заметить, что он распадается на несколько совершенно обособленных частей. Та часть Города на востоке, которая и теперь еще называется «болотом» (в память о том болоте, куда Камюложен завлек Цезаря), представляла собою скопление дворцов. Весь этот квартал тянулся до самой реки. Четыре почти смежных особняка — Жуи, Санс, Барбо и особняк королевы — отражали в водах Сены свои шиферные крыши, прорезанные стройными башенками. Эти четыре здания заполняли все пространство от улицы Нонендьер до аббатства целестинцев, игла которого изящно оттеняла линию их зубцов и пиньонов. Несколько позеленевших от плесени лачуг, нависших над водой перед этими роскошными особняками, не мешали разглядеть прекрасные линии их фасадов, их широкие квадратные окна с каменными косяками, их стрельчатые портики, уставленные статуями, четкие грани стен из тесаного камня и все те очаровательные архитектурные случайности, благодаря которым кажется, будто готическое зодчество в каждом памятнике прибегает к новым сочетаниям. Позади этих дворцов, разветвляясь по всем направлениям, то в продольных пазах, то в виде частокола, то вся в зубцах, как крепость, то прясась, как заго-

родный домик за раскидистыми деревьями, тянулась бесконечная причудливая ограда того удивительного дворца Сен-Поль, в котором король Франции мог свободно и роскошно разместить двадцать два принца королевской крови, таких, как дофин и герцог Бургундский, с их слугами и с их свитой, не считая знатных вельмож и императора, когда тот посещал Париж, а также львов, которым были отведены особые палаты в этом королевском дворце. Заметим, что в то время помещение царственной особы состояло не менее чем из одиннадцати покоев, от парадного зала и до молельной, не считая галерей, бань, ванных комнат и иных, не имеющих специального назначения комнат, которые относились к каждому отдельному помещению, не говоря об отдельных садах, отводимых для каждого королевского гостя, не говоря о кухнях, кладовых, людских, общих трапезных, задних дворах, где находились двадцать два главных служебных помещения, от хлебопекарни и до винных погребов, не говоря о помещениях для разнообразных игр — в шары, в мяч, в обруч, — о птичниках, рыбных садках, зверинцах, конюшнях, стойлах, библиотеках, оружейных палатах и кузницах. Вот что представлял собою тогда королевский дворец, будь то Лувр или Сен-Поль. Это был город в городе.

С той башни, на которой мы стоим, дворец Сен-Поль, полузакрытый от нас четырьмя большими зданиями, о которых мы только что упоминали, был еще очень внушительен и великолепен. В нем легко можно было различить три особняка, которые Карл пристроил к своему дворцу, хотя они и были искусно спаяны с главным зданием при помощи ряда длинных галерей с расписными окнами и колонками. Это были: особняк Пти-Мюс с резной балюстрадой, изящно окаймлявшей его крышу; особняк аббатства Сен-Мор, имевший вид крепости, с массивной башней, бойницами, амбразурами, небольшими железными бастионами и гербом аббатства между двух выемок для подъемного моста на широких саксонских воротах; особняк графа д'Этамп с разрушенной вышкой круглой замковой башни, зазубренной, как петушиный гребень; местами три-четыре вековых дуба образовывали там купы, наподобие громадных кочанов цветной капусты; в прозрачных водах сажалок, переливающихся светом и тенью, глаз подмечал вольные игры лебедей; а дальше — множество дворов, живописную глубину которых можно было разглядеть; Львиный дворец с низкими сводами на приземистых саксонских столбах,

с железными решетками, из-за которых постоянно слышалось рычание; над всем этим вздымалась чешуйчатая стрела церкви Благовещенья. Слева находилось жилище парижского прево, окруженное четырьмя тончайшей резьбы башенками. В середине, в глубине, находился самый дворец Сен-Поль со всеми его размножившимися фасадами, с постепенными приращениями со времен Карла V, этими смешанного стиля наростами, которыми в продолжение двух веков обременяла его фантазия архитекторов, со сводчатыми алтарями его часовен, пиньонами его галерей, с тысячью флюгеров на все четыре стороны и двумя смежными башнями, конические крыши которых, окруженные у основания зубцами, напоминали островерхие, с приподнятыми полями шляпы.

Продолжая подниматься ступень за ступенью по этому простирающемуся в отдалении амфитеатру дворцов и преодолев глубокую лощину, словно вырытую среди кровель Города и обозначающую улицу Сент-Антуан, ваш взор достигал, наконец, Ангулемского подворья, обширного строения, созданного усилиями нескольких эпох, в котором новые, незапятнанной белизны части столь же мало шли к целому, как красная заплатка к голубой мантии. Тем не менее изумительная остроконечная и высокая крыша нового дворца, щетинившаяся резными желобами, покрытая свинцовыми полосами, на которых тысячей фантастических арабесок вились искрящиеся инкрустации из позолоченной меди, эта крыша, столь своеобразно разукрашенная, грациозно возносилась над бурыми развалинами старинного дворца, толстые башни которого, раздувшиеся от времени, словно бочки, осевшие от ветхости и треснувшие сверху донизу, напоминали толстяков с расстегнувшимися на брюхе жилетами. Позади этого здания высился лес стрел дворца Ла-Турнель. Ничто в мире, ни Альгамбра, ни Шамборский замок, не могло представить более волшебного, более воздушного, более чарующего зрелища, чем этот высокоствольный лес стрел, колоколенок, дымовых труб, флюгеров, спиральных и винтовых лестниц, сквозных фонарей, словно сплошь изрешеченных пробойником, павильонов, веретенообразных башенок, или, как их тогда называли, «вышек» всевозможной формы, высоты и расположения. Все это походило на гигантскую каменную шахматную доску.

Направо от Ла-Турнель ершился пук огромных иссиня-черных башен, вставленных одна в другую и как бы пере-

вязанных окружающим их рвом. Эта башня, в которой было прорезано больше бойниц, чем окон, этот вечно вздыбленный подъемный мост, эта вечно опущенная решетка, все это — Бастилия. Эти торчащие между зубцами подобия черных клювов, что напоминают издали дождевые желоба, — пушки. Под их жерлами, у подножия чудовищного здания — ворота Сент-Антуан, заслоненные двумя башнями. А там, за Ла-Турнель, вплоть до самых стен, воздвигнутых Карлом V, расстился, весь в богатых узорах зелени и цветов, бархатистый ковер королевских полей и парков, в центре которого, по лабиринту деревьев и аллей, можно было различить знаменитый сад Дедала, который Людовик подарил Куактье. Обсерватория этого медика возвышалась над лабиринтом, словно одинокая мощная колонна с маленьким домиком на месте капители. В этой лаборатории составлялись страшные гороскопы.

Ныне на этом месте Королевская площадь.

Как мы только что сказали, дворцовый квартал, о котором мы старались дать некоторое понятие читателю, отмечая, впрочем, лишь наиболее примечательные строения, заполнил угол, образуемый на востоке оградой Карла V и Сеною. Центр Города был загроможден жилыми домами. Это скопление жилищ, тесно лепящихся друг к другу, подобно ячейкам в улье, не лишено было красоты. Кровли большого города, подобно морским волнам, являют собой зрелище величественное. Скрещенные, спутанные улицы, соединяясь, образовывали сотни затейливых фигур.

Вокруг рынков они располагались в форме звезды с тысячью лучей. Улицы Сен-Дени и Сен-Мартен, со всеми их бесчисленными разветвлениями, как два мощных дерева, поднимались рядом, переплетая свои сучья; а дальше, по всем направлениям, змеились улицы Штукатуров, Стекольщиков, Ткачей и проч. Окаменевшую зыбь местами прорывали прекрасные здания. Одним из них была башня Шатлэ, высившаяся в начале моста Менял, за которым, под колесами моста Менял, пенились воды Сены; это была уже не римская башня времен Юлиана Отступника, но феодальная башня XIII века, сооруженная из столь крепкого камня, что за три часа работы его не удавалось продолбить киркою глубже, чем на четверть. К ним относилась и великолепная квадратная колокольня церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри, углы которой были как бы сточены благодаря скульптурным украшениям и уже достойная восхищения, хотя в

XV веке она еще не была закончена. В частности, ей тогда недоставало тех четырех чудовищ, которые, взгромоздившись впоследствии на углы ее крыши, кажутся еще и ныне четырьмя сфинксами, загадавшими новому Парижу загадку старого Парижа. Ваятель Ро установил их лишь в 1526 году, получив за свой труд двадцать франков. Таков был и «Дом с колоннами», выходявший фасадом на Гревскую площадь, о которой мы уже дали некоторое представление нашему читателю. Далее — церковь Сен-Жерве, испорченная с тех пор порталом «хорошего вкуса»; Сен-Мери, чьи древние стрельчатые своды почти не отличались от полукруглых; церковь Сен-Жан, великолепный шпиль которой вошел в поговорку; и еще десятки других памятников, которые не погнушались укрыть свои чудеса в этом хаосе темных, узких и глубоких улиц; прибавьте к этому каменные резные кресты, которыми еще больше, чем виселицами, изобиловали перекрестки улиц; кладбище Невинных, художественная ограда которого видна была издали за кровлями; вертящийся позорный столб над кровлями Центрального рынка, с его верхушкой, выступавшей между двух дымовых труб улицы Коссонри; лестницу, поднимавшуюся к церкви Круа-дю-Трауар, на перекрестке того же названия, где вечно кишел народ; кольцо лачуг Хлебного рынка; то тут, то там остатки древней ограды Филиппа-Августа, затерявшиеся среди массы домов; башни, словно изглоданные плющом, провалившиеся ворота, осыпающиеся, бесформенные куски стен, набережную с тысячами лавчонок и залитыми кровью живодернями, Сену, покрытую судами от Сенной гавани и до самой Епископской тюрьмы, — вообразите себе все это, и вы будете иметь смутное понятие о том, что такое представляла собою в 1482 году имеющая форму трапеции центральная часть Города.

Кроме этих двух кварталов, застроенных — один дворцами, другой домами, третьей частью панорамы, открывавшейся на Город, был длинный пояс аббатств, охватывавший почти всю его окружность с востока на запад и образовавший позади крепостных стен, замыкающих Париж, вторую внутреннюю ограду из монастырей и часовен. Таким образом, вплотную к парку Ла-Турнель, между улицей Сент-Антуан и старой улицей Тампль, расположен был монастырь святой Екатерины с его необозримым хозяйством, кончавшимся лишь у городской стены Парижа. Между старой и новой улицами Тампль находилось аббатство Тампль — зловещая, высокая и уединенная

громада башен, встававшая посреди обширной зубчатой ограды. Между новой улицей Тампль и Сен-Мартен было аббатство Сен-Мартен — великолепно укрепленный монастырь, расположенный среди садов. Опоясывающие его башни и венцы его колоколен по мощи и великолепию уступали разве лишь церкви Сен-Жермен-де-Пре. Между улицами Сен-Дени и Сен-Мартен шла ограда аббатства святой Троицы. А далее, между улицами Сен-Дени и Монторгейль, было аббатство Христовых невест. Рядом с ним виднелись прогнившие кровли и полуразрушенная ограда Двора чудес — то было единственное мирское звено среди этой благочестивой цепи монастырей.

И наконец, четвертой частью Города, четко выделявшейся среди скопления кровель правого берега и занимавшей западный угол городской стены и весь берег вниз по течению реки, был новый узел дворцов и особняков, теснившихся у подножия Лувра. Древний Лувр Филиппа-Августа, колоссальное здание, главная башня которого объединяла двадцать три других мощных башни, окружавших ее, не считая башенок, издали казался как бы втиснутым между готическими фронтонами особняка Алансон и Малего Бурбонского дворца. Эта многобашенная гидра, исполинская охранительница Парижа, с ее неизменно настороженными двадцатью четыремя головами, с ее чудовищными свинцовыми или чешуйчатыми крупами, отливающими металлическим блеском, великолепно завершала очертания Города с западной стороны.

Итак, он представлял собою исполинский квартал жилых домов, — то именно, что римлянами называлось *insula*¹, — имевший по обе стороны две группы дворцов, увенчанных — одна Лувром, другая Ла-Турнель, и ограниченный на севере длинным поясом аббатств и огородов; взгляду все это представлялось слитным и однородным целым. Над множеством зданий, чьи черепичные и шиферные кровли вычерчивались одни на фоне других причудливыми звеньями, вставали резные, складчатые, узорные колокольни сорока четырех церквей правого берега. Мириады улиц пробивались сквозь толщу этого квартала; пределами его с одной стороны служила ограда из высоких стен с четырехугольными башнями (башни ограды Университета были круглые), а с другой — перерезаемая мостами Сены с

¹ Остров (лат.).

множеством идущих по ней судов. Таков был город в XV веке.

За городскими стенами к самым воротам жались предместья, но отнюдь не столь многочисленные и более разбросанные, нежели на Университетской стороне. Здесь были десятка два лачуг; скучившихся за Бастилией вокруг странных изваяний Круа-Фобен и упорных арок аббатства Сен-Антуан-де-Шан; далее шел затерявшийся среди нив Попенкур, веселенькая деревенька Ла-Куртиль со множеством кабачков, городок Сен-Лоран с церковью, колокольни которой сливались издали с остроконечными башнями ворот Сен-Мартен; предместье Сен-Дени с обширной оградой монастыря Сен-Ладр; за Монмартрскими воротами белели стены, окружающие Гранж-Бательер; за ними тянулись меловые откосы Монмартра, в котором в то время было почти столько же церквей, сколько мельниц, и где теперь уцелели лишь мельницы, ибо современное общество требует одной лишь пищи телесной. Наконец за Лувром виднелось углублявшееся в луга предместье Сент-Оноре, уже и в то время весьма обширное; дальше зеленело селение Малая Бретань и раскидывался Свиной рынок с круглившейся посредине его ужасной печью, в которой когда-то варили заживо фальшивомонетчиков. Между предместьями Куртиль и Сен-Лоран вы уже, наверное, приметили на вершине холма, среди пустынной равнины, какое-то здание, издали походившее на развалины колоннады с рассыпавшимся основанием. То был не Парфенон, не храм Юпитера Олимпийского, — то был Монфокоп.

Теперь, если перечисление такого множества зданий, каким бы кратким мы ни старались его сделать, не раздробило окончательно в сознании читателя общего представления о старом Париже, по мере того как мы его старались воспроизвести, повторим в нескольких словах наиболее существенное.

Итак, в центре — остров Сите, напоминающий по форме исполинскую черепаху, высунувшую наподобие лап свои мосты в чешуе кровельных черепиц из-под серого щита крыш; налево, как бы высеченная из цельного куска, — трапедия Университета, плотная, сбитая, ошетилившаяся; направо — обширный полукруг Города с многочисленными садами и памятниками. Сите, Университет и Город — все эти три части Парижа испещрены множеством улиц. Поперек протекает Сена, «кормилица Сена», как называет ее отец дю Брель, загроможденная островами, мостами и

судами. Вокруг простирается бескрайняя равнина, пестреющая, словно заплатами, тысячью нив, усеянная прелестными деревушками; налево — Исси, Ванвр, Вожирар, Монруж, Шантлиль с его круглой и четырехугольной башнями; а направо — двадцать других селений, начиная с Конфлана и кончая Виль-л'Эвек. На дальнем горизонте вставала круглая кайма холмов, словно стенки бассейна. Наконец вдали, на востоке — Венсен с семью четырехгранными башнями; на юге — островерхие башенки Бисетра; на севере — игла Сен-Дени, а на западе — Сен-Клу и его крепостная башня. Вот Париж, которым с высоты башен Собора Парижской Богоматери любовались вороны в 1482 году.

Однако именно об этом городе Вольтер сказал, что «до Людовика XIV в нем было лишь четыре прекрасных памятника»: купол Сорбонны, Валь-де-Грас, новый Лувр и, не помню какой четвертый, возможно — Люксембург. К счастью, Вольтер тем не менее написал «Кандида» и остался, среди длинной вереницы людей, сменявших друг друга в бесконечном ряду поколений, непревзойденным мастером дьявольского смеха. Это доказывает, впрочем, лишь то, что можно быть гением в области одного вида искусства и ничего не понимать в чуждых ему остальных. Ведь вообразил же Мольер, что оказал большую честь Рафаэлю и Микельанджело, назвав их «Мињьярами своего времени».

Однако вернемся в Париж XV столетия.

Он был в те времена не только прекрасным городом, но и городом, являвшимся одновременно произведением искусства и истории средних веков, каменной летописью. Это был город, состоявший лишь из двух слоев — слоя романского и слоя готического, ибо римский слой уже давно исчез, исключая лишь термы Юлиана, где он еще пробивался сквозь толстую кору средневековья. Что касается кельтского слоя, то его образцов уже не находилось даже при рытье колодцев.

Пятьдесят лет спустя, когда эпоха Возрождения примешала к этому, столь строгому и вместе с тем столь разнообразному, единству блистательную роскошь своей фантазии и архитектурных систем, оргию римских полу-круглых сводов, греческих колонн и готических линий арок, свою столь изящную и совершенную скульптуру, свое исключительное пристрастие к арабескам и акантам, свое архитектурное язычество, современное Лютеру, — Париж предстал перед нами, быть может, еще более прекрасным,

хоть и менее гармоничным для глаза и мысли. Но это великолепия не было продолжительным. Эпоха Возрождения оказалась недостаточно беспристрастной: ее не удовлетворяло созидание — она хотела ниспровергать, правда, она нуждалась в свободном пространстве. Таким образом, вполне готическим Париж был лишь одно мгновение. Еще не закончив церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри, уже приступали к сношению старого Лувра.

С тех пор великий город изо дня в день утрачивал свой облик. Париж готический, под которым изглаживался Париж романский, исчез в свою очередь; возможно ли рассказать, какой Париж заменил его?

Существует Париж Екатерины Медичи в Тюильри¹, Париж Генриха II в Отель-де-Виль; оба эти здания еще выдержаны в строгом вкусе. Париж Генриха IV — это Королевская площадь; кирпичные фасады с каменными углами и шиферными кровлями, трехцветные дома. Париж Людовика XIII — в Валь-де-Грас; здесь характеру зодчества свойственны приплюснутость, линия сводов напоминает ручку корзины, колонны кажутся пузатыми, купола горбатыми. Париж Людовика XIV — в Доме инвалидов, громоздком, пышном, позолоченном и холодном. Париж Людовика XVI — в Пантеоне — плохой копии с собора св. Петра в Риме (к тому же здание как-то нескладно осело, что отнюдь его не украсило). Париж времен Республики — в Медицинской школе: убогое подражание римлянам и грекам, столь же напоминающее Колизей или Парфенон, как конституция III года напоминает законы Миноса; в истории зодчества этот стиль называют «стилем мессидора». Париж Наполеона — на Вандомской площади; он действительно великолепен — это бронзовая колонна, отлитая из пушек; Париж времен Реставрации — в бирже;

¹ Мы с грустью, смешанной с негодованием, видели, как пытались увеличить, переделать и перекроить, то есть разрушить, этот восхитительный дворец. Руки современных нам зодчих слишком грубы, чтобы касаться этого хрупкого создания Возрождения. Будем надеяться, что они этого и не осмелятся сделать. Кроме того, разрушить сейчас Тюильри было бы не только грубым варварством, которое заставило бы покраснеть даже пьяного вандала, но было бы предательством. Тюильри не просто шедевр искусства шестнадцатого века, но и страница истории девятнадцатого. Этот дворец принадлежит уже не королю, но народу. Не будем касаться его. Его чело дважды отмечено нашей революцией. Один из его фасадов пробит ядрами 10 августа, другой — 29 июля. Это святыня. *Париж, 7 апреля 1831 г. (Примеч. авт.)*

это очень белая колоннада, поддерживающая очень гладкий фриз; здание имеет форму четырехугольника и обошлось в двадцать миллионов.

С каждым из этих характерных для эпохи памятников связано, по сходству стиля, манеры и облика, некоторое количество зданий, рассеянных по разным кварталам города: глаз знатока сразу отметит их и безошибочно определит время их возникновения. Кто умеет видеть, тот даже по ручке дверного молотка сумеет восстановить дух века и характер данного царствования.

Таким образом, Париж не имел определенного лица. Это собрание образцов зодчества нескольких столетий, причем лучшие из них исчезли. Столица растет лишь за счет зданий, но каких зданий! Если так пойдет и дальше, Париж будет обновляться каждые пятьдесят лет. Поэтому историческое значение его зодчества с каждым днем стирается. Все реже и реже встречаются памятники, словно жилые дома затопляют и поглощают их. Наши предки обитали в каменном Париже, наши потомки будут обитать в Париже гипсовом. Что же касается новых памятников современного Парижа, то мы охотно воздержимся говорить о них. Это не значит, что мы не отдаем им должного. Церковь святой Женеьевы, создание господина Суфло, несомненно, является одним из самых удачных савойских пирогов, которые когда-либо выпекались из камня. Дворец Почетного легиона тоже очень изысканное пирожное. Купол Хлебного рынка поразительно похож на фуражку английского жокея, насаженную на длинную лестницу; башни церкви Сан-Сюльпис напоминают два больших кларнета — это ведь ничем не хуже чего-нибудь иного, а кривая и жестикулирующая вышка телеграфа на их крыше вносит приятное разнообразие. Портал церкви святого Роха по своему великолепию равен лишь portalу церкви святого Фомы Аквинского. Он также обладает рельефным изображением Голгофы, помещенным в углублении, и солнцем из позолоченного дерева. И то, и другое совершенно изумительно! Фонарь лабиринта Ботанического сада также весьма замысловат. Что касается дворца биржи, греческого по колоннаде, римского по дугообразной форме окон и дверей и эпохи Возрождения по большому, низкому своду, то в целом это, несомненно, вполне законченный и безупречный памятник зодчества. Доказательством тому служит невиданная и в Афинах аттическая надстройка, прекрасную и строгую линию коей местами грациозно пересекают печные трубы.

Заметим кстати, что если облик здания обычно должен соответствовать его назначению, и настолько, что это назначение само о себе возвещает одним лишь характером постройки, то безусловно следует восхищаться памятником, который одинаково легко может служить и королевским дворцом, и палатой общин, городской ратушей и учебным заведением, манежем и академией, складом товаров и зданием суда, музеем и казармами, гробницей, храмом и театром. Но пока это лишь биржа. Кроме того, каждое здание должно быть приноровлено к известному климату. Очевидно, здание биржи словно по заказу создано специально для нашего хмурого и дождливого неба. Его крыша почти плоская, как на Востоке,— поэтому зимой, во время снегопада, ее подметают. И нет сомнения, что крыши для того и строятся, чтобы их подметать. А что касается назначения, о котором мы только что говорили, оно отвечает ему превосходно: оно с таким же успехом служит во Франции биржей, как в Греции могло бы быть храмом. Правда, зодчему немалого труда стоило скрыть циферблат часов, который нарушил бы чистоту прекрасных линий фасада, но в возмещение оставалась колоннада, опоясывающая здание; под ее сенью, в торжественные дни религиозных празднеств, может величественно продефилировать депутация из биржевых маклеров и менял.

Все это, несомненно, великолепные памятники. Присоединив еще к этому множество красивых, веселых и разнообразных улиц, вроде улицы Риволи, я не теряю надежды, что когда-нибудь вид Парижа с воздушного шара явит то богатство линий, то изобилие деталей, то многообразие, то не поддающееся определению грандиозное в простом и неожиданное в прекрасном, что отличает шахматную доску.

Но каким бы прекрасным вам ни показался современный Париж, восстановите Париж XV столетия, воспроизведите его в памяти; посмотрите на белый свет сквозь этот удивительный лес шпилей, башен, колоколен, разлейте по необъятному городу Сену, разорвите ее клиньями островов, сожмите ее арками мостов,— Сену, всю в зеленых и желтых переливах, более переменчивую, чем змеиная кожа; четко вырежьте на голубом горизонте готический профиль старого Парижа; заставьте в зимнем тумане, цепляющемся за бесчисленные трубы, колыхаться его контуры; погрузите город в глубокий ночной мрак и полюбуйте прихотливой

игрой теней и света в этом мрачном лабиринте зданий; бросьте на него лунный луч, который смутно обрисует его и выведет из тумана большие головы башен; или, не тронув светом этот черный силуэт, углубите тени на бесчисленных острых углах шпилей и пиньонов и заставьте его внезапно выступить более зубчатым, чем пасть акулы, на медном небе заката,— а тогда сравнивайте.

Но если вы хотите получить от старого города такое впечатление, которого современный Париж вам уже дать не может, то при восходе солнца, утром в день большого праздника, на Пасху или Троицу, взойдите на какое-нибудь возвышенное место, где бы столица была у вас перед глазами, и дождитесь пробуждения колоколов. Смотрите, как по сигналу, данному с неба,— ибо подает его солнце,— сразу дрогнут тысячи церквей. Сначала — редкий, перекидывающийся с одной церкви на другую перезвон, словно оркестранты предупреждают друг друга о начале. Затем, внезапно, глядите,— ибо кажется, что иногда и ухо обретает зрение,— глядите, как от каждой колоколни одновременно вздымается как бы колонна звуков, облако гармонии. Сначала голос каждого колокола, поднимающийся в яркое утреннее небо, чист и звучит как бы отдельно от других, но, мало-помалу усиливаясь, звуки растворяются один в другом: они смешиваются, они сливаются, они звучат согласно в великолепном оркестре. Теперь это звонкая симфония, непрерывно изливающаяся из бесчисленных колоколен. Она трепещет, вьется, прыгает, порхает над городом и далеко за пределы горизонта разносит оглушительный гул своих раскатов.

А между тем это море гармонии отнюдь не хаотично. Несмотря на всю свою ширину и глубину, оно не утрачивает прозрачности. Вы различаете, как из каждой отдельной звонницы змеится согласный подбор колоколов. Вы можете расслышать диалог степенного большого колокола и крикливого тенорового; вы различаете, как с одной колоколни на другую перебрасываются октавы; вы видите, как они возносятся, легкие, окрыленные, пронзительные, источаемые серебряным колоколом, и как грузно падают разбитые, фальшивые октавы деревянного. Вы наслаждаетесь богатой, скользкой то вверх, то вниз гаммой семи колоколов церкви святого Евстафия; вы видите, как в эту гармонию вдруг невпопад врываются несколько ясных стремительных ноток и как, промелькнув тремя-четырьмя ослепительными зигзагами, они гаснут, словно молнии. Там запекает аббатство

Сен-Мартен — голос этого певца и резок, и надтреснут; а ближе, в ответ ему, слышен угрюмый, зловещий голос Бастилии; с другого конца к вам доносится низкий бас мощной башни Лувра. Царственный хор колоколов Дворца правосудия шлет непрерывно во все концы лучезарные трели, на которые через равномерные промежутки падают тяжкие удары набатного колокола Собора Парижской Богоматери, и трели сверкают, точно искры на наковальне под ударами молота.

Порою доносится в разнообразных сочетаниях звон тройного набора колоколов церкви Сен-Жермен-де-Пре. И, время от времени разверзаясь, это море божественных звуков расступается и пропускает быструю, резкую фразу с колокольни церкви Благовещенья, которая, разлетаясь, искрится, словно бриллиантовый звездный пучок. И смутно, приглушенно, из самых недр оркестра еле слышно доносится церковное пение, которое словно испаряется сквоззь поры сотрясаемых звуками сводов.

Поистине вот опера, которую стоит послушать. Смешанный гул, обычно стоящий над Парижем днем, — это говор города; ночью — это его дыхание; а сейчас — город поет. Прислушайтесь же к этому хору колоколов; присоедините к нему рокот полумиллионного населения, извечный ропот реки, непрерывные вздохи ветра, торжественный отдаленный квартет четырех окружных лесов, раскинувшихся по гряде холмов на далеком горизонте, подобно исполинским трубам органов, смягчите этой полутенью то, что в главной партии оркестра звучит слишком хрипло и слишком резко, и скажите — есть ли в целом мире что-нибудь более пышное, более радостное, более сверкающее и более ослепительное, чем это смятение колоколов и звонниц, чем это горнило музыки, чем эти десять тысяч медных голосов, звучащих согласно из каменных флейт высотой в триста футов, чем этот город-оркестр, чем эта симфония, гудящая, словно буря?

Вячеслав Иванов

ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ

Е. С. Кругликовой

Кто знает край, где свой — всех стран школяр?
Где молодость стопой стремится спешной,
С огнем в очах, чела мечтой безгрешной
И криком уст, — а уличный фигляр

Толпу зевак собрал игрой потешной?
Где вам венки, поэт, трибун, маляр,
В дыму и визгах дев? Где мрак кромешный
Дант юный числил, мыслил Абеляр?

Где речь вольна и гении косматы?
Где чаще всё, родных степей сарматы,
Проходит сонм ваш, распрей обуян?

Где ткет любовь меж мраморных Диан
На солнце ткань, и Рима казематы
Черны в луне?.. То — град твой, Юлиан!

Франсуа Вийон

БАЛЛАДА О ПАРИЖСКИХ ДАМАХ

Весь день без умолку болтают
Пьемонтки и венецианки.
Пристрастье к болтовне питают
И корсиканки, и тосканки.
Хоть, говорят, речь египтянки
Всех остроумней, всех плавней, —
Признаться надо вам, смуглянки:
Парижских дам язык длинней.

Упрямо многие считают:
Велеречивей всех — гречанки.
Иные дерзко утверждают,
Что сладкогласней всех — цыганки,
Иль флорентийки, иль турчанки.
Сказать ли вам, чья речь складней?

Как ни болтливы иностранки —
Парижских дам язык длинней.

Пусть красноречием блистают
Швейцарки или англичанки,
Пускай слова гурьбой слетают
С уст ярко-красных персианки,
Иль немки, или сицильянки;
Пускай они звучат нежней
В устах какой-нибудь южанки —
Парижских дам язык длинней.

О принц! Болтливы итальянки,
Но будет все-таки верней
Сказать: верх взяли парижанки,
Парижских дам язык длинней.

Эсташ Дешан

* * *

Прощай, любовь, прощайте, молодухи,
Прощай, купален, рынков, бань возня,
Прощайте, пурпуэны, перья в ухе,
Прощай, гладчайшая, как стол, броня,
Прощайте, игры ночи, игры дня,
Прощайте, пляски и весельчаки,
Прощайте, птички, влекшие меня,
Прощай, Париж, прощайте, пирожки.

Прощайте, шляпы, бантики на брюхе,
Прощай, вино и сладкая стряпня,
Прощайте, гуси, рыбыны, краюхи,
Прощайте, церкви, где, угомоня
Свой пыл, святые смотрят из огня!
Прощайте, дам веселые кружкí!
Я отправляюсь в Лангедок, стена.
Прощай, Париж, прощайте, пирожки!

Прощай, лежу на тернях средь разрухи —
Весь дом разграблен, словно шла резня;
Любовь теряю, как не быть не в духе,
И предо мной раскрыта западня.

Я весь в грязи, оборван, без ремня,
Ведь вся страна разодрана в клочки.
Но вымолвлю, спокойствие храня:
Прощай, Париж, прощайте, пирожки!

Оливье де Маньи

* * *

Садись, Гийон, спеши вестями поделиться.
Налобызались мы, болтай во весь опор.
Чем потчует Париж, что преподносит двор?
Что там за господу в чести, что за девицы?

Война свирепая доколь еще продлится?
Не вздорожали ль сыр и вина до сих пор?
Средь скольких зол, поди, вас всех ввела в разор
Налогов, податей и пошлин вереница?

Ты хоть одну привез из книг, что все читали?
Видал ли ты Белло, Ронсара иль Паскаля?
Что, как они? Ответь, ах, не сочти за труд:

О постнике досель не говорят ни слова?
Как быстро строят Лувр? Еще не все готово?
Что слышно во дворце? Что от нормандки ждут?

Жак Гревен

* * *

С тех пор как высшее познал я откровенье,
Что здесь я роковой переступлю порог,
От стен твоих, Париж, нет для меня дорог,
Мне путь один — к реке, дарующей забвенье.

С тех пор, как я любви храню повиновенье,
Мне тайну трех Сестер открыл ревнивый рок:
«Все тоньше нить твоя, последний близок срок»,
Но для француза здесь и смерть — благословенье.

И потому внемли мольбе моей, Париж! —
Когда ты надо мной молитву сотворишь,
На камне гробовом оставь слова участия:

«Здесь прах покоится клермонского певца,
Он госпоже своей был верен до конца,
Страдал и на земле не знал иного счастья».

Жоашен дю Белле

* * *

Де-Во, как в океан, воды не прибавляя,
Чтоб раствориться в нем, десятки рек спешат,
Так все, чем этот мир, обширный мир богат,
Стекается в Париж, его не затопляя.

Обилием искусств он Греция вторая,
Величием своим он только Риму брат,
Диковин больше в нем, чем в Африке, стократ,
Голконду он затмил, богатства собирая.

Видали многое глаза мои, Де-Во,
Уже их удивить не может ничего,
Но, глядя на Париж, дивлюсь ему как чуду.

И тем обиднее, что даже здесь, мой друг,
Запуганный народ, обилье праздных рук,
Распутство, нищета, и грязь, и ложь повсюду.

Жан-Антуан де Баиф

* * *

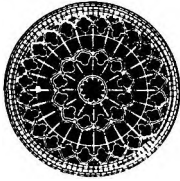
Ты всем французам мать, Париж предрагоценный,
Сосцы всей Франции, кормилица благая,
Жилище славных муз! Что сделать мне, желая
Воздать тебе хвалу, о город несравненный?

Нет равных городов тебе во всей вселенной.
Как солнце светится, все звезды затмевая,

Так всякий град и ты затмишь чужого края,
Всяк чужеземец вмиг поникнет, ослепленный.

О счастье! Девять лун прошло чредой унылой,
Тебя я вижу вновь! О, дай Господь мне радость
Не уезжать на Клен от Сены, сердцу милой!

Такого яда встарь мои не знали жилы,
И мне нутро не жгла огня такого сладость —
Но от таких страстей не оскудеют силы.



*«Сейчас я
стою перед
Лувром,
откуда
Генрих III
бежал
от преследо-
ваний
герцога
Гиза...»*

**Луи Себастьян
Мерсье.**
«Картины
Парижа»

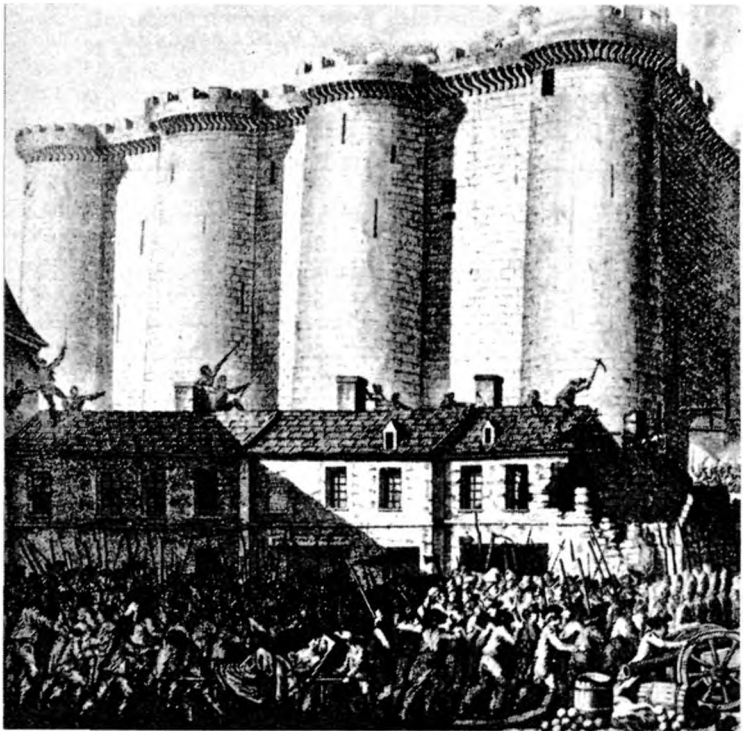
*У револю-
ций
потребность
в свободе —
это их цель,
и
потребность
во власти —
это их
средство.*

Виктор Гюго.
«Главенство
Парижа»



ПАРИЖ

В XVII - XVIII Веках



ДЕМАИС

* * *

*Париж — двойник Афин во время оно,
Плодящий шутки, вирши, лесть, хулу,
Где вдесятеро новые Зеноны
Сократов превосходят по числу,
Где двадцать Диогенов на Платона
И сотня тругней на одну пчелу.*

Перевод *Н. Шаховской*

Валерий Брюсов

В СТАРОМ ПАРИЖЕ. XVII ВЕК

Холодная ночь над угрюмою Сеной,
Да месяц, блестящий в раздробленной влаге,
Да труп позабытый, обрызганный пеной.

Здесь слышали стоны и звяканья шпаги,
Холодная ночь над угрюмою Сеной,
Смотрела на подвиг любви и отваги.

И месяц, блестящий в раздробленной влаге,
Дрожал, негодуя, пред низкой изменой...
И слышались стоны, и звякали шпаги.

Но труп позабытый, обрызганный пеной,
Безмолвен, недвижим в речном саркофаге.
Холодная ночь над угрюмою Сеной.

Не помнит про подвиг любви и отваги,
И месяц, забыв, как дрожал пред изменой,
Безмолвен, раздроблен, в речном саркофаге!

Джамбатиста Марино

ПАРИЖ И ФРАНЦУЗСКИЕ НРАВЫ

(Письмо к Лоренцо Скотто)

Ставлю Вас в известность, что нахожусь в Париже, и, оставив вам, пьемонтцам, все Ваши «vaîge», «nesiо» и «midессо»¹, всецело отдался изучению французского языка, из коего, правда, до сих пор не усвоил ничего, кроме «оу» и «папi»²; но и это я считаю немалым успехом, ибо все, что вообще можно сказать, целиком сводится к утверждению или отрицанию.

Что же мне сообщить Вам о самой стране? Скажу,

¹ Пьемонтские диалектизмы.

² Оуу — да, папi (пенпу) — нет (фр.).

что это — целый мир. Мир, говорю я, не столько по величию, населенности и пестроте, сколько по изумительному своему сумасбродству. Сумасбродство делает мир прекрасным; ибо, поскольку он весь состоит из противоречий, эта противоположность образует лигатуру, которая не дает ему распасться. Точно так же и Франция вся полна несообразностей и диспропорций, каковые, слагаясь в некое согласное несогласие, поддерживают ее существование. Обычай причудливые, страсти свирепые, перевороты непрестанные, гражданские войны непрерывные, смуты беспорядочные, крайности неумеренные, путаница, сумятица, разноречивость и бестолочь — словом, все то, что должно было бы ее разрушить, но на самом деле каким-то чудом ее поддерживает! Поистине это целый мир, вернее, мирок, еще более экстравагантный, чем сама вселенная.

Начнем сперва с образа жизни. Все — шиворот-навыворот. Мужчины здесь — женщины, а женщины — мужчины. Прошу понять меня правильно: я хочу сказать, что женщины берут на себя управление домом, а мужчины перенимают все их украшения и все их щегольство. Дамы всячески стараются быть бледными, и все выглядят, словно у них перемежающаяся лихорадка. Чтобы казаться красивее, они усвоили обычай лепить на лицо какие-то пластыри и наклейки. Волосы они обсыпают особым клоунским порошком, от которого кажутся седыми, так что сначала мне почудилось, будто здесь — одни старухи.

Перейдем к одежде. Дамы носят вокруг талии особого рода бочарные обручи, наподобие беседок, именуемые «вертюгаденами»... Но довольно о женщинах.

Мужчины же в сильнейшие зимние морозы ходят в рубашках; но тут-то и кроется еще более замечательное сумасбродство: некоторые под рубашкой носят камзол. Полклубитесь на этот новый вид придворного лицемерия!

Спина у них открыта сверху донизу длинным разрезом, точь-в-точь как у линей, которых разрезают вдоль спины. Манжеты у них длинней рукавов, и их заворачивают сверху, так что рубашка оказывается поверх камзола. У них в обычае всегда ходить в сапогах со шпорами, и это тоже — одно из достопримечательнейших сумасбродств; ибо у иного даже и лошади нет и никогда в жизни он верхом не ездил, а все-таки непрестанно разгуливает в наряде всадника. И сдается мне, что не по какой иной причине они называются «galle»¹, а только потому, что

¹ Gallus (ит. gallo) — по-латински «петух», а также «галл».

точь-в-точь, как петушки, всегда носят на ногах шпоры, прикрепленные к каким-то вырезанным сапожкам, сходным по фасону с сапогами Маргутте. А кроме того, сверх сапог надевают они туфли. Но, по-моему, им бы следовало называться не столько «петухами», сколько «попугаями», ибо большинство носит плащи и чулки ярко-красного цвета (так что всех поголовно можно принять за кардиналов), зато остальная часть одежды пестрит большим числом красок, чем палитра художника. Султаны у них длиной с волчьи хвосты, а на голове носят они вторую, подставную голову с поддельными волосами, именуемую «париком». Итак, если бы кто потянул одного из них за чуб, то произошло бы у него то же, что вышло у сатира с Корискою.

Что скажете об этом, дон Лоренцо?

Я сам, чтобы не нарушать местных обычаев, вынужден был облачиться в подобный туалет. О горе! Если бы Вы только увидели меня в наряде такого мамелока, как бы Вы схватились за бока! In primus¹, кончики фалд моего камзола, загибаясь вниз, граничат с ягодицами. Диаметр ширины и глубины моих штанов не смог бы измерить сам Эвклид. Два цельных куса тафты пошло на изготовление для меня пары перевязей, концы которых болтаются до колена, ударяя меня по ногам со звуком «тик-так». Тот, кто выдумал здешние воротнички, обладал большим хитроумием, чем изобретатель игольного ушка. Эти воротнички построены в дорическом стиле, снабжены контрфорсом и окружены равелином, аккуратно пригнаны, туги, прямы и выровнены по уровню; но приходится мириться с тем, что носишь голову в фаянсовом тазу и что шея совершенно неподвижна, точно сделана из гипса. Обувь моя — какие-то башмачки, вроде тех, что я видел на Энее в стареньком моем Вергилии с гравюрами по дереву; чтобы надеть их, не приходится сильно утомляться и притоптывать ногами, ибо с обеих сторон у них разверзаются такие прорехи, что я почти вынужден волочить по земле свои башмаки. Вместо завязок у них какие-то помпончики или, вернее сказать, целые кочаны капусты, от которых ступни у меня становятся мохнатыми, точно у мохноногих голубей. Это одновременно и туфли, и деревянные башмаки, ибо на подошве под пяткой у них — нечто вроде скамеечки, дающей мне право претендовать

¹ Во-первых (лат.).

на титул «высочества», так что вы могли бы сказать мне: *scabellum pedum tuorum*¹.

Кроме того, я похож на Кибелу с башнями на голове, ибо ношу шляпищу наподобие шапки-невидимки Лиомбруно, способную дать прохладу и в Марокко, и более остроконечную, чем играл Саммогуту.

Вообще все здесь заострено: шляпы, камзолы, башмаки, бороды, мозги, даже крыши домов. Можно ли вообразить сумасбродство больше этого?

Кавалеры весь день и всю ночь проводят в «променадах» (так здесь называются прогулки), и из-за каждой пролетевшей мухи возникают вызовы и дуэли. Хуже того, они еще и в секунданты приглашают совершенно незнакомых людей, а кто не пойдет, того ославят трусом. А потому я сильно побаиваюсь, как бы мне в один прекрасный день не пришлось вступить в поединок из-за чести и умереть из-за чепухи. Обычные церемонии и приветствия между приятелями столь сложны, что для того, чтобы постигнуть искусство реверанса, необходимо поступить в танцевальную школу и научиться всем прыжкам, ибо здесь выплясывают целый балет, прежде чем приступят к разговору.

Дамы, не стесняясь, позволяют целовать себя при всей публике, и обращенье здесь такое свободное, что любой пастушок беспрепятственно может изложить нимфе свои чувства. Впрочем, здесь вообще ничего не видишь, кроме игр, пиров и балов; и так среди балетов и банкетов здесь все время кутят без просыпа или, как говорят французы, «благодушествуют». В день режут больше живности, чем природа может произвести за год, и пожирают больше мяса, чем есть на наших бойнях в дни карнавала. Кто не понимает или не признает «*regretium mobile*»², пусть придет сюда и полюбуется в любой харчевне на многозубые рашперы, утыканые курами, и на целые вертелы со всякого рода жарким, которые, как бы движимые невидимой силой, не перестают вращаться над огнем. Вода продается за деньги, а бакалейщики бойко торгуют каштанами, каперсами, сыром и икрой. Зато фруктов здесь (это — факт) не больше, чем хороших манер на кухне: кто заговорит о винограде, о фигах или о дынях, тот попадет впросак. Ослиный череп во время осады Иерусалима был продан не дороже, чем стоит здесь лимон или померанец.

¹ «Скамья под ногами твоими» (лат.) — библейское выражение.

² Вечное движение (лат.).

Вина уничтожается великое множество, и на всех углах, во всякое время можно видеть виноторговцев.

Дворянство блещет великолепием, но народ здесь — серенький. Более всего надлежит опасаться господ лакеев: это — существа своенравнейшие и нахалы чистой воды. У меня сложилось мнение, что это — порода, отличная от прочих людей, *verbi gratia*¹, как сатиры и фавны. У них — свое государство, и их авторитет ни в чем не уступает авторитету хозяев. В знак своей монархической власти все они носят в руках скипетры. Каждый из них разгуливает по городу, как какой-нибудь Геркулес Мاستигофор, с особого рода увесистой дубинкой. Можно подумать, что прохаживаются иноходцы; они хлопают по самой грязи с вежливостью дикарей, эмалируя брызгами грязи туалет знатных господ, и горе тому, кто обидится. Но их ухватки менее опасны для одежды, нежели для кошельков, которые надлежит тщательно беречь, ибо когти у этих господ длиннее и крючковатее, чем у кречетов.

Но умолчу ли я о приставании попрошак? О, что за надоедливая мошкара! И чтобы прогнать ее, недостаточно веера и кипятка. И так много набирается этих плутов, и пристают они к вам в церквах и на улицах с такой назойливостью, что становятся просто невыносимыми.

Я уже не говорю о повозках, которые, непрерывно истязая бедных животных, ездят взад и вперед с таким грохотом, точно весь мир рушится. А у возниц есть свой особенный лошадиный язык, состоящий из нескольких местоимений такого рода, что, когда их выкрикивают, лошади понимают.

Но все это еще пустяки по сравнению с причудливостью здешнего климата, который, приспособившись к характеру населения, тоже не обладает ни ровностью, ни постоянством. Все четыре времени года по четыре раза в день сменяют друг друга, почему каждому необходимо запастись четырьмя плащами, дабы менять их ежечасно: один от дождя, другой — от града, третий — от снега, а четвертый — для хорошей погоды. Но замечательнее всего то, что солнце здесь всегда замаскировано: может быть, оно подражает здешним дамочкам, которые тоже взяли за обычай ходить в масках.

Дождливая погода — это самое лучшее время, ибо тогда улицы омываются. Во всякую другую пору грязь и сля-

¹ С позволения сказать (лат.).

коть, можно сказать, целуют вам руки. Это — какая-то дьявольская смола, липкая и приставучая.

Перед самым Новым Мостом, где находятся часы, отзванивающие время с музыкальным аккомпанементом, поставили статую Самаритянки, может быть, для того (как говорят некоторые), чтобы этим явственным примером внушить женщинам, что не следует иметь каждой по пяти мужей.

Мало вам этого? Так вот даже и самый язык полон несообразностей.

«Золото» называют здесь «серебром» (argento); «завтракать» — по-ихнему «поститься» (di giunare). «Города» — «деревни» (ville), «врачи» — «лекарство» (medicine); «епископы» — «старики» (vecchi)... Мясной отвар — «бульон» (buglione), точно он происходит из рода Готфрида, «дыба» (buso) означает полено, «жаба» (botto) у вас на ноге — «сапог».

Вот вам краткое изложение особенностей страны и нравов этого народа. От времени до времени буду посылать вам другие вести.

Итак, приготовьте мне там в Турине к моему возвращению клетку покрасивее, чтобы посадить меня туда, ибо если я не сойду за фофана на празднике св. Иоанна в Балории, по крайности меня можно будет поместить на окно заместо попугая или же выставить на площади в четверг на масленой неделе для забавы мальчуганов.

А до тех пор, дорогой синьор Скотто, сохраните ко мне свое благорасположение, коему от всего сердца себя препоручаю. Передайте от меня нижайший поклон графу Лодовико д'Алье, графу Лодовико Тезауро и нашему высокочтимому Онорато Кларети.

Неизвестный автор XVII века

КРИКИ ПАРИЖА

Вот доподлинные крики
Всех парижских выкликал:
«Кто желает ежевики?»
«А кому кремней, кресал?»
— Дрова вязанками! — Сводим пятна!
— Старье берем!

- Ко мне за добрым белым винцом!
- Сапоги начищу — глянуть приятно!
 - Ленты, тесьма!
 - Чернила для письма!
 - Копченые селедки!
 - Хорошенькие четки!
 - Острый сыр!
- Не угодно ли водицы?
- Апельсин — лимон — гранат!
- Кто забыл купить горчицы?
- Вот салат, кому салат?
- Чищу трубы, печи, дымоходы!
- А вот воронки, коловороты!
- Продаю подержанное снаряженье
- И вооруженье!
 - Фарфор — стекло!
 - Груши «серто»!
 - Белая капуста!
 - Молоко!
- Все ко мне за спелой вишней!
- Вот кудель, кому кудель!
- Хлеб румяный, мягкий, пышный!
- Дыни, дыни! — Лучший хмель!
- Колодцы чистить! чистить колодцы!
- Деревянная утварь, грабли, светцы!
- Покупаю обувь, сколько найдется!
 - Огурцы!
- Точить ножи — ножницы!
- Рассада и саженцы!
- Живые устрицы — отменная еда:
- Отведайте, добрые господа!
 - Уксус! — Уголь,
- Три соля мешок — почитай задарма!
- Мелкий песок для хранения вина!
 - Крышки к стиральным чанам!
 - Виноградный сок!
 - Чернильный порошок!
 - Винный камень!
- А вот и я, продавец радостей:
- Розыгрыш сладостей!
 - Смерть мышам, гибель крысам!
 - Старые монеты, серебряный лом!
 - Колосистая пшеница!
 - Метлы с длинным черенком!

- Живые карпы, свежая рыба!
 - Всем тыквам тыква, скажете спасибо!
 - Кому зелени в пучках?
 - Кому новый альманах?
- Предсказанья не хуже, чем у метра Жана Тибо!
- Шампанское вино!
 - Цветики-букетики, ах, хороши!
 - Сладкие пряники для души!
 - Королевская корона!
 - Спаржа свежая! — Лук-порей!
 - Жареный филей!
 - Чистая солома!
 - Свекла! — Фиги из Марсея!
 - Починяю ведра и меха!
 - Сельди, свежие макрели,
Вяленая требуха!
 - Хворост, хворост, сухой, как трут!
 - Персики румяные! — Свежее яйцо!
 - Всего за тридцать экю изумруд
И дорогое кольцо!
 - Лук зеленый!
 - Молодой орех!
 - Жир топлёный!
 - Кроличий мех!
 - Два лиарда за куплеты!
 - Сыр! — Морковь! — Айва! — Шпинат!
- Полновесные монеты!
- Иглы! — Сладкий виноград!
 - Фасоль горячая, фасоль вареная!
 - Репа сладкая, репа ядреная!
 - Лудить, паять!
 - Есть бобы, зеленый горошек!
 - Кому улиток самых хороших?
 - Кто желает дамасских слив?
— Турский чернослив!
 - Самшитовый гребень, к вашим услугам:
не улизнет ни вошь, ни блоха!
- Вот так крича, проходят друг за другом
По улицам Парижа все цеха.

Никола Буало-Депрео

ПАРИЖСКИЕ НЕВЗГОДЫ

О господи, ну кто там поднял крик опять?
Или ложатся спать в Париже, чтоб не спать?
Какой нечистый дух сюда во мраке ночи
Сгоняет всех котов, вопящих что есть мочи?
С постели соскочив, я ужасом объят:
Спасенья нет от них, ночь превративших в ад!
Один рычит, как тигр, другой, чей голос тонок,
Кричит отчаянно и плачет, как ребенок.
Но мало этого! Чтоб dokonать меня,
Звучит им в унисон мышей и крыс возня,
И по ночам она так мучит и тревожит,
Как сам аббат де Пюр днем досадить не может.
Хоть и не создан я для участи такой,
Все словно в сговоре, чтоб мой сгубить покой:
Едва лишь петухов пронзительное пенье
Начнет испытывать мое долготерпенье,
Как слесарь, чье жильё, за то, что грешен я,
Господь расположил так близко от меня,—
Ужасный слесарь вдруг пускает в ход свой молот,
И хоть по жести бьет — мой череп им расколот.
Затем я слышу скрип колес и стук подков,
В соседней лавочке снят с грохотом засов,
Звонят колокола на сотне колоколен,
Чей похоронный звон, от коего я болен,
До самых туч летит и сотрясает их:
Вот так здесь мертвых чтят, вгоняя в гроб живых.

Когда б мне выпало терпеть лишь эти муки,
Я с благодарностью воздел бы к небу руки:
Хоть дома плохо мне и жизни я не рад,
Из дома выхожу — и хуже во сто крат.
Куда бы я ни шел, приходится толкаться
В толпе докучливой, и тут уж может статься,
Что кто-то в бок толкнет, нисколько не стыдясь,
И шапка с головы слетит неожиданно в грязь;
А вот уже нельзя и перейти дорогу:
В гробу несут того, кто душу отдал богу.
Чуть дальше, на углу, сцепились двое слуг,
Ворчат прохожие, на них наткнувшись вдруг;
Я дальше путь держу, и снова остановка:
Мостильщики проход мне преграждают ловко.

Забрался кровельщик на крышу, и летят
Вниз черепиц куски, напоминая град.
Вдруг появляется телега, на которой,
Как бы предвестием великого затора,
Бревно качается, и этот груз большой
Шесть тянут лошадей по скользкой мостовой.
Карета катится навстречу. Столкновение.
И вот уже лежит в грязи через мгновенье
С разбитым колесом карета, а за ней,
Желая сквозь затор пробиться поскорей,
Другая в грязь летит; движенье прекратилось,
Не меньше двадцати карет остановилось,
И в довершение, поскольку рок суров,
Пришли погонщики, гоня своих быков.
Все жаждут выбраться отсюда, всем нейдет,
То вдруг мычание, то ругань раздается;
Сто конных, призванных порядок навести,
Теряются в толпе, порядок не в чести,
Царит сумятица, не ведая преграды,
Хоть время мирное — повсюду баррикады,
И крик стоит такой, что утонул бы в нем
С небес обрушенный на землю божий гром.
Поскольку я в пути встречаюсь то и дело
С подобной кутерьмой, а ждать мне надоело,
То я, не зная сам, что лучше предпринять,
Готов пойти на риск и путь свой продолжать.
И вот сквозь толчею пытаюсь я пробиться,
По лужам прыгаю, чтоб как-то уклониться
От яростных толчков, и, вырвавшись на свет,
Я грязью весь покрыт, живого места нет.
Путь продолжать нельзя: мой вид теперь отвратен.
В какой-то двор вбежав, от грязи и от пятен
Хочу избавиться. Но, чтоб меня добить,
Разверзлись небеса, дождь начинает лить.
Для тех, кто улицу перебежать желает,
Доска лежит, и мост она изображает.
Любого смельчака страшит подобный мост,
Настолько переход опасен и не прост.
Потоки хлещут с крыш, и под доской непрочной,
Бурля, течет река в канаве водосточной.
Но я иду вперед: грядущей ночи мрак,
В меня вселяя страх, мой ускоряет шаг.
Едва лишь сумерки в права свои вступают
И лавки запереть надежно заставляют,

Едва лишь мирные купцы, придя домой,
Начнут подсчитывать в тиши доход дневной,
Едва стихает шум и умолкают споры,
Как тотчас городом овладевают воры.
Глухой и мрачный лес с Парижем не сравнишь,
Затем что во сто крат опаснее Париж.
Беда тому, кто в ночь, гоним неожиданным делом,
Попал на улицу: нельзя быть слишком смелым.
Бандиты тут как тут. «Стой! Жизнь иль кошелек!»
Сдавайтесь. Или нет, деритесь, чтобы смог
И вашу смерть вписать историк в длинный свиток,
Где уличных убийств и так уже избыток.

А что касается меня, то я в кровать,
Едва нисходит мрак, укладываюсь спать.
И в комнате своей тушу я свет поспешно.
Но вот закрыть глаза пытаюсь безуспешно.
Какой-то наглый сброд, забыв и страх и стыд,
Из пистолета вдруг в окно мое палит.
Я слышу, как вопят: «Спасите! Убивают!»
«Горит соседний дом!» — из темноты взывают.
Дрожа от ужаса, я мчусь из спальни прочь.
Забыв надеть камзол, я бегаю всю ночь
По нашей улице, и весь квартал порою
Напоминает мне пылающую Трою,
В которую смогли ворваться греки вдруг
И собираются разграбить все вокруг.
Но вот горящий дом под нашими баграми
На землю рушится, и затухает пламя.
Я, полотно белей, тащусь к себе домой.
Ночь подошла к концу, я вижу свет дневной,
Ложусь опять в постель, но на душе тревожно.
Лишь деньги уплатив, уснуть в Париже можно.
Как хорошо купить участок, а на нем
Вдали от улицы себе построить дом!

Париж для богача рисуется иначе:
Он в городе живет и вроде бы на даче,
Он видит пред собой всегда зеленый сад,
Деревья средь зимы весну ему сулят,
И, чувствуя ковер цветочный под ногами,
Он тешит сам себя приятными мечтами.
А я, кто не сумел добра себе нажить,
Живу как бог велит и там, где можно жить.

Поль Скаррон

ПАРИЖ

Везде на улицах навоз,
Везде прохожих вереницы,
Прилавки, грязь из-под колес,
Монастыри, дворцы, темницы,

Брюнеты, старцы без волос,
Ханжи, продажные девицы,
Кого-то тащат на допрос,
Измены, драки, злые лица,

Лакеи, франты без гроша,
Писак продажная душа,
Пажи, карманники, вельможи,

Нагромождение домов,
Кареты, кони, стук подков:
Вот вам Париж. Ну как, похоже?

Клод ле Пти

Из цикла

СМЕШНОЙ ПАРИЖ

КЛАДБИЩЕ СЕН-ИНОСАН

Коль привела сюда дорога,
Помолимся за мертвецов.
Какое множество крестов!
И как покойников здесь много!
Но, невзирая на печаль,
Такую вывел я мораль:
Мы, люди, лезем вон из кожи,
Хлопочем ради пустяков...
Есть за оградой этой тоже
Голов немало без мозгов.

Все эти грозные вояки,
Царь Александр, Цезарь, Кир,

Все те, кто потрясали мир
И первыми считались в драке, —
Они, топча земную твердь,
Шли к славе, презирая смерть;
Но на чужбине иль в отчизне
И смерть не ставит их ни в грош...
Обидно уходить из жизни,
Не зная сам, куда идешь.

БАШНЯ НОТР-ДАМ

Ты будешь Музою дурною,
Коль из боязни высоты
Откажешься подняться ты
На башню Нотр-Дам со мною.
Согласна? Ну, тогда держись!
Вот мы почти и добрались.
Воспрянешь духом здесь мгновенно.
Мой бог! Какая благодать!
Ведь без очков конец Вселенной
Отсюда можно увидеть.

А сколько диких сов и галок!
И гнезд не меньше, чем в лесу!
Вниз глянешь — человек внизу
Подобен мошке: мал и жалок.
Я вижу церкви и дома,
А флюгеров — так просто тьма,
Не сосчитаешь их на крышах...
И воздух здесь совсем иной,
И звери прячутся здесь в нишах,
Когда нисходит мрак ночной.

Поверить лишь теперь я смею,
Что так велик Париж, чей вид
Кого угодно удивит,
Клянусь чернильницей моею.
Неаполь, Лондон и Мадрид,
Рим, Вена, и Вальядолид,
И вся турецкая столица,
Да и другие города
В его предместьях разместиться
Вполне могли бы без труда.

Но вниз пора: мой ум в тумане,
И сердце бьется — просто страсть!
Готов я в обморок упасть,
Не предусмотренный заране.
Но если бы решил творец,
Что должен мне прийти конец
На этом месте, столь высоком,—
То вышло б так, что в небо сам
Я лез... и умер ненароком
На полдороге к небесам.

Пожалуй, можно изловчиться,
Чтоб к небу ближе быть... Но нас
Ждет наша хроника сейчас,
И значит, вниз пора спуститься.
А смерть? Ее найдешь всегда.
Нет! Завершение труда
Нас ждет внизу. Так преумножим
Свои старания опять
И путешествие продолжим,
Чтоб слышать, видеть и писать.

МОСТ МЕНЯЛ

За этот белый мост приняться
Нам не пора ли? Ямб наш трезв.
А мост, хотя порой он резв,
Не может на ногах держаться.
Но знай, привязан я к тебе
В твоей изменчивой судьбе.
Хоть сделали тебя прескверно
И вечно чинят — не беда!
Мостом Менял ты назван верно:
Ведь ты меняешься всегда.

БАСТИЛИЯ

Что здесь такое? Вот болото —
Достойный удивленья вид:
Как сельский замок, в нем торчит
Преважно каменное что-то.
Зачем стена с водой вокруг?

Что это — склеп иль акведук?
Садок лягушечий, быть может?
Коль мне его не назовут,
Ужо мой стих его обложет
Отборной бранью прямо тут.

А не Бастилия ли это?
Она и есть, клянусь душой!
Да было б чем ей, Бог ты мой,
Внушать подобный трепет свету!
Всего-то кладка из камней,
И ни красы, ни толку в ней.
Не надо быть артиллеристом:
Довольно задницы любой,
Чтобы ее единым дристом
Сровнять немедленно с землей.

Но, Муза, ловок же не в меру
Сей бастион нестройной:
Не крепостью, так хоть тюрьмой
Желает делать он карьеру.
А в это царствованье сплошь,
Какую должность ни возьмешь,
Кто роль усвоил, тот фигура;
Однако лучше промолчать:
Бастилия, конечно, дура,
Но вовсе дурь — в нее сыграть.

ОСНОВАНИЕ ПАРИЖА

Коль речь про грязь и про помои,
Перенесемся сквозь века
К происхожденью городка,
Осмеиваемого мною:
Как раз из этого добра
Возвесть сумели мастера
Столь беспримерное творенье.
Кокетством факт не утаишь:
Он зван Лютецией в крещеньи,
И лишь по кличке он Париж.

И все ж к нелестным заключениям
Покуда оснований нет:

Больших героев видел свет
С сомнительным происхождением.
Подобную же участь мог
Парижу уготовить Бог:
А вдруг, по воле провиденья,
Та участь столь же высока,
Как то, чем стал Венец Творенья
Из горсти грязи и плевка?

В. К. Третьяков

СТИХИ ПОХВАЛЬНЫЕ ПАРИЖУ

Красное место! Драгой берег Сенски!
Тебя не лучше поля Элисейски:
Всех радостей дом и сладка покоя,
Где ни зимня нет, ни летнего зноя.

Над тобой солнце по небу катает
Смеясь, а лучше нигде не блистает.
Зефир приятный одевает цветы
Красны и вонны чрез многие леты.

Чрез тебя лимфы текут все прохладны,
Нимфы, гуляя, поют песни складны.
Либо играет и Аполлон с музы
В лиры и в гусли, также и в флейдузы.

Красное место! Драгой берег Сенски!
Где быть не смеет манер деревенски:
Ибо все держишь в себе благородно,
Богам, богиням ты место природно.

Лавр напоят твои сладко воды!
В тебе желают всегда быть все роды:
Точишь млеко, мед и веселье мило,
Какого нигде истинно не было.

Красное место! Драгой берег Сенски!
Кто тя не любит? разве был дух зверски!
А я не могу никогда забыти,
Пока имею здесь на земли быти.

Шарль Луи Монтескье

ПЕРСИДСКИЕ ПИСЬМА

(Фрагменты)

ПИСЬМО XXXVI

В Париже в большом употреблении кофей: здесь много публичных заведений, где его подают. В некоторых из этих домов посетители рассказывают друг другу новости, в иных играют в шахматы. Есть даже дом, где готовят кофей таким способом, что он прибавляет ума тем, кто его пьет; по крайней мере, всякий выходящий оттуда считает, что стал куда умнее, чем был при входе.

Но особенно отталкивает меня от этих остроумцев то, что они не приносят никакой пользы отечеству и тратят свои таланты на всякие ребяческие выходки. Когда, например, я приехал в Париж, я застал их за горячим спором по самому пустому вопросу, какой только можно вообразить: дело шло о достоинствах одного древнегреческого поэта, ни родина, ни время смерти которого вот уже две тысячи лет никому не известны. Обе партии признавали, что поэт он превосходный, вопрос шел только о степени его достоинств. Каждый устанавливал свою собственную оценку, но среди этих мастеров репутаций одни были щедрее других: вот и вся распря. Она была очень оживленной, так как противники от всего сердца наносили друг другу столь тяжкие оскорбления и подшучивали одни над другими так язвительно, что я дивился манере спорить не меньше, чем самому предмету спора. «Если бы нашелся,— думал я,— настолько безрассудный человек, чтобы при ком-нибудь из этих защитников греческого поэта напасть на доброе имя какого-либо честного гражданина, ему бы показали! Несомненно, что столь благородное усердие, проявляемое по отношению к доброму имени мертвых, воспламенилось бы и на защиту живых! Но как бы там ни было,— прибавлял я про себя,— не дай мне бог навлечь на себя когда-нибудь вражду хулителей этого поэта, которого не защитило от такой неумолимой ненависти даже двухтысячелетнее пребывание в могиле! Теперь они машут кулаками впустую, но что было бы, если бы их бешенство воодушевлялось присутствием врага?»

Те, о ком я только что говорил, спорят на общепринятом

языке, и их следует отличать от другого рода спорщиков, которые пользуются языком варварским, еще усугубляющим ярость и упрямство вояк. Существуют кварталы, кишачие черною, густою толпой этого рода людей; они питаются мелочными придирками, они живут туманными рассуждениями и ложными выводами. Это ремесло, казалось бы, должно привести людей к голодной смерти, а оно приносит изрядный доход. Целый народ был изгнан из своей страны, пересек моря, чтобы обосноваться во Франции, но он не привез при этом с собою для защиты от жизненных невзгод ничего, кроме ужасного таланта спорить. Прощай.

Из Парижа, в последний день месяца Зильхаже 1713 года.

ПИСЬМО LVIII

В Париже, дорогой мой Реди, существуют самые разнообразные ремесла.

Один услужливый человек является к тебе с предложением за небольшую сумму научить тебя делать золото.

Другой обещает устроить так, что ты будешь спать с бесплотными духами, при условии, однако, что предварительно тридцать лет не будешь иметь дела с женщинами.

Ты найдешь здесь искусных отгадчиков, которые расскажут тебе всю твою жизнь, лишь бы только им удалось с четверть часика поговорить с твоими слугами.

Ловкие женщины превращают здесь девственность в цветок, который гибнет и возрождается каждый день и в сотый раз срывается еще болезненнее, чем в первый.

Есть и такие, которые, исправляя с помощью своего искусства все изъяны, нанесенные временем, могут восстановить увядающую красоту и даже вернуть женщину от крайней старости к временам самой нежной юности.

Все эти люди живут или стремятся жить в городе, ибо город является матерью изобретательности.

Доходы граждан не бывают здесь постоянными: источник их заключается только в уме и ловкости; у каждого особое мастерство, и он извлекает из своего умения все, что может.

Если бы кто вздумал сосчитать всех законников, гонящихся за доходами какой-нибудь мечети, то скорее сосчитал бы песчинки в море или рабов нашего монарха.

Бесчисленное множество учителей всевозможных языков, искусств и наук преподают то, чего сами не знают, а ведь тут нужен немалый талант, ибо для того, чтобы научить тому, что знаешь, особого ума не требуется, зато его нужно чрезвычайно много, чтобы учить тому, чего сам не знаешь.

Здесь и умереть-то можно только скоропостижно: иначе смерть не могла бы проявить свою власть, ибо здесь на каждом шагу есть люди, располагающие вернейшими лекарствами от любых болезней, какие только можно вообразить.

В здешних лавках раскинуты невидимые сети, в которые неминуемо попадают покупатели. Впрочем, иной раз из них можно выбраться и по дешевке: молоденькая торговка битый час охаживает вас, чтобы соблазнить на покупку пачки зубочисток.

Нет человека, который, уезжая из этого города, не оказывался бы осмотрительнее, чем был до приезда: раздавая свое добро другим, учишься беречь его; вот единственное преимущество иностранцев в этом очаровательном городе.

Из Парижа, месяца Сафара 10-го дня, 1714 года.

ПИСЬМО LXXXIV

Я был вчера во Дворце инвалидов. Будь я государем, мне было бы приятнее основать такое учреждение, чем выиграть целых три сражения. Там везде чувствуется рука великого монарха. Мне кажется, что это самое почтенное место на Земле.

Что за зрелище представляют собою эти собранные в одно место жертвы отчизны, которые только и живут мыслью о ее защите и жалуются лишь на то, что не могут вновь принести себя в жертву, так как сердца их остались прежними, но силы уже не те!

Что может быть удивительнее этих дряхлых воинов, соблюдающих в этом убежище такую же строгую дисциплину, к какой принуждало их присутствие неприятеля; ищущих последнего удовлетворения в этом подобии военной службы и разделяющих сердце и ум между религиозными и воинскими обязанностями!

Мне хотелось бы, чтобы имена людей, павших за ро-

дину, сохранялись в храмах и вносились в особые списки, которые были бы источником славы и благородства.

Из Парижа, месяца Джеммади 1, 15-го дня, 1715 года.

ПИСЬМО ХСІХ

Я несказанно дивлюсь причудам французской моды. Парижане уже забыли, как одевались этим летом, и совсем не знают, как будут одеваться зимой. И прямо-таки невозможно представить себе, во что обходится человеку одеть жену по моде.

Что толку точно описывать тебе их наряды и украшения? Новая мода сведет на нет все мои старания, как сводит на нет работу всех поставщиков, и все переменится прежде, чем ты получишь мое письмо.

Если женщина уедет на полгода из Парижа в деревню, она вернется оттуда настолько отставшей от моды, как если бы прожила там тридцать лет. Сын не узнает своей матери на портрете: таким странным кажется ему платье, в котором она изображена; ему кажется, будто это какая-то американка или что художнику просто вздумалось пофантазировать.

Иногда прически мало-помалу становятся все выше и выше, как вдруг какой-то переворот превращает их в совсем низкие. Было время, когда прически достигали такой огромной вышины, что лицо женщины приходилось посередине ее особы. Другой раз на середине оказывались ноги: каблучки превращались в пьедестал, поддерживавший их в воздухе. Кто поверит, что архитекторам не раз приходилось повышать, понижать или расширять двери в зависимости от требований дамских причесок, и правилам строительного искусства приходилось подчиняться этим капризам; иной раз видишь на чьем-нибудь лице неимоверное количество мушек, а на другой день все они уже исчезают. Прежде у женщин были тонкие талии и острые язычки — теперь об этом нет и помину. У столь переменчивой нации, что ни говори насмешники, дочери сложены иначе, чем матери.

С манерами и образом жизни дело обстоит так же, как с модами: французы меняют нравы сообразно с возрастом их короля. Монарх мог бы даже, если бы захотел, привить народу серьезность. Государь придает свой характер двору, двор — столице, столица — провинции. Душа властелина — форма, по которой отливаются все другие.

Из Парижа, месяца Сафара 8-го дня, 1717 года.

Пьер Карле Шамблен де Мариво

ПИСЬМА О ПАРИЖАНАХ

(Фрагменты)

ГОСПОЖЕ ***

Как видите, сударыня, я держу данное Вам слово, вернее сказать, исполняю свой долг, ибо то, что влюбленный обещал предмету своей любви, требует такого же неукоснительного исполнения, как приказ господина слуге.

Я понимаю и разделяю Ваше, сударыня, стремление изучить нравы и особо примечательные черты жителей Парижа, а также постичь каждодневную жизнь этого маленького сколка целого мира.

Париж — это средоточие добродетелей и пороков. Тут, как нигде, злодеи могут творить свои беззакония, лишь здесь они в полной мере отдаются склонности к преступлению, ибо обилие соответствующих обстоятельств подстрекает их, а постоянные упражнения в злодеяниях развивают и укрепляют пороки.

Не одни пороки царят в Париже, не меньше в нем и добродетелей, но добродетели являют себя незаметно; жизнь честных и справедливых обыкновенно скрыта от глаз людской толпы. Есть и третий разряд людей, честность и порядочность которых проистекают либо из счастливого характера, склоняющего к честной жизни, либо из некой философической мудрости, поддерживающей в человеке стремление жить в порядке и согласии с окружающими. Это люди такого типа, кто, потакая собственным мелким слабостям, старается по возможности не задевать чужих мелких слабостей, или, иначе говоря, эти люди держатся в рамках закона не столько из уважения к законности, сколько из уважения к общественному мнению.

Сударыня, люди этого рода всегда немного скептики, ибо, с одной стороны, они добродетельны лишь по убеждению, но, в то же время, иметь убеждения, отличные от общепринятых, считается у нас столь изысканным и утонченным, что во многих домах Парижа лишь принадлежность к философскому нечестию позволит вам прослыть человеком острого ума.

Я мог бы и далее говорить об этом, но думаю, что мне еще представится более удобный случай в другом месте моего изложения, сейчас же перейдем к другому предмету.

Глава I

Подробное и исчерпывающее описание парижского простонародья — задача не из легких, но я все же попытаюсь дать Вам хотя бы некоторые общие представления о нем.

Вообразите некоторое чудовище, движимое одними лишь инстинктами и наделенное всеми возможными пороками и добродетелями сразу. Смешайте бешенство, вспыльчивость, глупость, неблагодарность, наглость, вероломство и трусость. Добавьте к этому, если сможете, самую искреннюю сострадательность, верность, благочестие и даже целомудрие; короче говоря, соедините в характере чудовища все возможные противоречия, и перед вами предстанет душа простолюдина.

Дабы портрет его был полон, необходимо добавить к описанию еще одну черту: способность автоматически переходить в одну минуту от хорошего к дурному. Поговорим об этом поподробнее.

Простонародье составляет определенная часть людей, наиболее общим качеством которых является грубое и низкое поведение. Эти люди сначала бранятся и дерутся, а потом жмут друг другу руки; помогают друг другу и тут же друг друга предают; в одну минуту завязывается меж ними приятельство и тут же вспыхивает вражда; они не могут долго жить в добром согласии и беспрестанно то ссорятся, то мирятся. Порыв любви и преклонения перед господином у простонародья может внезапно смениться наглой и презрительной выходкой. Если вы дадите простолюдину хоть одну самую малую монету сверх условленного, он выкажет вам безграничную преданность, но попробуйте настолько же недодать ему причитающееся, как на вас посыпятся тысячи оскорблений. Если он в добром расположении духа, он готов пролить за вас всю свою кровь, но если он зол — он до капли высосет вашу; хитрость его такова, что он изобретет тысячи мелких пакостей, ни одна из которых самому известному остроумцу и в голову не придет. Оскорбляя или защищая вас, простолудин будет так убежден, так одушевлен, что самые умные и честные люди, слушая его, согласятся со всем, что он о вас скажет, будет ли это вам на пользу или же во вред.

Все пороки, в которых упрекают друг друга бранящиеся простолудинки, присущи им и в действительности. Меня всегда поражала одна особенность парижанок: представьте себе, вот они ссорятся, обзывая друг друга самыми

непотребными словами. Каждая знает совершенно точно, где, когда и с кем согрешила другая, все это сообщается толпе зевак и зеваками вполне принимается на веру. Ссора окончена — и ни одна из женщин не испытывает ни малейшего угрызания совести, ни одна не покраснела от брошенных ей обвинений, она стыдится лишь оказаться побежденной в перебранке.

Чем громче голос у женщины, тем виноватее та, с кем она бранится. Чем больше зевак вокруг ссорящихся, тем горячее страсти; заметим, однако, что воодушевляет соперниц не столько гнев, сколько дух соревнования.

Никто не даст вам такой полной и всесторонней характеристики, как человек из народа. Он легко доверится вам, но, если вы его в чем-то обманете, он вас опозорит.

Сударыня, Вы прелестны, но, если Вы случайно рассердите простолюдинку, она заставит Вас покраснеть за самую Вашу красоту.

Супружеская чета простолюдинов являет собой презанятнейшее зрелище. Слушая, как они разговаривают друг с другом, вы определенно решите, что они терпеть друг друга не могут.

На этот счет у меня есть свои соображения.

Скажите, почему мир между добропорядочными супругами способно разрушить всего лишь одно слово, произнесенное чуть резче других? Обычная их беседа весьма учтивая, и, едва учтивости в речах становится чуть-чуть меньше, согласие исчезает. Супруги-простолюдины всегда говорят друг с другом так, как будто дело вот-вот дойдет до кулаков, им привычна грубость в обхождении, и, если иногда к грубости примешивается злость, она их не особенно задевает. Жену не оскорбит бранное слово: она слышит подобные не только во время раздоров, но и во время семейного мира, а муж не удивится грубому ответу: для его слуха он вполне привычен. О том, что ссора принимает серьезный характер, простолюдины извещают друг друга тумачами, но их постоянные беседы столь близки к потасовке, что и тумачи не особенно нарушают привычный семейный уклад.

Поверите ли, сударыня, все взвесив, я пришел к выводу, что такое обхождение гораздо разумнее, чем то, что принято у людей почтенных.

Супружеские союзы сих последних я бы уподобил судну, скользящему по морю в тихую погоду: муж и жена плывут себе спокойно, но что станет, если подует ветер? Один лишь порыв, и на судне паника, а наши супруги, привык-

шие к постоянному семейному добродушию, не скоро оправятся от испуга.

Тем же сравнением воспользуемся и говоря о супружеской жизни простолюдинов. Их судно плывет по бурному морю в непогоду: дует ветер, блещут молнии, но судно идет своим курсом, ни на что не обращая внимания: буря привычна ему, а если молния ударит в мачту, что ж, и это всего лишь естественное следствие грозы, и после исправления поломки судно продолжит свой путь. Плавание по бурному морю кажется мне предпочтительнее плавания в тихую погоду, если, конечно, пренебречь нашей привычкой к вежливому обхождению.

Я не передал бы Вам истинного духа простонародья, если бы хоть что-нибудь сгладил в его характере, непостоянном от природы. Оно порочно или добродетельно по обстоятельствам, оно подобно хамелеону, принимающему окраску всего, с чем соприкасается.

Из моих слов Вы, может быть, заключите, что простолюдины злы; для этого есть некоторые основания, но злоба их происходит не от рассудка, а от обстоятельств. В зависимости от того, с чем простолюдин столкнулся, он будет зол или добр, не являясь ни тем, ни другим по натуре.

Так, например, простолюдины клянут чиновников последними словами не потому, что, по размышлению, сочли их того заслуживающими, но потому, что чиновников ненавидят все остальные — и этого достаточно, чтобы у простонародья разгорелась злоба.

Однажды я видел, как вели на казнь двух разбойников с большой дороги. За ними следовала толпа любопытных, и я отметил два любопытных душевных движения, занятное сочетание которых возможно, как мне кажется, лишь у парижан. Люди рвались к месту казни с какой-то странной жадностью, сочетавшейся в то же время с сочувствием к несчастным осужденным. Одна женщина плакала, но бежала, чтобы не опоздать и ничего не упустить из жестокого зрелища, сама мысль о котором вызывала у нее слезы. Что Вы скажете об этом? Я не вижу здесь ни жестокости, ни сострадательности. В подобных случаях душу простолюдина можно уподобить некоему механизму, не способному чувствовать и страдать, но зависимому от любого внешнего воздействия. Если Вы согласитесь с этим моим утверждением, то логика сочетания взаимоисключающих движений души будет Вам ясна: двух человек ведут на казнь, процедура эта печальна — включается рычаг, вызы-

вающий сочувствие, и вот уже простолюдин грустит и плачет. Но казнь — это зрелище из ряда вон выходящее, и вот уже заработал рычаг любопытства. Держу пари, что простолюдин, глядя на осужденного, одновременно ненавидит его, жалеет и с нетерпением ждет начала казни.

Что еще можно сказать о парижском простонародье? Знайте, сударыня, что в Париже есть места, где народу свойственна поразительная невоздержанность в словах, а то и в действиях; там его владения, и он пользуется ими со свободой деспота, говоря обо всем и никого не страшась. Так, например, придя на рынок, Вы узнаете все, что думают торговки о вашей фигуре, Вашем лице и поведении. Вам придется выбирать: дать ли себя обсчитать или снести все оскорбления, которыми вас осыпят парижские амазонки. Сколько торговок, столько и судей будет у Вас, стоит лишь одной из них обидеться, как все безоговорочно вас осудят и приведут приговор в исполнение, и лучшее, что вам останется, это поскорее уйти от них, подобно солдату, стремящемуся не пройти, а пробежать «сквозь строй».

Один мой приятель, человек, наделенный острым умом и здравым смыслом, в беседе о простонародье сказал мне: «Лучший способ познакомиться со всеми достоинствами и пороками простолюдина — сдружиться, а потом поссориться с ним. Однажды некто изобрел зеркало, и с тех пор каждый человек может разглядеть собственное лицо; поссорьтесь с простолюдином, и вы узнаете все подробности о своей душе и своем теле». При этих словах моего приятеля одна милая девушка шутливо заметила: «Поклонники говорят, что я красива, я и сама так думаю, когда гляжусь в зеркало. Но все же, чтобы быть вполне уверенной в себе, я как-нибудь во время карнавала воспользуюсь тем зеркалом, о котором Вы говорите».

Что Вам еще рассказать о характере простонародья?

Народное благочестие — это благочестие лишь по форме, истинная вера недоступна ни их сердцу, ни их уму. Чем громче и зычнее голос проповедника, тем набожнее прихожане, тем убедительнее для них его речи, даже если они не понимают в них ни слова.

Я бы никому не посоветовал рассчитывать на добронравие самого набожного простолюдина: нет ничего проще, как совратить с пути истинного самого порядочного из них, ибо, чтобы толкнуть его на преступление, совершенно не требуется его убеждать — это был бы напрасный труд. Надо всего лишь стереть в душе простолюдина отпечаток одного

внушения и заменить другим. Так внушение о необходимости чтить заповеди легко вытеснить внушением о якобы нанесенном оскорблении, а последнее неизменно побуждает к действию любого простолюдина.

Уверяю Вас, что с человеком, реагирующим лишь на внешнее воздействие, можно делать все, что угодно: самое последнее впечатление сотрет в его душе все предыдущие.

Сударыня, не ждите от меня исчерпывающе подробного трактата. Я завершаю мои рассуждения о парижском простонародье и добавлю ко всему вышесказанному лишь несколько слов.

В провинции простонародье считает господином любого, кто стоит над ним. В Париже в расчет принимается лишь непосредственная зависимость, сапожник не ставит себя ниже герцога или маркиза, и, если последние хотят внушить почтение к себе, его следует купить. Деньги — вот единственный титул, перед которым склоняется парижский простолюдин. Подобно сторожевому псу, он лает на всех прохожих; киньте ему кусок хлеба, и он завилает хвостом.

Итак, сударыня, если Вы приедете в Париж и случай сведет Вас с простолюдинами, примите меры к тому, чтобы соответствующим образом оградить себя от оскорблений.

Глава 2 МЕЩАНИН

Сударыня, парижский мещанин представляет собой сложное существо, в котором сочетаются простолюдин и благородный человек. Когда мещанин ведет себя как знатный, он похож на обезьяну, когда он вульгарен и мелочен, он естествен, таким образом, он благороден из подражания и простонароден по сути.

Мещанин всегда чрезвычайно напыщен, что, по моему мнению, подтверждает верность предыдущего рассуждения.

Меж людьми подлинно благородными принята особая форма вежливости, свободная от пустой церемонности. Эта вежливость есть не что иное, как умение вести себя естественно, избегая лишь чрезмерной непосредственности, которая могла бы привести к грубости. Мещанин хотел бы перенять такую форму вежливости, но с первым же усилием, предпринятым ради того, он теряет естественность, и поведение его делается напыщенным.

Дом и обстановка мещанина могут быть столь же роскошны, а расходы столь же велики, что и у знатного чело-

века, но есть что-то низменное в самой мещанской расточительности. Мещанин глядит снизу вверх на свое богатство, он не может забыть ни на минуту, что богат, его стесняет собственное честолюбие, он не может безоглядно предаться роскоши, он и в размахе мелочно расчетлив.

Иногда мещанин бывает заносчив с теми, кто стоит выше него, но что это за заносчивость! Она происходит не изнутри характера, а как бы приложена к нему, подобно тем набойкам, которые низкорослые люди ставят на каблуки, чтобы казаться выше.

Того мещанина, кто сам понимает, на что способен, а чего ему не дано, кто равно удерживается и от простонародной грубости, и от стремления слепо подражать манерам знати, одним словом, того, кто держится золотой середины, я называю воистину разумным человеком.

Очень вероятно, что Вы в Париже сможете подружиться с мещанином, но не вздумайте посягнуть на его кошелек, иначе самые пылкие изъявления преданности Вам сменяются тут же холодностью и отчуждением, причем мещанин будет считать, что, отдалив Вас от себя, он поступил благо-разумно и дальновидно. Если бы Вам каким-то образом удалось занять у мещанина денег, он считал бы, что оказался в дураках.

Один мой знакомый довольно долго дружил с мещанином. Однажды у него возникла неотложная нужда в некоторой денежной сумме, и он, решив занять денег у мещанина, послал ему записку. Я присутствовал при получении записки. Мещанин тут же ответил, что не может дать денег. Когда лакей ушел с ответом, мещанин воскликнул: «Такой-то просит денег, ну и хитер, а еще прикидывался другом!» — «Сударь,— возразил я,— по-моему, нет особой хитрости в том, чтобы по необходимости одолжить немного денег у одного из своих друзей». — «Что же он у других-то не просит,— ответил мещанин,— у него друзей с полсотни, но к ним он боится сунуться, а меня считает глупее других». — «Может быть, не глупее, а щедрее», — предположил я. «Так дураки-то и щедрый», — последовал ответ.

Ну а теперь поговорим о женщинах-мещанках, ибо Вам, без сомнения, особенно интересно узнать о существах Вашего пола.

Так как мои сведения в этой области не очень обширны, возможно, что я в чем-то повторяюсь. Мещанки весьма разнородны. Торговля, например, накладывает свой собственный отпечаток на тех, кто ею занимается, а судей-

ское дело — свой. Вот вам уже два типа мещан и их жен, но и внутри этих типов есть свои подразделения.

Должен признать, что лавочницы чаще всего крупные дородные женщины. Некоторые из них настолько несдержанны, что готовы осыпать вас упреками, едва вы чуть-чуть замешкаетесь с покупкой. Есть среди них и приветливые, но приветливость их сумбурна и навязчива. Они готовы на все, лишь бы вы остались довольны, они угадывают ваши желания: только кивните, и вся лавочка заходит ходуном; и вся эта суета пересыпана любезностями и комплиментами.

Один провинциал, впервые приехавший в Париж, зашел как-то в лавку, намереваясь купить дорогую вещь. Хозяйка встретила его со всем радушием и заметалась, выкладывая товары на прилавок; они не понравились провинциалу, и он совсем уже собрался попрощаться и уйти, но никак не мог осмелиться сделать это. Чем больше он колебался, тем возрастали предупредительность и радушие хозяйки, и все невозможнее казалось ему уйти, так ничего и не купив. Мучаясь неловкостью за причиненные хлопоты и стыдом за собственную неблагодарность, он встал, протянул хозяйке кошелек и сказал: «Сударыня, ваш товар мне не подходит, я ничего не возьму, но вы так старались мне услужить, что я и сам огорчен. Я не такой нахал, чтобы уйти без покупки, возьмите мой кошелек и продайте мне, что вы сами хотите, или же просто так отпустите меня, за последнее я был бы особенно вам благодарен». Бедняга провинциал думал, что нашел способ с честью выйти из положения, но не тут-то было. Его слова не обескуражили хозяйку. «Вы слишком обязываете меня, сударь, — сказала она. — Не думайте, что мое сердце черствее вашего. Чтобы отплатить вам добром за добро, я продам свой товар по его настоящей цене, а в другой лавке вас бы обязательно надули». С этими словами она открыла кошелек, взяла столько денег, сколько причиталось за покупку, велела упаковать товар и вручила его нашему провинциалу. Он уже более не стыдился собственной неблагодарности, но проявить решимость и отказаться от покупки было поздно.

Вы скажете, что не всякая хозяйка смогла бы так умно и смело воспользоваться глупостью покупателя. Вы, несомненно, будете удивлены, узнав, что никакой смекалки здесь нет, хотя и присутствовала в ответе лавочницы изрядная доля хитрости.

Парижским торговцам свойственна некая практическая смекалка, кто еще может действовать столь напористо и изворотливо, чтобы всучить покупателю свой товар. Вы можете подумать, что эта изворотливость — следствие общей смекалки, что она так или иначе свойственна лишь тем, кто более-менее сметлив от природы, — отнюдь! Изворотливость, способность уловить благоприятный момент, заставить самого покупателя быть признательным за покупку — все это лишь навыки ремесла, которому обучаются так же, как учатся своему делу сапожник или портной. Самый умный человек может и не преуспеть в торговле, а мальчик-тугодум из лавочки окажется гораздо способнее к ней.

Мне пришло на ум любопытное сравнение, касающееся угодливой болтовни торговцев. Я сравнил бы их с хирургом, который, прежде чем проткнуть вену, долго поглаживает вам руку, чтобы вы успокоились и расслабились. Так и торговец, чтобы вытащить побольше денег из вашего кошелька, успокаивает вашу осторожность разговорами и предупредительностью; когда рука подготовлена таким образом или когда ум ваш затуманен и побежден, вонзается ланцет, а торговец овладевает вашей волей, они режут, кромсают, вырывают ваши деньги, и вы сообразите, что же произошло, лишь тогда, когда кровопускание уже кончено.

Лавочки — это истинная обираловка для тех, кто не способен решительно отказаться от покупки. Вы молоды и красивы? Хозяйка нахваливает ваши прелести и одновременно разворачивает товар, так что комплименты как бы составляют его часть и продаются вместе с ним. Вас нахваливают, вы слушаете, развежась, и все больше и больше, сами того не замечая, располагаетесь к лавочнице. Вам уже немало лет? Она найдет нужные слова для человека любого возраста. Вы юноша? Что ж, чуть-чуть заботы молодому человеку не повредит — и вот уже вы весело и небрежно развязываете кошелек, и деньги ложатся на стол.

Сударыня, вам, вероятно, интересно знать, благочестивы ли лавочницы. Если под благочестием подразумевать бескомпромиссную совесть, иначе говоря, благочестие, строго следующее всем предписаниям христианского учения, то чистосердечно отвечу Вам, что не знаю. Могу сказать лишь то, что, несомненно, есть некоторое умеренное благочестие, свободное от чрезмерной строгости и уживающееся с тягой к наживе, которая у торговцев каким-то образом

сочетается с религиозностью. Торговец стремится совместить несовместимое: религия требует смирения и благочестия, а жадность требует наживы любой ценой. Торговец и христианин — это две крайности в одном человеке, это огонь и лед вместе. Надо спасти свою душу, но надо и жить. Где выход? Он находится. «Как христианин, я не буду стремиться к чрезмерной наживе, а как торговец, я постараюсь, чтобы нажива была разумной». К сожалению, почти всегда разумность наживы определяет именно торговец, а не христианин.

Беседы о купле-продаже меня уже утомили, займемся, не меняя темы, другой проблемой. В Париже все прелести, все наслаждения жизни настолько на виду у любого, кто протянет к ним руку, что надо обладать особой бесчувственностью, чтобы удержаться от соблазнов. Богатые мещане в Париже не отказывают себе в удовольствиях. Лучшим развлечением мещанина считается (извините, сударыня) возлюбленная, окружающая своего покровителя вполне супружеской заботой и добротой.

Кстати о женщинах, к которым я отношусь с неизменной и постоянной симпатией. Давайте уточним разные степени доброты, которые входят в ремесло послушной своему призванию женщины.

Париж, сударыня, ныне наводнен добрыми женщинами, чья благосклонность распространяется на всех без исключения. Эта категория обладает наивысшей степенью женской доброты. У других она чуть ниже, с их последних, не прибегая к околичностям, я назвал бы идеальными кокетками.

Эти женщины не бравируют своим кокетством, не выставляют его напоказ всем и каждому, но в то же время они без особых оговорок отдаются тому, кто распознает их подлинную сущность. Есть и еще одна порода женщин: те, кому мещане охотно отдают излишек своих богатств. В ремесле кокетства они, несомненно, наиболее сведущие, а то, что их поведение не вполне безупречно — помилуйте, это такая малость! Все женщины от простолюдинок до знатных дам ведут себя точно так же и вовсе не сторают от стыда.

Как-то в одном обществе я увидел даму из первых парижских красавиц. Я подошел к ней и сказал несколько комплиментов. Она слушала благосклонно, но несколько рассеянно. Поодаль я заметил мужчину лет пятидесяти в брыжах. Он был явно не в духе и, насупив брови, бросал

сердитые взгляды в нашу сторону. Приятель, более меня осведомленный о всех присутствующих, тронул меня за рукав и, сославшись на неотложное дело, отвел от красавицы. «Вы и не подозреваете, что причиняете беспокойство сразу двоим: девушке, с которой только что беседовали, и вон тому человеку», — сказал он, кивнув на мужчину в брыжах. «Это ее муж?» — спросил я. «Нет». — «Ну, тогда, наверное, отец?» — «Ни то, ни другое. Это ее покровитель, грубиян и невежа, но человек нужный. Мадемуазель де... небогата, вот ей и приходится угождать этому субъекту, а он снабжает ее всем необходимым».

«Понятно, — заметил я, — она меняет то, что имеет, на то, чего ей не хватает, а у него с избытком. Но неужели мадемуазель де... не стыдится появляться в обществе, где все знают о ее тайной связи?» — «Да вы смеетесь, — возразил мне приятель, — если бы подобная бездельница бросала тень на женщину, всем, кого вы здесь видите, пришлось бы покинуть приличное общество. Сейчас все стали жить проще, перед нуждой в средствах отступает щепетильность и смягчаются строгости. Иметь богатого любовника всего лишь благоразумно. Если состоятельный мужчина предлагает женщине любовь, она считает его благодетелем». — «Ну а честь?» — удивился я. «А честь не задета. Из подобного пустяка у нас давно уже не делают скандала, а там, где нет скандала, нет и бесчестья».

Но я отвлекся, у нас шла речь о мещанках-лавочницах. Еще несколько слов о них.

Когда хорошенькая женщина стоит за прилавком, муж должен быть настороже. Прилавок — опасное место, нескромные взгляды бездельников легко пробуждают ответную смелость во взглядах лавочницы, от взглядов смелость передается речам, а от речей — действиям.

Женщина, которая не боится ответить на нескромный взгляд, не постесняется нескромного слова.

Парижским лавочницам позволено безнаказанно иметь подле себя воздыхателей, но я не уверен, что для их нравственности это проходит так же безнаказанно.

Если вам вдруг показалось, что женское кокетство исчезло повсюду, поищите его у дочерей торговцев, впрочем, я не думаю, что вам подолгу придется его искать. У любой мещанки этого добра больше чем достаточно.

Основная черта характера мещанок — тщеславие, оно стержень всех прочих их слабостей и изъянов. Не будь тщеславия, они не стремились бы к дорогим вещам;

не будь тщеславия, они не гнались бы за развлечениями.

Впечатление, произведенное роскошно одетой, но кокетливой женщиной на пятьдесят других мещанок, куда сильнее, чем все наставления о добродетели, а показное к ней презрение — это лишь зависть к более удачливой, на месте которой хотела бы оказаться каждая из них. Картины роскоши, разворачивающиеся перед глазами мещанок, постоянно отравляют их рассудок. Каждый раз, как пешей женщине попадетс я навстречу экипаж, будет запечатлен в ее сознании с болью и наслаждением. С болью — поскольку сама она идет пешком, с наслаждением — ибо в мечтах она уже видит себя в точно таком же экипаже. И как только все это сносит женский рассудок!

Д. И. Фонвизин

ЗАПИСКИ ПЕРВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

(письма из Франции)

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Париж, 14/25 июня 1778

Употребляя все время моего в Париже пребывания на осмотрение сего пространного города, медлил я уведомлять вас, милостивый государь, о моих на него примечаниях, для того что хотел сделать их с бóльшим основанием и точностию. Вот истинная причина, для которой пишу отсюда другое только письмо к вашему сиятельству. В первом описывал я, между прочим, прием здесь Вольтера и бывший поединок. Беспокоит меня, что о получении оног о не имел я счастья быть уведомлен. Весьма было бы досадно, если б оно, или ваше, было где-нибудь удержано.

Не могу, конечно, сказать, чтоб я и теперь знал Париж совершенно, ибо надобно жить в нем долго, чтоб хорошенько с ним познакомиться. По крайней мере, в то короткое время, которое здесь живу, старался я узнать его по всей моей возможности. Беру смелость обременить ваше сиятельство весьма длинным описанием того, на что обращал я здесь мое внимание. К сему ободрен я и последним письмом вашим, которое имел я честь получить от 22 февраля и из которого, к сердечному моему удовольствию, вижу, что про-

должение моих уведомлений вам угодно. Счастье сие приписываю главному достоинству всех моих к вам писем, что перо мое и сердце руководствуются искренним к вам усердием и правдою, которую во всех описаниях моих соблюсти стараюсь.

Париж может по справедливости назваться сокращением целого мира. Сие титло заслуживает он по своему пространству и по бесконечному множеству чужестранных, стекающихся в него от всех концов земли. Жители парижские почитают свой город столицею света, а свет — своею провинциею. Бургонию, например, считают близкою провинциею, а Россию дальнею. Француз, приехавший сюда из Бордо, и россиянин из Петербурга называются равномерно чужестранными. По их мнению, имеют они не только наилучшие в свете обычаи, но наилучший вид лица, осанку и ухватки, так что первый и учтивейший комплимент чужестранному состоит не в других словах, как точно в сих: «*Monsieur, vous n'avez point l'air etranger du tout, je vous en fais bien mon compliment!*» («Вы совсем не походите на чужестранного; поздравляю вас!»). Возмечтание их о своем разуме дошло до такой глупости, что редкий француз не скажет сам о себе, что он преразумен. Видя, что разум везде редок и что в одной Франции имеет его всякий, примечал я весьма прилежно, нет ли какой разницы между разумом французским и разумом человеческим, ибо казалось мне, что весьма унизительно б было для человеческого рода, рожденного не во Франции, если б надобно было необходимо родиться французом, чтоб быть неминуемо умным человеком. Дабы сделать сие изыскание, применял я к здешним умницам знаменование разума в целом свете. Я нашел, что для них оно слишком длинно; они гораздо его для себя поукоротили. Через слово *разум*, по большей части, понимают они одно качество, а именно остроту его, не требуя отнюдь, чтоб она управляема была здравым смыслом. Сию остроту имеет здесь всякий без исключения, следственно, всякий без затруднения умным здесь признается. Все сии умные люди на две части разделяются: те, которые не очень словоохотливы и каких, однако ж, весьма мало, называются *philosophes*¹; а тем, которые врут неумолчно и каковы почти все, дается титло *aimables*². Судят все обо всем решительно. Мнение первого есть мнение наилучшее, ибо спорить не любят и тотчас с вели-

¹ Философы (фр.).

² Любезных (фр.).

кими комплиментами соглашаются, потому что не быть одного мнения с тем, кто сказал уже свое, хотя бы и преглупое, почитается здесь совершенным незнанием жить; итак, чтоб слыть умеющим жить, всякий откасался иметь о вещах свое собственное мнение. Из сего заключить можно, что за истинною не весьма здесь гоняются. Не о том дело, что сказать, а о том, как сказать. Я часто примечал, что иной говорит целый час, к удовольствию своих слушателей, не будучи ими вовсе понимаем, и точно для того, что сам себя не понимает. Со всем тем по окончании вранья называют его aimable et plein d'esprit¹. Сколько излишне здесь, говоря, думать, столько нужно как наискорее перенять самые мелочи в обычаях, потому что нет вернее способа прослыть навек дураком, потерять репутацию, погибнуть невозвратно, как если, например, спросить при людях пить между обедом и ужином. Кто не согласится скорее умереть с жажды, нежели, напившись, влачить в презрении остаток своей жизни? Сии мелочи составляют целую науку, занимающую время и умы большей части путешественников. Они тем ревностнее в нее углубляются, что живут между нацією, где ridicule² всего страшнее. Нужды нет, если говорят о человеке, что он имеет злое сердце, негодный нрав; но если скажут, что он ridicule, то человек действительно пропал, ибо всякий убегает его общества. Нет способнее французов усматривать смешное, и нет нации, в которой бы самой было столь много смешного. Разум их никогда сам на себя не обращается, а всегда устремлен на внешние предметы, так что всякий, обращая на смех другого, никак не чувствует, сколько сам смешон. Упражняясь весь свой век, можно сказать, не в себе, но вне себя, никто, следовательно, не проникает в подробность, а довольствуется смотреть на одну вещей поверхность, ибо познавать подробности невозможно, не рассматривая действий своего собственного разума, чтоб видеть, не ошибаюсь ли сам в моих рассуждениях. Я думаю, что сия причина мешает здешней нации успевать в науках, требующих постоянного внимания, и что оттого считают здесь одного математика на двести стихотворцев, понимает, дурных и хороших. Европа почитает французов хитрыми. Не знаю, не предрассудок ли заставляет иметь сие о них мнение? Кажется, что вся их прославляемая

¹ Любезным и остроумным (фр.).

² Смешное (фр.).

хитрость отнюдь не та, которая объемлется вдруг воображением и очень скоро наружу выходит. Слушаться рассудка и во всем прибегать к его суду — скучно; а французы скуки терпеть не могут. Чего не делают они, чтоб избежать скуки, то есть чтоб ничего не делать! И действительно, всякий день здесь праздник. Видя с утра до ночи бесчисленное множество людей в непрерывной праздности, удивиться надобно, когда что здесь делается. Не упоминая о садах, всякий день пять театров наполнены. Все столько любят забавы, сколько труды ненавидят; а особливо черной работы народ терпеть не может. Зато нечистота в городе такая, какую людям, не вовсе оскотинившимся, переносить весьма трудно. Почти нигде нельзя отворить окошко летом от зараженного воздуха. Чтоб иметь все под руками и ни за чем далеко не ходить, под всяким домом поделаны лавки. В одной блистает золото и наряды, а подле нее, в другой, вывешена битая скотина с текущей кровью. Есть улицы, где в сделанных по бокам стоках течет кровь, потому что не отведено для бойни особливое места. Такую же мерзость нашел я и в прочих французских городах, которые все так однообразны, что кто был в одной улице, тот был в целом городе; а кто был в одном городе, тот все города видел. Париж пред прочими имеет только то преимущество, что наружность его несказанно величественнее, а внутренность сквернее. Напрасно говорят, что причиною нечистоты многолюдство. Во Франции множество маленьких деревень, но ни в одну нельзя въезжать, не зажав носа. Со всем тем привычка от самого младенчества жить в грязи по уши делает, что обоняние французов нимало от того не страдает. Вообще сказать можно, что в рассуждении чистоты перенимать здесь нечего, а в рассуждении благонравия еще меньше. Удостоверясь в сей истине, искал я причины, что привлекает сюда такое множество чужестранцев?

Общества; но смело скажу, что нет ничего труднее, как чужестранцу войти в здешнее общество, следовательно, и вошло их очень мало. Внутреннее ощущение здешних господ, что они дают тон всей Европе, вселяет в них гордость, от которой защититься не могут всею добротой душ своих, ибо действительно в большей их части душевные расположения весьма похваляются. Сколько надобно стараний, исканий, низостей, чтоб впущену быть в знатный дом, где, однако ж, ни словом гостя не удостоивают. Имея сей пример перед собою в моих любезных согражданах, расчел я, что, по краткости времени моего здесь пребыва-

ния, не для чего покупать так дорого знакомство, или, справедливее сказать, собственное свое унижение. Я нашел множество других интереснейших вещей к моему упражнению; а видеть здешних вельмож и их обращение довольствовался я при случаях, удачею мне представлявшихся. Впрочем, чтоб вашему сиятельству иметь ясное понятие, как здесь наши и прочие вояжеры принимаются, то надлежит себе представить в Петербурге некоторых иностранных князей: Кантакузенов, Маврокордато... Всякий, увидясь с ними, взглянет на них ласково, за визит пришлет карточку, равно как и дамы наши отдают женам их визиты; но кто имеет или иметь захочет с ними всегдашнее общество? Вот точное здесь положение между прочими и наших господ и госпож относительно знатных здешних домов! Чувствую, что бог создал нас не хуже их людьми; каково же быть волохами? Не понимаю, как можно, почитая самого себя, кланяться, добиваться и ставить за превеличайшее счастье и честь такие знакомства, в которых не может быть никакого удовольствия, потому что есть большое унижение.

Ученые люди; но из невероятного множества чужестранцев, может быть, тысячный человек приехал сюда с намерением воспользоваться своим здесь пребыванием для приращения знаний своих. А притом и о здешних ученых можно по справедливости сказать, что весьма мало из них соединили свои знания с поведением. Я почти со всеми познакомился. Томас, сочинитель переведенного мною похвального слова Марку Аврелию, Мармонтель и еще некоторые ходят ко мне в дом. Весьма учтивое и приятельское их со мною обхождение не ослепило глаз моих на их пороки. Исключая Томаса, которого кротость и честность мне очень понравились, нашел я почти во всех других много высокомерия, лжи, корыстолюбия и подлейшей лести. Конечно, ни один из них не поколеблется сделать презрительнейшую подлость для корысти или тщеславия. Я не нахожу, что б в свете так мало друг на друга походило, как философия на философов.

По точном рассмотрении вижу я только две вещи, кои привлекают сюда чужестранцев в таком множестве: спектакли и — с позволения сказать — *девки*. Если две сии приманки отнять сегодня, то завтра две трети чужестранцев разъедутся из Парижа. Бесчинство дошло до такой степени, что знатнейшие люди не стыдятся сидеть с девками в ложах публично. Сии твари осыпаны бриллиантами. Для

них великолепные дома, столы, экипажи — словом, они одни наслаждаются всеми благами мира сего. С каким искусством они умеют соединить прелести красоты с приятностью разума, чтоб уловить в сети жертву свою! Сею жертвою по большей части бывают чужестранцы, кои привозят с собою обыкновенно денег сколько можно больше, и если не всегда здравый ум, то, по крайней мере, часто здоровое тело; а из Парижа выезжают, потеряв и то и другое, часто невозвратно. Я думаю, что если отец не хочет погубить своего сына, то не должен посылать его сюда ранее двадцати пяти лет, и то под присмотром человека, знающего все опасности Парижа. Сей город есть истинная зараза, которая хотя молодого человека не умерщвляет физически, но делает его навек шалуном и ни к чему не способным, вопреки тому, как его сделала природа и каким бы он мог быть, не ездя во Францию.

Что ж принадлежит до спектаклей, то комедия возведена здесь на возможную степень совершенства. Нельзя, смотря ее, не забываться до того, чтоб не почесть ее истинною историею, в тот момент происходящую. Я никогда себе не воображал видеть подражание натуре столь совершенным. Словом, комедия в своем роде есть лучшее, что я в Париже видел. Напротив того, трагедию нашел я посредственною. По смерти Лекеневой она гораздо поупала. Оперу можно назвать великолепнейшим зрелищем. Декорации и танцы прекрасны, но певцы прескверны. Удивился я, как можно бесстыдно так реветь, а еще более — как можно такой рев слушать с восхищением!

Обременив ваше сиятельство моим пространном описанием, чувствую, что письмо мое сколь длинно, столь и нескладно; но, однако, посылаю его, будучи уверен, что вы, милостивый государь, взирать будете не на слог его, но на усердие, с которым я хотел исполнить повеление ваше в доставлении вам моих примечаний на Францию. Из Парижа выеду на будущей неделе и возьму смелость писать к вашему сиятельству, о чем отсюда писать неловко.

Луи Себастьян Мерсье

КАРТИНЫ ПАРИЖА

Фрагменты

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

В Париже человеку, умеющему размышлять, нет надобности выходить за городские стены, чтобы познакомиться с людьми других стран: он может узнать весь человеческий род, изучая людей, копошащихся, подобно муравьям в муравейнике, в этой колоссальной столице. Здесь вы найдете азиатов, лежащих целыми днями на грудах каменных плит; лапландцев, прозябающих в тесных лачугах; японцев, распарывающих друг другу животы при малейшей ссоре; эскимосов, не имеющих никакого понятия о своем веке; белых негров и квакеров, носящих шпагу. Вы найдете здесь нравы, обычаи и характеры народов отдаленнейших стран: химика, поклоняющегося огню, любознательного идолопоклонника, скупающего статуи, бродягу-араба, ежедневно шатающегося взад и вперед по городскому валу, в то время как праздный индеец и готтентот проводят дни в лавках, на улицах и в кофейнях. Здесь вот живет добрый персианин, снабжающий бедных лекарствами, а на одной с ним площадке — ростовщик-людоед. Наконец, вы встретите здесь браминов и факиров, ежедневно занимающихся мучительно трудными упражнениями, и гренландцев, у которых нет ни алтарей, ни храмов. А все рассказы об античном сладострастном Вавилоне претворяются здесь каждый вечер в жизнь в храме, посвященном Гармонии.

Говорят, что для усовершенствования того или другого таланта нужно подышать воздухом Парижа. И действительно, тому, кто не жывал в этой столице, редко удавалось особенно отличиться в своем искусстве. Парижский воздух, если не ошибаюсь, совершенно особый воздух. Сколько веществ растворяется в таком маленьком пространстве! Париж — это своего рода громадный тигель, в котором перемешиваются мясо, фрукты, растительные масла, вина, перец, корица, сахар, кофе, продукты самых отдаленных стран, а желудки людей — это печи, разлагающие все эти ингредиенты. Каждая мельчайшая частица, испаряясь, соединяется с воздухом, которым здесь дышат. Сколько дыму! Сколько пламени! Какой поток паров и испарений!

Как глубоко должна быть здесь пропитана почва солями, поделенными природой между четырьмя странами света! И не естественно ли, что изо всех соков, соединенных в густую жидкость, рекою льющуюся во всех домах, наполняющую целые улицы (как, например, улицу Ломбардцев), в атмосферу поступают разжиженные частицы, которые именно здесь сильнее, чем где-либо, раздражают волокна тканей? Возможно, что отсюда и возникло чувство особой живости и легкости, присущее парижанину, и свойственные ему ветреность и игривость ума... А если не эти живые частицы сообщают его мозгу вибрацию, порождающую мысли, то разве глаза его, беспрестанно поражаемые видом несметного количества всевозможных искусств, ремесел, работ, занятий, не раскрываются с малых лет и не научаются созерцать в таком возрасте, когда в другом месте не созерцают еще ничего? В Париже все чувства человека поминутно чем-нибудь возбуждаются. Здесь разрушают, полируют, пилят, формируют; металлы обрабатываются и принимают самые разнообразные формы; молот работает без усталости; тигель все время раскален; цепкий напильник всегда в действии; они сплющивают, расплавляют, разрывают вещества, соединяют, перемешивают их. Может ли ум парижанина оставаться неподвижным и холодным, когда из каждой лавки, мимо которой он проходит, до него доносится громкий голос науки, переделывающей природу, когда голос этот выводит его из летаргического сна?.. Повсюду наука призывает вас и говорит: *Смотрите!* Огонь, вода, воздух работают в кузницах, в дубильных мастерских, в пекарнях; уголь, сера, селитра видоизменяют формы предметов и их названия, и все эти разнообразные переработки — непосредственные создания человеческого ума — наводят на размышления даже самые глупые головы.

Вы слишком нетерпеливы, чтобы посвятить себя практической работе? В таком случае, не хотите ли познакомиться с теорией? Профессора всех наук уже взошли на кафедру и ожидают вас — все, начиная с того, что рассекает трупы в Хирургической академии, и кончая тем, что в Королевском коллеже разбирает стих Вергилия. Вы любите мораль? Театры покажут вам разнообразнейшие картины человеческой жизни. Вы расположены воспринять чудеса гармонии? Если не опера, так колокола, звучащие в воздухе, пробуждают музыкальный слух. Вы художник? Пестрые одежды населения, разнообразие лиц, редчайшие модели всегда готовы пленить вашу кисть. Вы легкомысленны?

Полюбуйтесь искусными руками продавщицы в модном магазине, с сосредоточенным видом наряжающей куклу, которой предстоит перенести последние моды на далекий север вплоть до Северной Америки. Вы любите размышлять о торговле? Вот алмазчик, который в одно утро продает на пятьдесят тысяч эку бриллиантов, в то время как его сосед, бакалейный торговец, продает товара на сто эку в день по мелочам, часто не превышающим трех-четырех су; оба они торговцы, степень же приносимой ими пользы весьма различна.

Нет, невозможно человеку, имеющему глаза, ограничиваться только зрением и не размышлять. Обряд крещения, прерывающий отпевание; один и тот же священник, идущий венчать молодую чету непосредственно после прочтения отходной умирающему; нотариус, говорящий брачующимся о смерти в самый день их нежного союза,— предусмотрительность закона, заботящегося о двух влюбленных сердцах, которые сами не предвидят ничего; обеспечение жизни детей, еще не родившихся на свет; игривая веселость собравшихся гостей во время обсуждения самых важных вопросов,— все это достойно внимания наблюдателя.

Вас останавливает, перерезав вам дорогу и чуть не раздавив, карета; нищий в рубище протягивает руку к позолоченному экипажу, в глубине которого сидит толстый человек. За стеклами окон он производит впечатление слепого и глухого; ему грозит апоплексический удар; через какие-нибудь десять дней он будет зарыт в землю, и после него останется два-три миллиона франков алчным наследникам, которые будут смеяться над его кончиной. А он отказал сейчас в пустяжном подаении несчастному, умолявшему его таким трогательным голосом!

Сколько красноречивых картин останавливает взор на каждом углу, на каждом перекрестке! Какая галерея ярких образов, полных резких контрастов и поражающих всякого, кто умеет видеть и слышать!

Удивительное скопление в одном месте восьмисот тысяч человек, из которых двести тысяч обжор и мотов, приводит к первому размышлению на политические темы. Герцог платит за хлеб не дороже носильщика, который съедает хлеба втрое больше его. Как не удивляться невероятному порядку, царящему в таком смешении вещей! Он дает понятие о том, что могут сделать мудрые законы, как медленно они устанавливались, какую сложную и вместе с тем простую машину представляет собой бдительная полиция.

А одновременно с этим вашему взгляду открываются и способы, которыми можно эту последнюю усовершенствовать, ничем не стесняя благородную и драгоценную свободу — самое дорогое достояние гражданина.

Если вы любитель путешествий, вы можете во время завтрака в каком-нибудь хорошем ресторане далеко унести воображением. Китай и Япония поставляют фарфор, в котором дымится ароматный азиатский чай. Ложкой, добытой в Перуанских рудниках, вы берете сахар, который выращивают в Америке несчастные негры, переселенные из Африки; вы сидите на блестящих тканях, вывезенных из Индии, за которую три великие державы вели между собой долгую и ожесточенную войну; а если вы хотите получить те или иные сведения об этих распрях, то, протянув руку, можете взять газету и прочитать в ней краткую историю последних событий во всех четырех странах света. Там говорится о конклаве и о сражении, о задушенном визире и о новом академике. Наконец, все — вплоть до обезьяны и попугая, находящихся в ресторане, — говорит вам о чудесах мореплавания и об усиленной деятельности человека.

Выглянув из окна, вы увидите человека, который шьет сапоги, чтобы купить себе хлеба, и другого, который шьет платье, чтобы купить себе сапоги; затем третьего, который, имея и сапоги и платье, хлопочет о приобретении картины. Вы увидите булочника и аптекаря, акушера и могильщика, кузнеца и ювелира, работающих для того, чтобы самим отправиться последовательно к булочнику, аптекарю, акушеру и виноторговцу.

ЛИЦО БОЛЬШОГО ГОРОДА

Вы хотите иметь представление о внешности Парижа? Поднимитесь в таком случае на башню Собора Богоматери. Город кругл, как тыква. Штукатурка, то черная, то белая, составляющая две трети его строительного материала, указывает на то, что город выстроен из мела, а также на то, что он стоит на известковой почве. Дым, вечно поднимающийся из его бесчисленных труб, скрывает от нас острокопечные верхи колоколен. Точно облака образуются над бесчисленными зданиями, и испарения города являются, таким образом, как бы осязаемыми на глаз.

Река, протекающая через Париж, разрезает его на две почти равные части, но за последние несколько лет новые

здания растут преимущественно в его северной половине.

Я обойду молчанием как топографическое положение города, так и внешний вид его зданий, памятников и всякого рода диковин, потому что придаю больше значения духу и характеру его жителей, чем всем перечням, которые можно найти в Этрэн Миньон. Я изучаю нравственный облик города; для того же чтобы познакомиться со всем остальным — нужны только глаза.

Отмечу лишь, что парижский климат отличается крайним непостоянством и что он не столько холодный, сколько сырой. Вода Сены слегка послабляющая, а поговорка гласит, что Сена течет из бедра ангела. Кожа у здешних жителей мягкая и дряблая, а плотность атмосферы смягчает цвет лица, так что яркий румянец здесь — редкость.

Самым здоровым кварталом является предместье Сен-Жак, где живет бедный люд, а самым нездоровым — так называемый город.

Почему этот великолепный город не расположен на том месте, где стоит Тур? Там он оказался бы помимо всего еще и в самом центре королевства. Прекрасное небо Турени гораздо более подходило бы парижскому населению, а положение на берегу Луары дало бы столице неисчислимые преимущества, которых у нее сейчас нет и которые она не сможет приобрести ни трудом, ни богатством.

Окрестности Парижа разнообразны, прелестны, очаровательны; там культура усовершенствовала природу, но не задушила ее. Таких садов, аллей, прогулок не встретишь нигде, как только здесь, в непосредственной близости к городу. На четыре лье в окружности все дышит изобилием, и тот, кто здесь вкладывает свой труд в землю, не может жаловаться на судьбу.

И в то же время никто на восемь-десять лье в окружности не имеет права сделать ни единого ружейного выстрела. Королевские угодья и земли принцев присвоили себе все права на охоту. Произвольные законы, касающиеся этой области, носят печать строгости, чтобы не сказать — жестокости, представляющей резкий контраст с прочими законами королевства. Застрелить куропатку считается преступлением, которое можно искупить лишь каторгой. Смотрители охоты преследуют тех, кто охотится на охраняемых ими землях, с таким же ожесточением, с каким конная жандармерия преследует воров и убийц. Случается, что браконьеров убивают, и — о ужас! — эти убийства остаются безнаказанными! Осмелюсь ли прибавить, что ино-

гда зрителей за это даже награждали, и награждал, между прочим, один принц крови, который слышет весьма человеколюбивым.

В отношении охоты принцы крови жестоки, неумолимы и действуют как настоящие тираны.

КАМЕНОЛОМНИ

Для постройки Парижа приходилось брать камень в его окрестностях, а требовалось его немало; и естественно поэтому, что по мере роста города его предместья стали строиться на местах прежних каменоломен, и, таким образом, оказывается, что все здания, которые мы видим на поверхности, выстроены за счет крепости почвы; этим объясняются те ужасающие впадины, которые образовались в настоящее время под домами во многих местах города. Эти дома стоят над пустотами. Не требуется особенно сильного толчка для того, чтобы все эти камни, с таким трудом извлеченные из недр на поверхность, снова очутились на прежнем месте. Восемь человек, погребенных в провале глубиною в сто пятьдесят футов, и несколько других, подобных же, но менее известных случаев заставили, наконец, полицию и правительство обратить на это внимание, и в результате во многих кварталах дома были укреплены особыми сваями, подведенными под фундаменты и придавшими последним необходимую прочность.

Все предместье Сен-Жак, улица Арфы и даже улица Турнон расположены над бывшими каменоломнями; там пришлось возвести пилястры, чтобы поддерживать груз домов. Сколько тем рождается для размышления, когда знакомишься с этим большим городом, который создан и поддерживается целым рядом противоречащих друг другу способов! Все эти башни, колокольни, своды соборов представляют собой как бы символы, говорящие глазам наблюдателя: Того, что вы видите над собой, — нет у вас под ногами.

НАСЕЛЕНИЕ СТОЛИЦЫ

Господин де Бюффон (я не буду называть его графом Бюффоном, так как графов и без того слишком много) утверждает, что прирост парижского населения увеличился

за последние сто лет на целую четверть и что этого вполне достаточно. Каждый брачный союз дает, по его словам, в среднем четверых детей; ежегодно заключается от четырех до пяти тысяч браков, а число крещений доходит до восемнадцати, девятнадцати и двадцати тысяч в год. Таким образом, число вступающих в жизнь, по-видимому, равняется числу уходящих из нее; этим равновесием нельзя не восхищаться; оно говорит внимательному наблюдателю об определенном плане, соблюдающемся в круговороте жизни и смерти.

В Париже умирает в обыкновенные годы около двадцати тысяч человек, что, по данным того же Бюффона, дает население в семьсот тысяч жителей, если считать тридцать пять живых на одного умершего. Но в особо суровые зимы смертность увеличивается. Так, в 1709 году она возросла до тридцати тысяч, а в 1740 — до двадцати четырех.

По тем же наблюдениям, в Париже рождается больше мальчиков, чем девочек, и умирает больше мужчин, чем женщин, и не только пропорционально рождению детей мужского пола, но и значительно превышая эту пропорцию, так как из каждых десяти лет жизни на долю парижских женщин приходится одним годом больше, чем на долю мужчин. Таким образом, разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин столицы равна одной девятой. Поэтому простой народ называет Париж раем женщин, чистилищем мужчин и адом лошадей.

Бывают дни, когда из городских ворот выходит тесными колоннами до трехсот тысяч человек, из которых шестьдесят тысяч — в экипаже или верхом. Это бывает в дни парадов, общественных празднеств и народных гуляний. По прошествии шести часов вся эта несметная толпа рассеивается; каждый возвращается к себе, и площадь, только что запруженная народом до такой степени, что под его натиском были снесены все заграждения, превращается в пустыню: каждый находит себе пристанище — свой угол.

В день гулянья в Лон-Шан в городе не остается ни души, какая бы погода ни была. В этот день принято выставлять на показ всему Парижу свои экипажи, своих лошадей и лакеев. На прогулке не делают таких глубоких поклонов, как в гостиных, — они носят отпечаток легкости, который не в силах перенять ни один самый ловкий иностранец.

После катастрофы, имевшей место десять лет назад на площади Людовика XV, когда погибло от неудачного фейерверка от полутора до тысячи восьмисот человек, — на

всех празднествах царит такой порядок, что нельзя в достаточной мере расхвалить бдительность и умение распорядителей.

Видя такое громадное стечение народа, поражающее даже самых привычных к подобным зрелищам людей, уже не удивляешься тому, что один только Париж приносит французскому королю около ста миллионов в год — считая тут все: ввозную пошлину, десятину, подушную подать и все прочие казенные обложения, названия которых могли бы составить целый словарь. Эта устрашающая сумма, которую дает один только город, накапливается ежегодно, и французские монархи не без основания говорят о столице — наш добрый Париж: это действительно хорошая дойная корова. В царствование Людовика Толстого ввозная пошлина приносила в Париже тысячу двести ливров в год.

Двор внимательно прислушивается к разговорам парижан. Он называет их лягушками. Что говорят лягушки? — нередко осведомляются друг у друга царственные особы. Но когда при их появлении на каком-нибудь зрелище или на дороге Сент-Женевьев «лягушки» им аплодируют, они бывают очень довольны. Иногда же «лягушки» карают их молчанием, и по тому, как держат себя парижане, принцы действительно могут судить о том, какого о них мнения народ. Как веселое, так и равнодушное настроение толпы выражается здесь всегда очень ярко. Предполагают, что принцы потому особенно чувствительны к приему, оказываемому им столицей, что смутно чувствуют, что в этом многолюдстве скрывается и здравый смысл, и ум, а также и люди, способные оценить и их самих, и их поступки; люди же эти, неведомо как, влияют на суждения черни.

В некоторых случаях полиция нанимает горластых крикунов и расставляет их по городу, чтобы подзадорить население, подобно тому как она подкупает ряженых во время масленичного карнавала. Но подлинные выражения народного одобрения носят всегда характер неподражаемой непосредственности.

В настоящее время заканчиваются работы над десятым планом Парижа; но город все ширит свои границы, которые до сего времени не установлены, да и не могут быть установлены.

Я теряюсь в этом огромном городе и уже не узнаю некоторых новых кварталов: огороды, поставляющие столице овощи, отодвигаются все дальше и дальше и уступают место зданиям. Шайо, Пасси и Отейль уже тесно слились

со столицей; еще немного — и к ним присоединится и Севр, и, если через столетие границы Парижа расширятся с одной стороны до Версаля, с другой — до Сен-Дени, а со стороны Пикпюса до Венсена, то получится чисто китайский город.

ПАРИЖАНИН В ПРОВИНЦИИ

Покинув Париж и приехав в провинцию, парижанин не переставая рассказывает о столице. Все, что он видит, он сравнивает с привычками и обычаями, существующими в Париже, и находит нелепым все, что отличается от последних. Он желает, чтобы в угоду ему все переменяли взгляды. О дворе он говорит так, точно хорошо его знает; о писателях — как о своих приятелях; об обществе — словно именно он и задает ему тон. Он знаком с министрами, с чиновниками, он пользуется у них значительным доверием; имя его известно всем. Все его разговоры сводятся в общем к тому, что нигде, кроме Парижа, нет ни талантов, ни знаний, ни учтивого общества.

Все это он рассказывает взрослым и здравомыслящим людям. Он или считает их за дураков, или мания превозносить себя так его ослепляет, что он не видит, до какой степени легко было бы уличить его в заблуждениях и во лжи. Но он воображает, что возвысит себя в глазах всех, говоря с похвалой только о Париже и о дворе.

Известный стих «Для провинциальных глаз ее глаза недурны» парижанин, сам того не зная, применяет ко всему, что находится вне его кругозора; приехав в Бордо и Нант, он говорит: Гаронна и Луара для провинциальных рек недурны!

ДРЕВНОСТИ

В Риме нельзя сделать шагу без того, чтобы не попать ногами какой-нибудь памятник старины, вызывающий внимание и уважение, без того, чтобы не увидеть вокруг себя предметов, напоминающих о завоевателях греческого искусства и властителях мира. Не таков Париж: этот город не был создан республикой, не был вылеплен греческим гением; в нем ничто не напоминает красноречивого гения, заботившегося о том, чтобы его произведение внятно

говорило взорам граждан и возвышало их души. Шедеврами искусств здесь являются не общественные памятники; здесь шедевры прячутся и мельчают в домах частных лиц. Для тех, кто знает историю, от Сены и Лувра до Тибра и Капитолия — расстояние громадное.

Все древности Парижа носят готический, убогий и жалкий вид. Наше грубое происхождение запечатлено в сохранившихся у нас памятниках: в аббатстве святой Женевиевы вы видите гробницу его основателя Хлодвига. Но нетрудно убедиться в том, что это памятник нового времени и что поэтому он лишен величия; он вовсе не похож на храм Ромула.

Норманны, неоднократно грабя, сжигая и разоряя церковь и аббатство Сен-Жермен-де-Пре, оставили там одни только пустые гробницы с плохо сохранившимися надписями. То, что уцелело от древней скульптуры, свидетельствует о самом возмутительном варварстве; христианская религия никогда, даже в колыбели, не носила жизнерадостного характера; об этом свидетельствуют и эти обломки исчезнувших веков — странных, несчастных веков, отмеченных всем позором и мраком, свойственным заблуждению и невежеству.

Желающие могут взглянуть на могилы Хильдебера и Ольтроготы, Хильпериха и жены его Фредегунды. Надписи, сохранившиеся на надгробье Хильпериха, просят живых не беспокоить его останков, а оставить их там, где они покоятся: просьба, с которой он обращается, очевидно, к северным разбойникам, нахлынувшим на королевство и аббатство: *Prescor ego Impericus non auferantur hinc ossa mea*¹.

Старинные имена, лишённые величия и блеска; печальные, пустые гробницы; мрачные изображения, не представляющие никакого интереса; грубый и жесткий резец — вот древности, наполняющие церкви. Гений человека был словно придавлен царящим на земле ужасом, и его дрожащая рука ничего, кроме мрачных, унылых и однообразных образов, начертить не могла. Вспомните развалины Геркуланума и Портичи; они не носят на себе печати столь мрачного воображения.

Самое интересное в Париже — это остатки того дворца, в котором у римлян до прихода франков были устроены бани; они находятся в одном из владений на улице Арфы под вывеской Железный Крест. Эти развалины носят все

¹ Я, Хильперик, прошу не уносить моих останков (лат.).

признаки глубокой древности. По-видимому, дворец был довольно обширен; там жили наши первые короли; туда были сосланы дочери Карла Великого после его смерти, когда Людовик Кроткий, любитель церковного пения и ненавистник любовных походов, приказал убить их любовников. Он, вероятно, думал, — наивно говорит отец Даниэль, — что такой пример устрашит окружающих и что других любовников они не найдут; но в этом он ошибся: они у них не переводились.

Древние республики! Ваши обломки свидетельствуют о том, чем вы были. Великолепнейшие памятники монархии не стоят ваших останков, пощажённых самим временем и варварами. Боже! До чего мы ничтожны перед величественными трудами свободного государства!

Археологи очень сожалеют о статуе богини Изиды, которую ввиду ее древности долгое время оставляли нетронутой у главных врат аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Но в 1514 году одна простолоудинка, приняв эту статую за изображение Богоматери, пришла возжечь перед ней целый пук свечей; когда об этом узнал настоятель аббатства, он преисполнился благочестивого гнева и велел разбить статую на куски в предупреждение идолопоклонства, а на ее месте воздвиг большой крест, который существует и по сие время.

ПОН-РОЯЛЬ

С моста Пон-Рояль открывается самый красивый вид на город. С одной стороны вы видите Ле-Кур, дворцы Тюильри и Лувр, с другой — дворец Пале-Бурбон и длинный ряд великолепных особняков. Обе набережные Иль-де-Пале и две другие, окаймляющие реку, много способствуют красоте перспективы.

Если путешественник въезжает в город через мост Пон-де-Нейли, то, по мере приближения к заставе Шайо, его все более и более восхищает развертывающаяся перед ним картина с видом на великолепную площадь Людовика XV, на сад и дворец Тюильри.

Если бы осуществили в конце концов неоднократно уже предполагавшийся план очистки мостов Сен-Мишель, О-Шанж, Нотр-Дам и Мари от старых построек, которыми они так неприятно загромождены, то взор мог бы с наслаждением проникать с одного конца города до другого.

Какой неприятный контраст представляют собой великолепный правый берег реки и левый, до сих пор еще немощный, вечно грязный и полный нечистот! Он застроен дровяными складами и жалкими домишками, в которых живут подонки населения. Но еще более удивляет то, что эта отвратительная клоака граничит с одной стороны с дворцом Пале-Бурбон, а с другой — с прекрасной набережной Театинцев.

Галиот, совершающий рейсы в Сен-Клу, отправляется в определенные часы от Пон-Рояля, и дешевизна переезда привлекает туда в воскресные и праздничные дни целые толпы парижан. Рейсы, совершаемые этим судном, не дают особенно высокого представления о мореплавательных талантах сенских матросов, если судить по неловкости, с которой они отчаливают и пристают к берегу. Некоторые парижане, явившиеся на пристань слишком поздно, чтобы воспользоваться галиотом, бросаются очертя голову в частые шлюпки, забывая, что эти хрупкие лодочки могут быть поглощены жалкими водами Сены так же легко, как волнами безбрежного океана. Люди, привыкшие к морским путешествиям, содрогаются при виде подобной неосторожности.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ВИД

Очень приятный вид открывается в хороший весенний день на сады Тюильри, или, вернее, на Елисейские Поля. Два ряда хорошеньких женщин окаймляют большую аллею. Они сидят на садовых стульях одна возле другой, глядят на всех столь же непринужденно, как глядят на них самих, и производят впечатление пестрого цветника. Разнообразие лиц и нарядов, удовольствие от того, что можно и себя показать, и на других посмотреть, желание перещегоолять друг друга, скрываемое под маской скромности, — все это придает картине особую прелесть, привлекающую взгляды, и родит в голове тысячу мыслей — и о том, насколько моды умаляют или подчеркивают красоту, и о женском кокетстве, и о врожденном желании нравиться, составляющем как их, так и наше счастье.

Фижмы наших матерей, юбки, перерезанные оборками, смешные наплечники, ряд охватывающих обручей, бесчисленные мушки, из которых некоторые были похожи на настоящий пластырь, — все это исчезло, за исключением

несоразмерно высоких причесок, нелепость которых смягчается вкусом и изяществом. В общем женщины в настоящее время одеты лучше, чем когда-либо: их наряды соединяют в себе легкость, пристойность, свежесть и грацию. Платья из легких материй обновляются чаще, чем те, на которых блестело серебро и золото; они подражают, так сказать, оттенкам цветов различных времен года. Только искусные руки наших продавщиц и могут с таким изумительным разнообразием превращать газ, батист и ленты во все эти очаровательные наряды. Если бы женщины смогли отказаться от возмущающих глаз белил и румян, они исправили бы дурной вкус своих матерей и наслаждались бы всеми преимуществами, дарованными им природой. Они не нуждаются в бриллиантах и украшениях, свидетельствующих о богатстве и роскоши: бриллианты отвлекают собой часть внимания, которое заслуживает женская красота. Сильнейшее обаяние красавицы состоит именно в том, что она о нем и не подозревает.

СТРАНА ЛАТИНСКАЯ

Латинским кварталом называют тот, где расположены улица Сен-Жак, гора святой Женеьевы и улица Арфы. Там помещаются университетские коллежи, и можно постоянно видеть целые толпы учеников Сорбонны в сутанах, преподавателей с брыжами вокруг шеи, студентов-юристов и студентов-медиков. В выборе той или другой профессии ими руководит материальная нужда.

Когда Французская комедия находилась в Латинском квартале, состав ее партера был гораздо лучше, чем сейчас; тогда партер умел создавать актеров. Теперь же последние, лишившись полезной для них студенческой критики, портятся, играя перед грубым партером, состоящим исключительно из лавочников с улицы Сент-Оноре, из акцизных и мелких служащих таможни.

Таким образом, совершенствование искусства находится в зависимости от почти неуловимых, никем не замечаемых явлений.

СОРБОННА

Она сама смеется над своей теологией и отлично понимает пустоту и нелепость всех своих тезисов и отлуче-

ний. Она пытается утверждать, что Моисей был лучшим натуралистом, чем Бюффон, но сама этому не верит.

Теология испортила все. Она удвоила страхи человека, вместо того чтобы успокоить их; она сделала его суеверным, вместо того чтобы сделать его разумным.

Сорбонна, естественно, должна была блистать в темные века, потому что тогда ее знания были выше уровня большинства людей. Но и в эпоху знаний она вздумала давать ответы решительно на все, и это породило самые нелепые софизмы. Она исковеркала все науки, желая подчинить себе и мораль, и историю, и физику; она захотела все привести в порядок в качестве законодательницы всех идей, и ее старания породили самые невероятные противоречия.

Получилась бы любопытнейшая книга, если бы собрать все, что Сорбонна говорила и печатала в течение трех столетий. Безрассудство самых невежественных и суеверных народов не давало картины большего безумия; это объясняется тем, что Сорбонна всегда мудрила и желала знать больше того, что знают прочие христианские богословы. Безрассудство боролось с безрассудством; можете себе представить плоды подобного поединка.

Она совершенно исказила бы в человеке способность мыслить, если бы несколько мудрых людей не взялось исправить ее ошибки, насмехаясь над теологией, точно так же как насмеваются над нею в душе и сами члены Сорбонны. Но так как занимаемые ими места очень доходны, то всевозможные аргументы, тезисы и отлучения пойдут и впредь своим чередом. Если существует много людей, готовых дать убить себя за несколько грошей, то что удивительного в том, что другие безрассудствуют за более высокую плату?

Все, что есть в настоящее время в Сорбонне замечательного, это — мавзолей кардинала Ришелье, создавшего как Сорбонну, так и Французскую академию — два учреждения, которые сейчас мыслят почти одинаково и в то же время воюют друг с другом. И все для того, чтобы обратить на себя внимание и существовать.

Мусульманские богословы разумнее наших. По их утверждению, Магомет сказал, что из двенадцати тысяч стихов, заключенных в Алкоране, всего только четыре тысячи истинных; а потому, когда встречаются какие-нибудь непонятные места, какая-нибудь несообразность, они, вместо того чтобы упрямо оправдывать эти нелепости, относят их в число тех восьми тысяч стихов, которые признаны

ложными. Этим способом они избегают споров, которые могли бы привести их в смущение, и, устраняя все противоречия и несовместимости, спасают честь человеческого разума.

Если бы так же поступала Сорбонна, она в своем бреду не породила бы ни старинных тезисов, которые сделали ее во всем ненавистной, ни новейших тезисов, благодаря которым она сделалась смешной; но она согласна лучше слыть безрассудной, лишь бы продолжали ей платить.

ПОВСЮДУ СТРОЯТ

Три сословия, которые в настоящее время наживают в Париже большие состояния,— это банкиры, нотариусы и каменщики, или, иначе говоря, подрядчики. Деньги имеются только на постройки. Громаднейшие здания вырастают точно по волшебству, а новые кварталы состоят исключительно из великолепных частных особняков. Увлечение постройками предпочтительнее увлечения картинами или особами легкого поведения, так как оно придает городу величие и благородство.

Архитектура всего какие-нибудь двадцать лет назад снова вернулась к хорошему стилю, особенно в области орнаментовки.

Граф Кейлюс воскресил у нас греческий вкус, и мы наконец отрешились от своих устарелых форм. Внутренность домов не оставляет желать ничего лучшего в смысле красоты и удобств, о которых не имеют никакого понятия все прочие жители земли.

Почти одновременно были возвращены к жизни два искусства: музыка и архитектура. Живописи этот расцвет не коснулся: колорит французской школы все еще остается несколько фальшивым; возможно, что в этом повинен наш климат; возможно, что наши мастера не считают нужным добиваться в этом направлении большего совершенства.

Городской вал покрывается, как щетиной, новыми зданиями, раздвигающими прежнюю черту города. Ряд новых красивых домов тянется по направлению к шоссе д'Антен и к воротам Сент-Антуан, которые теперь уже снесены. Поднимался вопрос о том, чтобы разрушить проклятую Бастилию, но этот гнусный во всех отношениях памятник до сих пор все еще возмущает наш взгляд.

Очевидно, где-то написано, что так никогда и не удастся достроить Лувра. Вот уже тридцать лет, как производятся

работы, но с медлительностью, свидетельствующей о недостатке средств. Принц Конде истратил двенадцать миллионов на свой Пале-Бурбон, леса же Лувра уже успели сгнить на месте!

Отель-Дьё ничего не выиграл от пожара, так же как и Пале. Не обрушится ли купол церкви святой Женевьевы на наши головы? Или, может быть, покоясь на несокрушимом фундаменте, он презрит опасения и вопли г-на Патта, который громко заявил об опасности? Но, может быть, это опасность воображаемая? Если бы его опасения оправдались, остался бы только величественный фасад здания, то есть именно та часть памятника, которая заслуживает наибольших похвал.

Жителям вскоре будут доставлять воду таким же способом, как это делается в Лондоне,— с помощью пожарного насоса.

Нельзя не согласиться, между прочим, с тем, что многие пожары способствовали украшению города.

Когда бедствия, вызванные внезапным гневом стихии, ничего не оставляют нетронутым на своем пути,— им на смену спешит гений-восстановитель и, устремив взор на еще дымящиеся развалины, задумывается о восстановлении исчезнувших зданий и памятников, или, вернее, о создании на их месте новых, более величественных, чем прежние.

Таким образом, благодаря непрерывному развитию природы все великое, что мы видим, создано в результате несчастных случаев, и можно сказать, что зло порождает добро.

Действительно, человек словно ждет разрушения ветхих зданий, чтобы поднять на них руку, и неистовство стихии является сигналом, который напоминает ему о его могуществе и силе.

Если бы не стихийные бедствия и не ярость пожаров, то безобразные остатки самого возмутительного варварства до сих пор все еще царили бы в наших городах; мы научились возвышать и облагораживать наше воображение только с тех пор, как больше не видим образчиков готической, безвкусной архитектуры с которыми так свыклись.

Лишь после того как пламя сделало свое дело, приступает к работе смелая и созидательная рука. Она словно робеет и теряется перед лицом древних лачуг, уважаемых в силу предрассудков и привычки, и кажется, будто труднее снести жалкие развалины, чем воздвигнуть великолепнейшие сооружения.

Страшный пожар в Пале, который мог бы оказаться еще ужаснее и утратить любое воображение, должен был бы повлечь за собой создание совершенно новых форм для этого храма Справедливости. Хранилище национальных летописей и архивов, святилище законов, место, где происходят самые торжественные собрания, должно было бы носить характер величия и благородства и одним своим видом напоминать гражданам, что здесь заседают судьи, защитники и оракулы народных прав.

Нравственная сторона человека какими-то непонятными узами связана с неодушевленными предметами; и если король стремится отделиться от подданных высокой стеной и окружить себя великолепием, если священнослужители призывают поклонников божества в храмы, где царит преисполненный величия сумрак, то самым важным местом на земле после того, где человек падает ниц перед богом, является то, где Справедливость с обнаженным мечом в руках держит в страхе могущественного человека и поддерживает слабого.

Фасад подобного здания должен был бы носить такой внушительный и строгий характер, чтобы виновный бледнел, поднимаясь по ступеням в залу суда, где его ожидает возмездие закона. И не должен ли храм, в котором царят законы, напоминать судьям о том, что они входят в святилище, где им следует отрешиться от человеческих страстей и настроить свою душу на возвышенный лад, достойный страшных, ответственных обязанностей, которые им предстоит здесь нести?

Но ничего подобного не сделано. Строители создали неправильное и жалкое здание, которое скорее приличествовало бы притону кляузников и сутяг, чем храму Справедливости. Облагородить святилище законов они не желали.

АРХИТЕКТУРА

Я хочу задать представителям искусства вопрос: зачем неизменно украшать все архитектурные здания колоннами? Зачем всегда одни и те же антаблементы? Для чего вечно повторять одну и ту же композицию? Мне говорят: колонны напоминают стволы деревьев. Отлично! Орнаменты изображают вазы с растениями. Прекрасно! Но ведь мои глаза видят все это в тысячный раз! Нельзя разве придумать какие-нибудь другие пропорции? Неужели искусство заклю-

чено в такие узкие рамки? Неужели гений архитекторов или само искусство так ограничены? Зачем каждый дворец непременно должен быть похож как две капли воды на другой дворец? Я обвиняю архитекторов в ужаснейшем однообразии. Я устал от колонн, устал видеть всегда и повсюду колонны!

Целый ряд прелестных новых домов самого разнообразного вида окаймляет городской вал и украшает предместья. Такое разнообразие доказывает, что искусство может порой отходить от старых привычных форм и правил, чтобы удивлять и восхищать взоры человека.

Но главные чудеса архитектуры заключены внутри парижских домов. Искусная планировка сберегает площадь, увеличивает ее и предоставляет обитателям ряд новых ценных удобств. Они очень удивили бы наших предков, умевших строить только длинные или квадратные залы при помощи громадных балок и перекладин. Наши современные жилища напоминают своим видом круглые, искусно отполированные раковины, и вы сидите теперь в светлом, уютном помещении, устроенном там, где прежде царили запустение и мрак.

Разве имели представление двести лет тому назад о вращающихся каминах, согревающих одновременно две комнаты; о невидимых, потайных лестницах, о крошечных каморках, существования которых никто не подозревает; о фальшивых дверях, маскирующих настоящие двери; о спускающихся и поднимающихся полах, о лабиринтах, в которых хозяева скрываются, чтобы предаваться на свободе излюбленному времяпрепровождению, вдали от любопытных взоров прислуги?

Разве можно было предугадать, что искусство дойдет до такого совершенства, что при помощи маленькой потайной кнопки можно будет быстро повернуть устроенное на особом стержне зеркало, величиной в четыре фута, или большой секретер, или комод, прислоненный к мнимой стене и открывающий при вращении проход в комнату соседнего дома,— проход, скрытый от любопытных глаз и известный только заинтересованным в нем лицам, которым он помогает хранить любовные тайны, а нередко и тайны политические? Люди, никогда будто бы друг друга и не видевшие, встречаются там в заранее условленные часы; их окутывает непроницаемый мрак, и даже самая жгучая ревность, самая искусная слежка не могут ничего заподозрить и вынуждены признать себя побежденными.

Арабески снова вошли в моду после многих столетий полного забвения. Этот жанр декоративного искусства, безусловно, очень приятен, но слишком дорог. И что же? Нашли способ переводить арабески на бумагу, и в этом виде они смогут отныне одинаково удовлетворять вкусы как богатых, так и малосостоятельных людей. Изобретения нашего времени направлены главным образом к точной подделке показной роскоши; теперь довольствуются одним ее внешним лоском. Людям кажется, что они приближаются к богатству, когда они в состоянии окружить себя внешними его признаками, а это, в свою очередь, ясно доказывает, что главная прелесть богатства заключается именно в роскоши. Вот почему можно видеть простые стены, окрашенные под мрамор; бумагу, выделанную под бархат и шелк. Гипс покрывают бронзой; золотят каминные решетки, и даже на обеденных столах искусственные фрукты нередко возмещают отсутствие настоящих. Делают даже искусственные рельефные кушанья¹, до которых, по предварительному уговору, никто не дотрагивается; эти фантастические блюда подаются к столу до тех пор, пока покрывающие их краски не утратят своей свежести. Скоро, вероятно, наши библиотеки превратятся в раскрашенные полотна; разве нет у нас и теперь подобных же дешевых подделок как в области скульптуры, так и в столярном ремесле, в фарфоре, в порфириновых вазах, вплоть до бюстов великих людей?

ПРОЙДЕМТЕСЬ ПО ГОРОДУ

Бросим теперь взгляд на учреждения наших предков. Я ознакомлюсь по ним с историей предшествовавших веков; и каждая церковь, каждый памятник, каждый перекресток явят мне любопытные исторические черты. Все, что совершил фанатизм, воскреснет в моих воспоминаниях, так как нелепости прошлого не преминули оставить о себе памятники, способные их обессмертить, точно они боялись исчезнуть из мира, не обеспечив себя постыдной славой. Но заметить их можно лишь с помощью некоторой учестности.

¹ Рассказывают случай с одним близоруким иностранцем, который, несмотря на смятение хозяйки дома, хотел во что бы то ни стало разрезать деревянного кролика. (*Примеч. авт.*)

В древности сохранялся вплоть до времен Димитрия Фалерийского — другими словами, на протяжении девяти веков — тот корабль, на котором плыл Тезей, освободивший афиняне от дани царю Миносу. По мере того как корабль ветшал, афиняне заменяли его сгнившие части кусками нового дерева, так что впоследствии возник спор: тот ли это самый корабль? И вот Париж немного его напоминает: на нем столько заплаток, что от прежнего не осталось ничего.

Думаю, что если я когда-нибудь получу дворянство и доведу свое генеалогическое дерево до времен Маркомира и Фарамона, то нимало этим не возгоржусь, как возгордились бы на моем месте иные, потому что это только докажет, что я веду свой род от одного из древних сикамбров, другими словами — от варвара и полудикаря.

Я вспоминаю, что святой Реми, готовясь облить святой водой голову Хлодвига в присутствии его войска, сказал ему: Склони голову, гордый сикамбр.

И если бы небеса внезапно открыли нашим взорам действительную родословную всех живущих на земле, какое бы получилось неожиданное и любопытное зрелище! Не оказалось бы ни одного короля, у которого не нашлось бы среди предков раба, и ни одного раба, который не имел бы среди своих родичей короля.

Настоящим дворянином не явится ли тот буржуа, который хвастал, что может доказать соответствующими грамотами, что за ним числится более шестисот лет разночинства, переходящего из рода в род?

Кто мог бы сказать Константину Великому, что самые грубые люди сядут в один прекрасный день на его трон и гордо объявят себя владыками его царства? Могущественные монархии были основаны варварами, и потомок калмыка, одетого сейчас в звериные шкуры, возможно, когда-нибудь возложит на свою голову великолепную корону Франции. Что только не делает время и какие только удивительные перемены не приносит оно земле!

Наше происхождение, во всяком случае, более благородно, чем происхождение римлян. Основателем нашего государства не был пастух Ромул, который, стремясь заселить свой маленький городок, обратился ко всем вора, грабителям и разбойникам Италии и Тосканы, зазывая их к себе и обещая им постыдное покровительство.

Таким образом, гуляя по городу, я путешествую по древнему миру, перебирая в памяти любопытнейшие эпохи.

Мне нравится мысль о том, что я происхожу от франков, носивших длинные волосы, а не от покоренного народа, которому волосы коротко стригли. Моя любовь к свободе доказывает мне, что я принадлежу к расе победоносного длинноволосого народа, и всякий раз, когда я вижу развевающиеся волосы наших президентов, советников и молодых адвокатов, я говорю себе: Вот они — франки!

Я люблю представлять себе наш великолепный город только еще поднимающимся из топких болот — в конце второй династии, когда он был заключен между двумя рукавами реки. Встречая на дороге быков, я всегда говорю себе: Вот кони, которыми была запряжена некогда повозка короля Дагобера:

Волы в Париже тихо, вчетвером
Провозят фазтон с беспечным королем.

Как далека была эта повозка от экипажа, в котором проезжал по улицам Реймса Людовик XVI в день своего коронавания! Но добрый Дагобер, вероятно, и не представлял себе возможности большей роскоши.

В той части города, где были прежде улицы Пот-о-Диабль и Тир-Буден, я вижу теперь ряд прекраснейших улиц, окружающих Люксембург, Пале-Рояль и Тюильри. Жалкие деревушки бывали колыбелью великих империй, а рыбацкие лодки давали начало могущественному морскому флоту!

По мере того как я приближаюсь к кладбищу Невинных, вид которого печалит мой взор, впереди начинает вырисовываться восьмиугольная башня, где стояли часовые, следившие за норманнами, которые беспokoили город частыми и неожиданными набегами. На красивой улице Сент-Антуан выращивали капусту, морковь, репу. Здесь происходил и тот турнир, на котором был ранен Генрих II, а позднее тут дрались гнусные любимчики Генриха III.

Университетский квартал говорит мне о любви Филиппа-Августа к науке и о том, что им был основан целый ряд школ. Ученики этих школ заселили город, и именно благодаря этой населенности парламент при Филиппе Красивом сделался здесь постоянным учреждением. Отсюда следует, что образование всегда было полезно... Сейчас я слегка поскользнулся на плите мостовой; это напомнило мне о том, что мостить улицы в Париже начали только в 1184 году и что этим мы обязаны одному финансисту, который представил проект, а затем пожертвовал большие деньги на его осуществление.

Проходя по площади Победы, я говорю себе: прежде здесь среди бела дня грабили прохожих, грабили на том самом месте, где теперь виднеется статуя короля, желавшего прослыть завоевателем. Этот квартал назывался кварталом Вид-Гуссе. Небольшой отрезок улицы, ведущей к площади, где красуется бронзовое изваяние монарха, до сих пор сохранил это имя. На этой площади, так долго возмущавшей Европу, я не могу не вспомнить придворного¹, который, по свидетельству аббата Шуази, намеревался купить подвал под церковью Пти-Пер и прорыть оттуда подземный ход к середине площади, чтобы быть погребенным и благоговеино гнить под статуей Людовика XIV, своего господина, бессмертного мужа.

Я никогда не перехожу улицы Феронри без того, чтобы не вспомнить об окровавленном кинжале Равальяка, извлеченном из великодушного сердца того, кто не заслужил смерти тиранов.

Именно добрый Генрих IV распорядился закончить сооружение моста Пон-Нёф. Его памятник радовал мой взор почти во все дни моей жизни. Но до каких же пор будут стоять все эти дома, построенные на мостах, все эти зловонные, узкие и неудобные рынки и извилистые, тесные и грязные улицы?

Сейчас я вижу Бастилию, которую выстроил Карл V, не предугадывая ее будущего применения,— ту самую Бастилию, на которую все друзья закона не могут взирать без негодования и горечи.

Поблизости оттуда, на набережной Целестинцев, в моей памяти воскресает дворец Сен-Поль, в котором жил мудрый Карл V. Королевская жизнь была в те времена проще: на дому, где жил король, помещались голубятни, в садах выращивались овощи, и чудовищная роскошь не поражала взоров граждан.

Улица Писателей. Имя Никола Фламелья, столь любимого учениками, приходит мне здесь на память. Он сделал много добра, и потому память его должно чтить. Он основал несколько больниц, и все его дары носили печать истинного человеколюбия. Что касается лично меня, то я боготворю память Никола Фламелья и его жены Пернели. Удалось ли ему найти философский камень или нет, все

¹ Маршал Фейад. Не понравившись сначала королю, он сказал: «Он чувствует ко мне неприязнь? Хорошо, я ее преодолею и сделаю его любимцем». (Примеч. авт.)

равно — его изыскания, его труды и основанные им учреждения свидетельствуют о нем как о человеке, возвышавшемся над своим веком.

Когда я сажусь в лодку на пристани Сен-Ландри или причаливаю к ней, я не могу не вспомнить о том, что тело Изабеллы Баварской, супруги Карла VI, злой королевы, умершей в 1435 году, было поручено лодочнику, который должен был безо всяких почестей доставить его настоятелю Сен-Дени. Расходы на такое погребение были весьма незначительны!

Церковь Нотр-Дам, строившаяся около двухсот лет, с крайне любопытным порталом носит печать гениальности наших отцов и представляет собой исторический памятник, преисполненный величия; в эту церковь мне всегда бывало приятно входить. Но недавно этот храм побелили, и он утратил налет старины и сумрак, вызывающие благоговейное чувство.

Дворец, служивший местопребыванием королям третьей династии и сгоревший три года назад, теперь, когда я все это пишу, отстроен заново. В прежние времена городские чиновники не подъезжали ко дворцу в экипажах: советники в мантиях и белых воротниках являлись обычно, побратски сидя вдвоем на одном муле, слезали с него у входа в главную залу и возвращались обратно таким же образом.

Я вхожу в маленькую церковь Сен-Пьер-о-Дьё, которую в 1503 году осквернил один юноша из Абвиля. Он вырвал из рук священника облатку, воскликнул: Как! До сих пор все еще длится это безумие?! Этот юноша был хорошо образован, читал Гомера, Цицерона, Вергилия. За свою выходку он был сожжен на костре.

Дальше — улица Ада; на ней не видно больше ни чертей, ни привидений, но так как она тянется над каменоломней, то представляет собою еще большую опасность. Людовик Святой отдал ее картезианскому монастырю, чтобы изгнать все эти призраки. С тех пор их больше не видели, а стоящие здесь дома стали приносить монастырю хороший доход.

Убежище Трехсот (для слепых) было основано тем же Людовиком Святым; его только что снесли, и место, на котором оно стояло, пусто. Раньше проповедники готовились здесь к проповедям, которые должны были произнести при дворе.

Улица Де-ла-Потри дала начало Французской комедии. За порядком в театре наблюдал королевский прокурор, а

не придворные камер-юнкеры, которые в те времена только стлали постель королю и больше ничего не делали.

На закрытом рынке Карл V — тогда еще дофин — всячески старался унижить в своих речах Карла Злого, Наваррского короля; но его освистали, потому что он был не так красив и менее красноречив, чем его противник.

На улице Труверов португальский король Альфонс V был прекрасно обставлен и обслужен в доме одного бакалейного торговца. Подобный же случай мы наблюдали и в наши дни, когда император провел некоторое время в мебелированной квартире на улице Турнон, чтобы располагать большей свободой.

На возвышении Бютт-Сен-Рок Орлеанская дева отличилась в бою и была ранена во время атаки на Париж, находившийся во власти англичан. На вершине этого холма всего еще сто лет назад красовались мельницы.

Наконец, великий Цезарь жил одно время в нашей столице, а также и император Юлиан, очень любивший парижан и их город, за что я ему весьма признателен.

Университетская улица. Идя по ней, я думаю об университетских привилегиях, потерявших теперь силу. Прежде, едва только кто-нибудь пробовал посягнуть на эти права, университет закрывал все свои школы; прекращались уроки теологии и схоластики, умолкали проповеди, и испуганный двор бывал вынужден уступить. Мне вспоминаются при этом времена Карла Великого. Папские буллы управляли тогда университетом, в котором были сосредоточены все знания. В настоящее время от его прежнего невероятного могущества осталось только несколько чисто внешних форм. При входе ректора университета к королю двери раскрываются настежь; раз в три месяца он совершает торжественную прогулку по Парижу в качестве единодержавного повелителя умов. Обычно ректор — жалкий педант, преисполненный латыни и глупости. Если он умрет во время ректорства, университет имеет право похоронить его в Сен-Дени, где хоронят королей.

Говоря о правах ректора, я не могу не улыбнуться, вспомнив, что Юлий II грозил наложить интердикт на все королевство и призвать к ответу Людовика XII, все французское духовенство и парижский парламент.

Никогда не могу спокойно слышать упоминания о колоколе Сен-Жермен Л'Оссерау, давшем первый сигнал к Варфоломеевской резне.

Новая церковь святой Женеьевы свидетельствует о

том, что во все времена к этой святой пастушке обращались с молитвами об исцелении королей и принцев, а также о дожде во время засухи и о хорошей погоде в дождь. Новое здание будет поддерживать этот старинный обычай, который, по всем данным, сохранится еще недолго.

В прежней церкви я вместе со всем населением столицы приложился к открытой раке святой 10 мая 1774 года, в ту самую минуту, когда кончался Людовик XV. Помню острое словцо, сказанное кем-то возле меня, но которое я не повторю, ибо не следует всего повторять!

Любуясь фасадом Лувра, я говорю себе: Людовик XIV страстно любил архитектуру, так как, несмотря на всю свою гордость, относился к кавалеру Бернини как к монарху. Тем не менее чертежам Клода Перро, хоть он и был по профессии врач, было, к счастью, отдано предпочтение. И над таким-то человеком стихоплет Буало имел дерзость издеваться!

О! порой говорю я себе, если бы Людовик XIV истратил на Париж четвертую часть того, что ему стоил Версаль,— Париж превратился бы в самый изумительный город в мире.

Всякий раз, когда я попадаю на улицу Трус-Ваш, я вспоминаю о том, как кардинал Лотарингский, возвращаясь с Тридентского собора и желая устроить нечто вроде триумфального въезда в Париж, был изрядно побит Монморанси и как перепуганное его высокопреосвященство спряталось в доме одного торговца, а затем залезло под кровать служанки и вышло оттуда, только когда этой особе настало время спать.

А колодезь Любви на улице Трюандри! Я смотрю на него с благоговением: это престол, возле которого любовники доброго старого времени клялись друг другу в верности; свою клятву они держали крепко.

На улице Сен-Тома-дю-Лувр находился отель Рамбуйе, Палата Ума, в которой заседала мадемуазель Скюдери. Здесь не затрагивали особенно глубоких вопросов, не касались ни политики, ни метафизики, ни тому подобного; здесь велась легкая, остроумная беседа, преисполненная той галантности, которую сменила впоследствии холодная и молчаливая вежливость.

Шутливый Скаррон, наследником которого явился строгий Людовик XIV, женившийся на его вдове (как говорят, опасной недотроге), жил на улице Тиссерандри.

На том месте, где позднее появилась статуя милостиво-

го Генриха IV, был сожжен гроссмейстер тамплиеров, и среди них это была далеко не единственная жертва. Жестокый Филипп Красивый остается в глазах потомства виновником этого ужасного злодеяния. Привилегии, которыми пользовались тамплиеры, их владения, самый их образ жизни, их стремление к независимости вооружили против них короля, и, чтобы уничтожить их, были придуманы мнимые преступления; все движимое имущество ордена было конфисковано в пользу графа Прованского. Какой ужас!

На старой улице Тамплъ герцогом Бургундским был злодейски убит герцог Орлеанский, единственный брат Карла VI, продолжавшего носить скипетр, несмотря на свое безумие.

Всякий раз, когда я прохожу мимо новой Хирургической школы, мне вспоминается, что вскрытие человеческого трупа считалось святотатством еще в начале царствования Франциска I. А сколько с тех пор сделано открытий в области анатомии! И с какой быстротой эта сильно запоздавшая наука развивается и совершенствуется в наши дни!

А вот и Морг. Бежим скорее прочь от этого места! Это небольшой склеп, куда складывают трупы неизвестных лиц, чтобы их могли там найти и опознать. Чернь очень падка до этого ужасного зрелища, самого отталкивающего из всех, какие только можно себе представить.

Кто в наши дни поверит тому, что церковь Сен-Жак-де-ла-Бушри служила некогда убежищем злодеям! А между тем это истинная правда.

Я на Гревской площади. Проходя здесь, нельзя не задуматься о нашем уголовном судопроизводстве, которое своей отсталостью представляет такой постыдный контраст со знаниями нашего времени.

Когда я попадаю на набережную Малаке или на набережную Четырех Наций, мне приходит на память разговор одного лодочника с Генрихом IV, которого он перевозил однажды в своей лодке. Не зная короля в лицо, он сказал ему, что плоды Вервенского мира ему не очень-то по вкусу: Теперь пошли налоги на все, даже на эту жалкую лодчонку, которою я еле-еле существую... — Но разве король, — возразил Генрих IV, — не собирается уничтожить все несправедливые налоги? — Король-то ничего себе — добрый малый, но у него есть любовница, которой нужны красивые наряды и всякие там женские побрякушки. А платить за них приходится нам... Ничего еще, если бы она принадлежала ему одному, но, говорят, она позволяет себя ласкать

очень уж многим. (Взято из «Очерков Парижа» Сен-Фуа, т. III, стр. 278).

Сейчас я стою перед Лувром, откуда Генрих III бежал от преследований герцога Гиза, который, упустив его, тем самым упустил возможность возложить на свою голову корону и основать четвертую династию французских королей. При этой династии Франция приобрела бы, несомненно, совершенно другой облик; историки и историографы Франции не преминули бы... Но здесь речь не об этом; перейдемте к следующей главе.

СИТЕ

Это самый первый, самый древний квартал Парижа. Он представляет собой остров, имеющий в длину всего пятьсот туазов. В этой старинной части города находится собор, дом архиепископа, Отель-Дьё, Воспитательный дом, дворец и около двадцати церквей. Господствующим ремеслом здесь является ювелирное дело. Все золото Перу стекается к площади Дофина, так как ни один народ в мире не отделяет этот металл с таким вкусом, как парижане. Совершенство парижской чеканки и гильошировки заставляет драгоценности всей Европы проходить через руки парижских мастеров.

На набережной Золотых Дел Мастера красуется целый ряд магазинов, сверкающих серебром; это зрелище поражает всех иностранцев.

Париж был создан не в один день, — говорит пословица, и справедливость этих слов доказывает Сите. Здесь убеждаешься собственными глазами в том, что этот город образовался случайно, благодаря произвольному скоплению множества домов.

Каждый домовладелец, выбирая себе место, сообразовался прежде всего с находящимися поблизости общественными зданиями, храмами, площадями; никто не задумывался о правильной прокладке улиц, другими словами — о будущем расширении города; отсюда все эти тесные площади, углы, закоулки, тупики. Вот почему этот старинный квартал производит неприятное впечатление своими маленькими придавленными домами; экипажи с трудом могут повернуть в некоторых улицах, и нужно быть очень искусным кучером, чтобы выйти из затруднения. Налич-

ность нескольких больших зданий еще резче подчеркивает ничтожество остальных.

В новых же кварталах, наоборот, все прямолинейно; нет тесных площадей, нет узких перекрестков; они широки и правильны; там работают на широкую ногу, как и полагается мировому городу, который постепенно сделался главной пружиной, центром и сердцем королевства, откуда исходят и где отражаются все движения государства.

Георг Гейм

БАСТИЛИЯ

Над улицей Сент-Антуан — штыки!
Пылают лбы, теснятся гневом груди,
От сине-красных толп, под стать запруде,
Вскипает площадь. Сжаты кулаки.

На крепости, подобной мертвой гряде,
Зловещих окон прорези узки,
Шагает караул, и воровски
Торчат стволы зияющих орудий.

Парламентеров черных череда
Раскрыла дверь и замерла на месте:
Назад их гонит черная вражда.

Париж разбужен криком грозной мести,
Для топоров твердыня не тверда,
И залп гремит по мостовым предместий.

Сэмюэл Тейлор Кольридж

ПАДЕНИЕ БАСТИЛИИ

Ты слышала ли крик французской всей земли?
Зачем же медлишь ты? Не жди и не надейся!
Прочь, Тирания, прочь! У варваров, вдали,
Оплачь былую мощь, оплачь свои злодейства!
Во все века, сквозь стоны бытия,

Угадывались ты и ненависть твоя;
Но Вольность, услышав напутствие Презренья,
Сломала цепь твою и раздробила звенья,
Как лава, что в земле родил глубинный взрыв,
Прорвала путь себе, руины сотворив!

Дыхание людей на вздохи изошло,
Надежды луч устал светить потемкам этим.
Лишь изредка, во сне, забыв дневное зло,
Унылых возвращал к друзьям и милым детям;
Но вот они, разбуженные вдруг,
Смотрели с ужасом удвоенным вокруг
И ускользали прочь, покорствуя Страданию,
Смерть призывавшему отчаявшейся дланью;
Иные же, сгорев, утратив разум свой,
В прилив Безумия бросались с головой.

Но полно вам, скорбя, кровоточить, сердца!
Не надо больше слез — ведь вижу каждый день я,
Что Воля дождалась счастливого конца,
Что Добродетель длит победное движение,
Что, не страшась, крестьянин-патриот
Глядит восторженно, как колос в рост идет;
Его душа навек ушла от плена злого,
И смело зазвучит раскованное слово,
И душу в жизнь вдохнет Свобода — мудрый друг:
Свободна будет кровь, свободен сердца стук.

Одна ли Франция отвергнет старый трон?
Свобода, выбор твой — Лютеция одна ли?
Вот Бельгии сыны вокруг твоих знамен —
Но и врагов твоих знамена запыхали...
Ты свет несешь, идя из края в край,
Иди и головы пред бурей не склоняй,
Чтобы у разных стран, по всем меридианам,
Была одна душа, враждебная тиранам!
И все же первым пусть среди других племен,
Свободнейшим из всех пребудет Альбион!

Н. М. Карамзин

ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

(Фрагменты)

Париж, 27 марта 1790

Мы приближались к Парижу, и я беспрестанно спрашивал, скоро ли увидим его? Наконец открылась обширная равнина, а на равнине, во всю длину ее, Париж!.. Жадные взоры наши устремились на сию необозримую громаду зданий — и терялись в ее густых тенях. Сердце мое билось. «Вот он, — думал я, — вот город, который в течение многих веков был образцом всей Европы, источником вкуса, мод, — которого имя произносится с благоговением учеными и неучеными, философами и щеголями, художниками и невеждами, в Европе и в Азии, в Америке и в Африке, — которого имя стало мне известно почти вместе с моим именем; о котором так много читал я в романах, так много слышал от путешественников, так много мечтал и думал!.. Вот он!.. Я его вижу и буду в нем...» — Ах, друзья мои! Сия минута была одною из приятнейших минут моего путешествия. Ни к какому городу не приближался я с такими живыми чувствами, с таким любопытством, с таким нетерпением! — Товарищ наш француз, указывая на Париж своею тростью, говорил нам: «Здесь, на правой стороне, видите вы предместье Монмартр и дю Танпль; против нас святого Антония, а на левой стороне за Сеною предместье Ст. Марсель, Мишель и Жермень. Эта высокая готическая башня есть древняя церковь богоматери; сей новый великолепный храм, которого архитектуре вы, конечно, удивляетесь, есть храм святой Женевьевы, покровительницы Парижа; там, вдали, возвышается с блестящим куполом L'hôtel Royal des Invalides¹ — одно из огромнейших парижских зданий, где короли и отечество покоят заслуженных и престарелых воинов».

Скоро въехали мы в предместье святого Антония; но что же увидели? Узкие, нечистые, грязные улицы, худые дома и людей в раздранных рубищах. «И это Париж, — думал я, — город, который издали казался столь великолепным?» — Но декорация совершенно переменилась, когда мы

¹ Королевский Дом инвалидов (фр.).

выехали на берег Сены; тут представились нам красивые здания, дома в шесть этажей, богатые лавки. Какое многолюдство! Какая пестрота! Какой шум! Карета скачет за каретою; беспрестанно кричат: «Gare! Gare!»¹, и народ волнуется, как море.

Сей неопиcуемый шум, сие чудное разнообразие предметов, сие чрезвычайное многолюдство, сия необыкновенная живость в народе привели меня в некоторое изумление.— Мне казалось, что я, как маленькая песчинка, попал в ужасную пучину и кружусь в водном вихре.

Переехав через Сену, в улице Генего, остановились мы подле «Hôtel Britannique». Там, в третьем этаже, нашлись для нас две комнаты, светлые и чисто прибранные, за которые должно платить по два луидора в месяц. Хозяйка осыпала нас учтивостями, бегала, суетилась, назначала место для наших кроватей, сундука, чемодана и при всяком слове говорила: «Aimables étrangers» — любезные иностранцы, почтенные иностранцы! Купец, спутник наш, пожелал нам всевозможных удовольствий в Париже и уехал к себе домой, а мы в полчаса успели отобедать, причесаться, одеться — заперли свои комнаты, вышли на улицу и смешались с толпами народными, которые, как морские волны, вынесли нас к славному Новому мосту, Pont neuf, где стоит прекрасный монумент любезнейшего из королей французских, Генрика IV. Можно ли было пройти мимо его? Нет! Ноги мои сами собою остановились, взор мой сам собою устремился на образ героя и несколько минут не мог с него совратиться.

Оставя Беккера у подножия Генриковой статуи, я пошел к г. Брегету, который живет недалеко от Нового мосту на Quai des Morfondus². Жена его приняла меня перед камином и, услышав мое имя, тотчас вынесла мне письмо — письмо от моих любезных!.. Вообразите радость вашего друга!.. Вы здоровы и благополучны!.. Все беспокойства в одну минуту забылись: я стал весел, как беспечный младенец,— читал десять раз письмо — забыл госпожу Брегет и не говорил с нею ни слова — душа моя в сию минуту занималась одними отдаленными друзьями.— «Кажется, что вы очень обрадовались,— сказала хозяйка,— это приятно видеть».— Тут я опомнился, начал перед нею извиняться, но очень нескладно, хотел рассказывать ей о Женеве, где

¹ Берегись, берегись! (фр.).

² Набережной Морфондю (фр.).

она родилась,— но не мог и наконец ушел. Беккер увидел меня бегущего, увидел письмо в руке моей, увидел мое лицо — и обрадовался сердечно, потому что он любит меня. Мы обнялись на Новом мосту, подле монумента,— и мне казалось, что сам медный Генрик, смотря на нас, улыбался. *Pont neuf!* Я никогда тебя не забуду!

Сердце мое было довольно и весело — я ходил с Беккером по неизвестному городу, из улицы в улицу, без проводника, без намерения и без цели — и все, что встречалось глазам нашим, занимало меня приятным образом.

Солнце село; наступила ночь, и фонари засветились на улицах. Мы пришли в Пале-Рояль, огромное здание, которое принадлежит герцогу Орлеанскому и которое называется столицею Парижа.

Вообразите себе великолепный квадратный замок и внизу его аркады, под которыми в бесчисленных лавках сияют все сокровища света, богатства Индии и Америки, алмазы и диаманты, серебро и золото; все произведения природы и искусства; все, чем когда-нибудь царская пышность украшалась; все, изобретенное роскошью для услаждения жизни!.. И все это для привлечения глаз разложено прекраснейшим образом и освещено яркими, разноцветными огнями, ослепляющими зрение.— Вообразите себе множество людей, которые толпятся в сих галереях и ходят взад и вперед только для того, чтобы смотреть друг на друга! — Тут видите вы и кофейные дома, первые в Париже, где также все людьми наполнено, где читают вслух газеты и журналы, шумят, спорят, говорят речи и проч.

Голова моя закружилась — мы вышли из галереи и сели отдыхать в каштановой аллее, в *Jardin du Palais Royal*¹. Тут царствовали тишина и сумрак. Аркады изливали свет свой на зеленые ветви, но он терялся в их тенях. Из другой аллеи неслись тихие, сладостные звуки нежной музыки; прохладный ветерок шевелил листочки на деревьях.— Нимфы радости подходили к нам одна за другою, бросали в нас цветами, вздыхали, смеялись, звали в свои гроты, обещали тьму удовольствий и скрывались, как призраки лунной ночи.

Все казалось мне очарованием, Калипсиным островом, Армидиным замком. Я погрузился в приятную задумчивость...

¹ В саду Пале-Рояля (фр.).

«Я в Париже!» Эта мысль производит в душе моей какое-то особенное, быстрое, неизъяснимое, приятное движение... «Я в Париже!» — говорю сам себе и бегу из улицы в улицу, из Тюльери в поля Елисейские, вдруг останавливаюсь, на все смотрю с отменным любопытством: на дома, на кареты, на людей. Что было мне известно по описаниям, вижу теперь собственными глазами — веселюсь и радуюсь живою картиною величайшего, славнейшего города в свете, чудного, единственного по разнообразию своих явлений.

Пять дней прошли для меня как пять часов: в шуме, во многолюдстве, в спектаклях, в волшебном замке Палероаль. Душа моя наполнена живыми впечатлениями, но я не могу самому себе дать в них отчета и не в состоянии сказать вам ничего связного о Париже. Пусть любопытство мое насыщается, а после будет время рассуждать, описывать, хвалить, критиковать. — Теперь замечу одно то, что кажется мне главною чертою в характере Парижа: отменную живость народных движений, удивительную скорость в словах и делах. Система Декартовых вихрей могла родиться только в голове француза, парижского жителя. Здесь все спешит куда-то; все, кажется, перегоняют друг друга, ловят, хватают мысли, угадывают, чего вы хотите, чтоб как можно скорее вас отправить. Какая страшная противоположность, например, с важными швейцарцами, которые ходят всегда размеренными шагами, слушают вас с величайшим вниманием, приводящим в краску стыдливого, скромного человека; слушают и тогда, когда вы уже говорить перестали; соображают ваши слова и отвечают так медленно, так осторожно, боясь, что они вас не понимают! А парижский житель хочет всегда отгадывать: вы еще не кончили вопроса, он сказал ответ свой, поклонился и ушел!

Париж, апреля... 1790

Принимаясь за перо с тем, чтобы представить вам Париж хотя не в совершенной картине, но, по крайней мере, в главных его чертах, должен ли я начать, как говорили древние, с *яиц Леды* и объявить с ученою важностью, что сей город назывался некогда Лютетцею, что имя парижских жителей, Parisii, значит *народ, покровительствуемый Изидою*, — то есть что оно произошло от греческого слова

пара и изис, хотя *МВ*: галльские народы не имели никакого понятия о сей египетской богине и не думали искать ее покровительства? Перевести ли некоторые места из «Записок» Юлия Цесаря (первого из древних авторов, упоминающих о Париже) и «Мизопогона», книги, сочиненной императором Иулианом; места, из которых вы узнаете, что Париж и во время Цесарево был уже столицею Галлии и что император Иулиан умер было в нем от угара? ¹ Окружить ли мне себя творениями Иоанна Готвила, Вильгельма Коррозета, Клавдия Фошета, Николая Бонфуса, Якова Берля, Маленгра, Совалья, дона Филибьеня, Коллетета, дела Мара, Брисса, Буассо, Праделя, Лемера, Монфокона, — ослепить ли глаза ваши ученою пылью сих авторов и показать ли вам ясно, что был Париж в своем начале, когда еще не огромные палаты и храмы созерцались в струях Сены, а маленькие домики, подобные альпийским хижинам; когда еще не гранитные, а деревянные мосты служили ей поясами; когда не Лаис, не Рено пленяли слух людей на берегах ее, а братья Оссиановы дикими своими песнями; когда не Мирабо, не Мори удивляли парижцев своим красноречием, а седовласые друиды, обожатели дубового леса? Идти ли мне вслед Парижу, шаг за шагом, через пространство минувших веков, означая все его изменения, новые виды, успехи в архитектуре, от первого каменного домика до Луврской колоннады? — Я слышу ответ ваш: «Мы прочитаем Сент-Фуа, его «Essais sur Paris» ², и узнаем все то, что ты можешь сказать о древности Парижа; скажи нам только, каков он показался тебе в нынешнем своем виде, и более ничего не требуем». — Итак, оставляя почтенную старину, оставляя все прошедшее, буду говорить об одном настоящем.

Париж покажется вам великолепнейшим городом, когда вы въедете в него по Версальской дороге. Громады зданий впереди с высокими шпицами и куполами; на правой стороне — река Сена с картинными домиками и садами; на

¹ «Я провел зиму в моей любезной Лютеции, — говорит он, — она построена на острове и окружена стенами, которые омываются водами реки, приятными для глаз и вкуса. Зима бывает там обыкновенно не очень холодна, но в мое время морозы были так жестоки, что река покрылась льдом. Жители нагревают свои жилища посредством печей, но я не позволил развести огня в моей горнице, а велел только принести к себе несколько горящих угольев. Пар, который от них распространился по всей комнате, едва было не задушил меня, и я упал без чувства». (Примеч. авт.)

² «Очерки Парижа» (фр.).

левой, за просторную зеленою равниною, — гора *Маргр*, покрытая бесчисленными ветряными мельницами, которые, размахивая своими крыльями, представляют глазам нашим летящую станицу каких-нибудь пернатых великанов, строусов или альпийских орлов. Дорога широкая, ровная, гладка, как стол, и ночью бывает освещена фонарями. Застава есть небольшой домик, который пленяет вас красотой архитектуры своей. Через обширный бархатный луг въезжаете в поля *Елисейские*, недаром названные сим привлекательным именем: лесок, насажденный самими ореадами, с маленькими цветущими лужками, с хижинками, в разных местах рассеянными, из которых в одной найдете кофейный дом, в другой — лавку. Тут по воскресеньям гуляет народ, играет музыка, пляшут веселые мещанки. Бедные люди, изнуренные шестидневною работою, отдыхают на свежей траве, пьют вино и поют *водевили*. Вы не имеете времени осмотреть всех красот сего лесочка, сих умильных рощиц, как будто бы без всякого намерения разбросанных на правой и на левой стороне дороги: взор ваш стремится вперед, туда, где на большой восьмиугольной площади возвышается статуя Лудовика XV, окруженная белым мраморным балюстрадом. Подойдите к ней и увидите перед собою густые аллеи славного сада Тюльери, примыкающие к великолепному дворцу: вид прекрасный! Вошедши в сад, не знаете, чем любоваться: густотою ли древних аллей или приятностию высоких террас, которые на обеих сторонах простираются во всю длину сада, или красотой бассейнов, цветников, ваз, групп и статуй. Художник Ленотр, творец сего, конечно, искуснейшего сада в Европе, ознаменовал каждую его часть печатью ума и вкуса. Здесь гуляет уже не народ, так, как в полях *Елисейских*, а так называемые *лучшие люди*, кавалеры и дамы, с которых пудра и румяна сыплются на землю. Взойдите на большую террасу, посмотрите направо, налево, кругом: везде огромные здания, замки, храмы — красивые берега Сены, гранитные мосты, на которых толпятся тысячи людей, стучит множество карет — взгляните на все и скажите, каков Париж. Мало, если назовете его первым городом в свете, столицею великолепия и волшебства. Оставайтесь же здесь, если не хотите переменить своего мнения; пошедши далее, увидите... тесные улицы, оскорбительное смешение богатства с нищетою; подле блестящей лавки ювелира — кучу гнилых яблок и сельдей; везде грязь и даже кровь, текущую ручьями из мясных рядов, — зажмите нос и закроете глаза.

Картина пышного города затмится в ваших мыслях, и вам покажется, что из всех городов на свете через подземельные трубы сливается в Париж нечистота и гадость. Ступите еще шаг, и вдруг повеет на вас благоухание счастливой Аравии или, по крайней мере, цветущих лугов прованских: значит, что вы подошли к одной из тех лавок, в которых продаются духи и помада и которых здесь множество. Одним словом, что шаг, то новая атмосфера, то новые предметы роскоши или самой отвратительной нечистоты — так, что вы должны будете назвать Париж самым великолепным и самым гадким, самым благовонным¹ и самым вонючим городом. Улицы все без исключения узки и темны от огромности домов, славная *Сент-Оноре* всех длиннее, всех шумнее и всех грязнее. Горе бедным пешеходам, а особенно, когда идет дождь! Вам надобно или месить грязь на середине улицы², или вода, льющаяся с кровель через дельфины, не оставит на вас сухой нитки. Карета здесь необходима³, по крайней мере для нас, иностранцев; а французы умеют чудесным образом ходить по грязи, не грязнясь, мастерами прыгают с камня на камень и прячутся в лавки от скачущих карет. Славный Турнфор, который объездил почти весь свет, возвратился в Париж и был раздавлен фиакром оттого, что он в путешествии своем разучился прыгать серною на улицах: искусство, необходимое для здешних жителей!

Подите городом прямо, в которую сторону вам угодно, и вы очутитесь наконец в тени густых аллей, называемых *булеварями*; их три: одна для карет, а две для пешеходцев; они идут рядом и образуют магическое кольцо, или самую прекраснейшую опушку, вокруг всего Парижа. Тут городские жители собирались некогда играть в шары (*à la boule*) на зеленой траве: отчего и произошло название *буле-вер* или *булевар*. Сначала на месте аллей был только один вал, который защищал столицу Франции от неприятельских

¹ Потому что нигде не продают столько ароматических духов, как в Париже. (*Примеч. авт.*)

² Мостовая делается в Париже скатом с обеих сторон улицы, отчего в середине бывает всегда страшная грязь. (*Примеч. авт.*)

³ За порядочную наемную карету надобно заплатить в день рубли четыре. Можно ездить в фиакрах, то есть извозчицких каретах, которые стоят на каждом перекрестке; правда, что они очень нехороши как снаружи, так и внутри; кучер сидит на козлах в худом камзоле или в ветхой епанче и беспрестанно погоняет двух — не лошадей, а лошадиных скелетов, которые то дернут, то станут — побегут, и опять ни с места. В сем экипаже можно за 24 су проехать город из конца в конец. (*Примеч. авт.*)

набегов; деревья посажены гораздо после. Одна часть бульваров называется *старыми*, а другая — *новыми*; на первых видите предметы вкуса, богатства, пышности; все, вымышленное праздностию для занятия праздности, — здесь Комедия, тут Опера; здесь блестящие палаты, тут Гесперидские сады, в которых недостает только золотых яблок; здесь кофейный дом, обвешанный зелеными гирляндами; тут беседка, украшенная цветами и подобная сельскому храму любви; здесь маленький приятный лесочек, в котором гремит музыка, прыгает на веревке резвая нимфа или какой-нибудь *фигляр* забавляет народ своими хитростями; тут показываются вам все редкие произведения животного царства природы: птицы американские, звери африканские, колибри и строусы, тигры и крокодилы; здесь, под каштановым деревом, сидит Цирцея, смотрит на вас томными глазами, кладет руку на сердце и, видя, что вы с равнодушием идете мимо, говорит со вздохом: «Нечувствительный! Жестокий!» Тут молодой растрепанный *франт* встречается с пожилым, нежно напудренным *петиметром*, смотрит на него с усмешкою и подает руку оперной певице; здесь длинный ряд карет, из которых выглядывают юность и древность, красота и безобразия, ум и глупость в самых живых, характерных чертах, — и наконец... марширует отряд национальной гвардии. Целый день употребил я на то, чтобы обойти эту шумную часть бульваров¹.

Так называемая *новая* часть представляет совсем другое зрелище: там деревья сенистее, аллеи красивее, воздух чище, но мало бывает гуляющих; не слышите ни стука каретного, ни топота лошадиного, ни песней, ни музыки; не видите ни английских, ни французских щеголей, ни распудренных голов, ни раздумянных лиц. Здесь в густой тени отдыхает добрый ремесленник с своею женою и дочерью; тут по аллее медленными шагами прохаживается сын его с молодою своею невестою; там поля с хлебом, сельские работы, трудящиеся земледельцы; словом, все просто, тихо и мирно.

¹ Между великолепными домами, к ним примыкающими, заметил я дом известного Бомарше. Сей человек умел не только странною комедиею вскружить голову парижской публике, но и разбогатеть удивительным образом; умел не только изображать живописным пером слабые стороны человеческого сердца, но и пользоваться ими для наполнения кошелька своего; он вместе и остроумный автор, и тонкий светский человек, и хитрый придворный, и расчетистый купец. Теперь имеет Бомарше все средства и способы наслаждаться жизнью. Дом его смотрят любопытные как диковинку богатства и вкуса; один барельеф над воротами стоит тридцать или сорок тысяч ливров. (*Примеч. авт.*)

Возвратимся опять в городской шум. Карл V говорил: «Lutetia non urbs sed orbis» («Лютеция, то есть Париж, есть не город, а целый мир»). Что ж бы он сказал теперь, когда Лютеция его вдвое увеличилась своим пространством и вдвое умножилась числом своих обитателей? Вообразите себе 25 000 домов в 4, в 5 этажей, которые сверху донизу наполнены людьми! Вопреки всем географическим календарям, Париж многолюднее и Константинополя и Лондона, вмещая в себе, по новому исчислению, 1 130 450 жителей, между которыми полагается 15 000 иностранцев и 200 000 слуг. Ступай здесь из конца в конец города, везде множество идущих и едущих, везде шум и гам — на больших и малых улицах, а их в Париже около тысячи! Ночью в десять, в одиннадцать часов все еще живо, все движется и шумит; в первом, во втором часу встречается еще много людей; в третьем и четвертом слышите изредка каретный стук — однако ж сии два часа можно назвать самыми тихими в сутках. В пятом показываются на улицах работники, савояры, поденщики — и мало-помалу весь город снова оживляется.

Теперь хотите ли осмотреть со мною славнейшие здания в Париже? — Нет; оставим это до другого времени; вы устали, я также: надобно переменить материю или — кончить.

Париж, мая...

Сейчас получил от вас письмо — и как обрадовался, нет нужды сказывать. Можно ли, что вы не писали ко мне от 14 февраля до 7 апреля? Любезные друзья мои, конечно, не знали, как дорого стоило их молчание бедному русскому путешественнику; иначе, без сомнения, они не заставили бы его мучиться. Извините, если это похоже на выговор; мне, право, было очень грустно. Теперь говорю: «Слава богу!» и все забываю.

Вам казалось, что я никогда не выеду из Женевы, а если бы вы знали, как мне наконец стало там скучно! Спросите, для чего же я тотчас не выехал оттуда? Единственно для того, что всякий день ожидал ваших писем, — и время проходило. Мне очень хотелось возобновить свое путешествие с покойным сердцем, чего, однако ж, не сделалось.

Правда, любезный А. А., Париж есть город единственный. Нигде, может быть, нельзя найти столько материи для

философских наблюдений, как здесь; нигде столько любопытных предметов для человека, умеющего ценить искусства; нигде столько рассеяния и забав. Но где же и столько опасностей для философии, особливо для сердца? Здесь тысячи сетей расставлены для всякой его слабости... Шумный океан, где быстрое стремление волн мчит вас от Харибды к Сцилле, от Сциллы к Харибде! Сирен множество, и пение их так сладостно, усыпительно... Как легко забыться, заснуть! Но пробуждение едва ли не всегда горестно — и первый предмет, который явится глазам, будет пустой кошелек.

Однако ж не надобно себе воображать, что парижская приятная жизнь очень дорога для всякого; напротив того, здесь можно за небольшие деньги наслаждаться всеми удовольствиями по своему вкусу. Я говорю о *позволенных*, и в строгом смысле позволенных, удовольствиях. Если же кто вздумает *коротко* знакомиться с певицами и актрисами или в тех домах, где играют в карты, не отказываться ни от какой партии, тому надобно английское богатство. И домом жить дорого, то есть дороже, нежели у нас в Москве. Но вот как можно весело проводить время и тратить не много денег:

Иметь хорошую комнату в лучшей *отели*¹, поутру читать разные журналы, газеты, где всегда найдешь что-нибудь занимательное, жалкое, смешное, и между тем пить кофе, какого не умеют варить ни в Германии, ни в Швейцарии; потом кликнуть парикмахера, говоруна, вряля, который наскажет вам множество забавного вздору о Мирабо и Мори, о Бальи и Лафаете, намажет вашу голову прованскими духами и напудрит самую белую, легкую пудрую; а там, надев чистый простой фрак, бродить по городу, зайти в Пале-Рояль, в Тюльери, в Елисейские поля, к известному писателю, к художнику, в лавки, где продаются эстампы и картины, — к Дидоту, любоваться его прекрасными изданиями классических авторов, обедать у ресторatera², где подадут вам за рубль пять или шесть хорошо приготовленных блюд с десертом; посмотреть на часы и расположить

¹ Hôtel есть наемный дом, где вы, кроме комнаты и услуги, ничего не имеете. Кофе и чай приносят вам из ближайшего кофейного дома, а обед — из трактира. (Примеч. авт.)

² Ресторатерами называются в Париже лучшие трактирщики, у которых можно обедать. Вам подадут роспись всем блюдам, с обозначением их цены; выбрав что угодно, обедаете на маленьком особливом столике. (Примеч. авт.)

время свое до шести, чтобы, осмотрев какую-нибудь церковь, украшенную монументами, или галерею картинную, или библиотеку, или кабинет редкостей, явиться с первым движением смычка в опере, в комедии, в трагедии, пленяться гармониею, балетом, смеяться, плакать — и с томною, но приятных чувств исполненною душою отдыхать в Пале-Рояль, в «Café de Valois»¹, de «Caveau»² за чашкою баваруаза³; взглядывать на великолепное освещение лавок, аркад, аллей в саду; вслушиваться иногда в то, что говорят тамошние глубокие политики; наконец, возвратиться в тихую свою комнату, собраться с идеями, написать несколько строк в своем журнале, броситься на мягкую постелю и (чем обыкновенно кончится и день и жизнь) заснуть глубоким сном с приятною мыслию о будущем. — Так я провожу время и доволен.

Скажу вам несколько слов о главных парижских зданиях.

Лувр. Прежде был он не что иное, как грозная крепость, где жили потомки Кловисовы и где, как в государственной темнице, заключались возмутители, ослушные бароны, которые часто восставали против своих королей. Франциск I, страстный охотник воевать, пленять красавиц и строить великолепные замки, разрушив до основания готические башни, на их месте соорудил огромный дворец, украшенный лучшими художниками его века, но необитаемый до времен Карла IX. Лудовик XIV воцарился; с ним воцарились искусства, науки — и Лувр, по его мановению, увенчался великолепною своею колоннадою, лучшим произведением французской архитектуры, и тем более удивительною, что строил ее не славный зодчий, а доктор Перро, обесславленный, разруганный насмешливым Буало в его сатирах. Нельзя взглянуть без какого-то глубокого почтения на ее перистили, портики, фронтоны, пиластры, столпы, которым вместо крова служит терраса с прекрасным балюстрадом. Я всякий раз останавливаюсь против главных ворот, смотрю и думаю: «Сколько тысячелетий мелькнуло через земный шар в вечность между первым сплетением гибких

¹ «Кафе Валуа» (фр.).

² В «Погребке» (фр.).

³ Ароматический сироп с чаем. (Примеч. авт.)

ветвей, укрывших дикого Адамова сына от ненастья, и гигантской колоннадой Лувра, дивом огромности и вкуса! Как мал человек, но как велик ум его! Как медленны успехи разума, но как они многообразны и бесконечны!» — Лудовик XIV долго жил в Лувре; наконец предпочел ему Версалию, и место великого монарха занял Аполлон с музами. Тут все академии¹; тут жили и славные ученые, авторы, поэты, достойные королевского внимания. Лудовик, уступив свое жилище гению, возвысил и его и себя.

Говоря о Лувре, нельзя не вспомнить о снежном обелиске, который в жестокую зиму в 1788 году сделан был против его окон бедными людьми, в знак благодарности к нынешнему королю, покупавшему для них дрова. Все парижские стихотворцы сочиняли надписи для такого редкого памятника, и лучшая из них была:

Мы делаем царю и другу своему
Лишь снежный монумент; милее он ему,
Чем мрамор драгоценный,
Из дальних стран на счет убогих привезенный.

В память сего трогательного случая один богатый человек, г. Жюбо, соорудил перед своим домом, близ Тюльери, мраморный обелиск и вырезал на нем все надписи снежного монумента; я был у г. Жюбо, читал их и, вообразив, как ныне французы обходятся с королем своим, подумал: «Вот памятник благодарности, который доказывает неблагодарность французов!»

Тюльери. Имя произошло от *tuile*, то есть черепицы, которую некогда тут делали. Сей дворец построен Катериною Медицис; состоит из пяти павильонов с четырьмя *кор де ложи*; украшен мраморными колоннами, фронтоном, статуями и, наконец, изображением лучезарного солнца, девизом Лудовика XIV. Вид здания не величествен, но приятен; положение очень хорошо. С одной стороны — река Сена, а перед главною фасадою — Тюльерийский сад с высокими своими террасами, цветниками, бассейнами, группами и (что всего лучше) древними густыми аллеями, сквозь которые вдаль видна, на обширной площади, статуя Лудовика XV. Тут живет ныне королевская фамилия. Я видел

¹ Там, в зале Академии художеств, видел я четыре славные Лебрюневы картины: сражения Александра Великого. (*Примеч. авт.*)

и внутренность дворца. В день Св. Духа король вместе с кавалерами главного французского ордена пошел в церковь; за ним и королева с дамами; первые в рыцарских мантиях, с распущенными волосами; вторые в богатых робах. В ту самую минуту любопытные зрители бросились во внутренние комнаты — я за ними — из залы в залу, и до самой спальни. «Куда вы, господа? Зачем?» — спрашивали придворные лакеи. «Смотреть», — отвечали мои товарищи и шли далее. Украшения комнат составляют обои гобелиновой фабрики, картины, статуи, гротески, бронзовые камины. Между тем глаза мои занимались не только вещами, но и людьми: министрами и экс-министрами, придворными и старыми королевскими слугами, которые, видя бесчинство молодых, с величайшим небрежением одетых людей, шумящих и бегающих, пожимали плечами. Я сам с каким-то горестным чувством ходил за другими. Таков ли был прежде французский двор, славный своею блестящею пышностью? Видя двух человек, сидящих рядом и тихонько говорящих между собою, думал я: «Они, верно, говорят о несчастном состоянии Франции и будущих ее возможных бедствиях!» — Второй сын герцога Орлеанского играл в бильярде с каким-то почтенным стариком. Молодой принц очень хорош лицом; надобно, чтобы и душа его была прекрасна, — следовательно, непохожа на душу отца его... — Тюльери соединяется с Лувром посредством галереи, которая длиннее и огромнее всех галерей на свете и где должен быть королевский музей, или собрание картин, статуй, древностей, рассеянных теперь по разным местам.

Люксанбур принадлежит ныне графу Прованскому: величественный дворец, построенный Мариєю Медицис, супругою великого и матерью слабого короля, женщиною властолюбивою, но рожденною без всякого таланта властвовать; которая, быв долгое время Ксантиппою Генриха IV, заступила его место на троне для того, чтобы расточить плоды Сюллиевой бережливости, завести междоусобную войну во Франции, возвеличить Ришелье и быть жертвою его неблагодарности; которая, осыпав миллионами недостойных своих любимцев, кончила жизнь в изгнании, в бедности, едва имея кусок хлеба для утоления голода и рубище для прикрытия наготы своей. Игра судьбы бывает иногда ужасна. — С такими мыслями смотрел я на прекрас-

ную архитектуру сего дворца, на его террасы и павильоны. За несколько гривен показали мне и внутренность. Комнаты едва ли достойны примечания, но тут славная галерея Рубенсова, в которой сей нидерландский Рафаэль истощил всю силу искусства и гения своего: двадцать пять больших картин, представляющих Генрика IV и королеву Марию со множеством аллегорических фигур. Какое разнообразие в виде супругов! На всякой картине *они*, но всякая имеет свой особенный характер. Мария, изображенная в родах, есть венец Рубенсовой кисти. Глубокие следы страдания, томность, изнеможение; бледная роза красоты; радость быть матерью дофина; чувство, что вся Франция ожидала сей минуты с боязливым нетерпением и что миллионы будут торжествовать ее счастливое разрешение от бремени; нежность супруги, говорящей своими взорами Генрику: «Я жива! У нас есть сын!» — все прекрасно и с трогательным искусством выражено. Видно, что главным предметом живописца была королева; она занимает первое место на картинах: Генрик везде *для нее*. Удивительно ли? Рубенс писал по ее заказу, после Генриковой смерти, и льстец живописец сделал то, чего ни льстец историк, ни льстец поэт не мог бы сделать для Марии: он умел искусством своим подкупить сердца в ее пользу; он заставляет меня любить Марию.— Между аллегорическими фигурами заметил я одно женское милое лицо, неоднократно изображенное. Ученик живописи, который показывал мне галерею, сказал: «Не дивитесь повторению: это лицо Рубенсовой жены, славной красавицы Елены Форман. Рубенс был ее *любовником-супругом* и везде, где только мог, изображал свою Елену». Я люблю тех, которые любить умели, и сердце мое еще сильнее прилепилось к художнику.

Сад Люксембургский был некогда любимым гульбищем французских авторов, которые в густых и темных его аллеях обдумывали планы своих творений. Там Мабли часто гулял с Кондильяком; туда приходил иногда и печальный Руссо говорить с своим красноречивым сердцем; там и Вольтер в молодости нередко искал гармонических рифм для острых своих мыслей, а мрачный Кребильйон воображал себя злобным Атреем. Ныне сад уже не таков: многие аллеи исчезли, вырублены или засохли. Но я часто пользуюсь остальною сению тамошних старых деревьев; хожу один или, сидя на дерновом канапе, читаю книгу. Люксембур недалеко от улицы Генега, в которой живу.

Господин Д., гуляя со мною третьего дни в Люксембур-

ском саду, рассказал мне забавный случай. В 1784 году, июля 8, собрался там почти весь Париж, чтобы видеть воздушное путешествие аббата Миолана, объявленное через газеты. Ждут два, три часа: шар не поднимается. Публика спрашивает, когда начнется эксперимент? Аббат отвечает: «В минуту!» Но приходит вечер, а шар ни с места. Народ теряет наконец терпение, бросается на аэростат, рвет его в клочки, а Миолан спасается бегством. На другой день в Пале-Рояль и на всех перекрестках савояры кричат: «Кому надобно изображение славного путешествия, счастливо совершенного славным аббатом Миоланом,— за копейку, за копейку!» Аббат после того умер гражданской смертию, то есть не смел казаться в люди. Смешная история должна была кончиться новым смешным анекдотом. Господин Д. скоро после Миоланова бедствия был в партере Оперы и смотрел на балет. Вдруг приходит высокий человек, аббат, становится перед ним и мешает ему видеть сцену. «Посторонитесь,— говорят ему,— здесь довольно места». Гигант не слушает, не трогается; смотрит и не дает другим смотреть. Молодой адвокат, который стоял подле господина Д., сказал ему: «Хотите ли, чтобы я выгнал высокого аббата?» — «Ах, ради бога! Если можете». — «Могу», — и тотчас начал шептать на ухо всем, стоявшим вокруг его: «Вот аббат Миолан, который обманул публику!» Вдруг десять голосов повторили: «Вот аббат Миолан!» Через минуту весь партер закричал: «Вот аббат Миолан!» — и все указывали пальцем на высокого человека, который в изумлении, в досаде, в отчаянии направо и налево кричал: «Государии мои! Я не аббат Миолан!» Но скоро и во всех ложах раздался голос: «Вот аббат Миолан!» — так что высокому человеку, который назывался совсем не Миоланом, надлежало, как преступнику, бежать из театра. Господин Д., умирая со смеху, изъявлял благодарность молодому адвокату, между тем как партер и ложи, заглушая музыку, кричали: «Вот аббат Миолан!»

Граф Прованский живет во флигеле.

Пале-Рояль называется сердцем, душою, мозгом, извлечением Парижа. Ришелье строил и подарил его Людовику XIII, написав над воротами: «Palais Cardinal»¹. Эта

¹ Кардинальский дворец (фр.). Пале-Рояль буквально означает королевский дворец.

надпись многим не полюбилась: одни называли ее гордою, другие — бессмысленною, доказывая, что по-французски нельзя сказать: «Palais Cardinal». Некоторые вступились за Ришелье: писали, судились перед публикою, и славный щеголь французского языка (разумеется, по тогдашнему времени) Бальзак играл отличную роль в сем важном прении: доказательство, что парижские умы издавна промышляют мыльными пузырями! Королева Анна прекратила спор, велев стереть Cardinal и написать Royal. Лудовик XIV воспитывался в Пале-Рояль и наконец подарил его герцогу Орлеанскому.

Не буду описывать вам наружности сего квадратного замка, который, без всякого сомнения, есть огромное здание в Париже, в котором соединены все ордены архитектуры; скажу только, что собственно принадлежит к отличному его характеру. Фамилия герцога Орлеанского занимает самую малую часть главного этажа; все остальное посвящено удовольствию публики или прибытку хозяина. Тут спектакли, клубы, концертные залы, магазины, кофейные дома, трактиры, лавки; тут богатые иностранцы нанимают себе комнаты; тут живут блестящие первоклассные нимфы; тут гнездятся и самые презрительные. Все, что можно найти в Париже (а чего в Париже найти нельзя?), есть в Пале-Рояль. Тебе надобен модный фрак, поди туда и надень. Хочешь, чтобы комнаты твои через несколько минут были украшены великолепно, поди туда, и все готово. Желаеть иметь картины, эстампы лучших мастеров, в рамах, за стеклами, поди туда и выбирай. Разные драгоценные вещи, серебро, золото, все можно найти за серебро и золото. Скажи, и вдруг очутится в кабинете твоём отборная библиотека на всех языках, в прекрасных шкапах. Одним словом, приходи в Пале-Рояль *диким американцем* и через полчаса будешь одет наилучшим образом, можешь иметь богато украшенный дом, экипаж, множество слуг, двадцать блюд на столе и, если угодно, цветущую Лаису, которая всякую минуту будет умирать от любви к тебе. Там собраны все лекарства от скуки и все сладкие отравы для душевного и телесного здоровья, все средства выманить деньги и мучить безнадежных, все способы наслаждаться временем и губить его. Можно целую жизнь, и самую долголетнюю, провести в Пале-Рояль, как волшебный сон, и сказать при смерти: «Я все видел, все узнал!»

В середине замка сад, еще недавно разведенный, и хотя план его очень хорош, но парижские жители не могут забыть

густых, сенистых деревьев, которые прежде тут были и вырублены немилосердным герцогом для новых, правильных аллей. «Теперь,— говорят недовольные,— одно дерево кличет другое, и некоторое воробья не укроет; а прежде — то ли дело? В июле месяце в самый жаркий день наслаждались мы здесь прохладой, как в самом дремучем, диком лесу. Славное краковское дерево (*arbre de Cracovie*), как царь, возвышалось между другими; в непроницаемой тени его собирались наши старые политики и, сидя кругом за чашею лимонада на деревянном канapé, сообщали друг другу газетные тайны, глубокие знания, остроумные догадки. Молодые люди приходили слушать их, чтобы после к своим родственникам в провинциях написать: «Такой-то король скоро объявит войну такому-то государю. Новость несомнительная! Мы слышали ее под ветвями краковского дерева». Тот, кто не пощадил его, пощадит ли какую-нибудь святыню? Герцог Орлеанский запишет имя свое в истории, как Герострат; гений его есть злой дух разрушения».

Однако ж новый сад имеет свои красоты. Зеленые павильоны вокруг бассейна и липовый храм приятны для глаз. Всего же приятнее Сирк, здание удивительное, единственное в своем роде: длинный параллелограмм, занимающий середину сада, украшенный ионическими колоннами и зеленью, в которой белеются мраморные изображения великих мужей Франции. Снаружи кажется он вам низенькою беседкою с портиками; войдите и увидите внизу, под вашими ногами, великолепные залы, галереи, манеж; можете сойти туда по любому крыльцу, и вы будете в гостях у короля гномов, в подземельном царстве, однако ж не в темноте; свет льется на вас сверху, сквозь большие окна, и везде в блестящих зеркалах повторяются видимые вами предметы. В залах бывают всякий вечер или концерты, или балы; освещение придает внутренности Сирка еще более красоты. Тут ко всякой даме, сколько бы бриллиантов ни сияло на голове ее, можно смело подойти, говорить, шутить; некоторая не рассердится, хотя все очень хорошо играют ролю знатных господ. Тут же и славные парижские фехтмейстеры показывают свое искусство, которому я несколько раз удивлялся.— Из комнат герцога Орлеанского сделан ход в манеж, или, лучше сказать, подземельная дорога, по которой он может приезжать туда верхом или в коляске. Прекрасная терраса, усеянная цветами, посаженная ароматическими деревьями, составляет кровлю здания и напоминает вам древние сады вавилонские.

Взошедши туда, гуляете среди цветников, выше земли, на воздухе, в царстве сильфов, и через минуту сходите опять в глубокие недра земли, в царство гномов, где с приятностию думаете: «Тысячи людей шумят и движутся теперь над моею головою».

Вся нижняя часть Пале-Рояль состоит из галерей с ста осьмьюдесятью портиками, которые, будучи освещены реверберами, представляют ночью блестящую иллюминацию.

Комнаты, занимаемые фамилиею герцога Орлеанского, украшены богато и со вкусом. Там славная картинная галерея, едва ли уступающая Дрезденской и Диссельдорфской, кабинет натуральной истории, собрание антиков, гравированных камней и моделей всякого рода художественных произведений, вместе с изображением всех ремесленных орудий.

Время кончить мое длинное историческое письмо и пожелать вам, друзья мои, приятной ночи.

Париж, мая...

Нынешний день — угадайте, что я осматривал? Парижские улицы; разумеется, где что-нибудь случилось, было или есть примечания достойное. Забыв взять с собою план Парижа, который бы всего лучше мог быть моим путеводителем, я страшным образом кружил по городу и в скверных фиакрах целый день проездил. В десять часов утра началось мое путешествие. Кучеру дан был приказ везти меня — к источнику любви. Он не читал Сент-Фуа, следственно, не понимал меня, но хотел угадать и не угадывал. Надлежало сказать яснее: «Eh bien, dans la rue de la Truanderie!» — «A la bonne heure. Vous autres étrangers, vous ne dites le mot propre qu'à la fin de la phrase!»¹ Итак, мы отправились в Трюандери. Вот анекдот:

Агнеса Геллебек, прекрасная молодая девушка, дочь главного конюшего при дворе Филиппа-Августа, любила и страдала. От Парижа далеко до мыса Левкадского: что же делать? броситься в колодезь на улице Трюандери и концом дней своих прекратить любовную муку. Лет через триста после того другой случай. Один молодой человек,

¹ «Ну, тогда вези меня на улицу Трюандери!» — «В добрый час! Вы, иностранцы, говорите то, что нужно, лишь в самом конце фразы (фр.).»

приведенный в отчаяние жестокостью своей богини, также бросился в этот колодезь, но весьма осторожно и весьма счастливо: не утонул, не зашибся, и красавица, сведав, что ее любовник сидит в воде, прилетела на крыльях Зефира, спустила к нему веревку, вытащила рыцаря, наградила его своею любовью, сердцем и рукою. Желая изъяснить благодарность колодезю, он перестроил его, украсил и готическими буквами написал:

L'amour m'a refait
En 1525 tout-à-fait.

В 1525 году вновь
Меня перестроила любовь.

Весь Париж узнал о сем происшествии. Молодые люди и девушки начали там сходиться при свете луны, петь нежные песни, плясать, уверять друг друга в любви, и колодезь обратился в жертвенник Эротов. Наконец один славный проповедник тогдашнего времени с великим жаром представил родителям возможные следствия таких сходбищ, и набожные люди немедленно засыпали источник любви. Показывают место его; тут выпил я стакан сенской воды, остатками оросил землю и сказал: «А L'amour!»¹ — в жертву Венере Урании.

Нынешняя *Павильонная улица* называлась прежде именем Дианы, не греческой богини, а прекрасной, милой Дианы дю Пуатье, которую знаю и люблю по «Запискам» Брантома. Она имела все прелести женские, до самой старости сохранила свежесть красоты своей и владела сердцем Генрика II. Рост Минервин, гордый вид Юноны, походка величественная, темно-русые волосы, которые до земли доставали; глаза черные огненные; лицо нежное лилейное, с двумя розами на щеках; грудь Венеры Медицинской и, что еще милее, чувствительное сердце и просвещенный ум: вот ее портрет! Король хотел, чтобы парламенты торжественно признали дочь ее законною его дочерью; Диана сказала: «Имев право на твою руку, я требовала единственно твоего сердца, для того что любила тебя; но никогда не соглашусь, чтобы парламент объявил меня твоею наследницею». — Генрик слушал ее во всем и делал только хорошее. Она любила науки, поэзию и была музою остроумного Маро. Город Лион посвятил ей медаль с надписью:

¹ Люви! (фр.).

«*Omnium victorem vici*»¹. «Я видел Диану шестидесяти пяти лет,— говорит Брантом,— и не мог надивиться чудесной красоте ее; все прелести сияли еще на лице сей редкой женщины». Какая из нынешних красавиц не позавидует Диане? Им остается следовать образу ее жизни. Она всякий день вставала в шесть часов, умывалась самою холодною ключевою водою, не знала притираний, никогда не румянилась, часто ездила верхом, ходила, занималась чтением и не терпела праздности. Вот рецепт для сохранения красоты! — Диана погребена в Анете; не имея надежды видеть могилу ее, я бросил цветок на то место, где жила прелестная.

В улице *писателей* или *копистов* (*des écrivains*) хотел я видеть дом, где в XIV веке жил Николай Фламель с женою своею Пернилиею и где еще по сие время на большом камне видны их резные изображения, окруженные готическими надписями и иероглифами. Вы не знаете, кто был Николай Фламель: не правда ли? Он был не что иное, как бедный копист; но вдруг, к общему удивлению, сделался благотворителем неимущих и начал сыпать деньги на бедных отцов семейства, на вдов и сирот, завел больницы, выстроил несколько церквей. Пошли в городе разные толки: одни говорили, что Фламель нашел клад; другие думали, что он знает тайну философского камня и делает золото; иные подозревали даже, что он водится с духами; а некоторые утверждали, что причиною богатства его есть тайная связь с жидами, выгнанными тогда из Франции. Фламель умер, не решив спора. Через несколько лет любопытные вздумали рыть землю в его погребу и нашли множество угольев, разных сосудов, урн с каким-то жестким минеральным веществом. Алхимическое суеверие обрадовалось новому лучу безумной надежды, и многие, желая разбогатеть подобно Фламелью, превратили в дым свое имение. Прошло несколько веков: история его была уже забыта; но Павел Люкас, славный путешественник, славный лжец, возобновил ее следующею сказкою. Будучи в Азии, познакомился он с одним дервишем, который говорил *всеми* языками, казался молодым человеком, а прожил на свете более ста лет. «Сей дервиш,— говорит Люкас,— уверил меня, что Николай Фламель еще жив; что он, боясь сидеть в тюрьме за тайну философского камня, вздумал скрыться; подкупил доктора и приходского священника, чтобы они разгласили о его смерти, а сам ушел из Франции». «С того времени,— сказал мне

¹ «Я победила победителя всех» (лат.).

дервиш,— Николай Фламель и жена его Пернилия ведут философскую жизнь в разных частях света; он — сердечный друг мой, и я недавно виделся с ним на берегу Гангеса». — Удивительно не то, что Павел Люкас выдумал роман, а то, что Лудовик XIV посылал такого человека странствовать для обогащения наук историческими сведениями. — Я стоял несколько минут перед домом Фламеля, копал в земле своею тростью, но не нашел ничего, кроме камней, совсем не философских.

Я не хотел бы жить в улице *Ферронери*: какое ужасное воспоминание! Там Генрик IV пал от руки злодея — *seul roi de qui le peuple ait gardé la mémoire*¹, говорит Вольтер. Герой великодушный, царь благотворительный! Ты завоевал не чужое, а свое государство, и единственно для счастья завоеванных! — Слова незабвенные, простые, но сильные: «Я не хочу умереть без того, чтобы всякий крестьянин в королевстве моем не ел курицы по воскресеньям!» и другие, сказанные им гишпанскому министру: «Вы не узнаете Парижа: мудрено ли? Отец семейства был прежде в отлучке; теперь он дома и печется о своих детях!» — В бедствиях образовалась душа Генрикова; в собственном несчастье научился он дорожить счастьем других людей и дружбою, которая рождается и торжествует в бурные времена. Он был любим! Некоторые из добрых французов от горести последовали за ним во гроб; между прочим Левик, парижский губернатор. — Кучер мой остановился и кричал: «Вот улица де ла Ферронери!» — «Нет, — отвечал я, — ступай далее!» Я боялся выйти и ступить на ту землю, которая не провалилась под гнусным Равальяком.

Улица храма, rue du Temple, напоминает бедственный жребий славного ордена тамплиеров, которые в бедности были смиренны, храбры и великодушны; разбогатевав, возгордились и вели жизнь роскошную. Филипп Прекрасный (но только не душою) и папа Климент V, по доносу двух злодеев, осудили всех главных рыцарей на казнь и сожжение. Варварство, достойное XIV века! Их мучили, терзали, заставляя виниться в ужасных нелепостях; например, в том, будто они поклонялись деревянному болвану с седою бородою, отрекались от Христа, дружились с дьяволом, влюблялись в чертовок, играли младенцами, как мячом, то есть бросали их из рук в руки и таким образом умерщвляли. Многие рыцари не могли снести пытки и признавали себя

¹ Единственный король, о котором народ хранит память (*фр.*).

виновными; другие же, в страшных муках, на костре, в пламени, восклицали: «Есть бог! Он знает нашу невинность!» Моле, великий магистер ордена, выведен был на эшафот, чтоб всенародно изъяснить покаяние, за которое обещали простить его. Один ревностный легат в длинной речи описал все мнимые злодеяния кавалеров храма и заключил словами: «Вот их начальник! Слушайте: он сам откроет вам богомерзкие тайны ордена...» «Открою истину,— сказал несчастный старец, выступив на край эшафота и потрясая тяжкими своими цепями,— всевышний, милосердый отец человеков! Внемли клятве моей, которая да оправдает меня пред твоим небесным судилищем!.. Клянусь, что рыцарство невинно, что орден наш был всегда ревностным исполнителем христианских должностей, правоверным, благодетельным, что одни лютые муки заставили меня сказать противное и что я молю небо простить человеческую слабость мою. Вижу яростную злобу наших гонителей; вижу меч и пламя. Да будет со мною воля божия! Готов все терпеть в наказание за то, что я оклеветал моих братий, истину и святую веру!» — В тот же день сожгли его! Старец, пылая на костре, говорил только о невинности рыцарей и молил Спасителя подкрепить его силы. Народ, проливая слезы, бросился в огонь, собрал пепел несчастного и унес его, как драгоценную святыню. — Какие времена! Какие изверги между людьми! Хищному Филиппу надобно было имяние ордена.

Чем загладить в мыслях страшные воспоминания? Куда теперь ехать? В *Иль де Нотр-Дам*, где во время Карла V, перед глазами всех именитых жителей Парижа, рыцарь Макер сражался... с другим рыцарем, думаете? Нет, с собакою, которая могла служить примером для рыцарей. Доныне показывают там место сего чудного поединка. Выслушайте историю. Обри Мондидье, гуляя один в лесу недалеко от Парижа, был зарезан и схоронен под деревом. Собака несчастного, которая оставалась дома, побежала ночью искать его, нашла в лесу могилу, узнала, кто погребен тут, и несколько дней не сходила с места. Наконец голод заставил ее возвратиться в Париж. Она пришла к Обриеву другу Ардильеру и жалким воем давала ему чувствовать, что общего друга их нет уже на свете! Ардильер накормил ее, ласкал, но горестная собака не переставала визжать, лизала ему ноги, брала его за кафтан, тащила к дверям. Ардильер решился идти за нею — из улицы в улицу, за город, в лес, к высокому дубу. Тут начала она визжать еще сильнее и рыть лапами землю. Друг Обриев с горестным предчувст-

вием видит могилу, велит слуге своему копать и находит тело несчастного. Через несколько месяцев собака встречается с убийцею, которого все историки называют рыцарем Макером; бросается на него¹, лает, грызет, так что с великим трудом могли оттащить ее. В другой, в третий раз то же; собака, всегда смиренная, только против одного человека делается злобным тигром. Люди удивляются, говорят; вспомнили ее привязанность к господину; вспомнили, что Макер в разных случаях оказывал ненависть к покойнику. Другие обстоятельства умножают подозрение. Доходит до короля. Он желает видеть собственными глазами — и видит, что собака, ласкаясь ко всем придворным, с визгом кусает Макара. В тогдашние времена поединок решал судьбу обвиняемых, если доказательства были неясны. Карл назначает день, место; рыцарю дают булаву и пускают собаку. Жестокий бой начинается. Макер заносит руку, хочет разить, но собака увертывается, хватая его за горло — и злодей, падая на землю, признается королю в своем злодеянии. Карл V, желая для потомства сохранить память верной собаки, которая столь чудесно открыла тайное убийство, велел в Бондийском лесу соорудить ей мраморный монумент и вырезать следующую надпись: «Жестокие сердца! Стыдитесь: бессловесное животное умеет любить и знает благодарность. А ты, злодей! В минуту преступления бойся самой тени своей!» — Итак, Карл справедливо назван *Мудрым*. — Когда *история людей*, наполненная злодеяниями, выпадет из рук моих, я стану читать *историю собак* и утешусь!

Отчего в Париже назвали одну улицу *Адскою*? Лудовик Святой, добрый государь (если бы он только не ездил воевать в Азию и в Африку), подарил ученикам Бруновым² небольшой домик с садом, близ старинного дворца, построенного королем Робертом и давно уже оставленного. Скоро разнесся в Париже слух, что нечистые духи живут в Робертовых палатах, шумят, стучат цепями и воют страшным образом, что одно *зеленое чудовище*, сверху человек, а снизу змея, ходит по комнатам, ночью выбегает на улицу и бросается на людей. Лудовик, слыша такие ужасы, рассудил за благо отдать сей дворец картезианцам с условием, чтобы они выгнали оттуда злых духов. Зеленое чудовище

¹ Спрашивается, как она узнала его? Может быть, имея тонкое обоняние, почувствовала на нем кровь господина своего. (*Примеч. авт.*)

² Бруно основал картезианский орден. (*Примеч. авт.*)

вдруг скрылось, и добрые монахи жили покойно в своем огромном доме, но улица и доныне называется *Адскою*.

И проехал отсюда в улицу *Милькер*, где Франциск I жил несколько времени в маленьком домике, чтоб быть соседом прекрасной герцогини д'Этамп, которая владела его нежным сердцем. Он украсил свои комнаты живописью, эмблемами, надписями в честь и славу любви. «Я видел еще многие из сих девизов,— говорит Соваль,— но помню только один: пламенное сердце, изображенное между *альфы* и *омеги*; что, без сомнения, значило: «Оно будет всегда пылать». Бани герцогини д'Этамп служат ныне конюшнею. Шляпный мастер варит себе кушанье в спальне Франциска I, а в *кабинете его восторгов* (cabinet de delices) живет сапожник.

Старинный закон не велит во Франции выпускать на улицу свиней. Любопытны ли вы знать причину? В улице *Мальтуа* вам скажут ее. Там молодой король Филипп, сын Лудовика *Толстого*, ехал верхом. Вдруг откуда ни взялась свинья и бросилась под ноги лошади его: лошадь споткнулась. Филипп упал и на другой день умер.

Шотландец Ла (Law) прославил улицу *Кенкампуа*: тут раздавались билеты его банка. Страшное множество людей всегда теснилось вокруг бюро, чтобы менять луидоры на ассигнации. «Тут горбатые торговали своими горбами; то есть позволяли ажиотёрам писать на них и в несколько дней обогащались. Слуга покупал экипаж господина своего; демон корыстолюбия выгонял философа из ученого кабинета и заставлял его вмешиваться в толпу игроков, чтобы покупать мнимые ассигнации. Сон исчез, осталась простая бумага, и автор сей несчастной системы умер с голоду в Венеции, быв за несколько времени перед тем роскошнейшим человеком в Европе».— Мерсье в «Картинах Парижа».

Путешествие мое кончилось улицею *Арфы*, de La Harpe, где я видел остатки древнего римского здания, известного под именем Palais de Thermes¹: огромную залу с круглым сводом, вышиною в сорок футов. Историки думают, что это здание древнее времен Иулиановых; по крайней мере, Иулиан жил в нем, когда галльские легионы назвали его римским императором. Великолепные сады, бассейны, водоводы, о которых говорят старинные летописи, все стерто и заглажено рукою времени. Тут жили французские цари

¹ Дворец бань (фр.).

Кловисова поколения; тут заключены были любезные дочери Карла Великого за их нежные слабости; тут, при королях второго поколения, знатные парижские дамы видались с своими обожателями; тут ныне выкармливают голубей для продажи. «Кстати,— подумал я.— Голубь есть Венера птица».

В этой же улице славился пирожник Миньйо, которого воспел Буало в сатире своей:

...Mignot, c'est tout dire, et dans le monde entier,
Jamais empoisonneur ne sut mieux son métier...¹

Пирожник рассердился на сатирика, жаловался в суде; но, будучи только осмеян судьями, вздумал мстить поэту иным образом: уговорил аббата Коттена сочинить сатиру на Буало, напечатал ее и разослал с пирогами по всему городу.

ОПЕРНОЕ ЗНАКОМСТВО

Я пришел в Оперу с немцем Реинвальдом. «Entrez dans cette loge, Messieurs»² — В ложе сидели две дамы с кавалером св. Лудовика. «Останьтесь здесь, государи мои,— сказала нам одна из них,— видите, что у нас нет ничего на головах; в других ложах найдете женщин с превысокими уборами, которые совсем закроют от вас театр». — «Мы вас благодарим», — отвечал я и сел позади ее. Учтивость ее возбудила мое внимание: я с обеих сторон заглядывал ей в лицо. Между тем товарищ мой начал говорить со мною по-русски: и дамы и кавалер посмотрели на нас, услышав неизвестные звуки. Я имел удовольствие найти в учливой даме белокурую молодую красавицу. Черный цвет платья оттенивал белизну лица; голубая ленточка извивалась в густых, светлых, напудренных волосах; букет роз алел на лилеях груди. — «Хорошо ли вам?» — спросила у меня с улыбкою любезная незнакомка. «Нельзя лучше, сударыня». Но кавалер, который сидел рядом с нею, беспрестанно повертываясь с стороны в сторону, беспокоил Реинвальда. «Я здесь ни за что не останусь,— сказал мой немец,— проклятый француз натрет мне на коленях мозоли», — сказал и ушел. Белокурая незнакомка посмотрела на

¹ Миньйо — этим сказано все: в целом мире ни один отравитель никогда лучше не знал своего ремесла (фр.).

² «Пройдите в эту ложу, господа» (фр.).

дверь и на меня. «Ваш товарищ недоволен нашею ложею?»

Я. Ему хочется быть прямо против сцены.

Незнакомка. А вы с нами?

Я. Если позволите.

Незнакомка. Вы очень милы.

Кавалер с в. Лудовика. Я только теперь заметил, что у вас на груди розы; вы их любите?

Незнакомка. Как не любить? Они служат эмблемою нашего пола.

«От них совсем нет запаха»,— сказал он, распуская и сжимая свои ноздри.

Я. Извините — я далее, а чувствую.

Незнакомка. Вы далее? Да что ж вам мешает быть поближе, если розы для вас приятны? Здесь есть место... Вы англичанин?

Я. Если англичане имеют счастье вам нравиться, то мне больно назваться русским.

Кавалер. Вы русский? Видите, что я угадал, сударыня! *J'ai voyagé dans le nord; je me connois aux accents; je vous l'ai dit dans le moment*¹.

Незнакомка. Я, право, думала, что вы англичанин. *Je raffole de cette nation*².

Кавалер. Нельзя ошибиться тому, кто, подобно мне, был везде и знает языки. У вас в России говорят немецким языком?

Я. Русским.

Кавалер. Да, русским; все одно.

«Все места заняты,— сказала красавица, взглянув на партер.— Тем лучше! Я люблю людей».

Кавалер. Иначе вы были бы неблагодарны.

«Как досадно! — думал я.— Он сорвал у меня с языка это слово».

Кавалер. Только по Моисееву закону вам надобно ненавидеть женщин.

Незнакомка. Почему же?

Кавалер. Любовь за любовь, ненависть за ненависть.

Незнакомка (с усмешкою). Я христианка. Однако ж это правда: женщины не любят друг друга.

«Для чего же?» — спросил я с величайшею невинностию.

¹ Я путешествовал по северу и понимаю оттенки произношения; я вам сразу сказал (фр.).

² Я без ума от этой нации (фр.).

Красавица. Для чего?

Тут она понюхала свои розы, взглянула опять на меня и спросила, давно ли я в Париже? Долго ли пробуду?

«Когда розы увянут в саду, меня уже здесь не будет», — отвечал я самым жалким голосом.

Красавица (*посмотрев на свой букет*). Они у меня цветут и зимою.

Я. Чего не делает искусство, сударыня? Однако ж натура не теряет своих прав: ее цветы милее.

Красавица. Не северному жителю хвалить природу: она у вас печальна.

Я. Не всегда, сударыня: у нас также есть весна, цветы и прекрасные женщины.

Незнакомка. Любезные?

Я. По крайней мере, любимые.

Незнакомка. Да, я думаю, что у вас лучше умеют любить, нежели нравиться. Во Франции напротив: чувство пылает здесь только в романах.

Я. У нас, сударыня, у нас оно пылает в сердцах.

Кавалер. Чувствительность везде роман. Я путешествовал и знаю.

Красавица. О несносные французы! Вы все атеисты в любви. Не мешайте ему говорить. Он нам скажет, как в России обожают женщин...

Кавалер. Роман!

Красавица. Как мужчины нежны, примечательны...

Кавалер (*зевая*). Роман!

Красавица. Как они смотрят женщинам в глаза, не скучая, не зевая.

Кавалер (*засмеявшись*). Роман! Роман!

Тут весь театр осветился площадками, и зрители захлопали в знак удовольствия. Красавица сказала с улыбкою: «Мужчины рады свету, а мы боимся его. Посмотрите, например, как вдруг стала бледна молодая дама, которая сидит против нас!..»

Кавалер. Оттого, что она, подражая англичанкам, не румянится.

Я. Бледность имеет свою прелесть, и женщины напрасно румянятся.

Красавица обернулась к партеру... Ах! Она была нарумянена! Я сказал неучтиво, прижался боком к стене и молчал. К счастью, оркестр заиграл, и началась опера. Музыка Глукова «Орфей» восхитила меня так, что я забыл и красавицу, зато вспомнил Жан-Жака, который не любил Глука,

но, слыша в первый раз «Орфея», пленился, молчал — и когда парижские знатоки при выходе из театра окружили его, спрашивая, какова музыка? — запел тихим голосом: «J'ai perdu mon Euridice; rien n'égale mon malheur»¹ — обтер слезы свои и, не сказав более ни слова, ушел. Так великие люди признаются в несправедливости мнений своих!

Занавес опустился. Незнакомка сказала мне: «Божественная музыка! А вы, кажется, не аплодировали?»

Я. Я чувствовал, сударыня.

Незнакомка. Глук милее Пиччинни.

Кавалер. Об этом в Париже давно перестали спорить. Один славится гармониею, другой — мелодиею; один всегда равно удивителен, другой велик порывами; один никогда не падает, другой встает с земли, чтобы лететь к облакам; в одном более характера, в другом более оттенок. Мы давно согласились.

Незнакомка. Я не умею делать ученых сравнений; а вы, государь мой?

Я. Согласен с вами, сударыня.

Незнакомка. Etes-vous toujours bien, M-r? ²

Я. Parfaitement bien, Madame, auprès de vous ³.

Тут кавалер св. Лудовика сказал ей что-то на ухо. Она засмеялась, посмотрела на часы; встала, подала ему руку и, сказав мне: «Je vous salue, Monsieur!»⁴ — ушла вместе с другою дамою. Я изумился... Не дожидаться прекрасного балета «Калипсы и Телемака»! Странно!.. Мне стало в ложе просторнее и — скучнее. Я взглядывал на дверь, как будто бы ожидая возвращения прелестной незнакомки. Кто она? Благородная, почтенная или... Какая мысль! Важные парижские дамы не говорят так вольно с незнакомыми; однако ж может быть исключение из правила. Воображение мое не переставало заниматься ею во время балета, находя в разных танцовщицах сходство с белокурою незнакомкою. Я пришел домой — и все еще о ней думал.

«История кончилась», — вы скажете; а может быть, и нет. Что, если я опять где-нибудь встречу с красавицею, в *Елисейских полях*, в *Булонском лесу*; избавлю ее от разбойников, или вытащу из Сены, или спасу от огня?.. Предвижу вашу усмешку. «Роман! Роман!» — повторите вы с ка-

¹ «Я потерял Эвридику, ничто не сравнится с моим горем» (фр.).

² Хорошо вам сейчас, сударь? (фр.).

³ Превосходно, сударыня, рядом с вами (фр.).

⁴ Всего доброго, сударь! (фр.).

валером св. Лудовика. Боже мой! Как люди стали ныне недоверчивы! Это отнимает охоту путешествовать и рассказывать анекдоты. Хорошо; я замолчу.

Париж, мая...

Солиман Ага, турецкий посланник при дворе Лудовика XIV в 1669 году, первый ввел в употребление кофе. Некто Паскаль, армянин, вздумал завести кофейный дом; новость полюбилась, и Паскаль собрал довольно денег. Он умер, и мода на кофе прошла, так что к его наследникам никто уже не ходил в гости. Через несколько лет Прокоп Сицилианец открыл новый кофейный дом близ *Французского театра*, украсил его со вкусом и нашел способ заманивать к себе лучших людей в Париже, особливо авторов. Тут сходились Фонтенель, Жан-Батист Руссо, Сорен, Кребийльон, Пирон, Вольтер; читали прозу и стихи, спорили, шутили, рассказывали новости. Парижане ходили от скуки слушать их. Имя сохранилось доньше, но теперешний Прокопов кофейный дом не имеет уже славы прежнего.

Что может быть счастливее этой выдумки? Вы идете по улице, устали, хотите отдохнуть: вам отворяют дверь в залу, чисто прибранную, где за несколько копеек освежитесь лимонадом, мороженым, прочтаете газеты, слушаете сказки, рассуждения; сами говорите и даже кричите, если угодно, не боясь досадить хозяину. Люди небогатые осенью, зимою находят тут приятное убежище от холода, камин, светлый огонь, перед которым могут сидеть, как дома, не платя ничего, и еще пользоваться удовольствием общества. *Vive Pascal, vive Procure! Vive Soliman Aga!*¹

Ныне более шестисот кофейных домов в Париже (каждый имеет своего корифея, умника, говоруна), но знаменитых считается десять, из которых пять или шесть в Палероаяль: *Café de Foi, du Caveau, du Valois, de Chartres*². Первый отменно хорошо прибран, а второй украшен мраморными бюстами музыкальных сочинителей, которые своими операми пленяют слух здешней публики: бюстом Глука, Саккини, Пиччинни, Гретри и Филидора. Тут же на мраморном столе написано золотыми буквами: «*On ouvrit deux souscrip-*

¹ Да здравствует Паскаль! Слава Прокопу! Да здравствует Солиман Ага! (*фр.*).

² «Кафе веры», «Погребок», «Валуа», «Шартрское» (*фр.*).

tions sur cette table; La première le 28 Juillet, pour répéter l'expérience d'Annonay; la deuxième le 29 Août, 1783, pour rendre hommage par une médaille à la découverte de M. M. de Montgolfier»¹. На стене прибит медальон, который изображает обоих братьев Монгольфье.— Жан-Жак Руссо прославил один кофейный дом, Le Café de La Régence², тем, что всякий день играл там в шашки. Любопытство видеть великого автора привлекало туда столько зрителей, что полицмейстер должен был приставить к дверям караул. И ныне еще собираются там ревностные жан-жакисты пить кофе в честь Руссовой памяти. Стул, на котором он сиживал, хранится как драгоценность. Мне сказывали, что один из почитателей философа давал за него пятьсот ливров, но хозяин не хотел продать его.

СМЕСЬ

Я желал видеть, как веселится парижская чернь, и был нынешний день в *генгетах*: так называются загородные трактиры, где по воскресеньям собирается народ обедать за десять су и пить самое дешевое вино. Не можете представить себе, какой шумный и разнообразный спектакль! Превеликие залы наполнены людьми обоого пола; кричат, пляшут, поют. Я видел двух шестидесятилетних стариков, важно танцующих менуэт с двумя старухами; молодые хлопали в ладоши и кричали: «Браво!» Некоторые шатались от действия винных паров, а также хотели танцевать и только что не падали; не узнавали дам своих и вместо извинения говорили: «Diable! Peste!»³— C'est l'empire de la grosse gaieté, царство грубого веселья! — Итак, не один русский народ обожает Бахуса! Розница та, что пьяный француз шумит, а не дерется.

У дверей всякой *генгеты* стоят женщины с цветами, берут вас за руку и говорят: «Господин милый, господин прекрасный! Я дарю вас букетом роз». Надобно непременно взять подарок, отблагодарить шестью копейками и еще сказать учтивое слово, un mot de politesse, d'honnêteté. Париж-

¹ «За этим столом были открыты две подписки: первая — 28 июля 1783 года, чтобы повторить опыт Аннонэ, вторая — 29 августа 1783 года, чтобы почтить медалью открытие братьев Монгольфье» (фр.).

² Кафе «Регентство» (фр.).

³ «Дьявол! Чума!» (фр.).

ские *цветочницы* одного разбора с *рыбными торговками* (les poissardes); страшно не понравиться им; они в состоянии заметить вас грязью. Но если вы держите в руке букет цветов, то вам уже не предлагают другого. Однажды на *Королевском мосту* две *цветочницы* остановили меня с бароном В. и требовали... поцелуй! Мы смеялись, хотели идти, но жестокие вакханки насильно поцеловали нас в щеку, хохотали во все горло и кричали нам вслед: «Еще, еще один поцелуй!»

Идучи по *Дофинскому берегу*, увидел я на реке два китайские павильона, узнал, что это бани, сошел вниз, заплатил 24 су и вымылся холодной водою в прекрасном маленьком кабинете. Чистота удивительная. Во всякий кабинет проведена из реки особливая труба, в которой вода течет сквозь песок. Тут же учат плавать; урок стоит 30 су. При мне плавали три человека с отменною легкостью. В Париже есть и теплые бани, в которые часто посылают медики больных своих. Самые лучшие и дорогие называются русскими, bains Russes, de vapeurs ou de fumigations, simples et composés¹. Надобно заплатить рубли два, и вас вымоют, вытрут губками, обкурят ароматами, как у нас в грузинских банях.

Я был в Hôtel-Dieu, главной парижской гошпитали, в которую принимают всякой веры, всякой нации, всякого рода больных и где бывает их иногда до 5000, под надзором 8 докторов и 100 врачей. 130 монахинь августинского ордена служат несчастным и пекутся о соблюдении чистоты; 24 священника беспрестанно исповедывают умирающих или отпевают мертвых. Я видел только две залы и не мог идти далее: мне стало дурно, и до самого вечера стон больных отзывался в моих ушах. Несмотря на хороший присмотр, из 1000 всегда умирает 250. Как можно заводить такие больницы в городе? Как можно пить воду из Сены, в которую стекает вся нечистота из Hôtel-Dieu? Ужасно вообразить! Счастлив, кто выедет из Парижа здоровый! — Я спешу в театр, чтобы рассеять свою меланхолию и начало лихорадки.

¹ Русские бани, паровые или с окуриванием, простые и смешанные (фр.).

Здесьняя *Королевская библиотека* есть первая в свете; по крайней мере, так сказал мне библиотекарь. Шесть превеликих зал наполнены книгами. Мистические авторы занимают пространство в 200 футов длиною и в 20 вышиною, схоластики — 150 футов, юристы — 40 сажен, историки вдвое. Поэтов считается 40 000, романистов — 6000, путешественников — 7000. Все вместе составляет около 200 000 томов, к которым надобно еще прибавить 60 000 рукописных. Порядок редкий. Наименуйте книгу, и через несколько минут она у вас в руках. Мне, как русскому, показывали славянскую библию и «Наказ» императрицы.— Карл V получил в наследство после короля Иоанна 20 книг; любя чтение, умножил их до 900 и был основателем сей библиотеки. Тут же, в кабинете древних и новых медалей, с великим любопытством рассматривал я два щита славнейших из древних полководцев: Аннибала и Сципиона Африканского. Какими приятными воспоминаниями обязаны мы истории! Мне было восемь или девять лет от роду, когда я в первый раз читал римскую и, воображая себя маленьким Сципионом, высоко поднимал голову. С того времени люблю его как своего героя. Аннибала я ненавидел в счастливые времена славы его, но в решительный день, перед стенами карфагенскими, сердце мое едва ли не ему желало победы. Когда все лавры на голове его увяли и засохли, когда он, укрываясь от злобы мстительных римлян, скитался из земли в землю, тогда я был нежным другом хотя несчастного, но великого Аннибала и врагом жестоких республиканцев.— Еще хранятся в библиотеке две стрелы диких американцев, намазанные таким сильным ядом, что если проколешь ими до крови какое-нибудь животное, то оно через несколько минут, оцепенев, умрет.— В зале нижнего этажа стоят два глобуса чрезвычайной величины, так что верхняя часть их выходит, через отверстие потолка, в другой этаж. Они сделаны монахом Коронелли¹.— Собрание эстампов в библиотеке также достойно примечания.

Здесь много и других общественных и частных библиотек, отворенных в назначенные дни для всякого. Читайте, выписывайте что вам угодно. Нет в свете другого Парижа ни для ученых, ни для любопытных; все готово — только пользуйся.

¹ Доказывается надписью. (Примеч. авт.)

Королевская обсерватория, обращенная углами к четырем главным пунктам горизонта, построена без дерева и без железа. В большой зале первого этажа проведен меридиан, который идет через всю Францию, на север и на юг, от Колиура до Динкирхена. Там одна комната называется *тайною*, *La salle des Secrets*, и представляет любопытный феномен. Если вы приложите губы к пиластру и тихонько скажете несколько слов, то человек, стоящий напротив, у другого пиластра, слышит их, а люди, которые стоят между вами, ничего не слышат. Монах Киркер писал изъяснение сей механической странности.— Кто хочет сойти в подземельный лабиринт обсерватории, служащий для разных метеорологических опытов, тому надобно непременно взять вожатого и факелы: 360 ступеней ведут вас в эту бездну; темнота страшная; густой, сырой воздух почти останавливает дыхание. Мне рассказывали, что два монаха, сошедши туда вместе с другими любопытными, отстали — хотели догнать товарищей, но факел их угас — они искали выхода из темных переходов, но тщетно. Через восемь дней нашли их в лабиринте мертвых.

Лудовик XIV построил самый великолепнейший в Европе *Инвалидный дом* для изувеченных и престарелых воинов, желая доказать им царскую благодарность, и часто бывал у них в гостях, без всякой стражи, кроме испытанного усердия своих ветеранов. Печальное зрелище для философа, трогательное для всякого чувствительного! Многие инвалиды не могут ходить; многие не могут даже есть сами: их кормят. Одни молятся перед олтарями; другие сидят под тению густых дерев, разговаривая о победах, купленных их кровию. Как охотно снимаю шляпу перед седым воином, который носит на себе незагладимые знаки храбрости и печать славы! Война бедственна, но храбрость есть великое свойство души. «Робкий человек может быть добрым, но всякий дурной человек непременно должен быть трусом», — говорит Стернов капрал Трим.— Петр Великий, осматривая парижский Инвалидный дом в то время, как почтенные воины сидели за обедом, налил себе рюмку вина и, сказав: «Ваше здоровье, товарищи!» — выпил до капли. Архитектура и живопись прекрасны.

Я думаю теперь: какое могло б быть самое любопытнейшее описание Парижа? Исчисление здешних монументов искусства (рассеянных, так сказать, по всем улицам), редких вещей в разных родах, предметов великолепия, вкуса имеет, конечно, свою цену; но десять таких описаний, и самых подробных, отдал бы я за одну краткую характеристику или за *галерею примечания достойных людей в Париже*, живущих не в огромных палатах, а по большей части на высоких чердаках, в тесном уголке, в неизвестности. Вот обширное поле, на котором можно собрать тысячу любопытных анекдотов! Здесь-то бедность, недостаток в средствах к пропитанию доводит человека до удивительных хитростей, истощает и разум и воображение! Здесь многие люди, которые всякий день являются на гульбищах, в Пале-Рояль, даже в спектаклях, причесанные волос к волосу, распудренные, с большим кошельком на спине, с длинною шпагою на бедре, в черном кафтане, не имеют копейки верного дохода, а живут, веселятся и, судя по наружному виду, беспечны, как птицы небесные. Средства? Они разнообразны, бесчисленны и нигде, кроме Парижа, неизвестны. Например: человек, изрядно одетый, который сидит в Café de Chartres за чашкою баваруаза, говорит не умолкая, с видом благородным, приятным, шутит, рассказывает забавные анекдоты — знаете ли, чем живет? Продажею *афиш* или всякого рода печатных объявлений, которыми здесь бывают облеплены стены. Ночью, когда город успокоится и люди по домам разбредутся, он ходит собирать свой корм, из улицы в улицу, сдирает со стен печатные листы, относит их к пирожникам, имеющим нужду в бумаге, получает за то несколько копеек, ливра два или целый *эрю*, ложится на соломенный тюфяк в каком-нибудь гренье¹ и засыпает покойнее многих крезов. Другой человек, который также всякий день бывает в *публике*, то есть в Тюльери, Пале-Рояль, и которого вы по кафтану сочтете клерком², есть... откупщик; но прошу угадать, какой? У него на откупе... все булавки, теряемые дамами в итальянском спектакле. Когда занавес опускается и все

¹ То есть на чердаке. (Примеч. авт.)

² Писарем. (Примеч. авт.)

зрители выходят из залы, но только что является в театр и с дозволения директорского, между тем как гасят свечи, ходит из ложи в ложу подбирать булавки; ни одна не укроется от его мышьих глаз, где бы она ни лежала; и в то мгновение, как слуга хочет гасить последнюю свечу, наш откупщик хватает последнюю булавку, говорит: «Слава богу! Завтра я не умру с голоду!» — и бежит с своим пакетом к лавочнику. — Я был в Мазариновой библиотеке и смотрел на ряды книг без всяких мыслей. Ко мне подошел седой старик в темном кафтане и сказал: «Вы желаете видеть примечания достойные книги и манускрипты?» — «Желал бы, государь мой!» — «Я к вашим услугам». И старик начал мне показывать редкие издания, древние рукописи, беспрестанно говоря, изъясняя. Я думал, что он библиотекарь; совсем нет, но тридцать лет служит там *живым каталогом* для любителей и читателей книг. Надзиратели Мазариновой коллегии дозволяют старику хозяйствовать в библиотеке и чрез то промышлять себе хлеб. Дайте ему *эку* или медную копейку, он возьмет их с равною благодарностью, не скажет: «Мало!», не сморщит лба; также и за горсть серебряной монеты не поклонится вам ниже обыкновенного. Парижский нищий хочет иметь наружность благородного человека. Он берет подавание без стыда, но за грубое слово вызовет вас на поединок: у него есть шпага!

В галерее примечания достойных людей занял бы, конечно, не последнее место один здешний стоик, известный под именем четырнадцатилуковошного (*de quatorze oignons*), истинный Диогенов человек, отказывающий себе во всем, что не есть в строгом смысле необходимо для жизни. Он промыслом носильщик: все его имение состоит в большой корзине; днем разносит в ней по комиссии всякую всячину, а ночью спит, как в алькове, на городской площади, под колоннадою. Сорок лет не переменяет своего камзола; в случае нужды нашивает заплаты и таким образом от времени до времени возобновляет его, как природа, по мнению медиков, возобновляет в разные периоды человеческое тело. Четырнадцать луковиц составляют его дневную пищу. Не думайте, чтобы он жил так по необходимости; нет, бедные просят у него милостыни и получают; другие берут взаймы — но парижский Диоген никогда не требует назад своих денег, ежедневно выработывая три и четыре ливра. Он умеет быть благодетелем и другом; говорит мало, но с выразительным лаконизмом. Многие ученые

знакомы с ним. Химист Л. спросил у него однажды: «Счастлив ли ты, добрый человек?» — «Думаю», — отвечал наш философ. «В чем состоят твои удовольствия?» — «В работе, отдыхе, в беспечности». — «Прибавь еще: в благодеяниях. Я знаю, что ты делаешь много добра». — «Какого?» — «Подаешь милостыню». — «Отдаю лишнее». — «Молишься ли богу?» — «Благодарю его». — «За что?» — «За себя». — «Ты не боишься смерти?» — «Ни жизни, ни смерти». — «Читаешь книги?» — «Не имею времени». — «Бывает ли тебе скучно?» — «Я никогда не бываю празден». — «Не завидуешь никому?» — «Я доволен собою». — «Ты истинный мудрец». — «Я человек». — «Желаю твоей дружбы». — «Все люди — друзья мои». — «Есть злые». — «Их не знаю».

К великому моему сожалению, я не видал сего нового Диогена. Он скрылся при начале революции. Иные думают, что его уже нет на свете. Вот доказательство, что в самом низком состоянии может родиться и жить гений деятельной мудрости.

Райнер Мария Рильке

ЛЕСТНИЦА ОРАНЖЕРЕИ

ВЕРСАЛЬ

Как некогда король, ступая вчуже,
себя являл без приближенных лиц,
уединившись в мантии полукружьи,
по обе стороны склоненным ниц,

так лестница восходит от подножья
меж искони склоненных балюстрад,
и одиноко милостию божьей
она вступает в небо наугад,

как будто ею выставленный страж
другим отрезал путь — вне ореола
застыла где-то свита. Даже паж
поднять не смеет шлейф тяжелый с пола.

Жак Делиль

ВЕРСАЛЬ

Фрагмент поэмы «Сады»

Увы тебе, Версаль! увы твоим садам —
Во славу короля Ленотровым трудам!
У ног твоих топор, и час твой пробил ныне.
Деревья, до небес вознесшие гордыню,
Под корень сражены, колеблют миг-другой
Своих роскошных крон мятущейся листвою,
Чтоб рухнуть на тропу, над коей год за годом
Круглились руки их величественным сводом.
Повержен этот лес, чей осенял расцвет
Людовика чело в сиянии побед,
Где дружественный спор, питомцы мирной славы,
На празднествах вели искусства и забавы!
Амур, и твой приют разрушили дотла,
Где гордость Монтеспан во вздохе изошла.
А сладостная тень, сокрывшая от мира
Мгновение, когда души своей кумиру,
Не смея почитать избранницей себя,
Открылась Лавальер, робея и любя!
Везде, везде разгром; вот отлетают тени
Героев этих кущ от разоренной сени;
Пернатые певцы, так долго до сих пор
Досугам королей сопутствовавший хор,
В изгнание летят с родимых колыбелей;
А статуи богов, жильцы зеленых келий,
Теперь среди руин древесных колоннад
Без полога листвы раздетые стоят,
Как будто на позор,— и тут самой Киприде
Смутиться довелось, нагой себя увидя.
Растите же скорей и вновь украсьте вид,
Вы, саженцы; а вы почийте без обид,
Деревья-старики: могучи неизменно,
Вы видели закат Корнеля и Тюренна,
Вы каждую весну цвели — а наш расцвет,
Увы, всего один, ему возврата нет.

Андре Шенье

ВЕРСАЛЬ

Версаль! Дубравы, колоннады,
Живые мраморы, аркады —
Элизий, промыслом богов и королей
Украшенный неизъяснимо;
Как свежую росу на злак сухой, палимый,
Забвенье в душу мне пролей,
С тех пор как я моих пенатов
Принес к тебе, от света спрятав,
И ветвями венчал, мне стал чужим Париж;
Я погрузился в жизнь иную,
Влюблен в холмы, поля и вязов сень тройную,
Которую ты мне даришь.
Блеск празднеств, пышность экипажей,
Ночные бденья чутких стражей
Ты позабыл; ничто не ослепит здесь взор.
Недвижность, дрема, запустенье —
Всё боги новые — искусства и ученье
Теперь твой составляют двор.

Несчастен я! молодые силы
Спят в узах лени унылой:
Познания сладкий труд вкушать мне не дано.
Снедает скука злой отравой
Оцепенелый дух. Известностью и славой
Уж не прельщаюсь я давно.

Уединенья сумрак ровный,
Покой угрюмый и безмолвный —
Вот всё, к чему стремлюсь; сокрой же дни мои
И, если жить еще мне надо,
Мерцающий огонь моей пустой лампы
Питай мечтаньями любви.

Душа не вовсе омертвела,
И жизнь не вовсе оскудела,
Пока на нежный взгляд, как встарь, и сердце в нас,
И голос дрожью отвечает.
Кто близ возлюбленной ликует иль вздыхает,
Тот не торопит смертный час.

Любя, я жив. О брег блаженный!
Хранишь ты образ драгоценный
И тайну имени, что я привык шептать,
Когда, бродя здесь, мысль лелею
О том, как виделись мы в этот вечер с нею
И как увидимся опять.

Лишь для нее волну созвучий,
Источник, некогда кипучий,
Струить из уст моих по-прежнему готов,
И темные твои боскеты
Внимают мой напев, томлением согретый,—
Язык любви, язык богов.
О! если б человек был в силах
Забыть о казнях и могилах
И сердце чистое для счастья вновь открыл,
Версаль, в цветущих рощах здешних,
В тиши, рождающей так много грез утешных,
Он радость бы и негу пил.

Но часто этот дол зеленый,
Луга, поляны, взгорий склоны
Внезапный кроет мрак, и взору предстают
Невинных пепельные тени,—
Я вижу, как на смерть, не зная сожалений,
Влечет их вероломный суд.

Кристиан Фридрих Даниэль Шубарт

1790

ПРАЗДНИК СВОБОДНЫХ

(В сокращении)

...Но еще более величественное зрелище представляет двадцатимиллионный народ, когда он с потрясающим единодушием провозглашает свободу, сбрасывает рабские оковы с мозолистых рук, рушит неприступные, как скалы, Бастилии и затем под открытым небом справляет в честь отца и подателя священной свободы также торжество, какого никогда еще не праздновало человечество. Немудрено, что взоры всех великих, добрых, благородных, сердечных людей устремлены теперь на Париж и следят за ходом

празднества, которое сама пылкая фантазия поэта не могла бы нарисовать, каким оно разыгрывается в действительности перед глазами всего света.

Подготовка торжества велась в такой согласии, которое показывает, что всевышний покровительствует этому празднику единения. Более ста пятидесяти тысяч человек, всех классов и состояний, представителей всех стран света, говорящих на всех языках и наречиях, работали на широком Марсовом поле. Сам король отправился туда, сошел с коня и — внук великих Генрихов и гордых Людовиков — возил тачку, а рабочие с лопатами, кирками и мотыгами сопровождали его как телохранителя. Другие участники работ и зрители кричали со слезами на глазах: «Да здравствует наш король, друг и отец!» Теперь работали все, и почва оросилась потом некогда могущественных людей, воинов, членов Академии, священников и монахов всех орденов, художников, женщин и детей.

Как мало нас работа угнетает,
Когда свобода лоб нам охлаждает!

Клоутс — пруссак! — человек большого сердца и высокого духа, в последнее время — выразитель чаяний всех чужеземных наций, стряхнул с себя свой немецкий баронский титул, как стряхивают пыль с одежды, стал французским гражданином и... тоже катал тачку. Фокс, главный столп храма британского величия, был свидетелем триумфа свободы. Клопшток, первый среди живущих теперь поэтов мира, старец шестидесяти восьми лет, но еще полный жизненной силы и преданный богу, свободе и отечеству, 10-го числа прибыл в Париж вместе со своим другом, графом Христианом Штольбергом, переводчиком Софокла, и привез стихотворение, посвященное народу франков, которое он будет раздавать во французском переводе. Какой триумф для Франции: величайший из немцев, среброкудлый Клопшток молодеет от благостного зрелища освобожденного народа и выливает и свой сосуд елея на алтарь отечества! Франки скоро оценят величие этого мужа полнее и искреннее, чем мы, непостоянные немцы, быстро забывающие воспарившего к солнцу орла при виде мотылька, порхающего между травинки.

И вот забрезжил великий день праздника. Правда, солнце боролось с дождевыми тучами и с девяти часов утра до четырех пополудни один ливень сменялся другим. Но сво-

бодные франки в своем блаженстве пренебрегали этим. Делегаты различных провинций, собравшиеся уже с шести часов утра, стояли в алфавитном порядке, со щитами, венками из цветов и в колпаках свободы. Провинциалы все дрожали от нетерпения скорей вступить в братский союз, который никакая земная власть не в силах расторгнуть.

Около десяти часов началось священное шествие. Из окон бульваров, усеянных людьми, девушки и женщины махали руками, били в ладоши и пели только что появившуюся народную песню

Ah, ça ira, ça ira,
Nos chers frères des Provinces ¹.

Под струями дождя шествие двигалось к алтарю отечества. Триумфальная арка открывала дорогу на Марсово поле. Собралось несметное множество народу, но не было ни экипажей, ни лошадей, ни людей с тростями и шпагами. Посредине Марсова поля возвышался, как божий холм, алтарь отечества. В крытой части амфитеатра был воздвигнут трон короля; позади стояла королева с сыном. Справа сидел председатель Национального собрания; перед ним, в открытом амфитеатре, справа и слева, почтенные народные представители, мужи священной свободы,— сцена, возвышеннее и трогательнее которой не могла бы вообразить самая пылкая фантазия. Перед королем возвышался алтарь отечества, и по всему пути к нему выстроились с обеих сторон парижская национальная гвардия. Бесчисленные группы музыкантов, исполнявших то воинственную, то нежную музыку, расположились на сооруженных для них помостах и аккомпанировали ликованию этого дня. В тысячах надписей и эмблем новые франки выказывали свое остроумие, высокий дух и пылкую любовь к отечеству. Близ алтаря стояли представители национальной гвардии вместе с добровольцами, а рядом с ними — поседевшие на службе родине воины. В отдалении возвышались скамьи амфитеатра, на которых помещалось более шестисот тысяч зрителей. Епископ Отэна служил мессу. Небо все еще было покрыто тучами, и лил дождь. Но отбушевали металлические жерла грома, и небо опять приветливо улыбалось этой величественной сцене. На ступенях алтаря стояли священники, все в белых облачениях, опоясанные национальными лента-

¹ Хорошо все пойдет, все пойдет, дорогие братья из провинций (фр.).

ми. Прочли слова клятвы, и мириады людей, «буре подобно ревущей, вздымающей грозные волны», закричали: «Клянись, клянись!»

.

...Ночью весь Париж был иллюминирован. Везде шли балы, гремело веселье, но при всем том возносились также хвалы и моления, обращенные к господину, который в дни одряхления мира освободил великий народ, возвел его на гору, озаренную солнцем, и на этом примере показал народам Земли, что человечество только тогда достигает высшего величия, когда оно свободно!

1791

ХРАМ СВОБОДЫ ФРАНКОВ

Чудесная ротонда, на золотом куполе которой так красиво играют солнечные лучи, близка к завершению. Теперь смелые строители работают над башней, которая, вместе со своим близнецом, башней Страсбургского собора, будет вечно свидетельствовать перед народами о священной свободе, добытой двадцатью миллионами человек. Самое трудное уже позади. Известно, что никакое государство не может устоять, если не привлечет на свою сторону духовенство. Но и это внушающее страх сословие, узурпировавшее власть над душами, торжественной клятвой перед лицом нации связало себя с новой конституцией. Подобным же образом поступила и армия, так что в настоящее время действительно можно сказать, что вся Франция, от головы до ног, представляет одно большое, прекрасное тело, которое своими приятными пропорциями, силой, крепостью и свободой движения скоро будет выделяться среди всех государственных организмов мира.

Это было возвышенное зрелище, когда священники, вместе с клятвой верности новому строю, одновременно как бы приносили новый обет христианского самоотречения. Теперь Франция больше не увидит почтенных животов священнослужителей, отвращенных в богатых приходах, и последователи плотничьего сына из Назарета не будут больше проноситься в раззолоченных колясках, влекомых шестеркой гордых рысаков. Ей больше не станут проповедовать умерщвление плоти патеры, чьи круглые медные лица отнюдь не свидетельствуют о воздержании. Нет, теперь

среди проповедников истины опять можно будет найти примеры и образцы христианского смирения.

Прекрасно было также, когда воин священной клятвой отдал свою шпагу служению не прихотям одного, а своему отечеству.

Иоганн Георг Адам Форстер

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

(Из книги «Парижские очерки»)

*Париж, пример
11-го года Республики*

Как я уже говорил вам, мой друг, Париж — источник общественного мнения, сердце Республики и революции. Пожалуй, еще правильнее было бы — и я нисколько не шучу! — сравнить его с желудком, хотя такое сравнение и могло бы дать вашим насмешникам повод для всяких острот. Что же, пускай себе воображают и втолковывают своей публике, что мы здесь, на манер испанских дворян, усердно ковыряем во рту зубочисткой, хотя брюхо у нас пусто! Где верят стольким жалким небылицам, там нетрудно поверить и этому. На деле все обстоит как раз наоборот: никогда еще средний парижанин не жил так хорошо, как сейчас, когда, правда, выпекают только один сорт хлеба, но зато на рынках, где все имеется в изобилии, уже не видно экономов и поваров богатых тунеядцев, которые в прежнее время выхватывали из-под носа у санкюлотов самые лучшие куски. Благодаря большим заработкам ремесленников стол у них теперь более разнообразный и вкусный, чем прежде, и в праздничные дни они могут за небольшие деньги наслаждаться теми лакомыми блюдами, которые Сарданапалы ваших имперских городов некогда выписывали из Франции спешной почтой и поглощали на своих пирах под председательством богини Dullness. Восхитительные вина Лангедока, Шампани и Бургони, которые прежде поглощались нашими заграничными соседями, теперь увлажняют только республиканские глотки. Лорду Гоу с его всемогущим флотом пока еще не удалось лишить пищи устриц, омаров и камбалу; мы все еще ловим их в изобилии в наших прибрежных водах, причем они вкуснее и жирнее, чем когда-либо. наших нормандских крестьянок

революция еще не лишила умения откармливать каплунов и пулярок; по-прежнему созревают в наших теплицах ананасы, и солнце в этом году светило достаточно ярко, чтобы бесчисленные плоды, произрастающие в наших садах, налились душистым, освежающим соком. Судя по всему, природа отнюдь не в обиде на нас за то, что лучшие ее дары теперь достаются не герцогам и пэрам Франции, не генеральным откупщикам, а неимущим санкюлотам, и если всем этим ненасытным чревоугодникам, пресыщенным наслаждениями, самые изысканные блюда уже не доставляли удовольствия, то мы открыли секрет, как наслаждаться дарами нашей плодородной почвы, не испытывая пресыщения, потому что разрешаем себе некоторую разумную и умеренную роскошь в еде только в дни патриотических и семейных празднеств. По будням каждый довольствуется жарким и как приправой к нему салатом, который кажется нам отменно вкусным, хотя его и не заправлял последний парижский архиепископ¹.

Париж — не правда ли, вы простите мои отступления, если иногда я все же буду возвращаться к главной теме? — Париж чувствует, мыслит, наслаждается и переваривает за всю страну. Поэтому, право, не так уж плохо был задуман неудавшийся в прошлом году план — прямым маршем направиться сюда и задушить революцию, стерев Париж с лица земли или, по меньшей мере, ввергнув его на два-три столетия, подобно Антверпену, в жалкое состояние, среднее между жизнью и смертью. Париж задает тон не только благодаря своим размерам и численности населения, но и потому, что во всей остальной стране еще мало развита торговля, мало подвижны мысли и даже люди. Во Франции из двадцати, а то и из тридцати жителей только один меняет местопребывание; между тем в Англии едва ли не четвертая часть всего населения, по меньшей мере, раз в год попадает в Лондон и благодаря этому приобретает те черты независимости, житейского опыта, ту ясность мысли, какие во Франции встречаются только у парижан. Если при монархическом строе французское дворянство и все состоятельные люди круглый год жили в Париже, тогда как в Англии все на лето разъезжаются по своим поместьям и отнюдь не склонны отождествлять

¹ Даже у господина де Жюинье был своего рода талант! Он бесподобно умел заправлять салат. Имя человека, который обладал таким даром, несомненно сохранится в памяти потомства. (Примеч. авт.)

свои интересы с интересами города. У нас Париж — единственное мерило совершенства, гордость нации, полярная звезда Республики. Только здесь — движение и жизнь, новшества, изобретения, свет и знание. Париж — узел сообщений между всеми остальными городами, между всеми департаментами Республики; все струится сюда и отсюда уже растекается обратно по провинциям. В продолжение последних ста лет законы изысканного вкуса и мод сочинялись и издавались в Париже. Франция повиновалась им, словно божественным велениям, и, хотя мы несколько на это не притязали, перед нами преклонялась вся Европа. И теперь еще, как доказывает самое существование ваших модных журналов, их владычество по ту сторону ваших границ признается всеми; но в пределах Республики Париж в настоящее время властвует гораздо более действенным способом — силою общественного мнения.

Кто внимательно следил за ходом революции, тот знает, что все главнейшие ее события подготовлялись в Париже и разыгались там. Народ Парижа был благодарным инструментом в руках тех, кто дерзнул испытать настроение нации и впервые во всеуслышание выразить чаяния народных масс. Ничто не доказывает так наглядно и неопровержимо зрелость французов для республиканского строя, как то обстоятельство, что при свержении монархии тон задавала столица, средоточие самой бесстыдной роскоши и самой разнузданной порчи нравов. Правда и то, что в этом огромном вместилище богатства, наслаждений и эгоизма враги революции, как и следовало ожидать, были более многочисленны и более сильны своей сплоченностью, нежели в любом другом месте Франции, — и в этом причина непрекращающегося, временами явного, временами скрытого, брожения, которое, то усиливаясь, то ослабевая, наблюдалось в Париже с самого начала заседаний первого Национального собрания. Все, что можно сделать путем интриг, коварства, злостной клеветы, подкупа и подстрекательства, плутовства и всевозможных преступных действий, было испробовано, чтобы приостановить поступательное движение духа свободы и революции; все пускали в ход, все применяли с непреклонным упорством, однако все оказалось тщетным благодаря мощи и бесстрашию тех, кто обнаружил свое превосходство, борясь за прямо противоположную цель.

Я отнюдь не намерен исследовать здесь ценность революционных идей и не пытаюсь определить, насколько они

соответствуют банальным условным представлениям о нравственности (занятие, к слову сказать, довольно сомнительное, когда дело касается общего хода великих исторических событий). Но, я думаю, вам придется согласиться со мной в том, что изумительная восприимчивость парижан к революционным идеям объясняется необычным распространением в Париже научных понятий и результатов развития науки. Любознательность у парижан гораздо тоньше и острее, чем в других частях страны, а постоянное общение с образованными людьми и любовь к театру, в котором так силен аттический дух, еще более способствуют их развитию. Все это трудно представить себе тем, кто не побывал здесь и собственными глазами не убедился в этом. Сейчас, после пяти лет революции, это различие поражает еще несравненно больше: по утрам вы можете видеть, как уличные торговки, сидя у своих жаровен, все до единой читают газеты; вечером — в народных обществах, в собраниях секций водоносы, чистильщики сапог и возчики рассуждают о государственных делах и неотложных в данный момент мероприятиях, притом с уверенностью, единственный источник которой — безусловная правильность и ясность основных принципов, получивших всеобщее распространение. Ассоциации, возможные при незначительном запасе идей, могут привести к ограниченным, односторонним суждениям; однако к неправильным суждениям приводят только неправильные или фантастические общие идеи. Но о тех, кто своим просвещением обязан Мольеру, Реньяру, Детушу, Мариво, Расину, Корнелю и Вольтеру, можно с вероятностью предположить, что если даже им не под силу путем умозаключений самим дойти до истины, то воспринять истину из уст других и затем руководствоваться ею они уж наверно способны. Только в одном вопросе у нас решительно ошибались: давно покончив с игом искусственно привитого и заботливо возвращенного невежества, мы уже не могли вообразить, как должна быть устроена голова, для которой монах-капуцин воплощает всю мудрость вселенной. И только урок, полученный прошлой зимой, сильно охладил наши слишком радужные представления о восприимчивости наших соседей.

Париж, несомненно, должен будет остаться резиденцией правительства, по крайней мере на первое время. Федеральное устройство американской республики давало Конгрессу возможность часто менять местопребывание; при

своеобразных условиях, которые пока еще существуют в этом столь обширном, но и столь малонаселенном государстве, такие перемещения еще были безвредны для федерации и, пожалуй, могли даже способствовать ее укреплению. Тот факт, что теперь решили создать для Конгресса особый город, на мой взгляд, отнюдь еще не обеспечивает неизменного пребывания в нем правительства. Вся страна должна противиться учреждению новой столицы, но там, где такая столица уже существует, она становится необходимым злом, и благо целого так неразрывно переплетается с благом этой обширной его части, что философски мыслящий патриот должен отказаться от своих идеалов, с тем чтобы устроить государство так, как этого требуют данные обстоятельства, изменять которые он не вправе.

Но зато сейчас, возразите вы мне, Париж играет в государстве такую роль, которая, если бы ее присвоило себе самое что ни на есть балованное дитя большой семьи, неминуемо навлекло бы на этого баловня злобу, зависть, проклятия всех остальных. Верно — зачастую голос парижан считался голосом всего народа, но заметьте разницу: весь народ рукоплескал этому голосу, и все попытки рассорить департаменты с Парижем неизменно кончались неудачей. К тому же полмиллиона людей, сосредоточенных, как здесь, на очень небольшом пространстве, — неплохой политический барометр. Ведь во время революций важнее всего не то, превысила ли та или иная часть народа свои права, а то, с какой целью она их превысила, — чтобы захватить власть в государстве или же чтобы в момент грозной опасности спасти его? Кто не знает, что 31 мая и 2 июня были делом рук городской коммуны Парижа? Тогда казалось, что авторитет и власть Национального Конвента меркнут перед нею. И действительно, они ненадолго померкли, как во время тяжкой болезни личное значение выдающегося пациента меркнет перед значением врача. Но как только больной выздоравливает, его авторитет подымается выше, чем когда-либо. Более того — самой городской коммуне Парижа, взявшей тогда на себя огромную ответственность, за последнее время уже не раз приходилось низко склоняться под более мощной дланью Конвента. Едва только городская коммуна Парижа, по настоянию ее прокурора Шометта, постановила, что революционные комитеты всех сорока восьми секций должны слиться с городским советом и принимать решения совместно с ним, как Конвент особым декретом предал это объединенное собрание анафе-

ме, всегда готовой обрушиться на подчиненные органы власти, когда они пытаются объединиться, чтобы поднять свой авторитет. И сейчас городская коммуна Парижа отнюдь не мчится, подобно некоей страшной сколопендре, на сорока восьми ножках; напротив — в силу присвоенных Революционным комитетом полномочий она рассеяна на сорок восемь маленьких насекомых, из которых каждое живет своей самостоятельной жизнью. Шометт, которому помимо этого урока совсем недавно основательно досталось из-за учиненной с большим шумом отмены католического культа, избрал самое мудрое из всех возможных решений: покорился своей участи и облобызал покаравшую его лозу. Популярность Шометта в столице была беспредельна; она велика еще и сейчас, несмотря на сильный удар, который ей нанесли. Его заместитель Эбер, широко известный редактор газеты, выходящей через день под названием «Отец Дюшен», еще тоже крепко держится, хотя совсем недавно некоторые люди очень к нему подбирались. О парижском мэре Паше все говорят с почтением, как о человеке, добродетель которого уже подверглась испытанию и всеми признана. Меня уверяют, что, раз увидев его, нельзя не стать его другом. Такой деятель словно создан для того, чтобы наложить на революцию печать законченности и совершенства или же...

Многие люди, всегда хладнокровно рассчитывающие, что может дать избыток страстей, волнующих ту или иную голову или совокупность тех или иных голов, уже сейчас рисуют себе новые раздоры, новые революции, новых корифеев и совершенно точно, словно заранее условившись об этом с иностранными державами, определяют, с кем покончат раньше всех и кто погибнет последним. Слушая их и мысленно представляя этот водоворот борьбы и крушений, невольно спрашиваешь себя, не клонится ли все это к тому, чтобы без остатка уничтожить посредством гильотины все двадцать пять миллионов наших патриотов. Два-три дня назад мне по секрету сказали, что в течение ближайших десяти месяцев, несомненно, наступит какое-нибудь новое *dénoûement*¹. Срок немалый, подумал я, для людей, жизнь которых, по их словам, ежеминутно в опасности. Я тоже иной раз предвижу, что без ожесточенных боев дело не обойдется. Но тем, кто на этих внутренних тренингах строит надежду снова — о небо! — вернуть Францию под ярмо, а

¹ Развязка (фр.).

самим уцелеть, я заявляю: ну нет, почтенные господа, как бы вы ни плутовали, Париж был и есть наша карта, и вы проиграли партию!

Максимилиан Волошин

ДВЕ СТУПЕНИ

Марине Цветаевой

I

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ

«14 июля 1789.— Ничего».

Дневник Людовика XVI

Бурлит Сент-Антуан. Шумит Пале-Рояль.
В ушах звенит призыв Камиля Демулена.
Народный гнев растет, взметаясь ввысь, как пена.
Стреляют. Бьют в набат. В дыму сверкает сталь.

Бастилия взята. Предместья торжествуют.
На пиках головы Бертье и Делоней.
И победители, очистив от камней
Площадку, ставят столб и надпись: «Здесь танцуют».

Король охотился с утра в лесах Марли.
Борзые подняли оленя. Но пришли
Известья, что мятеж в Париже. Помешали...

Сорвали даром лов. К чему? Из-за чего?
Не в духе лег. Не спал. И записал в журнале:
«Четырнадцатого июля: — ни-че-го».

II

ВЗЯТИЕ ТЮИЛЬРИ

«10 августа 1792. Достаточно двух батарей,
чтобы смести эту сволочь».

Слова Бонапарта. Мемуары Бурьенна

Париж в огне. Король низвержен с трона.
Швейцарцы перерезаны. Народ

Изверился в вождях, казнит и жжет,
И Лафайет объявлен вне закона.

Марат в бреду и страшен, как горгона.
Невидим Робеспьер. Жиронда ждет.
В садах у Тюильри — водоворот
Взметенных толп и львиный зев Дантона.

А офицер, не ведомый никем,
Глядит с презреньем — холоден и нем —
На буйных толп бессмысленную толочь

И, слушая их иступленный вой,
Досадует, что нету под рукой
Двух батарей — «рассеять эту сволочь».

ТЕРМИДОР

I

Катрин Тэо во власти прорицаний,
У двери гость — закутан до бровей.
Звучат слова: «Верховный жрец закланий,
Весь в голубом... Придет как Моисей,

Чтоб возвестить толпе, смилив стихию,
Что есть господь!.. — Он — избранный судьбой,
И в бездну пав, замкнет ее собой...
Приветствуйте кровавого Мессию!

Се агнец бурь. Спасая и губя,
Он кровь народа примет на себя.
Един господь царей и царства весит.

Мир жаждет жертв, великим гневом пьян,
Тяжел король... И что уравновесит
Его главу? — Твоя, Максимилиан!»

II

Разгар террора. Зной палит и жжет.
Деревья сохнут. Бесятся от жажды

Животные. Конвент в смятенье. Каждый
Невольно мыслит: — Завтра мой черед.

Казнят по сотне в сутки. Город замер
И задыхается. Предместья ждут
Повальных язв. На кладбищах гниют
Тела казненных. В тюрьмах нету камер.

Пока судьбы кренится колесо,
В Монморанси, где веет тень Руссо,
С цветком в руке уединенно бродит,

Готовя речь о пользе строгих мер,
Верховный жрец, Мессия — Робеспьер,—
Шлифует стиль и тусклый лоск наводит.

III

Париж в бреду. Конвент кипит, как ад.
Тюрьо звонит. Сен-Жюста прерывают.
Кровь вопиет. Казненные зывают.
Мстят мертвецы. Могилы говорят.

Вокруг Леба, Сен-Жюста и Кутона
Вскипает гнев, грозя их затопить.
Встал Робеспьер. Он хочет говорить.
Ему кричат: — Вас душит кровь Дантона!

Еще судьбы неясен вещей лет:
За них Париж, коммуны и народ...
Верховный жрец созрел для гильотины.

IV

Уж фурии танцуют карманьолу
Пред гильотиною, подъявля вой.
В последний раз, подобная престолу,
Она парит над буйною толпой.

Везут останки власти и позора:
Убит Леба, больной Кутон — без ног,
Один Сен-Жюст презрителен и строг.
Последняя телега Термидора.

И среди них на кладбище химер
Последний путь свершает Робеспьер,
К последней Мессе благовестят в храме,

И гильотине молится народ...
Благоговейно, как ковчег с дарами,
Он голову несет на эшафот.

И. А. Бунин

БОГИНЯ РАЗУМА

I

Я записал этот день:

«Париж, 6 февраля 1924 г. Был на могиле Богини Разума».

II

Богиня Разума родилась в Париже, полтора века тому назад, звали ее Тереза Анжелика Обри. Родители ее были люди совсем простые, жили очень скромно, даже бедно. Но судьба одарила ее необыкновенной красотой в соединении с редкой грацией, в отрочестве у нее обнаружился точный музыкальный слух и верный, чистый голосок, а в двух шагах от улочки Сен-Мартен, где она родилась и росла, находилось нечто сказочно-чудесное, здание Оперы. Естественно, что «античную головку» живой и талантливой девочки рано стали туманить обольстительные мечты, надежды на славную будущность. И случилось так, что мечты и надежды не только не обманули, но даже в некоторых отношениях превзошли ожидания. Тереза Анжелика Обри не только стала артисткой Оперы, не только пела и танцевала на ее сцене рядом с знаменитостями и вызывала восторженные рукоплескания, являясь перед толпой олимпийскими богинями — то Дианой, то Венерой, то Афиной-Палладой, — но и попала в историю: 10 ноября 1793 года она играла на сцене, которую никогда не могла и вообразить себе, — в соборе Парижской Богоматери, выступала в роли неслыханной и невиданной, в роли Богини Разума, а затем — «après avoir détroné la ci-devant Sainte Vierge»¹ — торжественно была отнесена в Тюильрийский дворец, в

¹ «После того, как была свергнута бывшая святая дева» (фр.).

Конвент: как живое воплощение Нового Божества, обретенного человечеством.

Погребена Богиня Разума на Монмартрском кладбище. Как не взглянуть на такую могилу?

III

Я давно собирался это сделать. Наконец поехал. В солнечный день, уже почти весенний, но довольно пронзительный, с бледно-голубым, кое-где подмазанным небом, я вышел на улицу и спустился в ближайшее метро. Сквозняки, бегущая толпа, длинные коридоры, цветистые рекламы, лестницы все вглубь и вглубь и, наконец, совсем преисподняя, ее влажное банное тепло, вечная ночь и огни, блеск свода, серого, рубчатого, глянцевого, как брюхо адского змия... Через минуту я уже стоял в людном вагоне, мчался под Парижем и думал о Париже времен Богини Разума и опять — о ее удивительной судьбе, ее удивительном образе.

Современники писали о ней: «Одаренная всеми внешними дарами, какие только может дать природа женщине, она есть живая модель того античного совершенства, которое являют нам памятники искусства; при взгляде на ее стан и очерк ее головы тотчас является мысль о грозной эгиде и шлеме Афины-Паллады, и она особенно на месте в тех ролях, где черты лица, жесты, осанка, поступь должны воссоздавать богинь...» Это писалось, когда ей было уже лет тридцать пять. Можно себе представить, как прекрасна была она в двадцать, в те годы, когда она выходила на сцену в короткой тунике, в легких сандалиях на стройной ноге, с золотым полумесяцем на высокой прическе, с луком в длинных округлых руках, — Дианой Девственницей! Примадонной, дивой Обри никогда не стала; материальное ее положение было незавидно — всего несколько сот ливров в год жалованья да угол в родительском доме; положив за кулисами лук, сняв белила и румяна, сбросив тунику и закрутив волосы простым узлом, она надевала гороховую платице и бежала домой, дома же хлебала гороховую похлебку и укладывалась спать в чердачной каморке. Но справедливо говорили, что мадемуазель Обри *très sage*¹, — простодушие, милая легкость, нетребовательность всегда отличали ее характер. И вот «народ, разбивший оковы раб-

¹ Весьма скромна (фр.).

ства, достойно прославил ее 10 ноября 1793 года», обессмертил «ce chef-d'oeuvre de la Nature»¹, как галантно назвал ее Шомет, представляя Конвенту. И много лет после того распевали уличные певцы стихи Беранже о ней:

Est-ce bien vous? Vous que je vis si belle
Quand tout un peuple entourant votre char
Vous saluait du nom de l'immortelle
Dont votre main brandissait l'étendard?
De nos respects, de nos cris d'allégresse,
De votre gloire et de votre beauté
Vous marchiez fière: oui, vous étiez déesse,
Déesse de la Liberté².

IV

Возле Оперы я вышел на свет божий. Добродетельные греки были правы: небо, солнце, воздух — высшая радость смертных, трижды несчастны тени, населяющие широко-вратное царство Гадеса. Бедная Тереза Анжелика Обри, бедная Богиня Разума! Как бы это лучше уяснить себе разумом, почему и за что уже сто лет гниет в земле «ce chef-d'oeuvre de la Nature»?

Солнце, все-таки еще зимнее, уже склонялось, был самый людный час, и несметное множество народа и экипажей затопляло площадь в его зеленоватом жидком блеске. Пешеходы бежали, автомобили и omnibus медленно текли страшной ревущей лавиной. Я поймал свободный автомобиль, вскочил и поехал дальше. Из одного длинного и узкого уличного пролета глянул на меня с высоты Мон-мартра бледный восточный призрак собора Sacré-Coeur...

V

В автомобиле я добросовестно постарался вспомнить возможно подробнее и представить себе возможно яснее все, что знал о 10 ноября 1793 года.

Какой был тогда Париж? Бог его знает какой, слабо наше воображение, невелик разум. Ну, конечно, был Париж

¹ «Это чудо природы» (фр.).

² Неужели это ты? Ты, которую я видел столь прекрасной, когда толпа, окружив твою колесницу, приветствовала тебя, именуя той бессмертной, чье знамя развевалось в твоих руках? Ты шествовала, гордая нашим преклонением, нашими ликующими возгласами, своим торжеством и своей красотой, — да, тогда ты была богиней, Богиня Свободы (фр.)

уже и тогда огромным городом, со множеством садов и поместий, с прекрасными зданиями, но и с лачугами, с лужами и грязью даже на площадях, с грубыми средневековыми мостами через патриархальную Сену... Левый берег вообразить легче — столько еще сохранилось там прежних узких улиц и узких нелепых домов. Зато собор все тот же. Как странно, — все тот же, как тогда, когда стояла под его сводами, на бутафорских скалах, возле Храма Премудрости, прелестная Тереза Анжелика Обри!

И на мгновение я довольно живо почувствовал душу Парижа в те годы, тот развал жизни, то нечто бездельное, праздничное и жуткое, то владычество черни, которым веет в воздухе во времена всех революций. И был сырой осенний день с сильным холодным ветром, сменившим ночной проливной дождь, и всюду — на мостах, в улочках, ведущих к собору, и особенно на площади перед ним и в нем самом, — было великое, как бы ярмарочное многолюдство, и поминутно раздавался над городом грохот пушек, салютующих коронование Нового Божества. А Новое Божество стояло под сводами собора, «dans cet édifice ci-devant dit église métropolitaine»¹ на скалистой горе, возле белоколонного храма, в красной шапочке, в белой хламиде, опоясанной пурпуровой лентой, с копьём в руке, и два хора — «des adoreurs de la Liberté»² — тоже во всем белом, в венках из роз, возжигали перед ней ароматы, воздавали ей поклонения и протягивали к ней обнаженные руки:

Descends, ô Liberté, fille de la Nature³, —

а густая толпа «патриотов», переполнявшая собор, ревела и рукоплескала...

VI

Монмартрское кладбище было когда-то за городом и, вероятно, было уютно, мирно, похоже на рошу, на большой сад. Теперь все растущий город окружил его отовсюду, включил в себя. А так как оно лежит в низменности, то через эту низменность перекинут теперь длинный и тяжкий железный мост, по которому беспрерывно идут и едут, ка-

¹ «В этом здании, прежде называвшемся архиепископским собором» (фр.).

² «Поклонников Свободы» (фр.).

³ «Сойди к нам, о Свобода, дочь Природы!» (фр.)

тятся с глухим гулом валкие омнибусы, несутся и на разные лады вопят автомобили, гремят и звенят трамваи. И вот первое, что ударило по моему чувству и зрению, когда я достиг места вечного пристанища Богини Разума: этот черный грубый мост, под которым проезжают к железным воротам кладбища и который день и ночь грохочет над покойниками. А затем произошло нечто совсем неожиданное.

Я хорошо знал, что славная Тереза Анжелика Обри была забыта еще при жизни весьма основательно, а впоследствии уже настолько, что целых сто лет даже историки, специально занимавшиеся изучением «великой» революции, и в частности культа разума, почти все были убеждены, что знаменитую революционную Богиню изображала г-жа Mail-lard, балетный кумир тех дней, пока не догадались заглянуть в уцелевшие газеты от 11 ноября 1793 года. Но я как-то не подумал об этом хорошенько, да отчасти и был прав: ведь все-таки теперь имя Терезы Анжелики Обри должно быть в каждом новом учебнике. Мне все-таки представлялось, несмотря на все мои горестные мысли о ней, что, по крайней мере, хоть на кладбище-то ее могила есть нечто и всем введома. Поэтому отчасти была простительна наивность, с которой я обратился к первому встречному: где могила Богини Разума? Однако встречный посмотрел на меня как на помешанного:

— Богиня Разума? Что это такое?

Я пояснил. Но встречный развел руками и резонно посоветовал мне обратиться лучше в кладбищенскую контору.

Тогда я еще увереннее направился в контору. Каково же было мое удивление, когда и в конторе мне ответили на мой вопрос вопросом же:

— Это ваша родственница, г-жа Обри?

— Но совсем нет,— сказал я, опешив.

— Она давно погребена?

— В январе 1829 года.

И тогда на меня выпучили глаза:

— Помилуйте, да вы смеетесь! Можем ли мы знать всех погребенных здесь сто лет тому назад!

— Но неужели никто не посещает эту могилу, и я первый справляюсь о ней у вас?

— Кажется, первый! Обратитесь к какому-нибудь сторожу, может, он случайно знает по надписи на памятнике, если таковой есть и надпись сохранилась...

VII

А затем я спросил о знаменитой могиле у полной, с черными усиками женщины, стоявшей на пороге конторы, предполагая в ней привратницу. В самом деле, это была привратница, и к тому же очень живая и толковая,— эти полные с усиками всегда такие. Но и она о могиле не имела никакого понятия. А затем я тщетно расспрашивал сторожей, встречавшихся мне в голых аллеях, по которым я ходил не менее получаса, оглядывая надписи на памятниках. Затем опять обращался к встречным дамам и господам в трауре... И один господин ни с того ни с сего (вернее, с расчетом хоть чем-нибудь удовлетворить сумасшедшего искателя знаменитых могил) предложил мне взглянуть на могилу Золя. Эта могила была в двух шагах от меня, на пригорке. К вечеру совсем засвежело, небо над кладбищем стало еще бледнее, низкое солнце холодно и резко освещало ледяную и блестящую наготу безобразно-громадной глыбы красного гранита, на которой не было ни единого религиозного знака, ни одного слова Писания,— очевидно, тоже в честь Разума. Над глыбой стоял на цоколе терракотовый бюст — моложавый мужчина лет тридцати, щеголевато-демократической и артистически-рабочей наружности, с длинными волосами и в блузе. Я взглянул и, закурив, рассеянно сделал несколько шагов по аллее, потом зачем-то в сторону, среди деревьев, крестов и памятников, где местами лежал серый снежок. «Ну и бог с ней, с этой Богиней Разума,— подумал я,— пора домой»,— и вдруг увидел себя как раз перед ее могилой...

И, присев на соседний надгробный камень, я устался на могилу в полном изумлении.

VIII

Да, так вот оно что: даже на кладбище ни единая душа не знает и знать не желает о какой-то Богине Разума, некогда коронованной вот в этом самом Париже, под древними сводами собора Парижской Богоматери. Но мало того: что же это такое перед моими глазами?

Перед моими глазами было старое и довольно невзрачное дерево. А под деревом — квадрат ржавой решетки. А в квадрате — камень на совсем плоской и даже слегка осевшей земле, а на камне — две самых простых каменных колонки в аршин высоты, покосившихся, изъеденных вре-

менем, дождем и лишаями. Когда-то их «украшали» урны. Теперь колонки лишены даже этих украшений: одна урна совсем куда-то исчезла, другая валяется на земле. И на одной колонке надпись: «Памяти Фанни», на другой — «Памяти Терезы Анжелики Обри».

«Est-ce bien vous?»¹

Неужели это правда, что это именно она, она самая, мадемуазель Тереза Анжелика Обри, лежит в земле в двух шагах от меня?

Там еще есть гнилые, смешавшиеся с землей остатки гроба, правильно лежащие кости, зубастый череп... Это она? Конечно, она. А с другой стороны — конечно, не она... Мудрый разум, помоги, — я всегда в подобных случаях совершенно теряюсь и путаюсь!

Но разум не помогал.

IX

Бесспорно, судьба Обри была удивительна. Но удивительна больше всего в силу необыкновенных несчастий. В общем она была истинно ужасна. И Обри, при всей независимости своей натуры, не могла не понимать это даже в те дни, которые, казалось бы, должны были быть ее лучшими днями.

Революция совпала с апогеем ее красоты и молодости. И, казалось бы, что ж ей, молоденькой фигурантке, да еще дочери ремесленника, революция? Только радость! А потом — «vous êtes déesse, déesse de la Liberté»². И жалованья прибавили, да еще сразу вдвое... Но нет, слишком хороша она была по натуре для всех этих радостей.

На ее глазах началась и целые годы длилась страшная гибель всей той жизни, среди которой она родилась, росла, мечтала о сцене и которая, конечно, только восхищала ее своим блеском. Разрушает «старую жизнь» во время революций не презрение народа к ней, а как раз наоборот — острая зависть к ней, жажда ее. А у Обри даже и зависти не было. Ей нужны были, судя по ее характеру, только рукоплескания (причем рукоплескания маркиза она, вероятно, все-таки предпочитала рукоплесканиям трубочиста). И не могла она не чувствовать, не видеть, что такое

¹ «Неужели это ты?» (фр.)

² «Ты богиня, богиня Свободы!» (фр.)

есть то царство Братства и Равенства, в которое она попала, то «Жертвоприношение Свободе», — которое приказано было ежедневно разыгрывать в Опере и которое тоже ежедневно разыгрывалось на улицах, в подвалах тюрем и на площадях с гильотинами. А бог, церковь? Может быть, она была равнодушна к религии. Но все-таки не могло не потрясать ее и все то, что делалось в те дни и с религией, вся эта вдруг начавшаяся по всей стране бешеная, зверская охота за священниками, грабеж и осквернение церковей и, как венец всего, упразднение бога по комиссарским декретам и переименование в «Храм Разума» собора Парижской Богоматери, сперва даже было предназначено к полному разрушению. Могла ли быть горда и счастлива в такие дни вот эта самая милая, кроткая Тереза Анжелика, чьи кости лежат в земле передо мною?

Х

Но она не только испытала весь этот общий кошмар, в котором несколько лет жила при ней вся страна. Над нею — уже лично над нею — внезапно разразилось нечто еще более ужасное: «tout un peuple la saluait du nom de l'immortelle»¹, то есть, говоря проще, заставил ее играть самую дикую и постыдную роль в кощунстве еще более неслыханном, чем все прочие. Прости ей, боже, разве виновата была она! Ведь ее именно заставили, заставила самая свирепая из тираний, тирания Свободы. Да она и сама не могла чувствовать себя виноватой. И все же несладко ей, вероятно, было. «Vous marchiez fière: oui, vous étiez déesse de la Liberté...»². О пошлейшая из пошлостей! Конечно, в глубине души несчастной Терезы Анжелики была некоторая доля женской и профессиональной гордости. Конечно, порой голова ее кружилась: ведь все-таки она нынче, 10 ноября 1793 года, царица всего Парижа, первое лицо во всем этом небывалом и грандиозном, хотя и чудовищном торжестве, и играет роль, которую не играла никогда ни одна актриса в мире, и все это благодаря своей красоте, тому, что она и впрямь есть истинный «chef d'oeuvre de la Nature». Но вместе с тем какой неопишуемый ужас должен был туманом стоять весь день над полуголой, до костей

¹ «Народ приветствовал ее, именуя бессмертной» (фр.).

² «Ты шествовала, гордая, да, ты была богиней Свободы» (фр.).

продрогшей и вообще до потери чувств замученной заместительницей божьей матери!

Повторяю,— и до 10 ноября испытала она уже немало, неизменно участвуя во всей той напыщенной пошлости, которая каждый день шла, по приказу насквозь изолгавшихся изуверов, на сцене Оперы. Она, говорю, уже хорошо знала, что это значит в действительной жизни, все эти «L'Offrande à la Liberté»¹ и «Toute la Grèce ou Ce que peut la Révolution»². Революционные вожди, как и полагается им по революционным обычаям, развивали сумасшедшую деятельность, каждый божий день поражали город какой-нибудь новой выходкой, так что в конце концов и восприимчивости не хватало на эти выходки, и самое неожиданное уже теряло характер неожиданности. И все-таки торжество 10 ноября свалилось на Париж (а на Обри еще более) истинно как жуткий снег на голову. «Pour activer le mouvement antipapiste»³, Шомет в четверг седьмого ноября вдруг распорядился на воскресенье десятого о «все-народном» празднестве в честь Разума, о беспремерном кощунстве в стенах Парижского собора, а г-же Обри было объявлено, что ей выпала на долю величайшая честь возглавить это кощунство. И приготовления к празднеству закипели с остервенением, и к воскресенью все потребное, чтобы бог и попы были посрамлены окончательно, было вполне готово. Всю ночь накануне лил как из ведра ледяной дождь. Утром он перестал, но грязь была непролазная и дул свирепый ветер. Тем не менее с раннего утра загрохотали пушки, загрели барабаны. Париж стал высыпать на улицу...

XI

И было великое безобразие, а для Обри и великое мучение, даже телесное. С раннего утра она, вместе с прочими «Обожателями Свободы», то есть с кордебалетом и хором, была уже в холодном соборе, репетировала. Потом стали собираться «патриоты», прискакал озабоченный Шомет — и началось торжество. Потом — и все под стук пушек, пение, барабаны и шум толпы — четыре босяка, ухмыляясь, подняли на свои дюжие плечи Обри вместе с

¹ «Приношение Свободе» (фр.).

² «Вся Греция, или Что может Революция» (фр.).

³ «Чтобы усилить антипапистское движение» (фр.).

ее троном и понесли, в сопровождении хора и кордебалета, пробиваясь сквозь толпу, сперва на площадь, «к народу», а затем в Конвент. И опять — давка, говор, крики, смех, остроты, а ноги чавкают по грязи, попадают в лужи, ветер рвет голубую мантию и красную шапочку посиневшей Богини, кордебалет тоже стучит зубами в своих вздувающихся от ветра белых рубашечках, забрызганных грязью, а сзади высоко качаются над толпой шесты, на которых надеты, для вящей потехи, золотое облачение и митра парижского архиепископа. А в Конвенте — торжественный прием Богини всем «высоким собранием» во главе с президентом, который ее приветствует «как новое божество человечества», «заключает от имени всего французского народа в объятия», возводит на трибуну и сажает рядом с собою... Тут бы, казалось, и конец. Но нет! Из Конвента Обри понесли, совершенно так же, как и принесли, назад, в собор! Вообразите себе хорошенько это новое путешествие и перечитайте затем стихотворное красноречие Беранже...

XII

Прошла революция, снова наступила империя, и снова Обри заставляла разом подниматься все бинокли и лорнетты при своем появлении на сцене. Звезда ее стояла высоко, время, молодость, успехи сделали прошлое далеким сном. Но вот однажды, в один из самых блестящих вечеров, в присутствии самой императрицы и ее двора, во время апофеоза, которым оканчивалось «Возвращение Улисса», в тот момент, когда Минерву-Обри медленно спускали с облаков на землю, «Слава» — я употребляю театральный термин того времени — «Слава», на которой восседала она, внезапно сорвалась и обрушилась... Когда-то Обри уступила однажды потребности любить, быть матерью — и стала ею. Теперь, после того, как ее, окровавленную и изувеченную, принесли в уборную и привели в чувство, первое, что слетело с ее губ, был крик: «Ради бога, не пускайте ко мне Фанни, это испугает ее!» А затем она тотчас стала умолять сказать ей правду: будет ли она в состоянии снова играть, если останется жива?

Нет, играть ей больше не пришлось. Всеми вскоре забытая, калека, обеспеченная только скудной пенсией, она повела грустную и однообразную жизнь в бедной и маленькой квартирке, с болезненной, медленно умирающей Фанни на

руках, и жизнь эта, к несчастью, длилась еще много лет.
Уличные певцы пели под ее окнами:

Je vous revois, et le temps rapide
Ternit ces yeux où riaient les amours...
Résignez-vous: char, autel, fleurs, jeunesse,
Gloire, vertu, grandeur, espoir, fierté,
Tout a péri: vous n'êtes pas déesse,
Déesse de la Liberté...¹

Но знала ли она, что все это относится к ней? Нет, она даже этого не знала. Она знала только одно, знала и без Беранже: да, да, все прошло, все погибло, осталось действительно одно — покоряться судьбе да употреблять остаток сил на заботы о Фанни, на то, чтобы хоть как-нибудь обеспечить ее после своей смерти. Она всячески хлопотала об устройстве судьбы Фанни, писала завещание, прося добрых людей о ней да еще о своих похоронах, — о том, чтобы все было «прилично» и «чтобы поставили памятник на ее могиле». И бог дал ей под конец хотя и одно, но великое утешение: все-таки Фанни пережила ее — Фанни успокоилась вот в этой самой могиле, что передо мною, через полтора месяца после ее смерти...

А может быть, ей было бы отраднее знать, умирая, что через полтора месяца она снова будет рядом — и уже навеки — со своею Фанни? Может быть, может быть... Что мы знаем? Что мы знаем, что мы понимаем, что мы можем!

XIII

Одно хорошо: от жизни человечества, от веков, поколений остается на земле только высокое, доброе и прекрасное, только это. Все злое, подлое и низкое, глупое в конце концов не оставляет следа: его нет, не видно. А что осталось, что есть? Лучшие страницы лучших книг, предания о чести, о совести, о самопожертвовании, о благородных подвигах, чудесные песни и статуи, великие и святые могилы, греческие храмы, готические соборы, их райски-дивные цветные стекла, органные громы и жалобы, и «Смертию смерть поправ»... Остался, есть и вовеки пребудет Тот, Кто,

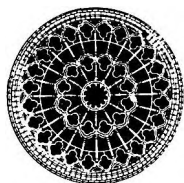
¹ Я вновь увидел тебя, но быстротечное время погасило глаза, в которых некогда сияла любовь... Смирись: колесница и жертвенник, цветы и юность, слава, доблесть, величие, надежда, гордость — все погубило: ты уже не богиня, Богиня Свободы! (фр.)

со креста любви и страдания, простирает своим убийцам объятия, осталась Она, единая, богиня богинь, ее же благословенному царствию не будет конца.

О. Э. Мандельштам

* * *

Язык булыжника мне голубя понятней,
Здесь камни — голуби, дома как голубятни,
И светлым ручейком течет рассказ подков
По звучным мостовым прабабки городов.
Здесь толпы детские — событий попрошайки,
Парижских воробьев испуганные стайки —
Клевали наскоро крупу свинцовых крох —
Фригийской бабушкой рассыпанный горох,
И в памяти живет плетеная корзинка,
И в воздухе плывет забытая коринка,
И тесные дома — зубов молочных ряд
На деснах старческих — как близнецы стоят.
Здесь клички месяцам давали, как котят,
А молоко и кровь давали нежным львьятам;
А подрастут они — то разве года два
Держалась на плечах большая голова!
Большеголовые там руки поднимали
И клятвой на песке как яблоком играли.
Мне трудно говорить: не видел ничего,
Но все-таки скажу, — я помню одного,
Он лапу поднимал, как огненную розу,
И, как ребенок, всем показывал занозу.
Его не слушали: смеялись кучера,
И грызла яблоки, с шарманкой, детвора;
Афиши клеили, и ставили капканы,
И пели песенки, и жарили каштаны,
И светлой улицей, как просекой прямой,
Летели лошади из зелени густой.



...По мере приближения к заставе Шайо его все более и более восхищает развертывающаяся перед ним картина с видом на великолепную площадь Людовика XV, на сад и дворец Тюильри.

Луи Себастьян Мерсье.
«Картины Парижа»



ПАРИЖ

в XIX веке



Виктор Гюго

* * *

*Париж, история твои прославит беды,
Убор твой лучший — кровь, и смерть — твоя победа.
Но нет, ты держишься. И всякий, кто смотрел,
Как цезарь, веселясь, в твоих объятьях млея,
Дивится: ты в огне находишь искупленье.
К тебе со всех концов несутся восхваленья.
Ты много потерял, но ты вознагражден
И посрамил врага, которым осажден,
Блаженство низкое есть то же умиранье.
В безумстве павшего, тебя спасло страданье.
Империей ты был отравлен, но сейчас,
Благополучия позорного лишась,
Развратников изгнал, ты вновь себя достоин.
О город-мученик, ты снова город-воин.
И в блеске истины, геройства, красоты
И возрождаешься и умираешь ты.*

Перевод Н. Рыковой

И. И. Дмитриев

ПУТЕШЕСТВИЕ NN В ПАРИЖ И ЛОНДОН, ПИСАННОЕ ЗА ТРИ ДНЯ ДО ПУТЕШЕСТВИЯ

(Фрагмент)

Друзья! сестрицы! я в Париже!
Я начал жить, а не дышать!
Садитесь вы друг к другу ближе
Мой маленький журнал читать:
Я был в Лицее, в Пантеоне,
У Бонапарта на поклоне;
Стоял близехонько к нему,
Не веря счастьем моему.
Вчера меня князь Долгоруков
Представил милой Рекамье;
Я видел корпус мамелюков,
Сиеса, Вестриса, Мерсье,
Мадам Жанлис, Виже, Пикара,
Фонтана, Герля, Легуве,
Актрису Жорж и Фиеве;
Все тропки знаю бульвара,
Все магазины новых мод;
В театре всякий день, оттоле
В Тиволи и Фраскати, в поле.
Как весело! Какой народ!
Как счастлив я! — итак, простите!
Простите, милые! и ждите
Из области наук, искусств
Вы с первой почтой продолженья,
Истории без украшенья,
Идей моих и чувств.

Адам Готтлоб Эленшлегер

ТОМЛЕНИЕ В ПАРИЖЕ

Как все же временами жизни прелесть
Бывает сладко увидеть!
Душа пылает, очи загорелись,
И разлита в природе благодать.

Тебя пленяет смолоду дорога,
Когда от одиночества угрюм,
Но до того искусства видишь много,
Что натуральность не идет на ум.

Кем был мужчина Еве в кущах райских?
Идешь в толпе, не ведом никому,
Так ты с умом хотя бы развлекайся,
Покуда не пришел конец уму.

Известно — юность без любви бессильна,
Ведь без цветов веночка не сплетишь.
Она — ничто, она — пузырь лишь мыльный,
Лишь бал без танцев на нее похож.

«Да отчего же, молодой повеса,
В самом Париже ты скулишь опять?
Там не видать из-за деревьев леса,
Здесь из-за роз и лилий не видать!»

Ах, милые, я вижу постоянно
Улыбку на устах у них,
Но розам краску придают румяна,
А стебель лилии поник.

Чуть подрастут невинные творенья,
Их опаляет солнца жаркий свет,
У них бесцеремонны устремленья,
А скромности тенистой нет.

Среди язычников мы одиноки,
Для них бесстыдство — вроде божества.
Мне север мил, где холод красит щеки
И где стыдливость все еще жива.

Бог Аполлон, прощай,— земле на диво,
Утратив лук, ты страждешь от невзгод.
Прощай, Венера,— хоть ты и красива,
Меня в зеленой чаще Фрейя ждет.

Н. А. Бестужев

РУССКИЙ В ПАРИЖЕ 1814 ГОДА

(Глава из повести)

Громадный Париж со своими предместьями уже был охвачен союзными войсками от впадения Марны в Сену и опять до Сены при Пасси¹. Перемирие было заключено; громы сражения умолкли на левом фланге: высоты Бельвиля, Менильмонтана и Монлуи, занятые союзниками и уставленные пушками, грозили разрушением столице Франции; войска, их защищавшие, начали уже отступление, — но еще битва кипела по другую сторону канала д'Урк и на Монмартре, куда не достигло еще известие о перемирии.

На обрывистой горе Шомон, занятой исключительно русскими, подле самого обрыва, обращенного к городу, стояли четыре человека; сзади их множество офицеров русской гвардии и австрийских адъютантов. Один из четырех был высокого роста, плечист и чрезвычайно строен, несмотря на небольшую сутуловатость, которую скорее можно было приписать привычке держать вперед голову, нежели природному недостатку. Прекрасное белокурое лицо его было осенено шляпою с белым пером; на конногвардейском вицмундире была одна только звезда. Рядом с ним стоял человек довольно высокий, сухоощавый, с усами, в синем мундире с двумя петлицами на красном воротнике; в его чертах можно было прочесть целую повесть долгих несчастий; но теперь лицо его выражало спокойное удовольствие. Он разговаривал с первым, который с лорнетом в руке, поднятой по особенной привычке почти выше плеча локтем, смотрел на высоты Монмартра, где еще раздавались редкие выстрелы умолкающего сражения.

Первый был душа союза и герой этого дня император Александр; другой — король прусский, вознагражденный настоящими событиями и за свое терпение, и за верный союз с Россиею. Двое других были Шварценберг и Барклай де Толли.

Скоро и войска, защищавшие Монмартр, начали отсту-

¹ В предлагаемом здесь рассказе все слова и все действия исторических лиц исторически верны, и все анекдоты, о них помещенные, справедливы. Самое происшествие, давшее повод к рассказу, истинно. Повествователь только связал частные случаи и дал возможное единство. (Примеч. авт.)

пать. Это была роковая минута, решившая взятие Парижа, а с этим вместе участь Наполеона и с ним участь всей Европы. Восхищенный Александр обнял короля прусского и, поздравив его с победою, сказал: «Бог рассудил нас с Наполеоном, теперь пусть потомство судит каждого из нас!» Когда же первые восторги радости были разделены всеми присутствовавшими, император поздравил Барклая фельдмаршалом и обратил потом довольственный взор на Париж, как на приобретенную награду, как на залог спокойствия народов. Солнце садилось; город развертывался как на скатерти под его ногами. Малочисленные остатки французских войск поспешно отступали отовсюду и, входя из окрестностей в заставы, тянулись вдоль внешних бульваров, окружающих город. Массы их показывались в промежутках строений; можно было различить, какого рода войско проходило и исчезало за домами: по облакам пыли видна была конница; штыки пехоты сверкали мелкими алмазными искрами, отражая последние лучи дня; артиллерия, сопровождаемая глухим стуком колес, отсылала густые облака в глаза победителей; как будто принужденная замолкнуть, все еще грозила своим угрюмым взглядом. Половина армии, направляясь на Фонтенбло, тянулась чрез Аустерлицкий мост, другая на Елисейские поля. Париж со своими серыми стенами и аспидными крышами был мрачен как осенняя туча; один только золотой купол Дома инвалидов горел на закат ярким лучом — и тот, потухая, утонул во мраке вечера, как звезда Наполеонова, померкшая над Парижем в кровавой заре этого незабвенного дня.

Взоры Александра упивались этим зрелищем, этим торжеством, столь справедливо им заслуженным,— и в это время от селения Ла-Вильет, где уполномоченные с обеих сторон договаривались о сдаче Парижа, по долине показалось несколько верховых. Скачущий вперед останавливался, спрашивал и на ответы и на движения рук, указывавших на высоту Шомон, пустился во всю прыть к ней. Вскоре он явился на самой горе. Это был флигель-адъютант Александра, посланный с известием о перемирии. Теперь он приехал прямо от уполномоченных.

«Ваше величество,— сказал он, соскочив с лошади,— условия, на которых заключено перемирие, кончены. Войска имеют времени для отступления от Парижа до девяти часов завтрашнего утра. Маршалы, оставляя столицу, поручают ее великодушию вашему».

«Благодарю вас,— сказал император благосклонно,—

вы вписали имя ваше в историю, остановив потоки крови, лившиеся так долго в Европе».

Сказав это, император повторил известие королю прусскому и генералам; потом, взяв союзника своего под руку, отправился в главную квартиру в Бонди, где с трепетом ожидали уже его первые государственные люди Франции.

— Объявите моей гвардии и гренадерам,— сказал он, проходя мимо Барклай,— что завтра мы вступаем парадом в Париж. Не забудьте подтвердить войскам, что разница между нами и французами, входившими в Москву, та, что мы вносим мир, а не войну.

Барклай отвечал почтительным наклоном головы, и за сим вся свита государей и генералов удалилась.

Толпа молодежи, которая удерживалась в пределах молчаливости присутствием монархов, заговорила громким говором, когда принуждение исчезло. Радостные восклицания и поздравления сливались в одном невнятном шуме. Наконец вся толпа, насмотревшись на Париж и окрестности с того места, где стояли союзные государи, начала спускаться под гору, между кучками солдат распространяя известие о завтрашнем параде и вступлении; молва об этом полетела во все стороны.

Стан союзников представлял теперь живую картину всех ужасов сражения и торжества победы: стрелки стягивались, отряды соединялись, раненых носили сквозь биваки, которые разрастались с невероятною скоростью; легко раненные шли, опираясь на свои ружья; все искали своих полков, и, когда шумная молодежь вышла на шоссе большой дороги, между множества конных и пеших, которые толпились во всех направлениях, увидели они кирасира, который вел на поводу раненую лошадь и плакал. Это удивило любопытных; около него собрался кружок; все спрашивали, о чем он плачет?

Широкоплечий малороссиянин рассказал, что он всю службу не расставался с этой лошадью, свыкся с нею как с родною и теперь не может без горя видеть, что она тяжело ранена.

— Ну, куда же ты ведешь ее? видишь ли, как она мучается?

— Неужели хочешь, чтоб она издохла среди бивака? вылечить ее нельзя.

Кирасир остановился, начал ласкать бедное животное; слезы лились по загорелым щекам и порыжелым усам;

когда он снимал седло и мундштук, он вытащил свой огромный палаш: «Когда так — нечего делать, — сказал он, — по крайней мере, ты не будешь мучиться... прощай, Налетушко!» — с этими словами он отвернулся, вонзил неверную рукою палаш под левую лопатку лошади — и пошел, вхлипывая, и закрыл руками глаза.

Офицеры безмолвно глядели ему вслед... но вскоре другие сцены и новые толпы развлекли их внимание.

С захождением солнца бесчисленные бивачные огни начали развиваться по всему полукружью, занимаемому войсками. Огромное зарево опоясало Париж и, дрожа в небе, отражалось неверным светом на мрачные стены города, на разоренные предместья, на массы движущихся солдат и на поле битвы, усеянное мертвыми. Опрокинутые вверх колесами зарядные ящики, подбитые лафеты, убитые люди и лошади валялись на каждом шагу. Солдаты строили биваки, разбирая крыши, двери, ставни и другие вещи оставленных домов в предместьях, занятых во время сражения; другие разводили огни, не щадя соседних виноградников, мебели, словом, ничего, что было у них под руками. После жаркого сражения солдат неразборчив в неприятельской стороне, и особенно между пустыми домами. Вскоре показалося между ними и вино, чтобы приличнее торжествовать победу: одни покупали его у маркитантов, другие доставали безденежно, таская манерками из разбитых во время дела погребов, и тогда новость торжественного вступления распространилась, общая радость обнаружилась в шумных кликах и песнях.

Офицеры ходили кучками по всем полкам с радостными лицами; знакомые и незнакомые здоровались и целовались, как в Светлый праздник, рассказывая друг другу и про сегодняшнее дело, и про завтрашний парад, и про всю войну. Адъютанты, ординарцы и рассыльные скакали и суетились во всех направлениях. Одни были из главной квартиры государей, другие пробирались в главную квартиру Барклая; каждый искал и спрашивал своего назначения, фамилию, имена полков, приказанья перелетали из уст в уста, и слова, торопливо сказанные и на лету перехваченные, раздавались со всех сторон.

У подошвы Шомон, где расположилась русская гвардия, в лагере ...ского полка, около огня собралась кучка офицеров, и громкий смех, далеко разносившийся, возвещал веселое их расположение.

— Чему вы смеетесь, господа! — вскричал пришедший

вновь офицер, вступая в кружок,— поделитесь со мной вашим весельем, и я хочу посмеяться.

— Посмотри, какого оригинала завоевали мы вместе с Парижем. Его поймали между ротозеями, которые вышли посмотреть на сражение, и теперь мы его вербуем в казаки.

В самом деле посредине их стоял полупьяный француз и размахивал казацкою пикою; на голове была казацкая шапка, у фрака одна пола оторвана.

— Но любезный Калесон, если ты хочешь быть казаком,— кричали ему весельчаки,— то надобно быть в куртке, оторви и другую полу.

Другую полу оторвали; офицеры божились, что он первый казак на свете; а мусье Калесон — клялся, что завтра пойдет с русскими *cosaquet le Paris*¹ и поведет их в самые лучшие дома.

В эту минуту раздался ужасный треск, подобный взрыву подкопа: и над головами смеющихся полетели огненные змеи гранат, лопавшихся и разгонявших веселые кучки. Все бросились в ту сторону, откуда послышался взрыв.— Это было в лагере уланов... что случилось?.. что такое?..— спрашивали уланы, которые ловили испуганных лошадей, оторвавшихся от коновязей,— «взорвало пороховой ящик», отвечали некоторые.

На месте происшествия лежало пятнадцать человек убитых и обожженных, и между ними двое полковников и два офицера того полка; при них закапывали брошенный французами зарядный ящик, и мера предосторожности обратилась в пагубу от неосторожно брошенного ядра, давшего искру и воспламенившего все заряды. Тысячи убитых и раненых не производят в сражении на военного человека такого впечатления, как один убитый вне дела. По всему лагерю шум затих на несколько времени, пока печальное происшествие было передано из края в край; потом мало-помалу прежнее движение началось, и громы кликов раздавались везде по-старому. Офицеры опять волнами разливались по лагерю; по всей линии тени двигались, мелькали и исчезали.

Военная музыка и песни разных наций гремели; все постигали важность победы и радовались концу кампании. Высоты, господствующие над Парижем, исключительно были заняты русскими, которые также не могли отказать в движении удовлетворенного честолюбия; но вскоре их

¹ Оказывать Париж (фр.).

радость сделалась умереннее: песни и музыка стихли, и, когда в лагерях австрийских, прусских и виртембергских войск раздавались еще голоса импровизаций на свои победы — на французов и Наполеона, русские, не имея с природы склонности величаться своими подвигами, скромно и тихо готовились к завтрашнему вступлению, чистя ружья, задымленные порохом, и поправляли амуницию, потерпевшую от непогоды и грязной бивачной жизни.

Гора Шомон служила сборищем разгульного офицерства, везде блистали эполеты, слышалось французское болтанье, шутки и смех с торговками и продавцами, пробравшимися из Парижа и незанятых окрестностей. Некоторые из смелейших жителей Бельвиля начали возвращаться в свои дома, в надежде найти что-нибудь нерасхищенным, в то время, как большая часть жителей всех вообще предместий, ушедшая в Париж с пожитками, со страхом ожидала, как поступят с ними северные варвары в стенах самой столицы.

Подле одного огня на этой высоте несколько гренадеров чистили амуницию: один спарывал холстинные нашивки с воротника, предохраненного таким образом от непогод, другой починал наскоро сапоги; третьего ротный цирюльник держал за нос, соскабливая двухнедельную бороду. Все были заняты по-своему.

— Экая беда! — говорил один, стоя на коленях перед развернутым ранцем и подымая к свету порыжевший мундир, — и ночью он похож на зарево!.. что ж будет завтра? как быть, молодцы?!.. давайте совет.

— Другого нечего делать, как выкрасить, — сказал солдат, чистивший ружье.

— Да он ссядется, — перебил другой, который, несмотря на весенний холод, засучив рукава рубашки и поливая изо рта на белую перевязь, натирал ее мякотью голый руки, чтоб навести лоск на меловое беленье.

— Да он и не высохнет до утра, — промолвил сквозь нос страдавший под бритвою.

— А чтоб он высох и не сселся, — перехватил барабанщик, перетягивавший струны своего громогласного инструмента, — надо выкрасить его на тебе. Мы всегда так моем и белим шкуру на барабане.

Солдаты захохотали, но не менее того надели мундир на хозяина, составили какую-то краску из бывших под рукою материалов, намочили ею щетки и начали натирать

бедняка, который терпеливо стоял с распростертыми руками, как телеграф.

— Я тебе дал совет, Масленников,— сказал чистивший ружье,— теперь ты скажи, чем выполировать ствол? отвертка у меня так заржавела, что хуже царапает.

— Экой ты дегина,— отвечал труженик, морщась от брызгов, летящих со щетки,— вынь шомпол из первого французского ружья, да и катай как воронилом, у них шомпола стальные, не нашим чета!

— И я забыл так,— сказал усач, оборачиваясь во все стороны и ища глазами где-нибудь брошенного ружья. Он увидел на самой крутости ската убитого француза, который, лежа навзничь, держал в руке ружье.— Смотрите, братцы,— сказал солдат, сиюсь вытащить ружье из замерзшей руки.— Этот молодец и по смерти не хочет отдавать своей игрушки,— он сделал еще несколько усилий; наконец решил выдернуть один шомпол, и когда в досаде потрянул ружьем, то мертвое тело, расшевеленное попытками, покатилося по обрыву.

— Эх, брат, не ругайся над покойником,— сказал крашенный,— одно дело, что французы и сами народ неплохой, а другое, может, и тебе придется когда-нибудь считать звезды!

— Да не я, а он надо мной наругался. Только удалы же эти французы, собачьи дети: за этим не спор, что с ними с живыми надо держать ухо остро, а он и мертвый не плошает!..

Во время этих разговоров двое офицеров стояли поодаль в тени, чтоб не мешать солдатской веселости; смотрели, слушали и смеялись изобретательности русского ума. Это были два гвардейских полковника.

— Какова выдумка для крашенья? — сказал один из них,— я сейчас пойду в свой полк и прикажу всех так выкрасить для единообразия.

Другой насмешливо улыбнулся и отвечал:

— Ты любишь мундиры, а я людей; мне гораздо больше понравилась похвала неприятелю; у наших людей она часто имеет вид брани, но всегда стоит доброго панегирика.

Разговор их был прерван отдаленным криком, перебегавшим от огня к огню и несшимся по всем бивакам; солдаты и офицеры повторяли какое-то имя, и вслед за тем явился молодой офицер ...ского полка на усталой лошади, подъехал к разговаривающим и, увидев в одном из них свое-

го полковника, передал ему какое-то приказание от дивизионного начальника.

— Кого вы ищете, Глинский? — спросил полковник, выслушав.

— Полкового адъютанта егерей. Я имел к нему приказание от полкового командира.

— Он проскакал недавно в полк. Но скажите, отчего вы до сих пор разъезжаете?

— Такое счастье, полковник: когда вы меня послали к Ермолову, я застал его одного; все адъютанты были разосланы, и я, благо на лошади, должен был съездить в главную квартиру.

— Что же новенького в главной квартире? — спросил первый полковник.

— Теперь идут переговоры о капитуляции Парижа и получено известие, что Наполеон в трех переходах отсюда; Мармон и Мортье отступают и стягивают к себе другие силы, поговаривают также, будто кампания не окончена.

— Право?.. — сказал первый полковник, готовясь на новые вопросы, но второй перебил:

— Пусти его, — сказал он, — ему сегодня было дела довольно, он хочет и отдохнуть. — Г. поручик, — продолжал он, взяв за руку Глинского, — ищите адъютанта егерей и, ежели усталость позволит вам, приходите вместе с ним в мою палатку. Мы кончим ваше дежурство рюмкой доброго вина.

Глинский сжал руку своего полковника, вскочил в стремя, кольнул шпорами в окровавленные бока лошади и исчез, временно появляясь перед огнями и снова пропадая в темноте.

— Как ты думаешь об этом известии? — спросил первый, проводив глазами молодого человека.

— Думаю, что мы поразим бездействием все дальнейшие попытки к продолжению войны. Французы не пожертвуют своею столицею, как мы Москвою, и для ее спасения готовы принять все условия от победителей.

— Но Наполеон, который в двух переходах?..

— Ты ошибся, в трех. С ним, кажется, дело кончено. Впрочем, ступай, крась своих солдат и не опоздай вступить в Париж. Если мы, и особенно в поновленных мундирах, будем там, то, конечно, нечего бояться движений Наполеоновых.

— Смейся, любезный друг, а я непременно это сделаю.

Они расстались. Один пошел в свою палатку, другой к полку и до рассвета натирал, красил и сушил мундиры на усталых солдатах.

Таковы или большею частью были таковы шумные и пестрые сцены всей ночи в стане союзников, тогда как мрачная тишина царствовала в оставленных предместьях. И в самом Париже улицы были пусты, несмотря на то, что огни сверкали во всех этажах домов, в которых граждане от мала до велика бодрствовали всю ночь, не смея предаться сну. Изумление, страх и ожидание неизвестного волновало все умы, одна мысль занимала каждого: что будет с городом и жителями, оставленными на произвол победителей, и особенно русских, которых они по преувеличенным описаниям считали чудовищами и людоедами? Одни только патрули национальной гвардии, наскоро составленной, ходили по безлюдным улицам, предупреждая сборище людей, не имеющих ни крова, ни пристанища.

Но в это же время необходимость переворота и вопрос о восстановлении дома Бурбонов явились на сцену, и, посреди безмолвия Парижа и оцепенелых его жителей, люди всех партий работали для достижения каждый своей цели. Всю ночь кипела битва мнений; даже рассвет застал ее неоконченною; но в политике действия скрытны и следствия медленны; жертвы не погибают, как на войне, мгновенно, и часто герой, отмеченный ее перстом, думая торжествовать победу, вдруг остается один среди поля и со стыдом бывает принужден воспеть собственное поражение.

Рассвело утро прекрасного дня; войска союзников, назначенные ко вступлению, тянулись вдоль дороги к Бонди; кавалерия, артиллерия, русская и прусская гвардия, два батальона австрийских гренадер, бывших при Шварценберге, несколько гренадерских полков корпуса Раевского стояли в колоннах вдоль шоссе, ожидая прибытия императора и короля прусского. У всех союзников на левой руке была белая перевязка; в киверах были воткнуты зеленые ветки, что было принято в сражении при Ратье для отличия своих от неприятелей¹. Офицеры роились на дороге; различные толки и шумливая радость были на устах каждого. Одни готовились праздновать в Париже

¹ Эта мера была необходима потому, что под конец кампании к союзу пристали войска всей Европы, из коих многие были одеты сходно с французскими, и что это было поводом к многим замешательствам во время дела. (Примеч. авт.)

конец кампании и удовольствиями этой столицы заплатить за труды и лишения кровавой двухлетней войны; другие думали напротив, что это раннее торжество напрасно без уничтожения остальных способов Наполеона и что будущее грозит новыми опасностями. Последнее могло оказаться верным, кто знал характер Наполеона, дух его войск и соотношал с этим известие о приближении французских сил, разнесшееся по всему лагерю.

Уже было семь часов утра, как показался от заставы С. Мартен кто-то верхом; за ним ехал трубач, и когда он приблизился к голове колонн, то сошел с лошади. Это был человек высокого роста, приятной наружности, но бледный, и сильная грусть явно выражалась на его лице. На нем был синий сюртук, застегнутый сверху донизу, и шляпа с черным плюмажем. Лицо его было знакомо многим из гвардейских офицеров. «Это Коленкур, это Коленкур!» — передавали те, которые знавали его, когда он был посланником в Петербурге, и танцевали у него на балах, — и офицеры, любопытствуя узнать ближе знаменитого человека двора Наполеонова, понемногу составили около него кружок; между тем как старший между ними подошел к нему узнать о его желании.

— Я бы хотел видеть императора, — сказал он, и, пока пошли доложить об этом Ермолову, он, узнав некоторых старых знакомых, вступил с ними в разговор и, после нескольких учтивостей, спросил: почему они в таком параде?

— Мы вступаем в Париж и этим парадом празднуем окончание войны, — отвечали ему. Казалось, эти слова пробудили национальную гордость француза: он поднял голову, отступил на шаг, расстегнул сюртук, из-под которого блеснул шитый мундир, и сказал:

— Не знаю, все ли то может случиться, что предполагается?..

В это время Ермолов, вышел из своей палатки, увел с собою гостя, который вскоре отправился в главную квартиру государей; но менее нежели чрез час он уже ехал назад, и вид его был еще печальнее прежнего¹.

Наконец император с королем прусским приехали и осмотрели все войска. Русские точно были в новой

¹ Он приезжал с договорами от Наполеона; но император, верный своему слову не иметь никаких переговоров с Наполеоном, не принял Коленкура. (Примеч. авт.)

амуниции, и не только исправность, но даже щеголеватость отличали ряды русских героев. Никакой на свете солдат не имеет столько способности, чтобы помочь самому себе, как русский.

Командные слова полетели из уст в уста по всей линии, барабан дал знак к маршу; войска тронулись, заколебались и потекли рекою. Колонны их, следуя в мерных промежутках, скрывались в предместии одна за другою, как волны, которые бьют и подмывают оплот, противопоставленный их стремлению.

Там, где собрано много людей в одном месте, каждая новость пролетает подобно электрическому удару. Вчерашние известия о близости Наполеона, сегодняшние слова Коленкура были известны последнему флейтщику, и когда дружный солдатский шаг начал отзываться гулом между стенами пустых домов оставленных предместий, когда запертые двери и окна, инде выломленные силою, или разбитые сундуки посреди улиц показали, что тут нет жителей, то солдаты, почитая это уже самим Парижем, начали поговаривать между собою потихоньку, «что этот вход в Париж похож на Наполеоново вступление в Москву».

— Чтобы и нам также не выступить отсюда, как французам,— говорил один.

— Чтоб нам не попасть в ловушку,— прибавлял другой.

— Что мудреного,— перебивал третий,— да еще и Сам идет по пятам за нами¹.

Такие разговоры, как пчелиное жужжанье, разносились от головы до хвоста каждой колонны и передавались другим по мере того, как они вступали в улицы предместий. Наконец появились ворота С. Мартен. Музыка гремела; колонны, проходя в тесные ворота отделениями, вдруг начали выстраивать взводы, выступая на широкий бульвар. Надобно себе представить изумление солдат, когда они увидели бесчисленные толпы народа, дома по обе стороны, униженные людьми по стенам, окошкам и крышам! Обнаженные деревья бульвара, вместо листьев, ломились под тяжестью любопытных. Из каждого окна спущены были цветные ткани; тысячи женщин махали платками; восклицания заглушали военную музыку и самые барабаны.

¹ Сам в эту войну означало у солдат Наполеона; они всегда угадывали его присутствие в сражении, и, если у наших шло дело худо, они всегда говорили: «верно, Сам здесь». (Примеч. авт.)

Здесь только начался настоящий Париж — и угрюмые лица солдат выяснились неожиданным удовольствием.

Между тем развернутые взводы подвигались посреди народа, который теснился, раздавался на стороны, но беспрестанно скоплялся впереди в таком множестве, что солдаты должны были укорачивать шаг, а задние взводы останавливаться, чтоб не набежать на передних. В одну из таких остановок первого взвода ...ского полка, у самых ворот, офицеры задних отделений забежали вперед посмотреть, что тут делается. Тут стоял караул только что утвержденной национальной гвардии, и как эта служба была слишком нова для миролюбивых граждан, то насмешливая молодежь, судя по сравнению, перебирала весь фронт, смеючись над неуклюжестью непривычных ратоборцев. Один из офицеров подошел к фронту и вступил в разговор с гражданином, который казался ему неловчее других под ружьем и сумою. С злым намерением спросил он его фамилию, но изумление его не имело границ, когда тот подал карточку со своим адресом: это был славный живописец Изабе¹. Он избавлен был от замешательства раздавшимся криком: «Jean d'Astrakan, vive Jean d'Astrakan»², который повторялся кругом и снизу до верха самых труб. Все оборотились и увидели русского офицера, въехавшего верхом в ворота, в объятиях какого-то француза, который, повиснув у него на стремяна, в исступлении бросил шляпу кверху, повторяя свои восклицания: vive Jean d'Astrakan! — перехваченные толпою. Эта загадка объяснилась рассказом офицера, что он три года назад воспитывался в Париже в пансионе, в котором товарищи не могли выговаривать мудреной для них русской фамилии, называли его по родине: «Jean d'Astrakan», и что этот француз, бывший у них башмачником, теперь узнал его.

Войска двинулись опять. Перед одним из взводов этого полка шел знакомый уже нам немного поручик Глинский, герой этого рассказа, но не этой главы, посвященной героям истории. Ему едва минуло 20 лет, и свежесть молодости, соединенная со стройностью рослого стана и красотою лица, возбуждали всеобщее удивление французов.

¹ Изабе, Isabeu — славный живописец миниатюрных портретов. Он писал портреты Наполеоновой фамилии, а после в картине, представляющей Венский конгресс, изобразил портреты всех государей и знаменитых людей того времени, участвовавших в конгрессе. Он первый ввел портреты на бумаге акварелью. (Примеч. авт.)

² «Жан Астраханский, да здравствует Жан Астраханский» (фр.).

Каждый шаг взвода стоил ему просьб, убеждений и даже угроз штыками; любопытные беспрестанно перебежали дорогу, забегали вперед, чтобы больше любоваться русскими гренадерами и красивым их офицером. Бездна мальчишек бежала сбоку, спереди и со всех сторон, один верхом на палочках, подражая казакам; другие подле солдат шагали вместе с ними под музыку. Беспрестанно сыпались вопросы: «Au nom de Dieu, dites-nous, si vous êtes de Russes? — Comme ils sont jolis ces Russes!» и проч.¹. Несколько раз бедный Глинский был останавливаем за шарф; однажды какая-то старушка бросилась ему на шею и расцеловала в восхищении. Те же сцены повторялись и в других взводах — и толпы народа, следуя за ними, теснились, толкались, давили одни других, кричали, шумели и снова задвигали дорогу себе и взводам. Таким образом войска прошли бульвары Итальянский и Мадельень и приближались к площади Людовика XV.

Вступление союзных государей было таким событием, какого ни древность, ни современная история не могут представить. Предшествуемые эскадроном лейб-казаков, государи тихо подвигались посреди скопления и криков громад народных. Нельзя представить энтузиазма, доходившего даже до исступления к победителям. Париж, сравненный одним писателем с океаном и дома его с волнами, которые окаменели и остались недвижимы, теперь походил на живое море: оно двигалось, текло, колыхалось, и волны его ожили, кипят, переливаясь и крутясь народом, покрывшим дома до самого верха, — в то время как земля стонала протяжным гулом от бури, его всколебавшей. Союзники, возникшие для парижан будто из недр земных — так мало они были приготовлены к их появлению; русские, которых они нашли вовсе не такими, как воображали; стройность их полков, блестящая щеголеватость офицеров, говоривших с жителями их языком, красота русского царя, миролюбивые его намерения, кротость в войсках, какой не ожидали, — все это было так внезапно для парижан, так противоположно тому, что они привыкли воображать, что появление союзников в стенах столицы стало для побежденных таким же торжеством, как и для победителей. Везде раздавались крики: «Да здравствуют государи! Да здравствуют освободители!..»

¹ «Ради бога, скажите, вы русские? — Какие они красивые, эти русские» (фр.).

В один из таких моментов, когда скопление народа заставляло останавливаться торжественное шествие монархов на Итальянском бульваре, когда окружающие их толпы кричали, махали шляпами, когда задние ряды зрителей завидовали передним и, привставая на цыпочках, усиливались взглянуть на победоносных героев, на блистательную их свиту и парадирующие войска, позади всех раздался жалобный, пискливый, но резкий голос малорослого горбунчика, который как ни силился приподняться на носках или вскарабкаться на плечи передних зрителей, но в обоих случаях несчастный рост изменял ему. «Сжальтесь, господа!.. позвольте взглянуть на союзников... будьте добры!..» — кричал он под ухом одного рослого мельника, превышавшего головою всех впереди стоявших и который, по доброте сердца, из передних рядов, уступая беспрестанно просьбам тех, которые его ниже, очутился в последних; добродушный великан тронулся несчастным положением карлика, обернулся к нему и, не говоря ни слова, посадил к себе на плечо, как обезьяну.

— Скажите мне, укажите, где Александр? который царь московский? — кричал карлик, вместо того, чтобы благодарить своего покровителя.

— Вон он по правую руку.

— А это австрийцы?

— Нет, это русские.

— Не может быть! как же они без бород?

В эту минуту крики: да здравствует Александр! да здравствует Вильгельм! — заколебали толпою. Карла визжал изо всех сил. Близко подле мельника два человека, порядочно одетых, вдруг закричали: да здравствуют Бурбоны! — махая белыми платками. Впервые раздалась эти звуки между народом, который вовсе не был приготовлен к мысли о Бурбонах: толпы зашумели, чтоб уняли этих крикунов, ближайшие тянулись к ним с кулаками, дальнейшие нагибались уже за каменьями, как вдруг пронзительный голос горбунчика покрыл все голоса вопросом:

— Что это за белая перевязка у союзников? — видно, они за Бурбонов?..¹

Поднятые руки опустились; камни выпали; чернь обратила внимание на белую перевязку союзников и потом мрачно озирала бурбонистов, которые, ободрясь, громко

¹ Цвет знамени рода Бурбонов белый. (Примеч. авт.)

кричали свои возгласы, начавшие повторяться во многих местах бульвара.

— Возьми мой платок, махай и кричи: да здравствуют Бурбоны! — говорила карле одна женщина, стоявшая подле мельника, — вот тебе за это два наполеона¹.

— Чтоб я стал кричать, чтоб я стал махать и продавать императора!.. вот тебе за это, негодная женщина, — кричал, горячася, карлик, раздирая белый платок, ему данный, и бросая лоскутья на воздух.

— Вот бурбонские кокарды!.. белые кокарды! — кричали около стоящие, смеючись на несшиеся по воздуху лоскутья; но что для близких было смехом, то отдаленные приняли за настоящее дело: лоскутки ловили женщины, драли новые платки, белые кокарды вмиг очутились на шляпах — и крики: «да здравствуют Бурбоны» начали сливаться с криками победителей. Вскоре имена государей и Людовика XVIII были нераздельными восклицаниями. Все думали угодить этим союзникам, хотя в это время никто из них не помышлял еще о Бурбонах!..

Толпы волновались и кружились; давили друг друга, бросались под ноги лошадям государей, останавливали, осыпали поцелуями конскую сбрую, ноги обоих монархов и почти на плечах несли их до площади Людовика XV, где они остановились на углу бульвара видеть, как будут проходить войска.

Площадь захлынула народом, едва оставались для прохода взводов места, охраняемые казаками. Цвет парижского общества, тысячи дам окружали и теснили со всех сторон государей. Военные султаны, цветы, колосья и перья дамских шляп колыхались, как нива. У каждого из адъютантов, у каждого верхового стояли на стременах дамы, — один казак держал на седле маленькую девочку, которая, сложив ручонки, глядела с умилением на императора, у другого за спиною сидела прекрасная графиня де Перигор², которой красота, возвышаемая противоположностью грубого казацкого лица, обращала на себя взоры всей свиты государей и войск, проходивших мимо с развернутыми знаменами, с военной музыкою, с громом барабанов, в стройном порядке, посреди непрерывных и оглушающих

¹ Наполеондор, или просто наполеон, — золотая 20-франковая монета. (Примеч. авт.)

² Бывшая после герцогиня Дино, племянница Талейрана. (Примеч. авт.)

кликов народа. Русские более всех внушали энтузиазма: наружность всегда говорит в свою пользу, и рослые гренадеры, красивые мундиры, чистота, как будто войска пришли сию минуту из казарм, а не из дальнего похода; необыкновенная точность и правильность их движений, а более всего противоположность народной физиономии с фигурами австрийцев и пруссаков, обремененных походною амунициею, изумляла французов. Они не верили, чтоб северные варвары и людоеды были так красивы; они были вне себя от восхищения, когда почти каждый офицер русской гвардии учтиво удовлетворял их любопытству, мог с ними говорить; тогда как угрюмые немцы, ожесточенные противу французов, сердито отвечали на все вопросы: *Ich kann nicht verstehen!*...¹

Наконец войска прошли; государи удалились; толпы мало-помалу рассеялись, но волнение парижан еще не утихло. Партия роялистов, разъезжавшая целое утро с белыми знаменами и белыми кокардами, ободренная кликами за Бурбонов во время шествия войск, отправилась по городу, сопровождаемая множеством народа, который увлекается всякою переменою; они сбивали вензеля Наполеоновы, ломали императорские гербы, наконец явились на Вандомской площади. Там они отбили дверь, ведущую на колонну Наполеонову; множество людей взобралось на самый верх статуи, они неистовствовали, сбили изображение победы, бывшее у него в руке, заложили за шею статуи веревку, сбросили другой ее конец вниз, запрягли несколько лошадей и при бешеных криках: «*à bas le tyran! à bas l'usurpateur! à bas le mangeur d'enfant!*»² — старались опрокинуть колоссальную фигуру, но образ исполина, уронив только из рук победу, остался непоколебим и посмеивался их ничтожным усилиям!..

Вскоре по городу пошли смешанные патрули союзных войск и национальной гвардии. Порядок был восстановлен — и на этот раз изображение великого человека было избавлено от поругания.

Союзники в ту же ночь были почти все размещены по казармам. На другой день офицерам выданы билеты на постой, и с этого времени начинается наш настоящий рассказ.

¹ Я не понимаю (*нем.*).

² «Долой тирана! долой узурпатора! долой фанфарона» (*фр.*).

Пьер Беранже

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАРИЖ

Ура, Париж — владыка мира!
Как он растет, наш властелин!
Вооружась в защиту мира,
Шагает гордо исполин.
И я, заброшенный судьбою
На берег родины моей,
Помолодеть хочу душою —
Хочу найти своих друзей!

Вот предо мной дворцов громады;
Вот церкви, порт... куда ни глянь, —
Театры, арки, колоннады —
Искусств божественная дань.

В Париже — перлы их созданий:
Все щедры к родине своей!..
Как в лабиринте этих зданий
Мне отыскать своих друзей?

О прошлом Франции пред светом
Здесь каждый камень говорит,
И слава прошлого приветом
Мечты о будущем дарит.
Найду ли здесь я вдохновенье?
Едва ль! Но мне, на склоне дней,
И то — большое утешенье,
Что я найду своих друзей.

Париж любое сбросит бремя,
Зарежет словом без ножа
И на остроты тратит время,
Их солью слишком дорожа.
Он легкомыслен по природе —
Вот мненье сведущих людей;
Но для меня в моем народе
Милей всего найти друзей!

Вот и друзья. Они поэта
Встречают сами в этот день.
Тебя, Париж, за счастье это

Пою, стряхнув невольно лень.
Душа в разлуке засыпает,
Воспоминанья дремлют в ней;
Но этот день их пробуждает:
Я вновь нашел своих друзей!

ЖАН-ПАРИЖАНИН

Пой и смейся, смейся, пой,
Сдвинув шляпу на затылок,
И кружись по свету, пылок,—
Твой Париж всегда с тобой,
Парижанин, твой Париж с тобой!

В архивах вычитал историк:
Готов ты взяться за тесак,
Когда насчет Парижа спорит
Неуважительный гусак.
Силен в стихах и прозе,
Трубил ты до сих пор,—
Лишь бы, подобно розе,
Сиял святой собор.

Пой и смейся, смейся, пой,
Сдвинув шляпу на затылок,
И кружись по свету, пылок,—
Твой Париж всегда с тобой,
Парижанин, твой Париж с тобой!

Миль за две тысячи к Пекину
Перемахнешь ты в некий час,
Рога наставишь мандарину
И, длинным странствием кичась,
Горишь мечтой — со вкусом
В каморке у портье
Расписывать зевакам
О дьявольском житье.

Пой и смейся, смейся, пой,
Сдвинув шляпу на затылок,
Колеси по свету, пылок,—
Твой Париж всегда с тобой,
Парижанин, твой Париж с тобой!

— Добыть бы золота! — и в Перу
На берег ступишь без гроша.
— Как! Здесь остаться? Прочь химеру!
— Меня сочтут за торгаша.
— Тьфу, золото! Мне ближе
Любовница моя!
— Хоть госпиталь в Париже,
Хоть койка — да своя!

Пой и смейся, смейся, пой,
Сдвинув шляпу на затылок,
Колеси по свету, пылок,—
Твой Париж всегда с тобой,
Парижанин, твой Париж с тобой!

В различных войнах с равной силой
За полумесяц и за крест
Божись и грабь, бей и насилуй
И нам пиши из многих мест:
«От Лувра до бульваров
Молва парижских уст —
Среди других товаров
Расхваливай мой бюст!»

Пой и смейся, смейся, пой,
Сдвинув шляпу на затылок,
Колеси по свету, пылок,—
Твой Париж всегда с тобой,
Парижанин, твой Париж с тобой!

Раз меж прелестных персиянок
Тебе шепнули: «Мой король!» —
«Что ж! Но со мною спозаранок
Бежать во Францию изволь!»
Дней восемь длился праздник.
Всем видеть довелось:
Чернь оперную дразнит
Чудак, задравши нос.

Пой и смейся, смейся, пой,
Сдвинув шляпу на затылок,
Колеси по свету, пылок,—
Твой Париж всегда с тобой,
Парижанин, твой Париж с тобой!

Жан-парижанин! Ты зеркало
Для всех зевак, всех парижан.
Чем только слава не бряцала,
Как ни рвался из дома Жан,—
А все не умирая,
Навеки нам дана
Любовь к модели рая,
Что строит Сатана!

Пой и смейся, смейся, пой,
Сдвинув шляпу на затылок,
Колеси по свету, пылок,—
Твой Париж всегда с тобой,
Парижанин, твой Париж с тобой!

Людвиг Берне

ПАРИЖСКИЕ ПИСЬМА

(Фрагменты)

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Париж, 17 сентября

Со вчерашнего дня я здесь, и все забыто. Приехал ли я в Париж *здоровым и веселым*, как вы этого желали, или стал таким только благодаря самому приезду, я вряд ли могу решить, но полагаю все-таки, что последнее вернее. У меня удивительные нервы. Если их не овевает ни малейший ветерок, то они особенно беспокойны и издают дрожащие жалобные звуки подобно арфе Эльвиры в «Вине». Эта болезненность приводит меня в такое бешенство, что я готов разорвать свои собственные нервы. Но всякий раз как по ним ударяет грубая буря, они сохраняют философское спокойствие, а если и теряют терпение, то мужественно гудят, как струны контрабаса. Мне не хватает слов рассказать вам, как приятно стало мне с первого же часа. Моральный климат Парижа всегда был мне полезен: я дышу здесь свободнее, и мое немецкое стеснение в груди покинуло меня уже в Бонди. Быстро освободился я от всех

своих сомнений и с ликованием бросился в освежающие волны. Хотелось бы мне знать, происходит ли и с другими немцами то же, что со мной; чувствуют ли они себя, приехав в Париж, как мальчики в прекрасные летние вечера, когда кончаются школьные занятия и они получают право прыгать и играть? Я чувствую себя как раз так, как будто бы мне предстояло устроить пакость нашему старому помощнику ректора.

Я живу здесь позади Пале-Руаяля. Комнаты хороши, но узкая улица со своими высокими домами неприветлива. Ни одного луча солнца за целый день. И все же иногда мне бывает еще слишком светло, потому что у меня замечательные визави. Во-первых, я вижу кухню какого-то содержателя ресторана. Уже с раннего утра неумытые повара начинают свою стряпню, и стоит только понаблюдать, как возникает грация, присущая всем французским кушаньям, чтобы потерять аппетит на целую неделю. Затем я вижу комнату какой-то барышни, квартиру портного, зал и рулетки и длинную галерею *cabinets inodorés*¹. Как красиво, приветливо и блестяще все, что выходит в сторону сада Пале-Руаяля, но как печально и грязно все, что позади! Я постараюсь поскорее уйти из-за этих кулис и поискать себе другое жилище.

Вы понимаете, что я недолго оставался дома, но тотчас же поспешил выйти, чтобы разыскать те старые арены, на которых разыгрывалась моя фантазия, и те новые поля битв, которые сдержали данное ей слово. Но ожидания мои не оправдались. Я думал, что Париж должен иметь такой же вид, как побережье после бури, что все покрыто обломками, а народ все еще рвет и мечет. Однако всюду был обычный порядок, и не видно больше никаких следов разрушения. На некоторых участках бульваров не хватает деревьев, а на некоторых улицах еще поправляют мостовые. Мне бы хотелось снять сапоги: воистину только босыми ногами следовало бы ступать по этой священной мостовой. Множество трехцветных флагов, вывешенных повсюду, показали мне не знаками продолжающейся войны, но мирными знаменами. Знамя в гордой руке Людовика XIV на площади Побед заставило меня громко расхохотаться. Мы с вами вместе видели восемь лет назад, как воздвиг-

¹ Уборных (*фр.*).

гали эту конную статую. Кто бы тогда это подумал? Грезы из железа и мрамора — и все же только грезы! Еще и теперь представляется мне этот день; еще слышу я полицейское ликование, слышу все эти песни и их мелодии, которые распевались на площади наемными уличными певцами. Одна песня начиналась так: «Vive le roi, le roi que chante le monde à la rond»¹; теперь вместо que chante² следовало бы сказать: que chasse le monde à la rond³. Если бы только он не был так стар! Это совершенно отравляет мне радость. Да благословит господь этот чудесный народ и да наполнит ему до краев золотые кубки сладчайшим вином, пока оно не перельется через край, пока не прольется на скатерть, по которой мы, мухи, ползаем и лакомимся. Жжж, жжж — как глупо!

Старых немецких знакомых я навестил еще вчера. Я думал, что узнаю от них больше того, что узнал уже из печати, но ни один из них не был на поле битвы, ни один не принял участия в сражениях. Таковы именно наши соотечественники! Англичане, голландцы, испанцы, португальцы, итальянцы, поляки, греки, американцы, даже негры сражались за свободу французов, — а ведь это свобода всех народов, — и только немцы не сражались. А их много тысяч в Париже, и у одних основательные кулаки, а у других основательные головы. Я прощаю это подмастерьям. Ведь им неплохо в нашем отечестве. В молодости им позволяется побираться по большим дорогам, а в старости они становятся цеховыми тиранами. Они ничего не выиграют от свободы и равенства. Но ученые! Эти бедняги, которые толпами переселяются в Париж и посылают оттуда корреспонденции в утренние газеты, в вечерние газеты, в «Gesellschaftler» во «Всеобщую газету»; которые круглый год живут тем богатым материалом, какой может им доставлять только свободный народ; которые умерли бы с голоду в бесплодном отечестве, — эти-то, по крайней мере, должны были бы принять участие в борьбе хотя бы из благодарности к своим кормильцам. Но, сидя за толстой оконной рамой, в халате, с пером в руке, окидывать взором поле битвы, считать раненых и павших в бою и сейчас же заносить на бумагу; восхищаться, вместо того, чтобы проли-

¹ «Да здравствует король, которого воспевают все хором!» (фр.)

² Которого воспевают (фр.).

³ Которого гонят все хором (фр.).

вать кровь, и предоставлять книгопродавцу полистно оплачивать страдания целого народа,— нет, это слишком стыдно!

Я не в состоянии описать вам всю роскошь и великолепие новой Орлеанской галереи в Пале-Руаяле. Вчера вечером я впервые видел ее при ярком, как солнце, газовом освещении и был поражен, как никогда. Она обширна и покрыта стеклянным куполом. Как ни нравились нам в свое время стеклянные улицы, которые мы видели прежде, они — мрачные погреба или плохие чердаки в сравнении с этой галереей. Это большой волшебный зал, вполне достойный этого народа волшебников. Мне бы хотелось, чтобы все французы нарядились в женские юбки: я бы всем им преподнес прекраснейшее признание в любви. И не глупо ли, что я стыжусь поцеловать руку тому или иному из них,— а к этому влечет меня сердце,— руку, разорвавшую наши цепи, освободившую нас, посвятившую в рыцари нас, холопов?

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Париж, 18 сентября

Только что вернулся из читальни. Но нет, нет: у меня голова кругом идет от всего того, что я прочел о Германии! Беспорядки в Гамбурге; в Брауншвейге подожжен дворец и изгнан герцог; возмущение в Дрездене! Будьте милосердны, пришлите мне обо всем этом самые точные сведения. И если вы не узнаете ничего особенного, то спишите мне, по крайней мере, известия из немецких газет, которых я пока здесь достать не мог. Французским газетам я в таких вещах доверять не могу: не может быть, чтобы даже десятая часть их рассказов была правдой. Но то, что решаются сообщать о внутренних событиях немецкие газеты, всегда оказывается только одной десятой частью правды. Так что же, я, значит, все-таки ошибался, в чем меня уже кое-кто упрекал? Или Германия зреее, чем я думал? Значит, я был несправедлив к народу? Или под ночными колпаками и халатами они тайно новят шлем и панцырь? О как желал бы я, как желал бы этого! Браните меня, как школьника, секите меня розгами, ставьте в угол, я охотно перенесу наихудшее наказание, если был не прав. Если только они протрут глаза, если только как следует

поймут окружающее, тогда они с удивлением начнут ощупывать себя, озираться во все стороны, в комнате откроют окно, будут смотреть на небо и спрашивать: какой же сегодня день, какое число, как долго мы спали? Несчастные! Только смелый бодрствует! Как можно было так долго выносить это? Вот вопрос, от которого у меня кружится голова. Ну, переносит это один, еще один, еще один — но как переносят это миллионы? Быть посмешищем для всех взрослых народов! Подобно маленькому мальчишке, который еще года нет как носит штаны, дрожать перед тросточкой всякого старого, слабого, седого школьного учителя! Но горе им, если мы покраснеем! Когда краснеют народы, это не розовая краска на щеках застыдившейся девушки: это северное сияние, исполненное гнева и опасности.

Воскресенье, 19 сентября

Уже минула полночь, но стакан мороженого, съеденного мною у Тортони всего несколько минут назад, так освежил меня, что мне вовсе не хочется спать. Это было божественно! Полный доверху стакан выглядел как длинный белый призрак. Ну, скажите, пожалуйста, слышали вы когда-либо или читали, чтобы кто-нибудь сравнивал стакан мороженого с призраком? Но такие выдумки приходят в голову ведь только в тот час, когда кругом витают духи. Вечер я провел у ***. Это очень любезные люди и притом умеющие, насколько это возможно, делать любезными и своих гостей. Это редчайшее и труднейшее дело. У них бывает именно та смесь немцев и французов, какую я люблю. Из такой смеси выходит отличный салат. Одни французы — это масло, одни немцы — уксус, и сами по себе не годны к употреблению, разве только во время болезни. По этому случаю я хочу сообщить вам в высшей степени важное и весьма плодотворное наблюдение, а именно: что во Франции употребляют для салата в три раза больше масла и в три раза меньше уксуса, чем в Германии. Это различие проходит через историю, политику, религию, общественность, искусство, науку, торговлю и фабричное производство обоих народов, каковое обстоятельство до меня легкомысленно проглядели знаменитейшие немецкие историки, хотя они постоянно хвалятся, что черпают непосредственно из источников. Но им нечего ломать над этим головы. Во все нет необходимости, чтобы они понимали все, что

я говорю: я сам это не всегда понимаю. Как прекрасно было бы, если бы обе стороны так слились во всем, как оба народа сливались сегодня вечером у ***. Через несколько лет наступит тысячелетие с тех пор, как Франция и Германия, составлявшие прежде одно государство, разделились. Эта глупая проделка, подобно всем глупым проделкам, была решена на конгрессе, а именно в Вердене в 843 году. С того же времени ведут свое начало вкусные засахаренные фрукты и драже, которыми еще и поныне славится Верден. Один из посланников конгресса изобрел их и за это возведен был своим все милостивейшим государем в графское звание. Надеюсь, что в 1843 году окончится тысячелетнее царство Антихриста, и по его завершении снова наступит господство бога и разума. Дело в том, что мы составили план снова объединить Францию и Германию в одно большое франкское государство. Хотя каждая страна сохранит своего собственного короля, но у обеих будет одно общее национальное собрание. Французский король будет по-прежнему восседать на троне в Париже, немецкий — в нашем Франкфурте, а национальное собрание будет каждый год заседать попеременно в Париже или во Франкфурте. Когда вы навестите вашу племянницу О., воспользуйтесь случаем и переговорите о нашем плане с поваром председателя союзного сейма. Он лучше всех должен знать настроение и взгляды своего барина.

Снова увидел я сегодня милое Тюильри. Оно приветствовало меня, и все в нем блестело и было нарядно убрано, как будто для моего приема. Я чувствовал себя государем среди царственного народа, возвращающимся после своей коронации под голубым балдахином неба. Есть что-то королевское в этих широких дорогах, усыпанных золотой солнечной пылью, которые идут мимо дворцов и ведут от дворца к дворцу. Меня порадовала бесчисленная толпа людей. Я больше не чувствовал себя одиноким: я был умником среди тысячи умников, глупцом среди тысячи глупцов, обманутым среди тысячи обманутых. Тут видишь не просто детей, девушек, юношей, стариков, женщин: видишь детство, молодость, старость, женский пол. Ничего нет одинокого, обособленного. Даже разнообразные цвета платья, когда смотришь на них издали, не кажутся пестрыми; перед тобою цвета спектра: видишь белое, голубое, красное, желтое в виде широких длинных полос. Из-за этой полноты и целостности я так сильно люблю большие города. Никто не может переменить своей природной склонности

и направления, и для того, чтобы жить с удовольствием, каждый должен искать то, что любит, на своем пути. Но это не везде возможно. Правда, и в самом маленьком городе любой страны встречаются люди всякого рода, среди которых можно выбрать, но какая нам в этом польза? Ведь это только образчики, которых не хватит на целое платье. Только в Лондоне и Париже находятся товарные склады людей, где можно сделать выбор в соответствии со своими вкусами и средствами.

Тихо, весело, приветливо и скромно, как влюбленная счастливая девушка, прогуливался французский народ. Когда я увидел это и подумал, что не прошло еще двух месяцев с тех пор, как он свергнул тысячелетнего короля и, в его лице, победил миллионы своих врагов, я не хотел верить своим глазам или памяти. Такое чудо может только сниться! Быстро они победили — и еще быстрее простили. Как кротко ответил народ на нанесенные ему оскорбления, как скоро о них забыл! Только в открытой борьбе, на поле битвы ранил он своих противников. Беззащитных пленных не убивали, бежавших не преследовали, скрывавшихся не разыскивали, подозрительных не беспокоили. Так поступает народ! Но государи непримиримы, и их жажда мести неутолима. Если бы Карл победил, а не был побежден, то веселый Париж был бы сейчас обителью страданий и слез. Каждый день приносил бы с собой новые ужасы, каждая ночь — новую гибель. Ведь мы видим, что происходит в Испании, Португалии, Неаполе, Пьемонте и других странах, где власть победила свободу. Прошли годы со времени одержанной победы, а дело мести и преследования продолжается, как в день самой битвы. А ведь то была победа, которой победители были обязаны только клятвopеступлению! Тысячи томятся еще в тюрьмах, тысячи живут еще в печальном изгнании, меч палача все время обнажен, и там, где даже дают пощаду, где происходят колебания, там это делается лишь для того, чтобы дольше угрожать, дольше держать в страхе. Власть проявила себя такой выродившейся, так низко опустившейся, что зачастую хвасталась жестокостью, которой вовсе не совершала: стыдись справедливости, она только втихомолку щадила некоторых своих пленников и наказывала, как за клевету, тех, кто восхвалял ее кротость! Меня возмущает низкое бесстыдство придворных льстецов, изображающих народ тигром, а государей — ягнятами. Если любой властитель, едва достигнув власти, сейчас же возводит в правило

свою страсть, заранее назначает жестокие наказания за всякое противоречие и это правило и применение этих наказаний распространяются на целые столетия — тогда они называют это законностью. Народ никогда не возводил своих страстей в закон, современность никогда не наследовала злоупотреблений прошлого, чтобы передать их будущему, еще приумножив их. Если глупые, трусливые или продажные судьи на основании старой традиции и полинявших законов могут доказывать, что в одинаковых случаях они всегда были одинаково несправедливы, они называют это правосудием. Если невинно осужденного без шума и без помехи ведут на эшафот сквозь ряды нарядных солдат, сквозь толпы народа, дрожащего от страха, не осмеливающегося ни рыдать, ни даже дышать, то это называют они порядком, а превращение быстрой смерти в медленную тюремную пытку они называют милосердием.

Я поспешил подняться на террасу, откуда открывается вид на Елисейские поля. Там я уселся на стул мечтаний, и моя умственная мельница, так долго стоявшая неподвижно из-за мороза и безветрия, тотчас же принялась весело трещать крыльями. Что это за место! Это большая дорога времени, рубеж истории, у которого скрещиваются пути прошлого, настоящего и будущего. Там внизу стоит мраморный пьедестал, на котором собирались поставить памятник, кажется, Людовику XVI. На нем развеивается трехцветное знамя. Еще не так давно Карл X с большой торжественностью совершал его закладку. Королям не следовало бы выставлять себя на посмешище, продолжая закладывать здания. Лучше бы они прибивали к крышам последнюю черепицу: прошлого отнять у них никто не может. Воистину наступит время, когда царские повара, стоя утром перед своими горшками, будут спрашивать друг друга: «Кому же будем мы в полдень накрывать на стол?» — и в своей философской рассеянности испортят кое-какие кушанья... Чего только не приходило мне в голову там, наверху! Пришло даже на ум то, о чем я уже двадцать лет не думал: то, что двадцать лет тому назад я был в Вене. Был такой же прекрасный день, как сегодня, только еще прекраснее, потому что было первое мая. Я был в Аугартене, который красивее Тюильри. Толпа народа была там так же велика и празднично нарядна, как и здешняя. Но нынче я стар, а тогда был молод. Моя фантазия резвилась, как молодой пудель, и еще нисколько не была выдрессирована: она еще

никогда не носила поносок ни утренней, ни какой-либо другой газете. Она служила только себе, а что приносила, то приносила только, чтобы поиграть, а потом бросала. И вот сегодня в Тюильри я спросил себя: «Когда цвела весна твоей жизни и природы, что думал ты своим свежим умом, что чувствовал своим юным сердцем?» Я вспомнил... Ничего я не вспомнил. Разве только то, что эрцгерцог Карл и с ним другие принцы императорского дома завтракали на виду у всех в беседке и между прочим пили шоколад и сейчас же вслед за шоколадом ели спаржу в масле, что меня в свое время очень удивило. Дальше я вспомнил, что и сам позавтракал, и притом чрезвычайно вкусными сосисками, которые были не длиннее и не толще пальца; с тех пор я не встречал их ни в одной стране... Шоколад, спаржа, сосиски — вот и все мои юношеские воспоминания о Вене! Это прямо чудо! И только сегодня в Тюильри, я, наконец, понял, что можно надеть оковы и на свободу мысли, о чем я часто слышал, но чего никогда не мог постичь.

Когда подошла женщина и потребовала два су за свой стул, я посмотрел на нее с удивлением и дал ей десять. За этот стул, за этот час, за этот вид, за это воспоминание я заплатил бы и золотую монету. Париж тем и чудесен, что многое, правда, в нем стоит дорого, но самое лучшее и прекрасное стоит дешево или совсем ничего не стоит. За два су я угостил свой гнев, поиздевался над сотней королей и большим государством и принес домой полные карманы прекраснейших надежд.

Теперь три часа, а неистовые игроки в зале рулетки напротив все еще обступают стол плотным кругом. Окно, выходящее на улицу, снабжено проволочной решеткой. Несчастные позади этой решетки выглядят как дикие звери. Надеюсь, что среди них нет никого, кто сражался в июле. Спокойной ночи.

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Вторник, 21 декабря

Вчера снова был день, чреватый несчастьями для Парижа, для Франции, для мира, и не сегодня завтра может разразиться гроза. Вот уже восемь дней, как правительство раскрыло заговор и подвергло аресту много людей. Раз-

даются требования казни министров, процесс которых закончится, вероятно, завтра. Вчера несколько тысяч человек собралось перед палатой пэров, выкрикивая угрозы, а сегодня опасаются еще больших волнений. Я настоящий неудачник. Вчера мне пришлось вырвать себе зуб, и я сегодня не могу еще выйти на улицу, потому что лицо у меня опухло. Сегодня весь Париж может быть охвачен пламенем, а я ничего не буду знать, пока не придет вечерняя газета. Вы, может быть, радуетесь этому и от всей души желаете мне зубной боли, а я огорчен, да к тому же еще должен был заплатить двадцать франков за извлечение зуба. Ну и дерут же здесь! Парижане виснут на иностранце, как пьявки, и высасывают из него деньги. Надеюсь, что у правительства хватит силы подавить беспорядки, но все же это дело темное. На национальную гвардию нельзя твердо рассчитывать: большая часть ее жаждет отомстить министрам и не окажет серьезного сопротивления народному восстанию. К этому присоединятся еще: 1) пылкие головы, требующие республики; 2) более умеренные, недовольные политикой правительства и желающие более либеральной палаты и более либерального министерства; 3) приверженцы Карла X; 4) наконец, эмигранты из разных стран — итальянцы, испанцы, поляки, бельгийцы, которые хотят втянуть Францию в войну для того, чтобы в их собственных странах дело дошло, наконец, до решительной развязки. Эти последние, по-видимому, принимают особенно большое участие в подстрекательстве. Сегодня палату пэров будут охранять тридцать три тысячи национальных гвардейцев и линейных войск. Лишь бы дело не дошло до новой революции. Мне все это причиняет огромное огорчение, потому что из-за этого все снова может погибнуть. Вы, наверное, прочтете защитительные речи министров в «Конститусьонель». По моему мнению, лучше всех говорил Пейронне, несомненно самый виновный из всех. Но он человек твердой воли и потому больше всего растрогал присутствующих; он плакал сам и заставил плакать других. Полиньяк оказывается такой пустой головой и таким бездушным царедворцем, что вызывает сострадание. Он вовсе не заслуживает, чтобы ему отрубили голову. Адвокат и защитник Гернон-Ранвиля, по имени Кремье, говоривший вчера, упал в обморок от душевного волнения, и его пришлось вынести. Как же ужасно положение четырех несчастных министров! А их бедные жены и дети! Обыкновенные преступники могут все-таки надеяться, что судьи подарят им жизнь, министры

же должны дрожать при мысли о своем оправдании, потому что им грозит смерть более страшная: не от топора палача, а от рук народа. Больше всех жаль мне Гернон-Ранвилля. Он менее всех виновен: он принимал наименьшее участие в ордонансах, а был только слаб и позволил себя увлечь. Он болен, и притом болезнью, мне знакомой, которою я сам был болен два года тому назад: он не может без боли двинуть ни одним членом, и вот, бледный, страдающий, почти лишенный способности внимания, он должен ежедневно по семи часов изнывать в палате пэров и слушать, как люди препираются из-за его жизни! А ведь мой ревматизм по сравнению с его был благодаря вашему уходу блаженством. Но все-таки я снова становлюсь твердым и упрекаю себя за мягкосердечие, когда задаю себе вопрос: ну а короли и их заплочных дел мастера проявляют ли сострадание к нам, людям из народа, когда мы попадаем к ним в лапы? Ведь этих министров, держащих ответ перед народом, судит, по крайней мере, публичный суд. Их окружают друзья, они узнают своих врагов, своих обвинителей, имеют возможность защищаться, и осуждает их закон, а не месть. Если даже они падут жертвами народного гнева, то все-таки известно, что они погибли невинно. Но те, кого за политические преступления казнят в Милане, в Вене, Мадриде, Неаполе, Петербурге, те из сумерек темницы переходят прямо в могильную ночь, и бог один знает, виновны они или нет.

Днем, в половине двенадцатого

Мой цирюльник (мой министр иностранных дел) рассказал мне только что, что город выглядит нехорошо. По улицам проходят солдаты и национальная гвардия. Народ кричит: «Да здравствуют линейные! Долой национальную гвардию! Долой Лафайета! (Из этого ясно видно, что это движение затеяно карлистами.) Смерть министрам!» Пожалуй, все-таки хорошо, что я не могу сегодня выйти на улицу. И если вы обещаете возместить мне двадцать франков, в которые обошлась мне зубная боль, я буду всем доволен и восхваляю господ. Мое сегодняшнее письмо будет не длиннее того, как оно есть сейчас: у меня нет терпения писать. Мне хочется знать, что происходит в городе, и я злюсь, что не могу выйти. Как могли вы только думать, что меня не интересует Польша! Да ведь это главный акт

всей трагедии. Мне кажется, однако, что я как будто бы писал вам об этом и достаточно заранее ликовал. Но ведь уже восемь дней, как я не слышал ни о какой новой революции; это очень скучно. Я точно пьяница: когда бываю трезв, все у меня валится из рук. Революция, угрожающая сегодня Парижу, мне не по вкусу. Это яд, и яд опасный. Однако я надеюсь, что все обойдется благополучно.

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ

Париж, 24 декабря 1830 г.

Опять была удивительная парижская неделя! Но вы во Франкфурте знаете об этом не менее меня, если читаете газеты, потому что сам я ничего не видел. С прошлой субботы я из-за опухшего лица не выходил из комнаты и только вчера вечером вышел в первый раз. Ну, разве не единственное это место на свете, где в разгар народного восстания, в окружении лагеря из более чем сорока тысяч солдат, можно жить так спокойно и одиноко, как в деревне? Теперь все миновало. Хотите вы точно знать, какое, собственно говоря, значение имела борьба этих дней, и знать при этом точнее, чем какому-нибудь европейскому кабинету удастся узнать из донесений своего посла? Это была борьба между старой, классической, и новой, романтической, партией политики, и последняя, более слабая, потому что она самая молодая и неопытная из всех партий, потерпела поражение. Романтическая партия хочет индивидуальной свободы, а классическая — только национальной. Когда вы читаете о карлистах, не верьте ни одному слову. Конечно, они использовали раскол, но подстроили его, наверное, не они. Но как жаль, что я не присутствовал на представлении этой прекрасной оперы! Сорок тысяч национальных гвардейцев очистили улицы, подобно гигантским метлам, и, подобно последним, без всякого вреда, потому что не было пролито ни одной капли крови. Потом ночью они расположились бивуаком на улице у сторожевых костров; бушующая толпа, король, лично разъезжающий с патрулями, студенты разных школ, свыше пяти тысяч, стекающиеся отовсюду и кричащие: «Спокойствие и порядок!» — какие сцены! Единственно, что в этом деле романтически прекрасно, так это то, что министры не приговорены к смерти. Это, конечно, не удержит лисса-

бонского, миланского и петербургского деспотов от убийства беззащитных пленных, но все же это покажет миру, что народы благороднее государей. Вчера вечером я еще не думал о том, чтобы выйти на улицу, и хотел сделать это только сегодня, но вдруг я случайно увидел сквозь щель ставня какой-то необычайный свет. Я открыл окно и увидел, к своему изумлению, что противоположный дом иллюминирован. Тогда я быстро оделся, послал за экипажем и целый час разъезжал по городу. Многие дома были иллюминированы, иные — от радости, что порядок восстановлен, иные — в честь короля, который, поздно возвращаясь со смотра национальной гвардии, проезжал по улице верхом на коне. С полудня и до девяти часов вечера вчерашнего дня он объездил все городские кварталы и в каждом квартале производил смотр национальной гвардии. О короле существует только одно мнение. Все партии (конечно, только не карлисты) любят его. Да и он как раз с ног до головы такой король, какого любят и в каком нуждаются французы. Он король-буржуа. Хотя он искренно таков, причем столько же вследствие своего темперамента и взглядов, сколько и ради политики, но он в то же время театрален. Он говорит хорошо, легко, сердечно, но с пафосом и жестикуляцией, как это здесь любят. Ведь так легко быть хорошим королем, и государям стоит гораздо больших усилий сделаться ненавистными для своих подданных, чем сколько бы им стоило приобрести их любовь!.. Но единственным прекрасным характером новейшего времени есть и остается Лафайет. Он — состарившаяся мечтательность, какой никогда не было на свете и которая даже никогда не изображалась. Ему скоро будет восемьдесят лет, он испытал всевозможные обманы, всяческие измены, лесть, всякого рода насилие — и все еще верит в добродетель, правду, свободу и право. Такие люди лучше доказывают бытие божие, чем Ветхий и Новый завет и Коран, вместе взятые. Еще и по сей день, хотя он, правда, многими любим, всеми уважаем, но и никем не оценен, его не обманывают только враги, открыто высказывающие свою ненависть к нему, а друзья пользуются им, злоупотребляют, обманывая его, и часто насмеваются над ним. Он — как изображение бога в храме, во имя которого лицемерные попы требуют от людей того, чего сами вожделеют, а втихомолку высмеивают верующих и их бога. А он, неизменный, как солнце, движется по своему пути, не заботясь о том, используют ли его свет добрые для добрых дел или дурные — для дурных.

Сколько еще пройдет времени, пока Франция сделается достойной Лафайета. Но когда-нибудь это придет. Он представляется мне наподобие стены вновь основываемого города, которую уже вывели кругом, но внутри которой все еще пустынно и нет ни одного выстроенного дома.

Суббота, 25 декабря

Проходя вчера вечером по улице Мира, я встретился с отрядом национальной гвардии, впереди которого били барабаны, несшим на носилках увенчанный лаврами бици короля. Не знаю, куда они его несли. Вероятно, в караульню. Веселый народ французы: целый день у них комедия. Теперь учащаяся молодежь снова задает правительству много хлопот, а я злорадствую от всего сердца. Во время волнений последних дней школы очень много сделали для восстановления порядка. Так вот, третьего дня палата депутатов вотировала благодарность школам в самых торжественных выражениях. Но учащиеся напечатали вчера вечером в газете прокламацию, в которой язвительно обращаются к палате: вашей благодарности мы не хотим, дайте нам свободу, которую вы нам обещали, «свободу, из-за которой с нами теперь торгуются и за которую мы заплатили сполна в июле». О как они правы! Вам в Германии нечем так уж особенно гордиться: у нас здесь столько же дураков, как и у вас. Здесь они тоже говорят, что французы еще не созрели для большей свободы, чем та, которой они сейчас обладают, что это надо предоставить будущему. Итак, они будут стоять на месте, пока галопом не прискачет будущее, между тем как все обошлось бы мирно, если бы они сами пошли ему навстречу. Совершенно несомненно, что Франция раньше или позже испытает новую революцию. Проклятие людей в том, что они никогда не становятся разумными по доброй воле; их нужно для этого подгонять кнутом. Можно прийти в отчаяние от того, что Лафайет, единственный, кто искренно относится к свободе, обладает слишком слабым характером. Если бы он захотел, он всего бы мог добиться. Ему стоило бы только погрозить, что он сложит с себя командование национальной гвардией и уйдет в отставку, если французам не дадут того, что им было обещано,— и король, министры и палата должны были бы уступить. Король ба-

варский думает, вероятно, что так как он в своей жизни налепил много рифт, то может позволить себе и нелепости. Хорошо мне знакомый Лишинг уже пятый писатель, за последнее время изгоняемый из Мюнхена все тем же подлым образом: «временно высылается как лицо неподходящее» — очень хорошо сказано! У германского деспотизма от старческой слабости окостенели члены. Подобное поведение баварского правительства до такой степени чрезмерно глупо, так необыкновенно нелепо, что мне кажется, что за глупостью здесь скрывается сверхмудрость, а именно что под видом согласия с окончательно свихнувшимся союзным сеймом оно преследует свои собственные планы. Иначе я не могу себе этого объяснить. Но, может быть, и я тоже ошибаюсь: нет ничего гениальнее идиотства любого немецкого правительства, здесь ничего нельзя рассчитать.

В июльской революции мне больше всего нравится то, что в Варшаве повесили начальника тайной полиции и напечатали список всех полицейских шпионов. Надеюсь, что это послужит предостережением для шпионов других стран. Тайная полиция в Варшаве обходилась ежедневно в 6000 гульденов. Эти сведения, а также другие документы, относящиеся к полиции, найдены во дворце Константина. Тридцать молодых людей из кадетской школы проникли во дворец. Половина из них легла на месте. Три генерала были убиты в передней Константина. Он спасся с трудом. Заговорщики, увидев жену Константина, очень вежливо ей поклонились и сказали, что она им совсем не нужна, что они ищут только ее мужа. Но я боюсь, что бедным полякам придется плохо. Император Николай действует против них силою, и я не знаю, как они смогут сопротивляться. Однако полагаюсь на волю божию.

Душевные волнения! Нет. Теперь не то, что прежде, когда мы сидели в тяжелой телеге и медленно тащились вперед, везя с собой правое дело, а нас подталкивали, мы же медленно сползали с горы и иногда опрокидывались, — теперь нас, сонных, влечет по морю большой корабль, и ветер быстро нас гонит. Ни пылинки, ни кочек, ни усталости. Пусть встретят нас бури, подводные камни: от этого я становлюсь только бодрее. Мелкие дрызги, бабья воркотня судьбы — только это могло бы взволновать меня. Тирания может еще раз победить нас, но на этот раз уже в открытом бою, после того как мы защищались. А бить нас, как собак, и привязывать на цепь — с этим покончено.

Лишь бы не пасть безоружными. Я очень спокоен и с удовольствием плыву по мировому морю, как непросоленная селедка.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ

Париж, 24 января 1831 г.

Вы, конечно, ждете уже четыре дня великолепного описания бала в Опере: нет, отчаливайте немедленно обратно. Я знаю об этом бале не больше, чем любой государь о своей стране, потому что я смотрел на него только сверху вниз. Ну, так вот, я был там и все еще там нахожусь. Вот где чудо! Бал устроен был, по-видимому, только для того, чтобы показать, как мало пространства и воздуха нужно человеку для того, чтобы жить. И это они называют удовольствием! Если я когда-нибудь составлю уголовный кодекс, то в наказание тяжким преступникам назначу пребывание на таком балу в течение тридцати ночей подряд. Согласно наилучшим медицинским и хирургическим руководствам, из присутствовавших 7000 человек 2000 должны бы были задохнуться, 2000 — быть задавленными, а остальные 3000 — почувствовать себя более или менее худо. Но ничего подобного не случилось, и все еще живы. В женщинах я еще это понимаю: их на каждом балу поддерживает религия, вера мучеников, которая делает тело совершенно нечувствительным и как бы уничтожает его. Но как выдерживали мужчины? Ни у одного не было ни места, ни воздуха больше, чем бывает в гробу. Французы, наверное, устроены на пружинах. Но действительно зрелище было великолепное, волшебное. Это была сказка из «Тысячи и одной ночи». Этот яркий, как солнце, блеск свечей, это ослепительное смешение красок из золота, серебра и шелка, из женщин, хрусталя и цветов, и все это расположено с таким умом и искусством, что глаз наслаждался, а не ослеплялся. Да к тому же еще музыка, как бы расшитая по большому ковру, одним словом, это было чересчур прекрасно. В партере, продолжением которого была сцена, стояли ряды скамеек, на которых сидели дамы; они были рассажены также сзади балюстрады вдоль стен. В узких проходах двигались темные мужчины, или (следовало бы сказать) двигался мужчина; ведь все они как будто срослись вместе. А снизу доверху сидели огромными

кругами женщины, все выше поднимаясь одни над другими в рядах лож, вплоть до самого потолка, где обыкновенно сидит только простой народ. Отдельных движений не было видно, человек терялся, превращаясь в вещь. Жизнь обращалась в картину. Из среднего ряда лож я смотрел вниз, вверх, вокруг, но вид снизу, а в особенности из глубины зала, должен был быть еще красивее. Я не мог туда пробраться, а позволить, как это делали другие, впихнуть себя туда, я не решился. Большое фойе Оперы было так же великолепно, как и театр, освещено и разукрашено. Там танцевали. Там собрались все, что не могли вместить театр и ложи и что переливалось через край. Коридор и лестницы, обычно предназначенные для того, чтобы по ним ходили, поднимались и спускались, служили местопребыванием для гостей и были так же битком набиты людьми, как самый зал.

Внизу при входе нас встречал оркестр музыки; лестницы были украшены большими зеркалами и цветами, пол устлан коврами. Между двумя рядами национальных гвардейцев публика поднималась наверх. Во многих местах были устроены буфеты. Прохладительные напитки всякого рода в богатейшем изобилии. Они ничего не стоили посетителям: их стоимость была включена в цену билетов. Королевские лакеи сервировали столы королевской серебряной посудой. У буфетов я очень хорошо проводил время. Простаивал около них часто и подолгу: и не для того, чтобы угощаться, но с чистейшими намерениями, а именно для того, чтобы подышать чистым воздухом. Из буфетов настежь открытые двери вели к двум балконам, выходящим на улицу, которые были затянуты парусиной и служили кухней. Там, и только там во всем доме, можно было свободно дышать. Зрелище, которое представляли собой буфеты, было вообще забавно. Есть что-то величественное в наблюдении над тем, как ест и пьет такая огромная человеческая толпа! Высокие горы пирожков, тортов, варенья, фруктов; потоки лимонада, малинового варенья, оршада; целые глыбы мороженого — все это исчезло в одну минуту, и никто не знал — куда. Это было похоже на фокус. В одно мгновение все было восстановлено и возобновлено, и в одно же мгновение снова исчезло; и так без конца; и все это попадало в маленький рот! Я видел, как один офицер национальной гвардии проявил свою воинственность, выхватив саблю и разрубив ею огромный торт. Он перестал рубить и глотать лишь тогда, когда округлил область своего тела.

Но француз называет это не завоеванием, а возвращением естественных границ. Так-то вот они прирежут к себе в ближайшее время сладкую Бельгию и выпьют Рейн, как стакан лимонада. Очень скоро! *Nous n'aimons pas la guerre, mais nous ne la craignons pas*¹ — это значит: мы любим войну, но до сих пор ее боялись, потому что еще не были вооружены.

Порядок на балу был образцовый: это было мастерским произведением полиции. Было даже два уютнейших маленьких лазарета, предназначенных для приема раненых женщин. Это было чересчур даже мило! Задрапированная темно-зелеными занавесками комнатка, полутемнота, салфетки, свежая вода, всевозможные соли и ароматные вещи, ножницы для разрезывания корсетов, уксус, лимоны, короче говоря, все, что нужно, чтобы привести женщину в чувство. В каждом лазаретике — опытная сиделка, искусенная во всех тайнах женских обмороков; снаружи у дверей — стража. Видя поле битвы, я думал, что сюда должны были приносить целые кучи сраженных женщин, но до полуночи не было ни одной. Мне бы, конечно, следовало знать, что женщины чаще падают в обморок в церквях, чем на балах... Присутствовал и король со всей королевской фамилией. Я впервые видел его совсем близко. Молодые принцы очень привлекательны. Будь они законными, я бы их, кажется, расцеловал. Они были встречены громкими выражениями сердечной любви. Я был в прихожей и слышал приветственные крики. Вероятно, очень величественным представлялось зрелище, когда при входе короля вся эта многочисленная толпа людей поднялась со своих мест и приветствовала его. Мне больше всего было досадно, что только одного этого я и не видел. В полночь я уже лежал в постели, от всего сердца радуясь, что моему удовольствию настал конец, и сожалел о беднягах, оставшихся еще на балу. Жара была такая, что задохнуться можно было. Уж лучше находиться в Аравийской пустыне, где, по крайней мере, не приходится вдыхать в себя испорченное дыхание других людей. Я всосал так много французского воздуха, что мне любопытно знать, какие это будет иметь последствия и какие изменения вызовет это в моей немецкой натуре. Я бы хотел, чтобы аэронавт привязал мне к ногам гондолу и испытал меня. В половине восьмого утра разъехались последние экипажи. Я произвел маленький подсчет, во сколько обходится подобный бал

¹ Мы не любим войны, но и не боимся ее (*фр.*).

и сколько денег он пускает в оборот. В Париже все сейчас принимает большие размеры, и малейший расход отдельного лица становится для массы большим бюджетом. 7000 билетов было продано по двадцать франков. Кроме того, королевская фамилия заплатила за вход 8000 франков, а многие частные лица платили за свои билеты по 1000 франков. 7000 пар перчаток, по 50 су в среднем, составляют 17 500 франков; причесывание 2500 женщин (столько их было на балу), по 4 франка в среднем с головы,— 10 000 франков; 2500 пар башмаков по 4 франка составляют 10 000 франков; наемные экипажи туда и обратно — по меньшей мере 16 000 франков; даже и это одно составляет уже сумму свыше 200 000 франков, а ведь к этому надо присчитать и то, что дамы и кавалеры истратили на другие украшения и одежды! На балу я впервые увидел также живыми все фигуры из «франкфуртского журнала мод» (только с более красивыми лицами). Ах, что за красивая одежда! Мне бы хотелось быть модисткой, чтобы суметь описать вам все это. Особенно обратил я внимание на одно платье, сделанное не знаю как; цвет его я позабыл, а на голове был убор, которого я не понял, — ну, да вы-то уж поймете. Это было нечто особенное! Однако я видел также наряды бессмысленные и безвкусные и до того мещанские, точно они изготовлены были во Фридберге. Это были, вероятно, буржуазные мамыши и дочки из квартала Марэ или с улицы Сен-Дени, богатые, но только лишенные вкуса. Припоминаю также, что на немецких балах я никогда не видел столько старых, некрасивых, даже уродливых женщин, которые бы так бесстыдно рядились под молодых и красивых, как здесь.

Огюст Барбье

СОБАЧЬЯ СКЛОКА

1

Когда тяжелый зной гранил большие плиты
На гулких набережных здесь,
Набатом вспаханный и пулями изрытый
Изрешечен был воздух весь;
Когда Париж кругом, как море роковое,
Народной яростью серчал

И на покашливанье старых пушек злое
Марсельской песней отвечал,
Там не маячила, как в нашем современьи,
Мундиров золотых орда,—
То было в рубище мужских сердец биенье,
И пальцы грязные тогда
Держали карабин тяжелый и граненый,
А руганью набитый рот
Сквозь зубы черные кричал, жуя патроны:
«Умрем, сограждане! Вперед!»

2

А вы, в льняном белье, с трехцветкою в петлице,
В корсет затянутые львы,
Женоподобные, изнеженные лица,
Бульварные герои, вы,—
Где были вы в карточь, где вы скрывались молча
В дни страшных сабельных потерь,
Когда великий сброд и с ним святая сволочь
В бессмертье взламывали дверь?
Когда Париж кругом давился чудесами,
В трусливой подлости своей
Вы, как могли, тогда завесили коврами
Страх ваших розовых ушей...

3

Свобода — это вам не хрупкая графиня,
Жеманница из Сен-Жермен,
С черненой бровкою и ротиком в кармине
И томной слабостью колен,—
Нет, это женщина грудастая, большая,
Чей голос груб и страсть сильна,
Она смугла лицом, и, бедрами качая,
Проходит площадью она.
Ей нравится народ могучий и крикливый,
И барабанный перекат,
Пороховой дымок и дальние наплывы,
Колоколов густой набат.
Ее любовники — простонародной масти,
И чресла сильные свои
Для сильных бережет и не боится власти
Рук, не отмытых от крови.

4

То дева бурная, бастильская касатка
 И независимость сама,
 Чья роковая статья и твердая повадка
 В пять лет народ свела с ума.
 А после, охладев к девическим романам,
 Фригийский растоптав колпак,
 С двадцатилетним вдруг бежала капитаном
 Под звуки труб в военный мрак.
 И великаншею — не хрупкою фигуркой —
 С трехцветным поясом встает
 Перед облупленной расстрелом штукатуркой,
 Нам утешенье подает,
 Из рук временщика высокую корону
 В три дня французам возвратит,
 Раздавит армию и, угрожая трону,
 Булыжной кучей шевелит.

5

Но стыд тебе, Париж, прекрасный и гневливый!
 Еще вчера, величья полн,
 Ты помнишь ли, Париж, как, мститель справедливый,
 Ты выкорчевывал престол?
 Торжественный Париж, ты ныне обещен,
 О город пышных похорон,
 Разрытых мостовых, вдоль стен глубоких трещин,
 Людских останков и знамен.
 Прабабка городов, лавровая столица,
 Народами окружена,
 Чье имя на устах у всех племен святится,
 Затмив другие племена,
 Отныне ты, Париж, — презренная клоака,
 Ты — свалка гнусных нечистот,
 Где маслянистая приправа грязи всякой
 Ручьями черными течет.
 Ты — сброд бездельников и шалопаев чинных,
 И трусов с головы до ног,
 Что ходят по домам и в розовых гостиных
 Выклянчивают орден.
 Ты — рынок крючников, где мечут подлый жребий —
 Кому падет какая часть
 Священных кровию напитанных отребий
 Того, что раньше было власть.

Вот так же, уязвлен и выбит из берлоги,
 Кабан, почуя смерти вкус,
 На землю валится, раскидывая ноги,—
 В затылок солнечный укус,
 И с пеною у рта, и высунув наружу
 Язык, рвет крепкие силки,
 И склоку трубит рог, и перед сворой дюжей
 «Возьми его!» — кричат стрелки.
 Вся свора, дергаясь и ерзая боками,
 Рванется. Каждый кобелек
 Визжит от радости и ляскает зубами,
 Почуяв лакомый кусок.
 И там пойдет грызня и перекаты лая
 С холма на холм, с холма на холм.
 Ищейки, лягаши и доги, заливаясь,
 Трясутся: воздух псарней полн.
 Когда кабан упал с предсмертною икотой —
 Вперед! Теперь царюют псы.
 Вознаградим себя за трудную работу
 Клыков и борзые часы.
 Над нами хлыст умолк. Нас грозный псарь
не дразнит,
 По нашу душу не свистит,
 Так пей парную кровь, ешь мясо — это праздник!

 И, как охочая к труду мастеровщина,
 Налягут все на теплый бок,
 Когтями мясо рвут, хрустит в зубах щетина,—
 Отдельный нужен всем кусок.
 То право конуры, закон собачьей чести:
 Тащи домой наверняка,
 Где ждет ревнивая, с оттянутою шерстью
 Гордячка-сука муженька,
 Чтоб он ей показал, как должно семьянину,
 Дымящуюся кость в зубах
 И крикнул: «Это власть! — бросая мертвечину.—
 Вот наша часть в великих днях...»

ЛЕВ

1

Я был свидетелем той ярости трехдневной,
Когда, как мощный лев, народ метался гневный
По гулким площадям Парижа своего,
И в миг, когда картечь ошпарила его,
Как мощно он завыл, как развевалась грива,
Как морщился гигант, как скалился строптиво...
Кровавым отблеском расширились зрачки,
Он когти выпустил и показал клыки.

И тут я увидел, как в самом сердце боя,
В пороховом дыму, под бешеной пальбою,
Боролся он в крови, ломая и круша,
На луврской лестнице... И там, едва дыша,
Едва живой, привстав и, насмерть разъяренный,
Прочь опрокинул трон, срывая бархат тронный,
И лег на бархате, вздохнул, отяжелев,—
Его Величество Народ, могучий лев!

2

Вот тут и началось, и карлики всей кликой
На брюхах поползли в его тени великой.
От львиной поступи одной лишь побледнев,
Старалась мелюзга ослабить этот гнев,
И гриву гладила, и за ухом чесала,
И лапу мощную усердно лобызала,
И каждый звал его, от страха недвижим,
Своим любимым львом, спасителем своим.

Но только что он встал и отвернулся, сытый
Всею этой мерзостью и лестью их открытой,
Но только что зевнул, и, весь — благой порыв,
Горящие глаза на белый день открыв,
Он гривую тряхнул, и, зарывчав протяжно,
Готовился к прыжку, и собирался важно
Парижу объявить, что он — король и власть,—
Намордник тотчас же ему защелкнул пасть.

Теофиль Готье

ПАРИЖ

Там свист, и вой, и лязг, и грохот,
Толкучка, давка, скрежет, хохот,
Огонь, и дым, и жар, и смрад.

Гете. «Фауст»

Мне вспоминается, как в детские года
Со жгучей завистью смотрел я вверх — туда,
Где гуси дикие летели вереницей:
О, если бы и мне стать перелетной птицей,
Чтоб проносила даль за далью под крылом.
Лететь, как метеор, в пространстве мировом!

*Эжен де ****

Бог мой! Что за дома! Что за дивные строения!

Стефан Кнобельсдорф

Приемный зал владыки преисподней.

«Дон-Жуан», песнь X

Чуть клетку, где в плену сидит орел могучий,
Вновь солнце озарит, прорвав лучами тучи, —
Как будто золотой на небо прынул лев
И гривой огненной взмахнул, расвирепел, —
Вновь принимается орел о прутья биться,
Чтоб умереть в борьбе или освободиться.

Вот так моя душа: увы, заточена
В телесную тюрьму, стремится ввысь она.
Едва Поэзия священной десницей
Касается ее — она взмывает птицей,
Мечтая устремить ликующий полет
В заоблачную даль, в лазурный небосвод,
В бескрайний тот простор, к безвестным тем чертогам,
Где бы она, паря между землей и богом,
Лишь с ангелами свой пересекала путь,
Где воздух горних сфер могла б она вдохнуть,
Омыться в девственном, живительном эфире, —
Ей трудно дышится в нечистом нашем мире,
Подобном старику, что из последних сил
Еще румянится, но весь внутри прогнил.
Нужны ей пики гор и вздыбленные скалы,
Ступени мрачные, крутые пьедесталы
Престола, с коего на мерзость бытия
Взирает сумрачно безмолвный Судия!

Ей нужен грохот гроз и гул обвалов снежных,
В которых слышится роптанье толп мятежных;
Ей нужен пенистый поток, что мчит стремглав,
Деревья повалив, камни раскидав,
И то в своей щели, как грешник в бездне ада,
Ревет и корчится, то гриву водопада
Взьерошивает вдруг, как призрачный Конь Блед;
Ей нужен трепетный и хрупкий лунный свет,
Который искрится на лапах стройной ели,
Играет тенями на башнях цитадели
И контур флюгеров, решеток и ворот
Наносит серебром на черный небосвод.

Но для моей души запретны те просторы...

Ей были бы милы леса, и косогоры,
И свежие луга, и тучные поля,
И шелестящие под ветром тополя,
И дом бревенчатый, с дымком, что струйкой белой
Вплетается в листву над кровлею замшелой,
Чей бархатный ковер разостлан для гостей:
Весною — для цветов, весь год — для голубей;
И сад с колодезем, увитым виноградом,
И горделивые, с капустной грядкой рядом,
Два розана на мной посаженном кусте,—
Порой у Гоббеми мы видим на холсте
Такие уголки уютные, в которых
Столь сладостно мечтать под нежный листьев шорох...

Но нет и этого! Есть шумный город. В нем —
Туманный полумрак как ночью, так и днем,
А солнце, глянув с крыш в угрюмые ущелья,
Таращит мутный глаз, как пьяница с похмелья;
Над морем кровель,— их едва ль не круглый год
То нудный дождь кропит, то проливень сечет,—
Щетина труб, они, трудясь неутомимо,
Ткут плотный балдахин из копоты и дыма;
Дома раскрашены всяк в свой кричащий цвет,
Пестреет улица — точь-в-точь шотландский плед;
А церкви старые, во мглу вонзая шпили,
Средь мира нового, им чуждого, застыли,
И очертания ребристых этих глыб
Напоминают нам скелеты странных рыб.
Толпа шумит, гудит — смех перемешан с бранью,

Фланирующий фронт — в соседстве с нишей рванью,
Гризетка на бегу лукавый мечет взор,
Роскошный тильбюри летит во весь опор;
Подобно кораблям, что грудью режут воды,
Тележки юркие и грузные подводы
Отважно режут грязь ободьями колес.
Повсюду золото, и рядом с ним — навоз!
Все вместе собрано, размешано, растерто...
Клокочет и бурлит огромная реторта,
Где варево свое приготовляет смерть.
И ходит ходуном крутая круговерть —
Богатство, нищета, уродство, благолепье,
Бесценная парча и грязные отрепья,
Голодные глаза фабричной бедноты
И праздных богачей тугие животы.
Контрастам нет конца и крайностям нет края!
Вот добрый наш Париж, столица наша злая!
И между тем, клеймя сей наших дней Содом,
Художник и поэт, — я обречен жить в нем.

ПАРИЖСКИЙ ОБЕЛИСК

Я — обелиск, отъят от брата,
Меня преследует тоска,
Бичи дождей, удары града
Изъязвили мои бока.

В горниле огненной пустыни
Был старый шпиль мой накален,
Но здесь, под небом, чуждым сини,
Поблек от ностальгии он.

Зачем средь сумрачных колоссов,
Которыми велик Луксор,
Близ брата, что от солнца розов,
Не остаюсь я до сих пор,

Вонзая шпиль неукротимо
В лазурь, недвижимую в веках,
Своею тенью ход светила
Записывая на песках?!

Рамзес, гранит мой величавый
Кирку столетий притупил,
Но я Парижу стал забавой,
Я на потеху отдан был.

Величья воин непреклонный,
Гранитный страж, презревший тлен,
Стою между дворцом Бурбона
И лжеклассической Мадлен.

Груз тайны, груз гранитной плоти —
Тысячелетия мои
Воздвигнуты на эшафоте
Кумира павшего — Луи.

Здесь воробьев крикливых стаи
Бесчестят острие иглы,
Где прежде перьями блистали
Золотоклювые орлы.

И Сена, сточная канава,
Грязнит, поганит пьедестал,
Который прежде, в годы славы,
Нил благодатный целовал,

Нил, вод отец, даритель ила,
Венчанный лотосом, седой,
Не пескаря, а крокодила
Выплескивающий с водой.

Я помню золотые краски
Тех колесниц далеких дней —
И громыхание коляски
Последнего из королей.

Жрецы в своих тиарах жарких
Передо мной склонялись ниц,
Ведя мистические барки
Со знаками жуков и птиц.

Теперь я сторож при фонтанах,
Где властвует мирская грязь,
Смотрю, как мчатся в шарабанах
Кокотки, нагло развалясь,

Как буржуа самовлюбленно
Красуются весь год подряд;
В палату шествуют Солоны,
Вершат Артуры променад.

О сколько нечисти в гробницах
Накопит за сто грешных лет
Народ, который в прах ложится
Без погребальных узких лент!

Им нет спасения от гнили,
Не ждет людей подземный грот,
Чтоб в нем достойно хоронили
Из века в век за родом род.

О край, где спят иероглифы,
Где ястреб на гнезде притих,

Где сфинксы когти, словно грифы,
Острят на цоколях своих,

Где тайна предков не избыта,
Где под ногою склеп звенит...
Я вспоминаю свет Египта —
И плачет, плачет мой гранит!

Оноре де Бальзак

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРИЖ АФРИКАНСКОГО ЛЬВА И ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОСЛЕДОВАЛО

1. ПО КАКИМ СООБРАЖЕНИЯМ ВЫСОКОЙ ПОЛИТИКИ ПРИНЦ ЛЕО ДОЛЖЕН БЫЛ СОВЕРШИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРИЖ

Там, где кончаются горы Атласа и начинается пустыня, царит старый хитрый лев. В молодости он путешествовал вплоть до Лунных гор; он пожил в Берберии, в Томбукту, в Готтентотии, в республиках слонов, тигров, бушменов и троглодитов, налагая на них контрибуцию, но не доставляя им особых неприятностей, ибо только в старости, когда притупились его зубы, он стал терзать баранов, дробя их

кости. Неизменно любезное его обхождение дало ему прозвище Космополит, то есть друг всего мира. Усевшись на трон, он пожелал оправдать львиное правосудие следующей дивною аксиомою: *хватать — значит изучать*. Он слывет за одного из образованнейших монархов. Это не мешает ему ненавидеть литературу и литераторов.

— Они вносят еще больше путаницы в то, что и без них запутано! — говорит он.

Но как он ни старался, его народ стремился к учености. Острые когти грозили ему со всех концов пустыни. Не только подданные Космополита шли ему наперекор, даже семейство его начинало роптать. Когтистые принцы упрекали его за то, что он запирается с псом-гриффоном, своим фаворитом, и пересчитывает сокровища, никого до них не допуская.

Этот лев много говорил, но мало действовал. Под львиными гривами начиналось брожение умов. Время от времени обезьяны, взобравшись на деревья, разрешали опасные вопросы. Тигры и леопарды требовали ровного дележа добычи. Словом, как это часто происходит и в человеческом обществе, вопрос о том, кому мясо, а кому кости, поселил несогласие в массах.

Уже не раз старый лев бывал вынужден пускать в ход все меры для подавления народного недовольства, опираясь на промежуточный класс собак и рысей, которые дорого продавали свои услуги. Космополит был слишком стар, чтобы самому сражаться, к тому же он желал тихо окончить свои дни, умереть в своем собственном логовище. Но когда трон затрещал, пришлось льву задуматься. Если их высочества львята чрезмерно ему досаждали, он отменял раздачу продовольствия и брал их измором: в путешествиях он узнал, как быстро смягчаешься при пустом брюхе. Увы! Пришлось ему жевать и пережевывать этот вопрос. Видя, что львиное царство находится в состоянии возмущения, угрожающего крайне неприятными последствиями, Космополит додумался до мысли, весьма прогрессивной для зверя, но не удивившей министров, которым были хорошо знакомы ловкие обманы, прославившие его в молодые годы.

Однажды вечером, сидя в кругу семейства, он несколько раз зевнул и произнес затем следующие мудрые слова:

— Поистине, я очень устал все катить да катить камень, именуемый королевской властью. Грива моя поседела, слова мои истощились, капитал израсходован, а нажил

я совершенные пустяки. Я должен раздавать кости всем, кто выдает себя за опору моей власти! Да хоть бы достиг я чего-нибудь! Нет, все жалуются. Один я не жаловался,— вот, однако, и меня забирает эта болезнь! Быть может, лучше предоставить все естественному течению и передать скипетр вам, дети мои! Вы молоды, вы заручитесь симпатиями молодежи и сумеете избавиться от всех недовольных львов уже одним тем, что не дадите им возможности победить.

Тут к его львиному величеству вернулась молодость, и он запел марсельезу львов:

Ваши когти точите острее!
Вашу гриву взьерошьте торчком!

— Отец,— сказал молодой принц,— если вы склонны уступить воле нации, то я готов признаться, что львы всех частей Африки, негодуя на *fagniente*¹ вашего величества, уже поднимают бури, которые могут погубить государственный корабль.

«Ах ты, плут эдакий,— подумал старый лев,— ты заразился болезнью королевских наследников, ты только и ждешь моего отречения!.. Ладно! Мы научим тебя умуразуму».

— Принц,— уже вслух продолжал Космополит,— чтобы царствовать, в наше время нужда не слава, а ловкость, и, желая вас убедить в этом, я вас усажу за работу.

Это известие, распространившись по всей Африке, произвело неслыханный переполох. Еще никогда ни один лев в пустыне не отрекался от престола. Кое-кого низвергли узурпаторы, но никому и в голову не приходило добровольно покинуть престол. Поэтому церемония отречения не могла состояться за отсутствием прецедента.

Утром, на заре, огромный пес, командир вооруженной алебардами стражи, надев парадную форму и обвешав себя всяческим оружием, выстроил отряд в боевом порядке. Старый король уселся на троне, над которым висел его герб с изображением химеры, удирающей от кинжала. Тогда пес-гриффон пронес мимо всех придворных простофиль скипетр и корону. Космополит негромким голосом

¹ Ничегонеделание (*ит.*).

сказал следующие замечательные слова лъвьятам, получившим его благословение и ничего более, ибо он, рассудив здраво, все свои сокровища оставил себе:

— Дети, на несколько дней предоставляю вам свою корону, попробуйте угодить народу; обо всем, что произойдет, будете сообщать мне.

Потом громким голосом и обращаясь ко двору он закричал:

— Повинуйтесь сыну моему, он получил от меня наставления!

Едва молодой лев стал управлять делами, на него повела наступление львиная молодежь, и ее чрезмерные требования, ее убеждения, ее пыл, находившиеся, впрочем, в полном согласии с образом мыслей обоих царственных лъвят, привели к отставке прежних королевских советников. Каждый спешил предложить свое содействие за определенную плату. Оказалось, что число открывшихся вакансий не соответствует числу законных претендентов, нашлись недовольные, которые стали возбуждать уже подготовленные к тому массы. Начались бунты, поневоле пришлось принять меры и прибегнуть к многолетней опытности Космополита, который — вы, конечно, догадаетесь — сеял смуту. Итак, в несколько часов удалось подавить восстание. В столице воцарился порядок. Последовало целование когтистой лапы, а затем двор устроил пышный карнавал, чтобы отпраздновать возврат к прежнему режиму, который будто бы соответствовал воле народа. Молодой принц, обманутый этой сценой из высокой комедии, вернул трон отцу, который возвратил ему свое благоволение.

Дабы избавиться от сына, старый лев дал ему важное поручение. Если для людей существует восточный вопрос, то для львов существует европейский вопрос, ибо с некоторых пор европейцы узурпаторски завладели львиным именем, львиной гривой и львиной привычкой покорять. Национальное самолюбие львов было затронуто. И, чтобы дать пищу умам, чтобы удержать их от нового восстания, Космополит счел необходимым провоцировать «камарилью» на внесение в королевское логовище запроса о международных делах. Его львиное высочество в сопровождении зауряд-тигра отправился в Париж, не взяв с собой никакого атташе.

Ниже мы печатаем дипломатические депеши как самого принца, так и зауряд-тигра.

2. КАКОВО БЫЛО ОБХОЖДЕНИЕ С ПРИНЦЕМ ЛЕО ПО ПРИБЫТИИ ЕГО В СТОЛИЦУ ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА

Депеша первая

Ваше величество!

Едва ваш августейший сын миновал Африку, французские сторожевые посты встретили его ружейными выстрелами. Мы поняли, что солдаты таким образом воздавали должные почести его рангу. Французское правительство поспешило ему навстречу; ему был предложен элегантный экипаж, украшенный железными прутьями, полыми внутри, который должен был привести его в восторг, ибо свидетельствовал о прогрессе современной промышленности. Нас кормили мясом высшего сорта, и нам оставалось только восхвалять гостеприимное обхождение Франции. Принц был принят на борт корабля, носившего, в знак внимания к звериной расе, название «Бобр». Попечением французского правительства мы доставлены в Париж, нам отведена квартира за счет государства в очаровательном местечке, именуемом Королевским садом, куда стекается столько народу посмотреть на нас, что знаменитейших ученых приставили к нам в качестве сторожей, и, охраняя нас от чьей бы то ни было неделикатности, господа ученые отделили нас от толпы железными перекладинками. Мы прибыли в удачное время, здесь находятся послы, съехавшиеся со всех концов мира.

В соседнем особняке я заметил белого медведя, явившегося из заморских стран, чтобы заявить протест от имени своего правительства. Князь Медведев сказал мне, что Франция нас одурачила. Парижские львы, обеспокоенные нашим дипломатическим поручением, устроили так, что нас держат взаперти. Ваше величество, мы оказались пленниками.

— Где нам можно увидеть парижских львов? — спросил я у него.

Ваше величество, соблаговолите обратить внимание на тонкость моего поведения. В самом деле, дипломатия львиной нации не должна унижать себя обманом, откровенность — средство более искусное, чем скрытность. Медведь, довольно простоватый, тотчас же угадал мою мысль и без всяких околичностей ответил, что парижские львы живут в тропических районах, где почва состоит из асфаль-

та, где деревья, из коих добывают лак, произрастают, орошаемые деньгами некоей феи, призванной в муниципальный совет округа Сены.

— Идите прямо, прямо, и когда под вашими лапами окажется мраморная плита, на которой написано слово «Сейсель!» — грозное имя, носитель которого поглотил несметное количество золота, пожрал целые состояния, разорил львов, заставил уволить много тигров и распродать лошадей, послал путешествовать рысей, довел до слез крыс, отнял награбленное у пиявок!.. Когда сверкнет перед вами это имя — значит, вы пришли в квартал Сен-Жорж, где находят себе убежище парижские львы.

— Вы должны быть довольны, — сказал я вежливо, как и полагается говорить послам, — тем, что здесь не злоупотребляют именем Медведевых, царствующих на севере.

— Простите, — продолжал он, — Медведевых парижские насмешники шадят не больше, чем вас. Я видел в типографии человека, именуемого «медведь» только потому, что он подражает нашему величественному хождению взад и вперед, подобающему существам столь рассудительным, как мы; между тем позорное назначение этого человека состоит лишь в том, чтобы покрывать белую бумагу черными отпечатками. Этим медведям помогают «мартышки», которые хватают буквы и создают то, что у ученых называется «книга».

— Дорогой князь Медведев, какая выгода людям присваивать себе наши свойства?

— Легче прослыть умником, когда называешь себя скотом, чем когда выдаешь себя за гения! А кроме того, люди всегда так хорошо чувствовали наше превосходство, что во все времена они пользовались нами, чтобы облагородить себя. Взгляните на старинные гербы, вы всюду увидите зверей!

Ваше величество, пожелав узнать, как относятся к этому важному вопросу правители севера, я спросил:

— Вы написали об этом своему правительству?

— Медвежий кабинет более горд, чем львиный, — он не признает человека.

— Старая, запорошенная снегом сосулька, вы полагаете, что мой правитель, лев, не для всех животных — царь?

Не желая отвечать мне, белый медведь принял такую пренебрежительную позу, что одним ударом я разломал железные прутья своих апартаментов. Его высочество,

внимательно следивший за нашим спором, поступил точно так же, и я собирался уже отомстить за честь нашей короны, когда ваш августейший сын весьма здраво сказал мне, что в тот момент, когда требуешь объяснений от Парижа, не нужно ссориться с северными державами.

Эта сцена произошла ночью; поэтому достаточно было нам нескольких прыжков, чтобы достичь бульваров, где нас встретили, — дело близилось к рассвету, — такими восклицаниями: «Вот это здорово!» — «Вот так замаскировались!» — «Можно подумать, настоящие звери!».

3. ПРИНЦ ЛЕО ИЗУЧАЕТ ПАРИЖ В ДНИ КАРНАВАЛА, СУЖДЕНИЯ ЕГО ВЫСОЧЕСТВА ОБО ВСЕМ, ЧТО ОН ЗДЕСЬ УВИДЕЛ

Депеша вторая

Ваш сын с присущей ему проницательностью угадал, что сейчас карнавал в полном разгаре и что мы можем всюду ходить, не подвергаясь никакой опасности. Впоследствии я расскажу Вам про карнавал. Нам было чрезвычайно трудно изъясняться: мы не знаем здешних обычаев и языка. Вот каким образом мы вышли из затруднения...

(Депеша прервана из-за холода.)

Первое письмо принца Лео его отцу королю

Дорогой и августейший отец!

Вы так мало дали мне валюты, что мне трудно вести в Париже образ жизни, соответствующий моему рангу. Едва лапы мои коснулись бульваров, я уже понял, до чего эта столица не похожа на пустыню. Здесь все продается и все покупается. Чтобы напиться, надо платить, жить впроголодь стоит дорого, а чтобы наестся, для этого требуются непомерные расходы. Мы вместе с тигром в сопровождении умной собаки объехали все бульвары, и никто не обратил на нас внимания, до такой степени мы похожи на людей, среди которых мы отыскивали так называемых львов. Собака, хорошо знавшая Париж, согласилась служить нам гидом и толмачом. Итак, у нас имеется переводчик и нас принимают, как и наших противников, за людей, переодетых животными. Если бы вы, ваше вели-

чество, знали, что такое Париж, вы не стали бы мистифицировать меня и давать мне дипломатическое поручение. Чтобы выполнить его удовлетворительно, мне иногда придется, опасаясь я, ронять свое достоинство. Попав на Итальянский бульвар, я счел необходимым последовать моде и закурить сигару, но так расчихался, что произвел настоящую сенсацию. Какой-то фельетонист, проходя мимо и увидев мою гриву, сказал:

— В конце концов эти молодые люди станут похожи на настоящих львов.

— Вопрос распутывается,— сказал я своему тигру.

— Я полагаю,— заметил тогда пес,— лучше было бы, если бы он наподобие восточного вопроса побольше оставался запутанным.

Пес этот, ваше величество, каждую минуту дает нам доказательство своего высокого ума; поэтому вы не удивитесь тому, что он служил в знаменитом учреждении, помещающемся на Иерусалимской улице, которое окружает иностранцев, посещающих Францию, заботами и вниманием.

Он провел нас, о чем я вам только что докладывал, на Итальянский бульвар; там, как и на всех бульварах этого большого города, природе предоставлена незначительная роль. Конечно, там есть деревья, но что это за деревья! Вместо чистого воздуха — дым, вместо росы — пыль; поэтому листья не шире моих когтей.

Кроме того, Париж лишен какого бы то ни было величия: все имеет здесь жалкий вид; еда здесь очень скудная. Я зашел позавтракать в кафе, и мы заказали себе лошадь, но лакей до такой степени изумился, что мы, воспользовавшись его растерянностью, унесли его самого и съели в сторонке. Наш пес советовал не повторять этой проделки, предупредив нас, что подобные вольности могут привести нас в полицию. Сказав так, пес принял от нас кость и без дальнейших слов полакомился ею.

Наш гид очень любил рассуждать о политике, и беседа с этим плутом совсем бесполезна для меня; он многому меня научил. Могу признаться, что, вернувшись в Львиное царство, я не стану участвовать ни в каких бунтах; теперь мне знаком удобнейший способ управлять народом.

В Париже король царствует, но не управляет. Если вам непонятна эта система, я сейчас ее объясню. Собирают всех честных людей данной страны, делят их на триста — четыреста групп и говорят им: выбирайте своего представи-

теля. В результате получается четыреста пятьдесят девять избранных, которым поручают законодательствовать. Поистине забавны эти люди: они думают, что благодаря этой операции становятся талантливыми, они воображают, что если человеку дано звание, он приобретает способность понимать и вести дела; что слова «честный человек» — синоним «законодателя» и что баран становится львом, как только ему скажут: «Будь львом». Итак, что же происходит? Четыреста пятьдесят девять избранных рассаживаются по скамьям за мостом, к ним приходит король, просит денег или какой-нибудь утвари, необходимой для его власти, например, пушек или кораблей. Тогда все поочередно начинают говорить на разные темы, причем никто не обращает ни малейшего внимания на сказанное предыдущим оратором. Один человек рассуждает про Восток, после того как другой говорил о ловле трески. Считается, что патока отлично может замазать рот тому, кто вносил запрос о литературных делах. После тысячи подобных речей король добивается всего. А для того чтобы убедить четыреста избранных в полной их независимости, он нарочно время от времени отказывается от некоторых из своих требований, чрезмерных и предъявленных им умышленно.

Дорогой августейший отец, я нашел ваш портрет в королевской резиденции. Скульптор, по имени Бари, изобразил вас в момент схватки со змием революции. Вы несравненно красивее, чем все окружающие вас портреты мужчин, одни из которых носят под мышкой подобие свернутой салфетки, точно лакеи, а другие надевают на голову котелок. Этим контрастом с полной очевидностью доказывается наше превосходство над человеком. Его фантазия не идет дальше того, что он цветы держит в заключении, а камни кладет один поверх другого.

Наводя все эти справки насчет страны, где жизнь невозможна, где лапы не поставишь без того, чтобы не раздавить ноги соседа, я отправился в некое место, где, согласно обещанию пса, я должен был увидеть тех курьезных животных, которым, по приказу вашего величества, следует предъявить запрос о незаконном присвоении ими наших имен, наших свойств, когтей и так далее.

— Вы, наверное, там увидите парижских львов, рысей, пантер и крыс.

— Друг мой, чем же в подобной стране может питаться рысь?

— Рысь, не в обиду будь сказано вашему высочеству,— ответил мне пес,— привыкла хватать все: она набрасывается на американские фонды, она рискует на самых дрянных акциях, а прячется по пассажам. Хитрость ее состоит в том, что пасть у нее всегда открыта, и голубок, именуемый здесь пижоном,— любимая ее пища,— сам лезет к ней в пасть.

— Каким образом?

— Кажется, рысь очень находчиво написала у себя на языке слово, являющееся талисманом для пижона.

— Какое это слово?

— Слово «барыш». Впрочем, существует несколько слов. Когда слово «барыш» сотрется, рысь пишет: «дивиденд». После «дивиденда» пишет «процент». Пижоны всегда попадают.

— Почему?

— Вы находитесь в стране, где люди такого плохого мнения друг о друге, что самый глупый человек твердо надеется найти еще более глупого, которого он убедит в равноценности лоскутка бумаги и золотой жилы... Началось дело с правительства, которое приказало верить тому, что бумажный листок и поместье равноценны.

Ваше величество, в Африке еще не существует кредита, мы дадим работу смутьянам, если построим биржу. Приставленный ко мне пес, продолжая свое сообщение о человеческих глупостях, привел меня в очень известное кафе, где я действительно увидел львов, рысей, пантер и других псевдозверей, которых мы искали. Вопрос становится все более ясным. Представьте себе, дорогой августейший отец, парижского льва: это — молодой человек, который на ноги надевает лаковые сапоги стоимостью в тридцать франков, на голову — шляпу с коротким ворсом в двадцать франков, жилет на нем — самое большее в сорок франков, а штаны — в шестьдесят. К этому тряпью прибавьте завивку, стоящую пятьдесят сантимов, трехфранковые перчатки, двадцатифранковый галстук, стофранковую трость и брелоки, которые стоят не больше двухсот франков; если не считать часов, за которые платят лишь в редких случаях, получается сумма в пятьсот восемьдесят три франка пятьдесят сантимов. Израсходовав для себя лично эту сумму, человек становится столь горделив, что присваивает себе наше царственное имя. Итак, если имеешь пятьсот восемьдесят три франка пятьдесят сантимов, то можешь считать себя выше всех парижских талантов и добиться всеобщего

восхищения. Имеете вы пятьсот восемьдесят три франка, значит, вы красавец, вы блестящий молодой человек, вы презираете прохожих, чье рублище стоит на двести франков дешевле. Будь вы великим поэтом, великим оратором, человеком доблестным, храбрецом, знаменитым художником, но если вы не нарядитесь в этот безвкусный костюм, никто на вас и не взглянет. Немножко лаку для сапог, галстук определенной цены, завязанный определенным способом, перчатки, кружевная отделка обшлагов сорочки — вот отличительные признаки этих завитых львов, возмущающих наши воинственные народы. Увы, ваше величество, я опасаюсь, не будет ли точно так же обстоять дело и с другими вопросами, не исчезнут ли они сами собой, когда близко присмотришься к ним, и не окажется ли под этим лаком, под этими подтяжками та же старая и вечно новая корысть, которую вы обессмертили, постоянно спрягая на свой лад глагол «хватать»!

— Ваше величество,— сказал мне пес, который наслаждался, видя, как меня изумило это тряпье,— не всякий умеет носить костюм,— существует особая манера, а в нашей стране все сводится к вопросу о манере.

— Пусть так,— сказал я ему,— а если человек имел бы манеры, но не имел бы платья?

— Это был бы еще невиданный лев,— ответил пес без всякого смущения.— А затем, ваше высочество, парижский лев выделяется среди прочих людей не столько благодаря самому себе, сколько благодаря своей крысе; ни один лев не выходит на улицу без крысы. Простите, ваше высочество, я ставлю рядом два слова, которые ничего общего между собою не имеют, но я ведь говорю на местном наречии.

— А это еще что за зверь?

— Крыса — это шесть аршин пляшущего муслина, и ничего на свете нет более опасного, потому что эти шесть аршин муслина говорят, едят, гуляют и капризничают, пока не изложут все состояние льва,— какие-нибудь тридцать тысяч экю, которые он взял в долг и которые исчезают бесследно!

Депеша третья

Объяснить вашему величеству, чем отличаются друг от друга крыса и львица, это значило бы объяснять неуловимые оттенки, тонкие различия, в которых не всегда

разбираются даже парижские львы, хотя у них имеются лорнеты! Как определить неизмеримо малое расстояние, отделяющее французскую шаль, зеленую, но американского оттенка, от индийской шали зеленой, но яблочного оттенка, или гипюр настоящий от гипюра поддельного, походку вызывающую от походки пристойной! Вместо мебели черного дерева с резьбой работы Жане, отличающей логовище львицы, у крысы мебель вульгарного красного дерева. Ваше величество, у крысы наемный экипаж, у львицы собственная карета; крыса танцует, львица катается верхом в Булонском лесу; крыса получает фиктивное жалованье, львица обладает государственными облигациями; крыса пожирает чужие состояния, ничего для себя не сберегая, львица сколачивает себе изрядное состояние; у львицы логовище обито бархатом, тогда как крыса едва-едва поднимается до поддельной персидской набойки. Сколько загадок для вашего величества, не интересующегося легкой литературой и помышляющего лишь об укреплении своей власти. Сопровождающий нас пес прекратил объяснил нам, что эта страна переживает переходный период, что будущего здесь предсказать нельзя, и предсказывают здесь только настоящее, — до такой степени быстро разворачиваются события. Непостоянство общего положения отражается на неустойчивости положения каждого человека. Этот народ, очевидно, станет вскоре бродячим племенем. Он до такой степени ощущает потребность в движении, в особенности за последние десять лет, что ныне сам сдвинулся с места; видя, как все вокруг идет прахом, он пустился в пляс, он несется галопом! Драмы развиваются так стремительно, что в них уже ничего нельзя понять; от них требуется только действие.

Из-за этой всеобщей подвижности рассыпались богатства, как и все прочее; теперь никто не считает себя достаточно богатым, поэтому устраивают складчину, чтобы собрать деньги для развлечений. Все устраивается в складчину: люди собираются для того, чтобы играть, чтобы поговорить, чтобы помолчать, чтобы покурить, чтобы поесть, чтобы попеть, чтобы заняться музыкой, чтобы потанцевать; вот откуда клуб и балы Мюзара. Без сопровождающего нас пса мы ничего не поняли бы в том, что бросалось в глаза. Он нам сказал, что для фарсов, для безумных хоров, шуток и забавных картин устроен здесь специальный храм, своего рода Пандемониум. Если его высочеству будет угодно посмотреть на галоп, который танцуют у Мюзара,

он привезет в свое отечество полное представление о здешней политике и здешней неразберихе.

Принц выразил очень сильное желание отправиться на бал, и, при всей трудности удовлетворить это желание, его советникам оставалось только повиноваться, хотя они сознавали, что отступают от полученных ими инструкций; но разве не полезно поучиться молодому престолонаследнику? Когда мы явились и собрались уже войти в зал, трус чиновник, стоявший у двери, так был перепуган приветствием вашего сына, что мы получили возможность войти без билета.

Последнее письмо принца его отцу

Ах, отец! Мюзар останется Мюзаром, а корнет-а-пистон мюзаровской музыкой. Да здравствуют женщины, переодетые грузчиками! Вы поняли бы мой восторг, если бы увидели галоп! Один поэт сказал: «Покойники быстро уходят», — но живые несутся еще быстрее. Ваше величество, карнавал — вот единственное, в чем человек одержал верх над животными, и невозможно оспаривать его права на это изобретение. Вот когда приобретаешь уверенность в тесной связи между миром людей и миром животных, ибо на карнавале в человеке обнаруживается столько звериных страстей, что нельзя сомневаться в нашем сродстве. Среди невероятной сумятицы, ради которой изысканнейшие столичные люди переодеваются в лохмотья и несутся в виде безобразных или причудливых фигур, я прямо перед собой увидел существо, называемое у людей львицей, и вспомнил старую басню про влюбленного льва, ее мне рассказывали в детстве, и я очень ее любил. Но сегодня эта история показалась мне смешной выдумкой. Перед львицей такой породы настоящий лев ни за что не зарычит.

4. О ТОМ, КАК ПРИНЦ ЛЕО ПРИЗНАЛ, ЧТО ОН НАПРАСНО БЕСПОКОИЛСЯ И ЧТО ЛУЧШЕ БЫ ЕМУ ОСТАВАТЬСЯ В АФРИКЕ

Депеша четвертая

Ваше величество, как раз на мюзаровском балу его высочество имел наконец возможность лицом к лицу встретиться с парижским львом. Встреча совсем не соответствовала

принципам театрального «узнавания»; вместо того, чтобы броситься в объятия принца, как сделал бы настоящий лев, парижский лев, увидав, с кем он имеет дело, побледнел и едва не упал в обморок. Однако он пришел в себя и благополучно выпутался... «Применив силу?» — скажете вы. Нет, ваше величество, применив хитрость.

— Сударь,— сказал ему ваш сын,— я желаю знать, на каком основании вы пользуетесь моим именем?

— Сын пустыни,— дрожащим голосом ответило дитя Парижа,— имею честь обратить ваше внимание на то, что вы называетесь лев, а мы называем себя на английский манер *лайон*.

— В самом деле,— сказал я принцу, пытаюсь уладить дело,— *лайон* — совсем не ваше имя.

— Кроме того,— продолжал парижанин,— разве мы так сильны, как вы? Если мы едим мясо, то ведь оно вареное, а ваш обед состоит из сырого мяса. Вы не носите колец.

— Подобные доказательства,— сказал его высочество,— меня не удовлетворяют.

— Но ведь мы спорим,— сказал парижский лев,— а в спорах выясняется вопрос. К примеру сказать, пользуетесь ли вы для своего туалета и для приведения в порядок вашей гривы пятью видами различных щеток? Сосчитайте: круглая щетка для ногтей, плоская для рук, горизонтальная для зубов, грубая для растирания кожи, двухсторонняя для волос! Разве у вас есть кривые ножницы для ногтей, плоские ножницы для усов? А семь флаконов различных духов? Разве вы платите определенную сумму человеку, которому поручен уход за вашими ногами? А знаете ли вы, что такое педикюр? Вы не носите штрипок и еще спрашиваете, почему нас называют львами? И я вам только что сказал: мы не львы, мы лайоны, и называемся так потому, что ездим верхом, пишем романы, утрируем моду, ходим особой поступью, и потому, что мы самые изысканные светские люди. Есть такой портной, которому вы должны?

— Нет,— ответил принц пустыни.

— Ну вот, что же общего между нами? Вы умеете править тильбюри?

— Нет.

— Итак, вы видите: то, что является нашей заслугой, вполне противоположно характерным для вас чертам. Умеете вы играть в вист? Знаете ли вы, что такое Жокей-клуб?

— Нет,— сказал принц.

— Ну вот, дорогой мой, вист и клуб — два стержня нашей жизни. Мы кротки, как ягнята, а вы отнюдь не отличаетесь кротостью.

— Вы станете также отрицать, что приказали запереть меня? — сказал принц, которого столь преувеличенная вежливость начинала выводить из терпения.

— Если бы я и хотел вас запереть, я не мог бы этого сделать,— ответил мнимый лев, отвешивая поклон почти до земли.— Я вовсе не правительство.

— А почему правительство приказало запереть принца? — вмешался я.

— У правительства иногда бывают свои основания,— ответило дитя Парижа,— но оно никогда не сообщает их.

Судите сами, как изумился принц, когда с ним говорили таким недостойным языком.

Его высочество был так поражен, что упал на все четыре лапы.

Этим воспользовался парижский лев, он поклонился, сделал пируэт и исчез.

Его высочество пришел к заключению, что ему больше нечего делать в Париже; что зверям нечего вмешиваться в людские дела; что надо предоставить людям безбоязненно играть своими крысами, львицами, тростями, позолоченными безделушками, колясками и перчатками; что его высочеству лучше было бы не покидать вашего величества и что теперь ему надлежит вернуться в пустыню.

Через несколько дней в марсельской газете «Семафор» можно было прочесть следующее:

«Вчера принц Лео проехал через наш город, направляясь в Тулон, где он должен сесть на корабль, отплывающий в Африку. Причиной этого поспешного отъезда, говорят, является смерть короля, его отца. Справедливую оценку львы обретают лишь после смерти».

Газета добавляет, что эта смерть повергла в уныние многих обитателей Львиного царства и привела в замешательство весь мир.

«Волнения достигают таких пределов, что можно опасаться всеобщей катастрофы. Многочисленные почитатели старого льва в отчаянии.

— Что будет с нами? — восклицают они.

Как утверждают, пес, служивший толмачом принцу Лео и оказавшийся при нем в момент получения роковых известий, дал ему совет, хорошо рисующий, до какой деморализации дошли парижские псы:

— Ваше высочество, если вам не удастся спасти все, то спасайте кассу!

Вот какой урок,— заканчивает газета,— единственный урок, будет вывезен принцем из прославленного Парижа! Не свобода, а шарлатанство распространяется по всему миру».

Вполне возможно, что весь этот рассказ — чистейшая выдумка: мы заглянули в Готский альманах и не нашли в нем династии Лео.

Б. Л. Пастернак

БАЛЬЗАК

Париж в золотых тельцах, в дельцах,
В дождях, как мщенье, долгожданных.
По улицам летит пыльца.
Разгневанно цветут каштаны.

Жара покрыла лошадей
И щелканье бичей глазурью
И, как горох на решете,
Дрожит в оконной амбразуре.

Беспечно мчатся тильбюри,
Своя довлеет злоба дневи.
До завтрашней ли им зари?
Разгневанно цветут деревья.

А их заложник и должник,
Куда он скрылся? Ах, алхимик!
Он, как над книгами, поник
Над переулками глухими.

Почти как тополь, лопаух,
Он смотрит вниз, как в заповедник,
И ткет Парижу, как паук,
Зауспокойную обедню.

Его бессонные зенки
Устроены, как веретена.

Он вьет, как нитку из пеньки,
Историю сего притона.

Чтоб выкупиться из ярма
Ужасного заимодавца,
Он должен сгнуть задарма
И дать всей нитке размотаться.

Зачем же было брать в кредит
Париж с его толпой и биржей,
И поле, и в тени раки
Непринужденность сельских пиршеств?

Он грезит волей, как лакей,
Как пенсией — старик бухгалтер,
А весу в этом кулаке,
Что в каменщиковой кувалде.

Когда, когда ж, утерши пот
И сушь кофейную отвеяв,
Он оградится от забот
Шестой главою от Матфея?

Альфред де Мюссе

СОНЕТ

Люблю я первый вздох зимы еще до срока!
Солома жесткая не гнется под ногой
Охотника; кричит в пустых лугах сорока,
И, чтоб разжечь камин, шлют в замке за слугой.

И в город тянет вас. Ах, прошлою зимой
Как я туда спешил! Я видел издалёка
Париж, мосты и Лувр за дымной поволокой
(Крик тех возниц в ушах еще звучит порой).

Как рад я был дождю! Любил прохожих, стены,
Огни, сиявшие вокруг царицы-Сены,
Мечтал о холодах. И встречи ждал с тобой!

Я к твоему окну протер с приветом руки...
Ведь как, сударыня, мог знать я, что в разлуке
Из сердца вашего меня изгнал другой?

П. А. Вяземский

ПИСЬМА

(Фрагменты)

19/31 августа 1838 г.

Франкфурт на Сейне. Кажется так, а если ошибаюсь городом или рекою, то извините. Я всегда худо знал женографию, а с тех пор что шатаюсь по морю и по земле, то еще пуще сбиваюсь с толку.

Нужно ли мне представиться к Поццу-де-Боргу, — спрашивал в Берлине, кажется, какой-то Огарев. — Да он в Париже, отвечают ему. — Нет, я говорю о здешнем Поцце-ди-Борге — дело в том, что он полагал, что все наши послы и посланники именуются Поццо-ди-Борго. А для меня, чтобы не обременить памяти своей, то что город, то Франкфурт. Пожалуй, Франкфурт переносись куда хочешь, а я в нем засел, и ты пиши мне во Франкфурт, ей-богу, во Франкфурт, только не *poste-restante*¹, а *poste-courante*². Впрочем, франкфуртские Поццы-ди-Борги знают, где меня сыскать.

После этих эпитафий приступим к делу, то есть к бреду. Я начну бредить. Слушайте, не верьте, а слушайте. Уф! *Comme toutes ces plaisanteries sont froides*³, и ничуть не умны. Уж не поглупел ли я? Попробуем еще. Неужели я в самом деле в... в... в... в... Сила крестная с нами! Выговорить не могу. Так дух и спирает. Чертенята в глазах пляшут, в глазах рябит, в ушах звучит, в голову стучит!

Добросовестным и присяжным туристом въехал я в город на империале дилижанса в сообществе с полдюжиною кроликов, которых кондуктор где-то купил дорогою, чтобы здесь перепродать их с барышом. Город с этой стороны не очень выгодно представляется, и я мог бы остаться и в купе. На дворе *messagerie*⁴, куда пристал дилижанс около шести часов утра, нашел я поджидающих меня Тургенева и Гагарина. Проводили они меня в *rue Neuve, St. Augustin, Hôtel*⁵ (название нрзб.), где уже наняли для меня комнату. Первою заботою моею было пойти в

¹ Почта до востребования (фр.).

² Почта, следующая за адресатом (фр.).

³ Как все эти шутки скучны (фр.).

⁴ Почтовый двор, станция (фр.).

⁵ Улица Нев, Сент-Огюстен, отель... (фр.)

китайские бани на бульваре. Славно! Вымазали мне голову какою-то яичницею с eau de Cologne¹, намазали тело каким-то благовонным тестом, после намылили неапольским мылом, взбитым горою, как праздничное блюдо la crème fouettée², все это с приговорками французскими, объясняющими мне, qu'on me faisait prendre un bain du voyageur³. Все эти припарки и подмазки стоили мне около десяти франков, а простая водяная баня стоит около трех. Но мне нужно было дать себе аристократическую баню, чтобы смыть с себя демократическую грязь, которою запачкался я в своем дилижансе. Потом первые часы моего пребывания были посвящены на беглое обозрение оглавления некоторых частей города. Нет, соврал! первое посещение мое было православное. День был воскресный, и я пошел в нашу церковь, где нашел молодых Репниных, Дурнова, Шипова. Оттуда занес я карточку к нашему послу, которого уже видел во Франкфурте, в том что на Майне. Город был в движении. У нас родился внук, которого мы прозвали Le gamin de Paris, и Тюлерийский дворец и сад были обставлены национальною гвардиею, которая ходила поздравлять королевскую фамилию. Несмотря на этот торжественный и экстренный случай, мне казалось, так много наслышался я о здешнем кипучем народонаселении, что везде довольно просторно и плавно, по той же причине, по которой с первого раза храм св. Петра кажется не так уж огромным, как уверяли. Впрочем, и в самом деле пора теперь глухая, да и по воскресеньям менее народа на улицах, нежели в другие дни.

Город расходуется по окрестностям, и не сосредоточивается в главных пунктах будничной деятельности. Но между тем я все-таки стою на своем: первое впечатление противоречит ожиданиям. Нет этой кипучей бездны под глазами. Может быть и то, что я уже знаю Рим и Неаполь. Например, публика театров очень смирна, смирнее нашей. Гораздо менее рукоплесканий и вызовов. Все благочинно, хотя в антрактах и накрывают голову шляпою. Правда, что здешняя публика имеет право выражать и свое неудовольствие, когда ей вздумается, но я свистков еще не слышал. Впрочем, слушая мой рассказ, помните всегда, что мой чиновник по особым поручениям вечно при мне,

¹ Одеколоном (фр.).

² Взбитые сливки (фр.).

³ Что мне была устроена баня путешественника (фр.).

следовательно, все не так делается, как бы делалось без меня. Например, я очень мало встречаю пригоженьких лиц на улицах: *Les grisettes élégantes*¹, вероятно, запираются по домам моим титулярным советником, когда он меня выгоняет на улицу. В первый день обедал я с Гагариным и Тургеневым у Мещерских *aux champs Elisées*². Вечером был я в *Variété*³. Смотреть баядерок, заправских баядерок, род наших московских цыганок, но пляска наших живее. Эти ломаются и гнутся. Из *Variété* пошли в *Concert*... Та же зала, в которой даются знаменитые балы, претворившаяся в сад. Сняты крыша и пол. Битком набито, но также все молчаливо и благопристойно. На другой день был на заседании Академии наук, видел несколько лиц известных мне по имени: *Agago* и проч. Встретил тут Гумбольдта. Доселе видел я еще мало знаменитостей. Вчера в театре указали мне *J. Janin* и *Balzac*. Последний имеет что-то копьевское в лице, широкое и жирное. Был на вечере *Mme Ancelot*. Встретил там римского Стендаля. Та же мужиковатость, но здесь он веселее. Хвалят книгу его *Les mémoires d'un touriste*⁴. Обедал у Л. Веймара и у жены его. Живет барином, щегольски и роскошно. Портит мне здешнюю жизнь то, что хочется скорее уехать купаться. Выеду, вероятно, во вторник, то есть 4-го сентября н. с., итого проведу здесь 10 дней. На возвратном пути кину еще недели три в эту широкую и всепожирающую пасть, но кину их с большим расчетом, т. е. распределю время свое порядочнее. Язва путешествий — это необходимость все видеть, то есть глупая обязанность, на которую добровольно и мученически обрекаешься *un faux d'honneur, un article de foi mal entendu*⁵. Чтобы приятно путешествовать, надобно решиться ни за чем не бегать и видеть только то, что попадается вам на дороге. Но на это нужно время и не спешить. Путешественник похож на человека, который опоздает к обеду и должен догонять обедающих. Надобно проглотить и старое и следовать за текущим, а здесь каждая минута сует что-нибудь в горло. Соберу воспоминания свои и надеюсь в Брайтоне привести их в порядок. Погода здесь прекрасная, персики и дыни — обьедение, Пале-Рояль обворожительно мил, красив, чист,

¹ Элегантные гризетки (фр.).

² На Елисейских полях (фр.).

³ Варьете (фр.).

⁴ «Воспоминания путешественника» (фр.).

⁵ Ложным понятием о чести, плохо понятым символом веры (фр.).

роскошь кофейных домов ослепительна. Фанни Ельслер восхитительна, я не видал Taglioni в *sachucha*¹, но без ума от здешней, оркестр оперы чудесный, то есть французской, итальянского теперь нет, слышал Дюпре в *Huguenots*², и в *Muette de Portici*³, видел балет *Le diable boiteux*⁴, пожертвовал Фанни Ельслер фейерверком и иллюминациями по случаю Парижского графа, на которого сердятся здесь, говоря, что это попятный шаг к феодальным понятиям. Здешний народ не беспокойнее другого, но ему подливают каждое утро чашку дурмана: журналы, вот что мутит народ. Тяжела мне эта исповедь, а таить греха нечего. Сейчас иду к Mme Récamier. Здешний город еще тем хорош, что в шесть дней моего пребывания получил я четыре письма от вас. Полуэктовы здесь, но ждут из России решения, возвратиться ли или ехать на зиму в Италию. Я ездил с ними в St. Germain по железной дороге.

Поймете ли вы что из письма моего? Пишу как угорелый. Нет времени собраться с мыслями. Каждое утро здешнее стоустое и сторукое чудовище ревет и машет и призывает в тысячу мест. Как тут успеть и как голове не кружиться.

Обнимаю вас, мои милые. Дайте опомниться в Брайтоне. Как волны не будут стучать и колотить меня в голову, но все не здешним чета. Не забудьте. Франкфурт на Сейне.

2 сентября 1838 г.

21 августа

Надеюсь, что ты разберешь место моего пребывания. Это новый способ чистописания, которое надобно прочесть в зеркале.

Проказы находящегося при мне чиновника по особым поручениям.

Кого, например, сунул он мне в лон-лакеи? Русского солдата, который здесь остался с 1815 года, и разрусел, но не офранцузился, однакоже сохранил все что есть глупого в русском, глупом от природы. Он в роде тех лакеев и буфетчиков, которых ты имеешь особенный дар отыскивать и нанимать, *pour me rendre dur le bonheur de la vie*

¹ Качуча (*исп.*).

² «Гугеноты» (*фр.*).

³ «Немая из Портичи» (*фр.*).

⁴ «Хромой дьявол» (*фр.*).

domestique ¹. Суди же, каково мне здесь с таким молодцом. Например, ехал в Версаль и, проезжая какое-то довольно большое местечко, спрашиваю его о названии, а он отвечает мне: это так-с просто. Я понял его мысль, то есть он хотел сказать что это не Sévre, не St. Cloud и проч. Но пойми и меня! Заехать сюда, чтобы попасть на русские ответы. Проезжая мимо St. Cloud, начал он мне описывать его: бьют фонтаны даже бесподобно и так далее. Ах ты, бестия! а между тем совестно мне прогнать его. А уж как подает мне одеваться! Как нижняя губа его отвисала! Невыразимо и невообразимо, особенно когда отвыкнешь от избранных тобою!

На днях пели *Te deum* ² в церкви Notre Dame, король, все семейство, все газетные знаменитости тут были. Л. Веймар дал мне шесть билетов, чтобы выбрать любое место. Ни один не удался. Все было битком набито, и я в десятых рядах никого и ничего не видал. Уж только после видел мельком короля, когда он проезжал в карете и кланялся народу в окошко, и должно отдать справедливость неустрашимости его, довольно высовывал голову свою из кареты. Впрочем, около кареты телохранителей бездна, и полицейских предосторожностей тьма, как и везде здесь, и гораздо более запретительных мер, нежели у нас: тут не ходи, здесь не ездят, и проч. Одно возбудило мое особенное внимание: когда король вступил в церковь, раздались крики: *Chapeaux bas, chapeaux bas!* ³ Следовательно, в церкви были люди и в шляпах, и никто не заботился о уважении к *хозяину дома*, а только о уважении к *гостю*. Следовательно, здесь все-таки более монархического, нежели религиозного чувства. Правда и то, что, вероятно, одна полиция кричала: *Chapeaux bas.* — Радостные крики были довольно умеренны, и только в некоторых правительственных журналах отозвались на другое утро громогласно.

Оттуда по соседству зашли мы à La Morgue ⁴. Грешно жаловаться в этом случае на титулярного советника, но и тут сделал он свое дело: ни одного тела не было налицо, и, следовательно, не мог я проверить описание J. Janin в *Ane mort et la femme guillotinée* ⁵ и не стоило мне ходить туда.

¹ Чтобы отравить мне счастье домашней жизни (*фр.*).

² «Славим тя, Господи...» (*лат.*)

³ Шляпу долой! Шляпу долой! (*фр.*)

⁴ В морг (*фр.*).

⁵ Ж. Жанена в «Мертвом осле и казненной женщине» (*фр.*).

А это, например, каково? Хоть дать тебе целый год отгадывать, не отгадаешь ты, какие первые лица попались мне здесь навстречу: твой цветочный маляр, и этот шут музыкант, что жил в Варшаве у Левицких и разыгрывал с Новосильцевым à quatre mains¹. Все это меня бесит, и подливает желчь в чашу здешнего упоения. Во мне я занимает более места, нежели в ком-нибудь. Мой внутренний мир так чувствителен, чуток, похотлив, раздражителен, что внешний мир со всем могуществом своих впечатлений не всегда может пересилить его. Корми хоть птичьим творогом, но если попал впросак в горло, то все-таки будет тошно. Посади на престол, но если неравно булавка попадет между подштанниками и сидячею частью тела, то не усидишь и на престоле. То есть, разумеется, булавка острым концом в тело, как мастерски умеет прищипливать ее мой титулярный советник, когда захочет выслужаться.

В Версаль прислал он меня в день, когда никого не выпускают во дворец. Но Вернет выручил меня из беды, дал письмо к королевскому архитектору (которого жена воспитывалась вместе с в. к. Еленю Павловною), и я хоть бегло, но обзрел главное.

Вернет пишет огромную картину, взятие Константины, в знаменитой зале du jeu de paume².

Версаль великолепен, и вообще все, что я видел из окрестностей здешних, очень красиво. Берега Сейны живописны, светлы, хорошо обстроены.

3 сентября н. с. (1838 г.)

Я был у Mme Récamier. Милая приветливая старушка. Встретил там Шатобриана и Балланша. Шатобриан не носит на себе вывески своей, что-то похожее на какого-то Хилкова, которого я где-то встречал, кажется отец Щербатовой. Разговор был довольно посредственный, point de mots à citer³. Вероятно, мне чужое лицо мешало.

Mme Récamier кланяется Андрею Карамзину и сказала мне: ce jeune homme nous a beaucoup intéressé⁴. Дайте

¹ В четыре руки (фр.).

² Для игры в мяч (фр.).

³ Нет ничего, что стоило бы передавать (фр.).

⁴ Этот молодой человек нас очень интересовал (фр.).

скорее стакан воды Софии Николаевне. Кровь в голову ударила. Был я у моего и пушкинского любимого поэта: Alfred Musset. Кажется, добрый малый и не избалован. Поклонение мое было ему приятно и лестно, особенно когда стал я ему читать наизусть стихи его. Здешние авторы друг с другом не знакомы. Все разделены на шайки и на журнальные артилы.

Вечером в опере: дают новую оперу Benvenuto Cellini, музыка Берлиоза, который пишет музыкальные фельетоны в Journal des Debats. Я слышал несколько сцен из сей оперы на репетиции. Скажи Одоевскому, что, вероятно, она ему понравилась бы, а заключаю я это из того, что она должна походить на Жизнь за царя, потому что мне показалась она довольно скучна. Много шума и, вероятно, ученого, но сердца ничуть не шевелит, и ничего не наигрывает на наши неученые уши. Здешние обеды вовсе не совместимы с спектаклем. Сядишь за стол в 7-м, а иногда и в 8-м часу, а тут и спектакль начинается. Вообще мало времени в здешних сутках, да и всей природы человеческой мало: куда здесь с одним желудком, с одною головою, двумя глазами, двумя ногами и так далее. Это хорошо для Тамбова: а здесь с таким капиталом жить нельзя. Вчера чета л. веймарская в своей щегольской коляске заезжала за мною и ездили мы в St. Cloud, где играли воды. Великолепности нет, но очень мило, и падение вод красивое, все в зелени, народа много и тень Наполеона тут шатается и толкает вас воспоминаниями, которые не хуже версальских, или по крайней мере не жиже. Если Людовик XIV мог сказать: L'état c'est moi¹, Наполеон имел на веку своем дни, в которые мог сказать: Le monde c'est moi². Из St. Cloud повезли они меня обедать к Вери, лучшая здесь ресторация. Устрицы свежие, как мать их родила. Вообще здесь царство объедения. На каждом шагу хотелось бы что-нибудь съесть. Эти лавки, где продаются фрукты, рыба, орошаемая ежеминутно чистою водою, бьющею из маленьких фонтанов, вся эта поэзия материальности удивительно привлекательна. Между тем тут же вонь, улицы как трактирный нужник, и много шатающейся гадости в грязных блузах. Живи и жить давай другим. Требование отменной чистоты везде и всегда есть также деспотизм. На чистоту надобно много издерживать времени, а время здесь дорого, дороже, нежели

¹ Государство — это я (фр.).

² Мир — это я (фр.).

где-нибудь. Из общих и главных вольностей здешней конституционной жизни замечательны две: кури на улицах сколько хочешь, и ... где попадетсЯ. И то и другое имеет свою приятность, и я ими пользуюсь. Разве это не стеснение естественных нужд человека, когда, например, как в Петербурге, хоть лопни, а не найдешь нигде гостеприимного угла для излияний потаенной скорби.

Что мне здесь не нравится:

Бороду долго бреют и намаывают губы, белый хлеб нехорош, худо испечен, а местами прожжен, да и пресен, т. е. fade. Мороженое снеговато, знаменитый Тортони не стоит нашего покойного Чернышева — дрожки наши — скверный экипаж, но и кабриолеты нехороши, особенно, когда едешь вдвоем, потому что кучер, в синей блузе или в грязной куртке, третсЯ около вас и сидит у вас на коленях — фиакры чище, но едут почти шагом — город слишком велик и разбит и много времени тратишь на разъезды и переходы — никак не могу ориентироваться в здешнем лабиринте, улиц пропасть, впрочем, я на это хорош: я никак не могу понять географическую карту, или план дома. Портные здешние мучители. Раз пять приходит примеривать вам платье. Надобно давать им séance, как живописцу или скульптору. Брюллов скорее схватит ваше лицо, нежели здешний портной мерку вашего жилета. Да нет и хорошего портного, да и шьют долго, добросовестно, потому что не хотят сшить кое-как, но тягостно и пилительно для терпения.

Вероятно, уеду отсюда, не получив заказанного платья, хотя три утра сряду примеривал его. Как зазвонит в дверях колокольчик, так дрожь и берет меня: чую, что идет палач. Надобно раздеться, чтобы примерно одеться, и потом опять раздеться.

Общий результат здешней недели.

По итогу впечатлений и ощущений я далеко не обворожен, хотя многое и нравится. Но по уму и соображениям полагаю, что здешнее житье должно со временем иметь большую и непобедимую прелесть привычки. На всякий вопрос есть ответ, на всякое требование удовлетворение. Чувствуешь, что здесь можно жить как хочешь. Это петербургский английский магазин образованной жизни. Чего хочешь, того просишь, даже уединения, тишины: и это найдешь. В маленьких городах, *ou peut-être petite ville quoique grande capitale*¹, труднее сосредоточиться в

¹ Или, может быть, в маленьком городе, хотя и в большой столице (фр.).

себе самом или в тесном круге. Мимотекущие и мимоиду-щие задевают вас, как ни жмись к стенке. Здесь много проселочных больших дорог: там все столбовые дороги. Все это мои догадки, потому что бешеная, угорелая, собачья жизнь путешественника, который на несколько дней заброшен в этот кипучий котел, не дает времени размышлению. Повторяю: путешественник благоразумный и независимый должен решиться ничего не видеть, т. е. не кидаться по пятам глупого лон-лакея на все, что ему велят смотреть в силу de guide de voyageur¹. Главное на первой поре напиться окружающею атмосферою и ждать впечатлений: они сами придут, и тогда милости просим! Все готово в вас к принятию их, они чередуются, и каждое оставляет след по себе, и четкими буквами записывается в вашем внимании. А если пуститься напролом в их толпу, то вместо ясных следов вынесешь только из этой суматохи боевые знаки: шишки на память, синие пятна и расквашенную рожу.

Пантеон здание прекрасное, но пустое, бесполезное, ждет жильцов и не дождется. Кто определит, кого принять за grand homme?² Наполеон, чтобы населить эту пустыню, декретировал, que tous les sénateurs étaient les grands hommes³, и большая часть населения обязана сенату. Солдат, который водил нас по храму, указывая на гробницу Руссо, сказал наизусть: ici repose l'homme de la nature et de la vérité⁴. Подобный храм в наше время есть анахронизм. В век христианский смерть освящается одною религиею, и гробницы в храме, не ей воздвигнутом, не что иное как журнальные статьи, qui n'ont pas de lendemain⁵ не только d'immortalité⁶. Придут новые господа, новый порядок и все это бессмертие вон, как уже и было.

L'Arc de Triomphe⁷ едва ли не лучшее здание, но и тут trop d'individualité, d'actualité, trop de noms propres⁸, которые время может вымарать не завтра, так через год.

Обнимаю вас — я послал тебе Charivari et Corsaire⁹.

¹ Путеводителя (фр.).

² Великого человека (фр.).

³ Что все сенаторы были великими людьми (фр.).

⁴ Здесь покоится человек природы и истины (фр.).

⁵ Которые не имеют завтрашнего дня (фр.).

⁶ Бессмертия (фр.).

⁷ Триумфальная арка (фр.).

⁸ Слишком много личности, современности, слишком много собственных имен (фр.).

⁹ «Шаривари» и «Корсар» (фр.).

19 ноября 1838 г.

...Чтобы ты поняла, отчего не могу так скоро отделаться от Парижа, расскажу мой вчерашний день: утром чтение у M-me Récamier des mémoires inédits de Chateaubriand¹, и Шатобриан со мною кокетничает, и извиняется и совестится, что чтение, то есть читанный отрывок не довольно интересен. После обеда получаю записочку от к. Ливен, которая приглашает меня к себе и знакомит с Гизо, et une conversation d'une heure à nous trois². Вечером упоительная Фанни Ельслер и сумасводительная качуча. Третьего дня дон Giovanni Рубини, Гризи, Тамбурины-Лаблаш. Завтра Норма. Нельзя хотя не поотведать того и другого и третьего. Вечером сегодня был я à la Comédie Française³. Молодая жидовка Rachel воскресила Расина-Корнелия, qu'on va voir comme une nouveauté⁴. Давали Cinna⁵. Роль ее малозначительная, но видно, что она с большим талантом. Прочие актеры смешны до крайности: французские хрипуны.

29 ноября 1838 г.

...Теперь могу с спокойной совестью оставить Париж; ибо видел émeute⁶, не большую, а порядочную. Студенты не дали профессору Lerménier (который из либералов передал себя министерству) начать свой курс, шукали, ревели, кидали ему медные гроши, говоря: puisque c'est de l'argent que tu veux, en voilà!⁷. Но всего забавнее, что я наконец очутился с ним в комнате, которую заперли, чтобы спасти его от поруганий толпы, и видя, что он выскочил в окно, qui était de plein-pied⁸, должен был так же последовать его примеру, чтобы не быть за него ответчиком.

Если в. к. не получает Шаривари, покажи ему эти листики, которыми честят Парижского графа. Наглость ни на что не похожая, да и бессовестность. Все-таки герцогиня Орлеанская женщина и мать. А смешно! Посылаю и Корсара. Здешние сердятся на это графство и находят тут

¹ Мадам Рекамье неизданных мемуаров Шатобриана (фр.).

² ...и мы беседуем втроем (фр.).

³ В «Комеди Франсез» (фр.).

⁴ Которых идут смотреть, как новинку (фр.).

⁵ «Цинна» (фр.).

⁶ Смута (фр.).

⁷ Раз ты хочешь денег, вот тебе! (фр.)

⁸ Которое было на уровне земли (фр.).

политическое намерение мало-помалу возвратиться к старому порядку. Да ведь надобно же было как-нибудь да окрестить его? Вообще рождение произвело мало впечатления. Где же здесь думать о третьем поколении? Мало ли, что еще быть может и при двух уже существующих. Если нынешний порядок устоит при нынешнем, да еще при сыне, то дело в шляпе или в короне. Здесь не до внуков, здесь день мой — век мой.

8 февраля 1839 г.

Погода преподлейшая, день темный, сырой и мокрою тряпкою лежит на душе. Да к тому же и твои письма не светлы. Все это из меня делает что-то довольно скучное. Одна италианская опера меня электризует. Вчера давали *Puritani*¹. Так и хотелось бы душу приковать к этим звукам. Голос Леблаша как божий гром перекатывается. Рубини, Гризи, не знаю чему их приравнять, но когда они поют, и душа поет, теплится, благоухает, плачет, а ушки смеются. Только и хорошего здесь, что они. Впрочем, я никого и не знаю. Знакомых не видал, а с новыми знакомиться не тянет. Завтра на бале у Стакельберг увидим весь бомонд. Посмотрим. Палаты закрыты, следовательно, одним спектаклем, утренним спектаклем, менее. О закрытии палат много толков и суждений. Некоторые думают, что новая палата будет еще недоброжелательнее для правительства. Но во всяком случае, по моему мнению, правительству другой меры не предстояло. Оно поступило законно и даже добросовестно. Нельзя же было королю выбрать новое министерство в мнениях палаты, разбитой на несколько шаек, соединившихся для ниспровержения, но без единодушия и без единогласия для созидания. Одна надежда, что весь этот кипяток в одном Париже и то в нескольких верхушках и вертушках, но что Франция желает спокойствия и будет уметь благоразумными выборами отклонить предстоящую грозу. Во всяком случае король еще успеет поддаться левой стороне, если выборы будут в ее пользу. От всей этой каши тошнит.

Между тем все идет по обыкновенному порядку. Карнавал бесится: ночью по улицам такой шум, вой, что подумаешь, не ... глаorioзные затеиваются? Нет, ничуть. Маски

¹ «Пуритане» (ит.).

изволят забавляться. В домах по несколько балов в вечер. Театры битком набиты. Когда эти дьяволы успевают бунтовать, помышлять о ниспровержении престолов и ставить все вверх дном.

Париж — (Puisqu'il faut bien
l'appeler par son nom¹)
20/16 февраля 1839 г.

Вчера минуло месяц, что мы здесь, и за исключением нескольких дней, что я был жертвою пиявок, вот более трех недель, что я верчусь в здешнем мире. Но со всем тем я не впиваюсь еще пиявкой в здешние соблазны, напротив, каждый день отбивают мою жажду. От чего это? Трудно решить эту физиологическую и психологическую задачу. Кто тут виноват? Я ли? Париж ли? Вероятно, оба. Я от того, что слишком стар, слишком исключителен, слишком целен. Если в чем-нибудь что-нибудь одно мне очень не нравится, если какое-нибудь из внутренних, из коренных моих убеждений оскорблено, обмануто, то я противлюсь, запираюсь наглухо от всех других впечатлений et je boude². Здесь, где политика во все вмешивается, одна из главных стихий окружающей вас атмосферы и входит во все поры ваши умственные и сердечные, нельзя с моим расположением оставаться нейтральным, особенно в настоящую минуту, где все приняло новое движение. Возникший здесь процесс огадил мне французов, и эта тошнота разлилась на все. Личное честолюбие некоторых и безумие или легкомыслие почти общее навели на меня уныние, ибо я еще был верующий. Даже и замечательные лица потеряли для меня весь свой интерес, ибо я им уже не верю.

Что скажут мне они нового, какими убеждениями проникнут они меня, когда уже оголились они предо мною в действиях своих? Что нового узнаю я от Гизо о Гизо, когда я читал, что он говорил и писал, и вижу, что он делает? Знаю, что он будет лгать передо мною, как лжет перед Франциею и перед светом и, вероятно, перед собою, себя обманывая и закрывая глаза, чтобы не видать, куда он идет, ибо Гизо не разрушитель по побуждению, но только по самолюбию, и на время, надеясь на себя и на свои силы и думая, что, когда власть попадетя ему в руки, он сумеет

¹ (Потому что нужно же его назвать своим именем) (фр.).

² И сержусь (фр.).

и сможет восстановить то, что он ныне колеблет. Я был у него, и он в нескольких словах резюмировал мне то, что говорил в палате и после писал, имея нужду оправдываться не только перед всемирным трибуналом, но и частно. Он говорил мне, что всей этой передряге придают излишнюю важность, что это дело совершенно домашнее, что в представительном правлении равновесие властей должно быть в строгой и совершенной соразмерности, для полного развития каждой власти отдельно и для правильного и совокупного действия соединенных властей, что, по его убеждению, нынешнее министерство излишне нагружает правительственную власть, ослабляя другое начало, и что для восстановления равновесия и вследствие того благоразумного укрепления самой царской власти должно было вооружиться против министерства. Разумеется, отвечать мне ему было нечего. Слушаюсь, да и только. Нечего было мне говорить ему, что монархия июльская, за которую он, однако же, стоит, не довольно еще оселась и раздобрела, чтобы можно было поминутно в глазах ее внутренних противников легитимистов, республиканцев и наполеонистов и в глазах недоброжелательной к ней Европы ажитировать вопросы, которые более или менее касаются до самого ее существования. Нечего было ему сказывать, что, по-моему, похожи они на диких, о коих говорит Монтескье, подрубающих дерево, чтобы сорвать плод, а они подрубают, чтобы очистить от некоторых сухих ветвей.

Третьего дня был я у Тьера — и салон его и разговор собеседников напомнили мне литературные вечера Воейкова, в которых все время проходит в сплетнях о Грече, Булгарине, Полевом. Тут ни слова о литературе, здесь ни слова о Франции, о государственных началах, о нравственной политике, а сплетни о министрах и своих противниках. Видишь, что дело идет не о убеждениях совести и ума, а только о лицах. Теща Тьера, рыбачка, настоящая *poissarde*¹, кричит и ругает противников зятя своего. Но дом их прекрасен, что-то италиянское в наружности, с садом, двором, усталанным по сторонам зеленым дерном. Самый дом на площади *St. George*¹, перед фонтаном. Тьер не велик ростом, что-то вроде Нессельрода, в очках, голос несколько писклявый, что-то мещанское, чиновническое в ухватках, хотя с примесью заемного барства, впрочем, довольно

¹ Рыбная торговка, грубая, нахальная женщина (*фр.*).

² Сен-Жорж (*фр.*).

внимателен и учтив. Они в таком чаду и умнейшие из французов так привыкли судить все поверхностно и по некоторым внешностям и опухлостям, что и Тьер по поводу ночных заседаний английского парламента серьезно говорил мне, что, вероятно, войдут они скоро в употребление и во Франции, ибо с каждым днем умножается и утверждается сходство между обоими государствами. И это говорит член и один из предводителей коалиции, которая никогда не могла бы устроиться в Англии по несбыточности своей, по безнравственности и по бесприличности. Здесь переняли английское представительное правление точно так же, как переняли английский романтизм. Тьеры, Гарнье-Пажесы точно такие же конституционалисты, как В. Гюго, Дюмамы, Шекспиристы. Присвоили себе неограниченную свободу все говорить, все писать, не уважать ни единством времени, ни единством истины и святости некоторых начал, которые везде и всегда должны пребыть ненарушими, присвоили себе выражение, но не присвоили смысла и думают, что они сравнялись с англичанами, и еще превзошли их, ибо преувеличили и сбили донельзя некоторые их крайности. Тут же Мериме (автор *de la double méprise et de Clare Gazul*²) ратовал, как ужасно действие Сальванда, министра просвещения, что он предлагал пристроить к университетскому зданию концертную залу *et une chapelle*³ и все слушатели ахали от удивления и ужаса, и говорили, что Сальванди безумец. Пожалуй, еще зала концертная дело, может быть, лишнее, но что же мудреного и непостижимого в том, что в христианском государстве думают построить церковь. И при таких понятиях они полагают, что Франция с каждым днем более и более сливается с Англиею, в которой стихия монархическая и стихия религиозная так же сильны, как и стихия свободы. Скажите Соболевскому, что приятель его Мериме должен быть подляшка; я видел его и у Л. Веймара и у Тьера, и каждой партии подслуживается он, принося ей на жертву другую. Одно из главных бедствий здесь — это могущество грамотности и пера. Кто пишет и пишет хорошо, тот уже признает себя способным быть государственным человеком и лезет в депутаты, чтобы попасть в министры. Таким образом, всякое правило, благопазущее в некотором отношении, в известных пределах, здесь обращается во зло неуместным применением и безгра-

¹ «Двойной ошибки» и «Клары Газуль» (фр.).

² И часовню (фр.).

ничным расширением. Оттого французы испортили много хорошего: представительство, свободу печатания, самый романтизм. Все они пересолили и перебагрили кровью, расшибая лоб себе и другим излишним усердием. Разумеется, безграмотность и невежество должны быть преградами к почетным местам, но из того не следует, чтобы дар слова и дар пера, чтобы каждый краснобай и каждый журналист имели право управлять государством. Все понятия сбиты с места. Давайте пищу и действие всем *saracités*¹, это необходимо, но смешно думать, что всякая *saracité*, всякая специальность на все годится. Здесь, например, скульптор Давид влюблен не в Галатею, а в депутатство, спит и видит, как попасть в палату, и попадет. Другое здешнее бедствие — это способность, с которой французы составляют ярлычки, как, например, *Les doctrinaires*², или *le roi règne et ne gouverne pas*³ и тысячу других. Выставят такой ярлык, и пойдут толки, споры, прения, междоусобия. О деле, о Франции нет уже и в помине: готовы все поставить вверх дном, затеять новую революцию, чтобы оправдать свой или оборвать чужой ярлык. Например, ныне без этого ярлыка *le roi règne et ne gouverne pas* никак нельзя было бы поднять всю эту передрагу, ибо в существе дело и вообще положение Франции ни в чем не изменилось. Моле точно то же делал, что Тьер и Гизо, когда они были министрами. Дух тот же, материально Франция процветает, следовательно, фактами нельзя никак оправдать необходимость или даже пользу этого ополчения против министерства. Но пустили в народ ярлык и теперь готовы драться за него. По всему более и более убеждаюсь, что представительное правление не годится для французов. Они не умеют обходиться с свободой: свобода должна быть религия, а французы или фанатики, или кошуны. Французы болтуны и краснобай: трибуна для них театр, а не судилище, не святилище. Из представительного правления взяли они одну театральную, декорационную представительность. Это тоже род ярлыка на пустой склянке. Да и посмотрите, когда Франция была сильна и опасна Европе? Всегда в руках деспотизма: при Людовике XIV, во времена *terreur*⁴ и при Наполеоне. И теперь она может быть опасна

¹ Способностям (*фр.*).

² Доктринеры (*фр.*).

³ Король царствует, но не управляет (*фр.*).

⁴ Террора (*фр.*).

для Европы, подобно больнице, в которой содержатся бешеные без присмотра: они могут разбежаться и наделать много шума и бед, но скоро сами перебесятся и переппадают в изнеможении. Нельзя предвидеть, чем все это кончится, но так устоять не может. Разрешение задачи, предлагаемое республиканцами или легитимистами, равно безнадежно и не прочно. Если французы неспособны к представительной монархии, то еще менее способны они к республике, если республика посреди Европы и дело сбыточное, чему не верю: новая ресторация тем же кончится, чем первая и вторая. В нынешних обстоятельствах то, что есть, было бы лучшим умирительным средством, но и оно не довольно действительно. После революции, после Наполеона Франции нельзя возвратиться к тому же и сознаться, что она по-пустому проливала кровь свою, бесилась и страдала четверть века. Старшая ветвь, как ни прививай ее, чужими ли штыками, вандейскими ли кинжалами, но срastись с Францией уже не может. Это мое убеждение. К тому же и ветвь бесплодная, гнилая, отжившая свою пору. Разумеется, будь Гейнрик 5-й другой Наполеон, то можно ему будет овладеть Францией, но *par droit de conquête, et non par droit de naissance*¹. Кажется бы, что Франция могла сказать о Филиппе, что Вольтер сказал о божестве: *Si Dieu n'existait pas il faudrait l'inventer*². В нем сливались два противоположные начала, в нем воплощались революция и монархия, с ним и овцы были целы и волки сыты. Монархическая Европа могла видеть в июльской революции домашний переворот, *une question de nom propre et de principe*³ то, что, впрочем, виделось и не во Франции: самохвальство французов утешалось тем, что они на своем поставили и сделали *après coup*⁴ то, что вправе были сделать прежде, ибо нет сомнения, что после падения Наполеона, если *le gouvernement provisoire*⁵ вместо Людвига XVIII предложил бы Louis-Philippe, то союзники не стали бы спорить, ибо о Бурбонах не смели они и думать и очень были бы рады этому разрешению трудной задачи: кого посадить на престол. Вот на что не довольно обратили внимание европейские державы, недоброжелательные июльской революции:

¹ По праву завоевания, а не по праву рождения (*фр.*).

² Если бы бог не существовал, его нужно было бы выдумать (*фр.*).

³ Вопрос имени, а не принципа (*фр.*).

⁴ После переворота (*фр.*).

⁵ Временное правительство (*фр.*).

elles l'ont prise trop au sérieux¹. Это было дело совершенно домашнее, неблагоприятное, неблагоприятное, согласен, но, зная французов, должно было сказать им спасибо и за то, что они не сделали хуже. Теперь, может быть, сделают хуже и Европе нужно будет вмешаться и силою войти в общее тревожение. Новому правительству должно было дать руку помощи *pour ses beaux yeux*², но для собственной пользы, ибо в лице Филиппа, как ни называй его *usurpateur*³, но все-таки сосредоточилось правило монархическое, хотя несколько искаженное, но еще довольно могущее. Оттого и устремлены были на него кинжалы цареубийц, ибо знали, что, убивая в нем представителя монархического правила, ранят одним ударом и других представителей. Филипп, окруженный и подкрепленный доверием и уважением Европы, то есть не он, а трон его, был бы более уважен и во Франции, и не столь доступен покушениям вандейским и республиканским. Сентиментальная политика никуда не годится: в ней может быть почтенное добродушие, но нет предусмотрительности, нет той благо-разумной уступчивости, которою умиряются, обезоруживаются и нейтрализуются обстоятельства.

Думать, что Франция с потрясенными своими понятиями, с искоренением всех возможных правил и преданий, вырванных из почвы кровавыми бурями, может приютиться и притихнуть под сенью абстракции о *légitimité*⁴ или *du droit divin*⁵, она, которая не признает никакой законности, кроме положительной, и мало верит в бога, оставляя его в покое только с тем, чтобы и он не вмешивался в чужие дела, так думать, значит, не знать Франции и мечтать о золотом веке, когда чугунный век так и несется по железной дороге и мнет и сокрушает все, что ему навстречу ни попадает.

Вот вам политическая физиономия Парижа: она мне не по нутру. Теперь посмотрим на общежительную, на социальную. Во-первых, отделить ее совершенно или даже несколько значительно, от другой здесь невозможно: это два сросшиеся сиамца. Здешние салоны мне не нравятся. В них мало приветливости. Все так сыты до пресыщения, до одушия, что нужно разве много времени или особенный случай,

¹ Они приняли ее слишком всерьез (*фр.*).

² Не ради его прекрасных глаз (*фр.*).

³ Узурпатором (*фр.*).

⁴ Законности (*фр.*).

⁵ Божественном праве (*фр.*).

чтобы залакомить собою. Общества все очень многолюдны и народ все кочующий из одного салона в другой: это непрерывная ярмонка. Учтивая хозяйка, например, duchesse¹ de Bozan, скажет каждому слов пять приветливых, и только: другие и того не скажут — поклонятся, да и полно. Все приезжают на 10 минут, ибо в один вечер надобно перебивать в трех и более домах. Хорошо, когда уже сроднишься с общим разговором, то успеешь и на лету поменяться словами, которые в связи с предыдущими и с последующими, но чужому, постороннему что сказать тут при этой вечной передвижке, кроме пошлых слов обрядного пустословия? Балы? Признаюсь, не нахожу в них ничего особенно блистательного. Кроме балов Стакельберга, американца Торна, которые имеют что-то праздничное, ибо покои просторны, другие балы толкотня, в которых только и видишь фрачные или голые спины стоящих перед тобою. Голые спины, еще не худо, были бы хороши, но, право, очень мало красивых спин и красивых лиц, удивительно мало, особенно же мало стройных, элегантных (т. е. от природы) женщин, мало блистательных, воздушных, поэтических или разительных красавиц. Все лучшие иностранки: англичанка Дорсе, испанка Алканизес, италиянка Belgioso, нечто в роде привидения, прозрачная, луноватая, но ярко отмеченная живыми черными глазами и особенно выражением, еще несколько англичанок и только. Из здешних более всех мне нравится герцогиня Валомбрез. Глаза прекрасные, но нет талии. Вообще в физиономии здешнего общества нет ничего привлекательного, нет этой *auréole du bon goût, d'élégance, du comme il faut*², которую я думал найти. Все это вроде Mme Hervé. Наружность и обхождение мужчин — хотя красавцев гораздо более нежели красавиц — грубы, неловки и пошлы. Или бородачи нараспашку, или затянутые купчики в воскресный день. Борода небритая пробивается не только на лице, но и во всем. Толкаются, ходят по ногам, только что не по голове, и заботы нет. Вы не услышите: *excusez*³, то знайте, что это иностранец. Между тем это движение непрерывное, но без цели, без души, становится скоро утомительно. В молодости может оно быть увлекательно, но на меня оно наводит уныние и какое-то оцепенение,

¹ Герцогиня (фр.).

² Нет этого ореола хорошего вкуса, элегантности, порядочности (фр.).

³ Извините (фр.).

любопытство же мое слабо возбуждено этим зрелищем, ибо после Италии, Неаполя и Лондона оно для меня не ново. Вообще Париж живет, я думаю, несколько еще и старою славою своею. Хотя французы и говорят: *il n'y a qu'un Paris au monde*¹, но не надобно забывать, что в отношении многолюдства, общежительной деятельности, роскоши пособий другие столицы также много приобрели, и ныне несоразмерность между ними и Парижем не столько ощутительна, как прежде. Париж уже не представляет совершенно новой физиономии. Не говоря уже о Лондоне, который гораздо выше Парижа, но и все другие столицы подросли к нему хоть по плечу. Главная неотъемлемая прелесть здесь спектакли, а особенно же для меня Италианская опера, которая также не коренная, а заезжая красавица, в которую я так влюблен, что готов бы следовать за нею на край света, хоть в Камчатку; она украсила бы для меня и Камчатку. И еще Фанни Ельслер, также, слава богу, не французенка. Стало, могу без неблагодарности, ругать Францию сколько душе угодно. К счастью моему и герцогиня Валомбрез принадлежит Италии. На совести моей никого и ничего не осталось французского. Войти в приятные сношения с литераторами очень трудно и почти невозможно, во-первых, потому, что здесь нет литературной жизни и нет сношений между литераторами. Они чужды друг другу, а если не чужды, то как кошки с собаками. Надо самому их отыскивать по углам. Некоторые мелкотравчатые знают между собою, но бог с ними, а верхушки все живут каждая особняком. Доселе познакомился я покороче и полюбил Alfred Musset и St. Veuve. Особенно последний добросовестный литератор, художник в душе и очень приятного обхождения. Другой моложе и, кажется, разгульнее, следовательно, труднее уловить его. Ламартин занимается теперь литературою из милости. Я был у него, и наружностью своею он мне понравился. На днях я должен познакомиться с Нодье, который, сказывают, очень приятен.

Что же остается еще? Уличная, бродяжная фланерная жизнь, которая здесь имеет свою прелесть, но при известном расположении духа, которого во мне теперь как-то нет. Для этого нужна и хорошая погода, а во все это время была пакостная, нужно и какое-то благоволение к земле и к народу, по которой и между которым ходишь, а я имею какую-

¹ Париж — единственный в мире (фр.).

то досаду, дуясь на все и на всех. Меня бесит, что встречаю французов, в каждом лице думаю видеть члена коалиции и каждому хочется мне сказать: свинья, или подлец, или безумец. Хороша здесь бон-шер¹, но кроме того что она шера², мне еще и глаза мои шеры, и поневоле должен я воздерживаться. На улице красивых хорошеньких женщин очень мало, этих картинных гризеток нет, следовательно, глазам заглядываться нечего. Я не встречал еще ни одной женщины, с которою весело было бы в другой раз встретиться. Владыко ли живота моего ограждает меня ангелом целомудрия от соблазнов, или просто состарившийся мой живот мешает глазам моим хорошо вглядываться, но оно так. Здешняя толпа при всей живости своей не имеет ничего увлекательного, се n'est pas une vivacité intelligente³, нет в ней добродушия, добросовестности немецкой, нет поэтической яркости италианской. Что-то тупое, бессмысленное, макинальное, ни дать, ни взять то, что наша толпа. Разумеется, здесь более движения, нежели у нас, и движения постоянного, непрерывного и общего, но не знаю, как выразить, как объяснить: движение не живое, это метель, рябит в глазах, но не рисуется живописными формами, не дробится, не отсвечивается блистательными отпрысками. Самая буйная веселость здешних публичных маскарадов не имеет убедительной истины: се n'est pas libertinage, c'est une sensualité sauvage⁴. Они не оттого неблагопристойны, что слишком веселы, и что веселость их разливается через край, нет, им весело, или любо, что они могут быть неблагопристойны. Pourvu qu'il y aye de l'excès il leur est égal de pousser à l'excès la saleté, ou le libertinage. Ils aimeroient tout autant faire leur grand besoin en public et au milieu de la salle, qu'autre chose⁵.

¹ Хороший стол — от *фр.* bonne-chère.

² Дорога — от *фр.* chég.

³ Это не живость ума (*фр.*).

⁴ Это даже не распущенность, это дикая чувственность (*фр.*).

⁵ Им безразлично, что доводит до эксцесса, будь то даже грязь или распущенность. Они в равной мере готовы удовлетворить свою большую нужду при публике, посреди зала, как и сделать что-либо другое (*фр.*).

18 февраля

Довольно ли наблевал я желчи на Париж? Между тем, *soyons juste*¹, как говорит сестра моей здешней приятельницы, я все-таки питаю какое-то тайное, внутреннее убеждение, что здесь со временем можно ужиться и хорошо устроиться. В противоречие с другими, которые пьянеют от Парижа с первых приемов, мне он не нравится по внешностям своим, по тем впечатлениям, которыми он с первого раза обдаёт ум и сердце, но я угадываю, чувствую, верю верою, что можно отыскать в нем много хорошего, но не надобно бросаться в поток и плыть с толпою: надобно отыскать другие протоки по своим силам и склонностям. Во-первых, независимость жизни и действий есть большая прелесть; к тому же все под рукою. Чего хочешь, того просишь и найдешь, и одна душа мера. Всякая специальность найдет себе пищи вдоволь. Всего хуже здесь политическая сторона, стихия, а она-то и преобладает всем. Натурально, она и ошибет новичка, с первого раза, и если испарение ему не по нутру, его огадит. Но после опомнишься и окружишь себя атмосферою более симпатическою. К тому же меня несколько примирили с Парижем сегодня вчерашние письма ваши, доставленные нам Фелькерзамом. Вижу, или, лучше сказать, вспомнил, что и у вас не все пахнет розами, а разными навозами, и что меня и так кое от чего тошнило. Видно, у меня такая природа тошная, тошноватая, et тошнота rouge² тошнота, не знаю еще, которая сноснее.

La duchesse de Bozan disoit l'autre jour, je viens des bouffons — Qu'y a-t-on donné? — Othello³. Вот чем эти сен-жерменские дамы поддерживают святость монархического преданий. Если коалиции гадки, то правая сторона ужасно глупа и смешна. Вы знаете, что в старину Италианскую оперу называли: Les bouffons. Более всех мне здесь нравится *type du comme il faut*⁴, графиня Аппони, а еще более к. Ливен. Я недавно начал опять ездить к последней, потому что по смерти мужа она не принимала, да и теперь принимает не многих. От этих двух дам только удостоился

¹ Будем справедливы (фр.).

² Здесь: накладывается (фр.).

³ Герцогиня де Бозан однажды сказала: я возвращаюсь от буфонов. — Что там давали? — «Отелло» (фр.).

⁴ Тип аристократический (фр.).

я знаков приветливости и внимательности, то есть d'une politesse intentionnée¹. От прочих видел я только учти-вость банальную, а в наши лета этого не довольно, чтобы залучить. Свечина также очень добра, но не имею времени к ней ездить, и как она ни умна, но меня не очень тянет к ней. А Тургенев сердится и не понимает, как могу предпочитать спектакль и les brailleurs italiens² беседе ее. Приедет он оттуда и говорит мне: как жаль, что тебя не было у Свечиной, elle étoit admirable, elle surpassée.— De quoi a-t-elle donc parlé? — De la sainte Vierge!³ — Да Христос с нею! Что она нового может сказать о богородице, и для того ли приехал я в Париж на несколько недель, чтобы слушать ее акафисты? Но здесь на религию мода, особенно в Сен-Жерменском приходе, il est de bon ton⁴ говорить несколько слов в пользу богородицы, и называть Отелло и Норму Les bouffons. В литературе нет ничего замечательного. Новые романсы Gabrielle, Gerfaud довольно посредственны. Первое сочинение моей приятельницы Ансело, c'est de l'eau⁵. Еthers я не читал, но тоже, говорят, не очень спиртуозно. Ламартин печатает том мелких стихотворений. Не ожидаю чего-нибудь отличного, но все, без сомнения, будет лучше его человеческих поэм, бесчеловечно длинных и скучных. Мало еще знаю маленькие театры. Зато матушка ваша купается в них до часу пополночи. Меня более всего влечет и занимает музыка, потому и бываю только в операх италийской и французской всегда с сердечным наслаждением, особенно в италийской. Сегодня услышу в первый раз и, к сожалению, в последний Somnambula, мою милую и грустную римскую знакомку. Ее не давали еще при мне и не дадут более до закрытия оперы, то есть до отъезда буфонов в Лондон. Во французской опере один Дюпре хорош, но оркестр, хоры и вообще все исполнение превосходно. Был я один раз и в концерте du Conservatoire и вспоминал о Смирных, тем более что сидел, может быть, на том самом месте, где пупенька ее трепетала и потела от музыкального удовольствия, ибо я был в киселевской ложе. Давали симфонию Бетховена. Совершенство! Из французских, настоящих буфонов видел я только Le Peintre dans

¹ Умышленной, подчеркнутой вежливости (фр.).

² Итальянских горланов (фр.).

³ Она была восхитительна, она превзошла себя! — О чем же она говорила? — О святой деве! (фр.)

⁴ Считается признаком хорошего тона (фр.).

⁵ Это — вода (фр.).

le mari vengé, et Arnel dans les impressions de voyage ¹. Le Peintre славная и уморительная карикатура. Но как они ни забавны, а забава эта у меня еще впереди и в Петербурге. Vernet и Paul Minet также очень смешны, а я здесь хочу запастись тем, чего, может быть, уже никогда не удастся мне и отведать. Не только потому, что, может быть, уже не придется быть в Париже и в Лондоне, но и потому, что музыка, то есть певческая, падает. Нынешние певцы стареют, а подставы не подрастает. Здесь много кричат о Garcia, сестре Малибран, и называют ее un revenant ², то есть воскресшею сестрою. Она не пела еще на театре. Я слышал ее в Берлине и во Франкфурте и признаюсь, не разделяю общих ожиданий и восторгов. Все поджидали хорошей погоды и чтобы стало теплее для пилигримства по Парижу и окрестностям. Я уже почти все видел в первые проезды, но надобно показать жене и Надиньке. Между тем время уходит, а я не намерен здесь заживаться и проживаться. Доживем еще весь март, да и полно. С другой стороны, жаль, потому что весна здесь лучшая пора. Окрестности парижские мне очень нравятся. Сюда приехала Завадовская. Я еще не встречал ее и не видал носа, который, сказывают, покраснел. Рахманова грудью пробивается во все салоны, а Обрескова ... Но всех фешенебельнее из русских дам здесь Елим Мещерская и ею открываются салоны и для Мещерских к. Василия, которого дочка, впрочем, очень мила, и сама по себе, и здесь нравится. Они едут, т. е. Мещерские Basile, на днях, в Италию. Я был с ними недавно в театре, и к. Василий ужасно бушевал с ouvreuse ³. При выходе я взялся было за сюртук, полагая, что мой, но ouvreuse говорит мне, non, ce n'est pas le vôtre, c'est celui de ce M-r qui est si en colère ⁴. Он уморительно смешон. На днях ходил я смотреть Mlle George, но не на сцене, а у нее дома. Я знал ее в Москве, почти лет тридцать тому, то есть до 12-го года. Точно развалившаяся башня, но есть еще что-то величественное, а на сцене, сказывают, и напоминающее и древнюю красоту; пойду смотреть ее dans le manoir de Mon Louvier ⁵,

¹ Ле Пентра в «Отомщенном муже» и Арнель в «Путевых впечатлениях» (фр.).

² Призраком (фр.).

³ Служительницей (фр.).

⁴ Нет, это не ваш, это того господина, который в таком гневе (фр.).

⁵ В «Моем Лувье» (фр.).

уродливой драме, которая, уверяют, не без интереса. Она хочет ехать в Петербург. Вы спросите у меня парижские *bons-mots*?¹ Право, нет их, или до меня они не доходят. *Je n'ai entendu encore rien de fort spirituel chez la nation la plus spirituelle du monde*², как уверяют французы словесно и письменно. Даже и *Charivari* притупел, хотя и не прикусил язык, и ругает короля и министров и всех некоалиционных во всю ивановскую. *Le bon mot et la repartie sont morts avec Talleyrand*³. Вот, например, сегодняшние шутки шариварские: *Un proverbe dit: «Comme on fait son lit on se couche»*. En ce cas le ministère d'avril devra s'endormir dans la fange. Depuis l'avènement de la crise électorale le système (т. е. король) s'ingère à faire peur. Il est assez laid pour cela. A la fin de ce mois les ministres d'avril courent grand risque d'être traités comme vagabonds. Ils n'auront pas de chambre à eux⁴.

Напротив, полагают, что большинство выборов будет в пользу министерства, но маленькое большинство, которое, впрочем, не разрешит всех затруднений настоящего кризиса. Вчера к. Ливен говорила, что, по ее убеждению, через шесть лет не будет представительного правления во Франции. Дай-то бог, потому что она не умеет с ним совладеть et qu'elle gâte le métier pour les autres⁵, но не надеюсь на эту хорошую развязку. Французы еще много и долго будут безумствовать и пакостить. Унять же нельзя, car qu'у touche, s'у rique⁶, а сами они не уймутся. Разве два-три поколения передирижируют эту кашу, а не прежде.

¹ Шутки (фр.).

² Я еще не слышал ничего особенно остроумного от народа, наиболее остроумного в мире (фр.).

³ Остроумные слова и ответы умерли вместе с Талейраном (фр.).

⁴ Пословица говорит: «Как постелешь постель, так и будешь спать». В таком случае апрельское министерство должно будет заснуть в грязи. С начала кризиса выборы правительство (т. е. король) стремится внушить страх. Оно достаточно безобразно для этого. В конце этого месяца апрельские министры рискуют быть рассматриваемы, как бродяги. У них больше не будет жилья (фр.).

⁵ И потому что она портит это звание для других (фр.).

⁶ Потому что кто до них дотронется, тот уколется сам (фр.).

Георг Веерт

ПОСЕЩЕНИЕ ТЮИЛЬРИ

Люди, которые ежедневно проходят мимо нашего дома и которых мы не знаем, возбуждают в нас интерес только в том случае, если они той или иной чертой своей внешности привлекают к себе наше внимание. А поэтому едва ли я стал бы второй раз смотреть вслед высокому, статному человеку, который каждый день, около девяти часов утра, быстро проходил мимо моего окна, если бы не его предприимчивый вид и то обстоятельство, что каждый раз он нес под мышкой полдюжины цветочных горшков и шел в сопровождении огромного ньюфаундленда.

Его обрамленное непокорными кудрями лицо, дышавшее отвагой, и мирные цветочные горшки так мало подходили друг к другу, что я не раз громко смеялся, когда этот человек, всегда шедший с деловым видом, поглядывал на меня с улицы.

Так прошло несколько месяцев. В Брюсселе возникло общество бельгийских, немецких, французских и других демократов. Само собой понятно, что я также участвовал в нем. Все собрались в «Доме мельников» и в первый же вечер приступили к выборам комитета. Имя генерала Мелинэ было первым извлечено из урны, и седовласый ветеран многих сражений занял в зале кресло почетного президента. За ним последовали в качестве членов комитета бельгийские адвокаты Жотран и Пикар, затем Карл Маркс с головой Юпитера, за ним поляк Лелевель в синей блузе, — меня самого посадили в качестве переводчика между этими опасными людьми. Я уже хотел занять свое место, но тут выкрикнули еще имя какого-то господина Эмбера и, к моему немалому восторгу, рядом со мною уселся человек с цветочными горшками и с ньюфаундлендом. Мы тотчас познакомились. Эмбер был раньше редактором журнала «Le Peuple Souverain»¹ в Марселе. Изгнанный оттуда, он играл в Париже одну из первых ролей во всех восстаниях, направленных против июльской династии, пока и здесь ему не стал грозить арест. Это заставило его искать приюта в Бельгии. Отказавшись на некоторое время от политической агитации, старый республиканец занялся в Брюсселе изготовлением

¹ «Суверенный народ» (фр.).

глиняных горшков — какое прозаическое занятие! И бог знает, сколько времени он оставался бы погребенным здесь, если бы только что возникшее Демократическое общество снова не воспламенило бы его пылкую душу. Я не стану описывать дальнейшие свои встречи с этим удивительным человеком. Он являл собою революционера в равной мере честного и деятельного, с затаенным отчаянием взиравшего на позор своего отечества, — должен признаться, к старику Эмберу я приближался с чувством благоговения.

Еще несколько недель назад мы сидели спокойно рядом и слушали в «Обществе» споры по вопросу о введении свободной торговли, как вдруг к нам донеслись громовые раскаты революции, и в мгновение ока старик исчез. Среди того великого возбуждения, которое последовало здесь, в Брюсселе, за первыми известиями из Парижа, я едва ли и подумал бы о нем, как вдруг пронесся слух, что он возвратился к себе на родину и, явившись в самый последний момент боя, пал на баррикаде, пораженный несколькими пулями. Бедный Эмбер! Ты жил только затем, чтобы умереть за свободу... Мне было жаль его, и когда я, охваченный неодолимым влечением, тоже оставил Брюссель, чтобы поспешить на берега Сены, я твердо решил оказать последние почести мертвому герою.

После очень утомительного путешествия по разрушенной северной дороге я ночью прибыл в Париж. Все напоминало о только что пронесшейся буре. Сторожевые костры горели на улицах, часовые национальной гвардии кричали свое «Кто идет?», то и дело приходилось перепрыгивать и перелезать через баррикады, сооруженные из деревьев, досок, камней и разбитых карет. Какой-то солдат национальной гвардии с каской на голове и саблей на боку приготовил мне постель в гостинице, которая ему принадлежала. «Dormez bien, citoyen!»¹ — и мне тут же стали грезиться все герои старых и новых революций.

На другое утро мой первый поход был в Тюильри. Бедняга Луи-Филипп, как ужасно обошлись с тобой! Если бы ты не обратил двести миллионов в английские государственные бумаги, ты поистине был бы достоин сожаления. А какой вид имеет твой дворец — стены разбиты пулями, окна разбиты, шелковые занавеси разрезаны на платье первому попавшемуся мальчишке! Я стоял, погруженный

¹ Спокойной ночи, гражданин (фр.).

в благоговейную грусть, как вдруг навстречу мне загремело: «Да здравствует республика!», и с распростертыми объятиями ко мне бросился высоченный человек, обнял, расцеловал меня; то был старик Эмбер.

- Значит, не убиты?
- Как раз наоборот, жив и здоров.
- Я думал, вы погибли на баррикаде.
- Действительно, но я очень скоро воскрес.
- Значит, я напрасно вас оплакивал?
- Жаль ваших драгоценных слез!
- Что же вы делаете сейчас?
- Я стал начальником!
- Начальником?
- Ну да. Здесь, в Тюильри.

Так оно и было. Мой старый друг, который еще только две недели назад изготовлял глиняные цветочные горшки в Сен Жоссе-тен-Нооде под Брюсселем, стал теперь начальником лазарета в Тюильри. Да, многое изменилось.

«Hôtel des Invalides civils»¹, как теперь называют Тюильри, открылся для меня благодаря моему знакомству со старым республиканцем. Я посетил дворец в прошлый понедельник.

— Смотрите, — сказал мне Эмбер, когда мы шли с ним во флигель дворца, выходящий на Сену, — я выбрал для себя самые скромные комнаты, комнаты принца Жуанвиля. Входите!

И вот мы стоим в гостиной известного мореплавателя, с большим вкусом убранной коврами, картинами и географическими картами. Несколько слоновых бивней, чучела животных и корабельная звезда над зеркалом подчеркивали еще яснее, что здесь когда-то жил молодой принц, которого раньше называли украшением французского флота. В общем же комната имела довольно странный вид, ибо по причине кражи, совершенной этой ночью, республиканская полиция разместилась, весело завтракая, за столом начальника. Эмбер представил меня всем, и я должен признаться, республиканская полиция состоит из премилых людей; правда, среди них было несколько молодчиков с разбойничьими лицами, но в общем все они были очень, очень любезны. Никакая полиция никогда не казалась мне такой приятной.

¹ Дом гражданских инвалидов (фр.).

Из салона Эмбер повел меня в другие комнаты, отделанные позолотой и красным бархатом, довольно мало пострадавшие от людского потока и являвшие следы последних дней лишь там, где рука народа отламывала на память эмаль от шкафа или резьбу от какого-нибудь кресла. Через библиотеку принца, сохранившуюся в полном порядке, мы прошли в спальню, где другой демократ, остановившийся у Эмбера, только что встал с постели и, раздвинув оконные занавеси, обратил наше внимание на прекрасный сад и Елисейские Поля.

— Вот в этих двенадцати или четырнадцати комнатах и я живу, счастливый и довольный,— сказал мне, смеясь, Эмбер.— Однако спустимся в покои Луи-Филиппа!

По широкой лестнице мы спустились вниз и скоро были на месте. Мы стояли перед первой створчатой дверью. Еще не прошло и трех недель с тех пор, как ее охраняли герцоги и графы; вместо них мы увидели только молоденького солдата национальной гвардии, который, казалось, невероятно скучал в своем роскошном одиночестве. Через приемную мы вошли в кабинет короля, тот самый, в котором происходило не одно заседание совета министров. Тут сидел Гизо, там Дюшатель, здесь еще стоял тот же круглый стол, покрытый зеленой скатертью. Дела, письма и депеши теперь были заменены несколькими недопитыми бутылками вина. В кресле короля сидел молодой человек, раненный в ногу. В то время как он читал роскошный позолоченный фолиант, доктор перевязывал ему рану. Нога раненого покоилась на диване кармазинного цвета. В облицованном мрамором камине весело горел огонь, солдат национальной гвардии сидел перед ним и варил кофе, другой ел макароны. Стены комнаты были сплошь увешаны картинами, среди которых я при всем желании не мог обнаружить ничего замечательного. Как утверждают, Луи-Филипп покупал картины на метры. Многие предметы во дворце, которые считались золотыми, оказались только позолоченными. Мудрый монарх знал, что его драгоценности будут у Кутса и К^о в Лондоне в большей сохранности, чем в Тюильри.

С шутками и смехом проходили мы по комнатам принца и короля, как вдруг перед нами распахнулась дверь большой галереи,— разговор прервался, посетители затаили дыхание, мы шли на цыпочках. Мы вступали в священное, заповедное место, ставшее священным, заповедным с того момента, как вместо пресмыкающихся придворных и трус-

ливых лакеев в эти просторные покои вступили окровавленные герои, герои тех незабываемых дней, которые, едва миновав, кажутся нам уже почти сказкой, легендой. Галерея князей и льстецов стала госпиталем. Длинными рядами на мягких матрацах лежали бедные раненые. Здесь из-под одеяла на вас смотрело мужественное лицо, правда бледное и изможденное, но импонирующее тем полным достоинством самообладанием, с каким лежавший, казалось, боролся с болью. Рядом — голова глубокого старика, облокотившегося на худую руку, которая, конечно, уже не раз в боях революции держала мушкет. А там мальчик. Он едва избежал смерти — и уже снова смеется и радуется тому дню, когда он с песней будет ходить по своему прекрасному Парижу. И так далее, вперемежку, все эти храбрецы, которые пролили свою кровь за свободу, — старики, молодые мужчины и дети. Странная робость охватила меня, — один лишь взгляд на задремавших — и я удалился, мне стало стыдно, что я вот так, словно равнодушный посетитель, словно любопытный, подхожу к ложу героев. О, какая это была превосходная мысль — поместить раненых победителей в покоях короля! Из больших золоченых рам на страдальцев смотрели, словно изумляясь, лица на портретах; наверху — изображения королей, внизу — ложе пролетария. Необыкновенная больничная палата. Хрустальные канделябры, зеркала от пола до потолка, люстры, сверкающие позолотой, шедевры всех школ живописи, золото в изголовье и пурпур у ног — вот в каких покоях лежали герои 24 февраля.

За большой галереей следовал тронный зал. С тех пор как я его увидал, я верю в бренность всего земного. Я еще никогда не видел ничего, что было бы так перевернуто вверх дном и приведено в такой беспорядок, как этот тронный зал. Двести эрлангенских студентов, дерущихся в маленькой ресторации, не могли бы обойтись с мебелью хозяина хуже, чем обошелся народ с атрибутами власти французского короля. Паркетный пол пробит пулями, зеркала разбиты прикладами, штофные обои разодраны в клочья до самого потолка, а самый трон — но его ведь сожгли у июльской колонны. И только балдахин с его темно-розовыми кистями еще висит, как насмешка над всем этим погибшим великолепием. Меня удивляет, как это еще воробы не влетели в разбитые окна и не свили под ним свои гнезда. На холсте, натянутом под штофными обоями, народ начертал прекраснейшие из своих лозунгов: «Да

здравствует республика! Долой тиранов! Да здравствует Польша! Да здравствует Швейцария! Да здравствует республиканская Франция! Да здравствует свобода народов!» Эти слова были написаны на ободранных стенах под крики радости. Говорят, тронный зал будет сохранен в его теперешнем виде. Зачем? Прекрасное место для паломничества!

Если народ в своем упоении только что обретенной свободой увлекся до того, что совершенно разгромил тронный зал, то при уничтожении «зала маршалов» он действовал с планомерной добросовестностью. Из маршальского зала, расположенного в центре Тюильри, посетителю открывается в одну сторону вид на сад, в другую — на середину Карусельной площади. Помещение, в верхней своей части обнесенное галереей, украшено мраморными бюстами маршалов Первой республики и Империи. Под галереей висят написанные во весь рост портреты генералов эпохи Реставрации и династии. Как и во всех остальных комнатах, так и в зале маршалов часть зеркал, люстр и мебели была разбита. Замечательным образом поступили, однако, с бюстами и портретами генералов. Герои республики и наполеоновского времени, взиравшие на зал с выражением упрямства на лицах, с полным равнодушием и презрением, были оставлены совершенно нетронутыми. Портреты же более позднего времени свидетельствовали о сильнейшем народном гневе. Портреты адмирала Трюге, маршалов Груши и Себастиани, как и маркиза Мэзона, пробиты пулями и рассечены саблями. Портреты маршала Бюжо и старого Сульта, словно они заслужили двойную ненависть, были вырваны из рам, и от них не осталось и следа. Под рамой, за которой некогда смотрел маршал Султ, можно было, кроме того, прочесть слова: «Traître de la patrie»¹. Так народ в своем исступлении все же умел отличать самых своих опасных врагов от менее опасных.

Подлинные произведения искусства были пощажены. Прекрасная конная статуя Генриха IV, огромные хрустальные канделябры в галерее и многочисленные украшавшие камин часы, золотые маятники которых продолжали спокойно раскачиваться, — все это сохранилось. На обратной стороне превосходной гравюры на меди, выхваченной из папки с эстампами и прибитой гвоздем к стене, можно было прочесть слова: «Воры будут наказаны смертной казнью».

¹ Предатель отечества (фр.).

С большим трудом выпроводив сопровождавшего нас англичанина, который успел набить себе карманы обломками дерева и осколками зеркал, мы в заключение осмотрели еще комнаты герцогини Орлеанской, этой мужественной женщины, которая благодаря стойкости, проявленной ею в самый опасный момент революции, занимает самое почетное место в свергнутой королевской семье.

Пора было уходить. Неутомимый Эмбер, всюду поспевавший, сумел в течение нашего обхода отдать сотни распоряжений ровным приветливым тоном, как и полагается республиканцу; каждое из своих слов он сопровождал выразительнейшей жестикующей. Он проводил нас до дворцового двора, попросив при этом передать приветы своей оставшейся в Брюсселе семье; здесь я попрощался с ним, снова высказав пожелание, чтобы его голова держалась на шее как можно дольше.

Собравшись выйти за ворота, я вдруг вспомнил, что совершенно забыл взять себе что-нибудь на память о нашем осмотре. Несколько рабочих, выкатывавших во двор тачки с мусором, напомнили мне об этом. «Воры будут наказаны смертной казнью»,— прочел я еще наверху, в «зале маршалов», но ведь смертная казнь была отменена вскоре после этого! Я присоединился поэтому к некоторым солдатам национальной гвардии и начал тут же состязаться с ними в профессии тряпичника. Грудами валялись старые шляпы, позолоченные рамы, осколки разбитых зеркал, счета, рваные детские костюмы и тряпье всякого рода, и каждый забирал себе что-нибудь. Тут как раз высыпали еще тачку, поднялся ветер, и тысячи обрывков бумаги разлетелись по воздуху и полетели прямо в грязь. Я схватил первые попавшиеся листки — то были письмо королевы португальской и письмо Жерома, бывшего короля Вестфальского.

А. И. Герцен
С ТОГО БЕРЕГА
(Фрагмент)

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Pereat ¹

Женщины плачут, чтоб облегчить душу; мы не умеем плакать. В замену слез я хочу писать — не для того, чтоб описывать, объяснять кровавые события, а просто чтоб говорить об них, дать волю речи, слезам, мысли, желчи. Где тут описывать, собирать сведения, обсуживать! — В ушах еще раздаются выстрелы, топот несущейся кавалерии, тяжелый, густой звук лафетных колес по мертвым улицам; в памяти мелькают отдельные подробности — раненый на носилках держит рукой бок, и несколько капель крови течет по ней; омнибусы, наполненные трупами, пленные с связанными руками, пушки на Place de la Bastille ², лагерь у Porte St. Denis ³, на Елисейских Полях и мрачное ночное «Sentinelle — prenez garde à vous!..» ⁴ Какие тут описания, мозг слишком воспален, кровь слишком остра.

Сидеть у себя в комнате сложа руки, не иметь возможности выйти за ворота и слышать возле, кругом, вблизи, вдали выстрелы, канонаду, крики, барабанный бой и знать, что возле льется кровь, режутся, колют, что возле умирают,— от этого можно умереть, сойти с ума. Я не умер, но я состарился, я оправляюсь после июньских дней, как после тяжелой болезни.

А торжественно начались они. Двадцать третьего числа, часа в четыре перед обедом, шел я берегом Сены к Hôtel de Ville ⁵, лавки запирались, колонны Национальной гвардии с зловещими лицами шли по разным направлениям, небо было покрыто тучами, шел дождик. Я остановился на Pont Neuf ⁶, сильная молния сверкнула из-за тучи, удары грома следовали друг за другом, и средь всего этого раздался

¹ Да погибнет! (лат.)

² Площади Бастилии (фр.).

³ Ворот Сен-Дени (фр.).

⁴ «Часовой — берегись!» (фр.)

⁵ Городской ратуше (фр.).

⁶ Новом мосту (фр.).

мерный, протяжный звук набата с колокольни св. Сульпичия, которым еще раз обманутый пролетарий звал своих братьев к оружию. Собор и все здания по берегу были необыкновенно освещены несколькими лучами солнца, ярко выходящими из-под тучи; барабан раздавался с разных сторон, артиллерия тянулась с Карусельской площади.

Я слушал гром, набат и не мог насмотреться на панораму Парижа, будто я с ним прощался; я страстно любил Париж в эту минуту; это была последняя дань великому городу — после июньских дней он мне опротивел.

С другой стороны реки на всех переулках и улицах строились баррикады. Я, как теперь, вижу эти сумрачные лица, таскавшие камни; дети, женщины помогали им. На одну баррикаду, по-видимому оконченную, взошел молодой политехник, водрузил знамя и запел тихим, печально-торжественным голосом «Марсельезу»; все работавшие запели, и хор этой великой песни, раздававшийся из-за каменной баррикады, захватывал душу... набат все раздавался. Между тем по мосту простучала артиллерия, и генерал Бедо осматривал с моста в трубу *неприятельскую* позицию...

В это время еще можно было все предупредить, тогда еще можно было спасти республику, свободу всей Европы, тогда еще можно было помириться. Тупое и неловкое правительство не умело этого сделать. Собрание не хотело, реакционеры искали мести, крови, искупления за 24 февраля, закормы «Насионаля» дали им исполнителей.

Ну, что вы скажете, любезный князь Радецкий и сиятельный граф Паскевич-Эриванский? Вы не годитесь в помощники Каваньяку. Меттерних и все члены Третьего отделения собственной канцелярии — дети кротости, *de bons enfants*¹ в сравнении с собранием осерчалых лавочников.

Вечером 26 июня мы услышали, после победы «Насионаля» над Парижем, правильные залпы с небольшими расстановками... Мы все взглянули друг на друга, у всех лица были зеленые... «Ведь это расстреливают», — сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. *Горе тем, кто прощают такие минуты!*

После бойни, продолжавшейся четверо суток, наступила тишина и мир осадного положения; улицы были еще оцеплены, редко, редко где-нибудь встречался экипаж, надменная

¹ Славные ребята (фр.).

Национальная гвардия, с свирепой и тупой злобой на лице, берегла свои лавки, грозя штыком и прикладом; ликующие толпы пьяной мобили сходили по бульварам, распевая «Mourir pour la patrie»¹, мальчишки 16, 17 лет хвастались кровью своих братьев, запекшейся на их руках; на них бросали цветы мещанки, выбегавшие из-за прилавка, чтоб приветствовать победителей. Каваньяк возил с собою в коляске какого-то изверга, убившего десятки французов. Буржуазия торжествовала. А дома предместья св. Антония еще дымились, стены, разбитые ядрами, обваливались, раскрытая внутренность комнат представляла каменные раны, сломанная мебель тлела, куски разбитых зеркал мерцали... А где же хозяева, жильцы? — Об них никто и не думал... местами посыпали песком, но кровь все-таки выступала... К Пантеону, разбитому ядрами, не подпускали, по бульварам стояли палатки, лошади глодали береженные деревья Елисейских Полей, на Place de la Concorde² везде было сено, кирасирские латы, седла; в Тюльерийском саду солдаты у решетки варили суп. Париж этого не видал и в 1814 году.

Прошло еще несколько дней — и Париж стал принимать обычный вид, толпы празднующихся снова явились на бульварах, нарядные дамы ездили в колясках и кабриолетах *смотреть* развалины домов и следы отчаянного боя... одни частые патрули и партии арестантов напоминали страшные дни, тогда только стало уясняться прошедшее. У Байрона есть описание ночной битвы; кровавые подробности ее скрыты темнотою; при рассвете, когда битва давно кончена, видны ее остатки, клинок, окровавленная одежда. Вот этот-то рассвет наставал теперь в душе, он осветил страшное опустошение. Половина надежд, половина верований была убита, мысли отрицания, отчаяния бродили в голове, укоренились. Предполагать нельзя было, чтоб в душе нашей, прошедшей через столько опытов, испытанной современным скептицизмом, оставалось так много истребляемого.

После таких потрясений живой человек не остается постарому. Душа его или становится еще религиознее, держится с отчаянным упорством за свои верования, находит в самой безнадежности утешение, и человек вновь зеленеет, обожженный грозою, нося смерть в груди, — или он мужест-

¹ «Умереть за родину» (фр.).

² Площади Согласия (фр.).

венно и скрепя сердце отдает последние упования, становится еще трезвее и не удерживает последние слабые листья, которые уносит резкий осенний ветер.

Что лучше? Мудрено сказать.

Одно ведет к блаженству безумия.

Другое — к несчастью знания.

Выбирайте сами. Одно чрезвычайно прочно, потому что отнимает все. Другое ничем не обеспечено, зато многое дает. Я избираю знание, и пусть оно лишит меня последних утешений, я пойду нравственным нищим по белому свету, — но с корнем вон детские надежды, отроческие упования! — Все их под суд неподкупного разума!

Внутри человека есть постоянный революционный трибунал, есть беспощадный Фукье-Тенвиль и, главное, есть гильотина. Иногда судья засыпает, гильотина ржавеет, ложное, прошедшее, романтическое, слабое поднимает голову, обживается, и вдруг какой-нибудь дикий удар будит оплошный суд, дремлющего палача, и тогда начинается свирепая расправа — малейшая уступка, пощада, сожаление ведут к прошедшему, останавливают цепи. Выбора нет: или казнить и идти вперед, или миловать и запнуться на полдороге.

Кто не помнит своего логического романа, кто не помнит, как в его душу попала первая мысль сомнения, первая смелость исследования — и как она захватила потом более и более и дотрагивалась до святейших достояний души? Это-то и есть страшный суд разума. Казнить верования не так легко, как кажется; трудно расставаться с мыслями, с которыми мы выросли, сжились, которые нас лелеяли, утешали, — пожертвовать ими кажется неблагодарностью. Да, но в этой среде, в которой стоит трибунал, там нет благодарности, там неизвестно святотатство, и если революция, как Сатурн, ест своих детей, то отрицание, как Нерон, убивает свою мать, чтоб отделаться от прошедшего. Люди боятся своей логики и, опрометчиво вызвав перед ее суд церковь и государство, семью и нравственность, добро и зло, — стремятся спасти клочки, отрывки старого. Отказываясь от христианства, берегут бессмертие души, идеализм, провидение. Люди, шедшие вместе, тут расходятся, одни идут направо, другие налево; одни замيراют на полдороге, как верстовые столбы, показывая, сколько пройдено, другие бросают последнюю ношу прошедшего и идут бодро вперед. Переходя из старого мира в новый, ничего нельзя взять с собою.

Разум беспощаден, как Конвент, нелицеприятен и строг, он ни на чем не останавливается и требует на лавку подсудимых самое верховное бытие, для доброго короля теологии настает 21 января. Этот процесс, как процесс Людовика XVI,— пробный камень для жирондистов; все слабое, половинчатое или бежит, или лжет, не подает голоса или подает без веры. Между тем люди, произнесшие приговор, думают, что, казнивши короля, нечего больше казнить, что 22 января республика готова и счастлива. Как будто достаточно атеизма, чтоб не иметь религии, как будто достаточно убить Людовика XVI, чтоб не было монархии. Удивительное сходство феноменологии террора и логики. Террор именно начался после казни короля, вслед за ним явились на помосте благородные отроки революции, блестящие, красноречивые, слабые. Жаль их, но спасти невозможно, и головы их пали, а за ними покатились львиная голова Дантона и голова баловня революции, Камиля Демулена.— Ну, теперь, теперь, по крайней мере, кончено? Нет, теперь черед неподкупных палачей, они будут казнены за то, что верили в возможность демократии во Франции, за то, что казнили во имя равенства, да, казнены, как Анахарис Клооц, мечтавший о братстве народов, за несколько дней до Наполеоновской эпохи, за несколько лет до Венского конгресса.

Не будет миру свободы, пока все религиозное, политическое не превратится в человеческое, простое, подлежащее критике и отрицанию. Возмужалая логика ненавидит канонизированные истины, она их расстригает из ангельского чина в людской, она из священных таинств делает явные истины, она ничего не считает неприкосновенным, и, если республика присваивает себе такие же права, как монархия,— презирает ее, как монархию,— нет, гораздо больше. Монархия не имеет смысла, она держится насилием, а от имени «республика» сильнее бьется сердце; монархия сама по себе религия, у республики нет мистических отговорок, нет божественного права, она с нами стоит на одной почве. Мало ненавидеть корону, надобно перестать уважать и фригийскую шапку; мало не признавать преступлением оскорбление величества, надобно признавать преступным *salus populi*¹. Пора человеку потребовать к суду: республику, законодательство, представительство, все понятия о гражданине и его отношениях к другим и к государству. Казней

¹ Благо народа (лат.).

будет много; близким, дорогим надобно пожертвовать — мудрено ли жертвовать ненавистным? В том-то и дело, чтоб отдать дорогое, если мы убедимся, что оно не истинно. И в этом наше действительное дело. Мы не призваны собирать плод, но призваны быть палачами прошедшего, казнить, преследовать его, узнавать его во всех одеждах и приносить на жертву будущему. Оно торжествует фактически, погубим его в идее, в убеждении, во имя человеческой мысли. Уступок делать некому — трехцветное знамя уступок слишком замарано, оно долго не просохнет от июньской крови. И кого, в самом деле, щадить? Все элементы разрушающей веси являются во всей жалкой нелепости, во всем отвратительном безумии своем. — Что вы уважаете? *Народное* правительство, что ли? — Кого вам жаль? — Может быть, Париж?

Три месяца люди, избранные всеобщей подачей голосов, люди выборные всей земли французской ничего не делали и вдруг стали во весь рост, чтоб показать миру зрелище невиданное — восьмисот человек, действующих, как один злодей, как один изверг. Кровь лилась реками, а они не нашли слова любви, примирения; все великодушное, человеческое покрывалось воплем мести и негодования, голос умирающего Аффра не мог тронуть этого многоголового Калигулу, этого Бурбона, разменянного на медные гроши; они прижали к сердцу Национальную гвардию, расстреливавшую безоружных. Сенар благословлял Каваньяка, и Каваньяк умильно плакал, исполнив все злодеяния, указанные адвокатским пальцем представителей. А грозное меньшинство притаилось, Гора скрылась за облаками, довольная, что ее не расстреляли, не сгноили в подвалах; молча смотрела она, как отбирают оружие у граждан, как декретируют депортацию, как сажают в тюрьму людей за все на свете — за то, что они не стреляли в своих братьев.

Убийство в эти страшные дни сделалось обязанностью: человек, не омочивший себе рук в пролетарской крови, становился подозрителен для мещан... По крайней мере, большинство имело твердость быть злодеем. А эти жалкие друзья народа, риторы, пустые сердца!.. Один мужественный плач, одно великое негодование и раздалось, и то вне Камеры. Мрачное проклятие старца Ламенне останется на голове бездушных каннибалов, и всего ярче выступит на лбу малодушных, которые, произнеся слово «республика», испугались смысла его.

Париж! Как долго это имя горело путеводной звездой

народов; кто не любил, кто не поклонялся ему? — но его время миновало, пускай он идет со сцены. В июньские дни он завязал великую борьбу, которую ему не развязать. Париж состарился — и юношеские мечты ему больше не идут; для того, чтоб оживиться, ему нужны сильные потрясения, варфоломеевские ночи, сентябрьские дни. Но июньские ужасы не оживили его; откуда же возьмет дряхлый вампир еще крови, крови праведников, той крови, которая 27 июня отражала огонь плашек, зажженных ликующими мещанами? Париж любил играть в солдаты, он посадил императором счастливого солдата, он рукоплескал злодействам, называемым победою, он воздвигал статуи, он мещанскую фигуру маленького капрала опять поставил, через пятнадцать лет, на колонну, он с благоговением переносил прах водворителя рабства, он и теперь надеялся найти в солдатах якорь спасения от свободы и равенства, он позвал дикие орды одичалых африканцев против братьев своих, чтоб не делиться с ними, и зарезал их бездушной рукой убийц по ремеслу. Пусть же он несет последствия своих дел, своих ошибок... Париж расстреливал без суда... Что выйдет из этой крови? — кто знает; но что бы ни вышло, довольно, что в этом разгаре бешенства, мести, раздора, возмездия погибнет мир, теснящий нового человека, мешающий ему жить, мешающий водвориться будущему,— и это прекрасно, а потому — да здравствует хаос и разрушение!

Vive La mort! ¹

И да водружится будущее!

Жерар де Нерваль

ЗАКАТ

Когда над Тюильри закат огни зажжет
И окна во дворце затопит, пламенея,
Я погружен в мечты, я — Главная аллея,
Я — зеркало озерных вод.

Тогда, друзья мои, как неусыпный страж,
Прихода темноты я жду в вечернем парке:
Там рдеющий закат, как редкостный пейзаж,
Взят в раму Триумфальной арки.

¹ Да здравствует смерть! (фр.)

Тристан Корбьер

ДВА ПАРИЖА

НОЧЬЮ

Ты — море плоское в тот час, когда отбой
Валы гудящие угнал перед собой,
А уху чудится прибоя ропот слабый,
И тихо черные заворошились крабы.

Ты — Стикс, но высохший, откуда, кончив лов,
Уносит Диоген фонарь, на крюк надетый,
И где для удочек «проклятые» поэты
Живых червей берут из собственных голов.

Ты — щетка жнивника, где в грязных нитях рони
Прилежно роется зловонный рой вороний,
И от карманников, почувявших барыш,
Дрожа спасается облезлый житель крыш.

Ты — смерть. Полиция крапит, а вор устало
Рук жирно-розовых взасос целует сало,
И кольца красные от губ на них видны
В тот час единственный, когда ползут и сны.

Ты — жизнь, с ее волной певучей и живую
Над лакированной тритоньей головою,
А сам зеленый бог в мертвецкой и застыл,
Глаза стеклянные он широко раскрыл.

ДНЕМ

Гляди, на небесах, в котле из красной меди,
Неисчислимые для нас варятся снеди.
Хоть из остаточков состряпано, зато
Любовью сдобрено и потом полито!

Пред жаркой кухнею толкутся побирашки,
Свежинка с запашком заманчиво бурлит,
И жадно пьяницы за водкой тянут чашки,
И холод нищего оттертого долит.

Не оторвет меня от начатой страницы,
И, страсти творчества предав свою мечту,
Там в сердце собственном я солнце обрету,
Себе весну создам я волею своею
И воздух мыслями палящими согрею.

СОЛНЦЕ

В предместье, где висит на окнах ставней ряд,
Прикрыв таинственно-заманчивой разврат,
Лишь солнце высыплет безжалостные стрелы
На крыши города, поля, на колос зрелый —
Бреду, свободу дав причудливым мечтам,
И рифмы стройные срываю здесь и там;
То, как скользящею ногой на мостовую,
Наткнувшись на слова, сложу строфу иную.

О, свет питательный, ты гонишь прочь хлороз,
Ты рифмы пышные растишь, как купы роз,
Ты испарить спешишь тоску в просторы свода,
Наполнить головы и улы соком меда;
Ты моодишь калек разбитых, без конца
Сердца их радуя, как девушек сердца;
Все нивы пышные тобой, о Солнце, зреют,
Твои лучи в сердцах бессмертных всходы греют.

Ты, Солнце, как поэт, нисходишь в города,
Чтоб вещи низкие очистить навсегда;
Бесшумно ты себе везде найдешь дорогу —
К больнице сумрачной и царскому чертогу!

ЛЕБЕДЬ

Виктору Гюго

I

Андромаха! Полно мое сердце тобою!
Этот грустный, в веках позабытый ручей,
Симоент, отражавший горящую Троию,
И величие вдовьей печали твоей,

В безответном восторге поникшая сиро,
После Гектора — горе! — Гелена жена.

Да и ты, негритянка, больная чахоткой,
Сквозь туман, из трущобы, где слякоть и смрад,
В свой кокосовый рай устремившая кроткий,
По земле африканской тоскующий взгляд.
Все вы, все, кто не знает иного удела,
Как оплакивать то, что ушло навсегда,
И кого милосердной волчицей пригрела,
Чью сиротскую жизнь иссушила беда.

И душа моя с вами блуждает в тумане,
В рог трубит моя память, и плачет мой стих
О матросах, забытых в глухом океане,
О бездомных, о пленных,— о многих других...

ВЕЧЕРНИЕ СУМЕРКИ

Вот вечер сладостный, всех преступлений друг.
Таясь, он близится, как сообщник; вокруг
Смыкает тихо ночь и завесы, и двери,
И люди, торопясь, становятся — как звери!
О вечер, милый брат, твоя желанна тень
Тому, кто мог сказать, не обманув: «Весь день
Работал нынче я». — Даешь ты утешенья
Тому, чей жадный ум томится от мученья;
Ты, как рабочему, бредущему уснуть,
Даешь мыслителю возможность отдохнуть...

Но злые демоны, раскрыв слепые очи,
Проснувшись, как дельцы, — летают в сфере
ночи

Толкаясь крыльями у ставен и дверей.
И проституция вздымает меж огней,
Дрожащих на ветру, свой светоч ядовитый...
Как в муравейнике, все выходы открыты;
И, как коварный враг, который мраку рад,
Повсюду тайный путь творит себе Разврат.

Он, к груди города припав, неутомимо
Ее сосет. — Меж тем восходят клубы дыма

Вдруг зарыдал петух и смолкнул в тот же миг,
Как будто в горле кровь остановила крик.
В сырой, белесой мгле дома, сливаясь, тонут,
В больницах сумрачных больные тихо стонут,
И вот предсмертный бред их муку захлестнул.
Разбит бессонницей, уходит спать разгул.
Дрожа от холода, заря влачит свой длинный
Зелено-красный плащ над Сеною пустынной,
И труженик Париж, подняв рабочий люд,
Зевнул, протер глаза и принялся за труд.

Виктор Гюго

ПЕРЕД ВОЗВРАЩЕНИЕМ ВО ФРАНЦИЮ

Сейчас, когда сам бог, быть может, беден властью,
Кто предречет,
Направит колесо к невзгоде или к счастью
Свой оборот?
И что затаено в твоей руке бесстрастной,
Незримый рок?
Позорный мрак и ночь или звездой прекрасной
Сверкнет восток?
В туманном будущем сместились два удела —
Добро и зло.
Придет ли Аустерлиц? Империя созрела
Для Ватерло.
Я возвращусь к тебе, о мой Париж, в ограду
Священных стен
Мой дар изгнанника, души моей лампаду,
Прими взамен.
И так как в этот час, тебе нужны все руки
На всякий труд
Пока грозит нам тигр снаружи, а гадюки
Грозят вот тут;
И так как то, к чему стремились наши деды,
Наш век попрад;
И так как смерть равна для всех, а для победы
Никто не мал;
И так как произвол встает денницей черной,
Объемля твердь,

И нам дано избрать душою непокорной
Честь или смерть;
И так как льется кровь, и так как пламя блещет,
Зовя к борьбе,
И малодушие бледнеет и трепещет,—
Спешу к тебе!
Когда насильники на нас идут походом
И давят нас,
Не власти я хочу, но быть с моим народом
В опасный час.
Когда враги пришли на нашей ниве кровной
Тебя топтать,
Я преклоняюсь ниц перед тобой, греховной,
Отчизна-мать!
Кляня их полчища с их черными орлами,
Спесь их дружин,
Хочу страдать с тобой, твоими жить скорбями,
Твой верный сын.
Благоговейно чтя твое святое горе,
Твою беду,
К твоим стопам, в слезах и с пламенем во взоре,
Я припаду.
Ты знаешь, Франция, что я всегда был верен
Твоей судьбе,
Я думал и мечтал, в изгнании затерян,
Лишь о тебе.
Пришедшему из тьмы, ты место дашь мне снова
В семье своей,
И, под зловещий смех разгула площадного
Тупых людей,
Ты мне не запретишь тебя лелеять взором,
Боготворя
Непобедимый лик отчизны, на котором
Горит заря.
В былые дни безумств, где радостно блистает,
Кто сердцем пуст,
Как будто пламенем охваченный, стораец
Иссохший куст,
Когда, о мой Париж, хмелея легкой славой,
Шальной богач,
Ты шел и ты плясал, поверив лжи лукавой
Своих удач,
Когда в твоих стенах гремели бубны пира
И звонкий рог,—

Я из тебя ушел, как некогда из Тира
Ушел пророк.
Когда Лютецию преобразил в Гоморру
Ее тиран,
Угрюмый, я бежал к пустынному простору,
На океан.
Там, скорбно слушая твой неумолчный грохот,
Твой смутный бред,
В ответ на этот блеск, и пение, и хохот
Я молвил: нет!
Но в час, когда к тебе вторгается Атилла
С своей ордой,
Когда весь мир кругом крушит слепая сила,—
Я снова твой!
О родина, когда тебя влачат во прахе,
О мать моя,
В одних цепях с тобой идти, шагая к плахе,
Хочу и я.
И вот спешу к тебе, спешу туда, где, воя,
Разит картечь,
Чтоб на твоей стене стоять в пожаре боя
Иль мертвым лечь.
О Франция, когда надежда новой жизни
Горит во мгле,
Дозволь изгнаннику почить в своей отчизне,
В твоей земле!

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАРЕВО

Я был на празднестве, в Париже, где народ
Не знает удержу, и честный пир идет
С утра до вечера, и день французской славы
Воспоминаний полн, простых и величавых,
Что жажду старую, как чаша, утолит...
И я отправился бродить, безвестный брат
Толпе смеющейся: не говоря ни слова,
Но близкий всем; один, но часть всего живого.
Так способ я нашел побыть наедине
С народом и с собой, в толпе и в тишине.
Я был блаженно нем, я — был, все дело в этом!
Устану — можно сесть, потолковать с поэтом:

Эсхил, Вергилий, Дант,— пожалуй, лучше Дант,—
Но скоро прятал я заветный фолиант,
Стремясь к поэзии самой от всех поэтов,
Вдохнув голубизны и солнышка отведав,
Пороги славные Парижа обойдя
И царственный покой в народе обретя.
О роке зашептал мне голос на мгновенье,
Но я взошел на мост, пошел поближе к Сене
И всюду слышал смех. Он прыгал, он скакал
И в ярком рубище за городом сверкал.
От Пантеона свет, почти нездешний, лился;
Свободен и могуч, народ мой веселился
Под небом голубым, на форумах своих;
И луч, который был библейски чист и тих,
Спокойно озарял Париж патриархальный;
От взора львиного бежал шакал нахальный,
И пригородный люд гуляет в добрый час.
Я к дому двинулся под вечер; город гас.
Но всюду пенились куплеты и рефрены,—
Свобода знала путь и шла, минуя стены;
От Лувра к Марсову, от самого Шайо
До Гревской площади — круженье и витье
Неутомимое; мой дух, мечтатель старый,
Ветвился и ловил блестящие Стожары,
Открытый выкрикам, веселым, как заря,
Невинный и святой разгул боготворя.
А между тем, глаза бесчисленные шуря
На Елисейские Поля в народной буре,
Деревья древние, полны огромных звезд,
Ждут, чтобы фейерверк раздул павлиний хвост.
Я шел и молча пел. Идти мешали дети.
Играла детвора, забыв про все на свете.
И даже матери играли в эту ночь;
А там — сестра и брат, а там — отец и дочь.
Болтали о своем. И свет голубоватый
Окутывал тела затрепетавших статуй
И превращал Париж в какой-то новый Рим.
Я слышал смех и шел навстречу молодым,
Шел к старцам, помнившим вот о таком же часе...
О родина, храни гражданское согласие!

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПАРИЖА

Бряцают тамбурины где-то,
И зноем пышет от земли;
Расплывчатые силуэты
Неспешно движутся вдаль.
Сверкают вихри легкой пыли
Вкруг древней башни короля;
Лучи полудня ослепили
И обессилили поля.
Дыханием горячим веют
Трепещущие ветерки;
В горниле луга маки рдеют,
Как огненные языки.
Овечье стадо бродит сонно;
Прекрасен этот жгучий день!
Трещат цикады монотонно;
Прохлады не приносит тень.
Недавно убрана пшеница, —
Теперь и отдохнуть не грех!
Из полной бочки в жбан струится
Божеественно веселый смех.
Нетвердый на ногах пьянчужка
К столу треногому приник.
Ему дарует храбрость кружка,
И забывает он на миг
Прямую линию, нехватки,
Законы, страх, жандарма власть...
И вот напиток Вакха сладкий
Над податью смеется всласть!
Жует осел, мудрец хвостатый;
Вполне доволен он собой:
Конечно, уши длинноваты,
Зато луга полны травой.
Несутся по тропинке узкой
Веселой стайкой малыши.
Исчерчена картечью прусской
Высокая стена Клиши.
Поскрипывает воз негромко;
Париж бормочет все слышней —
Старьевщик черный, чья котомка
Хранит охапку королей.
Вдали, за дымкой светло-синей,

Мерцают шпили и кресты.
Венчают девушек в долине
Улыбки, радость и цветы.

ПАРИЖ ПОНОСЯТ В БЕРЛИНЕ

Рассвет для мглы ночной — ужасное виденье,
И эллин — варвару прямое оскорбленье.
Париж, тебя громят, пытаюсь делать вид,
Что некий приговор тебе за дело мстит.
Педант и солдафон, объединив усилья,
Бесчестят город наш геройский. В изобилье
И бранные слова, и бомбы к нам летят;
Продажный ритор лжет, бесчинствует солдат:
Париж, мол, оскорблял религию и нравы.
Потребна им хула, чтоб оправдать расправы;
К убийству клевета удобно подведет.
Сенату римскому подобен твой народ,
О город, вынь же меч для подвигов победных!
Строитель мастерских, защитник хижин бедных,
О город равенство изведавших людей!
Пускай беснуется орда тупых ханжей —
Защита алтарей и тронов, лицемеры,
Позорящие свет во славу темной веры,
Спасатели богов от мудрости земной.
Сквозь всю историю нам слышен этот вой
На римских площадях, в Мемфисе, Дельфах, Фивах,
Как отдаленный вой и лай собак паршивых.

ПОБЕДА ПОРЯДКА

Порядок вновь спасен. Везде царит покой,
И это — в пятый раз, а может быть — в шестой.
Для каторги опять готово пополнение.
За эти восемь дней, что длилось избиенье,
Ступать по мертвецам в привычку уж вошло.
Решительной рукой искоренялось зло:
Детей, и стариков, и женщин без разбора
Косили наповал, не видя в том позора.
Оставшихся в живых — изгнание, ссылка ждет.
Плывут за океан, в трюм загнаны, как скот,
Вчерашние борцы, не ведавшие страха,
Чьи славны имена от Волги и до Тахо.

Победа! Справились! Повержен страшный враг!
Когда во Франции хозяйничал пруссак,
Париж прославиться решил великим делом
И родину спасти. Пять месяцев гудел он,
Как в бурю лес гудит. Ливийский ураган
Бушует так. «Париж безумьем обуян,—
Был приговор.— Пора ему угомониться;
Опасней Пруссии восставшая столица».
Ликующий Берлин шлет благодарность нам.
Открыться можно вновь кофейням и церквам.
Кровь залила огонь войны неутолимый.
Погиб Париж — зато порядок обрели мы.
Что мертвцов считать? Ведь лошадь на скаку
Сдержать не так легко бывает седоку.
На землю небеса вслепую мечут громы:
Вот так же наугад шлем в стан врага ядро мы.
Убитых тысячи? Какая в том беда?
И Зевсов гнев разит невинных иногда.
Восторгом до краев полны сердца и души:
Ура! Теперь ничто порядка не нарушит.
Не думать и молчать — приказ народу дан.
Пора, чтоб наконец охлынул океан
И чтобы в лица гниль могильная пахнула
Поборникам свобод, дошедшим до разгула.
Наш беспокойный век — век молний, грозных бурь;
Его зажмет в тиски и вышибет всю дурь
Спасительный кулак, явившийся из бездны.
Узда религии для общества полезна.
Силлабус благостный, законный государь
Спасенье принесут, а не народ-бунтарь.
Погас огонь. Из тьмы несет угаром смрадным,—
Наказан дерзкий бунт террором беспощадным.
Нет больше ничего. Все смолкло. Гул исчез.
От площади Конкорд до кладбища Лашез
Спустилось на Париж, не ведавший покоя,
Глухое, тяжкое безмолвие ночное.
Народ покорен, нем, робеет пред штыком...
Пусть кто взбунтуется — финал теперь знаком!
По вкусу господин для каждого найдется;
Пока же обо всех полиция печется.
Ну, разве не легко разбили мы врага?
Цена спасения не так уж дорога:
Кровь под подошвами и душный запах морга...
Но почему-то я не млею от восторга.

Дни осады Парижа. Декабрь 1870 г.

Над морем высится, дубами окаймленный,
Гранитный остров мой, где, родины лишенный,
 Я свой приют обрел.
Отважно он отпор дает ветрам холодным;
Ночует здесь гроза, как вождь в шатре походном,
 Как на скале орел.
Я полюбил тебя, друг верный и суровый!
Как часто я смотрел на горизонт свинцовый,
 На бурный океан,
И думал я: мое да будет погребенье
Тут, в хаосе камней, тут, где в ожесточенье
 Бушует ураган.
Но нынче я узнал: на подступах к Парижу
Идет жестокий бой. И я отсюда вижу,
 Что мой Париж восстал,
Что люди там вершин бесстрашия достигли,
Что там разгневанный народ кипит, как в тигле
 Расплавленный металл.
Так пусть я встречу смерть на той земле священной,
И пусть останется девизом жизни брэнной,
 Начертанным в веках:
«Мой дом — в краю дубов, на каменной твердыне,
А у геройских стен, венчаных лавром ныне,
 Покоится мой прах».

Альфонс Доде

ОСАДА БЕРЛИНА

Когда мы с доктором В. шли по Елисейским полям, выпытывая у стен, пробитых снарядами, и у панелей, развороченных картечью, историю осажденного Парижа, доктор остановился невдалеке от площади Звезды и указал мне на один из тех больших угловых домов, что величаво высятся вокруг Триумфальной арки.

— Видите четыре запертых окна над верхним балко-

¹ Дом высокий в Лирнесе; на земле Лаврента — гробница (лат.).

ном? — спросил он. — В первых числах августа минувшего года, грозного августа, насыщенного бурями и бедствиями, меня пригласили туда к полковнику Жуву, с которым случился апоплексический удар. Полковник Жув, кирасир Первой империи, закоренелый ревнитель славы и патриотизма, едва началась война, поспешил поселиться на Елисейских полях в квартире с балконом... Угадайте, для чего? Чтобы быть свидетелем победоносного возвращения наших войск!.. Бедный старик! Он получил известие о Вейсенбурге, когда кончал обед. Прочтя имя Наполеона под этим отчетом о поражении, он упал замертво.

Когда я вошел, отставной кирасир лежал, распростертый на ковре, с окровавленным и безжизненным лицом, как будто его оглушили ударом по голове. Стоя, он, вероятно, был высок ростом; лежа — он казался гигантом. Красивые черты лица, великолепные зубы, грива седых вьющихся волос, восемьдесят лет от роду, а на вид — шестьдесят. Подле него на коленях — внучка, вся в слезах. Она была похожа на него. Рядом они напоминали две прекрасные греческие медали, чеканенные по одинаковому образцу, только одна была древняя, замшелая, стертая, а другая — яркая и четкая, во всем блеске свежей чеканки.

Горе девушки тронуло меня. Она была дочерью и внучкой воинов, отец ее состоял при штабе Мак-Магона, и зрелище старого великана, распростертого перед ней, вызывало в ее воображении другое, не менее страшное зрелище. Я постарался утешить ее; но в сущности надежды у меня было мало. Перед нами был случай самого настоящего одностороннего паралича, а в восемьдесят лет от него трудно оправиться. В течение трех дней состояние неподвижности и оцепенения действительно не покидало больного... Тем временем в Париж прибыло известие о Рейхсгофене. Вы помните, как, по странному недоразумению, все мы до самого вечера были уверены, что одержана крупная победа, двадцать тысяч пруссаков убито, кронпринц взят в плен... Непонятно, каким чудом, силой какого магнетизма, отзвук народной радости проник в недра сознания несчастного глухонемого паралитика. Как бы то ни было, подойдя вечером к его кровати, я увидел, что передо мной — другой человек. Взгляд был почти ясен, речь менее затруднена. У него достало сил улыбнуться мне и пролепетать два раза подряд:

— По... бе... да!

— Да, полковник, крупная победа!

И в то время как я рассказывал ему подробности блестящего успеха Мак-Магона, черты его заметно расправлялись, лицо озарялось...

Когда я вышел, его внучка, бледная, вся в слезах, встретила меня у дверей.

— Да ведь он спасен! — сказал я, взяв ее за руки.

У бедняжки едва хватило сил ответить мне: только что стали известны подлинные события Рейхсгофена, бегство Мак-Магона, разгром всей армии. Мы в смятении глядели друг на друга. Она убивалась, думая об отце. А я содрогался, думая о старике. Он, несомненно, не вынесет нового потрясения... Но как же быть?.. Сохранить ему ту радость, те иллюзии, которые оживили его?.. Но тогда придется лгать...

— Что же, я буду лгать!.. — сказала юная героиня, торопливо отерла слезы и с сияющим видом вошла в комнату деда.

Тяжелую задачу взяла она на себя. Первые дни кое-как удавалось выходить из положения. Старик еще был слаб головой и поддавался обману, как младенец. Но по мере выздоровления мысли его прояснялись. Приходилось держать его в курсе передвижения войск, составлять для него военные сводки. Жалко было смотреть, как прелестная девушка, днем и ночью склоняясь над картой Германии, переставляла флажки и силилась разработать целую победоносную кампанию: Базен — на Берлин, Фроссар — в Баварию, Мак-Магон — к Балтийскому морю. При этом она постоянно обращалась ко мне, и я советовал, как умел; но больше всего помогал нам в этом воображаемом наступлении сам дед. Ведь он сколько раз при Первой империи завоевывал Германию! Он заранее предвидел все операции: — Вот они куда теперь пойдут, вот что сделают... — И его догадки всегда подтверждались, чем он очень гордился.

К несчастью, сколько бы мы ни брали городов и ни одерживали побед, старику все казалось мало. Он был ненасытен!.. Каждый день, явившись к ним, я узнавал о новом успехе.

— Доктор, мы взяли Майнц, — выходя ко мне навстречу, говорила внучка с страдальческой улыбкой, а из-за двери раздавался веселый голос:

— Здорово! Здорово! Через неделю будем в Берлине!..

В это время пруссакам оставалась неделя перехода до Парижа... Сперва мы думали, что лучше будет перевезти его в провинцию; но, очутившись за пределами города, он

все бы понял по состоянию Франции, а, на мой взгляд, он был еще слишком слаб, слишком изнурен недавней болезнью, чтобы узнать истину. Поэтому решено было оставаться на месте.

Помню, я шел к ним в первый день осады, глубоко потрясенный, с той болью в сердце, какую испытывали все мы от сознания, что ворота Парижа закрыты, что под стенами идет бой, а пригороды стали границами... Старик сидел в постели, радостный и торжествующий.

— Ну вот,— сказал он,— осада началась.

Я уставился на него в изумлении.

— Как, вы знаете, полковник?..

Внучка повернулась ко мне:

— Ну да, доктор... Последние известия... Началась осада Берлина...

Она сказала это внушительным, спокойным тоном, не отрываясь от рукоделия. Как бы мог он что-нибудь заподозрить? Пушечных залпов с фортов он не слышал. Несчастливого Парижа, мрачного и смятенного, он не видел. С кровати ему был виден край Триумфальной арки, да вокруг него полная комната старого хлама из времен Первой империи, способного только поддержать его иллюзии. Портреты маршалов, эстампы с изображением битв, Римский король младенцем; высокие чопорные консоли, с медными украшениями в виде трофеев, императорские реликвии, медали, бронза, скала святой Елены под стеклянным колпаком, миниатюры, воспроизводящие одну и ту же даму в локонах, в бальном уборе, в желтом платье с пышными рукавами и светлыми глазами... Все это, вместе взятое: консоли, Римский король, маршалы, желтые дамы с короткой талией и высоким поясом, эта угловатая чопорность, составлявшая прелесть 1806 года,— вся эта атмосфера завоеваний и побед еще больше, чем наши разговоры, заставляли славного полковника так простодушно верить в осаду Берлина.

С этого дня наши военные мероприятия значительно упростились. Взятие Берлина — это уже был только вопрос выдержки. Временами, когда старик начинал скучать, ему читали письмо от сына,— вымышленное письмо, разумеется, потому что в Париж ничего больше не попадало, и еще потому, что после Седана адъютант Мак-Магона был отправлен в одну из германских крепостей. Представляете себе отчаяние бедной девушки, когда она не получала вестей от отца, знала, что он в плену, лишен всего, быть может, болен, и сама сочиняла от его имени веселые письма, не-

сколько лаконичные, такие, впрочем, и полагается писать солдату, шагающему вперед по завоеванной стране. Порой мужество изменяло ей; известия не приходили по нескольку недель. Но старик тревожился, переставал спать. Тогда спешно прибывало письмо из Германии, и девушка весело читала его деду, с трудом сдерживая слезы. Полковник слушал благоговейно, улыбался с глубокомысленным видом, одобрял, критиковал, объяснял нам туманные места. Но особенно хорош он был в ответах сыну: «Ни на миг не забывай, что ты француз,— писал он.— Будь великодушен к несчастным, не усугубляй тягот оккупации...» Далее следовали нескончаемые наставления, умильный вздор об уважении к собственности, об учтивости в отношении дам — целый кодекс воинской чести для победителей. К этому он примешивал и общие рассуждения о политике, об условиях мира, которые должны быть продиктованы побежденным. Следует признать, что тут он не был слишком требователен:

— Военные издержки и ничего больше. Зачем отнимать у них провинцию?.. Разве можно из Германии сделать Францию!

Диктовал он все это твердым голосом, и в словах его чувствовалась такая искренность, такой убежденный патриотизм, что невозможно было без волнения слушать его.

А между тем своим чередом шла осада — только, увы, не Берлина! Это была как раз пора сильных морозов, бомбардировок, эпидемий, голода. Но благодаря нашим заботам, нашим стараниям, неутомимой любви, окружавшей старика, безмятежность его ни разу не была нарушена. До последней минуты мне удавалось доставать для него белый хлеб и мясо. Хватало их, понятно, только для него одного, и трудно представить себе что-нибудь трогательней, чем эти завтраки в их невинном эгоизме, когда дед, бодрый и веселый, с подвязанной салфеткой, лежал в постели, а внучка, бледная от недоедания, направляла его руку, давала ему пить, помогала ему есть все эти недоступные лакомства. Потом, оживившись от пищи, в теплоте уютной комнаты, за окнами которой бушевала вьюга и кружил снег, отставной кирасир припоминал свои северные походы и в сотый раз рассказывал нам о роковом отступлении из России, когда нечего было есть, кроме мерзлых сухарей и конины.

— Понимаешь, малютка? Мы ели конину!

Как ей было не понять. Уже два месяца она ничего другого не ела... Но со дня на день, по мере того как подвигалось

выздоровление, наша задача становилась все труднее. Столь удобная для нас скованность всех чувств, всего тела больного понемногу рассеивалась. От страшных залпов у заставы Майо он уже раза два-три подскакивал, насторожив уши, как охотничий пес; пришлось выдумать новую победу Базена под Берлином и салюты с Дома Инвалидов в честь этой победы. В другой раз — это было, помнится, в четверг, в день битвы у Бюзенваля — его кровать придвинули к окну, и он явственно увидел национальных гвардейцев, которые собирались на проспекте Великой армии.

— Что это за войска? — спросил старик. И мы услышали, как он ворчит сквозь зубы: — Дрянная выправка! Дрянная выправка!

И больше ничего; но мы поняли, что надо быть настороже. К сожалению, мы не сумели оберечь его от потрясения.

Однажды вечером девушка вышла ко мне навстречу в полной расстерянности.

— Завтра они вступают, — сказала она.

Не была ли при этом открыта дверь в комнату деда? Впоследствии я припомнил, что в тот вечер у него был загадочный вид. Возможно, он подслушал наш разговор. Только мы-то говорили о пруссаках, а старик думал о французах, о том победоносном возвращении, которого он столько времени дожидался: Мак-Магон движется от Триумфальной арки среди цветов и фанфар, сын его рядом с маршалом, а сам он, старик, стоя на балконе в парадной форме, как при Люцене, приветствует знамена, продырявленные пулями, и орлов, почерневших от пороха...

Бедный дедушка Жув! Он вообразил, что от него хотят скрыть зрелище дефилирующих войск, боясь для него чрезмерного волнения. Поэтому он никому словом не обмолвился, но назавтра, в тот самый час, когда прусские батальоны робко вступали на длинную магистраль, ведущую от заставы Майо к Тюильри, наверху потихоньку растворилась стеклянная дверь, и полковник появился на балконе, при шлеме и палаше, этой доблестной мишуре бывшего кирасира генерала Мило. До сих пор не могу понять, какое усилие воли, какая вспышка жизненной энергии помогла ему подняться на ноги и обрядиться в свою амуницию. Как бы то ни было, он стоял там у перил и удивлялся, видя, что улицы пустыньны и молчаливы, все ставни заперты, Париж мрачен, точно огромный лазарет, повсюду флаги, — только какие-то странные, белые с красными крестами; и ни души, чтобы встретить наши войска.

Он подумал было, что ошибся...

Но нет! Вдалеке за Триумфальной аркой слышался смутный гул, в свете брезжущего дня двигались темные ряды... Вот заблестали острия касок, забили иенские барабаны, и под аркой Звезды, в такт с тяжелой поступью взводов и бряцаньем сабель, загремел торжественный марш Шуберта!..

Тут среди угрюмого молчания площади раздался крик, страшный крик:

— К оружию!.. К оружию!.. Пруссаки! — И четверо передовых улан видели, как на верхнем балконе высокий старик зашатался, размахивая руками, и упал навзничь. На сей раз полковнику Жуву пришел конец.

Леконт де Лиль

ОСВЯЩЕНИЕ ПАРИЖА

Январь 1871

1

О сто вторая ночь твоей, Париж, осады!
Зимы великой ночь одна.

До отдаленных стен все в пене снегопада,
катящегося, как волна.

Зловещих мачт концы, в потоке этом белом,
встают, местами, из долин —
то колоколен строй на небе опустелом
вздымает скорбь своих вершин.

Там — замки древние, как тихие могилы,
леса, дома, дворцы в садах,
под частым ливнем бомб утратившие силы,
еще дымятся на холмах.

В траншее смолкнувшей, меж мерзлых средостений,
ложится инея покров
на стылые глаза, на лбы, на кровь ранений
окоченелых мертвецов.

Да, пули варваров пробили эти груди,
сердце великодушных ряд.
Еще сраженья пыл в ноздрях, но в общей груди
они, друг подле друга, спят.

Суровый ветер, мчась над взгорьем и равниной,
проклятьями обременен,
и жаждой мщенья, и яростью старинной
стучится в мрачный бастион.

Он пушки тяжкие бичует, полный гнева,
на их лафетах громовых,
и дует иногда в зияющие зевы,
и хрипом наполняет их.

На крыши дует он, на сумрачные зданья,
подобные большим гробам,
откуда изредка еще звучат стенанья,
плач по умолкнувшим бойцам;

где мерзнут на руках у матери ребята,
где, у пустого очага,
родитель, в ужасе и горечи утраты,
еще с оружием ждет врага.

2

Великий город, мозг вселенной несравнимый,
бессмертный улей, море крыш,
маяк, зажегшийся в ночи Афин и Рима,
светило всех племен — Париж!

О судно, смевшее, под непомерным шквалом,
при блеске или тьме высот,
все паруса подняв, в триумфе небывалом,
победоносно плыть вперед!
Ты, с молнией в глазах размахивавший пикой,
ты, как воин и пророк,
гражданской тогою одет в борьбе великой,
к Победе и Свободе влек!

Ты, бегавший босым, проворный, разъяренный,
по омоложенной земле,
Ты, дряхлых королей расшатывавший троны
и певший в бесконечной мгле!

Хранитель мертвецов, приосененных славой,
в веках одно из гордых див,
неужто стонешь ты теперь во тьме кровавой,
лицо в колени уронив?

Смотри! Вдоль стен твоих ведут осаду орды!
Косматым скопом сбившись тут,
в утробу Родины суются мерзкой мордой,
на почву чистую блюют!

Рейн перейдя, они смешали волчьи стаи:
Тевтон, Германец и Вандал,
они теснятся здесь, свирепо завывая,
их палкой вождь сюда пригнал.

Они сжигают лес и сносят цитадели,
в прах обращают города;
и вороны летят поспешно сквозь метели,
чтоб пир закончить, как всегда.

3

Париж! Чего ты ждешь? Дней голода и срама?
В безумье, кудри разметав,
от крови захмелев, что в сердце бьет упрямо,
ступай! Низринься от застав!

Не дай себя увлечь в ужасное болото,—
ударь, кусай, бросайся псом!
Обрушь на них дворцы, и храмы, и ворота:
за мертвых мсти перед концом!

Нет! Ты не должен пасть, о Город наш священный,
подобно жертве роковой!
Нет, нет и нет! Твой долг — погибнуть для вселенной,
лишь обессмертившись борьбой!

На черной лестнице твоих фортов, громимых
снарядом, все дробящим в прах,
борись! Рычи, как лев в убежищах родимых,—
во всех лачугах и дворцах!

На перекрестках, там, где дымы, вопли, свисты,
на площади, где твой собор,
зажги, чтоб умереть, свой ореол огнистый,—
незабываемый костер!

Все заблуждения, ошибки, опьянения
испепели в святом костре,
чтоб вновь бессмертным встать, врагам на удивленье,
из гроба к будущей заре!

Чтоб новый человек, вдруг ослеплен тоскою,
воспоминаясь о тебе,
всем странам рассказал о чудесах, тобою
когда-то явленных — в борьбе,

и, гений твой любя, твердя слова привета,
в час расторжения цепей
назвал твой вольный век и славу смерти этой —
примером для вселенной всей!

Артю́р Рембо

ПАРИЖСКАЯ ОРГИЯ, ИЛИ СТОЛИЦА ЗАСЕЛЯЕТСЯ ВНОВЬ

Мерзавцы, вот она! Спешите веселиться!
С перронов — на бульвар, где все пожгла жара.
На западе легла священная столица,
В охотку варваров ласкавшая вчера.

Добро пожаловать сюда, в оплот порядка!
Вот площадь, вот бульвар — лазурный воздух чист,
И выгорела вся звездистая взрывчатка,
Которую вчера во тьму швырял бомбист!

Позавчерашний день опять восходит бодро,
Руины спрятаны за доски кое-как;
Вот — стадо рыжее для вас колышет бедра.
Не церемоньтесь! Вам безумство — самый смак!

Так свора кобелей пустовку сучью лижет —
К притонам рветесь вы, и мнится, все вокруг
Орет: воруй и жри! Тьма конвульсивно движет
Объятия свои. О, скопище пьянчуг,

Пей — до бесчувствия! Когда взойдет нагая
И сумасшедшая рассветная заря,
Вы будете ль сидеть, над рюмками рыгая,
Бездумно в белизну слепящую смотря?

Во здравье Женщины, чей зад многоэтажен!
Фонтан блевотины пусть брызжет до утра —
Любуйтесь! Прыгают, визжа, из дыр и скважин
Шуты, венерики, лакеи, шулера!

Сердца изгажены, и рты ничуть не чище —
Тем лучше! Гнусные распахивайте рты:
Не зря же по столам наставлено винище —
Да победители слабы на животы.

Раздуйте же ноздрю на смрадные опивки,
Канаты жирных шей отравой увлажня!
Поднимет вас поэт за детские загривки
И твердо повелит: «Безумствуй, сволочня,

Во чрево Женщины трусливо рыла спрятав
И не напрасно спазм провидя впереди,
Когда вскричит она и вас, дегенератов,
Удавит в ярости на собственной груди.

Паяца, короля, придурка, лизоблюда
Столица изблюет: их тело и душа
Не впору и не впрок сей Королеве блуда —
С нее сойдете вы, сварливая парша!

Когда ж вы скорчитесь в грязи, давясь от страха,
Скуля о всех деньгах, что взять назад нельзя,
Над вами рыжая, грудастая деваха
Восстанет, кулаком чудовищным грозья!»

Столица скорбная, — почти что город мертвый —
Подъемлешь голову — ценой каких трудов!
Открыты все врата, и в них уставлен взор твой,
Благословимый тьмой твоих былых годов.

Но вновь магнитный ток ты чувствуешь в каждом нерве,
И, в жизнь ужасную вступая, видишь ты,
Как извиваются синеющие черви
И тянутся к любви остывшие персты.

Пускай! Венозный ток спастических извилин
Беды не причинит дыханью твоему —
Так злато горних звезд кровососущий филин
В глазах кариатид не погрузит во тьму.

Пусть потоптал тебя насильник — жребий страшен,
Пусть знаем, что теперь нигде на свете нет
Такого гноища среди зеленых пашен,—
«О, как прекрасна ты!» — тебе речет поэт.

Поэзия к тебе сойдет средь ураганов,
Движенье сил живых поднимет вновь тебя,—
Избранница, восстань и смерть отринь, воспрянув,
На горне смолкнувшем побудку вострубя!

Поэт поднимется и в памяти нашарит
Рыданья каторги и городского дна —
Он женщин, как бичом, лучом любви ошпарит
Под канонадой строф,— держись тогда, шпана!

Все стало на места: вернулась жизнь былая,
Бордели прежние, и в них былой экстаз —
И, меж кровавых стен горячечно пылая,
В зловещей синеве шипит светильный газ.

ВОЕННАЯ ПЕСНЯ ПАРИЖАН

Весна являет нам пример
Того, как из зеленой чащи,
Жужжа, летят Пикар и Тьер,
Столь ослепительно блестящи!

О Май, сулящий забытьё!
Ах, голые зады так ярки!
Они в Медон, в Аньер, в Баньё
Несут весенние подарки!

Под мощный пушечный мотив
Гостям маршировать в привычку;
В озера крови напустив,
Они стремят лихую гичку!

О, мы ликуем — и не зря!
Лишь не выглядывай из лазов:
Встает особая заря,
Швыряясь кучами топазов!

Тьер и Пикар!.. О, чье перо
Их воспоеет в достойном раже!
Пылает нефть: умри, Коро,
Превзойдены твои пейзажи!

Могучий друг — Великий Трюк!
И Фавр, устроившись меж лилий,
Сопеньем тешит всех вокруг,
Слезой рыдает крокодилей.

Но знайте: ярость велика
Объятой пламенем столицы!
Пора солидного пинка
Вам дать пониже поясницы.

А варвары из деревень
Желают вам благополучья:
Багровый шорох в скорый день
Начнет ломать над вами сучья!

Михаил Эминеску

ИЗ ПОЭМЫ «ИМПЕРАТОР И ПРОЛЕТАРИЙ»

* * *

Париж объят пожаром. Пылают башни, зданья,
Как факелы, взметнулись огни горящих крыш,
Они летят по ветру, меняя очертанья,
И слышен лязг оружия, и вопли, и стенанья,—
Так века труп тлетворный похоронил Париж.

Он был неузнаваем, пожаром озаренный.
И вот уже на глыбы гранитных баррикад
Идут в фригийских шапках плебеев батальоны,
И двинулся на битву народ вооруженный,
И медленно и глухо колокола гудят.

И женщины проходят безмолвными рядами
Сквозь огненную бурю с оружием в руках.
Их волосы на плечи спускаются волнами,
А ненависть и злоба угрюмыми огнями
Сверкают в их бездонных и сумрачных глазах.

Борись, густые кудри по ветру развевая!
Ты поднялась героем из страшной нищеты.
Недаром стягов алых склонилась тень святая,
Твой мрачный путь греховный внезапно осеняя...
Предатели виновны, но не виновна ты.

Константин Милле

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА

Париж восставший пал. И недомерок злой,
Тьер, нагло полагал, что дан последний бой
И город славный стерт, в грязь втоптан сапогами.
Париж восставший пал, увенчанный огнем.
Но нет, не предан был он родины сынами,—
Стояли насмерть все! Народ своим челом
Гигантским возникал за каждой баррикадой,
Многоголов, велик, он сдерживал с трудом
Врага и смерть в бою клялся принять наградой.

Так синеблужные сражались до конца.
Голодный и в грязи, среди вражьего кольца,
Немым отчаяньем и яростью пылая,—
Народ ослабевал. Версальские полки
Шли храбрых погубить. Но стойко смельчаки
Дрались. В руинах им грозила смерть глухая,
Страдания страшные, глумленья палачей,
Казнящих варварски и старцев и детей.

Вздымаются изрытые преграды;
Сын бьется рядом с дедом и отцом.
Поникло знамя с дымной баррикады,
Кровавое, пробитое свинцом.
Да, пал Париж! Народ, поборник воли,
Метался, в грудь простреленный врагом,
И грозно слал проклятье жгучей боли.

А тут уже не бой,— побоище, расстрел
И женщин и детей; в недвижимой груде тел
Шевелится малыш, ручонки простирая,
Но мать застрелена; вон, на штыке колпак

Фригийский треплется, и, кровью истекая,
Еще грозит боец, сжав поднятый кулак.
О жуткий хмель войны! О доля павших злая!

А рядом, не страшась неистовой пальбы,
Не слыша рева труб, под пламенем пожара
Бредет, обезумев, подруга коммунара
И возвратить его все молит у судьбы.

Коммуна гибнет. Пал надежный бастион.
Защитников отряд последний окружен.
Вот с белой бородой, от дыма почерневший,
Старик скликает в бой соратников, друзей.
Он гневно смотрит вдаль, где враг остервеневший
Вновь ухнул тяжело из черных батарей.
Вдруг знамя, дрогнувши, бойца собой закрыло,
Как будто уберечь спеша его скорей;
Но, гордое, себя оно не защитило.

Вот залп, последний залп, и бросились войска
На горстку храбрецов; не дрогнула рука
У осаждавших. Пал Париж в боях, со славой,
И полыхал огнем, в развалинах дымясь.
Но враг спешил, спешил жестокою оравой,
Солдатским сапогом мешая с кровью грязь.
А ночью — никого. Луна лишь озаряет
Руины баррикад. Ничком лежит старик.
Устами, как живой, он к знамени приник.
Свобода по борцам безудержно рыдает.

Париж восставший пал. Насильник победил,
Креп траурной каймой флаг Франции обвил;
Господствует закон — устав ограничений,
И поступь солдатни сурова, тяжела.
Тут залпами сожгли безжалостно, дотла
Коммуны рубежи — надежду поколений;
Тут дети, женщины, как сжатые снопы,
Валились у стены в запруды жаркой крови.
Глядели в лица им винтовки наготове,
Но клич летел сквозь смех карателей толпы:
«Да здравствует Парижская коммуна!»

Поль Верлен

ПАРИЖСКИЙ НАБРОСОК

Луна проливала свет жестяной,
Белила углы,
Над готикой крыш, над их крутизной
Дымы завивались, черней смолы.
Был пуст небосклон, и ветер стонал,
Как некий фагот,
Вторя ему, свой тянул мадригал
Иззябший и робкий бродяга-кот.
Я шел, как во сне, в тебя погружен,
Эллада теней...
Мне Фидий сопутствовал и Платон
Под взглядами газовых фонарей.

* * *

Брат-парижанин, ты, что изумляться рад,
Взойди со мной на холм, где солнцу нет преград,—
Здесь родилось оно, и блеск его рожденья
Взывает к торжествам, ждет жертвоприношенья...
Идем! Какой театр в холстах своих таит
Такую даль и близь, такой обширный вид
В мерцающей пыльце на серебре тумана?
Поднимемся наверх, пока свежо и рано...
В удобнейшей из лож теперь расположись;
Художнику тона, бесспорно, удались:
Жар черепиц в тенях платанов и акаций,
Собора светлый взлет, и мрак фортификаций,
Не страшных никому, и частокол зубцов
И шпилей вдоль гряды червонных облаков,
И позолота их по золоту восхода,—
Сокровищницы блеск в атласе небосвода...
Когда на эту высь ты дал себя увлечь,
Признайся, что игра, пожалуй, стоит свеч,
Что «недурен пейзаж»... Теперь найди терпенье,
Чтоб, ноги потрудив, свое потешить зренье
(Не знавшее иных просторов и красот,
Чем «сельский колорит» монмартрских высот,
Зеленых, как нарыв, с их сыпью бледных зданий
И запахом трущоб) — иных очарований
Картинами; пойдем прибрежною, такой

Тенистою, такой росистою, тропой
К предместьям городским; до них подать рукою;
Вот улочка бежит под аркою крутою:
И складны и милы старинные дома,
Текущие ручьем, как улица сама.
Чтоб окаймлять ее изгибы и извивы,
Под зеленью резной, с тенями цвета сливы...
Как рядом с этим всем устойчиво скучна
«Османновских» жилых кварталов новизна!
Прохожий простоват, но это только с виду.
Лукав он и умен — не даст себя в обиду!
В своих стенах он царь — они ему верны,
Свидетели живой истории страны.
На этих площадях, где только ветра голос
Да ласточек полет, — провинция боролась
И борется с твоим влиянием, Париж,
Всей прочностью своих фундаментов и крыш.
Здесь дверь не просто дверь, а страж фамильной
честь,

Сюда, как в темный лес, едва доходят вести;
Кто бережет покой, тому и дела нет
До театральных бурь, до натиска газет.
Здесь любят, и едят, и верят по старинке,
И каждый разодет отнюдь не по картинке,
Здесь знают цену вам, работа и досуг,
Боятся перемен и действуют не вдруг...
Признайся, недурен эдем провинциальный?
Ужель тебе милей зловонный и сусальный
Дряхлеющий гигант и весь его уклад
Горячечный? — скажи, о парижанин-брат!

ГОРОДСКИЕ ВИДЫ

Приговоренный жить в парижском заточенье,
В минуты праздные ищу я утешенья
В том, что доступно мне и сходно по цене.
Вот, например, квартал, где поселиться мне
Под крышей довелось. Отсюда я немало
Увидел всяких сцен: ведь нищета квартала
Не прячется от глаз соседей, и она
Их бедности сродни и каждому видна.
Раскиданы вокруг растрепанные скверы,
И кружит в сентябре над ними ветер серый;

Сумятица листвы средь отблесков зарниц
Напоминает мне полет безумных птиц;
И листья кружатся над закипевшим спором
Мастеровых людей, что на расправу скоры
Под действием вина, когда им черт не брат.
А я курю табак, пишу стихи и рад
Смотреть на это все: здесь добродушья много.
Потом ложусь я спать, и, наподобье бога,
Сплю, и во сне опять поэзией живу,
И создаю во сне не то, что наяву,—
Слагаю мудрые, глубокие творенья,
Где нет фальшивых нот, где дышит вдохновенье,
Стихи, сулящие открыть мне славы храм,
Стихи, что не могу я вспомнить по утрам.

Жорис Шарль Гюисманс

ВИД С ВАЛОВ СЕВЕРНОГО ПАРИЖА

С высоты валов открывается дивный грозный вид равнин, изнеможенно стелющихся у подножия города.

На небесном горизонте высокие кирпичные трубы, круглые и четырехгранные, изрыгают в облака клубы сажи, а ниже выбрасывают с шипением белый пар тонкие литые трубы, чуть выделяющиеся над плоскими крышами мастерских, крытыми толем или просмоленным картоном.

Тянется оголенная долина, вспучиваемая холмиками, на которых детвора гурьбой запускает бумажных змеев, изготовленных из старых газет и расцветченных раскрашенными картинками реклам, раздаваемых у дверей магазинов и на углах мостов.

Сараи под бледно-красной черепицей, окаймляющей прозрачные озера стеклянных крыш; подле них массивные тележки простирают свои закованные цепями длани, осеняя иногда идиллию предместья. Вот мать, у которой малыш с ожесточением сосет сухую грудь. Там пасется коза, привязанная к столбику. Мужчина опочил, опрокинувшись на спину, надвинув фуражку на глаза. Женщина присела и медленно приводит в порядок свою растерзанную обувь.

Великое молчание спускается в равнину. Понемногу угас рокот Парижа, но еще доносятся дрожащие шумы виднеющихся фабрик. Подобно страшному стенанию, слышится глухой, хриплый свист проходящих поездов Северного вокзала, скрытых откосами, которые обсажены дубами и акацией.

Совсем вдали широкая дорога белеющим подъемом утопает в небесах, и на вершине облако клубится, словно вздымает хлопья пыли невидимая колесница, скрытая дугой земли.

Еще беспредельнее и печальнее становится пейзаж в сумерки, когда дымчатые облака катятся над умирающим днем. Расплываются очертания фабрик, подобных теперь чернильным массам, испиваемым сизым небом. Шире стелется долина, и разошлись по домам женщины и дети, и лишь нищий Мендиго, как прозвали его сыщики, по пыльной дороге бредет к ночлегу, вспотевший, изнуренный, согбенный, с трудом преодолевая косогор, посасывая носогрейку, уже давно пустую, преследуемый невероятными отважными псами — отпрысками беззастенчивых смешений, псами, подобно господам своим привыкшими сносить любой голод и холод.

Именно в эти часы всего сильнее льются скорбные чары предместий, пышно расцветает всемогущая красота природы, ибо пейзаж вполне гармонирует с глубокой печалью обитающих здесь семей.

Природа, не законченная творением, в предведении целей, которым ее обрекут люди, ждет от своих властителей довершения — последнего удара.

Пышные здания, дополняющие вид кварталов, населенных богачами; виллы, пятнающие мирные веселые долины желтыми, маслоподобными бликами и прохладной белизной; парки Монсо, столь же многоцветные, как и отдыхающие в них женщины; большие печи, высокие горны, вздымающиеся на лоне пейзажей, подобно им величественных, изнуренных, — таков закон непреложности. И творя его, повинувшись пленящему нас инстинкту гармонии, послали мы инженеров, чтобы отграничить природу в соответствии с нашими запросами, уподобить ее жизням сладостным и горестным, которые она обречена внедрять и отражать.

КИТАЙСКАЯ УЛИЦА

Жюлю Бобэн

Для людей, которым ненавистны шумливые радости, сдерживаемые целую неделю и разнуздывающиеся по воскресеньям, для людей, желающих вырваться от докучной роскоши богатых кварталов,— Мениль-Монтан пребудет навсегда землей обетованной, Ханнаном печальных наслаждений.

В одном из уголков этого квартала тянется китайская улица, столь необычная, очаровательная. Укороченная и обезображенная сооружением госпиталя, который отягчил стыдливо замкнутое впечатление обнесенных частоколами и тынами домиков горестным зрелищем человеческих страданий, витающих над дорогой, над площадками без деревьев и цветов,— улица все же сохранила приветливый вид сельской улочки, пестреющей палисадниками и убогими домишками.

В том виде, как сейчас, улица эта является отрицанием надоедливой симметрии, противоположностью пошлому равнению больших новых проспектов. Никакого благоустройства и порядка: ни бута, ни камней, ни кирпичей. Незамощенное полотно дороги, посередине пробуравленное водосточною канавой, с обеих сторон окаймлено бревенчатыми заборами, опушенными зелено-мраморными мхами и позлащенными темно-золотистою смолой. Вперемежку с ними идут опрокинувшиеся частоколы, повлекшие за собой гроздья плюща, чуть не повалившие ворот, видимо купленных где-нибудь на распродаже, украшенных резьбой, нежно-серые завитки которой еще проглядывают сквозь коричневый налет, постепенно наслоившийся от прикосновения грязных рук.

Сквозь кружево покрывающего одноэтажный домик пятилистного плюща чуть видны перемешавшиеся мауны, шток-розы и большие подсолнечники, золотистые головки которых обнажаются, являя черные плечи, подобные кругам мишени. За дощатой изгородью вы неизменно увидите цинковый чан, две груши, между которыми протянулись веревки для белья, и клочок огорода, где цветут ясно-желтым цветом тыквы, зеленеют гряды щавеля и капусты, на которые сумахи и тополя набрасывают кружевные, клетчатые тени.

Вереница домов с фиолетовыми и красными крышами,

края которых чуть виднеются из-за светозарной, зеленой опушки. Чем дальше, тем уже становится улица, изредка унизанная старыми масляными фонарями, и распадается, извивается, стелется по мере приближения к унылой, бесконечной улице Мениль-Монтана.

Китайская улица и смежные с нею, ее пересекающие, каковы Прохожая и удивительная улица Орфила, столь фантастическая своими зигзагами и резкими поворотами, с плохо отесанными деревянными заборами, с нежилыми беседками и пустынными, в конец запущенными садами, где произрастают дикие деревья и безумные травы,— вносят совершенно особую умиротворяющую, безмятежную ноту в этот необъятный квартал, где скудные заработки обрекают на вечные лишения женщин и детей.

Иное настроение навеивается здесь, чем в долине Гобелевов, где хилая природа гармонирует с бесконечною скорбью жителей. Китайская улица кажется деревенской дорогой, где большинство прохожих имеют вид людей сытых и попивших. Она — вождеденный уголок художников, ищущих уединения, заветная гавань душ тоскующих, которые домогаются блаженного покоя вдали от толпы. Пасынки судьбы, обездоленные жизнью, находят здесь облегчающее утешение в неизбежном лицемерии госпиталя Тенон, который пронзает небо своими высокими трубами и в окнах которого толпятся бледные лица, склоненные к долине и созерцающие ее глубокими, жадными глазами выздоравливающих.

О, милосердна улица эта к скорбящим, добра к ожесточившимся, ибо воистину детскими, воистину пустыми кажутся собственные страдания и жалобы при мысли о несчастных, лежащих в исполинском госпитале в длинных залах, полных белыми кроватями. И пред укромными домиками улочки мечтаешь о блаженном убежище, о маленьком достатке, который позволил бы работать, когда хочется, не спешить ради нужды с отделкою творения.

Правда, — вернувшись в сердце города, не без основания, пожалуй, раздумываешь, что гнетущая скука может придавить человека в одиночестве домика среди безмолвия и пустынности дороги. Но впечатление остается неизменным всякий раз, как только окунаешься в тихую грусть улицы. И чудится, что забвение и мир, искомые в однообразии морских берегов, здесь, в конце линии омнибуса, обретены запечатленными в образ сельской улочки, которая затерялась в Париже среди радостных и горестных шумов его больших бедных улиц.

М. Е. Салтыков-Щедрин

ЗА РУБЕЖОМ

(Фрагмент)

<...> Лично я посетил в первый раз Париж осенью 1875 года. Престол был уже упразднен, но неподалеку от него сидел Мак-Магон и все что-то собирался состряпать. Многие в то время не без основания называли Францию Макмагонией, то есть страну капралов, стоящих на страже престол-отечества в ожидании Бурбона. С первых же шагов, и именно в Аврикуре (по страсбургской дороге), я слышал капральские окрики. Ни медленности, ни проволочек со стороны пассажиров не допускалось, ни пол, ни возраст, ни недуги — ничто не принималось в оправдание. Капрал действовал с полным неразумением и держал себя тупо-неумолимо. Это был капрал наполеоновского пошиба (*à poigne*¹), немыслимый ни в какой другой стране. Русский капрал непременно начал бы калякать, объяснять, что он тут ни при чем, а во всем виновато начальство. Немецкий капрал — принял бы талер и уронил бы благодарную слезу. Один французский капрал-бонапартист в состоянии тарачить глаза, как идол, и ничего другого не выказывать, кроме наклонности к жестокому обращению.

На человека, которому с пеленок твердили о пресловутой *urbanité française*², эти капральские окрики действуют ужасно неприятно. С досады приходит на мысль нечто не совсем великодушное. Вот, думается, если б эти капралы с такую же неуклонностью поступали в 1870 году с Пруссией, — может быть... Но кто же может сказать, что бы тогда вышло! Вероятнее всего, сидел бы Бонапарт и увенчивал бы да увенчивал здание... А теперь в это здание затесался Мак-Магон и делает оттуда пруссаку книксен, а на безоружных пассажиров покрикивает: *Les voyageurs — dehors!*³

Но Париж все-таки пришелся мне по душе. Чистый город, светлый, свободно двигающийся, и, главное, враг той немотивированной, граничащей с головной болью, мизантропии, которая так упорно преследует заезжего

¹ Крепкой хватки (*фр.*).

² Французской учтивости (*фр.*).

³ Пассажиры — выходите! (*фр.*)

человека в Берлине. Самый угрюмый, самый больной человек — и тот непременно отыщет доброе расположение духа и какое-то сердечное благоволение, как только очутится на улицах Парижа, а в особенности на его истинно сказочных бульварах. Представьте себе иностранца, выброшенного сегодняшним утренним поездом в Париж, человека одинокого, не имеющего здесь ни связей, ни знакомств, — право, кажется, и он не найдет возможности соскучиться в своем одиночестве. Солнце веселое, воздух веселый, магазины, рестораны, сады, даже улицы и площади — все веселое. Я никогда не мог себе представить, чтоб можно было ощущать веселое чувство при виде площади; но, очутившись на Place de La Concorde, поистине убедился, что ничего невозможного нет на свете. И тут же рядом, налево — веселый Тюльерийский сад, с веселыми группами детей; направо — веселая масса зелени, в которой, как в мягком ложе из мха, нежится квартал Елисейских полей. Затем пройдите через Тюльерийский сад, встаньте спиной к развалинам дворца и глядите вперед по направлению к Arc de L'Etoile¹. Клянусь, глаз не оторвете от этого зрелища. Какая масса пространства, воздуха, света! И как все в этой массе гармонически комбинировано, чтоб громадность не переходила в пустыню, чтоб она не подавляла человека, а только пробуждала и поддерживала в нем веселую бодрость духа!

Веселое солнце льет веселые лучи на макадам улиц и еще веселее смотрится и играет в витринах ресторанов и магазинов. В Париже, кроме Елисейских полей, а в прочих кварталах, кроме немногих казенных домов и отелей очень богатых людей, почти нет дома, которого нижний этаж не был бы предназначен для ресторанов и магазинов. Представьте себе, какую массу всякого рода товара должны ежедневно выбрасывать из себя мастерские, фабрики и заводы, чтобы наполнить это бесчисленное множество помещений, из которых многие, по громадности, не уступают дворцам! И какую еще большую массу уверенности нужно иметь в том, что этот товар не залежится, а дойдет до потребителя!

И он дойдет — в этом не может быть сомнения. Товар этот так весело расположен в витринах и так весело освещен, что и купить его любо. Прогулка по улицам Парижа, в смысле разнообразия, не уступает прогулке по любой вы-

¹ Арка Звезды (фр.).

ставке. Каждая магазинная витрина представляет изящное сочетание красок и линий, удовлетворяющее самым прихотливым требованиям вкуса. На каждом шагу встречается масса вещей, потребности в которых вы до тех пор не подозревали, но которые вы непременно купите, потому что эти вещи так весело смотрят, что даже впоследствии, где-нибудь в Крапивне, будут пробуждать в вас веселость и помогут нести урядническое иго. Из мельхиоровых ложек парижский магазинщик ухитряется сделать целое серебряное солнце, которое чуть не за полверсты манит к себе прохожего. Из мужских шляп-цилиндров устраивает такой милый пейзаж, что человеку, даже имеющему на голове совсем новый цилиндр, непременно придет на мысль: а не купить ли другой? Все кругом изящно, легко и, главное, весело. Прежде чем глаз пресытится всеми этими уличными изыществами, какая возможность скуке проникнуть в сердце даже одинокого человека? А в запасе еще музеи, галереи, сады, окрестности, которые тоже необходимо осмотреть, потому что, кроме того, что все это в высшей степени изящно, интересно и весело, но в то же время и общедоступно, то есть не обуславливается ни протекцией, ни изнурительным доставанием билетов через знакомых чиновников, их родственниц, содержанок и проч.

А потом — звуки. Нигде вы не услышите таких веселых, так сказать, натуральных звуков, как те, которые с утра до вечера раздаются по улицам Парижа. *Les cris de Paris*¹ — это целая поэма, слагающая хвалу неистощимой производительности этой благословенной страны, поэма, на каждый предмет, на каждую подробность этой производительности отвечающая особым характерным звуком. И все эти звуки коренные, свежие, родившиеся на месте, где-нибудь в глубине Бретани или Оверни (быть может, поэтому-то они так и нравятся детям), и оттуда перенесенные на улицы всемирной столицы. Так что вместе с образчиком местной производительности вы видите и представителя ее да сверх того слышите и образчик местных музыкальных мелодий. Эти звуки перекрестной волной несутся со всех сторон, образуя, вместе с дразнящими криками «гаврошей»², гармоническое целое, до такой степени веселое, что оно, несомненно, должно благотворным образом действо-

¹ Крики Парижа (фр.).

² *Gavroches* — существа, которые в недавние годы были известны под именем *gamins de Paris*. (Примеч. авт.)

вать и на нравы обывателей. Даже полициант, с утра до вечера выслушивающий эти крики, нимало не волнуется ими и не видит в них оскорбления свойственного полицейским чинам чувства изящного. По крайней мере, я не знаю ни одного случая, чтобы *gardien de la paix*¹, доведенный до неистовства назойливостью крикунов, дал в зубы какому-нибудь *marchand de coco*² или назвал «курицыной дочерью» *marchand de quatre saisons*³.

Но этого мало: вы видите людей, которые поют «Марсельезу», — и им это сходит с рук. На первых порах это меня ужасно смутило. Думаю: сам-то я, разумеется, не пел — но как бы не пострадать за присутствие! И что ж оказалось! — что тут дело идет совершенно наоборот русской поговорке, гласящей: «Что русскому здорово, то немцу — смерть». Французу петь «Марсельезу» здорово, а нам — смерть. Все это очень обязательно объяснил мне один из *gardiens de la paix*, к которому я обратился с вопросом по этому предмету. «Поживите, говорит, у нас, может быть, и вы привыкнете». И точно: пожил и стал пробовать; сначала першило в горле, а потом привык. И даже многих тайных советников видел, которые губами подражали трубным звукам, напевая:

*Contrrrrrre nous de la tyrrrrrrranie...*⁴

И — ничего; сошло с рук и мне и им. Не дальше как на днях встречаю уже здесь, на Невском, одного из парижских тайных советников и, разумеется, прежде всего интересуюсь:

— А что, ваше превосходительство, не призывали к ответу... за «Марсельезу»-то... помните?

— Представьте себе... прошло!

— Представьте! и мне — тоже!

Разумеется, мы обнялись, и затем — ни гугу!

А вечером весь Париж горит огнями, и бульвары, и главные улицы, которые гудят, как пчелиный рой. Время от 8 до 12 часов — самое веселое. Это — время, когда отработавшийся люд всей массой высыпает на улицы, наполняет театры, рестораны, *débits de vin*⁵ и т. п. Происходит во всей форме утличный раут, веселый, красивый, живой. Разумеется, тут скучать некогда. Театров масса, и во

¹ Полицейский (фр.).

² Продавцу настойки из лакрицы (фр.).

³ Уличную торговку фруктами и овощами (фр.).

⁴ Против нас, тираны... (фр.) — начальные слова «Марсельезы».

⁵ Пивные погребки (фр.).

всяком нужно побывать. Французы сами жалуются на упадок драматической литературы, и эти жалобы, в существе, безусловно справедливы, но для иностранцев не столько важно то, что представляется на сцене, как то, как представляется, и в особенности, как относится к представляемому публика. В этом отношении он не встретит в целом мире ничего подобного. В особенности не встретит такой публики. Это именно та чуткая, нервная публика, которая удесятеряет силы актера и без которой было бы немислимо для актера каждодневное повторение, двести раз сряду, одной и той же роли, как это сплошь бывает на парижских театрах.

Помню, я приехал в Париж сейчас после тяжелой болезни и все еще больной... и вдруг чудодейственно воспрянул. Ходил с утра до вечера по бульварам и улицам, одолевал довольно крутые подъемы — и не знал усталости. Мало того: иду однажды по бульвару и встречаю русского доктора Г., о котором мне было известно, что он в последнем градусе чахотки (и, действительно, месяца три спустя он умер в Ницце). Разумеется, удивляюсь.

— Что вы это делаете?

— Да вот, хожу!

— Помилуйте! вам бы дома сидеть да «средствице» принимать...

— Нельзя, батюшка, тянет на улицу...

И точно: «тянет на улицу» — и шабаш. Ибо парижская улица действительно всякого «средствица». Озлобленному она проливает мир в сердце, недугующему — подает исцеление. И я наверное знаю, что не Лурдская богоматерь это делает, а именно веселая парижская улица.

В Париже все живут на улице. Не говоря уже об иностранцах и провинциалах, которые массаами, с каждым из бесчисленных железнодорожных поездов, приливают сюда и буквально покидают улицу только для ночлега, даже коренной парижанин — и тот, с первого взгляда, кажется исключительно предан фланерству. Между тем, на деле, нигде не найдется более ретивого, спорого (или, как у нас говорится, дошлого) работника, как парижанин. Немец работает усердно, но точно во сне веревки вьет; у парижанина работа горит в руках. Нечто подобное представляет русский работник в страдную пору, но ведь это уж мученик. Парижанин работает много, но с добрым духом и никогда не имеет усталого вида. Достаточно присмотреться к прислуге любого отеля, чтоб убедиться, ка-

кую массу работы может сделать человек, не утрачивая бодрости и не валя, как говорится, через пень колоду. Я останавливался в небольшом отеле, в пяти этажах которого считалось 25 комнат, и на весь отель прислуживал только один гарсон. Часам к восьми утра он успевал уже вычистить для всех квартирантов сапоги, ботинки, мужское и дамское платье, а с восьми часов начинал летать по этажам, разнося кофе и завтрак. Затем убирал комнаты, а некоторым жильцам сервировал и обед. Сколько раз в день он, подобно мухе, взлетал из rez-de-chaussée¹, где помещались контора и кухня, на пятый этаж — это даже определить невозможно. Только, бывало, и слышишь раздающееся сверху: Emile! — и отвечающее внизу: voilà! voilà!² И за всем тем этот молодой человек находил возможность еще выполнять комиссии жильцов, что он делал гуляя. И никогда я не видал его унылым или замученным, а уж об трезвости нечего и говорить: такую работу не совершенно трезвый человек ни под каким видом не выполнит.

Одним словом, ежели и нельзя сказать, что парижанин своею ретивостью практически доказал, что вопрос о travail attrayant³ не праздная мечта, то, во всяком случае, мысль о труде уже не застаёт его врасплох. Зато каждый момент, который ему удастся урвать у работы, он уже всецело считает своим и отдает его беспечно, фланированию и веселью. Три предмета проходят через всю жизнь парижского ouvrier⁴: работа, веселье и, от времени до времени... революция. Все это он умеет делать чрезвычайно ловко, скоро, горячо, но отнюдь не бестолково. Оттого-то, быть может, и кажется приезжему иностранцу (это еще покойный Погодин заметил), что в Париже вот-вот сейчас что-то начнется.

Но, наглядевшись вдоволь на уличную жизнь, непросто было бы не заглянуть и в ту мастерскую, в которой вершатся политические и административные судьбы Франции. Я выполнил это, впрочем, уже весной 1876 года. Палаты в то время еще заседали в Версале, и на очереди стоял вопрос об амнистии.

Дорога от Парижа до Версаля промелькнула очень весело. Во-первых, на всем пути — прелестнейшие зеленые

¹ Нижнего этажа (фр.).

² Тут! Тут! (фр.)

³ Привлекательном труде (фр.).

⁴ Рабочего (фр.).

окрестности; во-вторых, я попал в вагон, наполненный *gauchiers* и *centregauchiers* (членами левой и левого центра). Все говорили без умолку. Соглашались почти единодушно, что в принципе амнистия — мера не только справедливая, но и полезная; что после пяти лет несомненного внутреннего мира было бы согласно с здоровой политикой закончить процесс умиротворения полным забвением прошлых междоусобий. Но, наговорившись на эту тему досыта, собеседники как бы по команде подносили к носу указательные персты, произносили: *mais*¹ — и глубокомысленно умолкали.

Признаюсь, загадочность этого «*mais*» чрезвычайно неприятно поразила меня. Я было думал, что если уж выработалось: «понеже амнистия есть мера полезная» и т. д. — то, наверное, дальше будет: «того ради, объявив оную, представить министру внутренних дел, без потери времени» и т. д. И вдруг, вместо того... *mais!* Повторяю, сгоряча я чуть было не рассердился, но потом вспомнил: ба, да ведь французское «*mais*» — это то самое, что по-русски значит: выше лба уши не растут! Вспомнил — и сделалось мне так весело, так весело, что я не воздержался и сообщил о своем открытии соседу (оказалось, что это был Лабуле, автор известного памфлета «*Paris en Amérique*»², а ныне сенатор и стыдливый клерикал). Он, в свою очередь, подтвердил мою догадку и, поздравив меня с тем, что Россия обладает столь целесообразными пословицами, присовокупил, что по-французски такого рода изречения составляют особого рода кодекс, именуемый «*La sagesse des nations*»³. Через минуту все пассажиры уже знали, что в среде их сидит *un journaliste russe*⁴, у которого уши выше лба не растут. И все наперерыв поздравляли меня, что я так отлично постиг *La sagesse des nations*.

В качестве русского я поступаю совершенно так, как и все русские. То есть, приезжая даже в Париж, имею в виду главное: как можно скорее сойтись с соотечественниками. И до сих пор это мне удавалось. Во-первых, потому, что я посещал Париж весной и осенью, когда туда наезжает

¹ Но... (фр.).

² «Париж в Америке» (фр.).

³ «Мудрость народов» (фр.).

⁴ Русский журналист (фр.).

непроглядная масса русских, и, во-вторых, потому, что я всегда устраивался найдешевейшим способом: или в *maison meublée*¹, или в таком отельчике, против которого у Бедекера звездочки нет. Приедешь и вступишь с хозяйкою («хозяин» в такого рода заведениях предпочитает сибаритствовать, ежели он «Альфонс», или живет под башмаком и ведет книги) в переговоры:

— Есть у вас русские?

— Oh! monsieur! mais la maison en est remplie! Il y a le prince et la princesse de Blingloff au premier, m-r de Blagouine, négociant, au troisième, m-r de Stroumsisloff, professeur, au quatrième. De manière que si vous vous installez dans l'appartement du deuxième, vous serez juste au centre².

Таков был прошлою осенью состав русской колонии в одном из *maisons meublées* в окрестностях *place de la Madeleine*. Впоследствии оказалось, что *le prince de Blingloff* — петербургский адвокат Болиголова; *La princesse de Blingloff* — Марья Петровна от Пяти Углов; *m-r Blagouine* — краснохолмский купец Блохин, торгующий яичным товаром; *m-r Stroumsisloff* — старший учитель латинского языка навозненской гимназии Старосмыслов, бежавший в Париж от лица помпадур Пафнутьева.

Итак, осуществить Красный Холм в Париже, Версаль претворить в Весьегонск, Фонтенбло в Кашин — вот задача, которую предстояло нам выполнить.

С первого взгляда может показаться, что осуществление подобной программы потребует сильного воображения и очень серьезных приспособлений. Но в сущности, и в особенности для нас, русских, попытки этого рода решительно не представляют никакой трудности. Не воображение тут нужно, а самое обыкновенное оцепенение мысли. Когда деятельность мысли доведена до минимума и когда этот минимум, ни разу существенно не понижаясь, считает за собой целую историю, теряющуюся в мраке времен, — вот тут-то именно и настигает человека блаженное состояние, при котором Париж сам собою отождествляется с чем угодно: с Весьегонском, с Пошехоньем, с Богучаром и т. д. Мыслительная способность атрофируется, и вместе

¹ Меблированный дом (фр.).

² Ах, судары! Дом прямо-таки наполнен ими! Здесь князь и княгиня Бленгловы на втором этаже, г-н де Бляуин, негодьянт, на четвертом, г-н Струмислов, профессор, на пятом. Таким образом, если вы поселитесь в комнате второго этажа, вы окажетесь как раз в центре (фр.).

с этим исчезает не только пытливость, но и самое простое любопытство. Старое, насиженное, обжитое — вот единственное, что удовлетворяет обессиленный ум. И это насиженное воспроизводится с такою легкостью, что само собою, помимо всякого содействия со стороны воображения, перемещается следом за человеком, куда бы ни кинула его судьба.

Восстановить Красный Холм в Париже положительно ничего не стоит. Нужно только разложиться с вещами и затем начать жить да поживать. Правда, что житье в отеле, сравнительно с Красным Холмом, покажется тесновато, но зато в Париже имеются льготы, которых не найдешь не только в Красном Холму, но и в Кашине. И льготы именно в краснохолмском смысле, то есть такие, которых на месте не сыщешь, но которые краснохолмским воображением не отвергаются. Таковы, например, пуле, дендо, пердро, тюрбо, славу о которых на всю Россию искони протрубили предводители дворянства. Затем: магазины всевозможного женского тряпья, от которых без ума все предводительши, макадам на улицах, отличное уличное освещение, писсуары и т. д., о которых с благосклонностью отзываются все уездные исправники, как о таких реформах, которые не ведут к потрясению основ. И в довершение всего, есть для мужчин кокотки, вроде той, какую однажды выписал в Кашин 1-й гильдии купец Шомполов и об которой весь Кашин в свое время говорил: ах, хороша стерва!

В Париже отличная груша дюшес стоит десять су, а в Красном Холму ее ни за какие деньги не укупишь. В Париже бутылка прекраснейшего Понте-Кане стоит шесть франков, а в Красном Холму за Зызыкинскую отраву надо заплатить три рубля. И так далее, без конца. И все это не только не выходит из пределов краснохолмских идеалов, но и вполне подтверждает оные. Даже театры найдутся такие, которые по горло уконтентуют самого требовательного краснохолмского обывателя.

Когда воображение потухло и мысль заскорбла, когда новое не искушает и нет мерил для сравнений — какие же могут быть препятствия, чтоб чувствовать себя везде, где угодно, матерым краснохолмским обывателем. Одного только недостает (этого и за деньги не добудешь): становой квартиры из окна не видать — так это, по нынешнему времени, даже лучше. До этого-то и краснохолмцы уж додумались, что становые только свет застыят.

— Как пошли они, в позапрошлом лете, по домам ша-

рять, так, верите ли, душа со стыда сгорела! — говорил мне Блохин, рассказывая, как петербургские «события» отразились в районе вышневолоцко-весьегонских палестин.

И он говорил это с неподдельным негодованием, несмотря на то, что его репутация в смысле «столпа» стояла настолько незыблемо, что никакое «шаренье» или отыскивание «духа» не могло ему лично угрожать. Почему он, никогда не сгоравший со стыда, вдруг сгорел! — этого он, конечно, и сам как следует не объяснит. Но, вероятно, причина была очень простая: скверно смотреть стало. Всем стало скверно смотреть; надоело.

Как бы то ни было, но, раз решившись воспроизводить исключительно краснохолмские идеалы, мы зажили отлично. Единственную не краснохолмскую роскошь, которую я лично себе дозволил, — это газеты. Я покупал их ежедневно и притом самые страшные: «L'Intransigeant», «Le Mot d'Ordre», «La Commune», «La Justice». Что делать! идешь мимо киоска, видишь: разложены, стало быть, велено покупать — купишь. Сначала я боялся, думал, начитаюсь, приеду в Россию — чего доброго, революцию произведу. Однако, с божьей помощью, в короткое время так наметался, что все равно, что читал, что нет. Зато все остальное времяпровождение было воистину краснохолмское. Часов до 12-ти утра мы исправлялись дома, то есть распивали чай и кофеи по своим углам. После 12-ти выходили на улицу и начинали, по выражению Захара Иваныча, «путаться» и «воловодиться».

Брали под руки дам и по порядку обходили рестораны. В одном завтракали, в другом просто ели, в третьем спрашивали для себя пива, а дамам «граниту». Когда ели, то Захар Иваныч неизменно спрашивал у Старосмыслова: а как это кушанье по-латыни называется? — и Федор Сергеич всегда отвечал безошибочно.

— Никогда не скажет: не знаю! — изумлялся Блохин, — и этакого человека... в Пинегу!

В промежутках между кушаньями вспоминали о Красном Холме, старались угадать: рыжики-то уродились ли ноне?

Часа в три компания распадалась. Дамы предпринимали путешествие по магазинам, а мужчины отправлялись смотреть «картинки». Во время процесса просмотра Захар Иваныч взвизгивал: ах, шельма! и спрашивал у Федора Сергеича, как это называется по-латыни. Но однажды зашли мы в пирожную, и с Блохиным вдруг сделалось что-то необыкновенное.

— Она... она самая! — шепнул он мне, указывая на рослую и совершенно рыжую женщину, которая стояла у конторки.— Наша... кашинская!

И не успел я сообразить, в чем дело, как у него уж и глаза кровью налились.

— В Кашине... была? — спросил он ее в упор.

Конторщица взглянула на него с недоумением, но по лицу ее пробежала чуть заметная улыбка: ей, очевидно, польстило, что «доброе русского молодца» так сразу прошибло.

— В Кашине... была? — настаивал Захар Иванович.

Насилу мы его увели.

Часов около шести компания вновь соединялась в следующем по порядку ресторане и спрашивала обед. Ели и пили мы всласть, хотя присутствие Старосмысловых несколько стесняло нас. Дня с четыре они шли наравне с нами, но на пятый Федор Сергеевич объявил, что у него болит живот, и спросил вместо обеда полбифштекса на двоих. Очевидно, в его душу начинало закрадываться сомнение насчет прогонов, и, надо сказать правду, никого так не огорчало это вынужденное воздержание, как Блохина.

— Ведь вот и добрый человек, а сколь жесток! — жаловался он мне, — не хочет понять, что нам не деньги его нужны, а душа.

После обеда иногда мы отправлялись в театр или в кафе-шантан, но так как Старосмысловы и тут стесняли нас, то чаще всего мы возвращались домой, собирались у Блохиных и начали играть песни. Захар Иванович затягивал: «Солнце на закате», Зоя Филипповна подхватывала: «Время на утра-те», а хор подавал: «Пошли девки за забор...» В Париже, в виду Мадлены, в теплую сентябрьскую ночь, при открытых окнах,— это производило удивительный эффект!

Иногда обычный репертуар дня видоизменялся, и мы отправлялись посмотреть парижские «редкости». Ездили в Jardin des Plantes¹ и в Jardin d'acclimatation², лазили на Вандомскую колонну, побывали в Musée Cluny, и, наконец, посетили Луврский музей. Но тут случился новый казус: увидевши Венеру Милосскую, Захар Иванович опять вклепался и стал уверять, что видел ее в Кашине. Насилу мы его увели.

¹ Ботанический сад (фр.).

² Зоологический сад (фр.).

— При тебе только мы и свет узрили! — открывался мне Захар Иваныч, — кабы не ты, что бы мы, приехадчи в Холм, про Париж рассказывать стали?

Насладившись вдоволь Парижем, нельзя было оставить без внимания и окрестности. Разумеется, прежде всего отправившись в Версаль. Дорогой я, конечно, не преминул рассказать, какую я, пять лет тому назад, выкинул тут штуку с Лабуде. Все так и ахнули.

— То-то, чай, глаза вытаращил, как проснулся! — похвалил меня Блохин.

И, помолчав немного, прибавил:

— Только через тебя мы свет узрили! ишь ведь ты... на все руки!

В Версали мы обошли дворец, затем вышли на террасу и бросили общий взгляд на сад. Потом прошлись по средней аллее, взяли фиакры и посетили «примечательности»: *Parc aux cerfs*¹, Трианон и т. п. Разумеется, я рассказал при этом, как отлично проводил тут время Людовик XV и как потом Людовик XVI вынужден был проводить время несколько иначе. Рассказ этот, по-видимому, произвел на Захара Иваныча впечатление, потому что он сосредоточился, снял шляпу и задумчиво произнес:

— Стало быть, в эфтим самом месте энти самые короли...

— Именно так, — подтвердил я.

— Все короли да все Людовики... И что за причина такая? — с своей стороны затужила было Матрена Ивановна, но Захар Иваныч не дал ей продолжать.

— Шабаш! — сказал он, — царство небесное — и кончен бал!

Однако ж через несколько минут он вновь возвратился к тому же сюжету.

— И как эти французы теперича без королев живут? Чудаки, право!

— А как живут! Известное: день да ночь — сутки прочь! — объяснила Матрена Ивановна.

— Не иначе, что так. У нас ребенок, и тот понимает: несть власть еще... а француз этого не знает! А может, и они слышат, как в церквах про это читают, да мимо ушей пропускают! Чудаки! Федор Сергеич! давно хотел я тебя спросить: как на твоём языке «король» прозывается?

— Rex.

¹ Олений парк (фр.).

- А император?
- Imperator.
- А который, по-твоему, больше: rex или imperator?
- Imperator — уж на что выше!
- Ну, так вот ты и мотай себе на ус... да!

Блохин выговорил эти слова медленно и даже почти строго. Каким образом зародилась в нем эта фраза — это я объяснить не умею, но думаю, что сначала она явилась так, а потом вдруг, во время самого процесса произнесения, созрел проект: а попробую-ка я Старосмыслову предиду сказать! А может быть, и целый проект примирения Старосмыслова с Пафнутьевым вдруг в голове созрел. Как бы то ни было, но Федор Сергеич при этом напоминании слегка дрогнул.

А Блохин между тем начал постепенно входить во вкус и подпускать так называемые обиняки. «Мы-ста да вы-ста», «сидим да шипим, шипим да посиживаем», «и куда мы только себя готовим!» и т. д. Выпустит обиняк и посмотрит на Федора Сергеича. А в заключение окончательно рассердился и закричал на весь Трианон:

— Свины — и те лучше, не-чем эти французы, живут! Ишь ведь! Королей не имеют, властей не признают, страху не знают... в бога-то веруют ли?

Насилу мы его увели.

На другой день мы отправились в Фонтенбло, но эта резиденция уже не вызвала ни той сосредоточенности, ни того благоговейного чувства, каких мы были свидетелями в Версали. Благодаря краснохолмскому приволью, Захар Иваныч настолько был уже преисполнен туками, что едва успели мы осмотреть перо, которым Наполеон I подписал отречение от престола, как он уже запыхался. Ни знаменитого Фонтенблоского леса, ни прочих достопримечательностей мы так и не осматривали, потому что Блохин на все предложения твердо отвечал: ну их к ляду! И только дорогой, едучи в Париж, молвил:

— Пожил, повоевал — и шабаш! Умный был человек, а вот... И какая этому причина?!

Во всяком случае, впечатления этих двух дней не прошли для Блохина даром. Тени Людовиков как бы остепенили его; до сих пор он выказывал себя умеренным либералом, теперь же вдруг сделался легитимистом.

Воротившись из экскурсии домой, он как-то пришипился и ни о чем больше не хотел говорить, кроме как об королях. Вздыхал, чесал поясницу, повторял: «ему же дань — дань!»

«звезда бо от звезды», «сущие же власти» и т. д. И в заключение предложил вопрос: мазаные ли были французские короли или немазаные, и когда получил ответ, что мазаные, то сказал:

— Ну, стало быть, не так их мазали, как прописано. Потому, если бы их настояще мазали, так они бы и сейчас в этой самой Версали сидели, и ничего бы ты с ними не поделал... ау, брат!

Покончив таким образом с Людовиками, перешел к Наполеону и не одобрил его.

— Знал ведь, что законный король в живых состоит, а между прочим и виду не подавал, что знает... все одно что у нас Пугачев!

И, наконец, до того довел необузданность чувств, что пожелал познакомиться и с Гамбеттой.

— Одно бы мне ему только слово сказать! только одно слово... и амины!

Внимая Захару Иванычу, все остальные как-то присмирели. Вообще я давно уж заметил, что как только заведется разговор о том, как и кто «мазан», так даже у самых словоохотливых людей вдруг пропадает словесность. Не знаю, понимают ли краснохолмские первой гильдии купцы, что в это время с их слушателями происходит нечто не совсем ладное, но, во всяком случае, они с изумительным инстинктом пользуются подобными минутами замешательства. Уж на что, кажется, добродушен Захар Иваныч, а посмотрите, как он распелся, как только напал на подходящий мотив! Сразу догадался, что он хоть до завтра калякай, а мы все-таки будем его слушать. И в Красном Холму выслушаем, и в Париже выслушаем. Потому что эти первой гильдии купцы... кто же их знает, что у них на уме! Сейчас он об Старосмыслове печалуется: «что они с ним изделали?», а вслед за тем вдруг по поводу того же Старосмыслова сбесится и закричит: караул! сицилист!

И действительно, начал Блохин строго, а кончил еще того строже. Говорил-говорил, да вдруг обратился в упор к Старосмыслову и пророческим тоном присовокупил:

— А ты, парень, все-таки на ус себе наматывай!

Чуть было я не сказал: ах, свинья! Но так как я только подумал это, а не сказал, то очень вероятно, что Захар Иваныч и сейчас не знает, что он свинья. И многие, по той же причине, не знают.

Н. А. Лейкин

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

(Фрагмент)

С французским кондуктором Николай Иванович все-таки выпил две бутылки красного вина. Со второй бутылкой кондуктор принес ему и белого хлеба с сыром на закуску, а Глафире Семеновне грушу и предложил ей ее с галантностью совсем ловкого кавалера. Появление такого человека, резко отделяющегося от угрюмых немецких кондукторов, значительно ободрило супругов в их путешествии, и, когда на заре багаж их в Вербье был слегка осмотрен заглянувшим в купе таможенным чиновником, они начали дремать, совершенно забыв о разбойниках, которых так опасались вначале. К тому же и начало светать, а дневной свет, как известно, парализует многие страхи. Подъезжая к Намуру, они уже спали крепким сном. Кондуктор, хоть и заглядывал в купе для проверки билетов, но, видя супругов спящими, не тревожил их.

Когда супруги проснулись, было ясное солнечное утро. Солнце светило ярко и приветливо озаряло мелькавшие мимо окон вагона каменные деревянные домики, сплошь застланные вьющимися растениями, играло на зеленых еще лугах, на стоящих в одиночку дубах с пожелтевшей листвой, на синей ленте речки, идущей вдоль дороги.

Глафира Семеновна сидела у окна купе и любовалась видами. Вскоре маленькие каменные домики стали сменяться более крупными домами. Появились вывески на домах, мелькнула железная решетка какого-то сада, стали появляться высокие фабричные трубы, курящиеся легким дымком, и вдруг Глафира Семеновна воскликнула:

— Батюшки! Эйфелева башня вдаль! Я ее сейчас по картинке узнала. Николай Иваныч! Радуйся, мы подъезжаем к Парижу.

— Да что ты? — подскочил к окну Николай Иванович.

— Вон, вон... Видишь? — указывала Глафира Семеновна.

— Да, да... Эйфелева башня... Она и есть... «Кончен, кончен дальний путь. Вижу край родимый», — запел он.

Стали попадаться по дороге уже улицы. Дома все вырастали и вырастали. Виднелась церковь с готическим куполом. Движение на улицах все оживлялось. Поезд умерял

ход, скрежетали тормоза. Еще несколько минут, и вагоны остановились около платформы, на которой суетились блузники в кепи и с бляхами на груди.

— Приехали... В Париж приехали! — радостно произнесла Глафира Семеновна, когда кондуктор отворил перед ними дверь купе.

В дверь рванулся блузник, предлагая свои услуги.

— Вуй, вуй... Прене но саквояж,— сказала Глафира Семеновна.— Э шерше коше пур партир а готель¹. Николай Иванович! Беру подушки. Что ты стоишь истуканом!

— Une voiture, Madame?² — спросил блузник.

— Да, да... Вуатюр... И анкор наш багаж...³— совала она ему квитанцию.

— Oui, oui, Madame⁴.

Багаж был взят, и блузник потащил его на спине на подъезд вокзала. Супруги следовали сзади. Вот и улица с суетящейся на ней публикой. Николай Иванович поражал всех своей громадной охапкой подушек. Какой-то уличный мальчишка, продававший с рук билеты для входа на выставку, даже крикнул:

— Voyons ce sont les Russes!⁵

Французский городовой в синей пелеринке, кепи, с закрученными усами и с клинистой бородкой, махнул по направлению к стоящим в шеренгу извозчиками. От шеренги отделилась маленькая карета с сидящим на козлах красно-рожим, гладко бритым, жирным извозчиком в белой лакированной шляпе-цилиндре и подъехала к супругам. Багаж уложен на крышу кареты, блузнику вручена целая стопка французских пятак, как называл Николай Иванович медные десятисантиметровые монеты, и супруги сели в каретку, заклинившись подушками. Извозчик обернулся и спросил, куда ехать.

— Готель какой-нибудь. Дан готель⁶...— сказала Глафира Семеновна.

— Quel hôtel, Madame?⁷

¹ Да, да... Возьмите наши вещи <...> И отыщите извозчика, чтобы доехать до гостиницы (фр.).

² Экипаж, мадам? (фр.)

³ Да, да... Экипаж... и еще наш багаж... (фр.)

⁴ Да, да, мадам (фр.).

⁵ Гляди-ка, русские! (фр.)

⁶ В гостиницу... (фр.)

⁷ В какую гостиницу, мадам? (фр.)

— Ах ты, боже мой! Да я не знаю — кель. Же не се па. Николай Иванович, кель? ¹

— Да почему же я-то знаю!

— Все равно, коше. Се тегаль, кель. Ен готель, нам нужно шамбр... шамбр и де ли...²

— Je comprends, Madame. Mais quel quartier désirez-vous? ³

— Глаша! Что он говорит?

— Решительно не понимаю. Ен шамбр дан готель. Ну вояжер, ну де Рюси ⁴...

Стоящий тут же городской сказал что-то извозчику. Тот покачал головой и поехал легкой трусцой, помахивая бичом не на лошадей, а на подскакивающих к окнам кареты мальчишек-блузников с какими-то объявлениями, с букетами цветов. Минут через десять он остановился около подъезда и крикнул:

— Voyons! ⁵

Выскочил лакей с капулем на лбу, в черной куртке и передником чуть не до земли.

— Une chambre pour les voyageurs! ⁶ — сказал извозчик лакею.

Тот отрицательно покачал головой и отвечал, что все занято.

— Ен шамбр авек де ли ⁷... — сказала Глафира Семеновна лакею.

— Point, Madame ⁸... — развел тот руками.

Извозчик потащился далее. Во второй гостинице тот же ответ, в третьей то же самое, в четвертой даже и не разговаривали. Выглянувший на подъезд портье прямо махнул рукой, увидав подъехавшую с багажом на крышке карету. Супруги уже странствовали более получаса.

— Нигде нет комнаты! Что нам делать? — спросил жену Николай Иванович.

— Нужно искать. Нельзя же нам жить в карете.

Извозчик обернулся на козлах, заглянул в переднее стекло кареты и что-то бормотал.

¹ ...Какую. Я не знаю <...> в какую? (фр.)

² ...Извозчик. Все равно в какую. В гостиницу <...> номер... номер с двумя кроватями... (фр.)

³ Я понимаю, мадам, но в какую именно гостиницу вы желаете? (фр.)

⁴ Номер в гостинице. Мы путешественники. Мы из России... (фр.)

⁵ Ну вот! (фр.)

⁶ Номер для двух приезжих (фр.).

⁷ Номер с двумя кроватями... (фр.)

⁸ Ничего нет, мадам... (фр.)

— Алле, алле...— махала ему Глафира Семеновна.— Ен шамбр... Ну не пувон сан шамбр... Надо шерше анкор готель ¹.

В пятой гостинице опять то же самое. Портье выглянул и молча махнул рукой.

— Что за незадача! — воскликнул Николай Иванович.— Глаша! Ведь просто хоть караул кричи. Ну, Париж! Попро-бую-ка я на чай дать, авось и комната найдется. Мусье! Мусье! — махнул он торчащей в стекле двери фигуре портье и показал полуфранковую монету. Тот отворил дверь.

— Вот на чай... Прене ²...— протянул Николай Иванович портье монету.

— Се пур буар ³...— поправила мужа Глафира Семеновна.— Прене и доне ну ен шамбр ⁴.

— Nous n'avons point, Madame ⁵...— отвечал портье, но деньги все-таки взял.

— Же компран, же компран. А где есть шамбр? У шерше? ⁶

Портье стал говорить что-то извозчику и показывал руками. Снова поехали.

— Великое дело давание на чай! — воскликнул Николай Иванович.— Оно развязывает языки... И помяни мое слово — сейчас комната найдется.

Извозчик сделал несколько поворотов из одной улицы в другую, въехали в какой-то мрачный переулок с грязненькими лавочками в громадных сырых шестиэтажных домах, упирающихся крышами в небо, и остановились около неказистого подъезда. Извозчик слез с козел, направился в подъезд и вышел оттуда с худенькой старушкой в белом чепце.

— Ен шамбр авек де ли...— обратилась к ней Глафира Семеновна.

— Ah, oui, Madame... Ayez la bonté de voir seulement ⁷,— отвечала старушка и отворила дверцу кареты.

¹ Номер... Мы не можем без номера... <...>искать другую гостиницу (фр.).

² Берите... (фр.)

³ Это на чай... (фр.)

⁴ Возьмите и дайте нам номер (фр.).

⁵ У нас ничего нет, мадам... (фр.)

⁶ Я понимаю, понимаю. <...>номер? где искать? (фр.)

⁷ Да, да, мадам... Извольте посмотреть (фр.).

— Есть комната! — воскликнул Николай Иванович.—
Ну, что я говорил!

Супруги вышли из кареты и направились в подъезд.

В подъезде на площадке висели карты с расклеенными афишами цирка, театров, «Petit Journal». Пахло чем-то жареным. Налево от площадки была видна маленькая комната. Там за конторкой стоял старик в сером потертом пиджаке, с серой щетиной на голове, в серебряных круглых очках и в вышитых гарусом туфлях. Старушка в белом чепце предложила супругам подняться по деревянной, узкой, чуть не винтовой лестнице.

— Кель этаж? ¹ — спросила ее Глафира Семеновна.

— Troisième, Madame ², — отвечала старушка и бойко пошла вперед.

— В третьем этаже? — переспросил Николай Иванович жену.

— В третьем. Что ж, это не очень высоко.

— Раз этаж, два этаж, три этаж, четыре этаж, — считал Николай Иванович и воскликнул: — Позвольте, мадам! Да уж это в четвертом! Зачем же говорить, что в третьем! Глаша, скажи ей... Куда же она нас ведет?

— Ву заве ди — трузьем... ³ — начала Глафира Семеновна, еле переводя дух. — А ведь это...

— Oui, oui, Madame, le troisième... Encore un peu plus haut ⁴ ...

— Еще выше? Фу ты, пропасть! Да она нас на каланчу ведет. Ведь это уже пятый!.. Глаша...

— Санкье, мадам, санкье ⁵ ... — старалась пояснить старушке Глафира Семеновна.

— Mais non, Madame, c'est le troisième ⁶ ... — стояла на своем старуха и ввела в коридор.

— Фу, черт! Да неужто мы этажей считать не умеем?! Пятый... Скажи ей, Глаша, что пятый.

— Да ведь что ж говорить-то? Уверяет, что третий.

¹ Какой этаж? (фр.)

² Третий, мадам (фр.).

³ Вы сказали — третий... (фр.)

⁴ Да, да, мадам, третий... Поднимемся еще чуть-чуть... (фр.)

⁵ Пятый, мадам, пятый (фр.)

⁶ Нет же, мадам, третий... (фр.)

— Старушка распахнула дверь из коридора в комнату и сказала:

— *Voilà, Monsieur* ¹...

Николай Иванович заглянул и воскликнул:

— Да ведь это клетушка! Тут и одному-то не поместиться. И наконец, всего одна кровать! Нам нужно две кровати.

— Де ли... де ²...— пояснила старушке Глафира Семеновна.

— *Oui, Madame... Je vous mettrai* ³.

— Говорит, что поставит вторую кровать.

Супруги обзревала комнату. Старая, старинного фасона, красного дерева кровать под драпировкой, какой-то диванчик, три стула, круглый стол и шкаф с зеркалом — вот все убранство комнаты. Два больших окна были наполовину загорожены чугунной решеткой, и в них виднелись на противоположной стороне узенькой улицы другие такие же окна, на решетке одного из которых висело для просушки детское одеяло, а у другого окна стояла растрепанная женщина и отряхивала, ударяя о перила решетки, подол какого-то платья, держа корсаж платья у себя на плече.

— Ну, Париж...— сказал Николай Иванович.— Не стоило в Париж ехать, чтобы в таком хлеву помещаться.

— А все-таки нужно взять эту комнату, потому что надо же где-нибудь поместиться. Не ездить же нам по городу до ночи. И так уж часа два мотались. Бог знает сколько гостиц объездили,— отвечала Глафира Семеновна и, обратясь к старухе, спросила о цене.— Е ле при? Комбьян? ⁴

— *Dix francs, Madame* ⁵...— спокойно отвечала старуха.

— Что такое? Десять франков! — воскликнул Николай Иванович.— Да ведь это разбой! Десять четвертаков по сорока копеек — четыре рубля... Совсем разбой!

Хотя восклицание было сделано по-русски, но старуха французенка поняла его, потому что пожалала плечами, развела руками и произнесла в ответ:

— *C'est l'exposition, Monsieur* ⁶.

— Она говорит, что из-за выставки так дорого,— пояснила Глафира Семеновна.

¹ Вот, месье... (фр.)

² Две кровати... две... (фр.)

³ Да мадам, я поставлю (фр.).

⁴ Какая цена? Сколько? (фр.)

⁵ Десять франков, мадам... (фр.)

⁶ Выставка, месье (фр.).

— Все равно разбой... Ведь такая каморка на такой каланче у нас в Петербурге по полтине в сутки ходят и уж много-много, что по семьдесят пять копеек. А то четыре рубля! Да я дам четыре рубля, дам и пять, но и ты дай мне настоящую комнату.

— Се шер, мадам ¹, — попробовала сказать Глафира Семеновна, но старуха опять развела руками и опять упомянула про выставку.

— Лучше нет? — взглянул Николай Иванович. — Глаша! Спроси.

— Ву заве бон шамбр? Ну вулон бон шамбр ².

— А présent non, Madame ³, — покачала головой старуха.

— Что тут делать? — взглянул Николай Иванович на жену.

— Надо брать. Не мотаться же нам еще полдня по Парижу!

— Да ведь вышь-то какая! Это на манер думской каланчи.

— Потом поищем что-нибудь получше, а теперь нужно же где-нибудь приютиться.

— Анафемы! Грабители! Русским ура кричат и с них же семь шкур дерут!

— Eh bien, Madame? ⁴ — вопросительно взглянула на супругов старуха.

— Вуй... Ну пренон... Делать нечего... Нотр багаж ⁵...

Глафира Семеновна стала снимать с себя ватерпруф. Старуха позвонила, чтобы послать за багажом. Николай Иванович пошел вниз рассчитывать с извозчиком. По дороге он сосчитал число ступеней на лестнице. Оказалось семьдесят три.

— Восемьдесят три ступени — десять поворотов на лестнице, пять площадок, — и это они называют в третьем этаже! — горячился он. — Черти! Право, черти! Комбьян? — обратился он к извозчику, вынимая из кармана на ладонь горсть серебра.

— Huit francs, Monsieur ⁶... — произнес он наконец.

— Как вит франк? То есть восемь франков? Да ты, по-

¹ Мадам, это дорого (фр.).

² У вас есть хороший номер? Нам нужен хороший номер (фр.).

³ Сейчас нет, мадам (фр.).

⁴ Так как же, мадам? (фр.)

⁵ Да... Мы берем... <...> Наш багаж... (фр.)

⁶ Восемь франков, месье... (фр.)

чтенный, никак белены объелся. Восемь четвертаков по сорок копеек — ведь это три двадцать! — восклицал Николай Иванович.— Мосье,— обратился он к старику, стоявшему при их приезде за конторкой и теперь вышедшему на подъезд,— Вит франк хочет... Ведь у вас такса... Не может же быть, чтобы это было по таксе...

Старик заговорил что-то с извозчиком, потом обратился к Николаю Ивановичу на французском языке, что-то очертил ему пальцем на своей ладони, но Николай Иванович ничего не понял, плюнул, достал две пятифранковые монеты и, подавая их извозчику, сказал по-русски:

— Трех рублей ни за что не дам, хоть ты разорвись. Вот тебе два целковых и проваливай... Алле... Вон... Алле... — махал он рукой, отгоняя извозчика.

— Извозчик просил всего только восемь франков и, получив десять и видя, что его гонят прочь, не желая взять сдачи, просто недоумевал. Наконец, он улыбнулся, наскоро снял шляпу, сказал: «*Merçi, Monsieur*»¹, — и, стегнув лошадь, отъехал от подъезда. Старик дивился щедрости путешественника, пожимал плечами и бормотал по-французски:

— О, русские! Я знаю этих русских! Они любят горячиться, но это самый щедрый народ!

Николай Иванович, принимая пятифранковые монеты за серебряные рубли и в простоте душевной думая, что он выторговал у извозчика рубль двадцать копеек, поднялся в свою комнату, наверх, следуя за прислужгой, несшей его багаж, уже в несколько успокоившемся состоянии и говорил сам с собой:

— Два рубля... И два-то рубля ужаси как дорого за такую езду. Ведь в сущности все по одному и тому же месту путались, а больших концов не делали.

Глафиру Семеновну он застал заказывающую кофе. Перед ней стоял в рваном пиджаке, в войлочных туфлях и в четырехугольном колпаке из белой писчей бумаги какой-то молодой малый с эспаньолкой на глупом лице и говорил:

— *Madame veut café au lait... Oui, oui*²...

— Я кофе заказываю,— сказала Глафира Семеновна мужу.— Надо же чего-нибудь выпить.

— Да, да... кофей отлично... — отвечал Николай Иванович.— Ты, брат, и масло приволоки, и булок,— обратился он к слуге.— Глаша! Переведи ему.

¹ Спасибо, мосье (фр.).

² Мадам хочет кофе с молоком... Да, да... (фр.)

— Пян и бер ¹...— сказала Глафира Семеновна.— И побольше. Боку...

— Пян, бер...— повторил Николай Иванович.

— Oui, oui, Monsieur... Un déjeuner ²...

— Да, да... Мне и жене. Ну, живо...

Слуга побежал исполнять требуемое.

— Батюшки! Да тут и извозчиков нет. Вот в какую улицу мы заехали,— сказал Николай Иванович жене, когда они вышли из подъезда гостиницы.— Как теперь на выставку-то попасть?

— Язык до Киева доведет,— отвечала храбро Глафира Семеновна.

— Ты по-французски-то тоже одни комнатные слова знаешь или и другие?

— По-французски я и другие слова знаю.

— Да знаешь ли уличные-то слова? Вот мы теперь на улице, так ведь уличные слова понадобятся.

— Еще бы не знать! По-французски нас настоящая француженка учила.

Николай Иванович остановился и сказал:

— Послушай, Глаша, может быть, мы на выставку-то вовсе не в ту сторону идем. Мы вышли направо из подъезда, а, может быть, надо налево.

— Да ведь мы только до извозчика идем, а уж тот довозет.

— Все-таки лучше спросить. Вон над лавкой красная железная перчатка висит, и у дверей, должно быть, хозяин-перчаточник с трубкой в зубах стоит — его и спроси.

Напротив через узенькую улицу, около дверей в невзрачную перчаточную лавку, стоял в одной жилетке, в гарусных туфлях и синей ермолке с кисточкой пожилой человек с усами и бакенбардами и курил трубку. Супруги перешли улицу и подошли к нему.

— Пардон, монсье...— обратилась к нему Глафира Семеновна.— Алекспозицион — а друа у а гошь? ³

Француз очень любезно стал объяснять дорогу, сопро-

¹ Хлеб и масло... (фр.)

² Да, да, месье... Завтрак... (фр.) — «завтрак» по-французски созвучен слову «жене», что обыгрывается в следующей реплике.

³ На выставку — направо или налево? (фр.)

вождая свои объяснения жестами. Оказалось, что супруги не в ту сторону шли, и пришлось обернуться назад. Вышли на перекресток улиц и опять остановились.

— Кажется, что перчаточник сказал, что направо,— пробормотала Глафира Семеновна.

— Бог его ведает. Я ничего не помню. Стрекотал, как сорока,— отвечал муж.— Спроси.

На углу была посудная лавка. В окнах виднелись стеклянные стаканы, рюмки. На стуле около лавки сидела старуха в красном шерстяном чепце и вязала чулок. Опять расспросы. Старуха показала налево и прибавила:

— C'est bien loin d'ici, Madame. Il faut prendre l'omnibus¹.

Взяли налево, прошли улицу и очутились опять на перекрестке другой улицы. Эта улица была уже многолюдная; снова множество народа, ехали экипажи, ломовые телеги, запряженные парой, тащились громадные омнибусы, переполненные пестрой публикой, хлопали как хлопушки бичи кучеров. Магазины уже блистали большими зеркальными стеклами.

— Rue La Fayette...— прочла надпись на углу Глафира Семеновна и прибавила: — Эта улица зовется Рю Лафаэт. Я помню, что я что-то читала в одном романе про Рю Лафаэт. Эта улица мне знакома. Однако надо же взять извозчика. Вон порожний извозчик в белой шляпе и красном жилете едет. Николай Иванович, крикни его! Мне неловко кричать. Я дама.

— Извозчик! — закричал Николай Иванович.

— Да что ж ты по-русски-то. Надо по-французски.

— Тьфу ты пропасть! Совсем забыл, что здесь по-русски не понимают. Как извозчик-то по-французски?

— Коше.

— Да так ли? Кажется, это ругательное слово? Кажется, коше — свинья.

— Свинья — кошон, а извозчик — коше.

— Вот язык-то... Коше — извозчик, кошон — свинья!..

Долго ли тут перепутаться!

— Да кричи же, Николай Иванович!

— Эй, коше! Мусье коше!

— Ну вот, пока ты собирался, его уже взяли. Вон какой-то мужчина садится в коляску. Так здесь нельзя... И что это у тебя за рассуждения! Еще едет, еще едет извозчик. Кричи.

¹ Это очень далеко, мадам, надо сесть в омнибус (фр.).

— Коше! — крикнул опять Николай Иванович и махнул ему зонтиком, но извозчик сам махнул ему бичом и отвернулся.— Не едет. Должно быть, занят.

Опять перекресток.

— Рю Лафит...— прочитала Глафира Семеновна и прибавила: — Рю Лафит мне по роману знакома. Рю Лафит я отлично помню. Батюшки! Да ведь в Рю Лафит Анжелика приходила на свидание к Гастону и здесь Гастон ранил Жерома кинжалом! — воскликнула она.

— Какая Анжелика? Какой такой Гастон? — спросил Николай Иванович.

— Ты не знаешь... Это в романе... Но я-то очень хорошо помню. Так, так... Еще угольщик Жак Видаль устроил ему после этого засаду на лестнице. Ну, вот извозчик. Кричи! Кричи!

— Коше! Коше!..

Извозчик, которого кричали, отрицательно покачал головой и поехал далее.

— Что за черт! Не везут! Ведь эдак, пожалуй, пехтурой придется идти,— сказал Николай Иванович.

— Пешком невозможно. Давеча француженка сказала, что выставка очень далеко,— отвечала Глафира Семеновна.— Вот еще извозчик на углу стоит. Коше! — обратилась она к нему сама.— Алекспозицион? ¹

Извозчик сделал пригласительный жест, указывая на коляску.

— Не садись так, не садись без ряды...— остановил Николай Иванович жену, влезавшую уже было в экипаж.— Надо поторговаться. А то опять черт знает сколько сдерут. Коше! Комбьен алекспозицион? ² — спросил он.

Извозчик улыбнулся, полез в жилетный карман, вынул оттуда печатный листок и протянул его Николаю Ивановичу, прибавив, кивая на экипаж:

— Prenez place, seulement ³.

— Что ты мне бумагу-то съешь! Ты мне скажи: комбьен алекспозицион?

— Vous verrez là, Monsieur, c'est écrit.

— Глаша! Что он говорит?

— Он говорит, что на листке написано, сколько стоит до выставки. Садись же... Должно быть, в листке такса.

¹ На выставку? (фр.)

² Извозчик! Сколько до выставки? (фр.)

³ Садитесь, пожалуйста (фр.).

— Не желаю я так садиться. Отчего же, когда извозчик вез нас в гостиницу, то не совал никакой таксы? Алекспозицион — ен франк. Четвертак...

— Oh, поп, Monsieur,— отрицательно покачал головой извозчик и отвернулся.

— Да садись же, Николай Иванович! а то без извозчика останемся,— протестовала Глафира Семеновна и вскочила в экипаж.

— Глаша! Нельзя же не торговавшись. Сдерут.

— Садись, садись.

Николай Иванович, все еще ворча, поместился тоже в экипаж. Извозчик не ехал. Он обернулся к ним и сказал:

— Un franc et cinquante centimes et encore pour boire...

— Алле, алле...— махала ему Глафира Семеновна.— Франк и пятьдесят сантимов просит и чтоб ему на чай дать,— объяснила она мужу.— Алле, алле, коше... Алекспозицион.

— Quelle porte, Madame? ¹— спрашивал извозчик, все еще не трогаясь.

— Вот уж теперь решительно ничего не понимаю. Алле, алле! Алекспозицион. Пур баур — вуй... Алле ².

Извозчик улыбнулся, слегка тронул лошадь бичом, и экипаж поплелся.

Через пять минут извозчик обернулся к сидевшим в экипаже супругам и сказал:

— Vous êtes étrangers, Monsieur? N'est-ce pas? ³

— Глаша! Что он говорит? — отнесся к супруге Николай Иванович.

— Да кто ж его знает! Не понимаю.

— Да ведь это же уличные слова, а про уличные слова ты хвасталась, что знаешь отлично.

— Уличных слов много. Да, наконец, может быть, это и не уличные.

— Etes-vous Russe, Monsieur, Anglais, Espagnol? ⁴

— Рюсс, рюсс,— отвечала Глафира Семеновна и перевела мужу.— Спрашивает, русские мы или англичане.

— Рюсс, брат, рюсс,— прибавил Николай Ивано-

¹ К которому входу, мадам? (фр.)

² На выставку. На чай — да... Поехали (фр.).

³ Вы иностранцы? Не правда ли? (фр.)

⁴ Вы — русские, месье, англичане, испанцы? (фр.)

вич.— Да погоняй хорошенько. Что, брат, словно по клю-
кву едешь. Погоняй. На те или, как там у вас, на кофе
получишь. Мы, русс, любим только поторговаться, а ког-
да нас разуважат, мы за деньгами не постоим.

— Ну, с какой стати ты все это бормочешь? Ведь он
все равно по-русски ничего не понимает,— сказала Гла-
фира Семеновна.

— А ты переведи.

— Алле... Алле вит. Ну донон пур буар. Бьен донон ¹.

— Oh, à présent je sais... je connais les Russes. Si vous
êtes les Russes, vous donnez bien pour boir,— отвечал извоз-
чик.— Alors il faut vous montrer quelque chose de remar-
quable. Voilà... c'est l'Opéra ²,— указал он бичом на гро-
мадное здание театра.

— Ах, вот Опера-то! Николай Иваныч, это Опера.
Смотри, какой любезный извозчик... Мимо чего мы едем,
рассказывает,— толкнула мужа Глафира Семеновна и
прибавила: — Так вот она Опера-то... Здесь, должно быть,
недалеко и Кафе Риш, в котором граф Клермон позна-
комился с Клементиною. Она была танцовщица из Оперы.

— Какой граф? Какая Клементина? — удивленно
спросил Николай Иванович жену.

— Ты не знаешь. Это я из романа... Эта Клементина
впоследствии вконец разорила графа, так что у него ос-
тался только золотой медальон его матери, и этот ме-
дальон...

— Что за вздор ты городишь!

— Это я про себя. Не слушай... Да... Как приятно ви-
деть те места, которые знаешь по книгам.

Извозчик, очевидно, уже ехал не прямо на выставку,
а колесил по улицам, и все рассказывал, указывая би-
чом:

— Notre-Dame... Palais de Justice ³...

— И Нотр-Дам знаю...— подхватывала Глафира Се-
меновна.— Про Нотр-Дам я много читала. Смотри, Ни-
колай Иваныч...

— Да что тут смотреть! Нам бы скорей на выстав-
ку...— отвечал тот.

¹ Поехали... Поехали быстрее. Мы дадим на чай. Хорошо дадим (фр.).

² О, теперь я знаю... Я знаю русских... Если вы русские, вы дадите
хорошо на чай. Тогда нужно показать вам что-нибудь замечательное.
Вот Опера (фр.).

³ Нотр-Дам... Дворец правосудия (фр.).

Извозчик выехал на бульвары.

— Итальянский бульвар... — рассказывал он по-французски.

— Ах, вот он Итальянский-то бульвар! — восклицала Глафира Семеновна. — Это бульвар почти в каждом романе встречаешь. Смотри, Коля, сколько здесь народу! Все сидят за столиками на улице, пьют, едят и газеты читают. Как же это полиция-то позволяет? Прямо на улице пьют. Батюшки! Да и извозчики газеты читают. Сидят на козлах и читают. Стало быть, все образованные люди. Николай Иваныч, как ты думаешь?

— Да уж само собой, не нашим рязанским олухам чета! А только, Глаша, ты вот что... Не зови меня теперь Николаем Иванычем, а просто мусье Николая... Париж... ничего не поделаешь. Въехали в такой знаменитый французский город, так надо и самим французиться. С волками жить — по-волчьи выть. Все по-французски. Я даже думаю потом в каком-нибудь ресторане на французский манер лягушку съесть.

— Тьфу! Тьфу! Да я тогда с тобой и за стол не сяду.

— Ау, брат! Назвался груздем, так полезай в кузов. Уж французиться так французиться. Как лягушка-то по-французски?

— Ни за что не скажу.

— Да не знаешь, оттого и не скажешь.

— Нет, знаю, даже чудесно знаю, а не скажу.

— Ну, все равно, я сам в словаре посмотрю. Ты думаешь, что мне приятно будет эта лягушка? А я нарочно... Пускай претит, но я понатужусь и все-таки хоть лапку да съем, чтобы сказать, что ел лягушку.

— Пожалуйста, об этом не разговаривай. Так вот они какие бульвары-то! А я их совсем не такими воображала. Бульвар де-Капюцин... Вот на этом бульваре Гильон Безюше, переодетый блузником, в наклеенной бороде, скрывался, пил с полицейским комиссаром абсент, и тот никак не мог его узнать.

— Ты все из романов? Да брось, говорят тебе!

— Ах, Николай Иваныч...

— Николая... — перебил Николай Иванович жену.

— Ну, Николая... Ах, Николая! Да ведь это приятно. Удивляюсь только, как Гильом мог скрываться, когда столько публики! Вот давеча извозчик упоминал и про Нотр-Дам де Лорет... Тут жила в своей мансарде Фаншетта.

— Фу ты, пропасть! Вот бредит-то!

Обвезив супругов по нескольким улицам, извозчик вывез их на набережную Сены. Глафира Семеновна увидела издали Эйфелеву башню и воскликнула:

— Выставка!

В экипаж на подножку начали впрыгивать уличные мальчишки, предлагая купить у них билеты для входа на выставку.

— Там купим. На месте купим. Может быть, у вас еще какие-нибудь фальшивые билеты, — отмахивался от мальчишек Николай Иванович.

Извозчик подвозил супругов к выставке со стороны Трокадеро.

В Трокадеро около входа на выставку было громадное стечение публики, подъезжавшей в экипажах и омнибусах. Все это быстро бежало ко входу, стараясь поскорей встать в хвост кассы. В кассе, однако, не продавались, а только отбирались билеты; купить же их нужно было с рук у барышников, мальчишек или взрослых, которые толпою осаждали каждого из публики, суя ему билеты. Дело в том, что после выпуска выставочного займа, к каждому листу которого прилагалось по 25 даровых билетов для входа на выставку, Париж наводнился входными выставочными билетами, цена на которые упала впоследствии с франка на тридцать сантимов и даже менее. Когда Николай Иванович и Глафира Семеновна вышли из экипажа, их также осадили барышники, суя билеты. Кто предлагал за сорок сантимов, кто за тридцать, кто за двадцать пять, наперерыв сбивая друг у друга цену.

— Не надо, не надо! — отмахивался от них Николай Иванович и стал рассчитывать с извозчиком. — Сколько ему, Глаша, дать? Сторговались за полтора четвертака, — сказал он жене.

— Да уж дай три четвертака. Хоть и извозчик, а человек любезный, по разным улицам нас возил, места показывал.

Николай Иванович дал три франка, извозчик оказался очень доволен, снял шляпу и проговорил:

— Oh, merci, Monsieur... A présent je vois que vous êtes les vrais Russes¹...

¹ О, благодарю вас... Теперь я вижу, что вы настоящие русские... (фр.)

— Батюшки! Хвост-то какой у входа! — воскликнула Глафира Семеновна. — Становись скорей, Николая, в хвост, становись... Это ужас, сколько публики. А барышников-то сколько продающих билеты! И ведь то удивительно — на глазах полиции. Сколько городских, и они их не разгоняют. Вон городской стоит.

Они встали в хвост и проходили мимо городского. Городовой предостерегал публику насчет карманных воришек и поминутно выкрикивал:

— *Gardez vos poches, mesdames, gardez vos poches, monsieurs* ¹...

— Глаша. Что он говорит? — поинтересовался Николай Иванович.

— Да кто ж его знает!

— Ну вот... А ведь это уличные слова; хвасталась, что уличные слова знаешь.

Минут через пятнадцать супругам, стоявшим в хвосте, удалось достигнуть кассы.

— *Vos billets, Monsieur!* ² — возглавил контролер.

— *Иль фо ашете.* Ну навон па ле билье, — отвечала Глафира Семеновна за мужа. — *Комбьен аржан?* ³

— Мы не продаем билетов. Вы должны были купить на улице. Вернитесь, — сказал контролер, пропустил супругов за решетку во входную калитку и тотчас же вывел их обратно в выходную калитку.

— Глаша! Что же это значит? — воскликнул Николай Иванович, очутившись опять на улице.

— Не пускают без билетов.

— Да ты бы купила в кассе.

— Не продают.

— Как не продают? Что мы за обсевки в поле! За что же такое стеснение? Что же это наши деньги, хуже, что ли!

— Не знаю, не знаю... Экуте! Что же это такое! Ну вулон сюр лекпозицион! Ну вулон ашете билье ⁴ — и нам не продают! — возмущалась Глафира Семеновна. — Билье, билье... Где же купить? У ашете?

¹ Берегите ваши карманы (*фр.*).

² Ваши билеты, господа! (*фр.*).

³ Надо покупать. У нас нет билетов <...> Сколько денег? (*фр.*)

⁴ Послушайте <...> Мы хотим на выставку. Мы хотим купить билеты (*фр.*).

Она размахивала даже зонтиком. К ней подошел городской и сказал по-французски.

— Купите вот у этого мальчика билеты — и вас сейчас впустят. Без билета нельзя.

Он подзвал мальчишку с билетами и сказал:

— Deux billets pour Monsieur et Madame ¹.

— Ну, скажите на милость! Даже сами городские поощряют барышников! У нас барышников городские за шиворот хватают, а здесь рекомендуют! — восклицала Глафира Семеновна.

Пришлось купить у мальчишки-барышника два входных билета за шестьдесят сантимов и вторично встать в хвост. В хвосте пришлось стоять опять за четверть часа.

— Ну, порядки! — покачал головой Николай Иванович, когда наконец у них были отобраны билеты и контролер пропустил их за решетку.

За публикой супруги поднялись по каменной лестнице в здание антропологического музея, прошли по коридору и очутились опять на крыльце, выходящем в парк. Здание помещалось на горе, и отсюда открывался великолепный вид на всю площадь, занимаемую выставкой по обе стороны Сены. Перед глазами был раскинут роскошный цветник, яркие цветочные клумбы резко отделялись от изумрудного газона, пестрели желтые дорожки, масса киосков самой причудливой формы, били фонтаны, вдали высились дворцы, среди них, как гигант, возвышалась рыже-красная Эйфелева башня. Николай Иванович и Глафира Семеновна невольно остановились рассматривать красивую панораму выставки.

— Хорошо... — проговорила Глафира Семеновна после некоторого молчания.

— Долго ехали, много мучений вынесли по дороге и наконец приехали, — прибавил Николай Иванович. — Ну, что ж, надо осматривать. Пойдем к Эйфелевой башне.

— Пойдем... Только я, Николай Иваныч, вот что... Я на самую башню влезать боюсь.

— Дура! Да зачем же мы приехали-то? Для этого и приехали на выставку, чтобы влезать на Эйфелеву башню.

— Пустяки. Мы приехали на выставку, чтобы посмотреть выставку.

— А быть на выставке и не влезать на Эйфелеву башню, все равно что быть в Риме и не видать папы. Поми-

¹ Два билета для месье и мадам (фр.).

луй, там на башне открытые письма к знакомым пишут и прямо с башни посылают. Иван Данилыч прислал нам с башни письмо, должны и мы послать. Да и другим знакомым... Я обещал.

— Письмо можешь и внизу под башней написать.

— Не тот фасон. На башне штемпель другой. На башне такой штемпель, что сама башня изображена на открытом письме, а ежели кто около башни напишет, не влезая на нее,— ничего этого нет.

— Да зачем тебе штемпель?

— Чтобы знали, что я на башню влезал. А то иначе никто не поверит. Нет, уж ты как хочешь, а на башню взберемся и напишем оттуда нашим знакомым письма.

— Да ведь она, говорят, шатается.

— Так что ж из этого? Шатается, да не падает. Ты ежели уж очень робеть будешь, то за меня держись.

— Да ведь это все равно, ежели сверзится. Обоим нам тогда не жить.

— Столько времени стоит и не валится, а вдруг тут повалится! Что ты, матушка!

— На грех мастера нет. А береженого Бог бережет.

— Нет, уж ты, Глаша, пожалуйста... Ты понатужься как-нибудь, и влезем на башню. С башни непременно надо письма знакомым послать. Знай наших! Николай Иваныч и Глафира Семеновна на высоте Эйфелевой башни на манер туманов мотаются! Не пошлем писем с башни — никто не поверит, что и на выставке были. Голубушка Глаша, ты уж не упрямясь,— упрасивал жену Николай Иванович.— Поднимемся.

— Ну, хорошо... А только не сегодня... Не могу я вдруг... Дай мне на выставке-то немножко попривыкнуть и осмотреться. Ведь и завтра придется здесь быть, и послезавтра — вот тогда как-нибудь и поднимемся,— отвечала Глафира Семеновна и стала сходить с крыльца в парк.

— Ну, вот за это спасибо, вот за это спасибо. Ты со мной на башню поднимаешься, а я тебе хорошее шелковое платье куплю. Шестьсот французских четвертаков жертвую, даже семьсот... Покупай такое платье, чтобы бык забодал, чтобы все наши знакомые дамы в Петербурге в кровь расчесались от зависти. Только ты, голубушка Глаша, не спячься, не спячься, пожалуйста,— бормотал Николай Иванович, следуя за женой.

Николай Иванович и Глафира Семеновна бродили по парку выставки, любовались фонтанами, останавливались перед киосками и заходили в них, ничем особенно в отдельности не поражаясь, зашли и в антропологический музей, посмотрели на манекены, представляющие быт народностей, наконец Глафира Семеновна сказала:

— А только и Париж же! Говорят, парижские моды, наряды, а вот бродим, бродим и ничего особенного. Нарядов-то даже никаких не видать. Самые простые платья на дамах, самые простые шляпки, простые ватерпруфы. У нас иная горничная лучше вырядится на гулянье, а ведь здесь выставка, стало быть, гулянье. Право, я даже лучше всех одета. Вот он хваленый-то модный Париж!

— Правда, душечка, правда. И я то же самое заметил; но не попали ли мы с какого-нибудь черного входа, где только такому народу допущение, который попроще? — отвечал Николай Иванович. — Может быть, там настоящие-то модницы, — указал он за Сену.

— А по улицам-то Парижа мы ехали, так разве видели каких-нибудь особенных модниц? Все рвань. Простенькие платья, грошовые шляпки. Думала, что-нибудь эдак на бок, на сторону, с перьями, с цветами, с птицами, а решительно ничего особенного. Даже и экипажей-то хороших с рысаками на улицах не видели. Нет, что это за парижские модницы! Срам.

— А вот как-нибудь вечером в театр поедем, так, может быть, там увидим. Но я уверен, что и там, за рекой публика наряднее. Просто мы не с того подъезда, не с аристократического на выставку попали.

— А насчет красоты-то французской... — продолжала Глафира Семеновна. — Вот у нас в Петербурге все ахают: «Ах, француженка! Ах, шик! Ах, грациозность! Француженки пикантны, француженки прелесть!» Где она прелесть-то? Где она пикантность-то? Вот уж часа два мы на выставке бродим, и никакой я прелести не нахожу. Даже хорошеньких-то нет. Так себе, обыкновенные дамы и девицы. Вот какая толстопятая тумба идет! Даже кособрюхая какая-то. Не старая женщина, а на вид словно ступа.

— Да, может быть, это немка, — заметил Николай Иванович.

— Зачем же немка-то в Париж затесалась?

— А зачем мы, русские, затесались?

— Нет, уж ты только любишь спорить. Конечно же, нет хорошеньких, даже миленьких нет. Ну, покажи мне хоть одну какую-нибудь миленькую и шикарную?

— Да, может быть, миленькие-то и шикарные французенки давно уже на выставку насмотрелись и она им хуже горькой редьки надоела. Ведь выставка-то с весны открылась, а теперь осень. Ну, да я уверен, что мы на той стороне реки и модниц, и хорошеньких, и пикантных увидим,— решил Николай Иванович и прибавил: — Однако, Глаша, уж пятый час, и я есть хочу. Надо поискать, где бы пообедать. Мы читали в газетах, что на выставке множество ресторанов, а пока я еще ни одного не видал. Должно быть, на той стороне они. Пойдем на ту сторону. Вот мост. Кстати, на той стороне и Эйфелеву башню вокруг обойдем. Нельзя же, надо хоть снаружи-то ее сегодня вблизи осмотреть. Осмотрим башню и съедем ресторан.

Глафира Семеновна посмотрела на мужа и сказала:

— Не пойду я с тобой в ресторан.

— Это еще отчего? Да как же голодным-то быть? Ведь у меня уж и так брюхо начинает подводить.

— Ну и пусть подводит, а я не пойду.

— То есть отчего же это? Отчего? Ведь и ты же проголодалась.

— А коли проголодалась, то вот как придем домой, то пошлю за булками и за ветчиной и наемся, а в ресторан с тобой не пойду.

— Да по какой причине?

— Очень просто. Вспомни, что ты говорил давеча насчет ресторана? Какую такую еду ты хотел спрашивать в ресторане?.. Вот из-за этого и не пойду.

— Ах, это насчет жареной-то лягушки? Да я сегодня не буду ее требовать. Я перед отъездом из Парижа уж как-нибудь понатужусь и съем жареную лягушину лапу, и тогда я пойду в ресторан один, без тебя.

— Врешь, врешь. Выпьешь лишнее, так и сейчас спросишь. Я тебя знаю. Ты пьяный какую угодно гадость съешь. Видела я раз, как ты пьяный в Петербурге у татар в ресторане поспорился с приятелями на пари и у живого налима голову отгрыз.

— Так ведь тогда все чудили. Пентюков выпил водки с уксусом, прованским маслом и с горчицей, а я потребовал живого налима. Нет, Глаша, я пошутил, я не стану

сегодня лягушки требовать. Это я когда-нибудь один, без тебя.

— Побожись, что не станешь лягушку сегодня требовать, тогда пойду.

— Ну, вот ей-богу, сегодня не стану требовать лягушку.

— Верно?

— Верно.

— Ну, смотри, ты побожился. Тогда пойдем.

И супруги направились к мосту, дабы перейти на другой берег Сены.

Через четверть часа они стояли против Эйфелевой башни и, закинув головы наверх, смотрели, как ползут подъемные машины на башне, поднимающие публику в первый, во второй и третий этажи, как в каждом этаже около перил бродят люди, кажущиеся такими маленькими, как мухи или муравьи.

— Неужто и нам придется по этой машине подниматься? — с замираньем сердца спросила Глафира Семеновна и, устав стоять, села на один из стоявших рядами перед башней садовых стульев.

— Да что ж тут страшного-то? Сядешь, как в карету, машина свистнет — и пошел, — отвечал Николай Иванович и тоже сел на стул рядом с женой.

— Ох, страшно на такую высоту! — вздыхала Глафира Семеновна.

— Зато письма с башни напишем и похвастаемся перед знакомыми, что взбирались в поднебесье.

— Николая! Башня шатается. Вот я и теперь вижу, что она шатается.

— Да нет же, нет.

— А я тебе говорю, что шатается. Видишь, видишь... Ты смотри вправо...

Супруги заспорили, но в это время перед ними остановилась пожилая женщина в потертом шерстяном платье, в бархатной наkolке и с сумочкой через плечо. Она совала им в руки два желтенькие билета и бормотала:

— Pour les chaises, Monsieur, vingt centimes... pour le repos¹...

Николай Иванович вытаращил на нее глаза.

¹ За стулья, месье, 20 сантимов... за отдых... (фр.)

— Чего вам, мадам? Чего такого? Чего вы ввязываетесь? — говорил он удивленно.

Женщина повторила свою фразу.

— Да что нужно-то? Мы промеж себя разговариваем. Се ма фам — и больше ничего, — указал Николай Иванович на Глафиру Семеновну и прибавил, обращаясь к женщине: — Алле... А то я городского позову.

— Mais, Monsieur, vous devez payer pour les chaises¹, — совала женщина билеты.

— Билеты? Какие такие билеты? Никаких нам билетов не нужно. Глаша! Да скажи же ей по-французски и отгони прочь! Алле!

— Monsieur doit payer pour les chaises, pour le repos... — настаивала женщина, указывая на стулья.

— Она говорит, что мы должны заплатить за стулья, — поясняла Глафира Семеновна.

— За какие стулья?

— Да вот на которых мы сидим.

— В первый раз слышу. Что же это за безобразие! Где же это видано, чтоб за стулья в саду брать! Ведь это же выставка, ведь это не театр, не представление. Скажи ей, чтоб убиралась к черту. Как черт по-французски? Я сам скажу.

— Vingt centimes, Madame... Seulement vingt centimes. Ici il faut payer partout pour les chaises.

— Требуется двадцать сантимов. Говорит, что здесь везде за стулья берут, — перевела мужу Глафира Семеновна и прибавила: — Да заплати ей. Ну, стоит ли спорить!

— Это черт знает что такое! — вскочил со стула Николай Иванович, опуская руку в карман за деньгами. — И какое несчастье, что я по-французски ни одного ругательного слова не знаю, чтобы обругать эту бабу! — бормотал он и сунул женщине деньги.

У кассы, где продают билеты для поднятия на Эйфелеву башню, — хвост. Пришлось становиться и ждать очереди.

— Вот живут-то! Куда ни сунься — везде очереди

¹ Но, месье, вы должны заплатить за стулья (фр.).

жди. Хвост, хвост и хвост... Весь Париж в хвостах,— роптал Николай Иванович.— На выставку входишь — хвост, на башню лезешь — хвост. Вчера даже обедать шли в хвосте.

— На башню лезть, так хвост-то даже и лучше. Всегда одуматься можно, пока в хвосте стоишь,— отвечала Глафира Семеновна.— Уйдем, Николай Иванович, отсюда... Ну, что нам такое башня! Да провались она совсем.

— Что ты! Что ты! Ни за что на свете! Продвигайся, продвигайся...

Билеты взяты. Публика стремится к подъемной машине. Здесь опять хвост.

— Тьфу ты, пропасть! Да тут в Париже и умирать придется, так и то в хвост становись! — плюнул Николай Иванович.

Глафира Семеновна держалась сзади за мужа и шептала:

— Голубчик, Николай Иваныч, страшно! Я и теперь чувствую, как под ногами что-то шатается.

— Не взобравшись-то еще на башню! Да что ты. Двигайся, двигайся...

Подъемной машины еще не было. Она была наверху. Но вот заскрипели блоки, завизжали колеса, катящиеся по рельсам, и громадная карета начала спускаться.

— Фу! Прямо на нас. Даже дух замирает. А запрут в курятник, да начнут поднимать, так еще хуже будет,— продолжала бормотать Глафира Семеновна, держась за пальто мужа.

— А ты зажмурься — вот и не будет страшно.

Три раза поднималась и опускалась карета, пока супругам пришла очередь занять в ней места. Наконец они вошли и поместились на деревянных скамейках, стоящих в ряд. Дверцы кареты задвинулись. Глафира Семеновна перекрестилась и слегка зажмурилась. Свисток, и карета, глухо постукивая колесами о рельсы, начала плавно подниматься вверх. Глафира Семеновна невольно взвизгнула и вцепилась в рукав мужа. Она действительно боялась, побледнела и слезливо моргала глазами. Николай Иванович, как мог, успокаивал ее и говорил:

— Эка дура, эка дура! Ну, с чего ты? Ведь и я с тобой... Полетим вниз, так уж вместе.

Сидевший рядом с ней длинноногий англичанин в клетчатом пальто, в неимоверно высокой шляпе и каких-то из желтой кожи лыжах вместо сапог, тотчас полез в висев-

шую у него через плечо вместе с громадным биноклем кожаную сумку, вынул оттуда флакон со спиртом и, бормоча что-то по-английски, совал ей флакон в нос. Глафира Семеновна отшатнулась.

— Нюхай, нюхай... Чего ж ты? Видишь, тебе спирт дают...— сказал Николай Иванович жене.— Да скажи: мерси.

— Не надо, не надо. Ничего мне не надо. Сами на испуг повели, а потом лечить хотите.

— Да нюхай же, говорят тебе. Ведь это хорошо. Нюхни, а то невежливо будет.

— Не стану я нюхать. Почему я знаю: может быть, это какие-нибудь усыпительные капли.

— Эх, какая! Ну, тогда я понюхаю, а то, ей-ей, невежливо. Бите, монсье,— обратился Николай Иванович к англичанину, взял в руку флакон, понюхал и со словом «мерси» возвратил.

Англичанин пробормотал ему что-то в ответ по-английски и тоже понюхал из флакона. Николай Иванович ничего не понял из сказанного англичанином, но все-таки и в свою очередь счел за нужное ответить:

— Дамский пол, так уж, понятное дело, что робеют. Бабыя нация — вот и все тут.

Англичанин указал на барометр, висевший на стене кареты, и опять что-то пробормотал по-английски.

— Да, да... жарконько. Опять же и изнутри подогревает, потому волнение. В туннель по железной дороге въезжаешь, так и то дух замирает, а тут, судите сами, на эдакую вышь.

В таком духе, решительно не понимая друг друга, они обменялись еще несколькими фразами. Наконец карета остановилась и кондуктор открыл дверцу.

— Ну, вот и отлично... Ну, вот и приехали... Ну, вот и первый этаж. Чего тут бояться? — старался ободрить Николай Иванович жену, выводя ее из кареты.

— Господи! Пронеси только благополучно! Угодники божи, спасите...— шептала та.— Ведь какой грех-то делаем, взобравшись сюда. За Вавилонское столпотворение как досталось людям! Тоже ведь башня была.

— Вавилонская башня была выше.

— А ты видел? Видел ее?

— Не видал, да ведь прямо сказано, что хотели до небес...

— А не видал, так и молчи!

— Я и замолчу, а только ты-то успокойся, Христа ради. Посмотри: ведь никто не робеет. Женщин много, и ни одна не робеет. Вон католический поп ходит — и как ни в чем не бывало. Батюшки! Да здесь целый город! Вон ресторан, а вот и еще...

— Тебе только рестораны и замечать. На что другое тебя не хватит, а на это ты мастер.

— Да ведь не выколоть же, душечка, себе глаза. Фу, сколько народу! Даже и к решетке-то не пробраться, чтобы посмотреть вниз. Ну, как эдакую уйму народа ветром сдунуть? Такого и ветра-то не бывает. Протискивайся, протискивайся скорей за мной, — тянул Николай Иванович жену за руку, но та вдруг опять побледнела и остановилась.

— Шатается... Чувствую, что шатается, — прошептала она.

— Да полно... Это тебе только так кажется. Ну, двигай ножками, двигай. Чего присела, как наседка! Все веселы, никто не робеет, а ты...

— У тех своя душа, а у меня своя...

Кое-как супруги протискались к решетке.

— Фу, вышь какая! А только ведь еще на первом этаже! — воскликнул Николай Иванович. — Люди-то, люди-то, как букашки, внизу шевелятся. Дома-то, дома-то! Смотри-ка, какие дома-то! Как из карт. Батюшки! Вдаль-то как далеко видно. Сена-то как ленточка, а пароходики на ней как игрушечные. А вон вдали еще речка. Знаешь что, Глаша: я думаю, что ежели в подзорную трубку смотреть, то отсюда и наша Нева будет видна.

Глафира Семеновна молчала.

— А? Как ты думаешь? — допытывался Николай Иванович, взглянул на жену и сказал: — Да что ты совой-то глядишь! Будет тебе... Выпучила глаза и стоит. Ведь уж жива, здорова и благополучна. Наверное, отсюда в зрительную трубку Неву видеть можно, а из верхнего этажа понатужиться, так и Лиговку увидишь. Где англичанин-то, что с нами сидел? Вот у него бы подзорной трубочкой позаимствоваться. Труба у него большая. Пойдем... Поищем англичанина... Да ты ступай ножками-то смелее, ступай. Ведь тут не каменная плита. Батюшки! Еще ресторан. Смотри-ка в окно-то: тут какие-то тирольки в зеленых платьях прислуживают. А на головах-то у них что рога... Рога какие-то! Да взгляни же, Глаша.

— Зачем? Это тебе тирольки с рогами интересны, а

мне они — тьфу! — раздраженно отвечала Глафира Семеновна.

— Нет, я к тому, что ресторан-то уж очень любопытный, — указывал Николай Иванович на Эльзас-Лотарингскую пивную.

— Да уж не подговаривайся, не подговаривайся. Знаю я, чего ты хочешь.

— А что же? Это само собой. Забрались на такую высоту, так уж нельзя же не выпить. С какой стати тогда лезли? С какой стати за подъемную машину деньги платили? Чем же нам тогда похвастать в Петербурге, ежели на такой высоте не выпить? А тогда прямо будем говорить: в поднебесье пили. Ах, да... Вон там, кстати, и открытые письма с Эйфелевой башни пишут. Здесь ведь почта-то... Только бы нам этих самых почтовых карточек купить... Да вон они продаются. Напирай, напирай на публику. Сейчас купим. Ты и маменьке своей отсюда писульку напишешь: дескать, любезная маменька, bonjour с Эйфелевой башни и же ву при¹ вашего родительского благоговения. А он мари² шлет вам поклон.

Супруги протискались к столику, за которым пожилая женщина в черном платье продавала почтовые карты с изображением на них Эйфелевой башни.

— Катр... Катр штук... Или даже не катр, а сенк³, — сказал Николай Иванович, выкидывая на стол пятифранковую монету.

— Je vous en pris, Monsieur⁴, — отсчитала продавщица карточки и сдала сдачу.

— Учтивый народ, вот за что люблю! Все «жеву при», все «монсье», — восторгался Николай Иванович. — Ну, Глаша, теперь в ресторан, где тирольки с рогами. Надо же ведь где-нибудь письма-то написать. Кстати, и тиролек этих самых посмотрим.

— Да уж иди, иди. Счастлив твой бог, что у меня ноги с перепугу дрожат, и я рада-радехонька, только бы мне присесть где, а то ни за что бы я не пошла ни в какой ресторан, — отвечала Глафира Семеновна.

Супруги направились в Эльзас-Лотарингскую пивную.

¹ Прошу (фр.).

² Муж (фр.).

³ Четыре, четыре... <...> пять (фр.).

⁴ Прошу вас, месье (фр.).

Напившись в охотку чаю с бутербродами, супруги стали собираться в магазин де-Лувр, Глафира Семеновна оделась уже скромно в простенькое шерстяное платье и в незатейливый ватерпруф из легонькой материи.

— Ей-ей, не стоит здесь хороших нарядов трепать, право, не для кого. Дамы все такая рвань, в отрепанных платьишках,— говорила она в свое оправдание, обращаясь к мужу.

Сойдя вниз, к бюро гостиницы, они справились у хозяйки, далеко ли отстоит Луврский магазин.

— *Pas loin, Madame, pas loin*¹,— отвечала хозяйка и принялась с жестами рассказывать, как близко отстоит магазин, показывая дорогу по плану Парижа, висящему на стене около конторки бюро.

— Поняла ли что-нибудь? — спросил жену Николай Иванович.

— Ничего не поняла, кроме того, что магазин недалеко. Но ничего не значит, все-таки пойдем пешком. Язык до Киева доведет. Надо же посмотреть улицы.

Уличное движение было в полном разгаре, когда супруги вышли из гостиницы и, пройдя переулки, свернули в большую улицу Лафает. Городские часы, выставленные на столбе на перекрестке улицы, показывали половину одиннадцатого. Громыхали громадные омнибусы, переполненные публикой, вереницей тянулись одноконные колясочки извозчиков, тащились парные ломовые телеги с лошадьми, запряженными в ряд и цугом, хлопали бичи подобно ружейным выстрелам, спешили, наталкиваясь друг на друга и извиняясь, пешеходы; у открытых лавок с выставками различных товаров на улице, около дверей продавцы и продавщицы зазывали покупателей, выкрикивая цены товаров и даже потрясая этими товарами.

— *Tout en soie... Quatre-vingt centimes le mètre*²,— визгливым голосом кричала миловидная молодая девушка в черном платье и белом переднике, размахивая распущенным куском красной шелковой ленты.

— *Aucune concurrence!*³ — басил какой-то рослый усатый приказчик в дверях лавки, показывая проходив-

¹ Недалеко, мадам, недалеко (*фр.*).

² Чистый шелк... Восемьдесят сантимов метр (*фр.*).

³ Не страшна никакая конкуренция! (*фр.*)

шей публике поярковую шляпу и в то же время доказывая, что шляпа не боится дождя, поливал ее из хрустального графина водой.

Около некоторых из этих товарных выставок с обозначением цены на каждом предмете толпилась публика и рылась в товаре, торговалась, почти совершенно загоразживая тротуар, так что нежелающим протискиваться сквозь толпу приходилось сходить на мостовую. А на мостовой, среди проезжавших извозчичьих экипажей, омнибусов и ломовых телег лавировали разносчики с лотками, корзинами и ручными тележками, продавая зелень, плоды, печенье и тому подобные предметы. Разносчики также выкрикивали:

— V'la d's artichauts! Ma botte d'asperges! Des choux, des haricots, des poireaux, des carottes! ¹

К этим крикам присоединялись и крики блузников-мальчишек, сующих проходящим листки с рекламами и объявлениями от разных магазинов, крики продавцов газет, помахивающих листами номеров и рассказывающих содержание этих номеров.

Какой-то мальчишка-газетчик, махая руками, очень сильно толкнул Глафиру Семеновну, так что та даже соскочила с тротуара и сказала:

— Вот подлец-то! И чего это только полиция смотрит и не гоняет их с дороги!

— Действительно, беспорядок,— отвечал Николай Иванович, замахаясь на убегающего мальчишку зонтиком.— И ведь что обидно: не можешь даже обругать его, мерзавца, не зная по-французски ругательных слов. Глаша! — обратился он к жене.— Ты бы мне хоть три-четыре ругательных словечка по-французски сказала, чтобы я мог выругаться при случае.

— Как я скажу, ежели я сама не знаю... Нас ругательным словам в пансионе не учили. У нас пансион был такой, что даже две генеральские дочки учились. Все было на деликатной ноге, так как же тут ругательствам-то учить!

— Да, это действительно. Но должна же ты знать, как мерзавец по-французски.

— Не знаю.

¹ Артишоки! Хватайте спаржу! Капуста, фасоль, лук-порей, моркови! (фр.)

— А подлец?

— Тоже не знаю. Говорю тебе, что все было на деликатной ноге.

— По-русски его ругать — никакого толку не будет, потому он все равно не поймет, — рассуждал Николай Иванович. — Ты не знаешь, как и дубина по-французски?

— Не знаю. Дерево — арбр, а как дубина — не знаю. Да отругивайся покуда словами: кошон и льянь, что значит свинья и осел.

— Что эдакому оболтусу, который тебя толкнул, свинья и осел! Надо как-нибудь похлеще его обремизить, чтобы чувствовал.

— Да ведь это покуда. Ну, а насчет хлестких слов я дома в словаре справлюсь. Кошон — очень действительное слово.

Случай обругать сейчас же и представился. Из-за угла выскочил блузник с корзиной, наполненной рыбой. С криком: «il arrive, il arrive, l'marqueau!»¹ — он наткнулся на Николая Ивановича и хотя тотчас же извинился, сказав «pardon, Monsieur», но Николай Иванович все-таки послал ему вдогонку слово «кошон». Услыхав это слово, блузник издали иронически крикнул ему:

— Merci, Monsieur, pour l'amabilité.

— Не унялся, подлец? — грозно обернулся Николай Иванович к блузнику и спросил жену что такое сказал блузник.

— За любезность тебя благодарит, — отвечала Глафира Семеновна.

— За какую любезность?

— А вот что ты его кошоном назвал. Учтивости тебя учит. Он тебя хоть и толкнул, но извинился, а ты ему все-таки «кошон».

— Ах, он подлец!

Николай Иванович обернулся к блузнику и издали погрозил ему кулаком. Блузник улыбнулся и в свою очередь погрозил Николаю Ивановичу кулаком.

— Скажите на милость, еще смеет в ответ кулаком грозиться! — воскликнул Николай Иванович и хотел броситься к блузнику, но Глафира Семеновна удержала его за рукав.

¹ А вот макрель! (фр.)

— Оставь... Ну, что затевать скандал!.. Брось. Ведь может выйти драка. Плюнь...— сказала она.

Супруги выходили на площадь Большой Оперы.

На площади Большой Оперы супругов осадили со всех сторон барышники, предлагающие билеты на вечерний оперный спектакль. Барышники осаждали супругов даже и тогда, когда эти последние подошли к городовому и стали его расспрашивать, как пройти в Луврский магазин,— и городской нисколько не препятствовал этой осаде, что несказанно удивило их.

— Смотри: стало быть, здесь дозволено барышничать театральными билетами,— заметила Глафира Семеновна мужу.— Ведь прямо в глазах городского предлагают, даже около него — и городской хоть бы что!

Городовой очень любезно указал дорогу в Луврский магазин, и супруги опять отправились. Но тут случилось маленькое обстоятельство. Супруги, выслушав объяснение дороги, позабыли сказать городовому «спасибо». Городовой, очевидно, этим обиделся, окликнул супругов и, когда те обернулись, издали откозырял им и, кивнув головой, крикнул по-французски:

— Благодарю за учтивость!

Глафира Семеновна поняла в чем дело и тотчас же сообщила об этом мужу.

— Дурак, совсем дурак. За что же тут благодарить, коли он для того и поставлен, чтоб указывать дорогу,— отвечал Николай Иванович.

— Нет, уж, должно быть, здесь такой щепетильный народ, что все на тонкой деликатности.

— Хороша тонкая деликатность, коли со всех сторон тебя на улицах толкают, извозчики на твои вопросы ничего не отвечают, а только отвертываются, ежели заняты или не хотят ехать, торговцы всякую дрянь в нос суют. Давеча вон один приказчик чуть ли не в нос ткнул мне резиновыми калошами, предлагая их купить, да еще ударил подошву о подошву перед самым лицом. Нет, на наших рыночных приказчиков-то, хватающих покупателей за рукава, только слава, а в сущности здесь еще хуже.

Расспрашивая дорогу, супруги добрались наконец до Луврского магазина и вошли в одну из распахнутых широких дверей его. Уже на подъезде их поразила толпа поку-

пателей, остановившихся около сделанной в дверях выставки товаров с крупной вывеской над выставкой «occasion», то есть — по случаю. Мужчины и дамы рылись в набросанных без системы товарах, состоящих из лент, косыночек, кружев, платочков, и читали нащипленные на них цены. Приказчик с карандашом за ухом только наблюдал за роющейся публикой и ежеминутно выкрикивал по-французски:

— Цены написаны... Выбирайте сами!.. Цены решительные!..

Пришлось протискаться сквозь толпу.

В самом магазине было также тесно. В нескольких местах висели вывески, гласящие: касса № 1-й, касса № 2-й и так далее. Товары были выложены на прилавках, громадными штабелями стояли на полу, лежали на этажерках, висели на стенах. И чего, чего тут не было! Куски всевозможных материй, целые ворохи перчаток, женских корсетов, готового платья, лент, обуви. Около всего этого толпились покупатели. Дамы, разумеется, преобладали. Приказчики и приказчицы, облаченные исключительно во все черное, с неизменным карандашом за ухом, еле успевали отвечать на вопросы. Один приказчик продавал сразу двум-трем покупателям. Не взирая на громадное помещение, было жарко, душно; воздух был сперт.

— Эка махина магазин-то! — невольно вырвалось у Николая Ивановича, когда супруги прошли два десятка шагов.

— Я читала в описании, что здесь больше тысячи приказчиков и приказчиц, — отвечала Глафира Семеновна, у которой глаза так и разбегались по выставленным товарам.

— Ну, покупай, что тебе требуется. За поднятие на Эйфелеву башню тебе ассигновано на покупки четыреста французских четвертаков.

— Пятьсот же ведь ты ассигновал. Ну, скажите на милость, вот уж утягивать начинает. Пятьсот, пятьсот. Я очень хорошо помню, что пятьсот. Даже еще шестьсот.

— Да уж покупай, покупай. Вон приказчик замухрышка освободился, у него и спроси, что тебе нужно.

— Да все нужно. А только дай прежде оглядеться. Боже мой, как дешево эти носовые платки с Эйфелевой башней! По шестидесяти сантимов за штуку. Ведь это на наши деньги... Сколько на наши деньги?

— Двадцать две, двадцать три копейки. А только ведь это дрянь.

— Как дрянь? Для подарков отлично. Приедем из-за границы, надо что-нибудь подарить на память родным и знакомым.

— Ты платье-то прежде себе купи. Тебе ведь я платье обещал.

— Платье потом. Атенде, монсье, комбьян кут се мушуар? — спросила Глафира Семеновна пробежавшего мимо приказчика с ворохом товара, указывая на платочки.

— Les prix sont écrits, Madame¹, — отвечал тот не останавливаясь.

— Монсье, монсье! Вене зиси. Же ве ашете!.. — обратилась она к другому приказчику, завязывавшему что-то в бумагу.

— Tout est écrit, Madame. Il faut choisir seulement... Ayez la bonté²... — дал этот ответ и не двинулся с места.

— Что за невежи здешние приказчики! Ни один не трогается! Послушайте, кто же здесь продает? — крикнула Глафира Семеновна уже по-русски.

Ответа не последовало. Приказчики продолжали заниматься своим делом: что-то увязывали, что-то писали на бумажках, куда-то бежали.

— Да отбери, что тебе надо, а потом и будем торговаться, — сказал Николай Иванович.

— Да как же без приказчика-то отбирать?

— Видишь, все отбирают. Отбирай и ты.

— Воображаю я, сколько здесь воруют при таких порядках, — сказала Глафира Семеновна и принялась рыться в разном мелочном товаре, то и дело восклицая: — Боже мой, как это дешево! Ведь вот за эти косыночки надо у нас прямо вдвое заплатить. По франку только... Ведь это по сорока копеек. У нас за рубль не купишь. Николай Иванович, я возьму шесть штук.

— Да куда тебе? Ведь это дрянь.

— Дрянь-то дрянь, но ты посмотри... как дешево. Ведь это чуть не даром.

— Да на что такие косынки? Ведь ты их не будешь носить.

— Буду, буду. Да наконец, и другие сносят. Тебе даже отлично надевать на шею, когда ты в баню идешь. Вот я и эту шляпчонку возьму. Смотри: всего только два франка. Положим, она жиденькая, из бумажных кружев, но...

¹ Цены написаны, мадам (фр.).

² Все написано, мадам. Надо только выбирать... Пожалуйста... (фр.)

— Сама ведь не станешь носить такую дрянь.

— Ах, боже мой! Да кому-нибудь подарю. Ах, какие дешевые перчатки! У нас втрое дороже... Перчаток надо купить побольше. Мой номер шесть с четвертью.

Мало-помалу был отобран целый ворох всякой дряни. Глафира Семеновна указала на него приказчику и сказала:

— Пейе. Иль фо пейе. Комбьян? ¹

Приказчик стал разбирать товар и считал его стоимость на бумажке. Вышло сорок два франка с сантимами, и он объявил сумму.

— Сорок довольно,— сказал ему Николай Иванович.— Карант. Ассе карант, а остальное в скидку. Ведь это дрянь.

— Nous avons des prix fixes, Monsieur ²...

— Знаем мы эти прификсы-то! Везде и с прификсом скидывают. Карант ³, а больше не дам. Карант...

— Oh, non, Monsieur ⁴.

И приказчик, начавший уже было завязывать товар в бумагу, снова развернул его.

— Ну пренон, ну пренон. Карант де е сантим оси ⁵...— кивнула ему Глафира Семеновна и заметила мужу:— Здесь не торгуются.

— Вздор. Но том свете и то торгуются.

Приказчик пригласил их для расчета в кассу.

Супруги поднялись по чугунной лестнице во второй этаж Луврского магазина. Второй этаж был занят преимущественно готовыми нарядами, мужскими и женскими. Здесь уже не было так называемых «occasion'ов», то есть выставок товаров, продающихся по случаю, с уступкой, а потому той толпы, которая стояла и двигалась вниз, не было. В отделении дамских нарядов приказчики и приказчицы были уже более прифранченные, более элегантнее, чем внизу. На большинстве приказчиков виднелись черные фраки, сами лица приказчиков были как-то особенно вылощены, бороды и усы приглажены и прилажены волосок к волоску, и от них отдавало тонкими духами. Приказчики

¹ Платить. Надо платить. Сколько? (фр.)

² У нас твердые цены, месье... (фр.)

³ Сорок (фр.).

⁴ Ах, нет, месье (фр.).

⁵ Мы берем, берем. Сорок два и сантимы тоже... (фр.)

эти очень напоминали танцмейстеров. Они становились то и дело в красивые заученные позы перед покупательницами; при ответах как-то особенно наклоняли головы, подобно манежным лошадям. Приказчицы также резко отличались от приказчиц нижнего этажа. Они все на подбор были одеты хоть и в черные, но в самые новомодные платья различных последних фасонов. На головах некоторых из них красовались элегантные кружевные наколки. Очевидно, что они были одеты в модели магазина и служили вывесками.

Супруги прошли по всему этажу, пока дошли до отделения дамских платьев и «confection»¹. Глафира Семеновна восторгалась на каждом шагу, поминутно останавливалась и покупала разной ненужной дряни. Николай Иванович, таскавший сзади покупки, превратился уже совсем во вьючное животное, когда они прибыли в отделение готовых дамских платьев.

— Сесть бы где-нибудь, — проговорил он, увидя стулья и отдуваясь. — Скверная здесь манера в Париже за сиденья на стульях платить, но я бы, уж черт с ними, пожалуй бы, заплатил.

— Садись, садись здесь, теперь можешь и отдохнуть, потому мы именно туда и пришли, куда нам надо, — сказала Глафира Семеновна. — Ведь это-то и есть отделение готовых платьев. Видишь, готовые платья в витринах висят. Смотри, смотри, какая прелесть! — воскликнула она, приходя в восторг и указывая на бальное платье.

В этот момент перед ней как из земли выросла рослая продавальщица в черном шелковом платье с громадными буфами на плечах, доходящими до ушей, и с большим воротником а ля Мария-Антуанетта. Ежели бы не желтый кожаный сантиметр, перекинутый через шею, то ее можно бы было принять за королеву из трагедии.

— Модель этого платья, мадам, получила на нынешней выставке большую золотую медаль, — заговорила она по-французски. — C'est le dernier mot de la mode²...

— Же ве ен роб де суа нуар... — обратилась Глафира Семеновна к продавальщице. — Черное шелковое платье думаю я себе купить, — сказала она мужу.

— Гм... — пробормотал Николай Иванович и, сложив

¹ Конфекция (фр.).

² Это последнее слово моды... (фр.)

пакеты с покупками на стол, стал отирать лоб и лицо носовым платком.

Пот с него лил градом.

— Je vous montrerai, Madame, quelque chose d'extraordinaire¹ — заговорила продавальщица и крикнула: — Мадемуазель Элиз! Мадам Пероке!

Две другие продавальщицы тотчас же откликнулись на ее призыв и вопросительно остановились. Первая продавальщица тотчас же поманила их. Они подошли и, встав перед Глафирой Семеновной в позу манекенов, начали вертеться.

— Выбирайте только фасон, мадам... Этот или вот этот, — продолжала по-французски первая продавальщица, указывая на двух других продавальщиц. — А вот и третий фасон, — прибавила она и сама медленно повернулась, показывая бока, зад и перед своего платья.

Глафира Семеновна поняла, что ей сказали по-французски, но не решалась указать на фасон.

— И сет бьен, и сет бьен... — отвечала она. — Сет оси бьен... Иль фо регарде труга фасон².

— Tout de suite, Madame... Voulez-vous vous asseoir... C'est Monsieur votre mari?³ — указала она на Николая Ивановича.

— Вуй, мари.

Продавальщица предложила стул и Николаю Ивановичу.

— Prenez place, Monsieur⁴... — Придется вам подождать довольно долго. Дамы вообще не скоро решаются на выбор костюмов. А чтобы вам не скучать, вот вам и сегодняшней номер «Фигаро». Пожалуйста.

— Мерси, — сказал Николай Иванович, грузно опустился на стул и, раскрыв поданный ему номер французской газеты, стал его рассматривать, делая вид, что он что-нибудь понимает.

Продавальщица между тем вытаскивала из витрин платья, показывала их и тарантила без умолку перед Глафирой Семеновной. Глафире Семеновне все что-то не нравилось.

¹ Я покажу вам, мадам, нечто необычайное (фр.).

² <И> это хорошо, <и> это хорошо. <...> Это тоже хорошо... Надо посмотреть три фасона (фр.).

³ Сю минуту, мадам... Присядьте, пожалуйста... Это ваш муж? (фр.)

⁴ Присядьте, месье... (фр.)

— Же ве с висюлечками... Компрене? ¹ С висюлечками... Гарни авек висюлечки...— старалась она объяснить продавальщице.— Абек же и пасмантри...

— О, мадам, да это нынче не носят!

— Нон, нон... Же вю о театр. И много много пасмантри. Боку...

— Мадемуазель Годен! — снова выкрикнула продавальщица четвертую толстенькую и невысокого роста продавальщицу и, указывая на ее платье Глафире Семеновне, прибавила по-французски: — Вот все, что позволяет последнее слово моды по части отделки стеклярусом. Фигура мадемуазель Годен также вполне подходит к вашей фигуре. У мадемуазель Годен такая же прелестная грудь, как у вас, такой же полный стан. Дать больше отделки с сутажем и стеклярусом, значило бы выступить из пределов моды и компрометировать фирму. Надо вам примерить вот это платье. *Voyons, Madame... Ayez la bonté de venir ici* ².

И продавальщица, перекинув на руку платье, пригласила Глафиру Семеновну за ширмы на примерку. Глафира Семеновна удалилась за ширмы вместе с продавальщицей, но продавальщица тотчас же выскочила оттуда и сказала Николаю Ивановичу:

— Монсье, можете придвинуться к ширмам и переговориваться с мадам, дабы не очень скучать в разлуке.

Сказано это было, разумеется, по-французски. Николай Иванович ничего не понял и удивленно выпучил на продавальщицу глаза. Та, видя, что он не понимает ее, стала приглашать жестами и даже поставила для него другой стул около ширм. Николай Иванович покрутил головой и пересел. Продавальщица между тем опять удалилась за ширмы и без умолку заговорила.

— Глаша! Понимаешь ли ты хоть капельку, что она стрекочет? — крикнул жене Николай Иванович.

— В том-то и дело, что очень мало понимаю, но чувствую, что она хочет напустить на меня туман.

— Ну, то-то... И мне кажется, что она тебе зубы заговаривает. Ты очень-то не поддавайся. Да вот еще что. Ведь это такой магазин, что здесь чего хочешь, того просишь. Тут всякие товары есть. Так ты спроси у ней, нельзя ли мне чего-нибудь выпить. Пить смерть хочется.

¹ Я хочу <...> ... Понимаете? (фр.)

² Пожалуйста, мадам. Извольте пройти сюда (фр.).

— Неловко, Николай Иванович,— слышалось из-за ширм.— Ну суди сам: как же в модном-то магазине?

— Да ведь здесь в отделениях вином торгуют. Правда, не распивочно, но все-таки торгуют. Так вот бы красненького бутылочку... Можно, я чай, это сделать для хорошего покупателя. Ведь мы не на грош купить пришли. Четвертаков-то этих французских ой-ой сколько отсчитаем! Так ты спроси.

— Язык не поворачивается. Помилуй, ведь здесь не выпивное заведение.

— Так что ж из этого? В Петербурге мне из парчового магазина за пивом посылали, когда рассчитывали, что я на сотню куплю.

— Потерпи немножко. Потом уж вдвое выпьешь. Я не буду препятствовать.

— Эх, тяжко! Наелись дома ветчины и сыру, и теперь во рту даже пена какая-то от жажды! — вздохнул Николай Иванович и, опять раскрыв номер газеты «Фигаро», уткнул в нее нос.

Д. С. Мережковский

КОНЕЦ ВЕКА

Очерки современного Парижа

I

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ПРИТЧА

О, что бы в будущем, предчувствием грозя,
Не ожидало нас,— несчастным быть нельзя
При солнце утреннем, весною, город вечный,
Когда теряешься в толпе твоей беспечной!
Посмотришь на бульвар, где каждый солнцу рад,
И распутившихся каштанов аромат
Вдохнешь, услышишь смех, и говор беззаботный,
И женское лицо с улыбкой мимолетной
Увидишь издали, и снова, жизнь любя,
Невольно радостным почувствуешь себя,
И горько вспоминать о северной отчизне...
Какой здесь блеск кругом, какая радость жизни!
Когда передо мной весельем ты гремишь,
На солнце утреннем сияющий Париж,

Я счастлив за тебя, и чуждого народа
Волнует душу мне и радует свобода.
Какая бы печаль ни мучила, грозя —
Здесь, в этом городе, несчастным быть нельзя.

Но поздно вечером в мой уголок безмолвный
Я с шумной улицы вернусь, раздумья полный.
Тогда Евангелие читаю в тишине,
Меж тем как из окна доносится ко мне,
Париж недремлющий, твой шум многоголосый.
Над книгой вечною забытые вопросы
Опять встают в душе: земная жизнь людей
Полна величия, но есть ли правда в ней?
Я постигаю вновь твой смысл необычайный,
О притча древняя, исполненная тайной:

На ниве богача был урожай хлебов.
Он думал: «Некуда собрать моих плодов.
Как приготовить дом к такому урожаю?
А вот что сделаю: все житницы сломаю.
Большие выстрою и соберу туда
Мой хлеб, мое добро, и я скажу тогда
Душе моей: душа! простишь навек с тревогой,
Покойся,— у тебя лежит имения много,
На годы многие: гони заботы прочь,
Ешь, пей и веселись!..» — «Безумец, в эту ночь
Отнимут жизнь твою! — сказал Господь.— Несчастный,
Кому достанутся твой дом и труд напрасный?»

Столица роскоши, на празднике твоём
Я вижу иногда рабочего с лицом,
Исполненным немой, загадочною думой,
Проходит он, как тень, безмолвный и угрюмый,
Со взором пристальным завистливых очей...
О, гость непрощенный на пире богачей,
Мне страшно при тебе за этот праздник вечный,
За легкую толпу, за смех ее беспечный,
За яркие кафе и величавый ряд
Твоих, о Новый Рим, блистательных громад!
Ты, как богач, сказал: «У нас имения много,
Ешь, пей и веселись!» И ты забыл про Бога.
Но скорбь великая растёт в душе у всех...
Надолго ль этот пир, надолго ль этот смех?
Каким путем, куда идешь ты, век железный?
Иль больше цели нет, и ты висишь над бездной?

II

GRILLE D'EGOUT¹

Сюда идет тайком скучающий любовник,
 Художник и турист, писатель и чиновник:
 «Garçon, un bok!»² И пьют, и курят за пять су,
 Любуются в монокль на томную красу
 Полуночных сильфид, внимая шансонетке,
 Где блещет стих порой, язвительный и меткий...
 Но вот, в дыму сигар, меж черных сюртуков,
 И тысячи зеркал, и газовых рожков,
 При звуках музыки и радостного гула,
 Она, воздушная, как бабочка, впорхнула.
 Тебя без жалости я вспомнить не могу,
 О бедное дитя Парижа «Grille d'Égout».
 Из кружев юбка, слой белил на шее голой
 И рыжий цвет волос поддельных, взор тяжелый
 И странное лицо, в котором жизни нет,
 Как маска, мертвое, похожее на бред...
 Меж тем, когда, смеясь, она в отваге бурной
 И ногу стройную высоко подняла,
 Наперекор всему — в ней грация была
 Демократической и уличной вакханки,
 В ней то, что «fin de siècle»³ назвали парижанки,
 В ней узнает толпа свою родную дочь.
 «Я нравлюсь, от меня вы не уйдете прочь!» —
 Так говорило всем ее лицо. — «Смотрите,
 Вот, что вы любите, и вот, чего хотите!»
 Почтенный господин, — вполне провинциал
 По скромному лицу, — смотрел на этот бал.
 К нему подпрыгнула она легко и смело,
 Красивой ножкою цилиндр его задела
 И шляпу сбросила: удерживая гнев,
 Он должен был принять обиду, покраснев.
 А взор у «Grille d'Égout» весельем детским блещет,
 И ей родной Париж в восторге рукоплещет!

¹ Здесь: проститутка (фр.).

² Гарсон, кружку пива! (фр.)

³ Конец века (фр.).

III

РЕНАН

Но в том же городе и в тот же скорбный век
В тиши работает великий человек:
Я вижу кабинет в спокойном полумраке
И древней надписи неведомые знаки;
Я вижу, как Ренан над грудой старых книг,
Обдумывая мысль заветную, поник
С улыбкой тонкою, скептической и нежной,
Над сказкою любви иль веры безмятежной;
За правдой гонится сквозь тьму времен и пыль
Сухих пергаментов; таинственная быль
По слову мудреца, поэзией пленяя.
Восстанет пред людьми из гроба, как живая.
И ветреный Париж откликнется на все:
Я знаю — он поймет открытие твое,
Ученый и поэт, — вы трудитесь не даром, —
Париж, где «Grille d'Egout» приветствовали с жаром...
Я против воли все готов ему простить
За то, что гениев умеет он любить!

IV

НОВОЕ ИСКУССТВО

Певец Америки, таинственный и нежный,
С тех пор, как прокричал твой Ворон безнадежный
Однажды полночью унылой: «nevermore»¹
Тот крик не умолкал в твоей душе; с тех пор
За Вороном твоим, за вестником печали
Поэты «nevermore», как эхо, повторяли;
И сумрачный Бодлер, тебе по музе брат;
На горестный напев откликнуться был рад;
Зловещей прелестью, как древняя Медуза,
Веселых парижан пугала эта муза.
Зато ее речей неотразимый яд,
Зато с цветов смертельный аромат
Надолго отравил больное поколение.
Толпа мечтателей признала в опьяненье
Тебя вождем, Бодлер... Романтиков былых
Отвага буйная напоминала в них...

¹ Никогда боле (англ.).

А все-таки порой завидуешь их воле:
Живут, работают на безграничном поле
И мыслят, и никто не может запретить,
Что хочется писать, что хочется любить.
Они — безбожники, философы, буддисты,
Ученики Золя, «толстовцы», пессимисты,
Там тысячи кружков, религий, партий, школ,
Там всякий думает, что истину нашел.
Не ведая преград, свободно ищет гений
И новой красоты, и новых откровений.
И человечеству художники свой труд
Во славу Франции дарить не устают.
Открыты все пути: не нужно лицемерить
И лгать перед толпой. Они дерзают верить
В наш прозаичный век, что святы их мечты,
Исканье истины и жажды красоты.
У них в созданиях, у них в душе — свобода:
Привет художникам великого народа!

V

САЛОН 1891 ГОДА

С такими думами по выставкам брожу,
На тысячи картин, на статуи гляжу.
Чтоб в будничный мирок мы глубже заглянули
Один, изобразив две медные кастрюли
Да пару луковиц, положенных на стол,
Новейший реализм до крайности довел,
А близ него другой, художник идеальный,
Стремится к прелести легенд первоначальной.
В картине сказочный туманный полусвет,
Деревья странные, каких в природе нет.
Назло теориям сухим и позитивным,
Он хочет быть простым, он хочет быть наивным.
А рядом в золоте распущенных кудрей,
С улыбкой дерзкою Венера наших дней,
Наемница любви — перед толпой раздета.
О Фрины модные, царицы полусвета, —
В ней ваша красота и ваш апофеоз!..
На той же выставке задумчивый Христос —
В скептической толпе, в гостях у Жюль Симона,
Меж современных лиц Парижского салона,
Печально говорит в картине у Бэро

Про вечную любовь, про вечное добро.
В искусстве наших дней ты побеждаешь снова,
О Галилеянин!.. На проповедь Толстого
Сердца откликнулись: повсюду лик Христа
В картинах, в мраморе. Пленяет красота
Его загадочной, простой и вечной книги:
Исканье жадное неведомых религий —
Опять в душе у всех. В наш скорбный, темный век,
Быть может, вновь к любви вернется человек
Для разрешения великого вопроса
О счастье на земле... На полотне Рошгросса
Твое падение, твой блеск изображен
В предсмертной оргии, о древний Вавилон!
Заря. Уж гости спят. Порой дыханье слышно
Иль бред. Разлитое вино на ткани пышной...
Курильниц гаснувших тяжелый аромат...
С холодным блеском дня багровый луч лампад
Смешался у рабынь на смуглой голой коже.
Вот пьяный жрец уснул с красавицей на ложе.
Усталость мертвая... желаний больше нет...
И эта оргия мучительна, как бред...
Не спит один лишь царь, и в ужасе на троне
Он видит там, вдали, пожар на небосклоне,
Он слышит грозные, тяжелые шаги
Мидийских воинов: «О горе нам!.. Враги!..»
Он молит, он грозит: никто ему не внемлет,
И золотой чертог в роскошной неге дремлет...
Имеющий глаза да видит! Опьянен
Величием Париж, как древний Вавилон,
О пусть войдут враги, прогонят сон похмелья,
С прекрасных тел сорвут цветы и ожерелья,
И разольют вино, и опрокинут стол!
Спи, спи, пока твой час последний не пришел!..
Безумцы, в ужасе проснетесь вы, и верьте,
Вам солнца первый луч подобен будет смерти.
Наш дряхлый век погиб. Заря и меч врагов
Разгонит оргию наложниц и рабов...
Но дух людей — велик, но гений — бесконечен:
Париж, воскреснув вновь, как солнце, будет вечен!

VI

*LIBERTE, FRATERNITE, EGALITE*¹

В наш век практический условна даже честь:
В «Gil Blas'e»², например, вы можете прочесть
Рекламы каждый день о молодой девице
Иль о скучающей вдове на той странице,
Где о наеме дач вы только что прочли:
«J'ai dix-neuf ans, je suis bien faite
Bien faite et très jolie»³.
Всем предлагает дар она любви свободной,
Кто заплатить готов ее портнике модной.
Меж тысячей карет я вижу там, вдали,
На шумной улице идет старик в пыли,
С рекламой на спине, по мостовой горячей.
Он служит для толпы афишею ходячей.
На старческом лице ни мысли, ни души.
Он ходит так всю жизнь за бедные гроши,
Чтобы прочесть о том в блистательной рекламе
Известье важное удобно было даме,
Что можно в «Bon marché»⁴ купить за пустяки
Для ножек розовых ажурные чулки.
А над красавицей и над живой афишей,
На мраморной доске, над выступом иль нишей,
Я громкие слова читаю: Liberté,
Egalité — и звук пустой — Fraternité.
На сцене крохотной актер в кафешантане,
Кривлялся пред толпой в бессмысленном канкане,
Плешивый, худенький, в истертый фрак одет,
Он хриплым голосом выкрикивал куплет.
Я слышал смех в толпе, но ничего смешного
Не находил в чертах лица его большого...
Бывало, в темный век, когда в России кнут
Свистел над спинами рабов, дворовый шут
Смешил господ и дам, скучающих в беседе,
О сплетнях городских, на праздничном обеде:
Такой же раб толпы в наш просвещенный век
В свободном городе — свободный человек!..
Когда, подняв свой меч, склонялся гладиатор

¹ Свобода, братство, равенство (фр.).

² «Жиль Блазе» (фр.).

³ Мне девятнадцать лет, я хорошо сложена и очень красива (фр.).

⁴ Магазин дешевой распродажи (фр.).

Над раненым бойцом и ждал, чтоб император
Рукою подал знак к убийству, и нога
Стояла на груди упавшего врага,
И крови требовал народ с восторгом диким,—
Ты все же, древний Рим, был грозным и великим.
Но к этим зрелищам мы не вернемся вновь,
И, Боже нас храни, пролить людскую кровь:
Нам только нравятся невинные забавы.
Мы не язычники, давно смягчились нравы...
А все-таки шутов мы любим, и у всех
Сегодняшний актер недаром вызвал смех.
В жестокости толпы уж больше нет величья,—
За то соблюдены законы и приличья!

VII

ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ

О древний Лувр, под сень безмолвную твою
От шумной улицы я уходить люблю.
Не все ли мне равно — Мадонна иль Венера,—
Но вера в идеал — единственная вера,
От общей гибели оставшаяся нам,
Она — последний Бог, она — последний храм!
К тебе, Милосская богиня, крик народа
Порою долетал: «Да здравствует свобода!»
И Марсельезою Париж был опьянен.
За волю всех рабов, за счастье всех племен,
В дыму под градом пуль, с надеждою во взглядах
Толпа бежала смерть встречать на баррикадах.
Но с ликом мраморным богиня красоты,
Страдающих людей не видя с высоты,
Смотрела молча вдаль холодными очами.
Неумолимая! как ты царишь над нами —
Царить во все века ты будешь над людьми.
О, преклони свой взор на гибнущих, пойми,
Как мы страдаем!.. Нет, не видит и не слышит
И только вечною красой улыбка дышит.
Венера, с гибелью у ног твоих мирюсь,
Когда тебя люблю, когда тебе молюсь,
И в лике мраморном я вечность созерцаю,
Благословляю жизнь и смерть благословляю!..
Но вдруг мои мечты внезапный шум прервал,

И с говором вошла толпа туристов в зал.
Рыжеволосая, худая, в пестром пледе,
Свой красный Бэдекер под мышкой держит леди.
Бог ведает, зачем они сюда пришли.
Чрез горы и моря во все концы земли
Из Англии родной туристов гонит скука.
За двести шиллингов везут агенты Кука
Показывать по всем столичным городам
Им каждый памятник, развалину иль храм.
От этих англичан, кочующих и праздных,
Сидельцев лондонских и леди безобразных,—
Нигде спасенья нет! И здесь у ног твоих,
Киприда вечная, гляжу с тоской на них...
Вы цените красу и гений безграничный
На фунты стерлингов в наш век демократичный.
Работать, к вечному стремиться?.. Но зачем?..
Он все-таки придет и овладеет всем,
Не зная наших жертв, не помня наших стонов,
Банкир или купец, владыка миллионов...
Так думал я в тоске мучительной...

Но ты,

Ты все по-прежнему богиня красоты,
Смотрела, молча, вдаль, не видя нас, над нами,
Как небо ясными, холодными очами...
Быть может, видела ты новый, лучший век,
Те дни, когда к тебе вернется человек,
Когда ты будешь вновь царицею вселенной,
Красой подобная природе неизменной!

VIII

БУЛЬВАРЫ ВЕЧЕРОМ

По душным улицам я вечером иду,
Смотрю на первую далекую звезду,
Мою любимую, в темнеющей лазури.
Кричат газетчики: «Le Soir!»¹ Подобен буре
Парижа вечный гул... В театрах на крыльцо
Выходят подышать прохладой, но в лицо
Проходим веет зной... Еще асфальт бульвара
Во мраке не остыл от солнечного жара.
Волною мягкою струится бледный свет

¹ Название парижской вечерней газеты.

От электричества на тысячи карет,
На темную листву, на пестрые рекламы.
И как чертоги фей, как сказочные храмы,
Блестят кафе, где пьют и смотрят на бульвар,
И столиками весь широкий тротуар
Уставлен... С фонарем зеленым, в туче пыли,
Со скачек праздничных на приз в Арменонвилле,
Как целый дом, толпой разряженной набит,
Огромный омнибус по улице гремит.
В «Café Ambassadeurs»¹, в пылающей рекламе
Из газовых рожков, начертано огнями
Над морем черных шляп и любопытных лиц
«Ivette Guilbert» — одной из уличных певиц
Название модное. За Аркой Триумфальной
Над Елисейскими Полями свет печальный
Зари давно померк, и лишь последний луч
Чуть брезжит вдалеке из-за ненастных туч,
Над потемневшими громадами столицы
Сверкают и дрожат вечерние зарницы.
Как башня Эйфеля воздушна и легка!
Я вижу, сквозь нее мелькают облака,
И светит бледный луч на горизонте мрачном,
В узоре проволок туманном и прозрачном,
Как будто там, вдали, вдали, меж облаков
Уже глядит на нас, печален и суров,
Двадцатый век... Чего он хочет, что он скажет,
Какую веру даст, какой нам путь укажет?
Не знаю, почему, но в этот душный зной,
Во мраке, окружен бесчисленной толпой,
Бегущей, как поток, волною говорливой
За наслажденьями, за властью и наживой,
Я вспомнил о тебе, родимая земля,
Я вспомнил тихие, унылые поля
И с белой церковью убогое селенье.
Прохладу на заре и жаворонков пенье.
Я вспомнил пахаря знакомые черты,
Смиренья полные и детской доброты.
Играет ветерок седыми волосами.
Как древний патриарх, один под небесами.
За плугом он идет с лошадкой своей,
Потерянный в немой безбрежности полей.
Какая дума в нем, какая сила дремлет?

¹ Кафе Посланников (фр.).

Меня предчувствие великого объемлет
В столице мира, здесь, где скорбный, дряхлый век
Кончает дни свои среди роскошных нег...
Когда проснешься ты, о труженик суровый,
.
Кто снимет с уст твоих безмолвия печать?..
.

IX

ПЕТЕРБУРГ

Но как ни тяжело, мы все-таки в Париже —
К чему-то светлому и радостному ближе:
Здесь легче дышится, здесь люди ценят труд.
Участвуют в борьбе, страдают и живут.
А там, у нас... Ужель, я возвращусь в холодный,
Туманный Петербург, где в болтовне бесплодной
И консерваторы, и либералы — все
Мы только кружимся, как белка в колесе?
Журфикс чиновников, томительный и длинный,
О симфоническом собрании в гостиной
За чаем разговор интеллигентных дам,
С бесцельной клеветой и сплетней пополам:
Бежал в Америку кассир провинциальный...
Известье, что один профессор либеральный,
Почтенный старичок со службы удален.
Потом история двух разведенных жен, —
И гости, наконец, все темы истожили...
Что делать?.. Тишина немая, — как в могиле...
Но слава Богу: вон — желанный миг, — повел
Хозяин в кабинет, где ожидает стол
С колодой карт, и все опять — в родной стихии:
Винт — современный бог скучающей России!
Какой огонь в очах, какой восторг у всех.
Как вспыхнул разговор, и шуточки, и смех!..
И старый генерал, и робкая девица,
Все полы, возрасты, характеры и лица,
Все убеждения сливаются в одном
Порыве искреннем за карточным столом.
В игре убита ночь, а на рассвете нужен
Усталым игрокам для подкрепленья ужин.
Теперь у них в душе — такая пустота,
Что, право, ни одна греховная мечта,

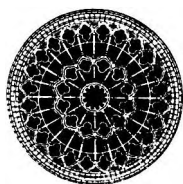
Вольнолюбивая, к ним залететь не может:
Печаль за родину их сна не потревожит.
И мнится, в городе все вымерло навек,
И только падает в тумане мокрый снег.
По грязным улицам, по мертвому безлюдью
Порой со шпорами и с выпяченной грудью
На охтенский пожар промчится брандмайор,
Вперив в немую даль начальнический взор...
Тоска!.. Ужель опять вернусь в твоё болото,
О, Петербург, о, жизнь, объятая дремотой,
Как в лужах мертвая стоячая вода,—
Без воли, без любви, без мысли, без труда!

Х

РОДИНА

.
.
.
.

И все-таки тебя, родная, на чужбине
Люблю, как никогда я не любил доньне.
Я только здесь, народ, в чужой земле постиг,
Как, несмотря на все, ты — молод и велик,—
Когда припоминал я Волгу, степь немую
И песен Пушкина мелодию родную,
И вековых лесов величественный шум,
И тихую печаль малороссийских дум.
Я перед будущим твоим благоговею
И все-таки горжусь я родиной моею.
За все страдания еще сильнее любя,
Что б ни было, о Русь, я верую в тебя!



*Можно рассмотреть
улицу, как
солнечные
часы, и
тогда жизнь
Парижа
размеряется
по тени
домов,
деревьев и
конного
полицей-
ского,
смиряю-
щего
горячие
экипажи.*

**Пьер
Мак-Орлан.**
«Посредники
и улица»



ПАРИЖ

в XX веке



Гийом Аполлинер

МОСТ МИРАБО

*Сена течет под мостом Мирабо мимоходом
Наша любовь течет
Надо ль мириться с печальным исходом
Помнить что радость приходит на смену невзгодам*

*Ночь приходи здесь тебя ждут
Дни уходят а я все тут*

*Руки сомкнем прояснятся усталые лица
И над рекой возведем
Мост наших рук Под него устремится
Взглядов немеркнувших медленных волн вереница*

*Ночь приходи здесь тебя ждут
Дни уходят а я все тут*

*Прочь устремится любовь за водою текучей
Прочь устремится любовь
Вяло течение жизни тягучей
Яростны в сердце удары надежды живучей*

*Ночь приходи здесь тебя ждут
Дни уходят а я все тут*

*Дни проплывают и год проплывает за годом
Канувшим дням и любви
Вспять не вернуться как льющимся водам
Сена течет под мостом Мирабо мимоходом*

*Ночь приходи здесь тебя ждут
Дни уходят а я все тут*

Перевод А. Парина

Франсуа Коппе

ПАРИЖ ЛЕТОМ

Париж летом! Да он просто восхитителен!

Для прогулок я выбираю не элегантные и роскошные кварталы. В это время они безлюдны, и гуляющему по широким улицам и бульварам становится грустно: есть что-то зловещее в закрытых дверях и ставнях многоэтажных домов, в деревьях, слишком рано потерявших листву.

Поливальщику, тянущему за собой кишку на колесиках, едва удается посеять немного прохлады. В эти тяжелые дни летнего зноя, когда подошвы редких прохожих отпечатываются на размягченном асфальте, когда в раскаленном добела небе застыло зачумленное солнце, когда все дома закрыты и пусты, создается впечатление, что город проклят, что там свирепствует какая-то эпидемия и все жители покинули его, боясь заразиться.

Нет, я избегаю монументальной уединенности *шикарных* кварталов. Наоборот, я иду туда, где весь год снуют толпа, — в промышленные и торговые центры, в густонаселенные предместья. Конечно, на этих плебейских улицах вода в ручье вовсе не духи, а многие лавочки, особенно мясные, довольно сильно пахнут. Но я не жеманница, которая каждую минуту вытаскивает свой флакончик с нюхательной солью, и я искренне радуюсь, оказавшись к вечеру, после окончания рабочего дня в предместье — радуюсь оттого, что вижу рабочий люд в то короткое время года, когда он не так несчастлив.

Ну вот, уже не так жарко. Наконец-то! Заходящее солнце освещает только крыши, и на узкой улочке потихоньку становится прохладней. Ну что ж, останемся и будем как у себя дома. В июле ни к чему фланелевые и вязаные вещи, не правда ли? Многие мужчины — без пиджаков, а женщины — в нижнем белье. Только домой приходят, пожалуй, гораздо раньше, а народу в местном кабаке — несмотря на то, что всем очень хочется пить, — по-моему, меньше, чем зимой. Воздух здесь, конечно, не такой чистый, как на вершине Риги или на пирсах Трувиля. Но, ей-богу, это неважно, когда ты на улице: поспев-

шие плоды — вишни или сливы — источают аромат с прилавка торговли фруктами и с ручных тележек; нет, все-таки что это за чудесное время! Что за гомон! Что за брожение! У всех подъездов сидят и болтают кумушки. Высокие парни со смехом выходят из табачной лавки и дружески хлопают друг друга по плечу. Девушки с непокрытой головой — о, как они, должно быть, затягивали тиковый корсет сегодня утром — быстро идут по трое, обнявшись; а на мостовой, где играют дети, тяжелый омнибус, который, несмотря на то, что еще светло, уже зажег свои красные глаза, потечески замедляет ход, чтобы не наехать на малышей.

Окунуться в толпу прекрасным теплым вечером — навсегда останется одной из самых любимых моих привычек. Как часто я бывал поражен выражением усталости и пресыщенности на лицах сильных мира сего, живущих в роскоши и удовольствиях! В народе, по крайней мере, я никогда не видел таких сытых мин, и для меня нет ничего приятней, чем смотреть на бедняков в те часы, когда не так сильно давит на них нищета и они забывают о ней, когда они в полной мере могут воспользоваться крохами благополучия и отдыха.

Впрочем, не всегда есть настроение погружаться в толпу, иногда лучше спокойно пройтись. По летнему Парижу можно совершить изумительные прогулки.

Я, разумеется, предпочитаю гулять по набережным. Прежде всего, нигде в мире нет таких нескончаемых прекрасных и благородных видов города, такой восхитительной панорамы дворцов и памятников. К тому же в этом исключительном месте воздух населен величественными тенями прошлого. Мне не терпится вновь увидеть эти красоты и, если можно так выразиться, подышать историей Франции. Но не только этим привлекают меня набережные Сены: здесь я собираю материал для очень серьезной работы о букинистах и удильщиках рыбы.

В ходе исследования выяснилось следующее: эти два вида маньяков — впрочем, вполне безобидных и очень мне симпатичных — связаны друг с другом тайными узами. Рыболов не знает букиниста, и наоборот. Один сидит на низком парапете, свесив ноги, в то время как другой не спеша идет вдоль набережной, часто и подолгу останавливаясь перед ящиками с книгами. Они никогда не встретятся и не поделятся своими мыслями. Кто знает, может быть, они презирают друг друга или кажутся друг другу смешными.

ми. Но все-таки у них одна и та же страсть, оба наделены терпением, близким к упрямству, их надежды одинаково нелепы и призрачны. Букинист превратится в дряхлого старика, прежде чем в ящике с дешевыми книгами найдет Эльзевира и Альдину, которых он разыскивает с юных лет; у рыбака поседеют волосы и выпадут зубы, прежде чем он выловит невероятного окуня или потрясающую щуку — предел мечтаний всей его жизни. И, ни разу не проявив ни малейшего разочарования, один будет упорно рыться в ящиках, второй — макать удочку в воду, и в обоих будет гореть безумное желание обнаружить редчайший, но не представляющий никакой ценности экземпляр, или поймать полдюжины совершенно несъедобной мелочи.

Не смейтесь над этими славными людьми, особенно вы, влюбленные, потому что для вас они являются примером (как вы знаете, редким) неутомимой надежды и неугасающей страсти.

ПОГОЖЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Пойдемте посмотрим на народ. Он тут неподалеку. Я ведь живу в предместье. Одна из самых моих любимых привычек — погрузиться в толпу простого люда. Оттуда я вынес немало сказок и стихов. Как раз сегодня мне просто необходимо увидеть их честные лица, услышать мимоходом какие-нибудь незатейливые разговоры. А все потому, что вчера я посетил светское общество. Некий поэт-символист читал тринадцатисложные стихи без цезуры, которые должны были «создать образ» женщины, играющей на скрипке в лунном свете, но при этом слова «женщина», «луна» и «скрипка» не произносятся, в чем и состоит основной замысел. В довершение всего, одна хорошенькая морфинистка, за которой я немного ухаживал, приговорила меня к «полезной и оздоровительной» попытке переливания из пустого в порожнее в течение часа. Сбежав с этого «праздника интеллекта и страстей», я так нуждался в естественности и простоте, что — честное слово — с удовольствием сыграл бы за стойкой партию в рулетку с рабочим, рассказавшим бы мне про свое житье-бытье. Пойдемте посмотрим на народ. Искупаемся в правде. Сегодня воскресенье, погода хорошая. Побродим в рабочем квартале.

Здравствуй, солнце! Цветите, женщины! В этом году святой Мартин нас балует. Его запоздалая золотая осень теперь в разгаре, и принаряженная толпа блестит и сверкает в умиротворенном лучистом вечере. На углу теплый запах жареных каштанов смешивается со свежим ароматом букетика фиалок за 2 су; маленькая ручная тележка, катящаяся по тротуару, полна охапок хризантем — этого цветущего прощания с поздней осенью. В воздухе витает веселье. Высокие дома золотятся в лучах света. Весь мелкий люд прихорашивается, и даже голубое небо как будто побрилось.

Осторожно! Тройка лошадей, запряженных в омнибус, перерезала строй приютских девочек, направляющихся к вечерне. И вот уже две испуганные монахини приводят в порядок детскую процессию, и большие белые чепцы хлопают на ветру среди маленьких синих колпачков. Поторопитесь, дети мои! Я слышу, что откуда-то сверху, возвышаясь над уличным шумом, рокошет большой приходской колокол.

В предместье явно праздничное настроение. У порога торговца вином тротуар замусорен кучей ракушек от устриц, а у кондитера нуга и бисквитные торты украшены бумажными розами в честь соответствующего святого. Ювелир тоже оставил свою лавку открытой — хитрец! — и гуляющие часто останавливаются, зачарованные сверкающей витриной. Держу пари, что эти жалкие вчерашние новобрачные — женщина в колпаке и мужчина в рединготе — хотят что-то добавить в свое небольшое хозяйство, и что они выберут вот эти часы, цинковые, покрытые медью часы с маятником в виде Эйфелевой башни.

А вы, маленькие подружки, в таких ладных дешевых «готовых платьях», — будьте осторожны. Я заметил, как разгорелись ваши глаза перед связками брелоков и разложенными висячими сережками.

Но я ошибся. У этих модисток просто наивный взгляд. Уверен, что они еще живут с папой и мамой. Конечно, парижанки — это не просто так, они хотят нравиться и умеют одеваться. Ведь вам льстит, барышни, что молодые люди на вас оглядываются, а если какой-нибудь насмешливый работяга скажет достаточно громко, чтобы вы услышали: «Хорошенькие девочки, черт возьми!» — признайтесь, что вы на него не рассердитесь. Но вы все-таки благоразумны. Эти немного вызывающие шляпки — вы их сами смастерили своими проворными ручками; а эти два прелестных

розовых перышка? — признайтесь, вы ведь купили их в оптовом магазине на улице Кэр, чтобы сэкономить. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы вам чуть-чуть помечтать перед лавкой здешнего ювелира. Тем более в вашем возрасте. Надеюсь, что однажды утром ваши возлюбленные купят вам здесь обручальные кольца.

Милые парижские девочки! Чудесное выражение «*déjeuner de soleil*»¹ как будто придумано для вас. Сегодня они одеваются со вкусом и удивительным изяществом, что делает их настоящими дамами. Но это длится одну, две, в крайнем случае, три весны. А на следующий день они выйдут замуж за какого-нибудь грубого рабочего. У них будет миллион забот, они будут воспитывать детей и почти все время терпеть нужду. И это утонченное создание, наделенное природной деликатностью, я бы даже сказал, аристократизмом, — через несколько лет превратится в домохозяйку в нижнем белье, которую муж будет звать «буржуазкой». Я знаю — это судьба. Но я не могу без сожаления и нежности смотреть вслед бедным девочкам, чья юность столь коротка.

Вот так я хожу по улицам, мечтая и философствуя. Мне все нравится, мне все интересно: и двое пехотинцев в красных брюках, с ребяческими лицами сельских жителей; и прогуливающееся семейство буржуа; и мать, везущая ребенка в коляске. Во всех этих знакомых и занятных сценках я узнаю дорогой мне парижский люд, такой трогательный и привычно любезный. Никогда — с тех пор, как несколько лет тому назад вернулся из путешествия по Германии — я не был настолько покорен врожденной галантностью и истинно латинской грациозностью парижских жителей. Я вновь ощутил то прежнее приятное удивление, когда после двух месяцев, проведенных среди тевтонок с тяжелыми бедрами, первый попавшийся прохожий — рабочий, несущий на плече сумку с инструментами, — показался мне дворянином по сравнению с ними. Я был очень рад увидеть их, моих милых парижан, которые вкушали честно заработанный отдых и дозволенные радости в этот ясный воскресный день, и вместе с ними я набирался сил, окруженный умиротворенностью, спокойствием и радостью.

¹ Блеклый цвет; дословно: солнышкин обед (фр.).

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Изредка я наслаждаюсь почти пустынным и немного грустным Парижем конца сентября, когда с мостов видны прекрасные закаты солнца и когда в парках осенний ветер кружит в вальсе опавшие листья. Для тех, кто относится к статистической категории «нестабильного населения», для тех, кто считает нашу столицу только деловым центром и нехорошим местом, — такого Парижа не существует. Но я — чистокровный парижанин, родившийся в Париже от родителей-парижан и воспитанный в Париже; по его мостовым рассеяны мои мечты, и там же я собираю мои воспоминания. Я люблю Париж не только за то, что он самый прекрасный в мире город, он еще и мой любимый родной уголок, и мне нравится отмечать для себя его многообразие, как любовник, который помнит каждую черточку меняющегося со временем лица своей возлюбленной.

Сегодня я восхищаюсь Парижем, окунувшимся в прозрачный свет и свежий осенний воздух. Поздней осенью небо, по которому в пять часов вечера плывут архипелаги желто-розовых облаков, окрашено изумительным цветом, а старые памятники становятся в это время серовато-розовыми, что очень понравилось бы Каналетто. Никто никогда в полной мере не воздаст должное красоте Парижа.

Париж — это кокетка, уже в преклонном возрасте, но всегда молодая. Сейчас он по-зимнему прихорашивается. Здесь занимаются побелкой дома, там заново мостят бульвар. Оставим его в покое и укротим свое нетерпение, когда подручный каменщика с рейкой в руках делает знак, чтобы мы проходили мимо, или когда наш фиакр вынужден плестись в очереди на какой-нибудь запруженной улице. Впрочем, подобные «запреты» имеют силу только в центре города, а там как раз неинтересно смотреть на осенний Париж — для этого нужны его предместья, укромные уголки, отдаленные улочки. Вот тогда действительно можно насладиться маленькими радостями уличного зеваки, порываться у букинистов на набережной, покататься на речном трамвайчике, понаблюдать, как детишки играют в песок на Королевской площади и как краснеет дикий виноград в Ботаническом саду. Отправляйтесь в путешествие и вы узнаете бесхитростный и простодушный Париж, где царят умиротворенность и душевная поэтичность провинции.

Однажды на улице Сен-Пласид, в двух шагах от Бон-

Марше, где было очень шумно и много народа — совсем как на Бродвее или на Кэнон-Стрит, я остановился перед округлой, открытой настежь дверью, через которую была видна мастерская кузнеца.

Прелестная фламандская картинка! В крошечной темноте кузницы — только две светлые точки: покатый круп большой белой лошади и красная подкова на наковальне, на которой при каждом ударе звонко подпрыгивал молот подмастерья. Доносился сильный запах раскаленного железа и паленого копыта. И — восхитительная подробность! — с окошка, откуда падал солнечный луч, на темном фоне свисала излучающая свет целая гроздь настурций, покрытая ярко-оранжевыми цветами.

Можно было бы подумать, что ты находишься в самой что ни на есть заброшенной деревне, но тем не менее в двадцати метрах на углу улицы Севр контролер омнибуса надрывно кричал монотонным голосом: «Приехали, «Сен-Лазар!» Раз... два... три... Никто не выходит?»

* * *

В то утро я пошел к моему парикмахеру, поскольку, среди прочих моих недостатков, я не могу побриться без того, чтобы не покрыть лицо абсолютно бесславными шрамами, и я вынужден обращаться за помощью к местному Фигаро, который живет рядом с моим домом.

Пока этот почтенный мастер тщательно меня брил, зажав мой нос большим и указательным пальцами, я развлекался тем, что в зеркало, висящее напротив моего кресла, наблюдал за тем, что происходило в помещении, где я находился. Салон был узкий и скромно обставленный, но очень чистый; небольшая чугунная печка, где разогревались щипцы для завивки, поддерживала ровную температуру. За кассой, между стопкой салфеток, которые она подшивала, и банкой с кусочками мыла сидела хозяйка. Это была вполне пикантная брюнетка с целомудренно рассчитанными на прямой пробор волосами; перед ней на мраморной доске лежал краткий курс истории Франции для начальной школы в вопросах и ответах, и она, не отрываясь от шитья, спрашивала стоящего около нее сынишку, который не медля отвечал на непрерывные вопросы:

«В каком году этот государь вззошел на престол?»

Или:

«Что произошло потом?»

А отец, улыбаясь, деликатно прохаживался бритвой по моему кадыку или около уха, довольный и гордый сообразительностью и памятью своего мальчика. Все в этой скромной парикмахерской дышало неколебимым покоем. У ученика — мне не хотелось бы называть его приказчиком — вероятно, был отпуск, потому что ничто не указывало на его присутствие, кроме копилки, на которой был нарисован букет анютиных глазок и над ними буква «У» — классический ребус, означающий «Помните об этом»¹. Перед стулом стояла болванка на длинном шесте с надетым на нее незаконченным париком; на стуле валялся брошенный номер «Пти Журналь», слегка запачканный помадой. Наконец, самые незначительные детали этой картины, которую могла бы запечатлеть кисть голландского мастера-реалиста, выражали спокойствие, тишину и бездействие буднего дня в парикмахерской.

Я наслаждался ощущением блаженного покоя и безмятежностью, и, пока мне в голову втирали хинную воду — прекрасное средство, которое спасает меня от грозящей лысины, — я с любопытством читал висящее в черной деревянной раме между цветной рекламой Гигиенической Парфюмерии и портретом Леона Гамбетты свидетельство об образцовом поведении, выданное хозяину заведения по окончании службы в третьем гвардейском пехотном полку; но вдруг я вспомнил, как иногда выглядит эта же самая парикмахерская в воскресное утро, когда все предместье идет бриться.

Что за спешка! что за шум! что за движение! Три клиента все время сидят на стульях с подвижными спинками; поскольку в этот день работают не только мастер с учеником, к ним присоединяется еще третий парень, солдат из соседней казармы, умеющий «классно» стричь и который, повесив на вешалку кепи и китель, в красных брюках, в синем галстукe по уставу и вязаном жилете, фехтует бритвой. Хозяйка и мальчик занимаются тем, что моют раковины, потому что нельзя терять ни минуты. Десять человек из этого же предместья ждут своей очереди, усевшись на всех стульях, имеющихсЯ в заведении, заросшие страшной недельной бородой, полной железной стружки и угольной пыли; у многих между колен стоит малыш, которого на-

¹ «Pensez-y» — помните об этом (*фр.*): «Pensées» — анютины глазки и «pensez» — думайте, помните — омонимы.

до остричь наголо. О! Еще одного клиента быстро выпроводили.

«Господа, чья очередь? — все время кричит хозяин; он вынужден отказываться от стаканчика вина, любезно предлагаемого свежевыбритым посетителем, который, уходя, вежливо произносит:

«Ну, ладно, тогда в другой раз».

Колокольчик у стеклянной двери звонит каждую минуту, и белая мыльная пена растет на черных грубых лицах, и в густых шевелюрах с остервенением щелкают ножницы, и разговор переходит на общие темы, все комментируют последний номер «Интрансижан», и хозяйка суетится, дает сдачу, невразумительно обещает вновь прибывшему, что «сейчас его очередь», и спрашивает, как поживает его «половина», и время от времени она подметает седые, черные и рыжие пряди, смешавшиеся на полу с раскиданным песком. Тяжелый денек! Будьте уверены, еще не скоро будет подано рагу с чесноком, которое тушится в подсобном помещении, и не скоро эти славные люди будут иметь право облегченно вздохнуть, садясь за стол, чтобы в четыре часа наконец пообедать.

Альфред Жарри

РИМ В ПАРИЖЕ

Так называлось — а быть может, и называется, если еще существует, — некое зрелище в одном из пассажей на бульварах, вполне сравнимое со стереоскопическими картинками, с которыми разъезжают по деревням ярмарочные балаганщики. Отнюдь не живое представление живых картин, за традиционной штопаной марлей, именовалось, например, «Мессалина», хотя сам г-н Беранже мог бы подписаться под ним без ущерба для своего целомудрия. Особый восторг вызвала у нас картина, где пещерный художник из соображений похвальной, но не вполне уместной экономии изобразил колесницы, запряженные каждая не более чем *парой* лошадей, при том что надпись гласила: «Цирк с квадригами».

ТИР В ПАРИЖЕ

Многие газеты писали, опираясь на недостоверные источники, о так называемой «Шаронской вендетте», якобы происходившей из-за молодой особы по прозвищу Золотая каска.

Мы не можем поступиться любовью к истине и не восстановить, располагая исчерпывающей информацией, подлинную картину событий.

Газетчикам, конечно, случается принимать географические названия за имена политических деятелей, но для последней их грубейшей ошибки мы не можем найти оправдания. «Золотая каска» — широко известный чемпионат, спортивные соревнования типа «Золотой чаши», с той только разницей, что «Золотая чаша» — это велосипедная гонка, а «Золотая каска» — нечто вроде турнира на ножах и револьверах.

По настоятельной просьбе обществ трезвости, вместо традиционного кубка — прискорбного поощрения бражничества, — призом турнира стала молодая женщина, избранная на эту роль за свою красоту и редкий оттенок отливающих золотом волос.

В этом году за первое место боролись клубы Бельвиля и Шарона, капитанами команд были соответственно профессионалы Мандат и Лекка. Последний просит нас особо отметить, что его не следует путать с Лесна, знаменитым велогонщиком.

Результаты:

Тур первый. Его легко выиграл в Попинкуре Мандат, бывший уже к тому времени обладателем Золотой каски.

Тур второй. Встреча состоялась на улице Дээ Э, где Лекка, благодаря искусной тактике, в свою очередь удостоился желанной награды.

После «финала» Лекка остался непобежденным, но доблестная борьба за чемпионство истощила его силы. В настоящий момент он находится на излечении в больнице Тенон.

Полиция обеспечивала охрану порядка со свойственным ей тактом, и участники соревнований не были потревожены.

По просьбе читателей сопровождаем этот отчет небольшой справкой о стрельбе из револьвера в Париже.

Даже самого поверхностного наблюдателя не может не поразить сходство наших центральных проспектов —

да и прочих улиц — с тиром. Дома, предусмотрительно расположенные по обе стороны магистрали параллельно друг другу, не допускают отклонений пули, представляющих опасность для зрителей. Нижние этажи большинства зданий обшиты с этой целью листовым железом — по нему можно пристреливаться сколько угодно. Единственный, пожалуй, недостаток больших проспектов — это их чрезмерная ширина, ибо возникает риск промахнуться, узкая же улица служит как бы продолжением ствола и направляет пулю прямо к цели, словно при выстреле в упор. Впрочем, ни для кого не секрет, что широкие проспекты официально предназначены для занятия, которое мы бы назвали «боевой стрельбой на дому», когда армия или полиция находят, что пришла пора поупражняться в стрельбе из огнестрельного оружия, не покидая городских стен. Имея мишенью чаще всего толпу и выходя на стрельбище сомкнутыми рядами, стрелки имеют возможность отличиться, не слишком заботясь о точности прицела. Но такие тиры — монополия государства, и если частным лицам вздумается поупражняться здесь в меткости в интересах того звена национальной обороны, которое именуется самозащитой, они будут немедленно задержаны с применением насилия.

Скромный любитель найдет возможность удовлетворить свое пристрастие к баллистике, практикуясь в стрельбе из револьвера на безлюдных улицах, предпочтительнее всего ночью. Памятуя о небольшом перекосе при подаче патрона из барабана в ствол, на всякий случай советуем выбирать мишень не меньшего диаметра, чем человеческая голова. Обилие фонарей и их разумное размещение на парижских улицах чрезвычайно благоприятствуют этому виду спорта — судя по всему, предмету особой отеческой заботы муниципалитета. Совершенно очевидно, в самом деле, что, кроме стрельбы, ни для каких ночных занятий под открытым небом свет не нужен — будь то пешее передвижение, зигзагом или по прямой, кража со взломом, поэзия или преступление против нравственности.

Любители со слабым зрением, которым современное освещение может показаться чересчур ярким, имеют в своем распоряжении — стараниями предпринимателя-филантропа г-на Левана — масляные фонари с мягким светом, предносимым населению в деликатной, ненавязчивой форме. Кажется, будто изобретатель предоставил свои детища самим себе, и они располагаются, где им вздумается,

как светлячки. Например, они водятся в большом количестве на развалинах, и редко случается, чтобы на обломках снесенного дома не появились стихийно три-четыре особи, отлов коих не составляет труда.

Инспектор сыскной полиции Россиньоль пишет в своих мемуарах, что если вы подвергнетесь нападению или нападаете сами, то стрелять лучше всего дважды: сначала в живот противника, затем в воздух. Полиции, которая не замедлит явиться на этот условный сигнал, вы заявляете, что первый раз стреляли в воздух, а уж второй... когда иначе поступить не могли. Эти небольшие издержки фантазии укрепляют вашу репутацию порядочного человека.

Добавим от себя, что любитель, не имеющий необходимого опыта, может стрелять в живот сколько угодно раз, пока не убедится каким-то способом, что попал в цель. Ему достаточно будет впоследствии заявить, что все пули, за исключением одной, были выпущены в воздух.

Стоимость живой человеческой мишени — шестнадцать франков. В целях строгого соблюдения правил револьверы с длиной ствола менее четырнадцати сантиметров применять запрещается.

Приобретая абонемент на год, вы получаете право на неограниченное число мишеней за ту же сумму в шестнадцать франков, уплаченную вперед.

ОТКРЫТИЕ ПАРИЖА

Нам известно одно прекрасное дачное место, утаить которое от любителей природы и путешествий нам не позволяет совесть: это Париж.

Вы приобрели виллу в настоящей сельской местности, на самом краю обитаемых земель, у границы огромного пригорода, так далеко, что даже серые в яблоках лошади, доставляющие товары Бон-Марше, дальше не ходят.

Вы на целые сорок километров углубились в дачную глушь.

У вас имеется стеклянный шар, представляющий красоты пейзажа в увеличенном виде, — быть может, вы близоруки? — и каждое утро, в одиннадцать часов, на заре вашего дня, вы бреетесь перед ним, вознося хвалу Всевышнему за его благодеяния.

Правда, у вас нет цинковых деревьев. Между тем, ни одно растение не переносит жару так хорошо, и, даже

когда солнце накаляет их докрасна и добела, они остаются зелеными. Зато вы счастливый обладатель деревьев из папье-маше, которые, несомненно, являют собою новую ступень прогресса и шедевр ваяния.

Зеленщик приезжает дважды в неделю, по вторникам и четвергам.

Вы заказываете цветы из Ниццы.

Вас прельщает рыбная ловля. Вам хочется самому произвести на свет наживку, и для этого вы оставляете гнить баранью голову, которая воняет, как пятьсот тысяч чертей.

Драгоценные личинки сыплются оттуда в тиши и уединении, которые едва нарушают гудки автомобилей да оркестры пожарников по воскресеньям.

Однако вы ничего не поймали. Прямо перед вашим домом какие-то предприниматели поставили на широкую ногу добычу мотыля из ила. Жижа из коллектора досыта питает обитателей вод, несмотря на значительные потери, которые попадают в ваш сад и чуть ли не в вашу спальню.

Превосходное удобрение для вашей земли — с трудом оплаченной по франку за метр на «облегченных» условиях — поистине превосходное.

Что касается охоты, то о ней и сказать нечего. Соловьи с мая месяца не поют, а соседские куры попадают все реже и реже.

Друг мой, приходится констатировать — скажем мы не допускающим возражений тоном жандарма, — что вы несчастливы. Мы беремся сделать вас счастливым. Пожалуйста, не спорьте, выводите вашу технику, будь то велосипед или автомобиль, и следуйте за нами, а ваш долг обществу пусть заплатят колеса, обдав пылью покинутые вами места. Ничего, что вашим сокурортникам и соседям придется протереть свои стеклянные шары и хорошенько помыть металлические роши.

Вперед к лучшей даче!

Есть одно дачное место... было сказано вначале.

Взгляните с высот, совсем неопасных для спуска, — пусть это будет Вильжюиф или Дефанс, — взгляните на Париж.

Та железная штукovina, что первой бросилась вам в глаза, — это Эйфелева башня. Она как две капли воды похожа на металлические каркасы, которыми у нас на бульварах защищают платаны от слонов и сумчатых.

Последуйте за нами, кто бы вы ни были, велосипедист или автомобилист, и окупитесь в сердце города.

Тень высоких деревьев окутывает Елисейские поля и бульвар Сен-Жермен. Вода струится из шланга поливальщика, журча, как ручей.

Торговцы овощами предлагают вам со своих тележек, причем очень дешево, те самые фрукты, которые вы еще недавно за большие деньги развешивали, как на рождественской елке, на деревьях в своем саду.

Во множестве имеются иностранцы — интереснейший аттракцион. Иностранец с доставкой на дом! Никаких утомительных путешествий!

Но кое-кто нашел себе курорт получше, чем Париж.

Тереза Юмбер остается «в тени».

Эти набобы не отказывают себе решительно ни в чем. Следуйте их примеру.

КЛОНДАЙК В ПАРИЖЕ

СУДЬБА СТАРОЙ БРУСЧАТКИ

Мостовые в Париже ломают под любым предлогом: строительство метро, новых трамвайных линий, замена мостовой из песчаника на деревянную. Ломают и вне Парижа старую добрую мостовую его величества короля в лесу Фонтенбло — чтобы Touring-Club¹ получил свои щебеночные дороги... Куда же деваются все эти мостовые камни, на которые нападают целые муравейники рабочих и выворачивают их из земли с остервенением, достойным золотоискателей?

Мы и не подозревали, что, как вы сейчас увидите, попали в самую точку.

Городские власти сбывают их предпринимателям по умеренной цене шесть су за штуку.

Какие-то оригиналы покупают. Но для чего, боже правый?

Мы взяли интервью у одного из покупателей: им оказался почтенный рантье г-н Жозеф Донзе, проживающий в доме № 78 по бульвару Пор-Руаяль и носящий в своем квартале славное прозвище «мостильщик на дому».

¹ Клуб туризма (англ.).

Мы поднялись на шестой этаж, но едва отворилась дверь его небольшой квартирки, как нам сразу же захотелось незаметно исчезнуть: повсюду тигли, песты, горелки, ртуть, колбы с химическими веществами — словом, полный арсенал фальшивомонетчика.

Г-н Донзе успокоил нас, приветливо пригласив садиться:

— Нет, нет, милостивый государь, перед вами вовсе не фальшивомонетчик, напротив, я монетчик настоящий, точнее, монетчик в широком смысле, поставщик монетного металла, золотоискатель, обыкновенный золотоискатель.

И без околичностей объяснил:

— Да, да! Я добываю золото из старой брусчатки. Эта идея пришла мне в голову, когда я прочел в газете, что в Сене, как в Пактоле, имеется золото...

— ?..

— В микроскопических количествах, разумеется. Но вопрос в том, откуда оно берется? Очевидно, его выносит в реку вода сточных канав, куда оно попадает вместе с пылью мостовых, разрушающихся под ногами прохожих, копытами лошадей и колесами фиакров. Я не беру в расчет случайные самородки: например, краденые драгоценности, которые вор в минуту опасности бросает в канализацию. Значительное содержание золота в парижской уличной грязи подтверждается тем, что золото — самый скользкий из металлов: ведь, обратите внимание, велосипедистов сплошь и рядом заносит, они шлепаются на каждом углу...

Потом он показал нам свою лабораторию.

— Вот мои «амальгамационные столы», вот прибор для «цианирования». Я отказался от тяжелого песта, потому что из-за стука родилась эта дурацкая выдумка насчет «мостильщика на дому». Теперь я пользуюсь большой кофейной мельницей...

«Плантатор на дому», — с ходу отреагировали мы.

Г-н Донзе продолжал:

— Когда в Париже больше не останется брусчатки из песчаника — эти деревянные мостовые — настоящее бедствие! — я займусь цветочными горшками, поистине неведомым сокровищем Женни-работницы. Подозревает ли прохожий, которому один из этих бесценных сосудов падает на голову, что в нем содержится, помимо золота, еще и ванадий?..

— А эти камни, которые обходятся всего лишь в тридцать сантимов, сколько приносят вам приблизительно, за вычетом всех затрат и расходов на оборудование?

— Год на год не приходится, но, в общем, немало... Это настоящий Клондайк... Пожалуй, в среднем — сантимов пятнадцать.

В. Я. Брюсов

ПАРИЖ

И я к тебе пришел, о город многоликий,
К просторам площадей, в открытые дворцы;
Я полюбил твой шум, все уличные крики:
Напев газетчиков, бичи и бубенцы;
Я полюбил твой мир, как сон, многообразный
И вечно дышащий, мучительно живой...
Твоя стихия — жизнь, лишь в ней твои соблазны,
Ты на меня дохнул — и я навеки твой.
Порой казался мне ты беспощадно старым,
Но чаще ликовал, как резвое дитя,
В вечерний, тихий час по меркнувшим бульварам
Меж окон блещущих людской поток катя.
Сверкали фонари, окутанные пряжей
Каштанов царственных; бросали свой призыв
Огни ночных реклам; летели экипажи,
И рос, и бурно рос глухой людской прилив.
И эти тысячи и тысячи прохожих
Я признавал волной, текущей в новый век.
И жадно я следил течение вольных рек,
Сам — капелька на дне в их каменистых ложах,
А ты стоял во мгле — могучим, как судьба,
Колоссом, давящим бесчисленные рати...
Но не скудел пэан моих безумных братьев,
И Города с Людьми не падала борьба...
Когда же, утомлен виденьями и светом,
Искал приюта я — меня манил собор,
Давно прославленный торжественным поэтом...
Как сладко здесь мечтал мой воспаленный взор.
Как были сладки мне узорчатые стекла,
Розетки в вышине — сплетенья звезд и лиц.

За ними суета невольно гасла, блекла,
Пред вечностью душа распростиралась ниц...
Забыв напев псалмов и тихий стон органа,
Я видел только свет, святой калейдоскоп,
Лишь краски и цвета сияли из тумана...
Была иль будет жизнь? и колыбель? и гроб?
И начинал мираж вращаться вокруг, сменяя
Все краски радуги, все отблески огней.
И краски были мир. В глубоких безднах рая
Не эти ль образы, века, не утомляя,
Ласкают взор ликующих теней?
А там, за Сеной, был еще приют священный.
Кругообразный храм и в бездне саркофаг,
Где, отделен от всех, спит император пленный —
Суровый наш пророк и роковой наш враг!
Сквозь окна льется свет, то золотой, то синий,
Не яркий, слабый свет, таинственный, как мгла,
Прозрачным знаменем дрожит он над святыней,
Сливаясь с веяньем орлиного крыла!
Чем дальше здесь стоишь, тем все кругом безгласней,
Но в жуткой тишине растет беззвучный гром,
И оживает все, что было детской басней,
И с невозможностью стоишь к лицу лицом!
Он веком властвовал, как парусом матросы,
Он миллионам душ указывал их смерть;
И сжали вдруг его стеной тюрьмы утесы,
Как кровля, налегла расплавленная твердь.
Заснул он во дворце — и взор открыл в темнице,
И умер, и поняв, прошел ли страшный сон...
Иль он не миновал? ты гредишь, что в гробнице?
И вдруг войдешь сюда — с жезлом и в багрянице,—
И пред тобой падем — мы ниц, Наполеон!
И эти крайности! — все буйство жизни нашей,
Средневековый мир, величье страшных дней,—
Париж, ты съединил в своей священной чаше,
Готовя страшный яд из песен и идей!
Ты человечества — Мальстрем. Напрасно люди
Мечтают от твоих влияний ускользнуть!
Ты должен все смешать в чудовищном сосуде.
Блестит его резьба, незримо тает муть.
Ты властно всех берешь в зубчатые колеса,
И мелешь души всех, и веешь легкий прах,
А слезы вечности кропят его, как росы...
И ты стоишь, Париж, как мельница, в веках!

В тебе возможности, в тебе есть дух движенья,
Ты вольно окрылен, и вольных крыльев тень
Ложится и теперь на наши поколения,—
И стать великим днем здесь может каждый день.
Плотины баррикад вонзал ты смело в стены
И замыкал поток мятущихся времен,
И раздроблял его в красивых брызгах пены.
Он дальше убегал, разбит, преображен.
Вторгались варвары в твой сжатый круг, крушили
Заветные углы твоих святых дворцов,
Но был не властен меч над тайной вечной были:
Как феникс, ты взлетал из дыма, жив и нов.
Париж не весь в домах и в том иль в этом лике:
Она часть истории, идея, сказка, бред.
Свое бессмертие ты понял, о великий,
И бреду твоему исчезновенья — нет!

Георг Гейм

ТОСКА ПО ПАРИЖУ

Как часто с блеском королевских лилий
Французский вечер сходен белизной! —
В далеком небе точно мед разлили;
Медовый, желтый отступает зной.

С Монмартра в золотом сиянье окон
Струится звон ликующих церквей,
И облачко, увядшей дамы локон,
Плывет, венка невесты розовой.

То мартовски прозрачный, то осенний,
Париж, кто пил твой воздух колдовской,
Кто видел Нотр-Дам в закатной Сене,
Томится вечной по тебе тоской.

Из перевитой виноградом чаши
Мы пьем отраву сумрачных ночей,
Устремлены на запад взоры наши,
А ветер Франции все горячей!..

Париж, святилище искусств и щедрых
Геройских дел, венчающих чело

Столицы, в чьих глубоких, гордых недрах
Ушедший век потомство погрело

Под сенью лавровой, где в саркофаге,
Орлом державным преданно храним,
Спит император, и поникли флаги,
И плачет ночь бессонная над ним.

И кажется, что снова по Египту
Полотнища пронесет легион,
И шелест гулкую тревожит крипту,
Где славный сын Парижа погребен.

А утром маяком мы просигналим! —
Над морем черных барж и красных крыш,
Над лесом мачт пылающим Граалем
Кровавый шар всплывает, ярко-рыж!

Багряный ток струится с небосклона,
Вином Свободы город пьян и горд:
Кроваво-красным, гневным ртом Дантона
Кричит Париж на Пляс де ля Конкорд!

Великий день невиданного роста,
Твой громовой, твой грозный лоб высок!
И голова Людовика с помоста
На покрасневший падает песок.

Париж, как ты осиротел, дряхлая!
Но липы на Бульварах не тусклей,
В мерцанье потонувшая аллея
До Елисейских тянется полей.

На поле Марсовом толпа густая,
Снуют пролетки, запах лип томит,
И вечер, как фиалка, отцветая,
Шумит листвою, фиалками шумит.

Проплыли лодки, пестрые, смешные,
Венсенский лес минуя в полутьме,
В барвинках мачта, лампочки цветные
Как звездочки ночные на корме.

Гудит разгульной песней погреб винный:
При свете мертвенном еще мертвей
Глаза пропойц за мрачной крестовиной
Окна в объятых липнущих ветвей.

Вниз по реке судов груженных трубы
Дымят над зыбью маслянистых струй,
А на причалах девки ждут, кому бы
Продать холодный, горький поцелуй?

И все же нет конца великолепию
Парижской потухающей зари,
Когда вдоль улиц выстроились цепью
Волнующие сердце фонари,

Когда над темным Домом Инвалидов,
Под стать вратам в обитель Гесперид,
Париж за памятник надгробный выдав,
Зрачок золотого идола горит.

Вячеслав Иванов

ПАРИЖСКИЕ ЭПИГРАММЫ

ВАНДОМСКАЯ КОЛОННА

С трепетом, трофей Вандома,
Внемлю вечный твой язык:
Он гремит во славу грома,
Славу славит медный зык!

ГРОБНИЦА НАПОЛЕОНА

«Этот гроб велеречивый,
О герой! не преклонит
Суд племен разноречивый,
Славы спор — и Эвменид!..»
— «Жив и мертв, подъямлю клик:
Вы — ничтожны, я — велик!»

ПАНТЕОН

Всем богам вы храм создали.
Был один живущий бог:
Трижды вшедшего в чертог
Трижды вы его изгнали.

A TOUTES LES GLOIRES DE LA FRANCE...¹

Галл над портиком Версальским
Начертал: «Всем Славам галльским...»
Горделивей нет речей;
Но мне мил их звук высокий:
Чужестранцу лавр мечей
Ненавистен одинокий.

БУЛЬВАР

Ночь — роящиеся станы —
Озаренные платаны —
Шелка шелест — чаши звон —
Отзвук плесков — отзвук пляски —
Ртов картавящих жаргон —
И на лицах рыжих жен
Намалеванные маски...

ПАРИЖ С ВЫСОТЫ

Тот не любит Человека,
Сердце-город, кто тебя
Озирает не любя,—
О, горящее от века!
Неопально-пылкий терн!
Страстных руд плавильный горн!

¹ Всем Славам Франции... (фр.).

ПАРИЖ

Е. С. Кругликовой

1

Обуреваемый Париж! Сколь ты священ,
Тот видит в облаке, чей дух благоговеет
Пред жертвенниками, на коих пламенеет
И плавится Адам в горниле перемен.

То, как иворий, бел, то черен, как эбен,—
Над купиной твоей гигантский призрак реет.
Он числит, борется, святыни, чары деет...
Людовик, Юлиан, Картезий, Сен-Жермен —

О, сколько вечных лиц в одном лице блистает
Мгновенной молнией! — Моле, Паскаль, Бальзак...
И вдруг Химерою всклубится смольный мрак,

И демон мыслящий звездой затменной тает:
Крутится буйственней, чем вавилонский столп,
Безумный легион, как дым, безликих толп.

2

Кто б ни был ты в миру,— пугливый ли
отшельник,
Ревнивец тайных дум, спесивый ли чудак,
Алхимик, некромант или иной маньяк,
Пророк осмеянный, непризнанный свирельник,—

Перед прыжком с моста в толпе ль снуешь,
бездельник,
Бежишь ли, нелюдим, на царственный чердак,—
Мелькнет невдалеке и даст собрату знак
Такой же, как и ты, Лютеции насельник.

Всечеловеческий Париж! В тебе я сам
Таил свою любовь, таил свои созданья,
Но знал консьерж мой час стыдливого свиданья;

В мансарде взор стремил сосед мой к небесам;
Двойник мой в сумерках капеллы, мне заветной,
Молился пред моей Мадонной неприметной.

Максимилиан Волошин

ПАРИЖУ

Посвящается Е. С. Кругликовой

Неслись года, как клочья белой пены...
Ты жил во мне, меняя облик свой;
И, уносимый встречною волной,
Я шел опять в твои замкнутыя стены.

Но никогда сквозь жизни перемены
Такой пронзенной не любил тоской
Я каждый камень вещей мостовой
И каждый дом на набережных Сены.

И никогда в дни юности моей
Не чувствовал сильнее и больней
Твой древний яд отстоянный печали

На дне дворов, под крышами мансард,
Где юный Дант и отрок Бонапарт
Своей мечты миры к себе качали.

Гийом Аполлинер

ЗОНА

И ты пресыщен древностью всегдашней

Ревут стада мостов перед пастушкой Эйфелевой башней

Твой нудный хлам домашний Греция и Рим

Вредит автомобилям допотопный грим
Лишь контрастирует со всяческим старьем
Религия простая как аэродром

В Европе все старо лишь христианство ново
Моднее папа Пий новатора иного
А ты хоть видят окна твой позор
Исповедальни сторонился до сих пор
Афишам певчим ты внимаешь на рассвете

Вот где поэзия а прозу ты найдешь в газете
Там уголовщина за 25 сантимов
Там человечество для нелюдимов

Вот эта улица название ни при чем
Трубой звучала солнце было трубачом
Проходят здесь кто помоложе кто постарше
Рабочие директора красотки секретарши
Сирена утром трижды поднимает вой
А в полдень лает колокол над головой
Здесь лязг и скрежет визг и стон
Как попугаи вывески кричат со стен
Мне нравится индустриальный стиль
На этой улице в Париже между авеню де Терн и улицей
Омон-Тьевиль

Вот молодая улица и ты малыш
Ты в голубом и белом ходишь не шалишь
Ты мальчик набожный твой друг Рене Дализ
Душой и телом с ним вы церкви предались
Газ в девять гаснет в синеве заснуть невмочь
В часовню школьную крадетесь молитесь всю ночь
И в глубине прозрачной аметиста
Христовой славе никогда не замутиться
Вот лилия спасающая души
Вот факел чьих волос всемирный вихрь не тушит
Весь бледный весь в крови сын матери болезной
Густое дерево молитв над бездной
Крест-накрест в мировом пространстве честь и вечность
При всех своих шести лучах звезда спасенья
Бог мертвый в пятницу и смерть поправший в воскресенье
Взлетевший в небо выше чем любой пилот
Христос поставил мировой рекорд высот

Зеница ока Иисус Христос
И глянув из-под век двадцатый век рванул
Как Иисус вознесся птицей обернулся
Из бездны бесы смотрят и кричат Бахвал
Вон эпигон последыш Симона-волхва
Вопят летает стало быть подлет
Ликуют ангелы встречая самолет
Енох Икар Илья-пророк
Вокруг аэроплана целый сонм порой
И расступаются благочестиво ря
С Причастием Святым завидев иерея

И самолет садится распластав крыла
А в небе ласточкам-касаткам нет числа
Вороны соколы сычи и чибисы
Летают марабу фламинго ибисы
Летает птица Рок прославлена молвой
Играя черепом Адама первой в мире головой
Крича влюбленный в горизонт летит орел
Колибри крохотные чуть побольше пчел
И однокрылые вдвоем летая
Красуются посланцы стройные Китая
Летит голубка непорочная душа
Павлин и птица Лира следом свита хороша
И сам себя рождающий костер
Взлетев из пепла Феникс крылья распростер
Все три сирены прилетели вскоре
Покинув с песней гибельное море
Так все пернатые в лазури нерушимой
Братаются с летающей машиной

Затерян ты в толпе затерян ты в Париже
Автобусы мычат они тебе всех ближе
Берет за горло скорбь любовная тебя
Ты нелюбимый понимаешь ты скорбя
Ты в монастырь ушел бы в старину
Молитву ты скрываешь как свою вино
Смеешься над собой твой смех огонь в аду
Сверкает жизнь твоя вся золотая на виду
Она картина в темноте вообрази
Ступай в музей рассматривать ее вблизи
Париж на тротуарах женщины в крови
Нет вспоминать не надо это все закатом красоты зови

Из пламени смотрела на меня Небесная Царица в Шартре
Кровь Иисусова как наводнение на Монмартре
Я болен от высоких этих слов
Любовь постыдная болезнь и к смерти я готов
Бессонницей тебя своею близью истязает
Казнит и вынуждая жить не исчезает

Ты в Средиземноморье на побережье теплых вод
Там где цветут лимоны круглый год
Друзья с тобою в лодке на волне упругой
Из Ниссы друг друг из Ментоны из Турби два друга
В испуге смотрим под водою спрут

Там рыбы среди водорослей Спасовы подобия плывут
Гостиница под Прагой в садике покой
Ты счастлив роза на столе перед тобой
Тебе бы написать еще страницу прозы
Но только бронзовка заснула в сердце розы

Свой образ видел ты в камнях Святого Витта
И был печален словно жизнь твоя разбита
Ты словно Лазарь день тебе слепит глаза
Часы еврейского квартала вдруг пошли назад
Так жизнь твоя назад ползет неторопливо
В Градчанах вечер отзвук чешского мотива
В корчмах наверное запели
Среди арбузов ты в Марселе

И в Кобленце отель и там проходит время

Ты под японской мушмулою в Риме

Увлекся в Амстердаме ты дурнушкою одной
Студент из Дейдена готов назвать ее женой
Снимают комнату Cubicula locanda¹
Я там провел три дня а дальше Гауда

Тебе в Париже горький опыт уготован
Ты перед следователем ты арестован

В тоске и в радости ты видел много стран
Пока не распознал ты старость и обман
Любил страдая в двадцать лет и в тридцать лет
Я как безумный жил а жизни больше нет
Боишься на свои ладони ты взглянуть
Оплакивай себя свою любовь и жуть

Вот эмигрантки молятся ты смотришь со слезами на
глазах

Младенцев грудью кормят на вокзале Сен-Лазар
Вокзалы пахнут ими люди едут устают
Поверив как цари-волхвы в звезду свою
Попробуй золотые россыпи открой
Разбогатеv тогда вернешься в отчий край

¹ Спальни, сдаваемые внаем (лат.).

С собою красный пуховик семья берет
Он словно сердце наши грезы тоже бред
А некоторые от переездов одурев
На улице Розьер остались жить в дыре
По вечерам на свежем воздухе евреи
Как пешки шахматные двигаются редко
Их жены в париках не закрывая двери
Бескровные сидят в лавчонках для порядка

Ты перед цинковую стойкой в грязном баре
Дешевый кофе пьешь как люмпен-пролетарий

Вот ресторан для посетителей ночных

Все эти женщины не хуже остальных
И безобразных женщин любишь и страдаешь из-за них

Вот это дочь сержанта из Джерсея родом

Не разглядел я рук шершавых оказавшись рядом

Мне жаль девчонку весь в рубцах у нее живот

Улыбка сводит мне как судорога рот

Один ты утром все одни
Бидон молочника на улице звенит

Ночь удаляется как ласковая жница
Притворщица Фердина Лия-ученица

И ты глотаешь этот жгучий алкоголь
Жизнь пьешь как водку пьют испытывая боль
Идешь домой в Отей во сне тебе виднее
Полинезийский бог среди богов Гвинеи
Загадочный Христос других существований
Христос приниженных и смутных упований

Прости прости

Зарезанное солнце

ПАРИЖ

Я видел Париж погруженный во тьму
Подземелье где слишком уж громко смеялись
Париж о большой аметист
Эти группы бельгийских солдат
Старухи в костюме Перретты
С неизменным бидоном
Летчик в погонах ведущий рассказ про свои боевые дела
Я услышал сигнал «Разойдись!»
Но как улыбается тот кому дали отсрочку
Бульвар Османн тень статуи Шекспира
Уродство штатских брюк и пиджаков у тех кто не на
фронте
Работали художники
Люблю
Тебя всем сердцем

ПОЕЗДКА В ПАРИЖ

Ах радость какая
Из скучного края
Уехать в Париж
Чудо-город Париж
Вот без сомненья
Амура творенье

Ах радость какая
Из скучного края
Уехать в Париж

Пьер Мак Орлан

ТАКИМ БЫЛ ПАРИЖ...

Таким был Париж, когда по ночам его башня
распускала искристые кудри антенн
и стена темноты озарялась,
как от вспышки химических спичек;
Париж с его каменным скарбом,
с его парапетами

для гимнастики самоубийц, голубых или розовых,
исполняющих номер без поклона в конце;
Париж, где арену огромного цирка
заполняла почтенная публика
и где, обезумев от запаха конского пота,
из дверей Мулен Ружа
сыпались женщины,
словно зерна граната в алеющей мякоти.
А теперь, когда пылью от нас ускользают мгновенья
и мы силится их удержать, жадно зажав в кулаке,
Париж напряженно вытягивает,
как оробевший жираф, свою длинную башню,
а она,
вечерами боясь привидений,
шарит всюду лучами прожекторов,
превращая парижское небо в искусно размытый чертеж.
Триумфальная Арка стала просто скамьей,
где сидит Тамерлан в гимнастерке защитного цвета
и мечтает о новых застежках на крагах.
А прилежной студентке
никак не дают проскользнуть
между кафе и Сорбонной,
чтоб в тиши дочитать свою книгу.
О Париж!
Королева Машинопись,
как водица, проникла в вино человеческой жизни,
и вчерашние девочки,
что когда-то мечтали о принце Аннама,
пробираясь сквозь лес, населенный сатирами средней
руки,
теперь свои грезы питают плодами прогресса
и в надежде
на индустриальное счастье
стучат по своим «Ундервудам»,
где рождается тот циркуляр,
что положит навечно конец
току крови по нашим сосудам
и привычному тиканью
наших часов и сердец.

.

СЕНА И МОСТЫ ПАРИЖА

Девушка, которая носила дырявые юбки и водилась с молодыми бездельниками, обессмертила течение Сены от Бийанкура до Багателя. Фреэль, которая, сама того не зная, является одной из подлинных истолковательниц нищеты, не так давно меланхолически вещала об этом в Олимпии. Грязные старики, что с наступлением ночи укрываются под парижскими мостами, — пела меланхолическая Фреэль, — не избегли очарования этой девушки, и юноша и седовласый старец дожидались ее под пролетом, который был известен посвященным. Я всегда чувствовал большую симпатию к этой высокой девушке, тонкой и вялой блондинке, с бледным лицом, напоминающим мягкость подвального гриба и озаренным двумя романтическими незабудками. Я ее сравнивал в моем воображении с солдатскими девками Туля: Веселой Ниной, Лесной Розой, Будочной Марией и другими. Я жалею, что не могу придумать имени для героини песенки Фреэль, что упростило бы дело. Это прекрасная апашка из пресноводного порта была современницей Вертушки, у которой Сена похитила любовника, чьи глаза, по-видимому, стоили того, чтобы быть описанными с лиризмом.

В большинстве крупных городов Европы имеется река, необходимая для повседневных надобностей ночной трагедии. Лунный свет на воде, насыщенной химическими составами, привлекает живописное население ночи, подобно тому, как солнце притягивает к себе туберкулезных богачей и сонных мещан. Я представляю себе берега Шпрее, населенные тенями, о которых рассказывает Георг Гросс, и мокрую смерть, приодетую по моде, с колпачком на голове, в ботинках на высоких каблучках, в еще элегантном уборе нищеты, которая с каждым днем все больше поддается соблазнительным ухищрениям своего рода изящества.

В час, когда буксирные суда спят по углам и примешивают запах дегтя к запаху предместий, посыпанных дешевой пудрой и птичьим пометом, Сена разворачивает свое мрачное одеяние, усеянное перламутровыми блестками слегка сиреневого, грустного цвета, впадающего в синеву, как глаз рыбы, которая больше не видит. Лучистый цветок электричества, такой человеческий и в то же время бесстрастный, обозначает движущийся поток, несущий в невода Сен-Клу самые отвратительные отбросы большого

города, который освобождается от избытков своего пищеварения между двумя куплетами популярной песенки.

Я проживаю недалеко от Сены, в самой мрачной части Парижа. Мимо моих окон проходит ночной трамвай. Он пробивает ночь, как раскаленное железо, по направлению к Версалю. Следом за ним ночь дымит и сверкает. Я хочу верить, что в Версале гвардейцы зальют его водой или, может быть, просто потушат его своими треуголками. Перед моим окном десять газовых заводов образуют декоративный уголок, на котором привольно отдыхает глаз. Раз в год я слышу крик, доносящийся с берегов Сены. Я напрягаю слух. Однажды утром я узнал, что этот крик был брошен молодой девушкой-парижанкой, которая страстно возжаждала жизни в последнюю свою минуту, всплывая в третий раз на поверхность воды. По временам, когда ночная тьма усыпляет те немногие подробности парижской природы, которые неподвластны человеческому воздействию, я вожу моего фокстерьера в загоулки, известные обилием крыс. Этот фокстерьер знает всех окрестных крыс, потому что гонялся по меньшей мере по одному разу за каждой: это говорит о том, что он не так уже молод. Когда он проходит в тени моста, его шерсть встает дыбом. Есть встречи, которые для него столь же неблагоприятны, как и для меня самого. Население берегов Сены сходится на таинственные свидания, где практикуются невообразимые ночные профессии, причем окружающая их умственная атмосфера вызывает некоторое беспокойство, во-первых, потому, что темно, а во-вторых, потому, что об этой деятельности кое-что известно из иллюстраций, из газет и по рассказам кормилиц с городских окраин. Обрубки женского тела, изрезанного на куски, находят обычно под сенью моста, на берегу, где плещут волны. Последние годы были особенно щедры на подобного рода убийства, придающие порочную окраску призракам Сены и в особенности местам, стены которых были свидетелями этих операций. Если связать этот образ с одним из тысячи домов, перемешанных с кабаками на берегу Сены, в предместьях, то его квартиры, терроризированные клопами, приобретают особое литературное значение. В этих краях встречаются латинские лица, которых их темная, небритая растительность на щеках, позеленевших от сна под открытым небом, делает вполне ответственными за все то, что может себе вообразить одинокий прохожий, принадлежащий к другому типу людей. Но что сказать о девушках, о молодых девушках,

вергнутых в эту непоправимую нищету? Они принадлежат к наиболее чистым типам той расы, которая, по-видимому, всегда жила под мостами, занимаясь только теми вещами и существами, какие встречаются под мостами, и питаясь исключительно той пищей, какую можно есть только под мостами. Ибо, если предположить, что в золотые дни раннего детства им привиделась, хотя бы издали, другая атмосфера, ничто не могло бы помешать молодой девушке попытаться устроить свою судьбу в тех кварталах города, где нищета может иметь ту же цену, что и богатство. Девушки, о которых пела Фрезль, рождаются под мостами. И под мостом, может быть пышным, как брачное ложе, благодаря богатству украшений, их тайная плоть познает первую дрожь. Как девушки из Нанси, с мозгами инфузорий, составляли одно целое с лесом, с фортовым дерном, с батарейными укреплениями, так эти девушки, рожденные на влажном камне, составляют часть городских пейзажей Сены и, может быть, знают суровое наслаждение быть богинями сточных канав, черного дыма буксирных судов и мрачной тишины, которая принимает последнее прощание развинченных самоубийц. Та, которую я видел днем нелюдимой, грязной и взлохмаченной, защищающей свои глаза ночной проститутки от нескромного солнца, ночью должна блистать жизнью, приспособленной ко всяким козням, ко всяким приключениям, ко всяким чудесам ночи. В тяжелом винном дурмане никакая человеческая сила не может помешать ей познать обманчивый мир грез, где прекраснейшие создания духа рассеиваются, хихикая, ранним утром. Около ее тела, повергнутого на землю опьянением, патриархи Сены чокаются стаканами и толкуют о событиях, которые стали им известны за день. Ничто не может взволновать этих пьяниц. Мрачные исчадия ночи берутся за руки от Бийанкура до Каррьера, и старухи их племени пляшут «скомороха» или «мецский хоровод».

Серафический оборванец, который свистит в пустоту ночи, — ангел по сравнению с персонажами этого упорядоченного кошмара. Молодой оборванец с растрепанными волосами, проходящий по мосту над этой нестройной оравой, бросает в ночь, свища сквозь пальцы, два золотых луча. И для девушки из темного племени Сены это — прекрасный принц, несущий классические обещания и приданое своих двадцати лет.

Мне бы хотелось, т. е. мне хочется сейчас, чтобы город-

ское управление, взбудораженное какой-нибудь особенно коварной весной, организовало праздник парижских мостов. М-ль Мистенгет пела бы под мостом Мирабо для маленьких девочек, рожденных на берегу реки; Фреэль, бледная и печальная, пела бы под мостом Гренелль, а Дамиа и Андре Тюрси пели бы под мостом о-Шанж, перед башнями Дворца Правосудия, куда обращаются за помощью состоятельные представительницы законной проституции. Этот концерт происходил бы ночью, под шум волн и шепот. Мощные прожекторы Эйфелевой башни, через неравные промежутки времени, заливали бы светом толпу. Мраморные лица резко выделялись бы в их свете несколько секунд, и, может быть, удалось бы заметить человека под той или иной личной, лишенной своей ночной маски. Ибо значение мюзикхолла в наше время так велико, что ему нужно разрешить основывать колонии, где избыток его продукции найдет себе применение. Не следует, однако, забывать, во время этого официального празднества, что Сена, вытянувшаяся между двумя своими набережными из камня и цемента, издает сомнительный запах своих необычайно населенных вод. Молодая утопленница плывет по течению. Юбки и пальто окутывают ее покрывами, как японскую рыбку. Ее лицо представляет одну сферическую поверхность, без украшений, на которой винт парижского парохода оставил розовато-лиловую рану. Она плывет по воле течения, уносясь к неводам Сен-Клу, где сам Моисей, задержанный в своем роковом пути, никогда не увидел бы первой улыбки той царской дочери, которая спасла его из волн.

РОЗА ВОКЗАЛОВ

На краю каждой из четырех стран света вырастает вокзал, как мыльный пузырь, в котором отражаются самые условные и самые очаровательные картины, а также образы, набросанные в собственной душе, в зависимости от настроения: горе и радость.

Есть север и северный вокзал, откуда люди едут на последнюю станцию, в снега, где угрюмый и белокурый человек тянется разгоряченным воображением к великолепию юга. Есть запад с его океаном, с его островами, где самые редкие плоды и самые сладострастные цветы нагромождены у подножия стального пилона, гордости радио-

станции. На юге — тоже море, Африка, львиного цвета песок и коварная поэзия юга, которая манит к себе искателей приключений и всегда их разочаровывает, и, наконец, в розе вокзалов есть еще восток, молчаливый и загадочный, со своими тайнами, с длинной вереницей международных вагонов, с маленькой дамой в батиковом галстуке, весело приветствующей русскую границу, с властительным снегом и китайцами, почерневшими от холода в снегу, заметающем свежие следы.

Надо вооружиться этим ручным багажом дешевых образцов, чтобы любить парижские вокзалы за их высокую печаль и пышную горечь. Часто бывает полезно сделать из своих печалей своего рода роскошь. Вокзалы — это храмы, где раздумие обогащается тысячью тайных сил, сообщающих самой жалкой нищете то великолепии, которым художники умеют украшать мимолетное уродство. Они не все одинаково заманчивы для разочарованного, обычно голодного человека, каким был я в дни печальной молодости, когда все плоды, сорванные с дерева, оказываются или слишком незрелыми, или коварно подгнившими.

Северный вокзал — это Эдем для печали, от которой не хочешь сразу уйти. На севере и на востоке всех частей света борьба за жизнь достигает самых благородных форм лиризма, и прекраснее всех северных саг — сага о человеке, голодавшем на протяжении трехсот страниц романа Кнута Гамсуна. А чтобы голодать на протяжении трехсот страниц книги, даже скромной, надо было голодать в продолжение двух или трех лет, белых, как снег, иглистых, как снег, и озаренных той, почти божественной мудростью, которую голод возжигает и бережет, как огонь на ветру.

Восточный вокзал, в ту пору, когда каждый из нас начинал придавать своим словам внутренний смысл, который впоследствии пришлось изменить, это значило: Нанси, Туль, Коммерси, Экрувское плато, Веселая Нинон, батальонная девица, всходившая босиком по ступеням испытания, и старинная тайна границы, куда налетали уже трагические слухи, подобные неведомым, заблудившимся огромным птицам.

Отдых, истинный отдых, который по-настоящему нужен человеку в два часа утра, на обыкновенной скамейке, в пассажирском зале почти погасшего вокзала, после ухода последнего поезда, нельзя найти в направлениях северном и восточном. Нужно повернуть к югу или направиться на

запад. Там, если угодно, «все покой и наслаждение». К тому же эти вокзалы к услугам тех, у кого предприимчивый дух соединен с известным чувством направления. На запад и на юг люди едут, чтобы эмигрировать, искать удачи, следуя традициям некоторых народов или некоторых провинций. Вокзалы Лионский и Сен-Лазар сулят пестрым переселенцам верные гавани, где надежда поджидает на молу, в образе маленького еврейского портного из Нью-Йорка, баска, превращенного в обитателя пампасов, итальянского каменщика, одетого в белый бархат, или рослого землекопа, сестра которого держит на Гентской дороге кабачок, желтый с красной крышей. На западе и на юге, на другом конце человеческого воображения, стоит другой человек той же нации или той же семьи и знает магическое слово, которое может достать работу.

Быть уверенным, что я смогу зарабатывать хлеб до самого конца! Что касается меня,— другого идеала у меня нет. И я думал только о тысяче способов, впрочем неуловимых, которые человек может применить, чтобы иметь заработок. Вокзалы, независимо от каких-либо литературных или художественных влияний, были для моей нищеты чем-то вроде трубочки с радиом для больного раком. Путем эндосмоса или капиллярности я впитывал измученными плечами нежную, лучезарную и убедительную силу, которая была силой моей судьбы. Самые блестящие возможности избежать более чем посредственной судьбы возобновлялись безостановочно, подобно тем световым рекламам, которые, едва возникнув, тают, смешивают свои линии и краски, чтобы слиться в другое изображение, столь же беглое, как и первое.

Энтузиазм перед будущим проникал в меня, как пронзительная и торжествующая песнь паровозов, мчащихся полным ходом по стальной сети, более запутанной, чем линии руки.

Другие мужчины и женщины, такие необычайно несчастные, что все остальные глядели на них с изумлением, прислушивались к свисту, звук которого слабел в ночи. И каждый знал, что наступит день, особенный день, когда он вырвется, наконец, из этой ежедневной тоски, которой даже животные остерегаются. И была надежда, что громкий, почти божественный крик паровоза, бешено пущенного по рельсам, расцветет золотым снопом в ночи, где-нибудь на севере, на востоке, на западе или на юге.

ФАНТАСТИКА НОЧИ

Через несколько лет предприимчивый издатель, увлеченный требованиями рекламы, воспроизведет при помощи цветных лампочек на крыше какого-нибудь дома на улице Пигаль или на одном из больших бульваров первую главу предуказанного судьбой романа. Небо превратится в громадную книгу, в которой основные фразы рекламы засияют огненными буквами. Это уже сделано. Ночь набрасывает свой темный покров только на те кварталы, где днем торгуют, а ночью спят.

Существуют еще некоторые улицы в Пасси, где одинокий прохожий на пустынной мостовой кажется боязливым и зыбким призраком, стоит только старинному газовому фонарю придать тени этого прохожего гибкую и забавную фантастичность. Но яркая республика разноцветных огней и дуговых ламп, сиреневый блеск которых придает садам, населенным ночными фигурантами, причудливо искусственный вид, с каждым годом отвоевывает некоторую область у царства ночи. Дом, исчезавший до сих пор в безвестной тени, вдруг восстает в диадеме из золотых жемчужин. Зараза передается от дома к дому. Огонек, резвый и юркий, как мышонок, перепрыгивает с балкона на балкон. Предметы первой необходимости, вроде бутылки аперитива, поднимаются в кротком и покорном небе, подобно сверкающему знамени, полному божественных воспоминаний. Через несколько десятков веков цеховые исследователи прошлого усмотрят, может быть, в латунной арматуре и в лампах, изображавших эти знаменья, памятники кратковременного религиозного культа, посвященного папиресе, спиртным напиткам, автомобилю и Мэри Пикфорд. Пусть толкователи выпутываются как знают.

С наступлением сумерек расцветают огни, придавая городу вид тревожно-праздничный, потому что в этом исступлении человеческого гения чувствуется как бы вызов. По временам, когда созерцаешь небо Парижа с его сфабрикованными созвездиями, кажется, что равновесие природы уже нарушено. Я думаю о печальном положении тех, кто живет на самой верхней площадке высокой стальной башни, бросающей на город зоркие лучи своих маяков. Этой Эйфелевой башне, которую еще недавно осмеивали и поносили, как поносит великого поэта безжалостная критика, недолго пришлось ждать поклонения от искусства и литературы. Тысячи изящных изданий прославляют

ныне ее пластическую мощь и стрекочущую тайну волн, пересекающих пространство со всеми доверенными им словами. Поднимая голову вверх у подножия Башни, знаешь, что небо усеяно телеграммами и что человеческая мысль, некоторым образом материализованная в звуке, врывается в неизвестное и расталкивает его в своем размеренном беге. Над спокойными или лихорадочными улицами дыхание человеческой мысли окутывает город, подобно шару. Беспроволочные телеграммы, проносящиеся в ночи, примешивают к естественным элементам нашего неба новый элемент, которым не могла восхищаться мадам де Севинье. Ночью, когда я прогуливаюсь и вдыхаю воздух, мне кажется, что я дышу цифрами биржевых бюллетеней или точками и палочками азбуки Морзе, странно похожими на бациллы.

В те времена, когда Ретиф де ла Бретон вглядывался в тени деревьев Пасси, парижский воздух предоставлял нашим легким всего лишь смесь, предусмотренную природой. Теперь, когда искусственные силы с каждым днем все более насыщают воздух, которым мы дышим, социальная фантастика ставит бесчисленные экраны между нами и всем, что мы видим. Парижская ночь предлагает, вместо реальности, богатый выбор призраков: из мрака, ставшего непроницаемым, благодаря резкой противоположности света, вырастает декоративный мир видимостей: воздушная женщина, выходящая из автомобиля, от которого видны лишь два ослепительных фонаря. А что сказать об этих необыкновенных людях, которые чинят рельсы и шагают под маской огромных очков вдоль трамвайных путей, неся в руках горшок, где распускается цветок голубовато-белого электричества?

Появляется новый романтизм: это уже не романтизм подозрительных кабаков и фонарей, подвешенных к виселицам на углах зловонных переулков. Злодейский вид шпаны меняет свою живописность, и она приближается к живописности хорошего общества. Ночные бары самого дурного тона украшаются красивым именем фокстрота. В общем, все они на одно лицо. Люди, начинающие жить после полуночи, не стесняются друг перед другом, и каждый, за ширмой музыки, может жить воображаемой жизнью, по своему вкусу. В два часа ночи улица Пигаль пылает огнями, как большой пароход в океанской ночи. Приглушенная музыка проникает через двери, еще совсем теплая. Она остывает на улице.

Пароход, убаюканный ритмом 1924 года, продолжает свой путь. Он знает, что на горизонте нет ледяных полей. Самое большее, можно себе представить большого снежного ангела, потому что, наперекор всему, в известные часы ночи, когда лихорадка сообщает крови темп времени и гудки автомобилей лают адским зовом, нужно же себе представить большого снежного ангела, символ крошечного мига чистоты, если угодно — врожденной.

ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА

Я всегда придерживался того мнения, что четыре времени года составляют часть национального достояния, что они занимают почетное место в кладовой среди знамен, щитов, бумажных фонариков и прочих декоративных принадлежностей народных празднеств. На этом очаровательном чердаке, который должен находиться где-то над Палатой депутатов или над Сенатом, имеется полный набор покрытых чехлами декораций парижской весны, парижского лета, парижской зимы и осени. Следовало бы поручить художнику Жоржу Дело следить за сохранностью этих тысяч хрупких и традиционных мелочей, которые придают официальным временам года их истинную физиономию. Но кто бы он ни был, тот прелестный дух, который заботится об их сохранности, это, по-видимому, стоит недорого и не отягчает государственного бюджета.

Из всех четырех заведующих отделами года парижская весна, в общем, наиболее требовательна. Но достаточно ежегодной окраски, чтобы привести ее в надлежащий вид. Весна является ежегодно в образе юной революционной путаницы. Ее любят простоватые девушки, она вечно сулит обновление. Она мастерица по части дешевого символического разглагольствования. Старая песенка: уже столько веков она повторяет все те же восемь или десять патентованных слов, которые годятся для рифм любовного романса. Этот ландыш — не горожанин, и городская жизнь не очень-то ему благоприятствует. Он появляется в скверах в апреле месяце, дрогнет под дождем и протягивает руку лету.

Лето сует десять сантимов этому ангелоподобному попрошайке, и весна возвращается обратно в свой футляр. Парижское лето ходит с брюшком, как буржуа. Оно ненавидит шум, и его жест напоминает жест императора,

умело обращающегося с метлой. Как только оно примет власть, оно первым делом мобилизует лиц обоего пола, которые являются еще и посейчас излюбленными элементами всяких празднеств и светской суеты. Оно созывает их к окошечкам железнодорожных касс, обслуживающих линии хорошего тона, и отправляет мужчин, женщин, чемоданы, детей, фокстерьеров на море и в горы. Эта операция доставляет ему облегчение. Оно чувствует себя свободнее и может взирать на старый город с необыкновенным чувством блаженства, которое испытывает всякий, у кого есть хозяева, когда хозяева уехали.

Из четырех заведующих годом парижское лето является истинным собственником, собственником без затей, которого я представляю себе читающим газету, верхом на стуле, у дверей красивейшего из домов, которым могли бы гордиться большие бульвары.

К концу августа лето, раздувшись, как чудовищный игрушечный воздушный шар, умирает, проколотое булавкой в живот. И осень, подобно носовому украшению корабля, красуется на каждом паровозе, привозящем в Париж элементы, которые изгнало лето.

В Париже осень не облачается в печальный убор деревенской осени, посвященной охотникам, одетым в сукно цвета увядших листьев. Это бритый джентльмен, уже немолодой, костюм которого издает деловой запах, самый волнующий, самый экзотический и самый подходящий для тех, кого манит Удача, когда далекий Остров хранит ее тайну.

Осень — дивный вдохновитель, который одним жестом поднимет железные шторы крупных фирм. Изящные и надменные машинистки, его посредницы, разошлют во все концы света великолепные, отпечатанные в две краски циркуляры, от которых заревут суда на своих якорных цепях, помчатся во тьму поезда через всю путаницу железнодорожных путей, и авиаторы вскочат на сидения своих аэропланов. Если весна свистит в пальцы, созывая девушек на сентиментальную прогулку, то у осени в жилетном кармане серебряный свисток боцмана. Она держит в руках программу интеллектуальной жизни Парижа, оживляющей мастерские, и театры, и бесчисленные золотые окна, за которыми мысль работает и создает формы. Практическая, вдохновенная и творческая веселость осени соответствует потребностям человека, у которого есть дело. В это время года позволены все надежды. Город перезаря-

жает свои аккумуляторы; громадный маховик завода вертится в фантастической сказке; молодые таксомоторы перемешиваются со старыми; три барабана, саксофон, аккордеон, труба, рояль и пять негров сливаются с юным движением дня и ночи.

И парижская зима, хозяин собранного урожая, располагается в жилище, устроенном по правилам современного комфорта. Теперь великая социальная машина, приведенная в движение осенью, джентльменом в синем, вырабатывает свою ежедневную продукцию.

Это — хладнокровное время года, ясное, чистое, как снег. Человек волнуется и мыслит под пневматическим колоколом. Природа бессильна против города. Только чудовищная катастрофа, внезапное безумие небес, воды, земли, огня могли бы поколебать отвагу Парижа.

Ибо в Париже, в Нью-Йорке, в Лондоне, во всех больших городах мира человек торжествует среди своих созданий, под небом, приспособленным для его нужд, небом жестоким и угрюмым, великодушным для сильных, неумолимым для слабых. И тут нет никакой морали, по крайней мере в этом году.

ПОСРЕДНИКИ И УЛИЦА

Можно рассматривать улицу, как солнечные часы, и тогда жизнь Парижа размеряется по тени домов, деревьев и конного полицейского, смиряющего горячие экипажи.

Эта видимость правдоподобна, потому что улица дробит время по желанию, а в особенности по инстинктам каждого. Это не просто дорога, окаймленная зданиями, но нечто симпатическое и независимое, сила, подобная электричеству и его бродячим токам, которые мешают работе беспроволочного телеграфа и задорно впутываются в наши самые серьезные комбинации. Таким образом, улица сливается с нашим жизненным началом и разливается по нашим артериям, по тысячам улочек нервной системы, в непрерывном стремлении, где материальные формы исчезают и торжествует одно лишь лирическое жужжание города, спаянного с нашим телом. Улица исчезает по каплям и по каплям возрождается, и каждая капля — это смерть человека или рождение ребенка.

Это, пожалуй, единственная власть над атмосферой его эпохи, которую может допустить человек страстный и чув-

кий. Здесь литературное, артистическое и сентиментальное царство человека, и, чтобы пройти между автомобилями, богам пришлось бы ждать благоприятного случая. Не предаваясь бесплодным сожалениям и мудрой горечи, мы можем жить на улице с ощущением, дающим временную бодрость, что мы необходимые свидетели этого зрелища и что мы познаем особенное отравление, которое возобновляется каждый миг в новом облиции, никогда более не повторяющемся. Я ненавижу дуб, камыш, порей и церковь моего села, потому что эти предметы не изменили своего вида в продолжение веков.

Тысяча средневековых дубов совершенно подобна тысяче дубов 1924 г. С того дня, как Колумелла воспел раkitник, на муку будущим кандидатам в бакалавры, нам больше нечего сказать об этом кусте.

Когда в полночь площадь и улица Пигаль загораются, мы забываем все, чему нас учили. Красные и лиловые огни и бездонный свет дуговых ламп придают освещению, которое видели наши предки, такой творческий блеск, что женщины в нем расцветают, окрашиваются и живут по законам нового солнца, которое они не могут вообразить угасшим.

Днем, при сиянии настоящего солнца, солнца нашего уже давнего детства, все подробности которого смешиваются с веками очаровательных преданий, они чахнут и вянут на наших глазах, едва успевая проглотить чашку кофе со сливками на углу улицы Гудон. Это одна из самых жутких надежд человечества — возможность увядать днем и расцветать ночью. Тысячи и тысячи уличных женщин были лишены своего естественного блеска, потому что свет, который они должны были отражать, не был изобретен. Проституция, которая населяет ночь подробностями, необходимыми для умственной жизни народа, всегда жила в тени, едва освещаемая масляной лампой бань или погребальными свечами, которые внушали Дервье и Пексоту нелепые мысли. Молодые женщины не выигрывали в репутации от этой личиночной жизни, где тень от ворот украшала старую и молодую одинаковым венцом бесчестия. В час, когда я пишу, т. е. в то самое время, когда большой автомобильный фонарь переставляет вещи в моей комнате, улица заполняет мое жилище, и девушка, накрашенная для ночи, восторженная, истинная завоевательница, выигрывает снаружи битву со мраком и обращает в бегство свою промокшую свиту нищих и калек. В лиловом луче электричест-

ва несчастные не могут больше плясать ночную кадрили нищеты. Они тянутся по загородным дорогам вдоль разграбленных вилл, как стая четвероногих тряпичников. С наступлением дня они вернутся на улицу, потому что старое солнце покровительствует их тысячелетним традициям.

Это поражение одних и торжество, вероятно эфемерное, других не находит себе достойных изобразителей среди больших поэтов. Одни бьют дальше цели, поднимаясь слишком высоко, в то место зенита, где начинается рай и где небо нашей космической системы перестает развращаться; другие не закрывают лица, попадая в дурные места; все их узнают, и их божественная личность мельчает, совершая движения, уже не оживляемые никакой тайной силой. Улица же говорит вечно изменчивым языком. Если честно оценивать слова по их динамической ценности и усматривать в каждом из них маленький двигатель, можно заметить, что слова, которыми мы пользуемся, вращаются недостаточен быстро. Мы применяем слова, делающие сто пятьдесят оборотов, тогда как нам требуются слова, которые могли бы делать две или три тысячи оборотов. Старые слова уже не соответствуют атмосфере улицы. Они запечатлевают ее образы лишь при посредстве некоторых толмачей, которые простодушно ее отражают. Эти толмачи еще чувствительны к старым словам, но, благодаря волнующей силе своих голосов, они создают иллюзию скорости, а это — главное.

Элементы улицы отличаются довольно высоким качеством. Она вмещает в себе, наряду с быстротой и изяществом автомобиля, мертвенно-синие причуды нищеты и интернациональный блеск проституции. Нужно выйти на улицу; хотя бы в Париже, — а улицы Парижа единственные во всем мире, — засунув руки в карманы, с готовностью дать милостыню и получить взамен нечто редкое. Никогда не давайте десяти франков живописному бедняку, а дайте их м-ль Мистенгет, Дамиа, Фреэль в их удачные дни. Если вам удастся встретиться и услышать м-ль Андре Тюрси, дайте, не колеблясь, в пользу опасных классов: она вас вознаградит.

Однажды вечером мы зашли в мюзик-холл, чтобы послушать эту певицу. Она воспевала улицу в пяти песенках Карко, в пяти восхитительно задуманных песенках, написанных специально для ее исполнения. Эти законченные стихи неотделимы от голоса, проникновенности, от даро-

вания м-ль Тюрси. Это подлинные песни для истолкователя улицы, своего рода силы, превращенные в быстрые картины, которые сродни последнему фильму о чувствах шпаны на протяжении веков. М-ль Тюрси появилась к концу программы. Ей предшествовало нечто вроде шабаша ведьм, безжизненного и бесцветного, где все потуги глупости, почти отчаявшейся, слились воедино. Одна на сцене, подавая всю улицу на ладони руки или рождая ее на своих красных губах марсельской клоунессы, она оживляла необычайной быстротой слова, гирлянда которых обвивалась вокруг нее или сливалась с передаточными ремнями, связывавшими нас с ее волнением. Это был маленький литературный завод, хорошо поставленный, настоящий завод, сооруженный на новые капиталы, на том месте, где некогда находился завод, более или менее похожий на церковь Нотр-дам-де-Клери возле Орлеана. Когда мы перестываем Вийона, не следует забывать, что он проникает в нас при посредстве мертвой девушки. Голос той, которая звалась Прекрасной Оружейницей, или хриплый и горячий голос подруги, говоривших на воровском жаргоне, служат посредниками между иными словами поэта и тем, что может нас действительно волновать. Но самые великодушные выражают мало благодарности этим посредникам, часто безымянным.

Пять песенок Карко живут той же жизнью, что и улица, жизнью девушек, которые являются кусками улицы, баров, которые представляют собой простую зарубку на улице. Не нужно их изолировать или ставить под другое освещение. Они бы растаяли на солнце. Все это, впрочем, окончательно скроется с преобразованием световых реклам, которые их породили, с банкротством всей этой мишуры, когда она уступит арену другим зрелищам, которых мы не поймем или не увидим. Вечно движущаяся улица нарисует другие картины на поверхности котла. Вообразите Тюрси, с оборонительным взглядом, с короткими волосами, поющую на гулянье, где выделяются три сержанта колониальных войск, балладу Франсуа Вийона, например, ту, которая начинается словами: «A Parouart, la grant Mathe-Gaudie» — результат превзойдет всякие ожидания. Улица ревниво хранит свои загадки, несмотря на потайной фонарь ночного зрителя, несмотря на дуговые лампы Булонского леса, где ветер раннего утра разносит тайные запахи домов свидания.

Франсис Карко

ОТ МОНМАРТРА ДО ЛАТИНСКОГО КВАРТАЛА

(Фрагменты)

От Монмартра до Латинского квартала, несомненно, далеко. Очень далеко, — дальше, может быть, чем думают.

Но, если такой человек, как я, желает собрать свои воспоминания, то лишь в этих местах он найдет самые богатые и пестрые из них.

Около 1910 года все мы были обитателями Монмартра или окрестностей бульвара Сен-Мишель. Счастливые времена! Когда я вспоминаю их, мне снова хочется писать такие стихи, как когда-то на улице Расина, в маленькой комнатке, которую консьержка соглашалась убирать, чтобы иметь возможность проигрывать весь свой заработок в лото.

Я не знал тогда в Париже никого, кроме этой консьержки, славной женщины, которую погубила страсть к лото. По ее рекомендации я давал уроки французского языка господину из второго этажа, готовившемуся к конкурсу на должность в префектуре, и получал за это обед. Господин был принят на эту должность, — и обеды мои потеряли свою регулярность. Я говорю об обедах, потому что в ту пору это был вопрос немаловажный и находившийся в зависимости от случая. Иногда обед походил на пикник, иногда это бывала только игра в обед, как играют дети, иногда же — сверкающее великолепие трапез, холодных, как парижский рассвет, в одном из больших баров на левом берегу Сены. Товарищи мои в этот период жизни были не богаче меня. В голодные дни мы пробирались на лестницы в соседние дома и питались булками и молоком, которые поставщики оставляли по утрам на каждой площадке у дверей квартир. У некоторых из нас был такой прекрасный аппетит, что им, чтобы насытиться, приходилось обходить все этажи. И быстро же надо было уметь бегать, чтобы не быть застигнутыми на месте преступления! Я взбирался и спускался по лестницам не хуже моих товарищей. Это был своего рода спорт, — и теперь, когда я думаю об этом, я нахожу, что он предохранил нас от тучности...

Да будут благословенны эти упражнения, развивавшие быстроту ног и фантазии — и вместе с тем насыщавшие

желудки поэтов! Ибо все мы, разумеется, были поэты,— стихотворцы или прозаики, но — поэты! Кто же не был поэтом в том возрасте, когда память о Франсуа Вийоне окружает ореолом современную богему? Этот ореол, это сияние озаряло небо наших бессонных ночей, как бы сливаясь с бледным рассветом, подымавшимся из-за высоких домов. Иначе мы не были бы так сильны, так горды своим призванием. Как сладко вспоминать... С каким умилением вызываешь из мрака прошедшего для себя самого и для нескольких друзей этот хмель молодости, это упоение и трудом и радостью в 20 лет.

Из комнаты, где я пишу эти строки, я вижу окаймляющие Сену набережные, где мы бродили тогда; Новый мост, через который мы постоянно возвращались с Монмартра; начало улицы Дофины. Сквозь ветви отсвечивает вода... Вся эта картина кажется теперь призрачной, чуждой... Никто не проходит мимо дремлющих фасадов домов. Я напрягаю зрение, чтобы убедиться, не мелькнет ли какой-нибудь след моего прошлого, но ничто непосредственно не напоминает мне о нем. Боже! Сколько воды протекло под этим мостом с тех пор, как мы были молоды! Сколько хмурых рассветов, сколько дней, недель, сколько лет и зим пролетело с тех пор!

Река подобна моей скорби:
Она струится и не иссыкает,—

пел Аполлинер.

Но Гийома Аполлинера нет больше в живых. Умер Жан Пеллерен. Умер Андре дю-Френуа, который жил на набережной де Гранз'Огюстен; переселился куда-то Клодиен.

А веселые приятели, которые вместе со мной кормились когда-то дерзко украденным молоком и булками,— если бы нам привелось встретиться теперь, они, конечно, не узнали бы меня. Где они? Скажите мне, где? Но кто когда-либо мог ответить на подобный вопрос? Тщетно Вийон в вечер скорби обращался с этим вопросом ко всем эхо города. Бедняга Вийон! Где он теперь? Нет больше ни его, ни Верлена, ни столько других когда-то шатавшихся там же, где шатались мы,— по тем же тавернам, барам, пивным, по пустынному Новому мосту, по узким улицам и переулкам, извивающимся, как ящерицы, меж черных зданий. Своими воспоминаниями я только шевелю пепел прошлого... легкий пепел, вздымаемый ночным ветром и кружащийся в воздухе подобно теням мертвецов.

Но и далекий от Монмартра Латинский квартал полон призраками, живыми, смеющимися, всегда имеющими власть вызвать в вашей душе горькое опьянение прошлым. Не будь они призраками, мысль написать эту книгу меня бы ничуть не соблазняла. Ибо кому бы он понадобился — этот путеводитель по местам, где мы были завсегдатаями, этот памятник былым безумствам? Мы по-прежнему собирались бы за столиком у Фредерика или Гюбера Великодушного. Мы заходили бы друг к другу — выкурить папироску, поболтать, перелистать несколько книг и почувствовать себя среди друзей. Что еще нужно, чтобы находить в жизни очарование? Но тогда мы об этом не думали. Нам казалось так естественно жить, быть связанными друг с другом узами искренней любви, работать! Если даже время или случай разлучали нас, — достаточно было письма, присланной книги, заметки в хронике газеты, статьи, чтобы воскресить ощущение близости. Мы шли одною дорогой. И, если случалось, кто-нибудь из нас задумывался о своей будущности, он считал, что это будущность всех, потому что все мы шли по одному и тому же пути.

Увы! Что осталось нам? Воспоминания — уже!.. Опустевшие места... За столом у Фредерика мы не решимся усесться, как сживали в те времена... К чему? Молодежь, пришедшая нам на смену, к счастью — еще в полном составе. Пускай же их круг не редет, и пусть не приходит для них раньше времени час, когда с грустью считаешь ушедших из жизни друзей.

Поймет ли читающий мои воспоминания, что в способствовавшей этому среде, в атмосфере той липкой сырости, которая является сестрой нищеты, мы переживали удивительные, фантастические дни? На левом берегу Сены еще сильнее, чем на Монмартре, владела нами иллюзия, что мы живем в большом приморском городе. Подозрительные, шумные кофейни, угловые здания с острыми фасадами, похожими на носы кораблей, всякий людской сброд на улицах, публичные дома и туманы. Ветер доносил к нам иногда пронзительный вой настоящей сирены и дыхание Сены, расслабляющее, тошнотворно-сладковатое. На Монмартре же свист поездов, доносившийся от двух вокзалов — Восточного и Северного, будил в душе какое-то тяжелое предчувствие и мешал нашему безмятежному веселью.

Улица Ласточки, где был кабачок Гюбера «Ла Боле» — копия «Кролика», давала больше нового, неизведанного. Посетителями этого кабачка были анархисты, празднующиеся, студенты, сочинители песен, разные темные плуты, профессиональные нищенки, мальчишки-посыльные... Вся эта публика угощалась здесь за очень дешевую плату, и если «Кролик», по сравнению Мак-Орлана, напоминал «станционный зал 1-го класса», то здесь был зал 3-го класса с разбросанными всюду жирными бумагами, колбасой и сидром на прилавке. Выбеленные известкой стены, вдоль них — бочки, скамьи, колченогие столы и табуретки — вот обстановка этих мест. В двух шагах от Сены, к которой вел узкий и зловонный проход, против заведения милейшего Гюбера гостеприимно открывал свои двери один из вертепов, где разный сброд обжирается и опивается по ночам. Там чувствовали себя как дома какие-то бледнолицые субъекты, бродячие девицы, поэты и тот подозрительный старичок, которого какая-то распутница отвратительно изуродовала, чтобы наказать за грех. В этом кабаке держали ягненка, который постоянно бродил по залу, подбирая окурки; его кормили опилками, и он не пренебрегал водкой; там же водилось несколько охотничьих собак, истощенных и унылых. А у Гюбера — чего только нельзя было увидеть! Он велел выгравировать на камне, на стене, список своих бывших и настоящих клиентов. И американцы, часто приходившие сюда в сопровождении гида, могли прочесть под надписью:

«Имена всех тех, посещением которых гордился хозяин. В этом списке, наряду с братьями Таро, Жаком Диссором и другими, фигурировало и мое имя, помещенное между Франсуа Вийоном и Жаном Лорреном. Вот какую честь мне оказал Гюбер! Он любил поэтов, всегда оставлял для них местечко за столом и даже услужливо давал им деньги в долг. Крупный, плотный, широкоплечий, еще молодой, этот симпатичный человек был нами прозван «Гюбером Великодушным». Он чрезвычайно почитал современную французскую литературу и гордился вниманием к себе ее представителей. Если какой-нибудь неизвестный ему посетитель усаживался близко от нашего стола, Гюбер поспешно прятал маленькую грифельную доску, на которой обыкновенно записывались мелом наши долги.

— Кто его знает? — замечал он при этом. — А вдруг это какой-нибудь критик! Достаточно одной заметки в газете, чтобы погубить вашу репутацию!..

Нелюбовь его к газетной критике была нам на руку в этих случаях: чтобы спасти нас от таковой, он стирал наши счета с доски — и больше о них не было и речи.

Жак Диссор, который ввел меня к Гюберу, очень ценил этого замечательного кабатчика в огромном картузе и в блузе, какие носят огородники. Он даже посвятил Гюберу следующее стихотворение:

«Стихи, имеющие целью прославить прелестный кабачок «Полной Чаши», что на улице Ласточки, подле улицы «Где возлежит сердце», а также воздать хвалу его доброму хозяину».

О, вы, воспитанные мачехой Сорбонной,
Чей череп гол, чьи груди — пустыри,
Вы, кто влюблен в Таис, а спит с служанкой сонной,
Вы, продувные школяры.

Вы, мастера в искусстве очень тонком
(Но столь же и обманчивом, увы!)
Подтасовать очко иль подменить картенку
Ценою буйной головы!

Великие сердца Верлена и Вийона
Лежат на улице «Где сердце возлежит».
Придите же сюда, в парче или без оной,
Одетые в рассрочку иль в кредит.

И тот, кто цвета «жоффри» мундир и брюки носит,
Бесстрашный «пуалю» пускай сюда придет! —
Здесь вкруговую пьют, и сам Гюбер подносит,
А завтра будет твой черед!

На бочках развалясь, хлещите сидр отличный,
Его не окрестил водой Гюбер-язычник,
А сам он жар своей луженой глотки
Смиряет только яблочною водкой.

Здесь толстозадая, с мясистыми грудями
Шальная девка бродит в час ночной;
Здесь роковая дама с жемчугами
С ума вас не сведет, как в песенке иной.

Сама Мими Пенсон,— последняя Мими,
Что Милланди воспел в чувствительном романсе,
Поет здесь иногда, и вспоминаем мы
Ушедшей Франции старинные кадансы.

Отец Гюбер — хозяин здешних мест.
Ложится поздно он, встает он очень рано,
Философ он теперь, а был вояка рьяный;
Случается, курятинку он ест.

Пускай же в милости господь к нему склонится,
А также богородица — «Все напоказ»!
Пускай между солонкою и банкою с горчицей
Он долго здравствует для нас!

Эти, написанные в сентябре 1915 года, стихи были данью нашей дружбы славному, честному Гюберу, и он был так польщен и тронут, что даже наклеил их на деревянную доску и повесил на видном месте. Но, увы! Не разбогатеешь от торговли, когда покупатели платят стихами! И бедняга Гюбер одно время, не желая закрывать свой кабачок или лишать кредита артистов, после полночи тайно оставлял свою трущобу и отправлялся работать на выгрузку товаров в рынках. Там он зарабатывал для себя, да кстати и для нас, дневное пропитание, не говоря об этом никому, и на утро мы находили его таким же веселым и гостеприимным, со стаканом в руке.

Люди были несправедливы к Гюберу: его принимали за обыкновенного шутника и весельчака, тогда как он был прежде всего истинным филантропом, человеком, очень любившим жизнь и людей. Он ради нас входил в долги,

всегда готов был поделиться похлебкой с бедняками, угощал их по-княжески; а если какой-нибудь из них упрямо отказывался, то Гюбер, искренно удивляясь, давал ему сорок су, чтобы он мог пообедать в заведении напротив.

Там, среди атмосферы низкого распутства, под потолком, с которого сочилась вода, посетители проводили часы в «общем зале», единственной комнате заведения. Туда вела тяжелая дверь прямо с улицы, всегда гостеприимно открытая. Над нею возвышался железный фонарь, очень причудливого вида, разливавший вокруг розовый свет. Женщины, кашляя, запахивая свои пеньюары и ежась от холода, поджидали у этой двери моряков, мелких чиновников, разных подозрительных субъектов, готовых угостить их белым вином. Надо было держать ухо востро, чтобы уберечь свои карманы ночью в этом ужасном месте! Уже с порога вас начинала зазывать и тянуть за рукав какая-нибудь матрона... И не раз, прикованные к месту изумлением, мы были свидетелями зрелищ таких мучительных, что они нас потом преследовали и во сне и наяву. У стойки человек эстетического вида, в очках, бледный, худой как скелет, декламировал с натугой, пронзительным голосом.

В этом проклятом месте имелась собака, большой ньюфаундленд. И какие-то загадочные джентльмены угощали ее водкой. Собака пила. Никогда не забыть мне впечатления от этого зала с его сырыми и липкими перегородками, этих равнодушных, накрашенных женщин, этого пса, этих словно проказой изъеденных зеркал, тусклых и исчерченных. Часто мы уходили оттуда с ощущением ледящей жути. Если существуют где-нибудь части света, места еще более отвратительные, чем эти кварталы, посвященные разврату, кварталы, где можно видеть изнанку человеческой жизни во всем ее разнообразии,— я хотел бы знать, где они? Я хотел бы узнать их, чтобы сравнить с улицей Ласточки. Потому что, мне кажется, я не преувеличу, сказавши, что вряд ли какое-нибудь из этих мест может превзойти мерзостью те кварталы, что прилегают к Сене и тянутся вокруг улицы Мазарини.

В особенности в зимние вечера, когда дует ветер и несет с собою дождь, смешанный со снегом, и навстречу ему звучат резкие свистки буксиров, не надо было долго бродить по улицам, чтобы натолкнуться на приключение. Оно ожидало вас здесь во всех этих лавчонках и кабаках. Вблизи полицейского поста на улице Юшет, там, где сквозь узкий пролет видны вдали вздымающиеся и покачивающие-

ся на воде мачты и дымок над ними, — двери некоторых притонов всегда бывали таинственно приоткрыты. Кто бывал в этих местах, на всю жизнь сохранил жутко тяжелое впечатление. Там, в свете газа, среди убогой роскоши, гирлянд, кукол, за тусклыми стеклами высоких окон, мелькали тени; девушки, одетые в кимоно, причесанные на китайский манер, теснились вокруг пивших мужчин. Толстухи-служанки, мулатки, девчонки из Бельвиля или Вожирара, старые женщины — все делали вам знаки, манили вас к себе — кто от окон с цветными занавесями, кто от ларьков и шкапчиков, превращенных в буфеты; и их «псст!», казалось, гналось за вами по пустынным улицам, преследовало вас во сне, как призыв к невозможной, ужасной любви.

В довоенные годы можно было насчитать десятка два таких притонов, не говоря уже о гостиницах, о комнатах, где девицы, прижав нос к стеклу, подстерегали прохожих. В центре улицы, подле комиссариата с его вылинявшим от дождя флагом, находилась «танцулька», рекламировавшая себя в качестве «семейной», и мы ходили туда танцевать. Когда я приходил туда с Клодьеном и Марио Менье, хозяин, м-сье Бускатель, принимал нас весьма торжественно и, чтобы доставить нам удовольствие, хватался за свою волынку. Играл он действительно мастерски. Под жалобные звуки этого инструмента пары, обнявшись, кружились в танце. Мы не отрывали от них глаз, захваченные гнусавой мелодией «явы», и, постепенно заражаясь этим особым видом опьянения, спешили уйти, успев обменяться тысячью любезностей с хозяином. Это были спокойные, тихие балы. Посещали их большей частью скромные работницы, мелкие служащие, солдаты, комивояжеры. Как непохожа была эта атмосфера спокойного благодушия на то, что делалось в соседних «танцульках»! Там парочки, давно, что называется, «спевшиеся», тискали друг друга с чисто звериной исступленностью и, когда вы проходили, дарили вас взглядом, полным презрения. Здесь же, у Бускателя, — танцорки, скромно опустив ресницы, отдавали удовольствие танца. Они отличались хорошими манерами, и ни разу нам не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь поднял из-за них шум.

Но эти балы, столь мирные, привлекали нас мало. Мы предпочитали кабачок на улице Кармелиток. Здесь, в комнате за буфетом, где было накурено и душно, поминутно, из-за всякого пустяка, из-за глупых вспышек ревности

или соперничества, готова была вспыхнуть и разгореться ссора. Скучное и мрачное освещение, залитые красным вином столики придавали этим кабацким пирушкам какой-то красочный колорит, и, когда раздавались первые выкрики и громогласный аккордеон начинал играть размеренную мелодию известного вальса,— мы чувствовали себя увлеченными и захваченными.

Самая знаменитая из «танцулек» находилась на улице Горы св. Женеьевы, напротив маленькой молочной, где я когда-то имел обыкновение завтракать. Хозяином этой «танцульки» был некто Ваше. Вы попадали сначала в зал, где за буфетной стойкой царил сам хозяин, который, оглядывая с этого наблюдательного пункта всех входящих мужчин и дам, разрешал или не разрешал им, по своему усмотрению, проходить дальше. Пропускались лишь хорошо одетые. У узкого прохода, который вел в «святая святых», висел плакат, возвещавший огромными печатными буквами, каллиграфически выведенными, что «необходимо являться в приличном виде». И я должен сказать, что Ваше-отец умел заставить уважать свои требования. Сын его, Мило, тогда играл среди музыкантов на маленькой эстраде в «зале» отца. Это был настоящий артист. Из аккордеона он извлекал такие звуки, что все женщины млели и уверяли, что «умирают» от любви. Привинченные к полу столы и скамьи тянулись вдоль стен этой залы, оставляя пустым блестящий паркет посередине. Меж двух колонн, на проволоке, висел второй плакат, устанавливающий правила поведения. Бывали тут ночи, когда все, казалось, шло по строгому регламенту,— но бывало и иначе: раньше, чем это можно было предупредить, револьверы начинали стрелять «сами собой», и тогда все мы — мужчины и женщины — вынуждены были искать убежища под столами. Но, кто именно стрелял, оставалось тайной «зала». Все же непосвященные в тайну боязливо наблюдали эти неожиданно вспыхивавшие ожесточенные схватки, кончавшиеся кровопролитием.

Итак, Монмартр имел свои кабачки, Латинский квартал — свои. Но на бульваре Сен-Мишель имелось гораздо больше литературных кафе, чем на бульваре Клиши. К тому же кафе на левом берегу знамениты до сих пор, так как здесь вместо Брюана (который, что ни говори, остается

видной фигурой) оставили по себе память такие люди, как Верлен и его злой гений Рембо, Мореас, Поль Фор, Аполлинер. В одном Латинский квартал уступает Монмартру: там нет художников, которые могли бы соперничать с Лотреком, Дегасом, Пикассо, Утрильо. Но Матисс живет еще до сих пор на набережной Сен-Мишель, Диньейде-Сегонзак и Дерен — оба в одном доме — на улице Бонапарта, а Марке, изображавший на своих картинах свинцовые небо и воду маленького, мертвого рукава Сены, дымки, буксирные суда, — Марке был первоклассным художником. Нет смысла заниматься здесь сравнительной оценкой. Во всяком случае, если Монмартр превосходил Латинский квартал, так сказать, «красочностью» своих типов, то в последнем эти типы были значительно любопытнее и «грознее», хотя вначале это не бросалось в глаза.

Я попал в «Вашет» как раз вовремя, чтобы познакомиться с Мореасом и иметь случай слышать, как он презрительно посвистывал, когда какой-нибудь бестактный человек пытался говорить с ним об Академии. Крашенные усы не мешали ему иметь очень гордый вид, а в замечаниях его, хотя и заносчивых, было много здравого смысла и остроумия. Он проповедовал молодежи, окружавшей его в тесном и шумном зале «Вашет»:

— Напирайте сильнее на принципы!

И затем, поглаживая свои усы и поправляя монокль, с авторитетным видом прибавлял:

— Они в конце концов поддадутся!

Мы его избегали как чумы: до такой степени нас неприятно поражали, особенно в некоторые моменты, язвительная горечь и разочарованность, звучавшие в его словах.

Но, как бы там ни было, Мореас, трезвый или пьяный, всегда тащил за собой целую свиту молодых людей. Он любил молодежь, любил женщин, говорил им очаровательные комплименты, импровизировал в их честь стихи. Помню, при мне раз он так экспромтом сочинил стишок для Марии Лоренсен, где воспевался ее смех и «золото ее прекрасных зрачков». Великий поэт! Покинув вслед за Мореасом кафе «Вашет» (на месте которого вырос впоследствии банк, где я позднее, много позднее, получил свой первый чек), я перебрался на знаменитый Буль-Миш, где мы собирались по вторникам вместе с Полем Фором в Клозери де Лиля, среди неопишуемой сутолоки и криков многочисленных поэтов. Славное было время! Пили. Спорили. Дурачились напропалую...

Длинные волосы Поля Фора, его сомбреро, его черный галстук, его застегнутая доверху куртка резко выделялись своей простотой среди пестрых нарядов, которыми щеголяли собиравшиеся сюда женщины всех сортов и национальностей: шведки, русские, испанки. Сидя между добродушным великаном Дириксом и поэтом Наполеоном Руанаром, Поль Фор рассказывал нам разные истории. Он хохотал, пел, лил в себя стакан за стаканом и, непосредственный как дитя, обнимался со всеми по очереди. Всегда в духе, всегда принимавший нас с открытыми объятиями, умевший каждого обласкать, Поль был очень приятным человеком. Попеременно то буколически, то идиллически настроенный, дружелюбный и простой, он всех очаровывал своим чисто галльским остроумием, изобретательностью, живостью, богатой и пылкой фантазией. Его взгляд проникал вам в самое сердце, как и его тихий, немного шелелявый голос: они передавали вам тот огонь, который жил в нем самом, заражали вас каким-то хмельным весельем.

Надо было слышать, как этот «король поэтов» импровизировал после полуночи в своем королевстве, в Клозери де Лила, баллады, которых он никогда не записывал потом! Надо было слышать, чтобы понять, что такое богатство можно тратить без счета, не боясь, что оно оскудеет. Он был не более как человек, но человек очень любопытный, богато одаренный и шутя покорявший самые замкнутые сердца. На улице, под газовыми фонарями или при свете луны, он непрестанно вертелся, «как яйцо, прыгающее среди водяных струй», пел свои песенки — и потом вдруг вталкивал вас в какой-нибудь мрачный кабаk, где его присутствие сразу все освещало.

Его сопровождали всегда сотрудники журнала «Стихи и проза», которым он руководил. Это были Сальмон с резким профилем, Гийом Аполлинер, Гюи Шарль-Крос, Луи Манден, Александр Мерсеро, Фусс-Аморе, который веселился всюду, Танкред де Визан, Берсокур, Макс Жакоб, Газанион. Кроме них в свите Поля можно было увидеть художников, критиков, нищих, боксеров. Вся эта публика шествовала по пятам поэта, как некогда звери — за Орфеем, и с большой готовностью чокалась с ним за столами кабачков.

Помню, как-то славный поэт и художественный критик Танкред де Визан пришел поделиться со мной новостью о рождении у него третьего ребенка. Мы решили «спрыснуть» это радостное событие и «спрыскивали» его в продолжение двух дней, от воскресенья до вторника, когда, совер-

шенно уже неменяемые, мы столкнулись на бульваре Монпарнас с Полем Фором. Визан хотел было отступить и отправиться домой, но он имел неосторожность показать последние несколько луидоров, еще уцелевшие в его кармане,— и Поль Фор завладел ими.

— Идем их пропивать! — весело заявил наш принц.— Все!.. Все!..

Час был поздний. Но нас пустили в какой-то кабачок,— эти вертепы к вашим услугам всегда, в самые неурочные часы,— и кутеж начался. В этом кабачке, представлявшем собой нечто вроде длинного коридора, среди зеркал, скамеек, мраморных столов,— мы продолжали пить через силу, так как были уже перевозбуждены. Возлияния следовали за возлияниями, и поднялся ужаснейший концерт, причем наиболее пьяные из нашей банды, чтобы еще увеличить шум и кавардак, били стаканы и вскакивали на стулья.

Что было потом? Не знаю, хотя я был в числе этих пьяных буянов. Мне смутно помнится, что, когда опьянение достигло последнего предела, я устроил скандал, потому что мне показалось, что кто-то отозвался неодобрительно о Рембо. А затронуть этого поэта я не мог никому позволить.

Дело окончилось общей ссорой, во время которой какой-то боксер из свиты нашего принца избил меня и выбросил за дверь.

Печальное положение! Лежа на тротуаре, с подбитым глазом, с вывихнутой правой лодыжкой я мало-помалу пришел в себя и снова заорал:

— Да здравствует Рембо!

Тогда надо мной склонился Поль Фор, положив по-братски руку на мой лоб, смеясь и причитая одновременно:

— Рембо?

— Да, Рембо! Да здравствует Рембо!

На этот раз вместо боксера я попал в руки полицейского, который, не понимая моего энтузиазма, предложил мне следовать за ним — и без промедления.

Так как я не торопился исполнить его приказание, он свистнул второго, и оба потащили меня в участок, от туда же — в больницу, где дежурный врач оказал мне первую помощь. На следующий день, держа в руках собственные ботинки, я сидел в фиакре, который вез меня куда глаза глядят.

— Стой! — орал я через каждые тридцать метров.— Извозчик, взгляни, нет ли тут поблизости бара?

Кучер соскакивал с козел, отправлялся за двумя стаканчиками, которые мы дружно распивали тут же у дверцы фиакра; потом мчались во всю прыть дальше, до следующего трактира. Можно себе представить, до какого состояния дошли мы оба — кучер, безоговорочно признавший заслуги Рембо, ибо я его угощал бесплатно, и я, восхищенный такой победой, которая к тому же не стоила мне второй вывихнутой ноги. Этот кучер оказался честным парнем: остановив лошадь у моей двери, он отказался взять с меня плату и, взвалив меня к себе на спину, донес до моей комнаты, к большому развлечению зевак.

В девяти случаях из десяти так кончалась в то время большая часть наших «братских вечерь». Таков был наш способ выражать свое восхищение поэтам (которые свое время употребляли с большою пользой) и, кроме того, стяжать себе в квартале всеобщее признание и почтение. Но в тот раз, о котором я рассказываю, прошел месяц раньше, чем моя нога снова стала мне служить.

В другой раз, ночью, я оказался в таксомоторе вместе с Рашель, тронутый состоянием, в котором я находился, и уплатившей шоферу за то, чтобы он довез меня до моего дома.

— Нет, вези к Паскалю! — потребовал я, как только Рашель сошла.

У Паскаля мое поведение, по-видимому, оставляло желать лучшего, так как возмущенный хозяин уложил меня спать в маленькой боковой комнатке и утром отправил домой в сопровождении полицейского. Я отсыпался два дня и две ночи как зверь и, проснувшись после этого, почувствовал странную боль в ухе. Засунув туда тотчас же пальцы, я вытащил клочок бумаги, аккуратно сложенный вчетверо и запихнутый чуть ли не до самой барабанной перепонки.

Эта невероятно безграмотная записка гласила:

«Франсис, ты был совсем вдрызг, и я взяла деньги, что у тебя были, 14 франков и которые ты приходи в «Даркур» за ними».

Подписано: «Жизель».

И ниже постскрипtum:

«Я взяла эти деньги, чтобы другие женщины их у тебя не стащили».

Боюсь, читатели найдут, что я захожу слишком далеко. Сумасбродства, подобные описанным мною, нельзя, конечно, считать поведением хорошего тона, но как же быть? Рассказал же я второе приключение, чтобы дать представление о той материнской заботливости, какой окружали нас, поэтов, даже тогда, когда мы были мертвецки пьяны, эти девицы с левого берега Сены. С ними мы были в безопасности. Они даже образовали «лигу» для защиты своих приятелей-французов от метэков и часто выручали нас в критические минуты. Помню, я нашел себе хорошо оплачиваемое место секретаря у Луи Вокселля и весьма этим гордился. Однажды вечером, выпив по сему поводу лишнее, глупейшим образом поссорился с каким-то дюжим субъектом, который дал мне такого тумака, что я покатился по полу. Тотчас все «барышни» бросились мне на выручку и помогли отомстить за бесчестие. Но все мы попали в уцасток, и на другое утро Воксель, который намеревался принять меня в секретари, взглядевшись в мою физиономию, осведомился, сколько дней в неделю я способен быть приличен и серьезен.

— Через день,— ответил я ему.

— Прекрасно. В таком случае один день гуляйте, а другой приходите работать.

И этот добрейший в мире человек, уплатив мне вперед за месяц, простился со мной со словами:

— Итак, до послезавтра!

Кто посмеет после этого утверждать, что милость господня не почиет на литераторах? Так мог бы говорить лишь тот, кто — не поэт,— и он бы солгал.

— Скажите, сударь,— спросил у меня совсем недавно один американский репортер, жаждущий, как и все они, получить даром какой-нибудь «материал». — Что вам кажется самой удивительной вещью на свете?

— Право, не знаю.

— Нет, но все-таки... — настаивал этот мошенник, не спуская с меня глаз и держа наготове свою записную книжку.— Вспомните, подумайте! Что вас больше всего удивило в жизни?

— Удивило... в мире... Честное слово, придумал! Пишите: мне кажется самым изумительным на свете то, что я теперь добываю средства к существованию, рассказывая истории, которых не потерпели бы за столом мои родители!

льеметта», «Дениза», ожидали здесь клиентов, под низким, выбеленным известкой сводом. Земляной пол, лари вдоль стен, тяжелые кольца, вделанные в каменные стены, и большие сердца, пронзенные стрелами, изображенные на этих стенах, дополняли впечатление. В этой преисподней пили вино, курили солдатский табак, и субъекты, скрывавшиеся в тени подпиравших свод столбов, одетые в грязные лохмотья и кожаные плащи, весьма походили на знаменитых членов «Раковины».

Сколько раз, наблюдая со своего места эту компанию, я тихонько повторял про себя стихи Вийона, и мне чудилось, что я вижу его стоящим меж столов, полураздетым, с приставшей к его платью землей, с почерневшими руками, с впадинами вместо глаз, — мертвеца, вставшего из могилы.

Да, он незримо присутствовал здесь и пел свою «Балладу о хороших правилах для людей дурной жизни», — а эти люди, о которых и для которых он пел, не видя его, казалось, внимали его голосу, будившему глухой отклик в глубине их дремавшей совести. Мы так тебя любили, Франсуа Вийон! Ты был нам так близок, что мы словно ощущали твое присутствие среди нас за столом, а на улице нам казалось, что ты шагаешь рядом с нами, когда мы возвращались домой при бледном свете наступающего дня и бродячие псы останавливались, боязливо обнюхивали нас и в молчании, словно испуганные невидимым присутствием призрака, убегали прочь. Да, это ты был с нами... И ты исчезал, оставлял нас так неожиданно, что какое-то странное чувство заставляло нас пересчитывать оставшихся, и мы говорили, оглядываясь:

— Стойте! Да где же он?

Монпарнас — это вторая родина Аполлинера. Он первый открыл его и привел нас к Бати. Его повсюду хорошо принимали в этих местах, кишевших пестрой смесью рас. Его присутствие в этом водовороте создало священный союз артистов, как бы фиксировало и выкристаллизовало его.

Речи Гийома давали внимавшей ему толпе поэтов и художников форум для выражения их собственных мыслей и чувств. Им казалось, что они слушают самих себя. Селясь всегда по соседству со своим кузеном Полем Форум, излюбленными местами которого были длинный «Буль-Миш» (бульвар Сен-Мишель), Бюлле, Люксембургский сад и «Клозери де Лиля», Гийом раньше, чем мы успели

оглянуться, расширил границы своего района от кафе «Двух обезьян», где некогда Джерри пожаловал его орденом «Простофили», до улицы де Ренн и того места, где бульвар Распай скрещивается с бульваром Монпарнас. Не довел ли он уже тогда своих разведок до Плезанс, где жил таможенный чиновник Руссо, и не была ли уютная улица Веселья некоторое время его главной резиденцией? В ту эпоху в числе его почитателей был Мореас — Мореас, царивший в «Halles» и «Вашет» и ничего не понимавший в этом новом умонастроении, но вынужденный признать его. Гийом затрагивал все области искусства; живопись и поэзия, как два благороднейших цветка, украшали его картонную корону, и, так как он был страшным кутилой, то в любое время вы могли найти его в кругу его свиты, оравшей: «Король пьет! Король пьет!» и протягивавшей свои стаканы, чтобы чокнуться с ним.

Кабачок «Маркизские острова» не был кабачком обычного типа. Он находился в ближайшем соседстве с полицейским комиссариатом, где поэт Райно выступал в защиту своих товарищей. Собиравшаяся в этом кабачке компания из начинающих художников, девчонок, натурщиц и сутенеров бывала до крайности польщена тем, что Гийом оказывает ей честь своим присутствием, и слушала его с открытым ртом, увлеченная блестящим его красноречием, когда он прославлял гений великого «таможенного чиновника».

Между тем, насколько я помню, Диноайе-де-Сегонзак, Люк-Альберт Моро, Модильяни, все настоящие артисты, пользовались очень небольшим авторитетом у публики, посещавшей «вторники» в кафе Флоры. Первые двое успели с тех пор пробить себе дорогу. Модильяни уже нет в живых, но и он с течением времени занял то большое место, какое ему принадлежало по праву среди артистов его поколения.

А. А. Ахматова

АМЕДЕО МОДИЛЬЯНИ

Я очень верю тем, кто описывает его не таким, каким я его знала, и вот почему. Во-первых, я могла знать только какую-то одну сторону его сущности (сияющую) — ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная двадцатилетняя женщина, иностранка; во-вторых, я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 1911 году. Он весь как-то потемнел и осунулся.

В 10-м году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз. Тем не менее он всю зиму писал мне. Я запомнила несколько фраз из его писем. Вот одна из них: «Vous êtes en moi comme une hantise»¹. Что он сочинял стихи, он мне не сказал.

Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли. Он все повторял: «On communique»². Часто говорил: «Il n'y a que vous pour réaliser cela»³.

Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его — очень короткой, моей — очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания.

Жил он тогда (в 1911 году) в Impasse Falguière⁴. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято. Он вообще не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Только один раз в 1911 году он сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом.

Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он с кем-нибудь раскланивался в Люксембургском саду или в Латинском квартале, где все более или менее знали друг друга. Я не слышал от него ни одного имени знакомого, друга или художника, и я не слышала от него ни одной шутки. Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином. Очевидно, он стал пить позже, но гашиш уже как-то фигурировал в его рассказах.

¹ Вы во мне как наваждение (фр.).

² Передача мыслей (фр.).

³ Это умеете только вы (фр.).

⁴ Тупике Фальгьера (фр.).

Очевидной подруги жизни у него тогда не было. Он никогда не рассказывал новелл о предыдущей влюбленности (что, увы, делают все). Со мной он не говорил ни о чем земном. Он был учтив, но это было не следствием домашнего воспитания, а высоты его духа.

В это время он занимался скульптурой, работал во двореке возле своей мастерской, в пустынном тупике был слышен звук его молоточка. Стены его мастерской были увешаны портретами невероятной длины (как мне теперь кажется — от пола до потолка). Воспроизведения их я не видела — уцелели ли они? Скульптуру свою он называл *La chose*¹ — она была выставлена, кажется, у «*Indépendants*»² в 1911 году. Он попросил меня пойти посмотреть на нее, но не подошел ко мне на выставке, потому что я была не одна, а с друзьями. Во время моих больших пропаж исчезла и подаренная им мне фотография с этой вещи.

В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверял, что все остальное (*tout le reste*) недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта. Очевидно, Египет был его последним увлечением. Уже очень скоро он становится столь самобытным, что ничего не хочется вспоминать, глядя на его холсты. Теперь этот период Модильяни называют *période nègre*³.

Он говорил «*Les bijoux doivent être sauvages*»⁴ (по поводу моих африканских бус) и рисовал меня в них. Водил меня смотреть *le vieux Paris derrière le Panthéon*⁵ ночью при луне. Хорошо знал город, но все-таки мы один раз заблудились. Он сказал: «*J'ai oublié qu'il y a l'île au milieu*»⁶. Это он показал мне *настоящий* Париж.

По поводу Венеры Милосской говорил, что прекрасно сложенные женщины, которых стоит лепить и писать, всегда кажутся неуклюжими в платьях.

В дождик (в Париже часто дожди) Модильяни ходил с огромным очень старым черным зонтом. Мы иногда сидели под этим зонтом на скамейке в Люксембургском

¹ Вещь (фр.).

² «Независимых» (фр.) (Общество независимых художников).

³ Негритянский период (фр.).

⁴ «Драгоценности должны быть дикарскими» (фр.).

⁵ Старый Париж за Пантеоном (фр.).

⁶ «Я забыл, что посередине находится остров» (фр.).

саду, шел теплый летний дождь, около дремал Le vieux palais à l'Italienne ¹, а то мы в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи.

Я читала в какой-то американской монографии, что, вероятно, большое влияние на Модильяни оказала Беатриса Х ², та самая, которая называет его «perle et porcelet» ³. Могу и считаю необходимым засвидетельствовать, что ровно таким же просвещенным Модильяни был уже задолго до знакомства с Беатрисой Х., т.е. в 10-м году. И едва ли дама, которая называет великого художника поросенком, может кого-нибудь просветить.

Люди старше нас показывали, по какой аллее Люксембургского сада Верлен, с оравой почитателей, из «своего кафе», где он ежедневно витийствовал, шел в «свой ресторан» обедать. Но в 1911 году по этой аллее шел не Верлен, а высокий господин в безукоризненном сюртуке, в цилиндре, с ленточкой Почетного легиона, — а соседи шептались: «Анри де Ренье!»

Для нас обоих это имя никак не звучало. Об Анатоле Франсе Модильяни (как, впрочем, и другие просвещенные парижане) не хотел и слышать. Радовался, что я его тоже не любила. А Верлен в Люксембургском саду существовал только в виде памятника, который был открыт в том же году. Да, про Гюго Модильяни просто сказал: «Mais Hugo — c'est declamatoire» ⁴.

* * *

Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я, зайдя за Модильяни, не застала его и решила подождать его несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла.

¹ Старый дворец в итальянском стиле (фр.).

² Цирковая наездница из Трансвааля (см. статью P. Guillaume в «Les arts à Paris», 1920, № 6, с. 1—2). Подтекст, очевидно, такой: «Откуда же провинциальный еврейский мальчик мог быть всесторонне и глубоко образованным?» (Примеч. авт.)

³ Жемчужиной и поросенком (фр.).

⁴ А Гюго — высокопарен (фр.).

Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. «Не может быть, — они так красиво лежали...»

Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, заслышав его шаги в сонной тишине улицы, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами.

То, чем был тогда Париж, уже в начале двадцатых годов называлось «*vieux Paris*»¹ или «*Paris avant guerre*»². Еще во множестве процветали фиакры. У кучеров были свои кабачки, которые назывались «*Au rendez-vous des cochers*»³, и еще живы были мои молодые современники, вскоре погибшие на Марне и под Верденом. Все левые художники, кроме Модильяни, были признаны. Пикассо был столь же знаменит, как сегодня, но тогда говорили «Пикассо и Брак». Ида Рубинштейн играла Шехерезаду, становились изящной традицией Дягилевские *ballets russes*⁴ (Стравинский, Нижинский, Павлова, Карсавина, Бакст).

Мы знаем теперь, что судьба Стравинского тоже не осталась прикованной к десятым годам, что творчество его стало высшим музыкальным выражением духа XX века. Тогда мы этого еще не знали. 20 июня 1910 года была поставлена «Жар-птица». 13 июня 1911 года Фокин поставил у Дягилева «Петрушку».

Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена (бульвар Raspail⁵). Вернер, друг Эдисона, показал мне в *Taverne de Panthéon*⁶ два стола и сказал: «А это ваши социал-демократы — тут большевики, а там — меньшевики». Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (*jupes-culottes*), то почти пеленали ноги (*jupes-entravées*). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.

¹ Старый Париж (фр.).

² Довоенный Париж (фр.).

³ «Встреча кучеров» (фр.).

⁴ Русские балетные сезоны (фр.).

⁵ Распай (фр.).

⁶ Кабачок Пантеон (фр.).

Рене Гиль проповедовал «научную поэзию», и его так называемые ученики с превеликой неохотой посещали мэтра.

Католическая церковь канонизировала Жанну д'Арк.

Et Jehanne la bonne Lorraine
Qu'Anglois brulèrent à Rouen ¹...

Я вспомнила эти строки бессмертной баллады, глядя на статуэтки новой святой. Они были весьма сомнительного вкуса, и их начали продавать в лавочках церковной утвари.

* * *

Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки (например, в «Аполлоне» 1911 г.). Над «аполлоновской» живописью («Мир искусства») Модильяни откровенно смеялся.

Меня поразило, как Модильяни нашел красивым одного заведомо некрасивого человека и очень настаивал на этом. Я уже тогда подумала: он, наверно, видит все не так, как мы.

Во всяком случае, то, что в Париже называют модой, украшая это слово роскошными эпитетами, Модильяни не замечал вовсе.

Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, — эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы Революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие «ню»...

Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов: Верлена, Лафорга, Малларме, Бодлера.

Данте он мне никогда не читал. Быть может, потому, что я тогда еще не знала итальянского языка.

Как-то раз сказал: «J'ai oublié de vous dire que je suis

¹ Где Жанна, воин без укора,
В Руане кончившая век... (перевод Н. С. Гумилева).

juif»¹. Что он родом из-под Ливорно — сказал сразу, и что ему двадцать четыре года, а было ему — двадцать шесть.

Говорил, что его интересовали авиаторы (по-теперешнему — летчики), но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался: они оказались просто спортсменами (чего он ждал?).

В это время ранние, легкие² и, как всякому известно, похожие на этажерки, аэропланы кружились над моей ржавой и кривоватой современницей (1889) — Эйфелевой башней.

Она казалась мне похожей на гигантский подсвечник, забытый великаном среди столицы карликов. Но это уже нечто гулливеровское.

* * *

...а вокруг бушевал недавно победивший кубизм, оставшийся чуждым Модильяни.

Марк Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск, а по парижским бульварам разгуливало в качестве неизвестного молодого человека еще не взошедшее светило — Чарли Чаплин. «Великий Немой» (как тогда называли кино) еще красноречиво безмолвствовал.

* * *

А далеко на севере... в России умерли Лев Толстой, Врубель, Вера Комиссаржевская, символисты объявили себя в состоянии кризиса, и Александр Блок пророчествовал:

О, если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней...

Три кита, на которых ныне покоится XX в. — Пруст, Джойс и Кафка, — еще не существовали как мифы, хотя и были живы как люди.

¹ «Я забыл Вам сказать, что я — еврей» (фр.).

² См. у Гумилева:

На тяжелых и гулких машинах
Грозовые пронзять облака. (Примеч. авт.)

* * *

В следующие годы, когда я, уверенная, что такой человек должен просиять, спрашивала о Модильяни у приезжающих из Парижа, ответ был всегда одним и тем же: не знаем, не слышали¹.

Только раз Н. С. Гумилев, когда мы в последний раз вместе ехали к сыну в Бежецк (в мае 1918 г.) и я упомянула имя Модильяни, назвал его «пьяным чудовищем» или чем-то в этом роде и сказал, что в Париже у них было столкновение из-за того, что Гумилев в какой-то компании говорил по-русски, а Модильяни протестовал. А жить им обоим оставалось примерно по три года (...).

К путешественникам Модильяни относился пренебрежительно. Он считал, что путешествие — это подмена истинного действия. «Les chants de Maldoror» постоянно носил в кармане; тогда эта книга была библиографической редкостью. Рассказывал, как пошел в русскую церковь к пасхальной заутрене, чтобы видеть крестный ход, так как любил пышные церемонии. И как некий «вероятно, очень важный господин» (надо думать — из посольства) похристосовался с ним. Модильяни, кажется, толком не разобрал, что это значит...

Мне долго казалось, что я никогда больше о нем ничего не услышу... А я услышала о нем очень много...

* * *

В начале нэпа, когда я была членом правления тогдашнего Союза писателей, мы обычно заседали в кабинете Александра Николаевича Тихонова (Ленинград, Моховая, 36, издательство «Всемирная литература»). Тогда снова наладились почтовые сношения с заграницей, и Тихонов получал много иностранных книг и журналов. Кто-то (во время заседания) передал мне номер французского художественного журнала. Я открыла — фотография Модильяни... Крестик... Большая статья типа некролога; из нее я узнала, что он — великий художник XX века (помнится, там его сравнивали с Боттичелли), что о нем уже

¹ Его не знали ни А. Экстер, которая дружила в Париже с итальянским художником S. (Соффичи), ни Б. Анреп (известный мозаичист), ни Н. Альтман, который в эти годы (1914—1915) писал мой портрет. (Примеч. авт.)

есть монографии по-английски и по-итальянски. Потом, в тридцатых годах, мне много рассказывал о нем Эренбург, который посвятил ему стихи в книге «Стихи о канунах» и знал его в Париже позже, чем я. Читала я о Модильяни и у Карко, в книге «От Монмартра до Латинского квартала», и в бульварном романе, где автор соединил его с Утрилло. С уверенностью могу сказать, что этот гибрид на Модильяни десятого — одиннадцатого годов совершенно не похож, а то, что сделал автор, относится к разряду запрещенных приемов.

Но и совсем недавно Модильяни стал героем достаточно пошлого французского фильма «Монпарнас, 19». Это очень горько!

В. В. Маяковский

ПАРИЖ

(Записки Людогуса)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вы знаете, что за птица Людогусь? Людогусь — существо с тысячеверстой шеей: ему виднее!

У Людогуса громадное достоинство: «возвышенная» шея. Видит дальше всех. Видит только главное. Точно устанавливает отношения больших сил.

У Людогуса громадный недостаток: «поверхностная» голова — маленьких не видно.

Так как буковки — вещь маленькая (даже называется — «петит!»), а учебники пишутся буковками, то с такого расстояния ни один предмет досконально не изучишь.

Записки Людогуса блещут всеми людогусьими качествами.

О ЧЕМ!

О парижском искусстве + кусочки быта.

До 14 года нельзя было выпускать подобные записки.

В 22 году — необходимо.

До войны паломники всего мира стекались приложиться к мощам парижского искусства.

Париж знали наизусть.

Можно не интересоваться событиями 4-й Тверской-Ямской, но как же не знать последних мазков сотен ателье улицы Жака Калло?!

Сейчас больше знакомых с полюсами, чем с Парижем.

Полюс — он без Пуанкарей. Он общительнее.

СХЕМА ПАРИЖА

После нищего Берлина — Париж ошеломляет.

Тысячи кафе и ресторанов. Каждый, даже снаружи, уставлен омарами, увешан бананами. Бесчисленные парфюмерии ежедневно разбираются блистательными покупателями духов. Вокруг фонтанов площади Согласия вальсируют бесчисленные автомобили (кажется, есть одна, последняя, лошадь, — ее показывают в зверинце). В Майолях, Альгамбрах — даже во время действия, при потушенных люстрах — светло от бесчисленных камней бриллиантщиц. Ламп одних кабаков Монмартра хватило бы на все российские школы. Даже тиф в Париже (в Париже сейчас свирепствует брюшной тиф) и то шикарный: парижане его приобретают от устриц.

Не поймешь! Три миллиона работников Франции сожрано войной. Промышленность исковеркана приспособлением к военному производству. Области разорены нашествием. Франк падает (при мне платили 69 за фунт стерлингов!). И рядом — все это великолепие!

Казалось бы, для поддержания даже половины этой роскоши — каждый дом Парижа надо бы обратить в завод, последнего безземельного депутата поставить к станку.

Но в домах, как и раньше, трактиры.

Депутаты, как и раньше, вертят языками.

Хожу улицами. Стараюсь понять схему парижского дня, найти истоки золота, определить размеры богатства.

Постепенно вырисовывается такая схема:

Деловой день (опускаю детали) — все, начиная с Палаты депутатов, с крупнейших газет, кончая последней консьержкой, стараются над добычей золота не из каких-нибудь рудников, а из разных подозрительных бумажек: из Версальского договора, из Севрского, из обязательств нашего Николая. Трудится Пуанкаре, выкраивает для Германии смирительную рубашку репараций. Трудится газета, травящая Россию, мешающую международным грабегам.

Трудится консьержка, поддерживая свое правительство по мере сил и по количеству облигаций русских займов.

Те, кто урвали из возмещенных «военных убытков», идут в Майоли. Те, кто только получили жалование, при выколачивании, шествуют в кафе. Те, кто ничего не получили, текут в кино, смотреть призывы правительства к размножению (надо «переродить» немцев!), любуются «самым здоровым новорожденным Парижа», стараются рассчитать, во сколько франков такой род обойдется в хозяйстве, и... слабо поддаются агитации.

А утром возвращающихся из Монмартра встречают повозки зелени окрестных фермеров, стекающихся в Галль — «Желудок Парижа».

Крестьяне получают бумажки и медь, оставшиеся от размена германских золотых марок. Париж получает свою порцию салатов и моркови для восстановления сил трудящихся Пуанкарей и консьержек.

К сожалению (для Парижа), это не перпетуум мобиле.

Все меньше французов, все больше доллароносных американцев лакомятся Парижем. Американцы ездят в Париж так же, как русские в Берлин, — отдохнуть. Им дешево!

Все меньше надежд на целительные свойства германских марок.

Париж начинает понимать — времена феодализма прошли. Военной податью не проживешь. Париж подымает голову. Париж старается заглянуть через «санитарные паспорта» специальных комиссаров полиции. Склоняют парижские газеты слова: «мораторий», «отсрочка», «передышка». Кричат с газетных страниц 270 интервью Эррио.

ИСКУССТВО ПАРИЖА

До войны Париж в искусстве был той же Антантой. Париж приказывал, Париж выдвигал, Париж прекращал. Так и называлось: парижская мода.

Критики (как всегда, недоучившиеся художники) были просто ушиблены Парижем.

Что бы вы ни делали нового, резолюция одна: в Париже это давно и лучше.

Вячеслав Иванов так и писал:

Новаторы до Вержболова!
Что ново здесь, то там не ново.

Доходили до смешного:

В Москве до войны была выставка французов и русских. Критик Койранский назвал русских жалкими подражателями и выхвалял какой-то натюрморт Пикассо. На другой день выяснилось, что служитель перепутал номера, и выхваляемая картина оказалась кисти В. Савинкова, ученика жалких «подражателей», а сам Пикассо попал в «жалкие».

Было до того конфузно, что газеты даже писать об этом отказались. Тем конфузнее, что на натюрморте были сельди и настоящая великорусская краюха черного хлеба, совершенно немислимая у Пикассо.

Даже сейчас достаточно выступить в Париже, и вам обеспечены и приглашение в Америку и успех в ней. Так, например, даже провалившийся в Париже Балиев выгребает ведрами доллары из янки.

Восемь лет Париж работал без нас. Мы работали без Парижа.

Я въезжал с трепетом, смотрел с самолюбивой внимательностью.

А что, если опять мы окажемся только Чухломою?

ЖИВОПИСЬ

Внешность (то, что вульгарные критики называют формой) всегда преобладала во французском искусстве. В жизни это дало «парижский шик», в искусстве это дало перевес живописи над другими искусствами.

Живопись — самое распространенное, самое влиятельное искусство Франции. Не говорю даже о квартирах. Кафе и рестораны сплошь увешаны картинами. На каждом шагу магазин-выставка. Огромные домища — соты-ателье. Франция дала тысячу известных имен. А на каждого с именем приходится еще тысяча пишущих, у которых не только нет имени, но и фамилия их никому не известна, кроме консьержки.

Перекидываюсь от картины к картине. Выискиваю какое-нибудь открытие. Жду постановки новой живописной задачи. Добиваюсь в картине раскрытия лица сегодняшнего Парижа.

Заглядываю в уголки картин — ищу хоть новое имя.
Напрасно.

По-прежнему центр — кубизм. По-прежнему Пикассо — главнокомандующий кубистической армией.

По-прежнему грубость испанца Пикассо «облагораживает» неприятнейший зеленоватый Брак.

По-прежнему теоретизируют Меценже и Глез.

По-прежнему старается Леже вернуть кубизм к его главной задаче — объему.

По-прежнему непримиримо воюет с кубистами Делоне.

По-прежнему «дикие» — Дерен, Матисс — делают картину за картиной.

По-прежнему при всем при этом имеется последний крик. Сейчас эти обязанности несет всеотрицающее и всеутверждающее «да-да».

И по-прежнему... все заказы буржуа выполняются бесчисленными Бланшами. Восемь лет какой-то деятельнейшей летаргии.

Это видно ясно каждому свежеприехавшему.

Это чувствуется и сидящими в живописи.

С какой ревностью, с какими интересами, с какой жадностью расспрашивают о стремлениях, о возможностях России.

Разумеется, не о дохлой России Сомовых, не об окончательно скомпрометировавшей себя культуре моментально за границей переходящих к Гиппиусам Малявиных, а об октябрьской, об РСФСР.

Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства — конструктивизм. Даже удивляешься, что это слово есть во французском лексиконе.

Не конструктивизм художников, которые из хороших и нужных проволок и жести делают ненужные сооружения. Конструктивизм, понимающий формальную работу художника только как инженерию, нужную для оформления всей нашей практической жизни.

Здесь художникам-французам учиться у нас.

Здесь не возьмешь головной выдумкой. Для стройки новой культуры необходимо чистое место... Нужна октябрьская метла.

А какая почва для французского искусства? — Паркет парижских салонов!

ТЕАТР ПАРИЖА

Париж гордится своей Комедией, театром Сары Бернар, Оперой... Но парижане ходят в Альгамбру, к Майолю и в прочие веселые места. Туда и я.

Тем более, что драма и, конечно, опера и балет России несравненно и сейчас выше Парижа. Но меня даже не интересовало сравнивать наши руины с чужими и гордиться величием собственных. В Альгамбре и Фоли-Бержер, кроме искусства, которым живет сейчас масса Парижа, выступают быт, темперамент, одобрение и негодование пылких французов.

Популярность этих ревью-обозрений потрясающа.

У нас сейчас корпят над десятком постановок в сезон и все же через неделю с ужасом окидывают партерные плечи.

В Париже ревью идет год, в огромном театре перекидывает четырехсотые спектакли на следующий год, и все время сидят, стоят и висят захлебывающиеся восторгом люди.

Актриса может сколько угодно под бешеный джаз-банд выламывать руки и ноги, но никто из публики не должен даже слегка поломать голову.

Каков вкус?

ВКУС МАХРОВОГО БУРЖУА

Это Майоль. Крохотный зал. Со сцены в публику мостки.

Войдя, оглядев балкон, я сначала удивился, чего это публика голые колени на барьер положила. Ошибся. Наклонились почтенные лысины. Сверху, должно быть, выглядывает фантастическим бильярдом в триста лоснящихся шаров.

В обозрении три действия. Сюжет простой. В трех действиях бегают, декламируют и поют любовные вещи, постепенно сводя на нет количество одежды. Кончается все это грандиозным гопаком в русских костюмах. Очевидно, наша эмиграция приучила уважать «национальное достоинство России».

Три актрисы выходят с огромными вазами конфет (эти же вазы — почти единственная одежда) и начинают храбро бомбардировать этими конфетами раскрасневшиеся и влажные от удовольствия лысины...

С полчаса в зале стоит «здоровый, бодрящий» смех. Это культурное развлечение кончается для официальности легким демократическим выступлением.

Шансонетка поет под оркестр с проскальзывающими нотами марсельезы — о презрении к законам, о вражде к государству и о свободе... есть, пить и любить на Монмартре.

«Я свободной Монмартрской республики дочь».

РАЗНОЦВЕТНЫЙ ВКУС

Это Альгамбра. Многоярусный театр. Вкусы пестрые — от благородного партера до блузной галерки.

Программа тоже пестрая — от балерин-наездниц до драмы Мистингет.

Здесь уже видишь эпизодики отражений внутривариантской борьбы.

Первый номер — дрессированные попугаи.

Дама расставила антантовские флажки: французский, английский, японский.

Попугай за ниточку будет подымать любой, по желанию публики.

Дама предлагает публике выбирать.

В ответ с одной стороны галерки крик басом:

— Русский!

С другой — тенором:

— Большевик!

Дама смущена, извиняется:

— Таких нет!

Партер и половина ярусов свистит и цыкает на галерку.

Когда, наконец, согласились на американском, перепуганный попугай, которому пришлось принять участие в «классовой борьбе» в незавидной роли соглашателя, уже ничего не мог поднять, кроме писка.

Страсти рассеяли музыкой два англичанина, игравшие на скрипках, бегая, танцуя и перекидываясь смычками.

Окончательно страсти улеглись на «драме» Мистингет.

Драма несложная. Верзила заставляет любовницу принять участие в крушении и ограблении поезда. Кладут на рельсы камень. Мистингет в отчаянии. Ей грозят. Все же она старается предупредить машиниста. Не может.

Каким-то чудом ей удается под носом паровоза свернуть камень на головы бандитов. Поезд прошел. Бандиты убиты. Порок покаран... Добродетель восторжествовала.

Эта мораль (разыгранная, правда, Мистингет поразительным языком с поразительным искусством) примиряет всех разнопартийных, но одинаково сентиментальных парижан.

На следующем номере страсть разгорается.

Трансформатор.

Изображает всех — от Жореса до Николая Второго.

Безразлично проходят Вильсон, Римский папа и др.

Но вот — Пуанкаре! — и сразу свист всей галерки и аплодисменты партера.

Скорей разгримировывается.

— Жорес! — Свист партера и аплодисменты галерки.

— Русский несчастный царь. — Красный мундир и рыжая борода Николая.

Оркестр играет: «Ах, зачем эта ночь так была хороша».

Бешеный свист галерки и аплодисменты партера.

Скорей обрывает усы, ленту и бородку.

Для общего успокоения:

— Наполеон!

Сразу рукоплескания всего зала. В Германии в точно таких случаях показывают под занавес Бисмарка.

Здесь веселее.

Если эта, все же рафинированная аудитория так страстна в театре, то как «весело» будет Пуанкаре, когда ареной настоящей борьбы станут улицы Парижа.

СЕРЫЙ ВКУС

Ревю Фоли-Бержер. Театр мещан. Театр обывателя. Огромный, переплетенный железом. Напоминает питерский Народный дом.

Здесь и вкус Майоля — только чтобы не чересчур голый.

И вкус Альгамбры — только чтобы мораль семейная.

Но зато, если здесь и полуголые, то в общепарижском

масштабе. Сотни отмахивающихся ногами англичанок. Максимум смеха и радости, когда вся эта армия, легши на пол, стала вздымать под занавес то двести правых, то двести левых ног.

Это единственный номер из всех, виданных мною в парижских театрах, который был дважды бисирован.

Даже драма Мистингет здесь была бы неуместна.

Смех, конечно, вызывается тем, что актеры играют пьяных, не попадающих в рукав, садящихся на собственные цилиндры. И конечно, общий восторг, общая радость — вид собственного быта, собственной жизни.

Это сцена у консьержки. Роженица. Но и посланные за акушеркой, и сама акушерка, и доктор — все остаются замороженные рассказом консьержкиной дочки о кино и философией самой консьержки. Врывается рассвирепевший отец, его успокаивают: за разговором французик успел родиться сам. Приблизительно так.

И это идет, идет и идет ежедневно.

А ЧТО ЕЩЕ?

Это, конечно, не арена для одиноких художников, революционизирующих вкус.

Что же делают они?

Новых постановок я и не видел.

Говорили о пьесе молодого сейчас «левого» Кокто: не то «Бык на крыше», не то «Свадьба на Эйфелевой башне». Современная пьеса, шедшая для «красоты» чуть ли не в кринолиновых костюмах... О Софокле в Пикассо. Мешанина. Однобокость. И она будет всегда, пока будут стараться натянуть новую форму на отмирающий быт Парижа. А у нас новый быт вкрутить в старую форму.

Хороший урок и для новаторов России.

Хочешь найти резонанс революционному искусству — крепи завоевания Октября!

поэту
 не надо многого,—
 пусть
 только
 время
 скорей родит
 такого, как я,
 быстроногого.
 Мы рядом
 пойдем
 дорожной пылью.

Одно
 желание пучит:
 мне скучно —
 желаю
 видеть в лицо,
 кому это
 я
 попутчик?!
 «je suis un chateau»
 в плакате стоят
 литеры,
 каждая — фут.
 Совершенно верно:
 «je suis»,—
 это
 «я»,
 а «chateau» —
 это
 «я верблюд».

Лиловая туча,
 скорей нагнись,
 меня
 и Париж полей,
 чтоб только
 скорей
 зацвели огни
 длиной
 Елисейских полей.
 Во все огонь —
 и небу в темь,
 и в чернь промокшей пыли.
 В огне
 жуками

всех систем
жужжат
 автомобили.
Горит вода,
 земля горит,
горит
 асфальт
 до жжения,
как будто
 зубрят
 фонари
таблицу умножения.
Площадь
 красивей
 и тысяч
 дам-болонок.
Эта площадь
 оправдала б
 каждый город.
Если б был я
 Вандомская колонна,
я б женился
 на Place de la Concorde.

NOTRE-DAME

Другие здания
 лежат
 как грязная кора,
в воспоминании
 о Notre-Dame'e.
Прошедшего
 возвышенный корабль,
о время зацепившийся
 и севший на мель.
Раскрыли дверь —
 тоски тяжелей;
желе
 из железа —
 нелепее.
Прошли
 сквозь монаший
 служилый елей

в соборное великолепие.
Читал
письмена,
украшавшие храм,
про боговы блага
на небе.
Спускался в партер,
подымался к хорам,
смотрел удобства
и мебель.

Я вышел —
со мной
переводчица-дура,
щебечет
бантиком-ротиком:
«Ну, как вам
нравится архитектура?
Какая небесная готика!»
Я взвесил все
и обдумал, —
ну вот:
он лучше Блаженного Васьки.
Конечно,
под клуб не пойдет —
темноват,-
об этом не думали
классики.
Не стиль...
Я в этих делах не мастак.
Не дался
старью на съедение.
Но то хорошо,
что уже места
готовы тебе
для сидения.
Его
ни к чему
перестраивать заново —
приладим
с грехом пополам,
а в наших —
ни стульев нет,
ни органов.

Копнешь —
 одни купола.
 И лучше б оркестр,
 да игра дорога —
 сначала
 не будет финансов,—
 а то ли дело
 когда орган —
 играй
 хоть пять сеансов.
 Ясно —
 репертуар иной —
 фокстроты,
 а не сопенье.
 Нельзя же
 французскому госкино
 духовные песнопения.
 А для рекламы —
 не храм,
 а краса —
 старайся
 во все тяжкие.
 Электрорекламе —
 лучший фасад:
 меж башен
 пустить перетяжки,
 да буквами разными:
 «Signe de Zorro» ¹,
 чтоб буквы бежали,
 как мышь.
 Такая реклама
 так заорет,
 что видно
 во весь Boulmich.
 А если
 и лампочки
 вставить в глаза
 химерам
 в углах собора,
 тогда —
 никто не уйдет назад:
 подряд —

¹ Знак Зорро (фр.).

битковые сборы!
Да, надо
быть
бережливым тут,
ядром
чего
не попортив.
В особенности,
если пойдут
громить
префектуру
напротив.

ВЕРСАЛЬ

По этой
дороге
спеша во дворец,
бесчисленные Людовики
трясли
в шелках
золоченых каретц
телес
десятипудовики.
И ляжек
своих
отмахав шатуны,
по ней,
марсельзой пропет,
плюя на корону,
теряя штаны,
бежал
из Парижа
Капет.
Теперь
по ней
веселый Париж
гоняет
авто россияв,—
кокотки,
рантье, подсчитавший барыш,
американцы
и я.

Версаль.

Возглас первый:

«Хорошо жили стервы!»

Дворцы

на тыщи спален и зал —

и в каждой

и стол

и кровать.

Таких

вторых

и построить нельзя —

хоть целую жизнь

воровать!

А за дворцом,

и сюды

и туды,

чтоб жизнь им

была

свежа,

пруды,

фонтаны

и снова пруды

с фонтаном

из медных жаб.

Вокруг,

в поощренье

жантильных манер,

дорожки полны статуями —

везде Аполлоны,

а этих

Венер

безруких,—

так целые уймы.

А дальше —

жилья

для их Помпадурш —

Большой Трианон

и Маленький.

Вот тут

Помпадуршу

водили под душ,

вот тут

помпадуршины спаленки.

Смотрю на жизнь —

ах, как не нова!
Красивость — аж дух выматывает!
Как будто
влип
в акварель Бенуа,
к каким-то
стишкам Ахматовой.
Я все осмотрел,
поощупал вещи.
Из всей
красотищи этой
мне
больше всего
понравилась трещина
на столике
Антуанетты.
В него
штыка революции
клин
вогнали,
пляша под распевку,
когда
санкюлоты
поволокли
на эшафот
королевку.
Смотрю,
а все же —
завидные видики!
Сады завидные —
в розах!
Скорей бы
культуру
такой же выделки,
но в новый,
машинный розмах!
В музее
вот эти
лачуги б вымести!
Сюда бы —
стальной
и стекольный
рабочий дворец

множество знаменитостей, которые всегда наполняют атмосферу великого города двухминутным блеском своих имен. Лишь старому «тигру» уступает ныне пер-ля-Сериз в популярности, как уступал прежде Сарре Бернар.

Кто же он, наконец, этот прославленный пер-ля-Сериз? — Да никто. Или почти никто. Игрок на скачках.

В Париже и его окрестностях чуть ли не десять прекрасных ипподромов, и нет дня, круглый год, без перерыва, чтобы хоть на одном из них не было скачек, которые так страстно любимы и посещаемы парижанами. Правда, бывают изредка хмурые, дождливые дни, совпадающие с неинтересными скачками на малые призы, когда аристократические трибуны (*Pesage*) слегка пустуют. Но демократическая дешевая лужайка (*Pelouse*) всегдалюдна, невзирая на дождь, снег, мороз, град, молнию, ураган и чертовский зной. В большие дни она сплошь черная и кипящая народом — вмещает сто тысяч зрителей. И всегда вы на ней можете без труда разыскать пер-ля-Сериз'а по его большому росту, толщине, громкому голосу, домашнему, небрежному костюму и великолепному носу. Вокруг него, в ожидании первого звонка, особенно густеет толпа.

Он знаменит, а слава обладает магнитным притяжением. Он удачливый игрок, а вся масса, толпящаяся на лужайке, состоит из горячих игроков. Он великий знаток конюшен, тренеров, жокеев и лошадей с их родословными, вплоть до прадедов и прабабок, но кто же из бесчисленных зрителей не слагал и не учитывал сегодня с утра всех этих данных, включая сюда еще возраст, пол, вес, характер и погоду.

Но главное — пер-ля-Сериз говорит остро, быстро и забавно. В Париже безмерно чтут хорошо сказанное слово: все равно, будь это красноречие клоуна, уличного продавца гластуков и подтяжек, митингового крикуна, смелого адвоката или любимого депутата. Каждый француз — природенный оратор, исключая немых, а также заик, которых в Париже вовсе нет. Во Франции, впрочем, говорят и мертвые; и всегда — блестяще.

Конечно, у многих слушателей пер-ля-Сериз'а есть тайная, корыстная надежда на то, что этот продавец скачечных судеб возьмет да и расщедрится на счастливое *tuau*¹. Оттого-то пер-ля-Сериз'а и осыпают со всех сторон торопливыми, игриво-жадными вопросами. Он отвечает охотно, легко и забавно, но в духе дельфийского оракула, которому

¹ Подсказка (*фр.*).

вздумалось побалагурить. Обращаются к нему на «ты», но тут нет ничего обидного. Скорее это заслуженный почет. Парижская толпа всегда тыкает своим прочным любимцам, и это ценно для них, подобно тому как в старое время «ты» в устах короля было для придворных высшим знаком отличия, одобрения и близости.

— Вы хотите непременно выиграть на первом месте в призе «Лютеция», — говорит пер-ля-Сериз, щуря свои тяжеловесные, лукавые глаза, — нет ничего легче. Поставьте сразу на всех восемь лошадей. Выигрыш несомненен.

Спрашивавший возражает кисло:

— Да. А если придет Фаворит и за него дадут десять су?

— Ах, мой друг. Тогда не ставьте вовсе. Знаете закон: кто уходит со своими деньгами — тот всегда в выигрыше.

— Пер-ля-Сериз! Что ты думаешь о Ньюдо? Есть ли у него сегодня шансы?

— Как я тебе отвечу на это, старина? Ньюдо — прекрасный жокей, — вот и все. Но чтобы сказать о шансах жокея, надо знать, что он вчера делал, что ел и как он провел ночь; в каком состоянии его желудок и как обстоят его любовные дела. А я знаю только его вес... Шестьдесят два кило.

— Аркебуз? — это лошадь! Ставь на нее, малютка, ставь все, что у тебя есть в кошельке, в портфеле и в заднем кармане. Выигрыш верный. Но одно маленькое-маленькое условие. С Аркебузом, видишь ли, поскачут еще пять лошадей. И надо непременно, чтобы одна из них сбросила своего всадника, другая упала на препятствии, третья занеслась в сторону, по ложному пути, четвертая внезапно захромала, а пятая вдруг остановилась бы перед барьером и ни за что не захотела его брать. Тогда Аркебуз притащит тебе, мой крошка, целый вагон денег. Не забудь только пригласить меня на обед с устрицами и анжуйским вином. Я тебе дал отличный подсказ.

— Нет, я не пророк, господа, и не ясновидящий. Только я, как и вы, учился в школе арифметике. Хороший жокей на плохой лошади, плохой жокей на хорошей лошади и средний жокей на средней лошади имеют равные шансы на успех. Вам остается только выбирать. А! Вы хотите знать судьбу наверняка? Но тогда пропадает вся прелесть игры, состоящая в риске и волнении. Тогда, старина, лучше открой мелочную лавку или сделайся собачьим парикмахером — выигрыш медленный, но верный...

Звенит первый звонок. Выставляются на досках номера

лошадей и фамилии жокеев первой скачки. Глухо стучат компостеры в сотнях игорных касс. Толпа вокруг пер-ля-Сериз'а редет, разбредается...

Только совсем желторотому новичку придет в голову идти следом за пер-ля-Сериз'ом и ставить на те номера, на которые он ставит. Проигрыш ему заранее обеспечен: пер-ля-Сериз ставит только на тех лошадей, которые никогда не могут прийти. Правда, на тысячном разе, при нелепейшем капризе судьбы, он берет баснословные куши, но они не покрывают мелких проигрышей, и не в них искусство пер-ля-Сериза. Мелкие ставки он ставит лишь для того, чтобы сплавить, отвадить от себя жадную публику, с которой поневоле пришлось бы делиться выигрышем. Нет: все опытные посетители лужайки отлично знают, что пер-ля-Сериз'ова игра лишь стратегическая демонстрация. За него, по его таинственным приказам, играют в разных кассах послушные ему проворные помощники или крупные игроки, отделяющие ему высокий процент. Но эти люди до сих пор остались неуловимы для глаз любопытных.

У пер-ля-Сериз'а есть деньги, и порядочные.

Однажды весной, разнеженный красотой, благоуханием и свежестью майской ночи (об этом писали в газетах), пер-ля-Сериз вздремнул на скамейке в парке Монсо. Летучий велосипедист-городовой спросил у него вид на жительство, но такового у пер-ля-Сериз'а не оказалось с собою. Он мог только предъявить банковское свидетельство о вкладе на его имя нескольких десятков тысяч франков. Городовой был из новых, корсиканец, недоверчивый и весьма усердный к службе. Он отвел пер-ля-Сериз'а в комиссариат. Там все это недоразумение разрешилось в одну секунду. «Чудак! Да ведь это пер-ля-Сериз. Сам пер-ля-Сериз. Вы свободны, дорогой папа!»

Совсем на днях он опять попал в газеты, заставив весь Париж говорить о себе с добродушной улыбкой.

Он пришел на скачки ровно с пятью франками, составляющими минимальную ставку на демократической лужайке. Он показал эти пять франков своим неизменным слушателям и сказал:

— Покойный жокей Парфреман, прозванный «крокодилом», — великий жокей, — выиграл однажды пять первых призов. Но вы, мои старички, были еще бланбеками ¹,

¹ Молокососами (фр.).

когда легендарный жокей Мак-Канед взял все шесть. Так сегодня и я выиграю, на всех шести скачках, шесть первых мест.

Публика посмеялась. Все приняли похвалюбу пер-ля-Сериз'а за обычное шутовство. Никто не следил за его игрою, кроме двух-трех человек, когда на лужайке разнесся слух, что у пер-ля-Сериз'а бешеный успех! Он играл уже в стофранковой кассе, где мелкие игровишки не могли влиять на судьбу его ставок.

Он унес с собою шестьдесят четыре тысячи.

Я думаю, что здесь важны были не деньги. Мне хочется думать, что старинный любимец парижской толпы пер-ля-Сериз,— как-никак, а все-таки в своем роде один и единственный в Париже,— хотел широко заплатить своей публике за долготелее внимание блестящим представлением в духе лужайки.

II. ПОСЛЕДНИЕ МОГИКАНЫ

В третьем году, увязавшись за французскими друзьями, попал я в маленький, уютный, подземный кабачок, носивший заманчивое и великолепное название «Fleur Latine». Впрочем, я теперь не знаю твердо, было ли здесь единственное или множественное число. Цветок или цветы латыни?

Там, вдоль стен узкого и тесного помещения, стояли деревянные столы, без скатертей, и деревянные скамьи, на которых сидела публика очень молчаливая и внимательная; среди нее много пожилых людей. Пились скромные напитки: пиво, вино с водою, лимонад.

Посредине маленькая эстрада и на ней крошечное, игрушечное пианино, основательно расстроенное...

Взошла на эстраду небольшая худенькая дама. Села на табурет, положила на пюпитр ноты, расправила юбку, поерзав на сиденье. Вслед за ней вышел высокий молодой человек лет тридцати пяти, с буйными волосами, гривой заброшенными назад, с короткой, козелком, бородкой, с красивым открытым лбом — похожий на портреты поэтов времен Мюссе и де Виньи. На нем была просторная куртка из рыжего рубчатого манчестера и такие же штаны, широченные на бедрах и ляжках,— совсем узкие у щиколоток.

С ясной улыбкой небрежно и любезно поклонился он захопавшей публике и сказал круглым голосом:

— *La Crotte*¹.

Читатели, без сомнения, знают, как это слово перевести по-русски. Две приятные, розовые, полные, благообразные старушки, сидевшие напротив меня за сосисками с картофельным пюре, подняли разом брови, подтолкнули друг дружку локтями и переглянулись с опасливым недоумением.

Человек в рыжем бархате, ничуть не смущаясь, выждал жиденькую интродукцию и запел свою песенку. Вот приблизительно ее смысл:

«Я проходил сегодня утром по старой улице Арбалет, где в давние годы наши предки занимались благородным искусством стрельбы из лука... Улица была тиха, прохладна и пуста, а вокруг нее со всех сторон ревел, грохотал, гудел, свистел огромный, жаркий, как раскаленная печь, Париж...

Вдруг неожиданно один предмет на мостовой привлек мое внимание. Это было нечто, казалось бы, совсем недостойное вдохновения, но в моей певучей душе оно, по старинной прихоти фантазии, родило нежную и грустную элегию. Я не скрою от вас, что взор мой остановился на том прозаическом следе, который оставляет после себя на мостовой хорошо кормленная лошадь... Но нет ни одной грязной вещи, из которой творческий гений не мог бы извлечь сверкающих алмазов поэзии, и разве не нашел волшебный Бодлер в придорожной падали мотив для своих прелестнейших стихов?

Прислонившись к фонарю, я стоял и грезил:

Вот я вижу то, что все реже и реже видит парижанин на улицах своего вечного, своего великого города. Автомобиль, велосипед, автобус, камион, трамвай, метро, железная дорога, аэроплан, телеграф, телефон сделали совсем ненужной лошадь — это самое благородное завоевание человечества... «Когда бог окончил сотворение мира и собирался уже отдохнуть, он вдруг почувствовал, что чего-то не хватает в его создании. Тогда он взял в свою всемогущую длань воздух, повелел ему сжаться и вдунул в него свое дыхание». Так, говорят арабы, произошла лошадь. Но, — увы! — скоро, через каких-нибудь жалких пятьсот лет, когда лошадь, как экземпляр редкого четвероногого, будет пока-

¹ Лошадиный навоз (*фр.*).

зываются в зоологическом саду, то, глядя на нее через железную огородку, спросит мальчик: «Правда ли, мадемуазель Жюли, что на этом странном животном ездили наши далекие предки?» И бонна ответит уверенно: «О да, малютка. Это было в те времена, когда люди жили в пещерах, одевались в звериные шкуры и, еще не зная употребления огня, ели мясо сырым».

Какая сладкая грусть сжимает мое сердце, когда я думаю о нашем милом, еще столь недалеком прошлом, которое так тесно было связано с лошадьёю и кучером. Вспомните почтовые кареты, запряженные четверкою, рожок почтальона, щелканье бича и чудесные, забавные дорожные приключения. Тогда наши веселые прабабушки носили прелестные шляпки кибиточкой, с широкими лентами, завязанными бантом на длинных тонких шейках, а талии их платьев были так высоки, черные мушки на румяных личиках были так красноречивы, а маленькие ножки так изящны...

И ты, о незабвенный парижский фиакр! Наши старые дедушки и наши пожилые отцы лукаво улыбаются при твоём имени. Прошло больше ста лет, а твой кучер до сих пор неизменен. Тот же клеенчатый низкий цилиндр у него на голове, тот же красный жилет, тот же длинный бич в руке, тот же красный нос и то же непоколебимое кучерское достоинство. И лошадь твоя — Кокотт или Титин — по-прежнему тоща, длинна и ребриста и разбита на ноги и по-прежнему имеет склонность заворачивать к знакомым кабачкам. Но уже нет у дверей твоей кареты внутренних темных занавесок, которые когда-то, спеша, задергивала нетерпеливая, дрожащая рука...

Патриархальный добрый фиакр! Ты занимал много славных страниц в прекрасных книгах Бальзака, Доде, Мопасана, Золя. Тебя хорошо знали проказники Поль де Кока и влюбленные веселые студенты Мюрже. Ни один уголовный роман не обходился без тебя. И сколько раз твой старый кучер давал свидетельские показания в бракоразводных процессах...

Все течет, все проходит в этом мире, все обращается в тень. Но почему же так сильны для нас власть и обаяние прошлого? Юноша, с первым пушком на губе, с глубокой поэтической грустью посещает те места, где он играл, будучи нежным отроком. Так и нам жизнь наших предков кажется проще, красивее и гораздо полнее, чем наша. Или правда, что машины, отравившие воздух, убившие пре-

лесть путешествия, заторопившие жизнь, нанесли непоправимый ущерб наивным радостям человечества.

Вот о чем я думал летним вечером на улице Арбалет...»

Так, или приблизительно так, пел гривастый человек в рыжем бархате. На глазах у моих соседок-старушек я видел искренние теплые слезы, которых они и не трудились вытирать. Певцу много, но чинно аплодировали. Я — больше всех.

Сколько теперь осталось в Париже наемных фиакров? Говорят, только тридцать семь. С сожалением приходится признать, что убывает, вырождается, исчезает славный цех парижских извозчиков. Надо сказать, что и в Лондоне отходит в область преданий это почетное сословие, о котором Диккенс изрек устами мистера Пикквика: «Души кучеров мало исследованы». Парижские извозчики — последние могиканы, остатные представители великого гордого племени...

Чуткий и памятный Париж по-своему чтит эти живые обломки старины. В случае недоразумений между фиакром и такси уличная толпа всегда на стороне фиакра. Но эти случаи редки. Там, где бывает затор движения и экипажи продвигаются с великим трудом, там кучер, возвышаясь на своих козлах высоко над приземистыми моторами, являет вид полнейшего спокойствия и твердой самоуверенности. Пусть такси — его злостные конкуренты и виновники потускнения его славы. Широким душам, облагороженным долголетним общением с лошадей, чужды зависть, месть и мелкие уколы. Глядя на своего врага сверху вниз, фиакр с презрительной улыбкой щурит глаза: «Движущиеся коробочки, зловонный экипаж, хрипучий комод — и это в Париже, в городе тончайшего вкуса!»

И никогда на людных скрещенных кучер не дает первого места шоферу: обожди, невоспитанный молокосос, пока проедет почтенный старик. И молодой человек слушается.

Бывают и у старых кучеров свои дни реванша. Это тогда, когда начинающие шофера держат экзамен на знание парижских улиц в комиссии, состоящей из седых, красноносых кучеров наемных фиакров.

— А ну-ка, топ vieux¹, скажи мне без помощи карты,

¹ Старина (фр.).

каким путем проедешь ты от улицы Ранелаг до улицы Ройе Коллар?

Случается порою, что экзаменатор, вследствие ли разгравшейся подагры, или по случаю вчерашнего лишнего литра божоле, начинает так гонять ученика по всем закоулкам Парижа, что у того волосы на голове взмокнут. Но это бывает редко. Добрым душам не свойственна придирка. «Юноше ведь тоже нужен кусок хлеба. И, наверно, сейчас с дрожью в сердце ждет результата этого экзамена какая-нибудь крошечная белая козочка, такая ласковая маленькая кошечка».

Будет время, когда по улицам Парижа проедет в последний раз последний фиакр. И этот последний выезд, конечно, приведет его в один из исторических музеев. А может быть, будущие парижане увидят и будущий памятник кучеру таким, каким мы его застали. В низком цилиндре, с длинным бичом, в допотопном жилете, с пледом, окутывающим ноги?

III. НЕВИННЫЕ РАДОСТИ

Нет на свете той красоты и той добродетели, которая, в чрезвычайно сгущенном виде, не превратилась бы в уродство. Чудесно пахнут духи *Rose Jacqueminot*, но концентрированная розовая эссенция непереносна для обоняния. Так и бережливость — навык весьма похвальный, но родственная ей скупность, доведенная до крайности, отвратительна.

Мы, русские, в мятежной широте души своей, считали даже самую скромную запасливость за презренный порок. В начале нашего парижского сидения мы почти единодушно окрестили французов «сантимниками», но разве, — черт побери! — мы за семь лет не прозрели и не убедились, с поздним раскаянием, в том, что бесконечно счастливы те страны, где всеобщая строгая экономия вошла, более чем в закон, в привычку? Наше глупое «денек, да мой» оказалось хвастливым, жалким и фальшивым выкриком перед французским разумным: «Для себя, для детей, для родины».

Да: и для родины. Вспомните войну семидесятого года и пятимиллиардную контрибуцию, покрытую столь же легко, как и быстро. Посмотрите на колоссальные общественные сооружения во Франции.

Французский буржуа дорожит своим трудом и высоко его ценит. Он отлично знает, что су сделаны круглыми вовсе

не для того, чтобы они не протирали кошелек; наоборот, они сделаны плоскими для того, чтобы их удобнее было складывать в стопочки и относить в банк. С деньгами не шутят.

На работу французский буржуа лют и умеет требовать работу от подчиненных. Но без конца он трудиться не хочет... Подходит его возраст к пятидесяти пяти годам. В банке, в надежных бумагах, давно хранятся солидные деньги. Три четверти жизни в работе и накоплении. Одна четверть для полного почетного заслуженного отдыха (конечно, я говорю о мелких буржуа и о крупных рабочих). Вовремя продается предприятие, место и машина... Гордо и сладко жить на ренту в провинциальном, родном, тихом городке... Вкусны: дневной аперитив и вечерний кофе в излюбленном кафе. Привычны: своя газета, свои собеседники, долгий спор на политические темы, ежедневная партия в манию, или в белотт, на стаканчик «пикколо».

Мечта отдыхающего француза, особенно парижанина — это ловля рыбы на удочку. Но далеко надо ездить на рыбные места. Приходится ловить в Сене. Какие чудесные у французов рыболовные принадлежности, какая славная и разнообразная приманка, как красиво закидывает он леску и как они терпеливы!

Но, говорят, Сена на всем ее парижском течении — река совсем не рыбная, ибо вода ее испорчена отбросами города. Плодовита рыбой она становится только ниже Конфлана, там, где в нее вливается Уаза, и еще дальше. Впрочем, обо всем этом, чуждом мне удочном искусстве когда-нибудь гораздо авторитетнее, лучше и занятнее расскажет мой уважаемый друг А. А. Яблоновский (один из величайших современных рыболовов).

Отдыхающие буржуа, которые победнее и попроще, неизменно и неумолимо торчат круглый год над Сеной, на мостах и на прибрежных камнях. Часами торчат сзади них их досужие наблюдатели; не дождавшись, уходят; на их место становятся другие и также смотрят безрезультатно на рыболовов. Но, заметьте, — что значит культура! — ни один из зрителей не позволил себе пустить насмешливое или задирающее словцо; каждый из них с наслаждением подержал бы в руке, минут хоть десять, тяжелое удище!.. А вдруг?

Впрочем, однажды я в 1923 году был свидетелем счастливой ловли. В ту зиму Сена так высоко поднялась в своих берегах, что не только погрузила в воду обоих зуавов под

мостом Альма чуть ли не до подбородка, но слегка затопила метро Альма Марсо. Тогда Сена, стиснутая каменными набережными, яростно и круто стремилась вниз, грязно-зеленая, вся в кипящей пене и в клокочущих буграх, а над ней низко и косо носились с резким писком бог знает откуда прилетевшие острокрылые белые чайки. Тогда рыба действительно брала! Я видел, как к вечеру, с трудом оторвавшись от сладкого азарта, один рыболов, пожилой, короткий и толстый буржуа, тщательно развинтил и сложил свою коленчатую удочку, смотал, кряхтя, леску и с триумфом пошел домой. В его патентованном эмалированном ведрце плескалась дюжина рыбок: две крошечные плотвички, пара пескариков, несколько уклеек...

О! надо было видеть его походку — походку старого, просоленного бретонского рыбака: широко расставляемые ноги, выпяченные локти, тяжелая перевалка с боку на бок. Для каждого из любопытных он останавливался и охотно приподымал истыканную дырками-продушинками крышку, чтобы показать ему свой богатый улов. Воображаю, как, придя домой, он священнодействовал у плиты, обваляв своих рыбок в муке и поджаривая их на фритюре. И с каким благоговением взирало на него потрясенное и счастливое семейство! Ну, не мило ли это? Во всяком случае, гораздо милее, чем приехать на автомобиле в Виль д'Авре в шикарный ресторан, расположенный над озером Коро и после долгого завтрака заказать хозяину рыбную ловлю. Вам дадут все: удочки, приманку, табуретку, клевое место, и, если вы даже при всех этих услугах умудрились ничего не поймать, вас заботливо обеспечат свежей, только что выловленной рыбой; конечно — не даром.

Второе увлечение французов — птицы. Я не знаю других городов, где бы так любили птиц, как в Париже и Москве. Здесь во всех мансардах и ре-де-шоссе, там во всех чердаках и полуподвалах всегда в погожие дни выставляют в распахнутые окна, между горшками с геранью и фуксией, клетки с неизбежными канарейками. У нас держали еще в клетках соловьев, чижей, перепелов, скворцов; здесь часто держат рисовки, неразлучки и еще какие-то маленькие, прелестные, ярко оперенные птички; названий их я не знаю; они продаются на набережной, где Самаритен. Старые парижане еще помнят, как мелодично пели по утрам продавцы птичьего корма: «Mouron pour les petits oiseaux-aux...»¹

¹ Зернышки для птичек с... (фр.)

Теперь эти утренние певцы исчезли, вывелись. А «шоугоп» — эта такая маленькая, нежная, бледная травка, которая у нас называлась мокрицей. Домашние птицы охотно ее клюют.

Но есть люди, которым одинаково неприятно смотреть как на рыбу, у которой извлекают изо рта окровавленный крючок, так и на птицу, заключенную в тесные пределы клетки. Эти любители животного мира предпочитают видеть рыб и птиц на свободе.

Парижские скверы и сады охотно посещаются вольной птицей. По их лужайкам доверчиво разгуливают даже такие сторожкие птицы, как черные, желтоклювые певчие дрозды. Здесь дрозд отлично знает, что французскому мальчугану никогда не придет в голову соблазн лукануть в него камнем. У русского дрозда такой уверенности, пожалуй, не найдется. Я не говорю о воробьях и голубях; эти подбирают хлебные крошки у самых ног человека и почти из рук, что можно увидеть ежедневно в Париже, повсюду, где есть только скамьи для прохожих и древесная листва над ней, хотя бы даже на Елисейских полях.

Парижские голуби очень красивы. Они стройны, тонки и грациозны. Оперение у них палевое. На стриженных парковых газонах, на их чистой, свежей, прелестной зелени они кажутся почти розовыми, и это соединение цветов необыкновенно радует глаз. Здесь я не видел голубей в таких огромных массах, в каких слетаются чугунно-сизые голуби на Красную площадь в Москве и серебряно-белые на площадь св. Марка в Венеции. Но однажды, вместе с покойным В. А. Рышковым, из его чердачной вышки на улице Турнефор, мы с умилением и с беззлой завистью наблюдали, как напротив нас, через улицу, высунувшись из какой-то клетушки над седьмым этажом, гонял неведомый нам охотник отличную стаю любительских голубей. И совсем как в Москве, посвистывал он тонко и резко на особый лад и так же размахивал в воздухе длинным шестом с привязанной на конце его тряпкой.

Вот у меня постоянно Париж и Москва...

Когда-нибудь, если найду время, я приведу десятки характерных бытовых черт, чудесно общих для двух этих старых городов, но совсем не подходящих к другим большим городам. А ведь сколько наблюдательных и вдумчивых людей говорило: «Сам не могу понять, чем мне Париж так напоминает Москву?» Или это болезненные призраки ностальгии?

Но разница в том, что Париж во все стороны жизни — и в науку, и в забаву, и в искусство — вносит две стойкие черты: изящество и законченность.

Весь средний Париж, ежедневно, во всех садах, скверах, аллеях и тенистых зеленых закоулочках с удовольствием кормит хлебными крошками воробьев. Но из тысячи человек один доводит это скромное буколическое занятие до профессионального совершенства, до главного смысла и цели своей жизни, перевалившей к спуску в долину Иосафатову. Зоркий Париж давно отметил тип такого давнего любителя и дал ему подходящее наименование. По-старому его называли «Oiseleur» — эпитет, который был приложен к имени короля Henri I, Генриха Птицелова. Но «Oiseleur» означает не только птицелова, а еще любителя, пожалуй, покровителя птицы. Как сказать по-русски — не знаю. Птицевод? Птичник? Птицелюб? Ужели птицефил? Это старое французкое словечко как-то стерлось. Теперь такого птицефила именуют с некоторой литературной претенциозностью «enchanteur des moineaux». Очарователь воробьев? Заклинатель? Воробьиный волшебник? Надо, однако, сказать, что сношения этих оригинальных людей с легкомысленными воробьями кажутся на первый взгляд и впрямь не лишенными колдовства.

Одним таким «уазлером» я любовался несколько дней подряд, приход, нарочно к двум часам дня на сквер Инвалидов, и теперь с удовольствием возобновляю в памяти его волшебные сеансы.

Вот он приходит медленными, грузными шагами. Ему лет пятьдесят пять. Он плотной комплекции и кажется книзу еще шире, потому что карманы его пальто, набитые хлебом, оттопырились. На нем старая широкополая фетровая шляпа. Не торопясь, он садится на зеленую скамеечку.

Воробьи уже давно его дожидались на газоне, против заветной скамейки. Теперь они слетаются со всех сторон и застилают зелень буро-желтыми живыми комочками. Иногда мне кажется, что в этом мнимом беспорядке есть какой-то свой особый воробьиный строй и что-то вроде чиноначалия.

Очарователь отщипывает кусочек хлеба и, держа его двумя пальцами, подымает руку вверх.

— Алло! Феликс Фор! — восклицает он и ловко бросает хлеб.

Несколько воробьев срываются с мест, но один из них перегоняет всех и ловит кусочек на лету.

— Дюма-пер! Гамбетта! Фрейсине! Буланже! Лессепс!

Так выкрикивает Очарователь одно за другим громкие, старые французские имена, и с необыкновенным проворством, с замечательной точностью ловят воробьи в воздухе хлебные шарики.

Знают ли они свои имена? Мне хочется верить, что знают. Впрочем, за Гамбетта я почти готов поручиться. Он приметен своей броской белобокостью, и, кроме того, у него одно перо на хвосте, справа, должно быть, сломанное или погнутое, торчит в сторону. Мне кажется, что он всегда подлетает на имя Гамбетта.

Эта переключка — первое действие. Окончив ее, Очарователь встает, подходит к самому обрезу газона. Лево́й рукой у груди он держит большую булку, а правой отрывает от нее крошечные кусочки и чрезвычайно быстро (но спокойно) подбрасывает их невысоко над своей головой, плечами и лицом. И миг он весь окружен, ореян, осиян трепещущей воробьиной стаей. Великолепное зрелище! Волшебник стоит спиной ко мне, лицом против солнца. Оттого крепкая фигура его мне кажется темной и неясственной. Но тесный подвижный воробьиный ореол вокруг него весь пронизан насквозь щедрым, горячим, золотым солнечным светом. Воробьиные тела стали невесомыми, а их бьющиеся крылья пыльно-прозрачными.

Очень похоже на то, что стоит в добрый июльский день около улья русский пасечник, а вокруг него вьются и кружатся добродушные и доверчивые пчелы.

Прилетает откуда-то, такой тяжелый в этой порхающей семье, такой неуклюжий в этой воздушной легкости, палеворозовый голубь. Волшебник хочет и ему побросать немного хлебных кусочков, но как справиться с воробьями? Их — сила. Они рвут хлеб прямо из руки. Они перехватывают его в воздухе. Они оттесняют своей массой голубя, не упуская, кстати, подходящего момента, чтобы долбануть его клювом. Они кричат на него: «Зачем влез не в свою компанию?»

Правой рукой уверенным кругообразным движением Волшебник отгоняет воробьев за свое левое плечо, осаждает, точно добрый полицейский, эту живую вертящуюся уличную толпу, чтобы выгадать свободный доступ голубю.

Воробью хорошо. Он может, часто трепеща крылышком, держаться на одном месте, может в момент взвиться вверх и юркнуть вниз. Голубю потребно широкое пространство для медленного маневрирования. Фрегат и миноноски... Для

голубя теперь вопрос уже не в закуске, а в самолюбии. И когда, наконец, с трудом ему удастся вырвать подачку, он с наружным равнодушием отлетает прочь. «А все-таки я настоял на своем!»

Во время этой свалки хитрее всех и практичнее ведет себя белобокий Гамбетта. Он ловко пристраивается то на плече, то на воротнике Очарователя и, чуждый общего смятения, спокойно выклевывает у него из бороды запутавшиеся в ней обильные хлебные крошки. Есть в нем что-то от мародера.

Все движения Волшебника точны и размеренны, даже тогда, когда он идет, даже (я видел) когда он завтракает. Это профессиональная, инстинктивно въевшаяся привычка. Такое же уверенное и вселяющее доверие спокойствие я наблюдал в жестах, движениях, даже в речи знаменитых укротителей хищных животных, не только в клетках, во время представления, но, в привычку, и в домашнем обиходе.

IV. КАБАЧКИ

О душе большого города музеи и дворцы говорят гораздо меньше, чем старые улицы, чем рынок, порт, набережная, церковь, лавка антиквара и, конечно, больше всего — дешевый трактир попоше.

Дорогие рестораны ничего не дают для наблюдения. Во всем мире они одинаково обезличены: те же лакеи, метрдотели и гости, те же самые танцоры и музыканты, и повсюду общие слова. Здесь мода, литература, спорт, кухня и демократизм оболванили людей на один образец. (Я не хочу этим глаголом сказать что-нибудь обидное; болван, болванка — значит деревянная или чугунная готовая форма.)

Исчезают понемногу ресторанчики, славившиеся некогда каждый каким-нибудь специальным блюдом. Для американских гастрономов, правда, еще держатся таверны, где за дорогую цену вам дадут кушанье — гордость и славу дома: пронзительный буйабесс, или руанскую утку, не зарезанную, а непременно удавленную, или рубец по-лионски, или — поблизости бойни — замечательный бифштекс с кровью, или у какой-то тетки Дюпон изумительные телячьи котлеты.

Но все это для снобов. Для них же и знаменитый луковый суп в одном из кабачков Центрального рынка, в два

часа утра, в жутком обществе апашей, ночных бродяг и преступников. И все это такая же подделка под старинные, исторические кабачки, как подделка — апаши, которые — не что иное, как мелкие профессиональные актеры, успевшие уже за ночь отыграть раз тридцать свои гнусные роли в пресловутых монмартрских «Небе», «Аде» и «Небытии» и притащившиеся в Halles на утреннюю халтуру: чтобы представлять перед ротозеями пьянство, игру, дележку награбленного, ревность, ссору, драку и поспешное общее бегство по свистку мнимого сторожа.

Исчезают, даже почти совсем исчезли, прежние забавные и прелестные названия кабачков. Где эти «Белые павлины», «Золотые олени», «Лев и Магдалина», «Голубая подвязка», «Таверна лучников», «Золотая шпора»? Название монмартрских кафешантанов претенциозны, надуманны, противны для уха и вкуса.

Простонародный кабачок окончательно сошел на нет. О нем можно вспомнить, только читая старые французские романы. Яркие, звонкие вывески позабыты, позабыта и старая кухня. Впрочем, Париж так быстро и часто перестраивается, что погибли без возврата даже названия старых шестисотлетних улиц. Однако, в виде наставления новичкам, я должен сказать, что еще совсем недавно обладателю тощего кошелька рекомендовалось дешево и вкусно позавтракать в одном из ресторанчиков под вывеской «Свидание кучеров и шоферов». Но это рекомендация давнего прошлого. Кучера на наших глазах вырождаются, шоферы бедствуют. Зато смело идите в тот кабачок, в котором издали увидите по белым блузам, по измазанным следами извести лицам каменщиков. Теперь Париж бешено строится. Каменщичья работа в большом спросе и в высокой цене. Парижские каменщики совсем похожи на русских (Мишевского уезда, Калужской губернии). Так же беззаботно ходят они по узким балкам на седьмом этаже, так же громко, весело поют во время работы, так же кротки нравом, так же крепки в артельном быте, так же емки, когда едят, и так же всей большой трудовой ватагой валят в ближайший простенький ресторанчик.

И курчавый, серьезный хозяин кабачка, умный, скупой оверньят, этот французский ярославец, внимательно следит за свежестью мяса и рыбы, за доброкачественностью масла, за добрым качеством вина. А не то две, три жалобы, один скандал — и опустел его кабаk, а потом как создать ему вновь популярность? Тут надо еще сказать, что парижский

каменщик, стоящий у отвеса, машины и циркуля, получает до десяти и больше франков в час, а также и то, что французский рабочий (дай ему бог здоровья, а нашему такой же жизни) в еде и питье для себя не скупится: аперитив, рыбное, мясное, салат, овощи, сыр, сладкое и кофе, умело орошенное старым ромом; а в промежутках — литр обыкновенного вина. Не ужасайтесь его расточительности: каждую субботу он увеличивает счет по сберегательной книжке (чего нашему рабочему я от души желаю). Идут они опять на работу вперевалку, румяные, черноусые, с блестящими глазами, с лицами, кое-где вымазанными известкой... Ничего. В работе алкоголь выйдет через пот.

Эти маленькие кабачки именно тем иногда и милы, что в них часто собираются люди одной и той же профессии.

Есть большая парижская Биржа, на ступеньках которой, по-видимому, без всяких причин мечутся и орут каждый день сотни сумасшедших, взъерепененных людей; орут в чистом тоне верхнего тенорового си. И около этой биржи многое множество кофеен, ресторанов, пивнушек и кабачков, где наскоро пьют, закусывают, читают бюллетени, газеты и продолжают кричать биржевые зайцы. Есть уличная брильянтовая биржа и рестораны при ней (правда, под вечной угрозой внезапного полицейского контроля). Есть биржа почтовых марок, конечно, со специальным рестораном сбоку. Я знаю уютные полуподвальные кабачки, где собираются итальянцы и савойяры-угольщики; маленькие ресторанчики, излюбленные граверами, переплетчиками, рисователями обоев; кабаки-норы, посещаемые тряпичницами, бистро около конечных станций метрополитена, приюты кондукторов и вагоновожатых... Я открыл в Пятом округе кабачок на улице Мальбранш, где собираются глухонемые: странно и жалко в тишине видеть повсюду за столиками их напряженный разговор, состоящий из быстрых движений пальцев и страстной мимики. Так и кажется, что они торопятся и никак не могут наговориться досыта. И часто меня в этих кабачках грызет назойливая мысль: ах, если бы я умел все понимать на языке лангедок, на гасконском, на оверньском, на бретонском, на нормандском, не считая самого трудного языка — языка парижских окраин. Какой богатый материал! И все-таки кое-что понятно.

V. ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО

Пасси — очень интересный округ. Нынешние эмигранты ославили его русским. По этому поводу ходили тяжело-ватые остроуты. Называли Пасси «Арбатом» и «Пассями». Уверяли, что где-то, на улице Лафонтен, повесился чистокровный француз, оставив записку: «Умираю от тоски по родине». Немножко тоньше была такая шутка:

Встречаются на авеню Моцарт два парижанина; один спрашивает, как пройти на улицу Жорж Занд; другой отвечает: «Простите, я не русский».

Но шутки эти были кратковременны. Цены на квартиры в Пасси растут в такой дьявольской прогрессии, что ныне в нем русские стали так же редки, как зубры или мамонты. Остался один русский. Ага, да и тот караим.

Пасси занимателен тем, что в его домах, в улицах и их названиях причудливо переплетается новизна вчерашнего дня с почтенной старостью, восходящей к Франсуа I и дальше.

Дедушки и бабушки нынешнего среднего русского поколения, приезжая в Париж, не видали ни здания Трокадеро, ни многоэтажных домов Пасси. Он был тогда большой деревней, куда ездили парижане на воскресные дальние пикники или посещали его мимоездом, отправляясь в Булонский лес (тогда и вправду лес!) для дуэли.

Деревня Пасси славилась прекрасным и отличным маслом. Знаменита она еще была целебными железными источниками; их открыл в начале XVIII века аббат Рагуа. Во многих романах первой половины прошлого столетия упоминается об экскурсиях к лечебным водам в Пасси. В них тогда очень верили.

Семьдесят пять лет — это не старость, даже не средний возраст для города, тем более, что Пасси на наших глазах бесцено застраивается, обновляется, подчиняясь строительной горячке.

Быстро бежит время, еще быстрее — человеческая предприимчивость. Скупаются наперебой далеко еще не старые сорока — пятидесятилетние дома, причем о их стоимости никто и не говорит: ценится лишь количество метров в земельном участке. Разрушаются до фундамента милые, уютные, кокетливые особняки о двух-трех этажах, выстроенные как дачи для веселых дам Третьей империи, и на место их вытягиваются с волшебной скоростью к небу

железобетонные великаны. Покрываются стройкой большущие запущенные сады и прелестные парки.

Совсем недавно, лишь прошлым летом, архитектор Малле-Стивенс построил на улице Доктор Бланш в модном вкусе архитектурное недоразумение, на которое и до сих пор, еще в декабре, приезжают поудивляться дальние парижане. О нем много говорили в газетах. По-моему, такое здание охотно одобрил бы для торговых бань в «каирском стиле» московский купец с модернистским уклоном. Кроме того, оно сбоку похоже своими узкими, длинными, забранными решеткой окнами на тамбовскую тюрьму, с фасада же напоминает: отчасти небрежно начертанную крестословицу, а отчасти табачную фабрику с гаражами внизу. Единственная радость для взгляда — его белизна на фоне неба, когда оно бывает густо- и ясно-голубым. Но мы посмотрим на эту белизну через год!

Стивенс еще не успел построить свой бестолковый дом, как все обитатели Пасси живо заинтересовались строительной затеей, характера необычайно грандиозного. Скуплен большой квадрат садов, домов и пустырей, лежащий между параллельными улицами — Ассомпсион — Рибейра и двумя пересекающими — Моцарт — Лафонтен: кусок, пространством в сорок — пятьдесят наших десятин. Все жилые помещения идут на ломку и снос. Вместо них построится сотня семиэтажных современных громадин; в каждой по сто входных лестниц и по двести квартир. Через пять лет вырастет целый город с населением — что там уездных Медыни или Крыжополя! — целой губернской Костромы... Какой размах!

Я думаю совсем о другом. Преобладающая доля этого большого участка принадлежала некогда женскому монастырю. Его церковь и общежитие были построены в XVIII веке. В пятидесятых годах прошлого столетия монастырь принимал на строгое, закрытое воспитание девиц из знатных фамилий. Теперь этот обычай остался далеко позади. О нем сохранилась последняя память только кое-где в романах Мопассана. При мне здесь помещался дорогой пансион для девиц из богатой буржуазии, — довольно чинный, но уже со многими, против прежнего, послаблениями, вроде тенниса, обучения новым танцам, отпусками по четвергам и субботам.

Вся площадь пансиона была обнесена высокой, в две сажени, оградой из крупного, серого, грубого булыжника и казалась непроницаемой для посторонних. Но иногда

малая калитка в тяжелых железных воротах оставалась по случайности открытой, и я на несколько минут мог видеть великолепный запущенный парк, густые аллеи сплошных могучих каштанов и легкие цветники; все это, как рама для старого большого дома благородной архитектуры позапрошлого века и для прелестной маленькой белой церковки. Какое томительное очарование пробуждают в нашей душе эти кусочки, живые обрывки прошедшего, подсмотренные издали, сквозь щелочку. Теперь и церковь, и монастырский двор, и старый парк исчезли. Вместо них беспорядочными кучами громоздятся на земле камни и обрубки деревьев. Гм... Дорогу молодому поколению!!

А не так давно покончили с чудесным замком Мюетт¹.

При Карле IX это был скромный охотничий домик, сборный пункт. Немая особа вовсе не была замешана в том, как называли эту лесную сторожку. Здесь держались ловчие соколы в период линяния.

Миег, если перевести по-русски, значит линять, сбрасывать рога (у оленей).

Домик, переходя из рук в руки, расширялся, украшался, подвергался перестройкам в духе эпох, пока не сделался прекрасным дворцом. Там гостили: и Мария Медичи, и маркиза Помпадур, и королева Мария-Антуанетта. Туда привозила герцогиня Беррийская своего гостя Петра Великого... В последнее время им владели банкиры.

Этот замок на моих глазах разрушили в течение двух лет. Постепенно спадали в мусор исторические пристройки, одни за другими, от младших до пожилых, старых и древних.

Долго оставался лишь древнейший, первоначальный фасад, обнаженный, изуродованный, облупленный с боков, одиноко и печально высившийся над грудями камня и щебня. Но все-таки он казался неотразимо величественным. Всего — два этажа с чердаком и — как красиво! Красота осталась только в пропорциях. Так строили в старину, строго подчиняясь разделению линии, по закону золотого сечения, то есть по требованию абсолютного изящества.

В Пасси снесено с лица земли много чудесных замков, — памятников старины (см. историю XVI округа, Библиографии Мэри Огей). Но это относится не только к Пасси, а и к Парижу и ко всей Франции.

Среди американцев-миллионеров давно уже вошло в

¹ Немая (фр.).

спортивное обыкновение покупать картины, статуи, библиотеки, мебель, посуду Старого Света. Теперь они стали покупать целиком старинные замки, церкви, чуть ли не целые древние города, с пейзажами, горами и озерами для того, чтобы восстановить это у себя, в Чикаго или в Детройте. Конечно, честь им за уважение и внимание к чужой истории, но...

Но невольно, а может быть, и некстати, вспомнилось мне, как приехал я по делу молодым, безусым офицером в имение Соколовку, Рязанского уезда. Имение это раньше, со времен Екатерины, носило по своим настоящим хозяевам славное историческое имя. Потом перешло оно в другие руки, в третьи, пока не попало последовательно к купцу Соколову, припечатавшему его своей фамилией, а от него, наконец, к купцу Воронину. В имении была торжественная въездная арка, был пруд, на пруде островок с колонной-беседкой. Там когда-то плавали лебеди. Была в доме восхитительная гостиная с паркетом из палисандра-эбена и красного дерева; со штофными толстыми струистыми стенными панно, теперь значительно ободравшимися. Там я сидел против купчихи Ворониной. Она, жирная, с заплывшими глазами, кумачово-красная от питья, грызла орехи и плевала скорлупой на пол.

Она была в ударе; она с трудом переложила обеими руками одну слоновую ногу на другую, лихо подмигнула мне глазом, дернула за сонетку, вышитую давным-давно милым бисерным рисунком, и крикнула:

— Лакей! Лакуза-а!

Вошел малый, босиком, в холщовых штанах, в жилете, из-под которого торчала грубая ситцевая сорочка.

— Чимпанскава барыне,— гаркнула купчиха.— Вот как мы, дворяне, нынче гуляем.

Лакей принес графин водки и соленых груздей в желтом бумажном картузе.

Атанас Далчев

AVENUE DU MAINE

I

Какой-то случай злой забросил
меня во двор слепой, где нет

ни деревца и где под осень
дневной едва приметен свет.

Дымит вокзал неподалеку,
как угасающий очаг;
мое окно незрячим оком
глядит в дворовый полумрак.

Грохочет поезд уходящий,
и рельсы вслед струной звенят,
и я — сдается мне все чаще —
в дороге много дней подряд.

II

Все тот же двор и те же окна
восьмью рядами с трех сторон;
здесь даже смех ребячий блекнет
и голос женский приглушен.

Сегодня тучи плыли зыбко
и дождик моросил с утра;
в худом плаще со старой скрипкой
пришлец возник среди двора.

Как долгий дождь однообразен,
старинный зазвучал напев,
он крыш достиг и рухнул разом,
от взрыва скорби онемев.

У окон женщины смущенно
теснились, не скрывая слез;
монетками на двор мощный
упал несказанный вопрос:

— Зачем ты, юноша бездомный,
зачем, слепец, ты песню пел,
зачем напоминал про темный
жестокий нищенский удел?

Наш век невзгодами измаян,
но грезим дальним светлым днем,
а жизнь проходит, и не знаем —
начнем ли жить иль не начнем?

ВЕЧЕР

Бреду один по улицам, где вечер
над рдяно-красной черепицей кровель
такой же рдяно-красный догорает.
И, глядя на закат, я вспоминаю:
сейчас и над Неаполем он рдеет,
и блещут окна верхних этажей,
пылающие блики отражая,
и Неаполитанского залива
светлеют волны, тронутые ветром,
и зыблются, как на лугу трава,
и возвращаются мычащим стадом
в шумливый порт под вечер пароходы.
На набережной пестрая толпа
благословеньем провожает этот
минувший день, прожитый беззаботно,
но в той толпе меня теперь уж нет.

Закат сейчас горит и над Парижем.
Там запирают Люксембургский сад.
Труба звучит настойчиво и страстно,
и словно на ее призыв протяжный
нисходит сумрак в белые аллеи.
Толпа детей за сторожем идет
и слушает в молчанье, в упоенье
повелевающую песню меди,
и каждому хотелось бы поближе
к волшебному пробиться трубачу.
Из тех резных ворот, открытых настежь,
выходят люди весело и шумно,
но в их толпе меня теперь уж нет.

Зачем не можем мы одновременно
быть там и здесь, всегда и всюду, где
клокочет жизнь могуче и бескрайно?
Мы непреодолимо умираем,
вседневно умираем, исчезая
оттуда и отсюда — отовсюду,
пока совсем не сгинем наконец.

Райнер Мария Рильке

КАРУСЕЛЬ

ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ САД

Под крышей за калиткой взаперти
кружатся то и дело табуны
лошадок пестрых, родом из страны,
что долго медлит прежде, чем зайти.
Хоть многие в повозку впряжены,—
отвага их под стать горящим взглядам.
Свирепый красный лев вступает рядом
и слон невероятной белизны.

А вот олень — взаправдашний почти,—
но с голубою девочкой, ремнями
к седлу пристегнутою, лет пяти.

Верхом на льва взобрался мальчик белый,
его глаза волнения полны,
а лев оскалил зубы до предела.

И слон невероятной белизны.

И скачут бесконечными рядами...
Но девочкам взрослеющим чего-то
здесь не хватает, и в разгар полета
они в мечтах парят за облаками.

Но все к концу несется неуклонно,
хоть крутится бесцельно допоздна.
Вот красный цвет пронесся, вот зеленый,
и к профилю объемность сведена...
А иногда улыбкой восхищенной,
блаженной и слепящей, и влюбленной
игра слепая вдруг озарена.

Эрих Кестнер

ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ САД

Просто райское царит здесь лето,
и цветы, паршивцы, знают это.
С бантом девочка — таким большим!
Мальчик с обручем — куда спешим?
Я в Париже, и неразрешим
мой вопрос — не стоит ждать ответа.

Люксембургский сад открыт для всех,
погулять здесь не сочтет за грех
господин серьезный, важный самый.
Дети точно ангелы с рекламы,
статуи, по большей части дамы,
еле-еле сдерживают смех.

Каждый здесь и весел, и не робок,
мячики летают легче пробок,
тявкает раздраженный щенок,
негритята вертятся у ног,
главное, никто не одинок:
ходишь с полицейскими бок о бок.

Матерей не оторвать от книг.
Или грез. Но слыша детский крик,
вскидывают голову: о боже!
Девушки хотят казаться строже
и смущаются, когда прохожий
мужа им желает напрямик.

Курт Тухольский

ПАРК МОНСО

Здесь очень мило, тихо, благовидно.
Броди, гуляй, и можно помечтать.
И ни одной таблички здесь не видно,
Где бы слова стояли «не топтать».

Лежит на травке мирно толстый мячик,
А рядом, от него шагах в пяти,
В носу курносом ковыряет мальчик —
Должно быть, что-то хочет в нем найти.

Глазеют тупо три американки.
Когда еще сюда приедешь впрямь?
Париж снаружи и Париж с изнанки —
Не видели, а надо посмотреть.

Щебечут птички, весело порхая.
И солнце заплутало меж ветвей.
А я сижу, блаженно отдыхая
Здесь наконец от родины своей.

Юлиан Пшибось

ЭЙФЕЛЬ

Подними глаза:
самолет от ресниц оторвался и уже, как слеза,
приземляется на окоеме.

Пыль земная летит из-под сотен машин и
торопливый топот:
это рыжее небо по светлым обрывистым крышам
растекается вглубь и вширь.
В блеске возносится башня из пустоты и железа,
словно решетчатый штык,
над Парижем.

Крепко вцепись в этот час, который стоит под
винтовкой.

Вдосталь тебе подчиню я простора.
Все сойдется само по себе,
как запад с востоком.

Фонари, как чудовищные одуванчики, отрываются от
столбов

при помощи света,
монумент, запыхавшись, сбегает с панели,
у прохожих, светящихся среди толпы,
швы одежды — гляди — запылала в неоне,
пешеходы — подвижные цели для пуль

и для бомб.

С твоей открытой ладони —
с протянутой руки монумента указательным пальцем
выскочил мотоциклет,
пулемет за подвижной горою.
Неожиданно освобожденные окна
улетели с фасадом зданий,
каменная канонада обрушилась на мостовую.
И бомбовоз трехмоторный зачал меня.

Я говорю —
кряж зданья стал криком зовущим: к оружию!
Я пророчу —
крыло бульвара белеет над ночью.
Я кивну:
прибой этажей пеной сверкает оконной,
бьет в монумент — в твой висок железобетонный.
Время пробило двенадцать залпов коротких.

Вдохновенье сегодня, как завтрашняя бомбардировка.

АРКА

Не письмо — лепесток полета в конверте,
пущенный из сумки огромной.
Почтальон, француз, как машинка верткий,
вертит письмом из родного дома.

И кривые строчки, как почерк серпа...

Резнул клинок перед взрывом оркестра,
тлел звук в стеклах, вспыхнул как спичка
по неонавлиновой улице,
с авто на авто
и выше
Марсельеза
взлетела,
опущенная радугой, в золоте вспышек!

...Попытаюсь, ежедневно коримый сотней парижских
статуй,

оценить твое сердце,—
крестьянка из Гвозницы,—
и взвесить правду в твоих истомленных руках.

Из знамен на ветру слава памятник лепит.
Марсельеза! В них воскрес Неизвестный солдат.
И идут, чтоб фитиль возложить, как венок,
на его сапогами затоптанный прах.
Знака жду, он возникнет, как взрыв.
Считаю: раз, два...

Как тонуший, выхлестнутый глубинной волною
вдруг, наконец-то решив,
офицер поднял саблю — салют в тишине

многолюдной...

...нищенке, что у стены просит людей:

«Купите букетик
подснежников».

Как было просто мир переделать.

Честолюбцы! Триумфальную арку построили — для

голубей!

Макс Жакоб

ОТЪЕЗД

Прощай, мой пруд, и сетчатая вышка,
Где голуби мои зерно клюют,
Смешно топорща белые манишки;

Прощай, мой пруд.

Прощай, мой дом под крышею линялой,
В любое время года за столом
Здесь собирали мы друзей немало;

Прощай, мой дом.

Прощай, белье на жердяной ограде —
О, сколько раз я рисовал ее!
Запечатленное в моей тетради,

Прощай, белье!

Прощай, паркет! Сквозь витражи дверные
На лак зеркальный мягко лился свет,
Чертя полосы белые, цветные...

Прощай, паркет!

Прощай, наш сад, тебя оставить жаль нам —
И яхта на пруду, и запах гряд,
И горничная в чепчике крахмальном —
Прощай, наш сад.
Прощай и ты, деревьев вереница,
Прощай, гора! Прощай, речная тишь!
Вы все, и только вы — моя столица,
Вы — мой Париж.

Жюль Сюпервьель

ПАРИЖ

Париж, открытый город,
Твоя душа живая,
Томясь, исходит кровью,
Как рана ножевая.

И стук чужих шагов
Тревожит наши стены,
И на мерцанье Сены
Глядят глаза врагов.

Как будто в яме черной,
Под окрики штыка,
Струится удрученно
Французская река.

Века французской славы,
Отлитые в гранит,
Ваш облик величавый
Великий гнев таит.

Нависшая над вами
Невыносима тень —
И гаснет ваше пламя,
И меркнет ясный день,

И льется с неба мрак.
Ведь было бы изменой
Струить лазурь над Сеной,
Когда в Париже враг.

Сидони Габриэль Колетт

ИЗ МОЕГО ОКНА

(Фрагмент)

6 ФЕВРАЛЯ 1941

«Великолепное нарядное вечернее платье из черного фая с бледно-голубой отделкой... Атласное платье цвета морской волны для ужина в гостях... Вечернее платье из белого джерси, пояс и украшения металлические...»

Вы, наверно, думаете, что меня замучила ностальгия по прошлому и я перечитываю модный журнал полуторалетней давности? Ничего подобного. Журнал, модели и текст — все сегодняшнее. И хотя ни атлас цвета морской волны, ни белое джерси, ни отделка из фая меня не искушают, я с удовольствием и почтением перелистываю эти страницы, датированные февралем сорок первого года. Я думаю о том, что нужно сохранить этот журнал, чтобы открыть его вновь через какое-то время, когда он станет документом, свидетельствующим о том, что Париж февраля сорок первого одарял нас не только похлебкой из брюквы, очередями за молоком, майонезом без масла и яиц, Сретеньем без блинов и ботинками без кожи, но и такими вот подвигами в чисто парижском духе, самоотверженно явленными миру: «Платье из узорчатого бархата... Нарядная розовая блузка, расшитая золотом...»

— Я ходила за тапочками,— перебивает мои мысли прислуга.— Там еще было несколько пар.

— Вам досталось?

— Да нет! Нужно было предъявить старые. Но они у меня в таком виде! Я постеснялась.

И добавила, подобно какому-нибудь вдохновенному модельеру:

— Я что-нибудь изобрету!

Ибо Париж выживает не только за счет самоограничения, но и за счет изобретательности и парадоксов. Парадоксов кажущихся, вроде того, что я слышала от одной фермерши в богатых краях Перигора: «Мясо слишком дорого, так что на этой неделе будем есть паштет из гусиной печени». И она принялась вскрывать банки, наполненные в год изобилия и легкой жизни. Значит ли это, что раз невозможно достать нормальный костюм, мы должны ходить

за покупками в «великолепном вечернем платье»? До этого дело пока не дошло. Объединенные усилия стольких изобретательных голов, несомненно, спасут нас от одеяний, подобных тому, которое один путешественник сфотографировал лет шестьдесят назад на Маркизских островах: маленькая шелковая оборка на голых бедрах, пышно присобранная сзади, косынка а ла Шарлотта Корде, завязанная крест-накрест поверх висящих грудей, и... парик, так называемый «парик с фрегатом», какой носила Мария-Антуанетта.

Мужчины нервничают еще больше, чем мы, ибо под угрозой оказалась возможность одеваться корректно и просто.

— Я хотел бы, чтобы вы были столь любезны, что смогли бы мне изготовить (он так и сказал: были бы столь любезны, что смогли бы) дюжину приставных воротничков,— сказал один мой друг своему верному портному.

— Из чего? — спросил портной, впервые в жизни позволив себе некоторую язвительность.

— Еще немного,— вздыхают наши спутники жизни,— и придется ходить в шейных платках и сандалиях на босу ногу.

Мужская стыдливость страдает. А ведь еще недавно они говорили то же самое, правда, с другой интонацией, мечтая летом о скором отъезде на лоно природы. «Еще немного, и никаких галстуков! И сразу, сразу сандалии!» Но мы не любим, когда наше счастье устраивают против нашей воли.

Я снова берусь за журнал: «...Восхитительный ансамбль из узорчатого бархата с выпуклыми трилистниками... Туфли, отделанные той же тканью, что и костюм... Браслет-новинка в форме переплетающихся лент, усыпанный бриллиантами...» Я получаю удовольствие — разве в этом есть что-то дурное? — от мелованных страниц, где рассказывает о роскошной жизни и где улыбаются легкие, окрыленные молодые женщины. Удовольствие и поддержку. В этом легкомысленном издании нет ни одной фотоулыбки, ни одной мимолетной позы, прелестной складки или украшения, которые не являли бы собой хрупкий, отмеченный изяществом результат долгих и упорных усилий. Все, вплоть до отделки из металла или кожи, пряжек, застежек, перьев, косметики и парфюмерии, выражает стремление улыбаться, упрямое намерение десяти мужественных корпораций украсить нас фруктами и цветами.

Нынешняя клиентка, обедневшая и нерешительная, не бросается в модные магазины и ателье выбирать розовую

блузку, расшитую золотом, перламутровый фая, узорный бархат или дорогой шелк. Она не так простодушна и не так расточительна. Она умеет «переводить» моду на язык жизни. К тому же и эти ослепительные модели представлены здесь лишь затем, чтобы мы их увидели, восхитились и скрепя сердце от них отказались. Это знамена. Парижанки не шьют платья из знамен. «Великолепное платье из черного фая» превращается в маленький черный костюм, норка низводится до кролика, и все было бы как нельзя лучше, если бы не... то, что «Лекарь поневоле» именуется «главой о шляпах».

Шляпа неисправима. Она упорствует в безвкусице уже давно, и нелепость ее не отступает ни перед чем, даже перед национальными бедствиями. Таких крохотных и несуразных шляпок, как нынче, не носили со времен войны 1870 года — я с грустью констатирую это сходство. Странно, но шляпа чересчур малых размеров наводит на мысль о безумии скорее, чем широченная. Сумасшедшие почему-то не любят больших шляп. Они предпочитают возложить себе на голову баночку из-под варенья или крышку от нее, спичечный коробок, опрокинутый детский кораблик. Я помню, как на балу в Сен-Тропезе — до кризиса в фасоне шляп, когда они начали катастрофически уменьшаться, — Жанна Дюк, в то время содержательница гостиницы, превзошла всех экстравагантностью, благодаря крошечным размерам шляп. И ей бы это наверняка не удалось, попытайся она воскресить гигантские шляпы с перьями в несколько ярусов, под которыми блестели некогда глаза Лантельмы.

Сегодня любая женщина со вкусом, когда ее никто не слышит, проклиная, взывая к здравому смыслу, невероятные произведения шляпного искусства, лишенные способности держаться на голове, которыми желает увенчать ее современная мода. Однако стоит ей прийти к модистке, как здравомыслие ее покидает. Настороженная и осмотрительная поначалу, наша женщина со вкусом неминуемо попадает в ловушку, причем тем быстрее, чем дальше приманка отклоняется от нормальных размеров. Никак иначе я не могу объяснить тот дурман, который застывает клиента, пришедшего в ателье в критическом настроении, возвращаться домой с аэростатом из фиалок на носу, водопадом лент на затылке, тамбурином с шелковыми шариками поперек правого глаза, украшать себя вуалеткой из тех, что оставляют неизгладимое впечатление в метро, съехавшим набок

тюрбаном в частоколе гиацинтов или застывшей в полете голубкой — причем все сооружение, разумеется, по размеру пришлось бы как раз в пору тем несчастным обезьянкам в оборках, которые дрожат от холода рядом с уличными шарманками...

Поль Элюар

МУЖЕСТВО

Парижу холодно Парижу голодно
Париж не ест на улицах каштанов
Париж в лохмотья нищенки оделся
Париж как в стойле стоя спит в метро
На бедняков свалились новые невзгоды
Но мудрость и безумье
Скорбного Парижа
В себя вбирает чистый воздух и огонь
В себя вбирает красоту и доброту
Его изголодавшихся рабочих
Не надо звать на помощь мой Париж
Ты жив ты жизнью удивительной живешь
За наготой за худобой за бедностью
В тебе таится человечность
Она горит в глазах твоих Париж
Прекрасный город мой
Как шпага сильный тонкий как игла
Доверчивый и умудренный ты не можешь
Снести несправедливость
Несправедливость худший хаос для тебя
Ты от него Париж освободишься
Париж мой трепетный далекая звезда
Надежда неугаснувшая наша
Освободишься ты от горя и от грязи
Мужайтесь братья
Нет у нас ни касок ни сапог
Мы ни мундирами ни выправкой не блещем
Но в наших жилах вспыхивает солнце
Наш свет вернулся к нам
Достойнейшие пали ради нас
И вот их кровь клокочет в нашем сердце
И снова утро утро над Парижем

Час избавления
Ширь весны новорождённой
Тупая сила рабья терпит крах
Рабы враги наши должны это понять
И если понимать они способны
Они восстанут.

Луи Арагон

НОЧЬ ИЗГНАНИЯ

Что изгнаннику, если цвета на экране
Неверны, — он Париж узнает все равно,
Пусть он в призраки, в духов не верит давно.
Слышу, скажет он, скрипок игру в котловане.

Тот блуждающий, скажет он вам, огонек —
Это Опера. Если б в глазах воспаленных
Унести эти кровли и плющ на балконах,
Изумруды, чей блеск в непогодах поблек!

Мне знакома, он скажет, и эта скульптура,
И плясуньи, и дева, что бьет в тамбуринах,
И на лицах — мерцанье подводных глубин.
Как спросонья, глаза протирает он хмуро.

Вижу чудища в свете неоновых лун,
Ощущаю под пальцами бледность металлов,
И рыданьям моим среди слез и опалов
Вторят в Опере стоны раструбов и струн.

Предвечерний парижский ты помнишь ли час?
Эти розы и странные мальвы на скверах,
Домино, точно призраки, в сумерках серых,
Каждый вечер менявшие платья для нас.

Помнишь ночи — как сердцу тоску превозмочь!
Ночи в блесках, как черные очи голубки.
Что осталось нам? Тени? Сокровища хрупкие?
Лишь теперь мы узнали, как сладостна ночь.

Тем, кто любит, прибежище дарит она,
И с фиалковым небом парижского мая

Шли в пари твои губы не раз, дорогая.
Ночи цвета влюбленности! Ночи без сна!

Плutowали и звезды, как помнится мне.
В подворотнях стояли влюбленные пары.
Шаг мечтателей гулкий будил тротуары.
Ерник-ветер мечты развевал в тишине.

Беспредельность объятий заполнив собой,
Мы любили, и в ночь твоих глаз не глядели
Золотые глаза непогасшей панели.
Освещала ты полночь своей белизной.

Есть ли там першероны? В предутренней рани
Овощные тележки, как прежде, скрипят
И на брюкве развозчики синие спят?
Так же кони Марли бьют копытом в тумане?

И на крюк Сент-Эташ поддевает ларьки,
И сияют бидоны молочниц лукавых,
И, распяв неких монстров, на тушах кровавых
Урепляют кокарды, как встарь, мясники?

Не молчит ли, кляня свой печальный удел,
С той поры, как любовь удалилась в затворы,
Граммфон возле нашего дома, который
За пять су нам французские песенки пел?

В тот потерянный рай возвратимся ли мы,
В Лувр, на площадь Согласия, в мир тот огромный?
Эти ночи ты помнишь среди ночи бездомной,
Ночи, вставшей из сердца безутренной тьмы?

Рене Ги Каду

ПОЧЕМУ ВАМ В ПАРИЖ НЕ ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

- Почему вам в Париж не вернуться назад?
- А цветов аромат! А цветов аромат!

- И у Сены мы много цветочниц встречали.
- Да, но нет в них печали, ах! нет в них печали!

Я листвою очарован, и конскою статью,
И румяной служанкой, послушной объятью.

— Но в Париже служанок вы встретите тоже.
— Упаси меня боже! Упаси меня боже!

В этой влажной ночи я остался один.
Запах лилий, приволье зеленых равнин,

Комья горькой, пахучей земли под ногою,
Безнадежность и счастье знакомы изгою!

— От гордыни великой погибнете вы.
— А цветов аромат! А дыханье листвы!

Раймон Кено

СИРЕНЕВЫЙ ЦВЕТ

Сиреневый цвет,
И цвет бледно-рыжий,
И небо Парижа,
И запах Парижа,
Минувшего голос,
Метро, как прибой,
Толпа, что страдает
От боли зубной,
Охотничий рог
И клаксонов напевы,
Дворец из стекла
Близ святой Женевьевы,
Библиотека
Вблизи Сен-Виктор,
Где крокодил
Распростерся устало
Близ лабиринта,
Кедра,
Вокзала
Лионского,
Близ Риволи
И Конкорд,
Рядом с мостом

И другими мостами,
Мостами весь день
И всю ночь напролет,
И грех, и крушение,
И кошки больные,
Которых бросают
В свинцовую воду,
И парк Бют Шомон,
И каналы весной,
И столько часов,
И столько невзгод,
И столько светил,
И столько сиянья
Над старым Парижем,
И вздох мой невольный,
И в сердце усталость,
А сердце осталось
По прежнему там,
Где воздух сиренев
И где бледно-рыжи
Мосты Парижа
Под небом Парижа.

НАКАЗАНИЕ

Самые печальные улицы Парижа —
улица Бодлера, улица Стендаля.
Просто непонятно, почему их именем
две парижских улицы называться стали.
Нет, их не возвысили, Бодлера и Стендаля!
Может, попытались опустить пониже?
Может, наказали их
тем, что так назвали
самые печальные улицы Парижа?

ЛЮТЕЦИЯ, ЛЕТА

Река забвенья уносит мой город с собой,
уносит его новогодние встречи и цирковые его балаганы,
машины с туристами, ландыши ранней весной,
июльские празднества и лампионы, прогулки, каштаны,
январские ветры, журчащие летом фонтаны,

дожди, от которых порой электричеством пахнет
асфальт мостовой.

Река забвенья уносит бистро и кафе
и коммерческий люд и его заведенья
уносит сплетенья переименованных улиц,
лохмотья ненужных афиш,
и много другого уносит река, чье название,
пришедшее из мифологии, тронута тенью забвенья,
уносит забытая Лета, текущая через Париж.

С БОЛЬШИМ СОЖАЛЕНЬЕМ

В благоустроенном доме,
в уютной квартире
хроникер эрудированный
пишет с большим сожаленьем о том,
что в одном
почти историческом
уголке Парижа
сносят
почти развалившийся дом.

АМФИОН

Париж, вас пленявший когда-то,
Не то, что нами любим.
Идет он, не зная возврата,
К иным очертаньям своим.

Пути, расписанья, маршруты,
Былой топографии след.
Тропинки памяти круты
И стерты за давностью лет.

И нас в другом поколенье
Без карты в руках не поймут.
И все это жизнь и забвенья
Утраченных дней и минут.

В САДУ ТЮИЛЬРИ

Племя мраморных статуй
в саду Тюильри обитает,
племя мраморных статуй
состоит из одних нудистов:
эти господа и дамы
стоят нагишом упрямо,
не замечая детей
и простодушных туристов.

А голуби покрывают пометом
этих нудистов.

МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ПАРИЖ

Прокаженные дома,
зачумленные дома,
и холерные дома,
и загаженные.

Здания оспую больны,
скарлатиной больны,
невысокие дома
и многоэтажные.

Золотушный особняк.
Рахитичный особняк.
Вот страдающий запором
особняк.
И лачуги.
И барак.

КРИКИ ПАРИЖА

Больше не услышишь точильщика ножей,
склейщика фарфора, набивщика матрасов...
Можно лишь услышать транзисторов вой,
телевздор и прочий вздор (в любое время года),
так же как и тихое «ай-ай!» или «ой-ой!»
сбитого машиной пешехода.

Андре Моруа

ПИСЬМО ИНОСТРАНКЕ

(Фрагмент)

Вы всегда говорили мне о Париже, хотя никогда его не видели, с такой искренней любовью, что мне захотелось показать вам его, точнее — помочь вам вновь обрести Париж, ведь мысленно вы жили в нем долго и, пожалуй, знаете его лучше, чем я. Вы вместе с Квазимодо и Эсмеральдой бродили по старым улицам вокруг Нотр-Дам; вместе с Растиньяком обследовали семейные пансионы, которых теперь уже нет; вместе с ним поднимались к Пер-Лашез и с этого холма бросали вызов распростертому у ваших ног городу; вы сопровождали Дешатра и Терезу Мартен-Беллем в их прогулках вдоль Сены; вы следовали за Жале и Жерфаньоном по кровлям Эколь Нормаль. Карко открыл вам Монмартр, Ромен — Бельвиль, Колетт — Пале-Рояль, Сартр — Монпарнас. Вашими гидами были и художники. Вы любите нежную гладкую Сену Лепина так же, как серо-зеленую бурную Сену Марке. Писсарро заставляет вас наслаждаться переливающимися красками парижской толпы; Бернар-Ламотт — очарованием пустынных улиц и сверкающим после ливня асфальтом. Итак, вы приходите на это свидание с Парижем подготовленной годами ожидания и надежд. И вы не разочаруетесь.

Вы не разочаруетесь, ведь Париж совершеннее, многограннее, чем вы себе представляете. Я прошу вас провести в нем месяцы, может быть, годы, потому что одна из его прелестей — разнообразие. Климат Парижа умеренный. Весна мягкая. С Сены поднимается голубоватый туман. В воздухе словно блуждают частицы золота. «Вокруг по-детски чистое пространство». Голубое небо с его белыми неподвижными облачками напоминает небеса Будена. Лето не приносит резких изменений. Обычно в июле уезжают в деревню или к морю, но даже если вы останетесь в Париже, то не пожалуете об этом. Париж в августе великолепен: он становится городом-курортом; жара не обжигает, а ласкает. Вы будете обедать на открытом воздухе в ресторанах Булонского леса, на Елисейских полях, на Монмартре, в парке Монсури или в какой-нибудь деревенской харчевне на берегу Сены и Марны. С наступлением октября вы увидите, что вокруг вас жизнь бьет ключом, и вам будет

безразлично, идет ли дождь, снег или сияет солнце. Не знаю почему, но в любое время года Париж не кажется грустным, и серая хмурая зимняя погода так же приятна, как легкая весенняя.

«Там красота царит, там лишь порядок властен,
Там роскошь благожна, там отдых сладострастен.

Прекрасные стихи «Приглашение к путешествию» относятся к Парижу только частично. Здесь нравится не роскошь, а несомненно порядок и красота. Есть города с более строгой планировкой, чем Париж, потому что они строились десятилетиями, на голой земле, в то время как Париж рос в течение веков, протягивая, подобно живому существу, свои конечности и щупальца по всем направлениям. История заставляла его много раз отражать натиск врагов, но она же наградила его прекрасными памятниками. Сама жизнь помогла народу-художнику вносить повсюду должный порядок. Нет на свете более красивого архитектурного ансамбля, нежели тот, который находится между Триумфальной аркой и Лувром и между церковью Мадлен и Бурбонским дворцом. Замечательно, что, несмотря на некоторые ошибки барона Османна, эта гармония была достигнута почти без принесения в жертву исторических памятников. Спуститься по Сене от Нотр-Дам к дворцу Шайо — это значит пройти по триумфальной дороге Франции. Придорожные камни остались нетронутыми.

Вы скоро поймете, что Париж для Франции больше чем столица. Париж — мозг этого огромного тела. Это вовсе не значит, что во французских провинциях нет выдающихся людей. В действительности коренные парижане занимают в стране место, соответствующее их числу. Но все великие люди провинции получают признание только в Париже. Репутация действительна только тогда, когда она подтверждена Парижем. Английский писатель может всю жизнь провести вдали от Лондона, американский — вдали от Нью-Йорка. Если же французский писатель не живет в Париже, он должен каждый год погружаться в атмосферу этого города, где идеи, казалось бы, рождаются быстрее, но и гибнут быстрее, если они нежизненны. Кто-то в провинции питается иллюзиями насчет своего никому не известного шедевра; после трехдневного пребывания в Париже он убеждается, что «нежно прижимал к своему сердцу репу». Высочайший приговор Парижа относится не только к фран-

цузам. Сколько великих иностранцев нашли и у себя на родине прием, достойный их гения, только после того как их признали в Париже! Всем известно, как много «открытий» в области искусства делается в Париже. Молодой американский художник счастлив, если он может работать на Монпарнасе. Хемингуэй, изнемогавший на Среднем Западе, нашел себя в парижской атмосфере. Париж — одна из интеллектуальных столиц мира. Вы, гражданка Парижа, никогда не ступавшая на его землю, знаете его лучше, чем кто-либо.

Кроме Иль-де-Франс я вам покажу еще и другие наши провинции, и вы их полюбите, но отметите, что между двумя путешествиями мы возвращаемся всегда в Париж. Если не принять Париж как центр, то осуществлять поездки по Франции почти невозможно. Поперечные железнодорожные линии обслуживаются плохо. А из Парижа все легко. Раскинувшись в центре шестиугольной паутиной, город мягко спускается по любому из своих радиусов. Вы быстро начнете различать вокзалы Парижа, из которых каждый имеет свое лицо, потому что они ведут в различные миры: вокзал Сен-Лазар, такой родной для нас, когда он связывает нас с Нормандией, с пляжами нашего детства; он одновременно таинствен и живописен, так как видит прибытие и отъезд заатлантических поездов; младший брат вокзала Сен-Лазар, вокзал Монпарнас, соединяющий Париж с Бретанью, находится еще в периоде роста, в районе вокзала — площадка для пригородного строительства; вокзал Аустерлиц в своем нынешнем состоянии не соответствует прекрасным районам Юго-Запада, которые он обслуживает; вокзалы Северный и Восточный, деятельные братья-близнецы, связаны в наших воспоминаниях с войной; и, наконец, Лионский вокзал, взобравшийся на самую высокую точку своих владений, с видными издали, успокаивающими сердце часами — вокзал счастья, ворота солнца, вокзал спортсменов, отправляющихся в Швейцарию, вокзал влюбленных, едущих на Лазурный берег и в Италию; но также и крупных фабрикантов шелковых изделий из Лиона и моряков из Тулона. По всем этим рельсам, теряющимся на горизонте, Париж — это поворотный круг — распределяет пассажиров, устремляющихся сюда со всех пяти континентов.

П. Г. Антокольский

ИТОГ

Но как бы ты ни был зачеркнут
Всей силой, подвластной уму,—
Красы этой грустной и черной
Нельзя позабыть никому.

И мча по широким бульварам
Сторотый и сытый поток,
Торгуя дешевым товаром
И зная всех истин итог,

Ты все-таки, все-таки молод,
Ты все-таки жарок и горд
Кипеньем людского размола
На площади Де-ля-Конкорд.

Ты вспомнишь — и кровь коммунаров
В мгновение смоем как вихрь,
Танцующий ад лупанаров,
Гарцующий ад мостовых.

Ты вспомнишь — и ружья бригады
Сверкнут в Тюильрийском саду,
Возникнет скелет баррикады,
Разбитый в тридцатом году.

Ты вспомнишь — и там, у барьера,
Где Сена, как слава, стара,
Забьется декрет Робеспьера,
Наклеенный только вчера.

Ты вспомнишь — не четверть столетья,
А времени бронзовый шаг.
Ты — память.
А если истлеть ей —
Хоть гулом останься в ушах!

Ты — время, обросшее бредом
В пути безвозвратном своем.
Ты — сверстник.

А если ты предан —
Хоть песню об этом споем.

ПАРИЖ

Париж! Я любил вас когда-то.
Но, может быть, ваши черты
Туманила книжная дата?
Так, может быть, выпьем на «ты»?

Не около слав Пантеона,
Почтивший их титул и ранг...
А дико, черно, потаенно —
Где спины за ломаный франк

Сгибаешь ты лысым гарсонам;
Где кофе черней и мутней;
Где ночь семафором бессонным
Моргает — и ветер над ней;

Где заперта ценность в товаре,
Где сущность — вне рыночных цен,
Где голой и розовой тварью
Кончается тысяча сцен,—

Над пылью людского размола,
Над гребнями грифельных крыш,
Ты все-таки, все-таки молод,
Мой сверстник, мой сон, мой Париж!

Жак Превер

ПЕСНЯ ПРО СЕНУ

У счастливицы Сены
Ни забот ни хлопот
Вдаль скользит безмятежно
День и ночь напролет

И не ведает грусти
Ей и вправду везет

От истоков до устья
Знает путь наперед
И бездумно как гостя
По Парижу течет

У счастливицы Сены
Ни забот ни хлопот
К берегам мимоходом
На прогулке прильнет

Блеском платья мгновенно
Озарит парапет
И степенные стены
Где как строгий сосед
Нотр-Дам ей надменно
Смотрит искоса вслед

Но беспечная Сена
Не замедлит свой ход
Вдаль скользит безмятежно
День и ночь напролет
Вольно двигаясь к морю
По Парижу течет
И минует как греза
Город тайн и невзгод

Шарль Пегги

ПАРИЖ — ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ

Двойной корабль войны вдоль стройных колоннад.
Когда-то в сто бойниц гора сторожевая,
Теперь — большой завод, живая кладовая,
Под вой зеленых жерл скопившая свой клад.

Отцы тебе несли горячих песен ад,
Ты щедро расцветал, их жизни выпивая,
Когда на гордый бак, гремя, скакала стая
Визгливых штуцеров и гулких каронад.

Но мы тебе несем с последним приговором
Сердца, раскрытые всем бедам и ветрам,
Сердца, взалкавшие по всем морским просторам.

Последние бойцы угасших орифламм,
Зеленых демонов, оскаленных дозором,
Мы весело сожжем подножье Нотр-Дам.

ПАРИЖ — ГРУЗОВОЙ КОРАБЛЬ

Двойной бездонный трюм на двух уступах Сены,
Фрахтовщик пурпура и драгоценных мирр,
Корабль, грузивший хлеб и правосудный мир,
Гордыню терпкую и кроткий вкус вербены,—

Ты скорбью отягчен, как золотом Офир;
Страданиями отцов тяжести твои накрены.
Раздутей нет боков над чашей водной пены:
Перегрузил нутро тысячелетний пир.

Но мы тебе несем, вослед угасшей вере,
Суровую тоску с тревогой пополам
И опаленный стяг безвыходной потери;

Его мы вознесем — превыше орифламм,
Раздутых гневом бурь при Септима Севере —
И спущенных навек к подножью Нотр-Дам.

ПОСВЯЩЕНИЕ ПАРИЖА БОГОМАТЕРИ

Взгляни, Звезда морей, на наш корабль большой,
На нас, гребцов нагих, твоей послушных власти.
Вот бурь следы на нем, вот паруса и снасти,
Вот Лувр, вот шлюз и бьеф, и набережных строй.

Взгляни, вот наш корабль, и вот наш рулевой —
Он юн, но кораблю с ним не грозит несчастье.
Он наш земляк, свистит мотив лихой в ненастье,
Он прост умом, силен и грубоват порой.

Царица, в чьих лучах нам светел океан,
Ты будешь нас хранить, когда мы выйдем в море.
Погрузки день настал, мы отплываем вскоре,
Уже мычат гудки, скрипит огромный кран.

Когда б грузить пришлось лишь скромный наш трофей
И добродетели одни собрать в дорогу —
Пустым корабль поплыл бы к твоему порогу,
Скорлупкой, сброшенной бельчонком из ветвей.

Ни одного тюка мы не внесли бы в трюм
И в море привели б Саргассово без груза
Громаду полуу, что для портов обуза,
И между англичан поднялся б смех и шум.

Но мы клянемся взять достойный груз на борт.
Корабль наполним мы до самого планшира
И, щедро нагрузив, украсим, как для пира,—
Всех краше он войдет в обетованный порт.

Возьмет он не маис, лишь ценный груз один:
Зерно и золото, и россыпи жемчужин.
Устойчив будет он, ведь будет он нагружен
Всей тяжестью грехов, что искупил твой Сын.

О. Э. Мандельштам

* * *

Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости,

Правды горлинок твоих и кривды карликовых
Виноградарей в их разгородках марлевых.

В легком декабре твой воздух стриженный
Индевет денежный, обиженный...

Но фиалка и в тюрьме — с ума сойти в безбрежности! —
Свищет песенка-насмешница, небрежница,

Где бурлила, королей смывая,
Улица июльская кривая.

А теперь в Париже, в Шартре, в Арле
Государит добрый Чаплин Чарли,—

В океанском котелке с растерянною точностью
На шарнирах он куражится с цветочницею.

Там, где с розой на груди в двухбашенной испарине
Паутины каменеет шаль,
Жаль, что карусель воздушно-благодарная
Оборачивается, городом дыша,—

Наклони свою шею, безбожница
С золотыми глазами козы,
И кривыми картавыми ножницами
Купы скаредных роз раздразни.

ПРИМЕЧАНИЯ

Полный комментарий к представленным в антологии текстам дать в рамках этой книги невозможно: это означало бы составить картину быта, нравов, политики, истории и т. д. не только Франции, но и всей Европы от средневековья до XX в. Мы ограничились комментированием лишь тех реалий, имен или же авторских намеков, незнание которых делает невозможным или затрудненным понимание текста. Если читатель почувствует желание обратиться к справочным изданиям или же историческим сочинениям, чтобы полнее понять включенные в антологию произведения, составители сочтут одну из стоящих перед ними задач выполненной.

В примечаниях не комментируются: имена персонажей античной мифологии, географические названия, парижские улицы и достопримечательности.

ПРОЛОГ

В качестве пролога использован фрагмент предисловия, написанного французским поэтом и романистом Виктором Гюго (1802—1885) для путеводителя по Парижу, подготовленного в 1867 г. рядом французских литераторов к открытию международной выставки.

С. 8. *Друиды* — сословие жрецов у древних кельтов. *Каролинги* — династия франкских королей, правивших во Франции с 751 по 987 г.

«*После нас хоть потоп!*» — знаменитая фраза Людовика XV, короля Франции с 1715 по 1774 г.

Мы видим, как копошатся какие-то карлики, и только...— Гюго имеет в виду государственных и политических деятелей Франции предреволюционной поры, в той или иной степени углубивших политический и экономический кризис государства. Далее называются эти деятели: *Д'Эгюйон* Эммануэль-Арман (1720—1782) — военный, придворный Людовика XV и Людовика XVI; *маршал Ришелье* Луи-Франсуа (1696—1788) — внучатый племянник знаменитого кардинала, участник нескольких антиправительственных заговоров; *Морепа* Жан Фредерик Филипп (1701—1791) — первый министр при Людовике XVI; *Вержени* Шарль Гравье (1717—1787) — министр иностранных дел при Людовике XVI, дипломат, совершивший ряд неудачных внешнеполитических акций. Оценки Гюго не вполне заслуживают упоминаемые им *Калонн* Шарль Александр (1734—1802), автор ряда реформ, при помощи которых он стремился вывести страну из кризиса, но не сумевший по разным причинам осуществить их в полном объеме, и *Монморен* Арман Марк (1746—1792) — министр иностранных дел с 1787 г., уволен в отставку накануне революции, впоследствии сотрудничал с Национальным собранием, казнен в 1792 г.

Мирабо Оноре Габриель Рикети (1749—1791) — знаменитый оратор и публицист, политический деятель революции. Сразу после смерти был захоронен как великий человек в Пантеоне, откуда останки его были вынесены в 1792 г., когда стали известны секретные сведения о сношении Мирабо за плату с королевским двором. *Дантон* Жорж Жак (1759—1794) — один из самых популярных вождей якобинцев, осуждавший

чрезмерную строгость террора 1793 г., был арестован и гильотинирован.

С. 9. *Виссарион* Иоанн (1395—1472) — византиец, кардинал, писатель и ученый, долгое время живший при французском дворе. *Уолпол* Роберт (1676—1745) — английский государственный деятель. *Де Местр* Жозеф (1753—1821) — французский писатель и политический деятель, противник революции.

С. 10. *С одной стороны — Конвент, с другой — Коммуна.* — Конвент (Национальный конвент) — революционное собрание, учредившее 21 сентября 1792 г. Первую Республику и управлявшее Францией до октября 1795 г., *Коммуна* — здесь: орган муниципального управления Парижа во времена революции (1792—1794).

С. 12. *Один из них — Левиафан, другой — Бегемот.* — *Бегемот* и *Левиафан* — имена библейских чудовищ (книга Иова, 40), воплощающих идею божьего всемогущества.

Аббат Сугерий (ок. 1080—1151) — французский монах, настоятель аббатства Сен-Дени, советник французских королей. *Людовик VII* (с 1137 по 1180), *Филипп Август* (Филипп II) (с 1180 по 1223), *Иоанн* (Иоанн II) (с 1350 по 1363), *Карл V* (с 1364 по 1380) — короли Франции.

Эскарп и контрэскарп — виды земляных оборонных сооружений.

С. 13. *Арпан* — старинная мера площади, величина ее колебалась от 0,35 до 0,5 га; *Вильгельм Бретонец* (ок. 1165—1226) — французский поэт и историк, придворный Филиппа Августа, автор «Истории деяний Филиппа Августа». *Людовик XI* — король Франции с 1461 по 1483 г. *Филипп де Комин* (ок. 1447—1511) — французский летописец. *Фелисьен* Андре (1619—1695) — французский архитектор и историограф.

С. 15. *Аббат де Сен-Пьер, слышавший в свое время безумцем* — аббат де Сен-Пьер, в миру — Шарль Ириней Кабель (1658—1743), французский публицист, поборник идеи вечного мира, которой посвящена его книга «Проект вечного мира».

С. 16. *Они подобны Эмпедоклам, после которых остается одна сандалия* — по преданию, греческий философ Эмпедокл из Агригента (490—430 до н. э.), пожелав исчезнуть бесследно, бросился в кратер вулкана Этны, но вулкан выбросил его сандалию.

С. 19. *«Однажды Генрих VIII разлюбил свою жену; отсюда — новая религия».* — Речь идет об учреждении англиканской церкви (одной из ветвей протестантизма) королем Англии *Генрихом VIII* (с 1509 по 1547). Одним из поводов разрыва с католической церковью был отказ папы римского разрешить королю развод с Екатериной Арагонской.

С. 20. *Нарваз* — Нарваз Рамон Мария (1800—1868), испанский государственный и политический деятель, с 1844 г. периодически возглавлявший кабинет министров Испании. *Бисмарк* Отто Эдуард Леопольд (1815—1898) — германский государственный и политический деятель, с 1862 г. министр иностранных дел и министр-президент (т. е. премьер-министр) Пруссии, фактический глава государства при *прусском короле* Вильгельме I Гогенцоллерне (с 1861 по 1888; император Германии с 1871 г.). Бисмарк разработал и осуществил военную реформу Пруссии, был вдохновителем и организатором франко-прусской войны 1870 г. Когда Гюго писал предисловие, Пруссия интенсивно наращивала военную мощь и неизбежность войны была очевидна — это следует иметь в виду для понимания дальнейших слов Гюго о «капральском духе», воцарившемся в Пруссии.

С. 22. *Лафон* Пьер (1773—1846), *Талья* Франсуа Жозеф (1763—1826) — французские драматические актеры. *Веллингтон* Артур Уэлсли

(1769—1852) — английский полководец и политический деятель, победитель *Наполеона* в битве при Ватерлоо (1815).

С. 24. *Что мы увидим сегодня? Скриба. А завтра? Лафайета.*— Скриб Эжен Огюстен (1791—1861)— французский драматург, автор множества необычайно популярных водевилей и комедий. *Лафайет* Мари-Жозеф Мотье, маркиз (1757—1834) — политический деятель, генерал, участник войны за независимость Америки (1776—1782), Великой французской революции (1789—1794). В дни июльской революции 1830 г. возглавил национальную гвардию и способствовал восстановлению порядка в Париже, был членом временного правительства, предшествовавшего избранию Луи-Филиппа королем Франции.

С. 25. *Катон* Марк Порций Старший (234—149 до н. э.) — римский оратор и политический деятель, олицетворяющий мудрость и верность своему слову.

Был город, более доблестный, чем Спарта, то был Сибарис.— Гюго противопоставляет здесь два античных города, которые в европейской культуре стали символами: *Спарта* — суровой мужественности, *Сибарис* — роскоши и комфорта.

Руже де Лиль Жозеф Клод (1760—1836) — автор песни Рейнской армии, впоследствии «Марсельезы», ставшей национальным гимном Франции. *Барра* Жозеф (1779—1793) — юный герой Великой французской революции.

Бурхаав Герман (1668—1738) — голландский врач и химик.

...он волновался из-за Польши, но не волнуется из-за Ирландии, он волнуется из-за Италии... но не волнуется из-за Крита, хотя это та же Греция. Сорок лет тому назад его взволновал Псара, сегодня Аркадион оставляет его равнодушным.— Гюго, вероятно, имеет в виду следующие события внешнеполитической жизни Европы: разделы Польши между Россией, Пруссией и Австрией 1793—1795 гг. либо восстание в Польше в 1863—1864 гг.; восстание в Ирландии в 1867 г., направленное против национального гнета со стороны Англии; революцию в Италии в 1848—1849 гг.; крестьянское восстание 1888 г. в Румынии и последовавший за ним затяжной политический кризис; *Псара* — остров в Эгейском море, чье население было уничтожено турками в 1824 г., во время войны греков за независимость. *Аркадион* — монастырь на Крите. В 1866 г., во время борьбы за независимость острова, защитники Аркадиона, не желая сдаваться врагу, взорвали и монастырь и себя.

С. 26. *...столице... которая... дарует власть тому, кто ею владеет, за которую император Максимилиан, предок Карла V, отдал бы всю свою империю... и которая досталась Генриху IV ценой обедни.*— *Максимилиан I* Габсбург — германский император (с 1493 по 1519), неоднократно выступавший в военных действиях против Франции и входивший в антифранцузские политические союзы; *Карл V* Габсбург (1500—1558) — испанский король, германский император (с 1519 по 1555), проводил антифранцузскую политику. *Генрих IV* — король Франции (с 1589 по 1610). Будучи протестантом, принял католичество, чтобы иметь право сесть на французский престол; в связи с этим, по преданию, сказал фразу: «Париж стоит обедни» (отправление обедни, мессы, — один из пунктов расхождения между католическим и протестантским богослужением).

С. 27. *Эта реакция, так бесстрашно разоблаченная гордым и сильным красноречием Эжена Пельтана... проникновенной и глубокой иронией Анри Рошфора... Мишле, Луи Ульбахом.*— Гюго говорит здесь о прогрессивных общественных деятелях и публицистах времен Второй империи (1852—1870): *Эжене Пельтане* (1813—1884), *Викторе Анри Рошфоре* (1831—1913), знаменитом историке *Жюле Мишле* (1798—1874), *Луи*

Ульбахе (1822—1889) — писателе и журналисте, участнике Парижской коммуны.

С. 28. ...живых поэтов сравнивают с Клавдианом, Луканом и Стацием... Чекки говорил, что Данте — не более как Стаций; для Скюдери Корнель был не более как Клавдианом; для Грина Шекспир — это не более как Лукан и Гонгора.— Клавдиан (IV в.), Лукан Марк Анней (39—65), Стаций (61—96) — римские поэты. Чекки Джованни Марио (1518—1587) — итальянский юрист и писатель. Гонгора Луис (1561—1627) — испанский поэт, ведущий представитель испанского барокко; Скюдери Жорж (1601—1667) — французский поэт и драматург, литературный противник Пьера Корнеля. Грин Роберт (1558—1592) — английский драматург, современник Шекспира.

1. ПАРИЖ В СРЕДНИЕ ВЕКА И ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Символом средневекового Парижа в европейской культурной традиции устойчиво считается собор Парижской Богоматери. По-искусствоведчески детальное описание собора в стихотворении Осипа Эмильевича Мандельштама (1891—1938) связывает саму конструктивную основу постройки с обобщенной идеей дерзновенности человеческого духа, способного преодолеть как тяжесть материала, так и толщу времени, способного пронести сквозь века энергию и воодушевление творца, так же сильно воздействующие на потомков, как они воздействовали на современников. Символ искусства, как такового, видят в соборе и австрийский поэт Райнер Мария Рильке (1875—1926), и польский поэт-авангардист Юлиан Пшибось (1901—1972). Такое место в литературе и культуре XIX—XX вв. собор занял благодаря вышедшему в 1831 г. роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Как предсказывал современник В. Гюго Жерар де Нерваль (Жерар де Лабрюни) (1808—1855), собор и роман о нем стали неразделимы в сознании всех, причастных европейской культуре.

Перенесясь в средневековый Париж, Гюго смотрит на него с крыши собора, стремясь восстановить облик старинных улиц и исчезнувших домов. Задача эта не из легких, ибо средневековая литература не знала пейзажа и не оставила потомкам собственно описания Парижа. Тем не менее голоса поэтов, для которых Париж XIV—XVI вв. был родным городом, позволяют уловить его неповторимый дух; вслушиваясь в них, Вячеслав Иванович Иванов (1866—1949) стремится передать атмосферу Латинского квартала, куда стекались за знаниями студенты с разных концов Европы. Одним из них был легендарный французский поэт Франсуа Вийон (Франсуа де Монкорбье) (1431 — после 1463). Его баллада, равно как и стихотворение Эсташа Дешана (1346—1407), написанное в традиционном старофранцузском жанре «прощания», вводит в литературную традицию облик Парижа как города радости и веселья, города приключений, населенного бойкими на язык горожанами,— этому облику суждено было надолго войти в литературу. Позже, в XV в., формируются другие темы, которые впоследствии также станут традиционными. Париж как очаг светской жизни, центр искусства и науки предстает в стихотворениях поэтов «Плеяды» Жоашена дю Белле (1522—1560), Оливье де Маньи (ок. 1529—1562), Жана Антуана де Баифа (1532—1589), Жака Гревена (1538—1570). Они же впервые заговорили и об особенной привязанности любого парижанина к родному городу.

С. 35. Хильдеберт (Хильдебер) (511—558) — франкский король, сын Хлодвига I.

С. 36. ...тяжелым каменным саркофагом...— т. е. имеющим форму купола на четырехугольной призме.

Людовик XIII (с 1610 по 1643) и *Людовик XIV* (с 1643 по 1715) — короли Франции.

Соваль Анри — автор книги «Старый и новый Париж».

С. 37. ...настоящую проказу... которая начинает пожирать истинное искусство еще в молебне *Екатерины Медичи*, а два века спустя заставляет его, измученное и искаженное, окончательно угаснуть в будуаре *Дюбарри*.— *Екатерина Медичи* (1519—1589) — французская королева, одна из вдохновительниц *Варфоломеевской ночи* (1572). *Дюбарри Жанна* (1743—1793) — любовница короля Франции *Людовика XV*, гильотинирована в годы якобинского террора. Выпад *Гюго* направлен против тех стилей искусства (поздний Ренессанс в первом случае и *Рококо* во втором), для которых характерно обилие замысловатых деталей и украшений.

С. 38. *Лютер Мартин* (1483—1546) — основатель лютеранства, одного из крупнейших направлений внутри протестантизма; *Витрувий Марк* (I в до н. э.) — римский архитектор и теоретик архитектуры; *Виньоля Джакомо Бароцци* (1507—1573) — итальянский архитектор, некоторое время живший и работавший в Париже.

...военным духом, берущим свое начало в Восточной Римской империи и доживающим до времен *Вильгельма Завоевателя*.— *Восточная Римская империя*, или *Византия*, — государство, возникшее при разделе Римской империи в IV в., вело многочисленные войны за расширение своих владений, в VI в. представляла самую обширную средиземноморскую державу. *Вильгельм I Завоеватель* (ок. 1027—1087) — герцог *Нормандии*, подчинивший себе *Англию* и ставший в 1066 г. ее королем.

С. 40. *Григорий VII* — папа римский с 1073 по 1085 г., боровшийся за укрепление независимости церкви от светских властей. *Герметики* — последователи теософского учения, объединявшего элементы древнеегипетской, античной, иудейской и христианской религий; *Никола Фламель* (1330—1418) — писатель и алхимик, которому молва приписывала занятия черной магией, под конец жизни прославился благотворительностью; проповедовал отказ от роскоши.

С. 47. *Юлиан Отступник* — римский император с 331 по 363 г., правитель *Галлии*, часто живший в Париже и любивший его.

С. 51. По словам *Фавена* и *Паскье*...— *Фавен Андре* — французский историк второй половины XVI в.; *Паскье Этьен* (1529—1651) — юрист и литератор, автор книги «Разыскания о Франции».

С. 52. *Карл VI* — король Франции с 1380 по 1422 г., по причине психического нездоровья имел официальных опекунов, распря которых получила название распри *Арманьяков* с *Бургиньонами*.

С. 56. ...куда Камоложен завлек Цезаря...— имеется в виду один из эпизодов *галльской войны* (58—51 до н. э.) *Цезаря*.

С. 58. *Альгамбра* — мавританский дворец в Испании (середина XIII — конец XIV в.), *Шамборский замок* — королевский дворец, построенный в 1523—1533 гг., оба дворца отличаются пышностью и великолепием.

С. 63. *Мињьяр Пьер* (1612—1692) — живописец, особенно прославившийся как портретист, с 1660 г. — директор королевских художественных музеев и мануфактур.

С. 64. *Генрих II* (1519—1559) — король Франции.

Мессидор — десятый месяц по республиканскому календарю, принятому в годы Великой французской революции.

С. 69. *Кругликова* Елизавета Сергеевна (1865—1941) — художница. В 1900—1914 гг. ее мастерская в Латинском квартале была центром притяжения для молодых русских художников и поэтов, приезжавших в Париж.

Дант — Данте Алигьери, в 1308—1309 гг. выступал на диспутах в Парижском университете. *Абеляр* Пьер (1709—1742) — знаменитый философ и теолог, обучался в Парижском университете и там же основал собственную философскую школу.

С. 70. *Пурпуэн* — вид средневековой одежды.

С. 71. *Белло* Пьер (1523—1577), *Ронсар* Пьер (1524—1585) — поэты «Плеяды»; *Паскаль* Пьер (1522—1565) — историограф короля Франции Генриха II.

Что от нормандки ждуть? — Речь идет о Диане де Пуатье (1499—1566) — фаворитке Генриха II.

...тайну трех Сестер... — т. е. тайну судьбы (три сестры — три Парки, прядущие нить человеческой жизни).

С. 72. *Голконда* — столица средневекового индийского государства, получившего особый расцвет в XVI—XVII вв., о богатствах, таящихся в потайных кладовых Голконды, ходили легенды.

II. ПАРИЖ В XVII—XVIII ВЕКАХ

Стихотворение Валерия Яковлевича Брюсова (1874—1924) «В старом Париже» довольно полно отражает легенду о Париже XVII столетия, вошедшую в литературную традицию вслед за романами Александра Дюма. Во многих произведениях XIX—XX вв. встречается облик города, где сплелись любовь и политика, благородство и расчетливость, отвага и авантюризм, где на каждом углу подстерегают прохожего удар шпаги или захватывающее приключение. Реальный Париж XVII в., очевидно, отличался от легенды, но все писатели и поэты XVII в. отмечают необыкновенное кипение парижской жизни. Именно в это время рождается в поэзии «городская» тема, где суетная жизнь большого города, изображенная в ее красках, звуках и запахах, соседствует с сетованиями на упадок нравов у горожан. Таков Париж в «Сатирах» (1660) Никола Буало-Депрео (1636—1711), у Поля Скаррона (1610—1660); у неизвестного автора «Криков Парижа», создавшего своеобразную симфонию из выкриков торговцев и разносчиков.

Продолжая традицию поэтов Возрождения, поэты XVII в. по-прежнему рисуют Париж как центр наук и искусств. О Париже как о городе, где бурлит напряженная духовная жизнь, пишет Жозеф де Демаис (1722—1761) в стихотворном «Послании к Вольтеру», отрывок из которого предпослан эпиграфом ко всему разделу, так как в нем звучит тема многоликости и многообразия Парижа, суеты и разногласия, царящей как на его улицах, так и в литературных салонах, где можно услышать самые разнообразные суждения и речи. Правда, свобода и независимость мыслей подчас оборачивались строжайшим надзором над инакомыслием: трагически окончилась жизнь поэта Клода ле Пти (1638—1662), чьи стихи, входящие в цикл «Смешной Париж», были сочтены оскорбляющими нравственность, а сам поэт арестован, обвинен в нечестии и безверии и публично сожжен на Гревской площади.

В XVII в. появляются первые литературные «путешествия» в Париж, где город описан как бы со стороны, увиденный глазами иностранца. Именно так глядит на Париж итальянский поэт Джамбатиста Марино (1569—1625), чья «непосвященность» в парижские нравы, в известной мере, условна. Позже Шарль Луи Монтескье (1689—1755)

взглянет на Париж глазами двух молодых персов, героев «Персидских писем» (1721), чьи мысли и суждения о неизвестном доселе городе высветят самую суть парижской жизни. Василий Кириллович Тредиаковский (1703—1768), приехавший учиться в Сорбонну в 1727 г., открывает в нашей книге ряд русских литературных паломничеств в Париж, традицию эту продолжает Дмитрий Иванович Фонвизин (1744/45—1792); в антологии представлено письмо, написанное им в 1778 г. Петру Ивановичу Панину (1721—1789), видному общественному деятелю; а также Николай Михайлович Карамзин (1766—1826), чьи «Письма русского путешественника» (1791) определяют на столетие вперед литературный облик «русского в Париже».

Наряду с путешествиями в XVIII в. появляются настоящие исследования парижских нравов и парижской истории. К ним относятся журнальные очерки Пьера Карле Шамблен де Марииво (1688—1763), опубликованного в 20-е гг. XVIII в. «Письма о парижанах»; а также объемистые «Картины Парижа» (1781—1788) Луи Себастьяна Мерсье (1740—1814), ставшие самым полным и достоверным свидетельством парижского быта эпохи.

В конце XVII в. в культуру и литературу прочно входит образ Версаля. В 1682 г. сюда, в предместье Парижа, переносится королевская резиденция, и с этих пор образы Парижа и Версаля связаны неразрывно. Регулярный классицистический парк, разбитый архитектором Андре Ленотром (1613—1700), дворцы, где сочетаются и взаимодополняются черты барокко и классицизма, придворные праздники — все это превратило Версаль в своеобразный символ: для Жака Делиля (1738—1813), сокрушающегося о вырубке старых деревьев парка (отрывок из песни II поэмы «Сады», 1782), Версаль — это символ ушедших лет царствования «короля-солнца», для Р.-М. Рильке Версаль предстает как символ всей французской культуры XVII—XVIII вв. В стихотворении Андре Шенье (1762—1794) Версаль стоит в оппозиции к Парижу: здесь, в Версале, мирная жизнь на лоне природы, там, в Париже, льется кровь и вершатся злодеяния. Трагическая фигура молодого поэта, казненного в годы якобинского террора, неразрывно связана с Великой французской революцией 1789—1794 гг., события которой разыгрывались на мостовых Парижа. Сложным и неоднозначным было отношение к революции как ее современников, так и потомков. Взятие Бастилии 14 июля 1789 г., описанное английским поэтом Сэмюэлом Кольриджем (1772—1834) по горячим следам событий, и через столетие воспринимается как символ свержения тирании и освобождения народа («Бастилия» немецкого поэта Георга Гейма, 1887—1912). Но последующие события — учреждение новых праздников, «дехристианизация» храмов, провозглашение «культуры разума» как новой религии — заметно переосмысливаются с течением времени. Восторженное описание «праздника Федерации» — первой годовщины взятия Бастилии, к которому было присоединено принесение «гражданской присяги» королем, превращение церкви Св. Женевьевы в Пантеон, которое дает немецкий писатель и публицист Кристиан Фридрих Даниэль Шубарт (1739—1791), резко отличается по своему тону от рассказа Ивана Андреевича Бунина (1870—1953), написанного в 1924 г. Исторический и жизненный опыт позволил И. А. Бунину увидеть в кажущемся триумфе «разума» нищету духа, создавая суррогаты взамен подлинных, но разрушенных ценностей. Террор, установившийся к 1793 г., озадачил многих почитателей Великой французской революции. Переводчик якобинской конституции на немецкий язык Иоганн Георг Адам Форстер (1754—1794) пишет о текущих событиях октября — декабря 1793 г. (по революционному календарю брюмера — фримера II года Рес-

публики) несколько растерянно и куда более сдержанно, чем Шубарт, а для Максимилиана Ивановича Волошина, обратившегося к опыту 1793 г. в грозные дни (26 ноября) 1917 г., террор видится однозначно как трагичное и бесчеловечное зло.

Шум и гул революции, с ее взаимопереплетениями добра и зла, с превращением в тиранов вчерашних борцов за свободу, героев — во врагов, впечатался в самую парижскую мостовую, и, чтобы услышать его, достаточно лишь вслушаться в «язык булыжника», как это сделал Осип Эмильевич Манделштам.

С. 76. *Париж — двойник Афин во время оно.* — Имеется в виду Афинская античная республика, ставшая в европейской культуре символом средоточия духовной и интеллектуальной жизни.

С. 77. *Лоренцо Скотто* — друг Марино, поэт, капеллан кардинала Савойского Маурицио.

С. 79. *Маргутте* — персонаж поэмы Пульчи «Большой Моргант».

С. 79. *...то произошло бы у него то же, что вышло у сатира с Корискою.* — Имеется в виду эпизод из трагикомедии Дж. Б. Гвирини «Пастор Фидо». Убегая от сатира, Кориска оставила у него в руках парик, за который сатир схватил ее, думая, что удерживает за волосы.

С. 80. *...я похож на Кибелу с башнями на голове...* — Кибела — фригийская, а затем древнеримская богиня плодородия, изображавшаяся с башенной короной на голове.

Ослиный череп — здесь: бесценная реликвия (имеется в виду череп осла, на котором Иисус Христос въезжал в Иерусалим).

С. 82. *«Золото» называют здесь «серебром»...* — деньги и серебро обозначаются по-французски одним словом; в дальнейшем Марино обыгрывает сходство французских и итальянских слов, обозначающих разные понятия.

...точно он происходит из рода Готфрида... — т. е. из рода Готфрида Бульонского (1061—1100), знаменитого предводителя I крестового похода.

С. 83. *Три соля мешок.* — *Соль* — мелкая монета.

С. 85. *Аббат де Пюр* — литературный противник Буало, посредственный писатель.

С. 92. *...Тебя не лучше поля Элисейски...* — имеется в виду античный мифологический образ загробного царства, где тени умерших ведут райскую жизнь. Так же названа улица в Париже, но Тредиаковский, очевидно, имеет в виду именно античный образ.

С. 93. *Есть даже дом, где...* — имеется в виду кафе «Прокоп», в котором собирались литераторы и философы.

...дело шло о достоинствах одного древнегреческого поэта... — имеется в виду Гомер.

С. 94. *...их следует отличать от другого рода спорщиков, которые пользуются языком варварским* — т. е. от богословов, дискутировавших на средневековой (так называемой «варварской», в отличие от «золотой» античной) латыни.

Целый народ был изгнан из своей страны... — имеется в виду изгнание из Ирландии католиков (1649—1650), составляющих подавляющее большинство населения.

С. 94, 95, 96. *Зильхаже, Сафар, Джеммади* — названия месяцев по мусульманскому лунному календарю.

С. 112. *Томас* — Тома Антуан (1732—1785) — французский писатель, некоторые произведения которого переводил Д. И. Фонвизин. *Мармонтель Жан Франсуа* (1723—1799) — известный французский писатель.

С. 113. *По смерти Лекеневой...*— *Лекен* Анри Луи (1728—1778) — знаменитый французский трагический актер.

С. 118. *Этрен Миньон* — название ежегодного альманаха, имевшего необычайно большой тираж.

С. 119. *Бюффон* Жорж Луи де (1707—1788) — знаменитый французский естествоиспытатель и писатель.

С. 123. *Хлодвиг I* (ок. 466—511) — франкский король, положивший начало Франкскому государству. Французских королей иногда называют потомками Хлодвига.

Хильперик (Хильперих) — имеется в виду франкский король Хильперик I (539—596).

...просьба, с которой он обращается... к северным разбойникам...— т. е. к полудиким скандинавским племенам, совершавшим с IX в. набеги на Францию.

Вспомните развалины Геркуланума и Портичи...— *Геркуланум* — древнеримский город, погибший при извержении Везувия в 79 г. вместе с городом Помпеи. *Портичи* — современный город, стоящий на месте Геркуланума. Есть предположение, что Мерсье оговорился, имея в виду не Портичи, а Помпею.

С. 124. *Отец Даниэль* — Габриэль Даниэль (1649—1728) — иезуит, известный теолог и историк.

С. 127. *Ришелье* Арман дю Плесси (1585—1642) — кардинал, знаменитый министр короля Франции Людовика XIII, основатель Французской академии, заложивший в 1627 г. новое здание Сорбонны.

С. 128. *Граф Кейлюс воскресил у нас греческий вкус...*— *Кейлюс* Клод Филипп (1692—1765), французский археолог, страстный популяризатор искусства, в особенности античного.

С. 133. *...до времен Маркомира и Фарамона...*— *Маркомир* и *Фарамон* — имена полуполегендарных франкских королей, о которых не сохранилось биографических сведений.

Склони голову, гордый Сикамбр — сикамбрами называлось одно из германских племен.

Константин Великий — римский император с 306 по 337 г., основатель Константинополя. В 1453 г. Константинополь был завоеван турками и переименован в Стамбул.

С. 134. *Дагобер* — франкский король с 622 по 638 г., имя которого вошло в фольклорные предания и песни.

Здесь происходил и тот турнир, на котором был ранен Генрих II, а позднее тут дрались гнусные любимчики Генриха III.— *Генрих II*, король Франции с 1547 по 1559 г., был смертельно ранен в голову на турнире, устроенном по случаю бракосочетания его дочери. *Генрих III*, король Франции с 1574 по 1589 г., окружил себя фаворитами (так называемыми «любимчиками»), с которыми предавался разгулу.

С. 135. *Аббат Шуази* — Шуази Франсуа Тимолеон (1644—1724) — французский писатель.

...об окровавленном кинжале Равальяка...— Франсуа Равальяк (1578—1610) — убийца короля Франции Генриха IV.

С. 136. *Людовик Святой* — Людовик IX, король Франции с 1226 по 1270 г.

С. 137. *Карл Злой* — король Наварры с 1349 по 1387 г., участвовал в Столетней войне на стороне Англии.

С. 138. *Бернини* Джованни Лоренцо (1598—1680) — итальянский архитектор, скульптор и художник, автор одного из проектов перестройки Лувра. *Клод Перро* (1613—1688) — врач и архитектор, чей проект перестройки Лувра был принят (1666). В «Искусстве поэтики» Никола

Буало намекает на Перро, рассказывая о некоем дурном враче, ставшем хорошим архитектором.

...я вспоминаю о том, как кардинал Лотарингский... был изрядно побит Монморанси...— Кардинал Лотарингский — герцог Шарль де Гиз (1525—1574), один из участников и организаторов Тридентского собора (1545—1563), созванного для примирения католиков с протестантами. Монморанси Анн (1493—1567) — французский маршал, ярый борец с протестантами.

Шутливый Скаррон, наследником которого явился строгий Людовик XIV, женившийся на его вдове...— Жена поэта Поля Скаррона Франсуаза (1635—1719) после смерти мужа стала любовницей, а затем и тайной женой Людовика XIV и получила титул маркизы де Ментенон.

С. 139. Тамплиеры (храмовники) — духовно-рыцарский орден, основанный в 1119 г. в Иерусалиме для защиты паломников. В начале XIV в. король Франции с 1285 по 1314 г. Филипп Красивый потребовал начать процесс против тамплиеров по обвинению их в кощунстве и дурных нравах. В 1307 г. все тамплиеры были арестованы и вскоре сожжены.

Герцог Бургундский — Иоанн Бесстрашный (герцог с 1404 по 1419), один из опекунов несовершеннолетнего, а впоследствии потерявшего рассудок короля Франции Карла VI (с 1389 по 1422), вдохновитель убийства (1407) Людовика Орлеанского, брата и советника короля. После убийства во Франции завязалась многолетняя междоусобная распря, так называемая распря Бургиньонов с Арманьяками (родичами Людовика Орлеанского).

Франциск I — король Франции с 1515 по 1547 г.

Гревская площадь — с 1310 по 1832 г. место публичной казни преступников.

...Плоды Вервенского мира.— Вервенский мир — мир, заключенный в 1598 г. после войны между Францией и Испанией. Хотя Франция вышла из войны победительницей, государственный бюджет был расстроен, и ради поправления его был введен ряд новых налогов.

...но у него есть любовница...— Габриэль д'Эстре (1573—1599).

С. 140. Сен-Фуа — Сенфуа [Ж.-Ф.], автор книги «Очерки истории Парижа», выдержавший множество изданий.

...я стою перед Лувром, откуда Генрих III бежал от преследований герцога Гиза...— Генрих I, герцог де Гиз (1550—1588), — глава так называемой «католической лиги», один из вдохновителей Варфоломеевской ночи. 15 мая 1588 г., возвращаясь в Париж после победы над протестантами, был встречен ликующей толпой парижан, попытался воспользоваться народным энтузиазмом, чтобы свергнуть короля Генриха III. Напуганный Генрих III бежал из Парижа, но Гиз не сумел воспользоваться моментом и вскоре, вопреки показному примирению с королем, был убит по его приказу.

С. 144. Брегет — Бреге Аврам Луи (1747—1823), прославленный часовой мастер, поддерживающий регулярные торговые связи с Россией. Карамзин получал письма из России по адресу торгового дома Бреге в Париже.

С. 146. Система Декартовых вихрей могла родиться только в голове француза...— Декарт (Картезий) Рене (1596—1650) — французский математик и философ, основатель картезианства, автор теории происхождения вселенной из вихревых потоков материи.

С яиц Леды — комически дословный перевод латинской поговорки «ab ovo» — «от яйца», т. е. с самого начала.

С. 147. «Мизопогон» — сочинение императора Юлиана «Ненавистник бороды [«Мизопогон»], или Антихоиец».

Окружить ли мне себя творениями...— далее перечисляются авторы ряда трудов XVI—XVIII вв. по истории Парижа.

Лаис Франсуа (1758—1831) — знаменитый французский певец.
Рено Роза — популярная певица.

С. 147. *Братья Оссиановы* — т. е. средневековые барды.

С. 148. *Бедные люди... поют водевили* — первоначально водевилем называлась веселая песня, иногда фривольного содержания.

С. 150. *Тут молодой расстрепанный фронт встречается с пожилым, нежно напудренным петиметром...*— *Фронт* и *петиметр* представляли собой два типа щеголей — излюбленных мишеней для карикатур и насмешек. При этом петиметр ко времени «Писем» — отживающий тип, на смену которому шел фронт.

Дом известного Бомарше.— *Бомарше* Пьер Огюст Карон (1732—1799) — общественный деятель и комедиограф, прославившийся комедиями «Севильский цирюльник» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Комедия, о которой речь пойдет дальше, — либретто к опере «Тарар» (музыка А. Сальери), вызвавшая изумление современников своей необычностью.

С. 151. *Савояры* — уроженцы Савойи, провинции в Альпах, сохранившей самобытные, отличные от общезападных, традиции.

...*любезный А. А.*— Алексей Александрович *Плещеев*, приятель Карамзина.

С. 152. *Бальи Жан Сильвен* (1736—1793) — астроном и политический деятель, президент первого французского Национального собрания (1789), гильотинирован.

С. 153. *Потомки Кловисовы* — французские короли. «К л о в и с» — латинизированная форма имени Хлодвиг. (См. комм. к с. 123.)

С. 154. *...видел я... Лебрюневы картины...*— т. е. картины Шарля Лебрена (1619—1690), известного французского художника.

Катерина Медицис — Екатерина Медичи.

Кор-де-ложи — крытая галерея, соединяющая части здания или павильоны.

Тут живет ныне королевская фамилия.— Карамзин в завуалированной форме намекает на революционные события: по требованию народа королевская семья переехала из Версаля в Париж, где разместились не в обычной своей резиденции, а в Тюильри, что стало знаком разрыва с прошлым статусом короля.

С. 155. *Обои гобелиновой фабрики* — т. е. гобелены.

Герцог Орлеанский — Луи-Филипп-Жозеф, прозванный *Филипп Эгалите* (т. е. «равенство») (1747—1793). Депутат Конвента, голосовавший за смертный приговор королю Людовику XVI; гильотинирован.

Мария Медицис — Мария Медичи (1573—1642) — королева Франции, жена *Генриха IV*, после его смерти — регентша вместо малолетнего Людовика XIII; в свое время устранила министра *Генриха IV Сюлли* и способствовала выдвигению *Ришелье*, который предал ее, перейдя на сторону Людовика XIII.

С. 156. *Мабли Габриэль* (1709—1785); *Кондильяк Этьенн* (1715—1780); *Руссо Жан-Жак* (1712—1778); *Вольтер* (Мари Франсуа Аруэ) (1694—1778) — французские философы-просветители; *Кребильон* (Кребильон) Клод (1707—1777) — французский писатель-романист.

С. 159. *Краковское дерево* — каштан в Пале-Рояле, названный в знак сочувствия парижан Польше.

Сады вавилонские — «висячие сады» Семирамиды, одно из семи чудес света.

С. 160. *Реверберы* — фонари с отражателями.

С. 169. *Музыка Глюка «Орфей»*... — имеется в виду опера немецкого композитора Кристофа Виллибальда Глюка (1714—1787) «Орфей и Эвридика» (1762), постановка которой вызвала шумный успех и была расценена как переворот в оперном искусстве. ...зато вспомнил Жан-Жака... — то есть Жан-Жака Руссо.

С. 171. *Фонтенель* Бернар (1657—1757); *Руссо* Жан-Батист (1671—1741); *Сорен* Бернар Жозеф (1706—1781); *Пирон* Алексис (1689—1773) — французские писатели, поэты и драматурги.

Café de Foi, du Caveau, du Valois, de Chartres. — Каждое из парижских кафе имело собственное политическое лицо, известное Карамзину. Так, упомянутое выше кафе «Прокоп» было уже не просто местом встречи литераторов и философов, но посещалось якобинцами. *Café de Foi* («Кафе веры») посещали крайние демократы, *du Valois* и *de Chartres* посещали роялисты, а *café du Caveau* (кафе «Погребок») было политически нейтральным.

Саккини Антонио (1730—1786); *Пиччинни* Николо (1728—1800) — итальянские композиторы; *Гретри* Андре (1748—1813); *Филидор* (Даникан) Франсуа Андре (1726—1795) — французские композиторы.

С. 173. *Барон В.* — Вильгельм Вольцоген (1762—1802), друг Фридриха Шиллера.

С. 175. ...*Стернов капрал Трим*... — Капрал Трим — персонаж романа английского писателя Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».

С. 179. *Монтеспан* Франсуаза (1641—1707), *Лавальер* Луиза (1644—1710) — любовницы Людовика XIV. *Тюрени* Анри (1611—1675) — полководец, маршал Франции.

С. 182. *Клоотс* Анахарсис (Жан-Батист) (1755—1794) — дворянин прусского происхождения, якобинец, впоследствии исключенный из Якобинского клуба как дворянин и богач, гильотинирован; *Фокс* Чарльз Джеймс (1749—1806) — английский политический деятель; *Клопшток* Фридрих Готлиб (1724—1803) — немецкий поэт, автор нескольких од, посвященных Великой французской революции. По мнению историков, Шубарт ошибается, говоря, что Фокс и Клопшток присутствовали на празднике.

С. 185. *Лорд Гоу* — Гоу Ричард (1725—1799) — командующий английским флотом в Ла-Манше, адмирал.

С. 188. *Реньяр* Жан-Франсуа (1655—1709); *Дегуш* (Филипп Нерико) (1680—1754) — французские комедиографы.

С. 189. *31 мая и 2 июня* — в эти дни Национальный совет исключил из своего состава депутатов-жирондистов и издал декрет об их аресте.

С. 191. *Камиль Демулен* (1760—1794) — видный деятель Великой французской революции, соратник Дантона, гильотинирован вместе с ним.

Делоней — Лоне Бернар Жордан де (1740—1789), последний комендант Бастилии, убит восставшими парижанами.

С. 192. *Термидор* — одиннадцатый месяц республиканского календаря (июль — август). 9 термидора II года республики (27 июля 1794 г.) произошел переворот, повлекший за собой падение якобинцев и окончание революционного террора. Слово «термидор» стало символом контрреволюционной реакции.

С. 193. *Тюрво* де ла Розьер (1753—1829) — деятель Великой французской революции, один из организаторов революционных трибуналов, участник переворота 9 термидора. *Сен-Жюст* Луи-Антуан (1767—1794) — деятель Великой французской революции, один из организаторов

побед революционной армии, якобинец, сторонник Робеспьера; казнен термидорианцами. *Леба Франсуа Жозеф* (1765—1794) — деятель Великой французской революции, депутат Конвента; был арестован вместе с Робеспьером, покончил с собой в тюрьме. *Кутон Жорж* (1755—1794) — деятель Великой французской революции, депутат Конвента, член Комитета общественного спасения, в котором вместе с Робеспьером и Сен-Жюстом входил в правящий триумvirат; отличался умеренностью в проведении политики террора; казнен термидорианцами.

С. 202. «*Вся Греция, или Что может Революция?*» — опера Жана Лемуана.

С. 203. «*Возвращение Улисса*» — балет Луи Милона.

С. 205. ...и клятвой на песке как яблоком играли.— Мандельштам отсылает здесь к одному из начальных эпизодов Великой французской революции: 20 июня 1789 г. депутаты Генеральных штатов от Третьего сословия, собравшиеся в Зале для игры в мяч Версальского дворца, поклялись не расставаться, пока не будет принята конституция.

III. ПАРИЖ В XIX ВЕКЕ

В литературной «паризиане» XIX в. как в зеркале отразились бурные события, перевороты и революции, которыми так богата была жизнь парижан того времени. Вход русско-прусской армии в Париж, о котором пишет Николай Александрович Бестужев (1791—1855) в книге «Русский в Париже 1814 года», означал крушение империи Наполеона. За ней шла реставрация династии Бурбонов (1814—1830), которую свергла Июльская революция (о ней — яростные стихотворения Огюста Барбье (1805—1882); революция 1848 г. и последующий переворот 1851 г., франко-прусская война 1870—1871 гг., провозглашение республики, осада Парижа немцами (рассказ «Осада Берлина» Альфонса Доде (1840—1897), Парижская коммуна, ее падение и жестокая расправа с коммунарами — все эти смены режимов и правящих династий, кровавые и горькие события выпали на долю чуть ли не одного поколения парижан. Такая судьба выпала и Виктору Гюго, откликнувшемуся на все великие потрясения своего века. Уже упоминавшийся роман «Собор Парижской Богоматери» для Гюго и его современников находился в тесной связи с событиями июльской революции; на революцию 1848 г. и последующий переворот Гюго, вынужденный эмигрировать, отзывается сборником политических стихотворений-памфлетов «Возмездие»; возвратившись во Францию в 1870 г. (см. стихотворение «Перед возвращением во Францию»), писатель напряженно следит за событиями в стране и по горячим следам Парижской коммуны создает сборник стихотворений «Грозный год». «Париж — это Франция, а Франция — это Европа» — так оценивает Гюго место Парижа в жизни всей Европы XIX в. (предисловие к роману «Отверженные»). Действительно, в XIX в. на Париж устремлены взоры многих иностранцев, а те, кто приезжает в Париж в годы потрясений, воспринимают все, что разворачивается на его улицах, необычайно близко к сердцу. Вот почему подробно, день за днем, пишет об Июльской революции немецкий публицист Людвиг Бёрне (1786—1837), подробнейшую хронику революции 1848 г. создает Александр Иванович Герцен (1812—1870), очерки о революционном Париже пишет немецкий литератор, друг Фридриха Энгельса Георг Веерт (1822—1856). Горячо откликаются на Парижскую коммуны румынские поэты Михаил Эминеску (1850—1889) (см. отрывок из поэмы «Император и пролетарий», 1874) и Константин Милле (1861—1927). Вслед за событиями Парижской коммуны пишет непривычные для тех, кто знаком с его остальным твор-

чеством, стихотворения Артур Рембо (1854—1891), вступая в переключку и даже полемику с Шарлем Леконт де Лилем (1818—1894).

Внимание иностранцев к Парижу выливается и в традиционные формы «путешествий». Интенсивно развивается жанр русского литературного путешествия-паломничества в Париж: свое пребывание в этом городе описывает Петр Андреевич Вяземский (1792—1878), страстно стремившийся в Париж, не получивший в 1838 г. разрешения отправиться туда, но все же завернувший в желанный город проездом на лечение из Германии в Италию. Шутливое стихотворение Ивана Ивановича Дмитриева (1760—1837) написано как бы от имени Василия Львовича Пушкина, дяди поэта, собиравшегося в Париж в 1803 г. Серьезное изучение темы «Русские в Париже» проводит Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) в книге очерков «За рубежом» (1880—1881), и как иллюстрация к нему предстает юмористический роман Николая Александровича Лейкина (1841—1906) «Наши за границей» (1891), рассказывающий о путешествии в Париж на Всемирную выставку 1889 г. двух русских купцов, супругов Глафиры Семеновны и Николая Ивановича. Наконец, поэма Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866—1941) «Конец века. Очерки современного Парижа» (1891) становится переходным этапом от «паризианы» XIX в. к веку XX, откликами на нее будут, в частности, стихотворения Вяч. Иванова (см. с. 430).

Поэтический образ «северянина в Париже» создает датский поэт Адам Готтлоб Эленслегер (1779—1850).

Традицию «псевдопутешествий», заложенную в XVIII в. Монтескье, переосмысляет Оноре де Бальзак (1799—1850), вводя в Париж в качестве путешественника-иностранца африканского льва (1842). Место Парижа в творчестве Бальзака трудно переоценить, духом Парижа пропитано большинство его романов, сама его судьба — и как писателя, и как человека — связана с этим городом и неотделима от него, как пишет в стихотворении «Бальзак» Борис Леонидович Пастернак (1890—1960).

Личное и личностное отношение к Парижу как к любимому, а иногда и ненавистному, но живому существу утверждается в литературе XIX в. Именно такими, а не нраво- и бытоописательскими, как в XVIII в., предстают «Парижские арабески» французского писателя Жориса Шарля Гюисманса (1848—1907). Необычайное развитие получает городской пейзаж в лирике, шедевры которого создают, говоря о Париже, Альфред де Мюссе (1810—1857), Жерар де Нерваль, Теофиль Готье (1811—1872), Тристан Корбьер (1845—1875) (настоящее имя Эдуард Жоашен), Поль Верлен (1844—1896), Шарль Бодлер (1821—1867). О Париже как о единственном и неповторимом городе в мире, незаменимом для истинного парижанина, пишет Пьер Жан Беранже (1780—1857).

С. 209. *Рекамье* Юлия (1777—1849) — хозяйка одного из наиболее популярных литературных салонов; *мамелюки* — солдаты египетской гвардии; *Сиес* Эммануэль Жозеф (1748—1836) — французский политический деятель; *Вестрис* Огюст (1760—1842) — танцовщик, выступавший в Парижской Опере; *мадам Жанлис* Стефания Фелисите (1746—1830) — известная французская писательница и литератор; *Виже* — Виже-Лебрен Элизабет (1755—1842) — французская художница; *Пикар Луи-Франсуа* (1769—1828) — французский драматург и романист; *Фонтан Луи* (1757—1821) — университетский профессор, известный ученый. *Легуве* Габриэль Мари (1764—1812) — известный французский поэт; *актриса Жорж* — сценический псевдоним Маргариты Жозефины Веймер (1786—1867), знаменитой французской драматической актрисы, неоднократно и с большим успехом гастролировавшей в России.

- С. 210. *Фрейя* — скандинавская богиня молодости и красоты.
- С. 211. *Император Александр* — Александр I (с 1801 по 1825); *король Прусский* — Фридрих Вильгельм III (с 1797 по 1840); *Шварценберг* Карл Филипп (1771—1820) — австрийский фельдмаршал, возглавивший в войне в Наполеоном русско-прусско-австрийскую армию; *Барклай-де-Толли* Михаил Богданович (1761—1818) — герой Отечественной войны 1812 г., командующий русско-прусской армией в 1813—1814 гг.
- С. 218. *Мармон* Огюст Фредерик Людовик (1774—1852), *Мортье* Эдуард Адольф Казимир (1768—1835) — наполеоновские маршалы, подписавшие приказ о сдаче Парижа.
- С. 220. *Коленкур* Арман Огюст Луи (1773—1827) — министр иностранных дел при Наполеоне I. *Ермолов* Алексей Петрович (1772—1861) — русский генерал, герой Отечественной войны 1812 г.
- С. 235. *...глупая проделка... в Вердене в 843 году.* — Имеется в виду договор о разделе империи Карла Великого между его внуками.
- С. 239. *Полиньяк* Жюль Огюст Арман Мари (1780—1847) — глава французского правительства, свергнутого Июльской революцией.
- С. 240. *Как могли вы только думать, что меня не интересует Польша!* — имеется в виду польское восстание против царизма в 1830—1831 гг.
- С. 253. *Кнобельсдорф* Стефан (Евстафий) (1519—1571) — польский поэт.
- С. 254. *Гоббема* (Хоббема) Мейндерт (1638—1709) — голландский живописец.
- С. 255. *Я — обелиск, отъят от брата...* — речь идет об одном из двух священных древних обелисков, вывезенном Наполеоном I из египетского города *Луксора* и установленном в 1836 г. на площади Согласия в Париже.
- С. 256. *...со знаками жуков и птиц* — т. е. с древнеегипетскими иероглифами.
- С. 262. *«Львы»* — светские мужчины, *«тигры»* — мальчики-лакеи, *«крысы»* — фигурантки в театре, *«пиявки»* — ростовщики: все это употребительные в разговорной речи 40-х годов понятия. *«Медведи»*, *«мартышки»* — соответственно печатники и наборщики на профессиональном жаргоне типографов.
- С. 264. *Иерусалимская улица* — улица, где помещалось полицейское управление.
- С. 265. *...рассаживаются по скамьям за мостом...* — т. е. в палате депутатов, к которой через Сену ведет мост Согласия.
...подобие свернутой салфетки... — по-французски «салфетка» и «портфель» обозначаются одним словом.
- С. 266. *...голубок, именуемый здесь пижоном...* — игра слов: по-французски слово «пижон» (pigeon) означает голубь.
- С. 272. *Готский альманах* — дипломатический и статистический ежегодник, выходящий с 1763 г. в г. Гота (Германия). В описываемый период включал в себя перечень всех царствующих домов Европы.
- С. 274. *Франкфурт на Сейне* — так в первых письмах из Парижа Вяземский зашифровывает место своего пребывания; *Поццо ди Борго* Шарль Андре, граф (1764—1842) — французский дипломат, долгое время состоял на службе у российского императора, был послом в Париже (1815—1834) и Лондоне (1834—1839), в письмах Вяземского его имя становится синонимом слова «посол».
- Тургенев* Александр Иванович (1784—1845) — русский литератор, историк, общественный деятель, друг Вяземского и А. С. Пушкина; *Гагарин* Федор Федорович (1789—1845) — русский офицер, участник

войны 1812 г. и заграничных походов, в 1826 г. проходил по делу декабристов, шурин Вяземского.

С. 275. *У нас родился внук, которого мы прозвали Le gamin de Paris.*— Новорожденный внук короля Луи-Филиппа получил древний титул графа Парижского—отсюда прозвище «Парижский гамен» (мальчонка), данное ему горожанами.

...с первого раза храм св. Петра кажется не так уж огромным...— Собор Святого Петра в Риме (ватиканская базилика) — крупнейшая соборная постройка христианского мира, духовный центр католичества, — возведен в XVI—XVII вв. на месте древнейшего раннехристианского храма величайшими мастерами Возрождения: Браманте, Микеланджело, Рафаэлем, Бернини и другими.

С. 276. *Мецкерские* — князь Елим Петрович (1808—1844), русский литератор, находившийся на службе при русской миссии в Париже, и его жена. *Arago* — *Араго* Доминик Франсуа (1786—1853), французский физик, астроном, политический деятель. *Гумбольдт* Александр (1769—1859) — немецкий путешественник и естествоиспытатель, исследователь Америки и Азии; *J. Janin* — Жанен Жюль (1804—1874), французский писатель и журналист, с 1834 г. и до конца жизни вел театральный раздел газеты «Журналь де деба»; *Ancelot* — Ансло Виргиния (1792—1875), французская писательница; *Л. Веймар* — Лева-Веймар Франсуа Адольф (1801—1854), французский литератор.

С. 277. *Фанни Эльслер* — Эльслер Франциска (1810—1884), выдающаяся австрийская балерина, прославилась исполнением характерных танцев; *Tagliioni* — *Тальони* Мария (1804—1884) — великая балерина, балетмейстер и педагог, долгое время — ведущая солистка Парижской Оперы. Большую известность в России получила благодаря ежегодным выступлениям в Петербурге (1837—1842); *cachucha* — испанский (андалусийский) танец, получил широкое распространение на европейской балетной сцене после того, как был исполнен Фанни Эльслер в балете К. Жиде «Хромой бес» (*Le diable boiteux*); *Дюпре* Жильбер Луи (1806—1896) — французский оперный певец; *Hugénots* — «Гугеноты», опера немецкого композитора Мейербера (1836); *Muette de Portici* — «Немая из Портичи», опера французского композитора Обера.

Полуэктовы — семья Бориса Владимировича Полуэктова (1778—1843), русского офицера, участника войны 1812 г.

...новый способ чистописания...— в рукописи перед датой справа налево написано и заштриховано слово Paris (Париж).

С. 279. *Новосильцев* Николай Николаевич (1768—1838) — русский государственный деятель, фактический правитель Польши в 1813—1832 гг. В 1817—1821 гг. Вяземский служил в Варшаве под его непосредственным началом.

Вернет — Верне Орас (1789—1863), французский художник, создал серию батальных полотен для Военной галереи Версальского дворца; ...*вместе с в. к. Еленю Павловною*...— великая княгиня Елена Павловна (1806—1873), жена великого князя Михаила Павловича, младшего сына императора Павла, известна своим меценатством. ...*взятие Константины*...— во время завоевания Алжира город Константина оказал упорнейшее сопротивление осаждавшим его французским войскам, но был взят штурмом в октябре 1837 г.; *Зала ду jeu de раите* — зал для игры в мяч в Версале.

Шатобриан Франсуа Рене (1768—1848) — французский писатель-романтик; *Балланш* Пьер Симон (1776—1847) — французский писатель и философ, один из идеологов романтизма.

...*кланяется Андрею Карамзину*...— *Андрей Николаевич* (1814—

1854) и упоминаемая ниже *Софья Николаевна* (1802—1856), дети писателя и историка Николая Михайловича Карамзина.

С. 280. ...дают новую оперу *Benvenuto Cellini*, музыка Берлиоза...— Берлиоз Гектор (1803—1869) — французский композитор, теоретик музыки, практически всю свою жизнь жил доходами от журналистской деятельности; опера «Бенвенуто Челлини», как и многие другие его произведения, была поначалу холодно встречена публикой и критикой. *Одоевский* Владимир Федорович (1803—1869) — русский писатель, философ, музыковед. *Жизнь у царя* — опера Михаила Глинки (на советской сцене — «Иван Сусанин»).

...тьень Наполеона шатается и толкает вас воспоминаниями...— 9 ноября 1799 г. (18 брюмера VIII года по республиканскому календарю) в парижском пригороде Сен-Клу Наполеон Бонапарт совершил государственный переворот, приведший к падению Директории и установлению Консульства.

С. 282. *Charivari et Corsaire* — «Шаривари», «Корсар» — названия парижских сатирических журналов.

С. 283. *К. Ливен* — княгиня Доротея Ливен (1784—1857) держала в Париже салон, соперничавший с собраниями госпожи Рекамье. *Гизо* Франсуа (1787—1874) — французский политический деятель консервативного толка, историк, во времена июльской монархии занимал различные посты в кабинете министров, в 1840—1848 гг. фактически, а затем и формально был главой правительства. *Рубини*, *Гризи*, *Тамбурини-Лаблаш* — оперные певцы. *Норма* — опера итальянского композитора Беллини. *Молодая жидовка Rachel* — Элиза *Рашель* Феликс (1821—1858) — французская актриса, выдающаяся исполнительница главных ролей в трагедиях Корнеля и Расина; *Cinna* — «Цинна», трагедия Корнеля.

Lermínier — Лерминье Жан Луи Эжен (1803—1857) — литератор и профессор, ранее популярный среди студентов своими либеральными взглядами, дискредитировал себя в их глазах переходом на сторону правительства.

Герцогиня Орлеанская — мать новорожденного графа Парижского.

С. 284. *Puritani* — «Пуритане», опера Беллини.

...на бале у Стакельберг...— т. е. в доме графа Эрнста Густава Стакельберга (1814—1870), русского военного агента в Париже.

Палаты закрыты...— Вяземский становится свидетелем политического кризиса конца 1838 — начала 1839 года, разразившегося после того, как палата депутатов голосовала за вотум недоверия «придворному» правительству Моле Луи Матье (1781—1855). После неудачной попытки сформировать новый кабинет, король распускает палаты. Наконец, 8 марта кабинет Моле, обвиненный в антиконституционных действиях, падает в отставку, и к власти приходит *Тьер* Адольф (1797—1877) — французский политический деятель, журналист и историк, автор обширной «Истории Империи и Консульства»; во времена июльской монархии неоднократно возглавлял правительство, в начале правления Наполеона III вынужден был эмигрировать, затем вел против императора оппозиционную борьбу, после падения Второй империи вновь возглавил правительство и, заключив мир с Пруссией (февраль 1871) и организовав разгром Парижской коммуны, стал первым президентом новой республики.

...не... *глоризные ли затеиваются?* — «Глоризозные» — транскрипция французского слова «glorieuses» (славные). Вяземский намекает здесь на выражение «три славных дня», ставшее устойчивым по отношению к Июльской революции 1830 г.

С. 286. *Воейков* Александр Федорович (1778—1839) — русский лите-

ратор, редактор журнала «Русский инвалид», автор сатирических стихотворных портретов современных ему литераторов. *Греч Николай Иванович* (1787—1867), *Булгарин Фаддей Венедиктович* (1789—1859), *Полевой Николай Алексеевич* (1796—1846) — русские литераторы и журналисты консервативного направления. *Нессельрод* — Нессельроде Карл Васильевич (1780—1862), министр иностранных дел при Николае I.

С. 287. ...*один из предводителей коалиции*... — Тьер, Гизо и Одилон образовали политическую коалицию, которая, спекулируя конституционными принципами, вела политическую борьбу против министерства Моле во время правительственного кризиса 1838—1839 гг.

Здесь переняли английский представительное правление точно так же, как переняли английский романтизм... — т. е. поверхностно и, по мнению Вяземского, пародийно.

Гарнье-Пажесы — братья Этьен Жозеф (1801—1841) и Луи Антуан (1803—1878) — французские политические деятели; *Дюмасы, Шекспиристы* — очевидно, сторонники и идеологи романтического направления в литературе.

Мериме Проспер (1803—1870) — французский писатель, в то время назначенный инспектором исторических памятников, начал грандиозную работу по систематизации архитектурного и археологического наследия.

Соболевский Сергей Александрович (1803—1856) — русский литератор, библиофил, друг А. С. Пушкина;

С. 288. ...*скульптор Давид влюблен ... в депутатство* — *Давид Пьер Жан* (1788—1856) — автор многочисленных портретов исторических деятелей. Крупнейшая его работа — аллегорическая композиция для фронтона Пантеона в Париже.

С. 289. ...*Гейнрик 5-й* — Генрих Бурбон, граф Шамбор (1820—1883), в 1830 г., после отречения Карла X, стал претендентом на престол от старшей ветви *Бурбонов*, чьи сторонники, «легитимисты», противостояли «орлеанистам», сторонникам *Луи-Филиппа*, представителя младшей ветви той же династии.

С. 292. *St. Beuve* — Сент-Бев Шарль Огюстен (1804—1868) — французский поэт и критик.

С. 295. *Свечина* Софья Петровна (1782—1857) — дочь статс-секретаря Екатерины II Соймонова, религиозный мыслитель, последовательница Жозефа де Местра, с 1817 г. держала в Париже католический салон.

Somnambula — «Сомнамбула», опера Беллини.

...*в киселевской ложе*... — т. е. в ложе секретаря русского посольства Н. Д. Киселева, любовника «*Смирнихи*» (А. О. Смирновой-Россет).

С. 296. ...*кричат о Garcia, сестре Малибран*... — речь идет о Полине Виардо-Гарсия (1821—1910), французской певице, друге И. С. Тургенева, сестре Марии де ла Фелисидад Гарсия (сценический псевдоним — *Малибран*), умершей в 1836 г.

С. 301. *Дюшатель* Шарль Мари Танги (1803—1867) — министр внутренних дел Франции.

С. 306. *Бедо* Мари-Альфонс (1804—1863) — командующий парижским военным гарнизоном в 1848—1851 гг. *Радецкий* Иоанн Иосиф (1766—1858) — командующий австрийской армией в Италии. *Паскевич-Эриванский* Иван Федорович (1782—1856) — генерал-фельдмаршал, усмиритель польского восстания 1830 г. *Каваньяк* — Кавеньяк Луи Эжен (1802—1857) — организатор подавления революции 1848 г. во Франции. *Меттерних* Клемент Венцель (1773—1854) — австрийский министр и дипломат.

С. 308. *Фукье-Тенвиль* Антуан Квентин (1747—1794) — прокурор революционного трибунала 1794 г., чье имя стало символом якобинского террора; гильотинирован.

Нерон (36—68) — римский император, приказавший убить свою мать Агриппину, способствовавшую его восшествию на престол.

С. 309. *Венский конгресс* — конгресс европейских стран, состоявшийся в 1814—1815 гг.; на этом конгрессе Франция была лишена захваченных Наполеоном территорий.

С. 310. *Аффр* — парижский епископ, умерший от раны, полученной 25 июня 1848 г. во время восстания в Сент-Антуанском предместье, куда епископ ходил, чтобы уговорить восставших прекратить борьбу; выстрел был сделан со стороны правительственных войск.

Ламенне Фелисите Робер (1782—1854) — французский писатель, принявший монашеский обет.

С. 311. *Маленький капрал* — Наполеон, чья фигура венчала воздвигнутую в 1806 г. Вандомскую колонну. В годы реставрации фигура Наполеона была заменена бурбонской лилией, а в 1833 г. — восстановлена. ...*прах водворителя рабства...* — в 1840 г. прах Наполеона был торжественно перенесен с острова св. Елены в Париж.

С. 353. *Бедкер* — нарицательное название путеводителей по фирме, их выпускающей.

С. 354. ...*пуле, дендо, пердро, тюрбо* — названия блюд из курицы, индюшки, куропатки и палтуса.

С. 359. *Гамбетта* Леон (1838—1882) — адвокат, французский политический деятель.

С. 399. *Певец Америки* — американский писатель и поэт Эдгар Аллан По (1809—1849), автор знаменитого стихотворения «Ворон».

IV. ПАРИЖ В XX ВЕКЕ

Эпиграфом к этому разделу выбрано знаменитое стихотворение Гийома Аполлинера (1880—1918) «Мост Мирабо», где Сена — символ вечности и неповторимости Парижа.

В начале XX столетия еще остаются описанные Франсуа Коппе (1842—1908) размеренность и наивность века минувшего, но уже явственны приметы нового времени, воспринимаемые подчас с иронией в очерках Альфреда Жарри (1873—1907). Париж по-прежнему остается средоточием мысли и мировой культуры, и нет ни одного человека, побывавшего во французской столице и оставшегося равнодушным к ее духовному и историческому богатству (стихотворения Брюсова, Георга Гейма, Вяч. Иванова). Гийом Аполлинер обозначает начало XX века как время особой обостренности восприятия, низвержения идеалов. Стихотворение «Париж», написанное в 1916 г., дает образ города в период первой мировой войны. Париж начала века рисует и Пьер Мак-Орлан (Пьер Дюмарше) (1882—1970). Для него это сумрачный и не очень приглядный город, будничным и каждый раз новым. В начале века музыка, живопись, балет, скульптура, поэзия — все сплетается воедино, насыщая магнетизмом сам воздух Монмартра и Монпарнаса. В произведениях Франсиса Карко (Франсуа Каркопино-Тузоли) (1886—1958) и Анны Андреевны Ахматовой (1889—1966) звучит тема высокодуховной жизни парижской богемы, а контрапунктом в ней звучат стихи Владимира Владимировича Маяковского (1893—1930), где отрицание всех и всяческих ценностей все же завершается признанием в любви к Парижу.

Париж 20-х годов Александра Ивановича Куприна (1870—1938) несколько статичен, но очень уютен, тогда как, разглядывая достопри-

мечательности города, болгарский поэт Атанас Далчев (1905—1978), Райнер Мария Рильке, немецкие поэты Курт Тухольский (1890—1935) и Эрих Кестнер (1899—1974), Макс Жакоб (1876—1944), Юлиан Пшибось предчувствуют неизбежно надвигающуюся катастрофу. Стихотворения Жюль Сюпервьеля (1884—1960), Поля Элюара (1895—1952), Луи Арагона (1897—1982) — это свидетельства тех, кто видел Париж периода немецкой оккупации, измученный и оскорбленный Париж, застывший в отчаянии и боли. И все-таки в феврале 1941 г. Сидони Габриэль Колетт (1873—1954) пишет о парижанках, не потерявших своего очарования даже среди ужасов и унижения войны. Именно в этом и есть та странная притягательная сила Парижа, и ему, очнувшемуся от кошмарного сна, признаются в любви прозаики и поэты: Рене Ги Каду (1920—1951), Андре Моруа (1885—1967), Раймон Кено (1903—1976).

Событийно книга оканчивается послеоккупационным временем, и казалось, что на этом можно было бы расстаться с Парижем, его мостами, бульварами, площадями, песнями, людьми... Но из этого города невозможно уйти сразу. Нельзя не обернуться, прощаясь с ним. И пусть стихи Шарля Пегги (1873—1914), Жака Превра (1900—1977), Павла Григорьевича Антокольского (1896—1978) пронесут нас еще раз по реке времени, где плывет парижский кораблик, и пусть его пассажиры снова окинут взглядом все, что осталось позади, пусть приникнут к Парижу как к неиссякаемому источнику духовной энергии и красоты, как мечтал припасть к нему в самый трагический период своей жизни О. Э. Мандельштам.

С. 413. *Эльзеvir* — династия голландских печатников и книготорговцев XVI—XVII вв., выпускавших Эльзевиры — малоформатные издания, которых насчитывается всего около 5 тысяч; *Альдины* — книги венецианских типографов Мануциев, названные по имени основателя типографии Альдо Мануция Старшего.

С. 416. *Каналетто* (Джованни Антонио Каналь) (1679—1768) — итальянский художник, график.

С. 424. *Тереза Юмбер* — мошеница, участница громкого судебного процесса в начале нашего века.

С. 426. *Пэан* — гимн в честь Аполлона.

С. 429. *Грааль* — таинственный сосуд, обладающий благотворным действием, ради приближения к которому рыцари, герои средневековых легенд и романов совершали подвиги. По одной из версий считается, что это чаша с кровью Христа.

С. 432. *Сен-Жермен* граф (ум. 1784) — знаменитый авантюрист. *Моле Жак де* (ок. 1243—1314) — последний гроссмейстер духовно-рыцарского ордена Тамплиеров. *Паскаль Блез* (1623—1662) — французский философ, математик, писатель.

С. 434. *Рене Дализ* (Дюпьи) (1879—1917) — журналист, друг детства Г. Аполлинера.

Последыш Симона-волхва. — Симон-волхв (т. е. маг) — в христианских преданиях самарийский чародей, антагонист апостола Петра. Пытается имитировать вознесение, но разбивается о камни.

С. 440. *Фрезль* (Маргарита Бульш) (1891—1951) — исполнительница популярных песен.

Георг Гросс (1893—1959) — немецкий художник.

С. 443. *Мистенгет* (Жанна Буржуа) (1873—1956), *Дамиа* (Мариз Дамиен), *Андре Тюрси* — певицы, исполнительницы популярных песен.

С. 447. *Мадам де Севинье* (1626—1696) — автор известных «Писем», ценного свидетельства эпохи.

Ретиф де ла Бретон Никола (1734—1806) — французский писатель, автор сборника рассказов и анекдотов «Ночи Парижа».

С. 451. *Колумелла* — римский писатель I в. н. э., автор многоотомного труда по агрономии «О сельском хозяйстве».

Дервье Анна Виктория (1752—1826) — французская танцовщица и певица. Была замешана в шумных скандалах парижской богемы.

С. 453. *Голос той, которая звалась Прекрасной Оружейницей...* — Имеется в виду образ женщины, вспоминающей об ушедшей молодости, созданный в «Балладе о Прекрасной Оружейнице» Франсуа Вийона.

...балладу Франсуа Вийона... которая начинается словами: «*A Parouart, La grant Mathe-Gaudie*» — баллада на воровском аргю.

С. 455. «*Река подобна моей скорби, она струится и не иссякает*» — из стихотворения Аполлинера «Марля», опубликованного в октябре 1912 г. *Жан Пеллерен* (1895—1921) — французский поэт.

С. 457. ...*братья Таро*. — Таро Жером (Эрнест) (1874—1953) и Жан (Шарль) (1877—1952) — французские писатели, члены Французской академии. *Жан Лоррен* (Поль Дюваль) (1855—1906) — французский поэт, писатель, журналист.

С. 458. ...*цвет «жоффра»* — защитный цвет униформы французского солдата, получившего прозвище «пуалю» во время первой мировой войны.

С. 459. *Мими Пенсон* — гризетка из одноименного рассказа А. де Мюссе. *Милланди* (Морис Нуо) (1870—1964) — автор популярных песен.

С. 461. *пст!* — подзывающий возглас, обращенный, как правило, к тому, кто ниже говорящего по социальному положению.

С. 462. *Брюан* Аристид (1851—1925) — французский шансонье.

С. 463. *Мореас* (Жан Пападиамантопулос) (1856—1910), *Фор Поль* (1872—1960) — французские поэты.

Лотрек — Тулуз-Лотрек Анри де (1864—1901); *Дегас* — Дега Эдгар (1834—1917); *Пикассо* Пабло (1881—1973); *Утрильо* (Утрилло) Морис (1883—1955); *Магисс* Анри (1869—1954), *Динойе* (Дюнуайе)-*де-Сегонзак* Андре (1884—1974), *Дерен* Андре (1880—1954), *Марке Альбер* (1875—1947) — французские художники.

Мария Лоренсен (1885—1956) — французская художница, поэтесса.

С. 464. *Сальмон* Андре (1881—1969) — французский писатель, поэт, друг Аполлинера и Макса Жакоба, первые стихи опубликовал в журнале Поля Фора. *Кро* (Крос) *Ги Шарль* (1842—1888) — французский поэт и изобретатель. Вместе с Верленом и Коппе принадлежал к парижской литературной богеме. *Луи Манден* (1872—1944) — французский поэт.

С. 467. *Метэки* — на парижском аргю бранное слово для обозначения иностранцев, особенно представителей Южной Америки.

С. 468. *Доржелес* Ролан (1885—1973) — французский писатель. Написал многочисленные воспоминания о монмартрской богеме «Мой край, Монмартр» (1925), «Да здравствует свобода» (1937) и проч.

Вспомните героя Мандалейской дороги, шедшего в кандалах... — Речь идет об известном стихотворении Р. Киплинга «Мандалай», положенном на музыку в начале века и ставшем очень популярным.

С. 469. «*Раковина*» — название воровской шайки, с которой, предположительно, был связан Вийон.

Баги Гастон (1885—1952) — французский театральный деятель.

С. 470. *Руссо* Анри (1844—1910) — французский художник-примитивист.

Моро Люк-Альбер (1882—1948) — французский художник. *Модильяни* Амедео (1884—1920) — выдающийся итальянский художник, работавший в Париже.

С. 473. *Анри де Ренье* (1864—1936) — французский писатель. *Анатоль Франс* (Антуан Тибо) (1844—1924) — французский писатель.

С. 474. *Брак Жорж* (1882—1963) — французский художник, один из основателей кубизма. *Ида Рубинштейн* (1885—1960) — русская танцовщица. *Дягилев Сергей Павлович* (1872—1929) — русский меценат, организатор «Русских сезонов» в Европе. *Стравинский Игорь Федорович* (1882—1971) — великий русский композитор. *Нижинский Вацлав Фомич* (1889—1950), *Павлова Анна Павловна* (1881—1931), *Карсавина Тамара Платоновна* (1885—1978) — выдающиеся артисты русского балета. *Бакст* (Розенберг) *Лев Самойлович* (1866—1924) — русский художник. *Фокин Михаил Михайлович* (1880—1942) — русский танцовщик и хореограф, в 1909—1912, 1914 г. руководил балетной труппой «Русских сезонов».

Эдисон Томас (1847—1931) — американский изобретатель, живший в начале века в Париже и работавший в кабинете, расположенном на Эйфелевой башне.

С. 475. *Рене Гиль* (1862—1922) — французский поэт-символист. *Ла-форж Жюль* (1636—1716), *Малларме Стефан* (1842—1898) — французские поэты.

С. 476. ...в России умерли *Лев Толстой*, *Врубель*, *Вера Комиссаржевская*... — имеется в виду 1910 г.

С. 477. *Экстер Александра Александровна* (1882—1949) — русская театральная художница. *Альтман Натан Исаевич* (1889—1970) — русский художник.

«*Les chants de Maldoror*» — «Песни Мальдорора» — книга французского поэта Лотреамона (Изидор Дюкас) (1846—1870).

С. 479. *Пуанкаре Раймон* (1860—1934) — адвокат, французский политический деятель.

С. 480. *Эррио Эдуард* (1872—1957) — французский политический деятель, писатель.

С. 481. *Балиев Никита Федорович* (1877/1886—1936) — русский театральный деятель, конферансье, режиссер.

С. 482. *Меценже Жан* (1883—1956), *Глез Альбер* (1881—1953) — французские художники-кубисты — авторы теоретического труда «О кубизме» (1912). *Леже Фернан* (1881—1955) — французский художник и скульптор. *Делоне Робер* (1885—1941), *Бланш Жак-Эмиль* (1861—1942) — французские художники.

Сомов Константин Андреевич (1869—1939), *Малявин Филипп Андреевич* (1869—1940) — русские художники. *Гиппиус Зинаида Николаевна* (1869—1945) — русская поэтесса.

С. 485. *Жорес Жан* (1859—1914) — французский политический деятель. *Вильсон Томас Вудро* (1856—1924) — президент США с 1913 по 1921 г.

С. 486. *Кокто Жан* (1889—1963) — французский поэт, драматург. Маяковский имеет в виду пьесу-балет «Новобрачные на Эйфелевой башне».

С. 492. *Капет* — прозвище Людовика XVI во время революции.

С. 493. *Помпадуриша* — маркиза Помпадур (1721—1764), фаворитка Людовика XV.

С. 494. *Бенуа Александр Николаевич* (1870—1960) — русский художник.

С. 495. *Антуанетта* — Мария-Антуанетта (1755—1793), французская королева.

С. 496. *Бардольф*, *кабацкий приятель беспутного принца Гарри* — персонажи хроники Шекспира «Генрих IV».

С. 497. «Тигр» — прозвище Клемансо Жоржа (1841—1929), французского политического деятеля. Сара (*Сарра*) Бернар (1844—1923) — знаменитая французская актриса.

С. 502. *Поль де Кок* (1793—1871) — французский писатель, автор водевилей, оперетт, песен. Его рассказы о богемной жизни мелких буржуа, студентов и гризеток пользовались шумным успехом. *Мюрже* Анри (1822—1861) — французский писатель, автор «Сцен из жизни богемы».

С. 505. *Яблоновский* Александр Александрович (1870—1934) — русский журналист и беллетрист.

С. 507. *Рышков В. А.* (ум. в 1924) — драматург, автор многочисленных пьес, имевших большой успех в начале века.

С. 508. *Долина Иосафатова* — библейский образ, означающий конец жизни. *Генрих Птицелов* (876—936) — германский император. *Фор Феликс* (1841—1899), *Фрейсине Шарль* (1828—1923) — французские политические деятели.

С. 509. *Дюма-пер* — Дюма Александр (Дюма-отец) (1802—1870) — известный французский писатель. *Буланже Жорж* (1837—1891) — французский военный министр. *Лессепс Фердинанд де* (1805—1894) — французский дипломат.

С. 515. *Карл IX* (1550—1574) — французский король.

С. 524. *Париж, открытый город...* — стихотворение написано в 1940 г., когда немецко-фашистские войска оккупировали Францию. Французское правительство объявило Париж «открытым городом» — термин международного права, означающий, что город сдан на милость победителя и защищаться не будет.

С. 535. *Дешартр и Тереза Мартен-Беллем* — персонажи романа А. Франса «Красная лилия». *Жале и Жерфаньон* — персонажи романа «Люди доброй воли» *Ромена Жюля* (1885—1972) — французского писателя, автора серии романов о жизни Парижа. *Лепин Станислас* (1836—1892), *Писсарро Камиль* (1830—1903), *Буден Эжен* (1824—1898) — французские художники.

С. 536. *Прекрасные стихи «Приглашение к путешествию»* — стихотворение Ш. Бодлера.

С. 541. *Септим Север* (146—211) — римский император.

**КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПАРИЖСКИХ УЛИЦ
И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ, ПО-РАЗНОМУ НАЗЫВАЕМЫХ
АВТОРАМИ И ПЕРЕВОДЧИКАМИ**

Улица Ада — улица Данфер, современная Данфер-Рошфо

Улица Арфы — улица де ла Гарп

Кладбище Дезиносан — кладбище Невинных

Набережная Золотых дел мастера — набережная Дезорфевр

Гора Маргр — Монмартр

Мост Менял — Понт-о-шанж

Новый мост — Пон-неф

Собор Парижской Богоматери — Нотр-Дам

Площадь Согласия — Пляс де ля Конкорд

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей	5
---------------------------	---

ПРОЛОГ

Виктор Гюго. Главенство Парижа. <i>Перевод с французского Ю. Красовского</i>	7
--	---

ПАРИЖ В СРЕДНИЕ ВЕКА И ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

О. Э. Мандельштам. Notre-Dame	33
Жерар де Нерваль. Собор Парижской Богоматери. <i>Перевод с французского Н. Рыковой</i>	33
Виктор Гюго. Собор Богоматери (глава из романа «Собор Парижской Богоматери»). <i>Перевод с французского Н. Коган</i>	34
Юлиан Пшибось. Notre-Dame. <i>Перевод с польского Ал. Ревича</i>	42
Райнер Мария Рильке. Собор. Окно-роза. <i>Перевод с немецкого К. Богатырева</i>	43
Виктор Гюго. Париж с птичьего полета (глава из романа «Собор Парижской Богоматери»). <i>Перевод с французского Н. Коган</i>	45
Вячеслав Иванов. Латинский квартал	69
Франсуа Вийон. Баллада о парижских дамах. <i>Перевод с французского В. Дмитриева</i>	69
Эташ Дешан. «Прощай, любовь, прощайте, молодухи...» <i>Перевод с французского А. Парина</i> *	70
Оливье де Маньи. «Садись, Гийон, спеши вестями поделиться...» <i>Перевод с французского А. Парина</i>	71
Жак Гревен. «С тех пор как высшее познал я откровенье...» <i>Перевод с французского Р. Дубровкина</i>	71
Жоашен дю Белле. «Де-Во, как в океан...» <i>Перевод с французского В. Левика</i>	72
Жан-Антуан де Баиф. «Ты всем французам мать, Париж предрагоценный...» <i>Перевод с французского А. Парина</i>	72

ПАРИЖ В XVII—XVIII ВЕКАХ

Валерий Брюсов. В старом Париже. XVII век	77
Джамбатиста Марино. Париж и французские нравы (Письмо к Лоренцо Скотто). <i>Перевод с итальянского Б. Ярхо</i>	77
Неизвестный автор XVII века. Крики Парижа. <i>Перевод с французского Н. Шаховской</i> *	82
Никола Буало-Депрео. Парижские невзгоды. <i>Перевод с французского М. Кудинова</i>	85
Поль Скаррон. Париж. <i>Перевод с французского М. Кудинова</i>	88
Клод ле Пти. Из цикла «Смешной Париж»: Кладбище Сен-Иносан. Башня Нотр-Дам. Мост Менял. <i>Перевод с французского М. Кудинова</i> . Бастилия. Основание Парижа. <i>Перевод Н. Шаховской</i> *	88
В. К. Тредиаковский. Стихи похвальные Парижу	92
Шарль Луи Монтескье. Персидские письма (фрагменты). <i>Перевод с французского Е. Гунста</i>	93
Пьер Карле Шамблен де Мариво. Письмо о парижанах (фрагменты). <i>Перевод с французского О. Смолицкой</i> *	97
Д. И. Фонвизин. Записки первого путешествия (письма из Франции). Письмо шестое	108
Луи Себастьян Мерсье. Картины Парижа (фрагменты). <i>Перевод с французского В. Барабашевой</i>	114
Георг Гейм. Бастилия. <i>Перевод с немецкого Р. Дубровкина</i> *	141
Сэмюэл Тейлор Кольридж. Падение Бастилии. <i>Перевод с английского Ю. Петрова</i>	141
Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника (фрагменты)	143
Райнер Мария Рильке. Лестница Оранжереи. <i>Перевод с немецкого К. Богатырева</i>	178
Жак Делиль. Версаль. <i>Перевод с французского Н. Шаховской</i> *	179
Андре Шенье. Версаль. <i>Перевод с французского М. Гринберга</i> *	180
Кристиан Фридрих Даниэль Шубарт. Праздник Свободных. Храм Свободы франков. <i>Перевод с немецкого Д. Горфинкель</i>	181
Иоганн Георг Адам Форстер. Письмо седьмое (Из книги «Парижские очерки»). <i>Перевод с немецкого А. Кулишер</i>	185
Максимилиан Волошин. Две ступени. Термидор	191
И. А. Бунин. Богиня Разума	194
О. Э. Мандельштам. «Язык булыжника мне голубя понятней...»	205

ПАРИЖ В XIX ВЕКЕ

И. И. Дмитриев. Путешествие NN в Париж и Лондон, писанное за три дня до путешествия (фрагмент)	209
Адам Готтлоб Эленслегер. Томление в Париже. <i>Перевод с датского П. Карна</i>	209

Н. А. Бестужев. Русский в Париже 1814 года (Глава из повести)	211
Пьер Беранже. Возвращение в Париж. <i>Перевод с французского И. и А. Тхоржевских. Жан-Парижанин. Перевод П. Антокольского</i>	227
Людвиг Берне. Парижские письма (фрагменты). <i>Перевод с немецкого А. Ромма</i>	230
Огюст Барбье. Собачья склока. <i>Перевод с французского О. Манделштама. Лев. Перевод П. Антокольского</i>	248
Теофиль Готье. Париж. <i>Перевод с французского М. Донского. Парижский обелиск. Перевод Ю. Петрова</i>	253
Оноре де Бальзак. Путешествие в Париж африканского льва и что из этого последовало. <i>Перевод с французского Б. Грифцова</i>	257
Б. Л. Пастернак. Бальзак	272
Альфред де Мюссе. Сонет. <i>Перевод с французского И. Кузнецовой</i> *	273
П. А. Вяземский. Письма (фрагменты)	274
Георг Веерт. Посещение Тюильри. <i>Перевод с немецкого В. Саквы</i>	298
А. И. Герцен. С того берега (фрагменты)	305
Жерар де Нерваль. Закат. <i>Перевод с французского Е. Баевской</i>	311
Тристан Корбьер. Два Парижа. <i>Перевод с французского И. Анненского</i>	312
Шарль Бодлер. Парижские картины: Пейзаж. <i>Перевод с французского В. Левика. Солнце. Перевод Эллис. Лебедь. Перевод В. Левика. Вечерние сумерки. Перевод В. Брюсова. Предрассветные сумерки. Перевод В. Левика</i>	313
Виктор Гюго. Перед возвращением во Францию. <i>Перевод с французского М. Лозинского. Вечернее зарево. Перевод В. Портнова. Праздничный день в окрестностях Парижа. Перевод Э. Линецкой. Париж носят в Берлине. Победа порядка. «Над морем высится, дубами окаймленный...»</i> <i>Перевод Н. Рыковой</i>	318
Альфонс Доде. «Осада Берлина». <i>Перевод с французского Н. Касаткиной</i>	325
Леконт де Лиль. Освещение Парижа. <i>Перевод с французского И. Поступальского</i>	331
Артур Рембо. Парижская оргия, или Столица заселяется вновь. Военная песня парижан. <i>Перевод с французского Е. Витковского</i>	334
Михаил Эминеску. Из поэмы «Император и пролетарий». <i>Перевод с румынского Н. Стефановича</i>	337
Константин Милле. Парижская коммуна. <i>Перевод с румынского К. Еголина</i>	338
Поль Верлен. Парижский набросок. «Брат-парижанин, ты, что изумляться рад...» <i>Перевод с французского А. Эфрон. Городские виды. Перевод М. Кудинова</i>	340

Жорис Шарль Гюисманс. Вид с валов северного Парижа. Китайская улица. <i>Перевод с французского Ю. Спасского</i>	342
М. Е. Салтыков-Щедрин. За рубежом (фрагмент)	346
Н. А. Лейкин. Наши за границей (фрагмент)	360
Д. С. Мережковский. Конец века	396

ПАРИЖ В XX ВЕКЕ

Франсуа Коппе. Париж летом. Погожее воскресенье. Парикмахерская. <i>Перевод с французского Н. Бунтман *</i>	411
Альфред Жарри. Рим в Париже. Тир в Париже. Открытие Парижа. Клондайк в Париже. <i>Перевод с французского И. Кузнецовой *</i>	419
В. Я. Брюсов. Париж	426
Георг Гейм. Тоска по Парижу. <i>Перевод с немецкого Р. Дубровкина *</i>	428
Вячеслав Иванов. Парижские эпиграммы. Париж	430
Максимилиан Волошин. Парижу	433
Гийом Аполлинер. Зона. <i>Перевод с французского В. Микушевича.</i> Париж. Поездка в Париж. <i>Перевод И. Кузнецовой *</i>	433
Пьер Мак Орлан. Таким был Париж... <i>Перевод И. Кузнецовой *</i> . Сена и мосты Парижа. Роза вокзалов. Фантастика ночи. Четыре времени года. Посредники и улица. <i>Перевод Н. Маркусон</i>	438
Франсис Карко. От Монмартра до Латинского квартала (фрагменты). <i>Перевод с французского М. Абкиной</i>	454
А. А. Ахматова. Амедео Модильяни	470
В. В. Маяковский. Париж (Записки Людогуся). Город. Notre-Dame. Версаль. Прощание	478
А. И. Куприн. Париж домашний	496
Атанас Далчев. Avenue du maine. Вечер. <i>Перевод с болгарского М. Петровых</i>	516
Райнер Мария Рильке. Карусель. <i>Перевод с немецкого К. Богатырева</i>	519
Эрих Кестнер. Люксембургский сад. <i>Перевод с немецкого Р. Дубровкина *</i>	520
Курт Тухольский. Парк Монсо. <i>Перевод с немецкого И. Грицковой</i>	520
Юлиан Пшибось. Эйфель. Арка. <i>Перевод с польского С. Кирсанова</i>	521
Макс Жакоб. Отъезд. <i>Перевод с французского М. Гринберга *</i>	523
Жюль Сюпервьель. Париж. <i>Перевод с французского М. Ваксмахера</i>	524
Сидони Габриэль Коллет. Из моего окна (фрагмент). <i>Перевод с французского И. Кузнецовой *</i>	525
Поль Элюар. Мужество. <i>Перевод с французского М. Ваксмахера</i>	528
Луи Арагон. Ночь изгнания. <i>Перевод с французского В. Левика</i>	529
Рене Ги Каду. Почему вам в Париж не вернуться назад. <i>Перевод с французского Р. Березкиной</i>	530
	571

Раймон Кено. Сиреневый цвет. Наказание. Лютеция, Лета. С большим сожалением. Амфион. В саду Тюильри. Мой прекрасный Париж. Крики Парижа. <i>Перевод с французского М. Кудинова</i>	531
Андре Моруа. Письмо иностранке (фрагмент). <i>Перевод с французского Э. Леонидовой</i>	535
П. Г. Антокольский. Итог. Париж	538
Жак Преввер. Песня про Сену. <i>Перевод с французского И. Кузнецовой *</i>	539
Шарль Пегги. Париж — военный корабль. Париж — грузовой корабль. <i>Перевод с французского А. Кочеткова.</i> Посвящение Парижа Богоматери. <i>Перевод с французского И. Кузнецовой *</i>	540
О. Э. Мандельштам. «Я молю, как жалости и милости...»	542
Примечания	544

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КНИГИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ
МАТЕРИАЛЫ ИЗОФОНДОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ.

На шмуцтителе к первому разделу: вид на Сену со стороны Лувра. Литография А. Бенуа, середина XIX века.

На шмуцтителе ко второму разделу: взятие Бастилии. Гравюра Берто по рисунку Приера из альбома «Tableaux historiques de la Révolution française». Paris, 1802. Вид дворца Лувра. Гравюра Балтара, 1800.

На шмуцтителе к третьему разделу: Тюильри. Гравюра А. Перелля, начало XVIII века.

На шмуцтителе к четвертому разделу: Королевская улица. Фотография начала XX века.

ЖИЛИЩЕ СЛАВНЫХ МУЗ
ПАРИЖ В ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ XIV—XX ВЕКОВ

Составители:

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА СМОЛИЦКАЯ
И СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БУНТМАН

Заведующая редакцией

Л. Сурова

Редактор

С. Бессонова

Художник

В. Виноградов

Старший художественный редактор

Н. Старцев

Художественный редактор

Ф. Барбышев

Технический редактор

Л. Беседина

Корректоры

Ю. Черникова, Т. Сёмочкина

ИБ № 4049

Сдано в набор 01.03.89. Подписано к печати 18.09.89. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 31,08. Уч.-изд. л. 33,33. Тираж 100 000 экз. Заказ 4598. Цена 3 руб. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.
Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская 16.

**Жилище славных муз: Париж в литературных
Ж72 произведениях XIV—XX веков: Сборник / Сост.:
О. В. Смолицкая и С. А. Бунтман.— М.: Моск. рабочий,
1989.— 572 с.— (Города мира в образах литературы).**

Образ Парижа занимает особое место в европейской литературе. Поэты и писатели разных стран и поколений воссоздавали его в своих произведениях как центр науки и просвещения, как символ свободы, город Великой французской революции, писали о борьбе парижан против фашистских оккупантов, воспевали неповторимый внешний облик города, его богатейшие культурные традиции, особую духовную атмосферу.

В книгу включены произведения Вийона, Гюго, Верлена, Бунина, Мандельштама, Рильке, Ахматовой, Маяковского и многих других европейских и русских писателей и поэтов в самых различных жанрах.

Ж 470100000—231 106—89

M172(03)—89

ББК 84(0)

ISBN 5—239—00328—9



3 руб.

Вы всегда говорили мне о Париже, хотя никогда его не видели, с такой искренней любовью, что мне захотелось пока-

зать вам его, точнее — помочь вам вновь обрести Париж, ведь мысленно вы жили в нем долго...

Андре Моруа. *«Письмо иностранке»*

